# 1795

**1.**

**Е. Д. Турчаниновой**

*20 ноября 1795 г. Кексгольм*

Милостивая государыня матушка Елизавета Дементьевна!

Я весьма рад, что узнал, что Вы, слава Богу, здоровы; что ж касается до меня, то и я также, по Его милости, здоров и весел. Здесь я со многими офицерами свел знакомство и много обязан их ласками1. Всякую субботу я смотрю развод, за которым следую в крепость. В прошедшую субботу, шедши таким образом за разводом, на подъемном мосту ветром сорвало с меня шляпу и снесло прямо в воду, потому что крепость окружена водою, однако по дружбе одного из офицеров ее достали.

Еще скажу Вам, что я перевожу с немецкого2 и учусь ружьем. В прочем, прося Вашего родительского благословения и целуя Ваши ручки, остаюсь навсегда Ваш послушный сын Васинька.

20 ноября

1795-го года

Кексгольм3

**2.**

**Е. Д. Турчаниновой**

*20 декабря 1795 г. Кексгольм*

Милостивая государыня матушка Елизавета Дементьевна!

Имею честь Вас поздравить с праздником и желаю, чтоб Вы оный провели весело и здорово. О себе честь имею донести, что я, слава Богу, здоров. Недавно у нас был граф Суворов1, которого встречали пушечною пальбою со всех бастионов крепости. Сегодня у нас маскарад, и я также пойду, ежели позволит Дмитрий Гаврилович2. В прочем, желая всякого благополучия, остаюсь Ваш послушный сын Васинька.

1795-го года декабря 20 дня3

Кексгольм

# 1796

**3.**

**Е. Д. Турчаниновой**

*<Начало января (после 6-го) 1796 г. Кексгольм>*

Милостивая государыня матушка Елизавета Дементьевна!

Имею честь Вас поздравить с наступившим новым годом1 и желаю, чтоб Вы оный и множество таковых провели благополучно и здорово.

О себе честь имею донести, что я, слава Богу, здоров и весел. У нас здесь, правду сказать, очень весело; в Крещенье2 была у нас Иордан3, куда ходили с образами, и была пушечная пальба, и солдаты палили из ружей4. В прочем, желая Вам всякого благополучия, остаюсь навсегда Ваш послушный сын Васинька.

# 1799

**4.**

**Г. Р. Державину** *Январь 1799 г. Москва*

Милостивый государь!

Творения Ваши, может быть, столько ж делают чести России, сколько победы Румянцевых1. Читая с восхищением «Фелицу», «Памятник герою», «Водопад» и проч., сколь часто обращаемся мы в мыслях к бессмертному творцу их и говорим: «*Он россиянин, он наш соотечественник*». Плененные редкими, неподражаемыми красотами оды Вашей «Бог», мы осмелились перевести ее на французский язык, и Вам на суд представляем перевод свой. Простите, милостивый государь, если грубая кисть копиистов обезобразила превосходную картину великого мастера. Чтобы удержать всю силу, всю возвышенность подлинника, надобно иметь великий дух Ваш, надобно иметь пламенное Ваше перо.

Именем всех своих товарищей мы просим Вас, милостивый государь, снисходительно принять сей плод трудов наших, уверяя, что мы почтем себя весьма

счастливыми, если он удостоится благосклонного Вашего внимания.

С совершенным высокопочтением имеем честь быть Вашего превосходительства милостивого государя всепокорнейшие слуги

*Василий Жуковский.*

*Семен Родзянка* Генваря дня 1799 года, Москва

**5.**

**И. П. Тургеневу**

*17 февраля 1799 г. <Москва>* Милостивый государь!

Благосклонное участие, приемлемое Вами в образовании нашего ума и сердца, исполняет душу нашу живейшими чувствами признательности. Много, много видели мы опытов Вашей к себе любви; но вчерашнее милостивое по-

сещение Ваше новозаведенного нашего общества пребудет для нас незабвенно. Мы и теперь еще видим ту нежность, ту заботливую о благе нашем почтительность, которую вчера читали на лице Вашем. Пролитые Вами слезы прямо, кажется, упали на наше сердце, размягчили его и приготовили к будущему произрастанию плодов мудрости и добродетели. Каждое слово Ваше отзывается еще в душе нашей и всегда будет для нас ненарушимым законом.

С тою лестною, ободрительною надеждою, что Вы, милостивый государь, и впредь не престанете быть нежным нашим попечителем, нашим Наставником, нашим Отцом; и впредь не престанете принимать участия в дружеских упражнениях Собрания Благородных воспитанников1 и подкреплять их, с тою надеждою мы смело вступаем в открытый пред нами путь и надеемся с бодростью совершить его. Между тем примите, милостивый государь, в воздаяние за те нежные попечения, кои Вы о нас прилагаете, примите чувства искренней нашей благодарности, с которою именем всех членов Собрания честь имеем быть, Милостивый государь! Вашего превосходительства покорнейшие слуги

*Василий Жуковский. Семен Родзянка*2

1799 года

17 февраля

# 1800

**6.**

**А. Ф. Мерзлякову**

*22 августа 1800 г. <Москва>*

Главная Соляная Контора — 1800, авгу<cта> 22

Это письмо будет ответом на твое. Хороший же ты часовщик, когда не умеешь перестроить этих проклятых часов, которые бьют в твоем сердце и унылым своим стуком нагоняют на тебя тоску и горесть. Загляни в них хорошенько — нет ли какой порчи, не истерлось ли какое колесо, не порвалась ли какая цепочка или что другое — мало ли что случиться может? Поправь, перемени, и дело кон-

чено. Ты скажешь: «Трудно, почти невозможно»; но я буду отвечать с Делилем:

C’est de difficultés que naissent les miracles[[1]](#footnote-1)1.

Так, брат, один Бог знает, что такое человек, эта вечная загадка, которую Природа задала ему и которую он с минуты рождения по самую минуту смерти разгадывает и разгадать не может.

Жизнь наша не иное что, как неразрывная тень желаний, смерть есть конец их и, может быть, — исполнение. Ты жалуешься на непостоянство сердца человеческого и вместе на свое, но скажи мне, что бы была жизнь наша без сих желаний или — что почти всё равно — надежд2, которых господа Головоломы или философы называют суетами? Холодною, однообразною жизнью, лишенною всех прелестей и удовольствий, одним словом, *степью*, в которой глаза наши ничего не видят, ничего не встречают, кроме отдаленного безмолвного неба, которое сливается с горизонтом… Espérer c’est jouir[[2]](#footnote-2)3, говорит Delille, и я верю Делилю. Положим, что надежды часто нас обманывают, но другие надежды, может быть, также обманчивые, заступают их место и держат сердце наше, как говорят французы, *en suspens*4et ce suspens-là est déjà jouissance[[3]](#footnote-3). К тому же, надобно тебе сказать, *совершенное* наслаждение, по натуре человеческого сердца, не может быть чистым; оно смешано с некоторою неприятностью, и, можно сказать, исполнение всех наших желаний есть начало скуки и хладнокровия. Мы можем уподобиться мореплавателям, которых кормчий — надежда, которых попутный ветер — желание; если мы обманываемся, почетши отдаленное облачко желанною пристанью, то мы едем далее и — *опять надеемся*, что скоро увидим настоящую землю. Итак, мой милый, не бранись с собою за то, что ты беспрестанно желаешь нового и недоволен старым. Желание нового (а желать — почти то же, что надеяться) есть Triebfeder\*\*\*\* наших дел. Тот бедный человек, кто живет на свете без надежды; пускай будут они пустые; но они всё *надежды*,

они всё *любезны* и *нежны*5.

NB. Я пишу всё это в гнилой конторе, на куче больших бухгалтерских книг, вокруг меня раздаются голоса толстопузых, запачканных и разряженных крючкоподьячих; перья скрипят, дребезжат в руках этих соляных анчоусов и оставляют чернильные следы на бумаге; вокруг меня хаос приказных; я — только одна планета, которая, плавая над безобразною структурою мундирной сволочи, мыслит au dessus du Vulgaire[[4]](#footnote-4) и — пишет к тебе письмо. Итак, за старую песню.

Одним только матросам нельзя учиться на берегу управлять судном для того, что они — матросы. А нам, между нами будет сказано, философам, это не запрещается; кто из спокойной пристани увидит разбившуюся лодку о подводный камень, тот не направит туда *своего* судна; ветрами не совладеешь тогда, когда они бунтуют; поздно ставить громовой отвод тогда, когда гром ударил и зажег твою хижину. Учись в тишине души управлять душою и заранее предсматривай бури; опыты только поддерживают теорию; когда я с образованным сердцем войду в хаос света, то не нужен Эгид Минервин6 для прикрытия его от стрел Купидоновых. Должности диктует нам сердце, мир есть поприще, на котором мы их исправлять должны; как же ступить в это поприще, не имея по-

соха, которым бы подпереться было можно? — вот мое возражение на то, что ты написал в письме своем; если оно несправедливо, то посылай антирецензию7.

Картина твоей Природы прекрасна, стихотворна, только она слишком ветрена, твоя Природа8.

Нет, нет, друг мой, если жизнь наша только роза, только *блестящая* роза, то за что мне благодарить Природу?

А я благодарю ее, благодарю с трепещущим сердцем, с пылающею душою.

Я вот как толкую, или только изображаю дары Природы.

Я рождаюсь в свет, и в тихом веянии благодати низлетает ко мне добрая мать моя — Природа;9 в руке ее семя моей жизни\* (\*Эта картина родилась от твоей, только справедливее), вот, говорит она юнорожденному своему сыну, вот семя твоей жизни; вместе с тобою будет оно развиваться, возрастет и некогда обратится в дуб кудрявый. Если ты сбережешь юную, только расцветшую былинку, то распустившееся дерево будет благотворною тенью осенять цветущий луг и украшать леса и рощи. Если же мороз успеет охладить жизнь в расцветающем растении, то оно поблекнет, и ты, сын мой, увянешь вместе с ним.

Благодарю тебя, Природа, за материалы и дары твои, за эту любовь к добру, пылающую в моем сердце, которая есть твой голос и которая меня остерегает;

если увянет оно, сие растение, порученное мне тобою, то не тебя обвинять буду, а лишь горестными слезами стану обливать поблекшую былинку, которую не умел сберечь и воспитать… Я, я один буду виновником; ты дала мне всё, и я из этого всего не умею извлечь своей пользы.

Роза не может быть эмблемою моей жизни; она благоухает только тогда, когда цветет под ясным небом; листья ее разлетаются от малейшего ветра — дуб же стоит и тогда, когда бунтуют бури и вихри; дуб стоит и тогда, когда зима и дряхлость иссосали жизнь из его сердца. Странник, смотря на обнаженные

его ветви, говорит: я наслаждался его тенью; он велик и после смерти.

Мысль твоя прекрасна — быть друзьями, друзьями людей и муз, учиться для того, чтобы знать цену дружбы и добродетели, чтобы делать общими силами добро. Так, друг мой, это прямая дорога к счастью; быть счастливым или добрым, а добрым и счастливым нельзя быть без отношения себя к Богу и обществу — вот моя религия, вот моя любовь к вечному отцу моему.

Воображение мое никогда не было воином, а меньше того, Дон-Кишотом, который мельницы принимал за великанов, а стадо овец — за войско неверных. Я там не вижу препятствий, где их ни видеть, ни превозмочь не намерен. Говоря языком православных русаков, скажу тебе: я *люблю* для того, что любить непременно дóлжно, что это сродно моему сердцу; успехов в любви не надеюсь для того, что не могу, не ищу и не хочу получить их, и еще для того, что — подивись

человеческому сердцу, — что они ослабили бы любовь мою. Вот ответ на мистический вопрос твой.

**7.**

**Е. Д. Турчаниновой**

*<Вторая половина 1800 г. (не ранее июня). Москва>*

Милостивая государыня матушка Елизавета Дементьевна!

Григорий приготовил деньги за себя, только дело остановилось за тем, что он не знает, куда он приписан по подушному окладу и каким образом нам укреплен; итак, извольте потрудиться об этом осведомиться и поскорее ко мне прислать1. Да не худо бы было, когда б Вы попросили Михайлу Ивановича2, чтоб он сделал одолжение написать черную отпускную, ибо я хотя и пустился в статские скрипонеры3, но ничего такого писать не умею, за что я ему отвешу земной поклон. Григорий не может теперь дать более 625 рублей, а других 25-ти просит подождать, ибо теперь их у него нет и — так как и Бог кающихся прощает, — я чистосердечно признаюсь, что из вышереченных 625 взял 25. — На что? — Вы спросите. — На книги, отвечаю я, и уже вижу, что Вы сердитесь. — Но Вы, конечно, меня в том простите; я уверен в этом совершенно, ибо учивши меня

столько времени тому-сему, Вы не захотите, чтобы я это забыл, и все деньги, которые Вы за меня платили в пансион, были бы брошены понапрасну.

Итак, как бы то ни было, Вы, конечно, простите меня за то, что из 625 рублей взял я 25 на *нужные* книги4.

С этою сладостною надеждою остаюсь с истинным почтением и *преданностью*, милостивая государыня матушка, Ваш послушнейший сын… Хорош послушный! скажете Вы: 25 рублей взял! На это отвечаю еще громче — препо-

слушный сын В. Жуковский.

# 1801

**8.**

**Д. Н. Блудову**

*<Середина ноября (после 12-го) 1801. Москва>\**

Мой добрый и любезный друг, извини меня, что я так мало к тебе пишу. Это физическая для меня невозможность написать два письма вдруг; а мне должно написать к тебе попространнее. Теперь я расположил свою корреспонденцию так, что ты, Анд<рей> Ив<анович>1 и Родзянка2 будете получать мои письма каждый через две почты; а теперь хотя бы пожелал написать к тебе, но я крайне не в духе, по крайней мере, что-то не пишется. Прости, друг любезный, будь уверен, что я тебя так же люблю и помню. Скажи от меня то же Родзянке, не забудь; получил ли он мое письмо, в котором я послал ему The traveller, Гольд-

смитову поэму3.

Попроси его мне отвечать на это письмо.

Adieu, adieu.

Отдай мое письмо Андрею Ивановичу! Ты знаешь ведь, где он остановился4.

# 1802

**9.**

**А. М. Соковниной** *<Первая половина 1802 г. Москва>*

Покорно благодарю Вас за коврижку.

Она не только прекрасна, но бесподобна, несравненна, потому что от Вас!

Я ел ее с такою приятностью, с таким восхищением, что не увидел, как съел; так всё скоро проходит в свете; одно только не пройдет вечно, и то не в свете, а во мне… Кат<ерина> Мих<айловна>1 в своем письме пишет ко мне, что *хорошо радоваться любовью других, если своего предмета нет*, — а я хотя и имею предмет, милый, достойный любви, но не радоваться, а плакать должен. Пожалейте обо мне. Вы так жалостливы и — безжалостны!

Прочтите еще раз для памяти песню «Филлида, я любим тобою!», а после нее «Послание к жестокой»2. Эти две пьесы неразлучны! Но Вы, я думаю, о них и позабыли! — Бог Вам судья!

# 1803

**10.**

**Е. А. Протасовой**

*21 апреля <1803. Москва>*

Скажу о себе, что я, может быть, месяцем позже Вас увижу; я еду на месяц в Свирлово жить вместе с Николаем Михайловичем. Вообразите, какое блаженство, и порадуйтесь вместе со мною. Его знакомство для меня — счастье, и, верно, мой добрый дух сказал Вам, чтобы Вы послали меня с письмом к нему: без того я бы к нему от своей глубокой застенчивости не поехал. Видите, что всё истинно для меня доброе получаю я от Вас. Простите, еще раз целую Ваши ручки. Матушка Вам свидетельствует свое почтение. Посылаю Вам книжку «Les prières d’Eckartshausen»1: это мой подарок, который, конечно, будет Вам приятен.

**11.**

**И. П. Тургеневу**

*11 августа <1803 г. Белев>*

11 августа Милостивый государь Иван Петрович!

Я имел счастье получить Ваше драгоценное, утешительное и вместе горестное письмо; Вы можете вообразить себе мою благодарность. Мне лестно и усладительно видеть, что Вы разделяете со мною чувства души своей и находите в этом некоторую отраду. Чувствую цену Вашей милости. Осмелюсь

сказать, что воспоминание о незабвенном нашем А<ндрее> И<вановиче> и любовь к его милому праху должны соединить нас теснее, несмотря на расстояние, которое разлучает нас. Я, любя Вас лично, как добродетельного человека, которого пример почитаю благодеянием, буду еще больше любить в Вас отца моего истинного друга, которому я не имел времени и случая доказать, как он мне был дорог и любезен. Вот что еще более усиливает мою горесть. Я всё думал о будущем и надеялся опытов. Но как обманчива надежда! И со всем тем человек не перестает надеяться. Как я несчастлив, что не мог быть при нем в минуту смерти. Но он умер не один, он умер на руках П<аисия> С<ергеевича>1, которому завидую от всего сердца. По крайней мере, утешаюсь внутренним чувством своим, которое говорит мне, что я не оставил бы его в эту минуту, не побоялся ужасной прилипчивой болезни и пожертвовал бы жизнью для последнего долга дружбы, для утешения умирающего, единственного друга своего. Может быть, темное, отдаленное воспоминание о тех, которые оставались плакать по нем в этом мире, приходило оживлять его в некоторые минуты, свободные от физического страдания! Может быть, он желал нас видеть и воображал всех тех, которые будут несчастны, потеряв его! Но кого не утешит в самых страданиях вид И<вана> Вл<адимировича>!2 Он, конечно,

облегчил тягость разлуки его с жизнью! Он усладил его надеждою на бессмертие, на скорое свидание с теми, которых он любил в этом мире! Как такие утешения должны быть действительны при конце жизни! Прошу Бога, чтобы не допустил мне умереть одному, посреди людей нечувствительных! Смерть сама по себе ничего, но обстоятельства смерти могут быть ужасны. Ах, почтенный человек, как понять, что такое смерть? Мертвые не говорят; а те, которые оплакивают их, видят одни развалины, ничтожество целого. Верю, что я, то есть

состав мой, не исчезнет. Стихии разделятся, приобщатся к стихиям; но где тот образ, то явление, которые происходили от союза стихий? Части разрушенного инструмента целы; но где гармония, где прелестные звуки, которые восхищали меня? Но в природе нет ничтожества. Смерть есть изменение. Творение умирает, перестает действовать только тогда, когда сила, которая двигала его органами, перестает производить сие движение. Если мы составлены из стихий, то почему не назвать души стихиею же, несравненно тонкою, первородною, проистекающею от первоначальной стихии, которая оживляет всё творение, от Бога? Грубые стихии отделятся, возвратятся к своим источникам, душа к своему источнику. Фенелон называет Бога étendue sans bornes, dans laquelle toutes les étendues bornées existent et se concentrent[[5]](#footnote-5)3. *Пространством бесконечный*4*.* Но если душа, как духовный атом, отделенный от души всемирной, объемлющей всё своею беспредельностью, должна к ней приобщиться и в нее *кануть*, как в океан капля, то какая утешительная мысль о будущем свидании может оживлять человека, разлученного смертью со своими любезными? Мы можем желать и надеяться только таких радостей, которые воображать можем; только тот образ, под которым мы здесь были счастливы, может пленять нас в будущей жизни. Ожидая будущего свидания с друзьями, мы желали бы сохранить те чувства к ним, которые имела душа наша в сей жизни. Но душа наша, приобщившись к началу своему, должна необходимо измениться, получить новый образ чувств и мыслей. Где же будут сии наслаждения, которыми были бы мы счастливы в сей жизни? Составляя часть необъятного целого, мы будем чувствовать и наслаждаться только в отношении к этому целому, и я понимаю, что это наслаждение будет чище и выше. Но где же будут наслаждения частные, которые были принадлежностями нашего *особенного* бытия, о которых мы здесь имеем идею и которых одних желать и надеяться можем, потому что уже их испытали? Если душа моя не разрушится с бренным телом, то для чего не блаженствовать ей в кругу отделенном, не почитать сего верховного блаженства своею собственностью, деля его с теми, которые были ей здесь любезны, с которыми она соединилась навеки и никогда не разлучится? Может быть, я сам себе противоречу! Если наслаждения будут выше и благороднее, то дóлжно ли сожалеть о тех, которые имели мы в сем мире? Как бы то ни было, доверенность к Провидению! как говорит Карамзин5 и как должен говорить всякий добрый человек. Если есть Бог, то есть и душа, вечная, бессмертная. А как не быть Богу! Мы ограничим Его свойства, если скажем, что Он создал нас для того, чтобы мы обратились в ничто: мы назовем Его тогда только творящим и всесильным Существом и отнимем от Него любовь и благость. Он тиран,

если пустил нас в мир для страдания или *несовершенных* удовольствий, давши нам волю и понятия, которые влекут нас к *совершенному*, к высокому и благородному, и отнял у нас бессмертие, которое одно может удовлетворить нашим беспредельным желаниям и планам. Что еще больше заставляет думать, что души наши будут иметь особенные круги действия в том мире, есть то, что не все они оставляют здешний мир с одинаким совершенством. Души Равальяка и Генриха6 не могут составлять вместе одного целого. Они будут в течение всей вечности в одинаком расстоянии одна от другой, будут беспрестанно подходить к совершенству, но так, что дух Равальяка, очищенный и возвышенный, всегда будет столькими ж степенями ниже Генрихова, сколькими был он ниже здесь, в этом мире. И в сем отношении можно принять вечное наказание, впрочем, несообразное с понятием о Творце милосердом и всемогущем. Такое наказание есть в порядке вещей и должно быть твердейшим и неизменяемым законом в творении. Довольно! Пусть будет то, что должно быть! Наше дело: быть добрыми в сей жизни. Смерть решит все сомнения. Вообразите же, что для нашего А<ндрея> И<вановича> всё решилось! Для чего, скажу я вместе с Вами, запрещено мертвым сообщаться с живыми; для чего их могилы закрыты и безмолвны? Ах, они видят нас, окружают нас, трогаются нашим несчастьем, и эта одна мысль должна бы была удерживать нас и отвращать от зла… Но человек есть слабость, страдательное, бессильное творение!

Как мне приятно и усладительно говорить и думать с Вами. Перечитываю письмо и нахожу, что оно беспорядочно. Вы меня простите. Я говорил, не приготовясь, так, как лилось из души моей, не думая о слоге и порядке.

Осмеливаюсь напомнить Вам, милостивый государь Иван Петрович, о моей просьбе переписать письма и другие интересные бумаги покойника. Этот подарок был бы для меня самым лучшим, какого только я желать могу. Позвольте Вам открыть план мой, которого исполнение зависит от воли Вашей. Позвольте мне сделать выбор из писем А<ндрея> И<вановича>, в которых так видна душа его, благородная и необыкновенная, и быть их издателем7. Это будет лучшим ему памятником. Письма эти суть всё, что нам осталось от человека единственного, который мог бы быть украшением своего отечества. Напечатав их, докажу ему, что память его мне драгоценна. Я пожертвую на это издание несколькими деньгами, приобретенными моими трудами; употреблю всё, что могу, чтобы сделать его достойным моего незабвенного друга. Ах, я не таким образом надеялся доказать ему свою дружбу! Что ж делать! Недавно, перечитывая стихи свои на «Марьину рощу»8, которые начал было я сочинять в Свирлове9, я прочел в них с некоторым трепетом след<ующие> два стиха:

Что ждет меня в дали на жизненном пути?

Что мне назначено таинственной судьбою?

Ах, судьба очень скоро отвечала мне на этот вопрос! Смелые люди почитают отдаленным то, чего не видят; но как оно бывает от них близко! Сия скрытность есть одно из первейших благодеяний Провидения: если б несчастья приближались видимо, то сколько бы мы страдали, не будучи несчастными!

Я ожидаю и надеюсь Вашего позволения. Уверен, что Вы не станете помогать мне деньгами, нужными для напечатания. Позвольте, чтобы этот памятник был точно мой. Мы можем поставить другой на милый гроб его, который должен быть отличен от других гробов. Пускай отец и друзья своими руками положат камень на могилу своего незабвенного. В день суда он не воспрепятствует восстать ему. Мы можем заметить день его смерти, посвятить его во всё течение жизни своей какому-нибудь обряду, который бы напоминал нам любезнейшего человека и вместе соединял нас всех чувствами и во время разлуки нашей. 8-е июля10 все мы, где бы мы ни были, будем думать об нем и делать одно. Это его мысль. Он в одном письме ко мне предлагал членам Собрания назначить день, который бы всем посвящать воспоминанию о Собрании.

Итак, Вы позволите мне быть издателем его писем, которые посвящу Вам;

Вы позволите приобщить мне к ним краткую историю жизни его: пускай все знают, кто он был и что он был для тех, которые были с ним связаны тесными узами. Вот памятник его достойный! А стихов моих11 не должно печатать: я горд именем его друга, но такими ли стихами я должен почтить кончину его? Они писаны для меня и для Вас. Публика смотрит на стихи, а не на чувства. Она не поймет меня. Простите, милостивый государь; смею надеяться, что Вы скоро исполните мою просьбу и не откажете мне в своем позволении. Почтенному Максиму Ивановичу12 мое истинное уверение в вечной дружбе. Остаюсь с сердечною преданностью Вашим покорнейшим слугою

*Жуковский*

**12.**

**Д. Н. Блудову**

*7 ноября 1803 г. <Белев>\**

Ноября 7го 1803

Благодарен Блудову за его пантомиму1. Я получил Телемака2, Esprit de l’Histoire3 и Le poème de la pitié4, но не получил письма, которое, признаюсь, больше бы меня обрадовало. Vous avez des torts envers moi, mon cher Bloudov.

Vous m’avez manqué dans une occasion essentielle. Vous avez connu mon amitié pour le défunt A.5, et pas un mot de consolation de votre part. Comme si vous étiez étranger à nous deux. Cette froideur est pénible. Je ne puis pas vous forcer à m’aimer, c’est votre affaire, ou pour mieux dire c’est l’affaire de votre cœur. Mais si je puis me fier à l’apparence, je vous crois mon ami, vous m’avez paru tel au moins. C’est votre devoir de me désabuser. Je veux tout ou rien. Point de milieu dans l’amitié. Ayez la bonté de m’écrire si vous n’avez point changé envers moi. Ce n’est pas votre silence qui m’a fait croire que vous n’êtes plus ce que vous étiez auparavent, mais c’est votre silence dans un temps où vos lettres m’etaient le plus nécessaires. Un homme qui était

mon ami, qui, je puis le dire à vous, était trop nécessaire pour mon bonheur, vient de nous quitter, et des étrangers m’ont annoncé sa mort; vous qui l’avez vu dans ses derniers instants, vous gardez le silence comme un homme tout à fait indifférent: ce n’est pas agir en ami. Mais si vous avez manqué aux morts, soyez en bon accord avec les

vivants, oublions tout. J’aime à croire que c’est votre légèreté ordinaire qui a fait tout cela, que vous n’avez point changé; soyons encore bons amis et pour longtemps, pour

toujours. Répondez-moi au plus vite. J’adresse cette lettre à Boschniàk ne sachant pas où l’adresser directement. Adieu. Je suis toujours à Belief6. Je bâtis une maison, je plante un jardin, et je ne fais rien.

Une commission que vous devez absolument prendre sur vous, c’est de savoir où sont les papiers et les lettres d’André Tu.7; chez qui sont ils restés: faites-moi le plaisir de me donner une notice courte sur cet objet. Envoyez-moi votre adresse et celle de Pierre Kaysarow.

*P. S.* Au nom de Dieu n’oubliez pas de me dire qu’est devenu Rodzianka8: je ne sais rien de son sort. Où est-il? Et comment est-il? Il est bien malheureux! Dieu donne que son état soit une maladie passagère. Il y a une sorte de fièvre brûlante dont la suite est que la tête se trouble pour quelque temps! Mais il me semble qu’il n’a pas eu de fièvre brûlante. Quel malheur pour lui! Ce n’était pas un homme ordinaire.

Écrivez-moi une fois chaque mois, je ferai la même chose et nous ne nous accuserons pas mutuellement de paraisse.

Ma lettre est un brouillon plupart. Mais j’espère que vous l’entendrez et me rassurerez pleinement sur votre compte.

***Перевод:***

Ноября 7го 1803

Благодарен Блудову за его пантомиму1. Я получил Телемака2, «Дух Истории»3 и

«Поэму сострадания»4, но не получил письма, которое, признаюсь, больше бы меня обрадовало. Ты поступил плохо по отношению ко мне, мой дорогой Блудов. Ты проявил невнимательность при важнейшем обстоятельстве. Ты знал мою привязанность к покойному А<ндрею>5, и ни слова утешения с твоей стороны, как если бы ты был

совсем чужим нам обоим. Эта холодность мучительна. Я не могу заставлять любить меня, это твое дело или, лучше сказать, дело твоего сердца. Но если я могу полагаться на свое впечатление, я верю, что ты мне друг, по крайней мере, ты мне казался другом. Теперь твое дело меня разубедить. Мне нужно всё или ничего. В дружбе не бывает середины. Будь добр написать, если ты не переменился в отношении ко мне. Дело не в твоем молчании, не оно заставило меня поверить, что ты не тот, что прежде, но дело в твоем молчании в то время, когда твои письма мне были более всего необходимы.

Человек, который был мне другом, который, могу тебе сказать, был очень необходим для моего счастья, покинул нас, и я узнал о его смерти от чужих. Ты, кто видел его в последние минуты его жизни, ты молчишь, как человек, совершенно безразличный: это не по-дружески. Но если ты изменил долгу перед умершими, будь в гармонии хотя бы с живыми, забудем всё. Очень хочу верить, что всему причина — твое

обычное легкомыслие, что ты не изменился; будем же добрыми друзьями надолго, навсегда. Ответь мне поскорее. Посылаю это письмо Бошняку, не зная, куда его посылать непосредственно. Прощай. Я по-прежнему в Белеве6. Строю дом, засаживаю сад и ничего не делаю.

Поручение, которое ты должен непременно взять на себя: нужно узнать, куда делись бумаги и письма Андрея Т<ургенева>7; у кого они остались; сделай одолжение, извести меня по этому поводу. Отправь мне свой адрес и адрес Петра Кайсарова.

*P. S.* Ради Бога, не забудь мне сказать, что случилось с Родзянкой8: мне ничего не известно о его судьбе. Где он? Как его дела? Он очень несчастлив! Дай Бог, что его

состояние всего лишь какая-то кратковременная болезнь. Есть что-то вроде сильной лихорадки, в результате которой в голове мутнеет на некоторое время. Но мне кажется, что у него не было жгучей лихорадки. Какое несчастье для него! Он всегда был незаурядным человеком.

Пиши мне раз в месяц, и я буду делать то же самое, и мы не будем обвинять друг друга в лени.

Мое письмо по большей части — набросок. Но я надеюсь, что ты его услышишь и успокоишь меня на свой счет.

# 1804

**13.**

**Д. Н. Блудову**

*21 января 1804 г. <Белев>\**

21 Janvier 1804

Bonjour, mon cher et très cher Bloudov; beaucoup de remerciement pour votre lettre, qui m’a totalement rassuré sur votre compte: soyons amis derechef ou pour mieux m’exprimer continuons d’être amis, comme nous avons toujours été, car une étourderie peut-elle ou doit-elle produire une méprise. Votre main, mon cher, et ne m’oubliez jamais, ни в грозу, ни в ясную погоду. Notre amitié doit être le symbole de l’existence, mon cher, et qui s’est trop rapidement enfuie de notre défunt ami1. Est-ce que vous allez souvent sur sa tombe? Non, pourquoi ces cérémonies; allez-y quand

votre cœur en sentira le besoin! Il faut abhorrer la sentimentalité, mais il faut alimenter sa sensibilité, car sans elle le monde, la vie même ne sont qu’un néant.

Mon cher ami, jettez sur sa tombe quelques fleurs de ma part2 — je vous écris cela, étant sûr que vous ne vous méprenez point sur mes sentiments, ils ne peuvent être risibles que quand on en fait parade; jamais je ne parle de lui avec personne; cette

matière est sacrée; elle n’est que pour ceux qui en sentent le prix.

Que vous dirai-je de mon existence! Elle coule, il faut qu’elle s’abandonne à sa pente! Je suis toujours le même! toujours j’élève des édifices sur le sable! Rien de réel, tout est imaginaire! Mais cela doit être nouveau pour vous — (déjà en six mois nous ne nous sommes écrit que deux fois, vive la paresse!).

C’est que je bâtis, et même j’ai commencé à bâtir une maison à Belef, une maison propre, jolie, le site charmant — une maison pour les muses, la philosophie, la solitude et la rêverie — je n’ajoute pas pour la mine car cela s’entend. Cette maison sera située sur une hauteur; en bas coule l’Oka; son autre bord une immense plaine <*нрзб.*>, qui est rayée de chemins et au loin parsemée de vergers, de villages, de collines, le soleil levant me fera toujours sa première visite. Devant la maison, sur le penchant de la montagne, j’espère planter un jardin à l’anglaise petit mais délicieux, comme cela doit être. Dans cette retraite, mon cher ami, je dirai, invisible, mais peut-être content de

mon sort j’espère que vous viendrez me visiter quelquefois, ou si la mort m’est aussi réservée avant le bonheur, vous jetterez quelques soupirs à ma mémoire. Toutes les idées mélancoliques me charment, l’homme qui a quelque chose de plus dans son âme que celui qui est perdu dans la <*нрзб.*> du vulgaire, aime à s’abandonner à la tristesse, l’âme met en mouvement son réalisme intellectuel: il me semble que le bonheur continuel, sans aucune diversion deviendrait à la fin insipide; la mélancolie est une ressource contre une insipidité.

Pour mes créations littéraires, je vous dirai que j’ai commencé quelque chose, je ne sais si je finirai: c’est un conte, tiré de l’histoire Russe, ou pour m’exprimer avec plus de vérité de mon imagination, le titre: *Вадим*, pas moins. Son commencement est déjà imprimé; vous le lirez dans le dernier numéro du *Courrier de l’Europe*, qui va bientôt paraître3. De l’indulgence, mon cher! Je n’ai fait imprimer le commencement que pour fixer l’attention du public; le tout sera critiqué, jugé, rejugé par mes amis sans miséricorde, mais ce ne sera que le tout car je crains d’être découragé à l’entrée de la carrière.

Pour à présent, adieu. Vous me devez une lettre bien longue et bien détaillée sur vos occupations; sur les théâtres et sur vos amours. Si vous voyez, mon cher, Боккаревич4, dites-lui de ma part que je l’aime, que je le révère et que jamais, jamais je n’oublierai ce que je lui dois. Dites cela, je crains qu’il ne me croie, ou ingrat, ou trop volage, mais je ne suis ni l’un ni l’autre, je ne suis que paresseux, défaut que vous pardonnerez, j’espère, sans aucune difficulté. Faisons un accord, touchant la paresse, écrivons-nous une fois chaque mois, cela ne nous incommodera point en aucune manière. Je prends pour moi le 30 de chaque mois et vous prenez le 15 et c’est fini. Adieu.

Comment vont vos affaires avec Melpomène et Thalie.

***Перевод:***

21 января 1804

Здравствуй, мой дорогой и дражайший Блудов; благодарю за твое письмо, которое меня совершенно успокоило на твой счет: будем снова друзьями или, выражаясь

точнее, продолжим быть друзьями, как мы и были ими всегда, потому что забывчивость может или должна привести к недоразумению. Твою руку, дорогой, и не забывай меня никогда — ни в грозу, ни в ясную погоду. Наша дружба должна быть, милый мой, символом бытия, которое слишком быстро ушло от нашего покойного друга1. Часто ли ты ходишь на его могилу? Нет, к чему эти церемонии; иди туда тогда, когда твое сердце будет испытывать в том нужду! Нужно ненавидеть сентиментальность, но нужно питать свою чувствительность, потому что без нее мир, даже жизнь, есть лишь небытие.

Дорогой мой, принеси на его могилу несколько цветов и от меня2 — я тебе это пишу, будучи уверен, что ты правильно понимаешь мои чувства, они могут показаться смешными лишь тогда, когда их выставляют напоказ; никогда ни с кем не говорю я о нем; эта тема священна; она только для тех, кто чувствует ей цену.

Что сказать тебе о моей жизни! Она течет, нужно, чтобы она предалась своему течению! Я всё тот же! Всё так же строю замки на песке! Ничего действительного, всё мнимое! Но это должно быть для тебя новостью (ведь в течение полугода мы лишь два раза писали друг другу; да здравствует леность!).

Дело в том, что я строюсь, и даже начал строить дом в Белеве, дом опрятный, красивый; очаровательная местность — дом для муз, философии, одиночества и мечтаний — я не говорю для настроения, это само собой разумеется. Этот дом будет расположен на возвышенности; внизу течет Ока; ее другой берег является необъятной равниной, изрезанной дорогами и усеянной вдали садами, селами, холмами; восходящее солнце всегда будет наносить мне свой первый визит. Перед домом, на

склоне горы, я надеюсь разбить сад на английский манер, маленький, но прелестный, как и должно быть. В этом уединении, дорогой друг, я надеюсь, меня, невидимого, но, может быть, довольного судьбой, ты будешь иногда навещать или, если смерть мне уготована ранее счастья, ты вздохнешь несколько раз в память обо мне. Грустные мысли меня очаровывают; человек, у которого есть нечто большее в душе, чем у того, который погряз в заурядности, любит предаваться унынию, которое приводит в движение его душу: мне кажется, что непрерывное счастье, безо всякого разнообразия, может стать в итоге скучным: грусть есть средство от скуки.

Что до моих литературных творений, я тебе скажу, что я начал кое-что, но не знаю, закончу ли: это рассказ, взятый из русской истории, или, точнее выражаясь, из моего воображения, название «Вадим», не меньше. Его начало уже напечатано;

ты прочтешь его в последнем номере «Вестника Европы», который скоро появится3. Снисхождения, милый мой! Я напечатал только лишь затем, чтобы привлечь внимание публики; целое будут немилосердно критиковать, судить и вновь судить мои друзья, но только когда это будет целое, потому что я боюсь потерять всякую надежду в начале карьеры.

А теперь, прощай! Ты мне должен написать очень длинное и обстоятельное письмо о твоих занятиях; о театрах и своих любовных делах. Если ты увидишь Баккаревича4, скажи ему от меня, что я его люблю и почитаю и что никогда, никогда я не забуду, чем ему обязан. Скажи это, ибо я боюсь, как бы он не посчитал меня неблагодарным или слишком ветреным, но я ни то ни другое; я всего лишь лентяй; недостаток, который ты, я надеюсь, с легкостью простишь. Уговоримся касательно лености; будем писать друг другу раз в месяц, это нас ни в коей мере не стеснит. На себя я беру 30 число каждого месяца, а ты бери 15, и дело с концом. Прощай. Как твои дела

с Мельпоменой и Талией?

**14.**

**Д. Н. Блудову**

*<Начало августа 1804 г. Белев>\**

Здравствуй, Блудов!

«Энеида», переведенная господином Яковом Делилем1, объявила мне, что ты еще жив и обо мне помнишь. Известие очень приятное для твоего друга; жаль,

что «Энеида» приехала ко мне без письма, которое, право, было бы для меня приятнее! Но я не имел права требовать от тебя писем! Другое дело дружба; тебе легче быть моим другом, нежели писать ко мне. Это натурально изведано мною по опыту. Но, жестокий человек, ты мог бы устыдить меня своим великодушием и писать ко мне чаще? Что я говорю *чаще*? Просто писать, потому что ты ни часто, ни редко ко мне не пишешь. Итак, мне остается только благодарить тебя за одну «Энеиду», по несчастью, безмолвную и, как мне кажется, не совсем удачно переведенную. Делиль старится и только *пишет* стихи, а не *творит* их. Нет

силы и величественности в стихах его «Энеиды»: беспрестанно себя повторяет, и мало разнообразия, чувствительная монотония!

Не сердись на меня за мое педантство: я прочел один раз и без отменного внимания «Энеиду»2, может быть, вторичное чтение откроет мне глаза, но теперь не нахожу того в стихах Делиля, что прежде находил в них. Скажи мне, ты не переменился ли так же, как и стихи Делилевы? Не сердись за этот вопрос, ты имеешь такое же право спрашивать у меня об этом, какое я имею; но, правду сказать, ты имеешь больше материи писать ко мне, нежели я к тебе, ты больше видишь — я всегда окружен одними и теми же предметами и для тебя совсем неинтересными. Для тебя искусства *открывают все свои сокровища*; ты мог бы писать ко мне о театрах, о людях, которых видишь в обществах, разве ты не философ, не наблюдатель, не литератор? Я здесь один-одинехонек, затеял

строить дом3, и надобно тебе сказать, что строить дом и жить в доме — не одно и то же: первое крайне неприятно, следственно, мои занятия были по большей части неприятны; даже и в себе самом редко нахожу утешение, часто узнается пустота в душе моей, рад бы спрыгнуть с земного шара, как говорит не помню, кто? Чем же бы я мог наполнить свои письма? Описанием тяжкого положения моего сердца: не стоит труда и чернил? Уверениями в моей дружбе? Ты в ней уверен и должен быть уверен. Больше нечем. Я еще ничего не сделал, не дал стихов, не дал прозы, для того, что по сие время не имел спокойного места и почти жил на своем строении. Впрочем, я скажу тебе, что я расположился, quant au présent[[6]](#footnote-6), жить тихомолком, в своем белевском доме, en cultivant ma tête et mon jardin[[7]](#footnote-7), с музами, если они благоволят нанять у меня квартиру; одним словом,

*со книгой, с лирой, и наконец, с Темирой*4. Так, приятель, кто не поставил себе целью ни чинов, ни богатства, ни громкой славы, тот должен искать счастья около себя, в своем доме, в своем семействе. Буду готовить себя для этого счастливого состояния; чтобы им наслаждаться, надобно быть его достойным; или это будет одна маска счастья, условие, которое мог всякий человек исполнить, берется и не исполняется; обыкновенные супружества не иное что, как тяжелые и неисполнимые условия. Одним словом, хочу жить скромным литератором и, если можно, сделаться хоть немного человеком.

Я заметил, что во мне недостает многого множества, чтобы быть не последним во своей форме. Что делать, судьба и обстоятельства сделали таким, я оглянулся на себя только теперь и едва ли не поздно, всё уже основалось; я могу только снять с себя некоторые наросты; кое-что прибавить или поправить, но главное сделано, переменить не можно. Знаешь ли, что мне мешает почти больше всего делать — по крайней мере, теперь — хорошее и славное? Лень5. Друг любезный, как вижу, это несчастье дано тебе и мне в большом изобилии; природа — или, за что винить ее, обстоятельства не поскупились! Если теперь себя не переменить, то едва ли что-нибудь из нас выйдет! И я признаю, не сделал ни одного шага к поправлению; но и то хорошо, что вижу беду и хочу помочь ей — помню

об этом! Скажу тебе, что есть творение прекрасное, милое и несчастное…6 довольно; изъясняй это как хочешь, больше ничего не узнаешь от меня. Если бы ты был со мною, то, может быть, сказал бы что-нибудь. А Панина, эта милая, милая, комическая Панина7? Что она делает и что ты сам делаешь? Подумай, однако ж,

что следующей зимою едва ли меня не увидишь в Петербурге! Иван Петрович Тургенев приедет к сыну, думаю, в декабре, и я с ним, по крайней мере так полагаю!8 Cela vaut quelque chose[[8]](#footnote-8); от тебя ожидаю инструкции об этом, что нужно видеть в Петербурге. А театры, а мадам Филлис!9 — желал бы съездить на несколько времени в Гёттинген10; один, без методы ничему не научишься, даже не получишь такой выгоды от чтения! И читать надобно учиться.

Прости, любезный, добрый друг, обрадуй меня ответом ради Бога, неужели ты ленив до такой степени? Прости, спешу приняться за перевод: я теперь за тремя переводами вдруг, скучно сидеть за одним: Руссо11, Дон-Кихот12, Essai sur les Éloges!13

А «Вадима»14 я бросил; мне все говорят, что он есть подражание «Марфы Посадницы»!15 Не хочу выходить на сцену подражателем, даже толковым.

# 1805

**15.**

**Е. Д. Турчаниновой**

*<Конец марта — начало апреля (до 9-го) 1805 г. Петербург (?)>*

Милостивая государыня матушка Елизавета Дементьевна.

Честь имею Вас поздравить с Светлым Христовым Воскресением1; желаю от всего сердца, чтобы Вы провели его весело, с приятностью и здорово. Скоро надеюсь я Вас увидеть2. Чувствительно благодарю Вас за Ваше милостивое письмо, которое меня обрадовало; только я желал бы, чтобы Вы для себя, а не для меня старались иметь что-нибудь и думали больше о своем спокойствии —

сделайте милость, матушка, поздравьте от меня Петра Николаевича3 и детей с праздником и Катерину Афанасьевну4 — я спешу писать, чтобы поспеть на

почту. Простите; с сердечным почтением и любовью, милостивой государыни матушки

Ваш покорный сын

*В. Ж.*

**16.**

**Д. Н. Блудову**

*<Май—июнь 1805 г. Белев>*

Что, Блудов? Ты, мне кажется, всё так же ленив, как я! Что мне приятно!

По крайней мере, могу всегда найти оправдание перед тобою! Скажи мне, однако же, о себе хотя полслова; мы только ленивы, а всё добрые друзья между

собою. Хотя я и не совсем был доволен моею петербургскою жизнью, хотя и не то нашел в твоем обществе (а ты в моем), что бы найти было надобно и чего бы мог надеяться, но это сделалось; отчего, не знаю. Об этом поговорю после plus au long![[9]](#footnote-9) Мы с тобою по сию пору всё играли дружбою, а не были прямо друзьями; нечего запираться! И это по большей части от тебя! Я всегда с теми

людьми, с которыми обхожусь теснее, беру тот тон, который они берут со мною. Были минуты, которых я не помню, но которые были мною отменно приятно проведены с тобою, их немного, а я бы желал, чтобы их было побольше! Скажи мне, отчего это, и как можно сделать, чтобы это было не так! Вот вопрос, который ты должен решить в будущем твоем письме.

Теперь скажу тебе несколько слов об «Эдипе» Озерова1, который, по определению судьбы, странствует где-то, но, конечно, будет возвращен своему господину. Вот как это случилось! Ты прислал его ко мне в Москву, когда я был в деревне. Тургенев, не Александр, но Николай, тотчас отправил его ко мне в Белев, но его не приняли на почте, а прислали ко мне только «Дунтерияду»2 и «Mémoires de Mme Mesnil»3, с которыми он путешествовал от Петербурга до Москвы. Николай Тургенев оставил его на почте у одного своего знакомого, который дал ему слово прислать его ко мне. Между тем я приезжаю; спрашиваю

об «Эдипе», сказывают, что он на почте; посылаю за ним. Этого человека, у которого он остался, нет; я через два дня после моего приезда в Москву уезжаю в Петербург, давши комиссию Николаю Тургеневу взять «Эдипа» у своего знакомого и отдать его Волхонскому4: я не мог сам этого сделать, потому что не успел, и надеялся, что всё это без меня, верно, сделается, и дал к Волхонскому записку, в которой объяснил первое желание Озерова (я тогда не знал, что он хотел возвратить свою пиесу) в уверении, что пиеса, конечно, отдана Волхонскому, я сказал В<ладиславу> А<лександровичу>6, что ее отдал; но приезжаю в Москву и узнаю, что пиеса не взята, что этот человек, которому ее отдали, в Рязани, что

он приедет скоро и что пиеса, конечно, не пропадет. Между тем Тургеневы уехали в Липецк5; следовательно, «Эдип» не прежде возвратится как по их возвращении5. Скажи это всё Вл<адиславу> Алекс<андровичу>и скажи ему, ради Бога, что я ни в чем не виноват, что всему причиною этот фатализм, который сопряжен с жизнью Эдипа. Между тем другой список, который у Волхонского и в котором всего на всё пять ошибок, мною выправлен и оставлен у Волхон-

ского. Роли выучены, следственно мне не для чего было брать его и отсылать назад к автору. Представление, однако ж, отложено до зимы7. Если ж Владиславу Александровичу непременно нужна эта копия, то пускай он напишет к Волхонскому и ее вытребует назад. Мне очень жаль, что всё это сделалось таким странным образом! Прости, любезный друг! Обнимаю тебя искренно! Твой портрет у меня есть, а твоя сестрица Новосильцова8 дура и сумасбродная! Пожалуйста, возьми у нее Лагарпа!9 Почему она дура и сумасбродная, это объясню после!

Я еду в будущем мае вояжировать10; год пробуду для ученья в Гёттингене; год, для ученья же, в Париже, и год или полтора буду ездить по Европе. Антонский дает мне три тысячи взаймы бессрочно и без процентов. Что если бы ты поехал вместе со мною! Подумай об этом. Неужели эта любовь, эта Фурия (!!!) тебя удержит. Мои товарищи Мерзляков и Бошняк11. Как бы хорошо было, если бы ты был тут же. Жду твоего ответа!

**17.**

**А. И. Тургеневу**

*31 августа <1805 г. Белев>*

31 августа

Bonjour, ami![[10]](#footnote-10) Хочу написать к тебе несколько строк; сказать тебе, что ты очень дурно делаешь, не отвечая мне на мои письма; я не знаю, что ты, где ты, как всё делается вокруг тебя, то есть что твой батюшка и каковы твои обстоятельства. Сверх того, очень мне досадно то, что ты не подумаешь исполнить моей просьбы, то есть отыскать на почте трагедию «Эдипа», за которого, я думаю, что сочинитель бранит меня1, и он имеет причину, хотя я не виноват ни в чем, а одолжен одной твоей ветрености этою неприятностью. Тебе бы надлежало постараться всё загладить, но ты об этом не думаешь; не стыдно ли, брат, не сделать такой безделицы!

Податель этого письма отдаст тебе и урну2. Она очень мала,но прекрасная и будет годиться, если поставить ее на столб, который надобно сделать гранитный, потому что такой крепче; при сем прилагаю и рисунок3. Сделай, брат, всё по моему плану: тебе предоставляю исполнение; этого для тебя должно быть довольно! Нас трое делает этот памятник. Знаешь, кто третий? Простая надпись «Здесь лежит… умерший… на году своей жизни» будет всего лучше. Если тебя это письмо не застанет в Москве, то оно будет доставлено Костогоровым4 вместе с урною. Отвечай мне, брат, пожалуйста. Я нынче больше чувствую цену твоей и некоторых других людей дружбы. Желал бы, чтобы мы с Андреем Сергеевичем5 были в теснейшей связи: он должен быть хороший человек; между нами не должно быть антипатии; я нашел у себя в письмах письмо его ко мне и Мерзлякову, очень дружное, а с тех пор мы с ним не ссорились, и не за что. Скажи ему это. Со временем всё будет сделано, и, надеюсь, всё будет хорошо сделано.

Я нынче, то есть в нынешнее лето, больше себя чувствовал и открыл в себе больше способности, или не знаю чего, быть человеком как надобно, то есть быть во всех отношениях тем, что дóлжно; больше думал и чувствовал. Но для того, чтобы всё это во мне и, прибавлю, во всех нас созрело, надобно, чтобы мы были друзьями, чтобы всякий из нас, делая что-нибудь на сем свете, имел в виду тех людей, которые составляют для него *мир*, то есть тех, которых одобрения его

оправдывают и ободряют; чтобы всякий из нас чувствовал, что он точно не *один*; иначе для чего быть и славным и добродетельным! — нет, это я не так сказал! — иначе скучно, трудно быть и славным и добродетельным! Как можно, дóлжно

стараться поддерживать в себе энтузиазм наш, которым мы в старину, в счастливое время нашего Собрания6, были оживлены гораздо более, по крайней мере вы прочие; я, напротив, чувствую, что теперь я как-то живее, больше думаю сам, больше вижу перед собою возможности сделать из себя что-нибудь хорошее. Это меня делает счастливым, по крайней мере часто счастливым; что ж если то, что думал, будет сделано! Для этого нужно иметь в дружбе подпору! Видишь ли,что

я умом доказываю необходимость для нас дружбы, и признаюсь, больше умом, нежели чувством. Я сильнее это буду чувствовать только тогда, когда испытаю. Ты сам признаешься, что вся наша дружба, твоя, моя, Мерзлякова, Кайсарова, была основана на воображении; может быть, вояж больше дал тебе средств быть на *опыте* другом с А<ндреем> С<ергеевичем>, и ему тоже7. Тем лучше для вас. Ожидаю того же для себя и надеюсь. Будем друзьями, братцы; мы *сделаем* гораздо больше; но будем друзьями без ребячества, как дóлжно. Я в себе чувствую больше силы быть мужем, потому что начинаю чаще размышлять. До сих пор я, кажется, томился в *женственности,* в бездействии. И теперь немного деятельности, но по крайней мере вижу необходимость быть выше, выше; для этого требую помощи от друзей моих. Братцы, вместе, вместе пойдем ко всему доброму! Это говорит вам не энтузиазм ребяческий и огненный, но холодное размышление. Еще, брат, хочу обратить внимание на религию. Она нужнее и действительнее простой, умственной философии; но только хочу; испытаю и увижу. Прости, брат! Отвечай мне, если не хочешь меня чувствительно оскорбить.

Это письмо писано к тебе и к Мерзлякову, моему *товарищу* (как много заключается под этим словом). Я пишу его с особенным чувством! Он мой товарищ, мы будем с ним образовываться вместе, всем вместе; лучшее и самое критическое время жизни моей пройдет с ним; отдай ему это письмо. Я не пишу к нему особенно потому, что всё равно, к тебе ли, к нему ли надпись на конверте: содержание для вас обоих. Скажи ему еще раз, что я имею право требовать от него ответа на письмо: я хочу знать, каково его положение, каковы его планы, всё, всё, что принадлежит до нашего с ним путешествия. Если бы я был взыскателен, то бы сказал ему и даже тебе, что вы меня слишком забыли, имея столько важных вещей, об которых я непременно должен знать. С моей стороны вы должны ожидать одного описания моих мыслей и чувств, следовательно, должны знать, что материя не разнообразна и не изобильная, и даже неинтересная, потому что я решил описывать то, что во мне происходит, и не всегда расположение отвечает случаю, то есть не всегда в почтовый час бываешь весел и хорошо расположен, чтобы описывать чувства свои и мысли как надобно, так, как бы хотелось. Во всём, что со мною случается, нет ничего для вас интересного, потому что все мои отношения вам неизвестны. Итак, видите ли, что я совершенно прав. Но вы виноваты: я еще не знал по сие число, что Мерзл<яков> магистр8, что ему прибавлено жалование; о приезде твоем из Липецка узнал от Сохацкого9; больше ничего не знаю. Исправьтесь, милостивые государи, друзья мои. Ожидаю от вас удовлетворительного письма10.

P. S. Между тем требую непременно, чтобы ты, Александр, исполнил мои комиссии. Они следующие: прислать все мои книги, которые у тебя, непременно; я терпеть не могу разрознивания в больших увражах. У тебя Histoire de l’Amérique 1 и 2 томы, Beispielsammlung 1-й том, Catalogue de Laharpe 1, Mémoires de Lekain11. Пришли непременно и как можно похлопочи об этом. Если нет тебя в Москве, то Мерзляков должен исполнить все сии комиссии. Заставь Николая12 съездить на почту, сам съезди и пр. и пр.

À propos de Nicolas[[11]](#footnote-11). Я еще не благодарил твоего батюшку за его милость (доверенность с его стороны почитаю милостью). Скажи, что я буду самым верным и вернейшим товарищем Николаю, тем надежнее, что моим товарищем будет Мерзляков. В самом деле, это позволение ехать со мною Николаю и для меня собственно будет благодетельно; желая *его* пользы, буду себя, может быть,

от многого удерживать и вообще буду осторожнее во всем. Не правда ли? Но я хотел написать несколько строк, а написал несколько страниц.

Вот рисунок: столб и камень гранитные; желал бы, чтобы каждое дерево имело свое собственное имя, то есть имя тех людей, которые больше были *к нему*13 привязаны. Разумеется, что первые должны быть посвящены батюшке и Ив<ану> В<ладимировичу>14. Делай как хочешь, впрочем; всё это зависит от

одного тебя.

Мерзляков! Если Тургенев уехал в Петербург, отошли это письмо и урну к нему с Костогоровым. Будь хотя в этом случае, против своего обыкновения, деятельным, то есть не ленивым, для Жуковского.

Извините, братцы, что в письме моем такой беспорядок: я писал так, как говорил, а вы знаете, как я говорю.

**18.**

**А. И. Тургеневу**

*<Вторая половина августа 1805. Белев>*

Здравствуй, брат и друг; отчего не пишешь ко мне ни строки о возвращении вашем из Липецка, о здоровье батюшки1, о самом себе и прочее? Стыдно. Я от других узнаю, что вы приехали. Что ты делаешь и отчего такая лень? Я не требую большого письма, а нескольких строк. Твое письмо из Липецка получил я очень поздно2; не писал на него ответа для того, что уже не думал, чтобы он застал вас в Липецке, и дожидался известия о твоем приезде в Москву.

О нашем путешествии3 вместе с Мерзляковым не говорю ничего: ты обо всем узнаешь от самого Мерзлякова; но очень радуюсь тому, что вместе с нами посылают Николая4. Мой план — год пробыть в Гёттингене, учиться; еще год в Париже, также учиться; потом год ездить по Европе; если ж обстоятельства не позволят, то всё время посвятить учению. Путешествие будет для меня важным делом, особливо если удастся поездить вместе с Мерзляковым. Возвратясь, посвящу себя совершенно литературе. Надобно сделаться человеком, надобно прожить недаром, с пользою, как можно лучше. Эта мысль меня оживляет, брат! Я нынче гораздо сильнее чувствую, что я не должен пресмыкаться в этой жизни; что должен возвысить свою душу и сделать всё, что могу для других. Мы можем быть полезны пером своим, не для всех, но для некоторых, кто захочет нас понять, но и кто может быть для всех полезен! А для себя будем полезны своим благородством, образованием души своей. Наше счастье в нас самих! Ах, брат, не надобно терять друг друга из виду, не надобно оставлять друг друга! Будем взаимно подавать друг другу помощь! Надобно быть людьми непременно! Я это чувствую! Мы живем не для одной этой жизни, я это имел счастье несколько раз чувствовать! Удостоимся этого великого сча-

стья, которое ожидает нас в будущем, которому нельзя не быть, потому что оно неразлучно с бытием Бога!

Adieu![[12]](#footnote-12) Я радуюсь заранее тому, что сделает для меня путешествие! Все эти животворные идеи во мне усилятся! Мы будем вместе с Мерзляковым стран-

ствовать, всем пленяться и всем возвышать свою душу. Покажи это письмо ему.

Я хотел писать к нему, но не стану: он должен поверить, что он в моих мыслях!

Попроси его написать ко мне.

Что же моя трагедия «Эдип»?5 Если ты о ней не хлопотал и не хлопочешь, то, признаюсь, очень худо делаешь! Достань ее, ради Бога! Пришли, пожалуйста, мои книги: Histoire de l’Amérique, два тома6, Mémoires de Lekain7, Catalogue de Laharpe8, Beispielsammlung9.

**19.**

**А. И. Тургеневу**

*11—16 сентября 1805 г. Белев*

Сентября 11е. 1805го. Белев

Благодарю тебя, мой любезный Александр, за твое письмо1. Оно меня тронуло до слез; нет ничего приятнее мысли: есть добрый, прекрасный человек, для которого я очень много значу и который будет моим помощником во всем добром, во всем прекрасном и который удержит меня, если буду следовать какому-нибудь заблуждению, или ободрит, если что-нибудь приведет меня в уныние. Вот вещи, которые мне всего нужнее и которых, по несчастью, не имею. Иногда чувствую в себе какую-то необыкновенную живость, которая делает для меня свет прекрасным, и я воображаю в дали какую-то счастливую участь, которой ожидание волнует мою кровь. Иногда всё это исчезает; те же самые

чувства, которые меня радовали, приводят меня в уныние, самое тягостное, своею вялостью. Но теперь эти минуты вообще реже, гораздо реже. Мой ум получил какую-то особенную твердость: по крайней мере, во многие минуты был очень ясен и деятелен. Тем тяжелее минуты бездействия. Хотел бы всё пробыть в одинаковом живом положении, и огорчаешься вдвое, когда оно прекращается. Вот для чего желал бы иметь вас, братцы, с собою. Как прекрасно быть хорошим человеком в глазах друзей! Это я теперь очень чувствую! Напротив, в глазах тех людей, которые нас не понимают или имеют совсем другой образ чувств и мыслей, делаешься мертвым, сомневаешься в самом себе, теряешь свою свободу чувствовать и мыслить, теряешь самое желание быть деятельным, теряешь надежду, первую, единственную причину всякой деятельности. Вот для чего восхищаюсь необыкновенно вояжем: деятельность, свобода, разнообразие

предметов, и друзья-свидетели моих чувств и мои наставники, мои помощники.

Какая прекрасная перспектива. Я буду очень несчастлив, если этот план не исполнится. L’âme est un feu, qui s’éteint, s’il ne s’augmente[[13]](#footnote-13), сказал Вольтер2. Моя душа не имела еще пищи, не пробуждалась, это верно; воспитание, или, лучше

сказать, всё то, что было со мною со времени моего младенчества (потому что я не имел воспитания), вместо того, чтобы образовать ее и усилить, только что ее усыпило; я был один совершенно, то есть в кругу множества людей, которых имел с собою, был некоторым образом отделен от всех. Одним словом, прекрасно бы было всем нам жить вместе — я называю жить, не *дышать*, не *спать* и *есть*, но *действовать* и наслаждаться своею деятельностью; следовательно, эта деятельность должна вести к чему-нибудь высокому, иначе можно ли будет ею наслаждаться? Но я буду отвечать на твое письмо; отвечая, много скажу о самом себе, о моей цели и о том, что мы можем и должны сделать друг для друга.

16 сентября

Это письмо не было послано на почту: мне помешали писать, я должен был его оставить. Вообрази, какая досада! Иван Володимирович3 был в Белеве, и я его не видал; мне даже не сказали, что его ожидали, иначе я бы верно его увидел. Очень досадно! Скажи, как он приехал и каково батюшке от его приезда? Что у вас делается и прочее, об этом ты совсем ничего не пишешь и очень дурно делаешь! Буду отвечать на твое письмо и поговорю с тобою посерьезнее. Между тем пожури за меня Мерзлякова; мне кажется, он не только что ленив писать ко мне, но даже, как видно, ленив обо мне и подумать; а я ведь должен быть его

спутником!

Во-первых, я не думаю и не думал, чтобы мы холодели друг ко другу. Этого нет; а я сказал тебе в прошедшем моем письме, что мы вообще не были так тесно связаны, как бы мне этого хотелось. Это правда; может быть, этому причиною обстоятельства, которые нас так надолго разлучили; а разлука, согласишься сам, не усиливает дружбы, когда она не иное что, как простая связь, основанная на привычке быть вместе, сделанная обстоятельствами, приятная, но не такая необходимая, без которой бы нельзя было обойтись, которая бы составляла важную часть жизни (я разумею моральную жизнь)! Такой связи между нами не было, согласишься сам, даже и теперь нет, но будет, должна быть, в этом я уверен: надобно только увериться, что мы не простые друзья, не такие, которым только приятно встречаться, быть вместе, но такие, которым нужно быть друзьями, на которых дружба имеет то же влияние, которое должна иметь религия на всякую благородную душу, то есть самое благодетельное, святое,

оживляющее, ободрительное. Нельзя сказать одним словом, мне тебе, тебе мне: я твой друг; мы должны вместе трудиться, действовать, чтобы после сделаться достойными дружбы и, следовательно, быть друзьями. Дружба есть доброде-

тель4, есть всё, только не в одном человеке, а в двух (много в трех или четырех, но чем больше, тем лучше). Если скажут обо мне: он истинный друг, тогда скажут другими словами: он добродетельный, благородный человек, оживленный *одним* огнем вместе с другим, который ему равен, который его поддерживает собою, а сам поддерживается им. Вот что значит дружба в моем смысле. Я не спрашиваю, друзья ли мы? На этот вопрос ни ты, ни я, ни Мерзляков, никто из нас не может ответить: *да*! Но как прекрасно соединиться для того, чтобы после быть друзьями, действовать для самих себя, потом наслаждаться своим собственным делом: жить друг для друга, говорить себе во всяком случае: я делаю не для себя одного, есть свидетели моих дел, которых не боюсь, но которые

составляют для меня самое верховное судилище!

Видишь ли, что я говорю не так, как энтузиаст; что всё, мною сказанное, не мечта, но может и должно исполниться, потому что согласно с целью Провидения, которое всему велит совершенствоваться. Только те вещи могут не удаваться, которые зависят от случая или посторонних обстоятельств; но всё,

что ни предлагаю, зависит от нас самих, неразлучно с нами — как этому не исполниться!

Я вам всем, тебе, Мерзлякову, Блудову, должен сказать откровенно, что не был никогда привязан к вам с отменною силою, так же как и вы все ко мне (лучше это видеть, нежели не видеть, потому что, увидевши, узнáешь причину и поправишь). Мы все сходились вместе *случайно*, с удовольствием; но, я не знаю, во мне не было этого внутреннего, влекущего чувства, которое бы я желал иметь, будучи вместе с моими друзьями, одним словом, чего-то не было такого, что всего вернее в дружбе — как это назвать, не знаю. Никого из вас, это разумеется, я не любил с такою *привязанностью*, как брата5, то есть, не будучи с ним вместе, я его воображал с сладким чувством, был к нему ближе; ему подавал руку с особенным, приятным чувством: я не знаю, как-то отменно весело было чувствовать его руку в моей руке; между нами было более сродства, по крайней мере с моей стороны. Но что делать! Даже при жизни его мы не были то, что бы могли быть; в то время, когда он был со мною, в нас было больше (то есть во мне) ребя-

ческого энтузиазма; потом мы расстались, потом всё кончилось; одним словом, моя с ним дружба была только зародыш, но я потерял в ней то, чего не заменю или чего не возвращу никогда: он был бы моим руководцем, которому бы я готов был даже *покориться*; он бы оживлял меня своим энтузиазмом.

Но, братцы, мы можем быть друг для друга многим, очень многим, всем, со временем, разумеется, не вдруг! Для чего же и жить, как не для усовершенствования своего духа всем тем, что есть высокого и великого? Одному этого сделать почти не можно! Будем же друзьями, то есть верными товарищами на пути к добру! Дружба есть добродетель, еще раз повторяю!

Я забыл сказать о причине той *малой* привязанности (или, справедливее, *не довольно сильной*, малою нельзя ее назвать, потому что это будет неправда), которая была между нами. Я думаю, та причина, что вся наша дружба была не иное что, как ребячество, как простая связь, не на твердом основании, без всякой цели, а сделанная случаем, так же как и все светские дружбы и связи. Положим себе цель (какую знаешь), пойдем по ней вместе, не попереча друг другу, но помогая, но воспламеняя друг друга при всяком случайном ослаблении! Тогда не одна склонность соединит нас, но *благодарность*, *почтение* взаимное и даже чувство необходимости в такой связи, которая должна привести нас наверно к счастью. Всё, что я к тебе теперь написал, всё сказано без особенного натянутого чувства, а просто, с некоторым твердым и очень приятным уверением. Чувства очень меняются, потому что всё на них имеет влияние: я говорю, такие чувства, которые ни на чем не основаны, а *вдруг*, на время, тебя воспламеняют; но чувства спокойные, утвержденные умом, тверды и навсегда остаются, потому что, имевши их в спокойную, *обыкновенную* минуту, всегда можешь возобновить, не выходя из своего обыкновенного положения. Это я знаю по частому

опыту. Очень нередко бывал я в отчаянии, не находя в себе того сильного чувства, которое в другое время имел; это только оттого, что это сильное чувство, неестественное, или, лучше сказать, необыкновенное, есть феномен, который не всегда возобновлять можешь свободно. Теперь *дурное расположение*, которое так часто прежде меня мучило, не имеет на меня влияния, я дерусь с ним умом и часто — vive la raison![[14]](#footnote-14) — побеждаю его!

Но я исписал почти четыре страницы, а еще очень мало сказал о том, что думал прежде. Я заболтался, но, право, говорил то, что ты должен принять, и, кажется, всё, сказанное мною, навсегда во мне останется, тем больше, что я всё думал, всё говорил без моего прежнего энтузиазма, который так ветрен и переменчив. Из этого, однако ж, ты не должен заключать, что будто я хочу отказаться совсем от энтузиазма; напротив, я хочу его усилить, укоренить, только

ошибить ему несколько крылья, сделать его спокойнее, постояннее: хочу, чтобы он меня освещал, а не ослеплял. И это даже должна сделать дружба: *один* будешь не так смел, а то, что воспламенит и будет воспламенять *многих в одно время*, то покажется не пустою мечтою, а чем-то рассудительным, основательным. Видишь ли, что я хочу быть энтузиастом по рассудку. — C’est une rareté![[15]](#footnote-15)

Оставляю до другой почты, что я хотел сказать о самом себе, то есть о своем характере, о моей цели в жизни, вообще о моей *частной* жизни отдельно от нашей *общей*, которую должна нам дать дружба! Надобно об этом подумать еще,

сверх того, я что-то устал; ведь не вдруг привыкнешь к продолжительному *размышлению*. Эта наука труднее всякой, особливо когда человек прожил 23 года на сем свете, не подозревая, чтобы можно было находить приятность в *размышлении*. Это отчасти мой жребий, но я знаю этому причину, следовательно, переменю это с вашею помощью, милостивые государи, друзья мои! Это будет

отныне моим обыкновенным припевом.

Хотел еще написать к тебе, но не буду! Некогда, опоздаю.

**20.**

**Ф. Г. Вендриху**

*19 декабря <1805 г. Белев>*

Благодарю Вас, любезный и почтенный Федор Григорьевич, за Ваше приятное письмо, которое меня очень обрадовало; позвольте уверить Вас, что я много ценю Вашу дружбу и желаю искренно, чтобы она укоренилась. Отвечаю Вам несколько поздно потому, что почта отсюда отходит, как мне сказывали, по одним только средам, а Ваше письмо получено мною в прошедший четверг, но прошу Вас верить, что для меня истинно приятно иметь с Вами хотя письменное сношение и что в продолжении нашей переписки я предвижу для себя великую выгоду: сообщение с таким человеком, как Вы, должно не только развивать понятия, но даже сообщать много новых: итак, мне позволено быть в этом случае эгоистом. Не знаю, разберете ли Вы мою руку; я, по несчастью, не имею жены, которая бы могла писать четко и прекрасно, и, сверх того, не надеюсь, чтобы мой русский слог Вам так понравился, как мне Ваш немецкий. Но дело идет не о слоге, пиши как разумеешь, материя, конечно, найдется; французская пословица: à bon entendeur demi-mot[[16]](#footnote-16), очень справедлива.

Начну ответом на Ваше письмо. Описание вояжа из Долбина в Орел очень меня повеселило. Я теперь твердо уверен, что мораль иногда бывает питательна не для одной души, а вместе и для желудка. Если бы Вы не сделали маленького морального наставления нашему приятелю Киреевскому1 о средствах хорошо кормить своих гостей, то бы желудок Ваш не очень был доволен долбинским

обедом. Vive la philosophie morale! Vive son influence même sur la cuisine la plus delabrée. Je voudrais pourtant que la philosophie de notre ami Kireefsky fut un peu plus matérielle pour qu’il put boucher un peu les trous par lesquels le vent entre dans sa maison de Dolbino et fait que les honnêtes gents y ont les doigts gelés. Ce cynisme-là est un peu fort![[17]](#footnote-17) Как бы то ни было, поздравляю Вас с счастливым возвращением в свое семейство, которое для меня весьма интересно. Я воображаю Ваш уголок спокойным и веселым пристанищем добрых людей, которым знакомы музы, которые тем больше умеют наслаждаться удовольствиями жизни,

чем лучше и справедливее умеют их ценить, я бы очень желал видеть Вас в середине Вашего семейства, которому прошу меня непременно рекомендовать, и, конечно, исполню это желание, если мне представится благоприятный случай. Между тем скажу Вам, что здесь все об Вас помнят. Madame Protasoff просит Вас верить, что она также не забудет никогда тех приятных минут, которые ей доставило короткое знакомство с Вами. Мария Андреевна благодарит Вас за песню и ноты, которые вытвердила и часто играет2.

В благодарность за Ваше подробное описание путешествия в Орел скажу Вам слово о своих собственных занятиях. Я переселился в Белев, в свой дом; вся наша фамилия теперь живет у меня. Следовательно, я не могу пожаловаться, чтобы вокруг меня было пусто; скучать могу еще меньше, потому что принялся читать Виланда, Вашего приятеля3. Читаю «Агатона»4; удивительная книга! Я думаю, это лучшее его сочинение. Какой слог! Какое знание света и человеческого сердца! Как всё прекрасно описано: и афинские собрания! и уборная Данаи! и двор Дионисия! И какая философия! Я зачинал читать эту книгу прежде, давно, в французском переводе; признаюсь, тогда она мне наскучила: первое, потому что перевод был дурен и что почти невозможно хорошо перевести книгу, написанную таким единственно-прекрасным слогом, как «Агатон»; второе, потому что эта книга меньше роман, нежели философическое изображение человека; а тогда я не мог так любить *философическое*, как люблю теперь, и меньше мог понимать философию «Агатона». Трудно найти книгу столько полезную, как эта, для молодого человека с некоторою живостью в воображении. Я прочел только два первые тома, теперь начинаю третий, но по оглавлению, кажется, понимаю план и цель Виланда. Он представляет молодого энтузиаста добродетели во всех положениях жизни, он сличает его *вдохновенную* философию с *убийственною* философиею светских развратников, эгоистов по правилам, одним словом, Гиппиасов. Это сличение имеет великую пользу. В свете обыкновенно смеются мечтам и чувствам пылких молодых людей; называют их понятия о божестве и добродетели химерами; и в самом деле, они химеры в большом свете, для которого они существуют и который всё привык обращать в смешное; но они не химеры для того человека, который заключает свое

счастье меньше в грубой чувственности, нежели в наслаждениях духовных. Виланд хотел согласить сии две противоположности: *мечтательность*, которая разлучает человека с людьми и переселяет его в жилище духов, и грубую

ском доме, в котором гуляет ветер, замораживающий пальцы у порядочных людей. Это уж, пожалуй, слишком цинично! (*франц*.).

*телесность*, *чувственность*, которая слишком унижает человека и лишает его морального и первейшего достоинства, единственно отличающего его от скотов. Жить одними идеалами не годится, но не иметь совсем идеалов также не годится: середина есть то, что всякий человек с некоторым особенным образом чувства избирать должен. Я еще не дочитал «Агатона», но мне кажется, что Виланд при конце в виде Архитаса представил настоящего мудреца, истинного морального человека. Я бы желал, чтобы всякий молодой человек с пылкою, платоническою душою пред своим вступлением в свет брал в руки «Агатона», прочитывал его несколько раз и приготовлял себя сим чтением к тем многочисленным, иногда трудным опытам, которые для всех нас, бедных грешников, приготовлены. Он бы научился не вверяться своей мечтательности (Schwärmerei), которая сама по себе вредна и опасна, но, будучи обуздана здравою опытною философиею, может быть источником совершеннейшего земного счастья; в то же время он бы вооружился против обольстительной философии светских эгоистов, которых вся доктрина методически представлена Гиппиасом и самым лучшим образом опровергнута в продолжение всей истории Агатона; я думаю,

что Архитас должен быть противоположностью Гиппиаса, и тем лучше, что его философия оставлена для конца: последнее впечатление всегда самое сильнейшее. Одним словом, «Агатон» — прекраснейшая книга в своем роде, я теперь начинаю почитать и прозу Виланда, несмотря на то, что он часто отдаляется

от материи. Главное достоинство его состоит в том, что он не дает уму заснуть и всегда возбуждает много мыслей… Но я, верно, Вам наскучил, говоря о таком предмете, который Вы, конечно, знаете лучше меня. Что нужды! Любовникам приятно говорить о своих любовницах, а охотникам до чтения — о тех книгах, которые они читают. Вы мне сами должны сообщить свое мнение о «Агатоне». Я бы желал, если бы не боялся Вас отяготить, чтобы Вы назначили мне все лучшие немецкие книги во всех родах литературы; немецкая литература мне мало знакома; но я, конечно, не имею нужды искать лучше Вас советника в выборе книг немецких. Между тем простите. Мое почтение всему Вашему любезному

семейству. Присылайте свой перевод и не забывайте

*Жуковского*

19 декабря

# 1806

**21.**

**А. И. Тургеневу**

*8 января <1806 г. Белев>*

Генваря 8е

Cейчас получил твое письмо1 и сейчас на него отвечаю. Благодарю тебя, брат, любезный друг; ты меня душевно тронул; тронул тем, что мне захотел поверить свои чувства: это доказывает, что я тебе нужен и что ты точно хочешь любить меня. Признаюсь, я несколько боялся; думал почти, что я не совершенно важный человек для тебя, что тебе можно обойтись без меня. Тон твоего письма доказывает мне противное; он трогает меня душевно. Одним словом, нам надобно быть друзьями, товарищами в этой бедной жизни, в которой ничто не радует, по крайней мере не радует продолжительно; одна мысль всегда будет меня восхищать — мысль о таком человеке, как ты, которого дружба должна быть для меня светильником. Я чувствую, брат, что я стал несколько способнее против прежнего быть человеком, то есть не двуножным животным без перьев, но человеком в твоем смысле, несколько способнее для дружбы. Но что делать! Здесь я один; почти всё, что вокруг себя вижу, мне не отвечает, а мне нужна подпора. О! моя жизнь прошла не так, как бы дóлжно было. Ты имел перед собою брата, батюшку — какие люди! но я вечно прозябал, почти один, хуже, нежели один, потому что не был оставлен, не был брошен, следовательно, не имел нужды действовать, мог спать умом и телом, и спал, и проснулся очень недавно, и по сию пору не умею владеть собою. Эта неподвижность, этот душевный паралич, который часто чувствую, приводит меня в отчаяние. Всякий раз, когда вспомню о брате2, то живее чувствую цену его и потерю. Что бы он был для меня теперь! Кажется, мне теперь жаль его больше, нежели тогда, когда мы его лишились! Я теперь больше чувствую самого себя, больше знаю цену настоящую жизни и больше понимаю, для чего я живу. Дружба его, как она ни была коротка и как я ни был ничтожен в то время, когда его знал, оставила что-то неизгладимое в душе моей: весь энтузиазм к доброму, всё благородное, что имею, всё, всё лучшее во мне должно принадлежать ему. Мне кажется, всякий раз, когда об нем вспомню, стал бы на колена, для чего — не знаю; но какое-то особливое чувство меня к этому побуждает. Ах, брат, нам надобно жить на свете не так, как живут обыкновенно, жить возвышенным образом; но я *один* ничего не сделаю; мне необходима подпора. Я найду ее в дружбе, и в твоей дружбе. Дай руку, но только дай ее от всего сердца и не ожидай найти ничего слишком отменного; я должен еще быть образован для дружбы; но, кажется мне, если не ошибаюсь, теперь стал я зрелее, несколько лучше. Нам надобно помогать друг другу, оживлять друг друга делами и мыслями. Бывают такие минуты, в которые жизнь кажется чем-то пустым, в которые самое добро кажется ничтожным, ничего не хочешь, ничего не почитаешь нужным и важным; такие состояния души часто

очень долго продолжаются; надобно, чтобы какая-нибудь неожиданность их уничтожила, и в такие-то минуты всего нужнее дружеская подпора. По твоему письму заключаю, что ты во всё это время не был счастлив, страдал душевно; вообрази ж, что я почти завидую этому состоянию; душа твоя была по крайней мере не в бездействии. Я бы даже иногда желал, чтобы какое-нибудь потрясение меня разбудило, чтобы я мог с чем-нибудь бороться и, следовательно, напрягать все свои силы: либо пан, либо пропал! Всякое состояние имеет свою горечь. Излишнее спокойствие усыпляет, если оно не приобретено трудом, не

есть отдых, а всегдашнее, постоянное состояние. Излишнее волнение изнуряет, следовательно, может быть также убийственно для души, которая, видя свою неспособность действовать, отказывается от деятельности и теряет бодрость. Мне кажется, ты был в последнем положении, а я часто бываю в первом. Иногда не вижу перед собою ничего, всё задернуто каким-то густым туманом, сидел бы поджавши руки и закрыв глаза, больше ничего! Но это состояние оттого так тягостно, что не можешь его не чувствовать, что видишь, как оно низко, и не находишь в себе довольно сил, чтобы из него вырваться; оно хуже самого ни-

чтожества, которое по крайней мере не чувствительно.

Надобно, брат, и мне и тебе назначить себе постоянную цель; видя ее вдали, по крайней мере не будешь в нерешимости, будешь знать, чего хочешь, и следовательно будешь стараться получить. Если минуты расслабления и случатся, то, конечно, не будут так продолжительны: взгляд на будущее, на тот предмет, которой сам себе избрал, будет оживлять душу и возвращать ей прежнюю ее

силу и бодрость.

Так, брат, я понимаю и иногда чувствую, что ничто так не возвышенно, как иметь твердую, постоянную уверенность в бессмертии: это единственная цель наша. Как должна быть велика, чиста, непобедима та душа, в которой чувство бессмертия всегда живо и всегда присутственно! Вот всё основание морали, и тот человек должен благословлять судьбу, кто смолоду напитан возвышенными понятиями о бессмертии: он не может не быть добродетельным, по крайней мере никогда не будет дурным. С этой стороны ты счастливец. А я? — Брат! Брат! — скажу тебе, как Карл Моор, который смотрит на ясное заходящее солнце и вспоминает о том, что он был прежде!3 Я не вспоминаю о прошедшем, потому что оно мало оставило на душе моей: но воображаю, кто бы я был, когда бы прошедшее было не таково, каково оно было! В прошедшем не вижу ничего, кроме нескольких часов, проведенных вместе с братом; и те прошли почти неприметно: я был не в состоянии ничем пользоваться и в самом деле ничем не воспользовался! Наша дружба была зародыш, который совершенно увянул при своем начале; теперь ничего не воротишь! Воспользуемся тем, что можем иметь. Мы, кажется, двое много можем! По крайней мере, я вместе с тобою! Ты должен быть согревателем моей души, должен поддерживать во мне чувство бессмертия. Если оно укоренится в душе нашей, то жизнь наша пройдет не даром. Главное, единственное, что мы друг для друга делать можем, есть взаимное старание возвышать нашу душу; всё прочее само собою сделается. Кто дал себе высокие чувства, тот дал себе всё. В свете должен казаться странным тот человек, который имеет своею целью бессмертие, совершенство; но нашей цели не должен никто ни знать, ни видеть: она должна быть сокрытою; взгляд света может ее обезобразить в собственнных наших глазах. По крайней мере, я за себя не совсем ручаюсь, и для того-то требую подпору, защиты против самого себя: я не приучен ни к какой деятельности — ни к душевной, ни к телесной, следовательно не уверен, могу ли с чем-нибудь бороться и что-нибудь победить.

Я живо себе представляю, какое блаженство должна давать прямая религия; она возносит человека выше всего, выше самой его личности; но я только представляю это: я в себе не нахожу того сильного, внутреннего, неизгладимого

чувства, которое должно быть твердейшим основанием религии. Всё, что я видел вокруг себя по сию пору, должно было если не отвращать, то по крайней мере поселять во мне совершенное равнодушие к религии: я видел христиан на словах, которые не имеют понятия о возвышенности чувств христианских,

о бессмертии и пр.; несогласие чувств и дел с правилами и словами, всегда замечаемое мною с колыбели, должно было произвести во мне это неуважение и равнодушие. Я должен теперь, если можно, победить привычку, уничтожить старое, чтобы поселить в себе что-нибудь хорошее; сверх того, необходимо нужно что-нибудь такое, что бы сильно меня к этому подвинуло, а этой-то побудительной причины недостает. Дай мне понятие о религии твоего батюшки. Она не должна быть обыкновенною, и если ты в ней уверен, то почему я не могу быть уверен? Эти вещи самые важнейшие, потому что на них должно основываться всё наше бытие, должны быть между нами общими, по крайней мере столько общими, сколько это возможно. Весело и прекрасно иметь побудительную причину во всех случаях жизни; по крайней мере одна только побудительная причина у всех и быть может: искание совершенства. И что же дружба, когда она не будет пособием в этом искании? Друг, жена — это помощники в достижении к счастью, а счастье есть внутренняя, душевная возвышенность.

Wem der große Wurf gelungen Eines Freundes Freund zu sein,

Wer ein holdes Weib errungen…[[18]](#footnote-18)4

Эти стихи я нынче очень чувствую! И как много такого, что прежде пропускал мимо ушей, теперь сделалось важным и значащим.

Но я всё говорю о себе, а еще не сказал ни слова о тебе. Ты описываешь мне свое душевное уныние, а не говоришь ни слова о том, что произвело его. Что такое? Или не лишние ли мои вопросы? Но с тобою должно было что-нибудь новое случиться! Если тебе тяжело рассказывать, то не рассказывай; я бы хотел быть с тобою! Это бы, может быть, полезно было для тебя, или хотя несколько облегчительно, и для меня также полезно; но две причины меня здесь удерживают. Первая та, что мне совершенно не с кем приехать; вторая та, что я *должен* и хочу заплатить самый важный долг5 до своего отъезда в чужие края, следовательно принужден работать. Я и здесь лениво работаю, потому что иногда, право, ничто нейдет в голову, а в Москве и поготово[[19]](#footnote-19) буду лениться и не иметь времени. Итак, видишь, что мне необходимо нужно здесь остаться,хотя и желал бы в Москву. Сверх того, построен дом6; я уезжаю надолго, надобно всё оставить без себя в порядке, чтобы матушка не имела хлопот, и эти совсем не поэтические занятия часто меня бесят. Одним словом, я должен пробыть здесь всю весну и лето; в конце лета располагаюсь ехать. Думаю вместо вояжа и переезда из места в место остаться в каком-нибудь университете, и именно в Ене7, где, говорят, очень дешево жить и который малым чем уступит Гёттингену. Мне описывал это место один немец8, который учился в Ене у Нимейера9 и который хочет мне дать рекомендательные письма. Путешествовать в теперешних обстоятельствах не совсем будет способно. Лучше учиться. С тремя

тысячами, которые дает мне Антонский10, могу прожить без нужды довольно времени в Ене. Ученье теперь мне всего нужнее, потому что я совсем ничего не знаю, а кажется, время что-нибудь знать. Что ж Николай?11 Поедет ли он, если я поеду? Или не раздумала ли матушка?12 Признаюсь, эта мысль меня радует — быть ему товарищем: мы бы вместе стали трудиться! Он, мне кажется, человек будет не пустой. Что такое он написал для акта?13 Нельзя ли прислать? Уверь его, пожалуйста, что он во мне найдет самого верного товарища. Я для себя и для него ожидаю величайшей пользы от путешествия. Опытность, познания, деятельность — всё можем получить в это время. Путешествие должно положить основание всей моей будущей жизни; теперь еще не знаю, что я, следовательно не знаю, на что гожусь; но тогда, конечно, узнаю. К тому же мне необходимо надобно учиться, самому никак нельзя во всём успеть, особливо одному; мне хочется непременно сделать из себя всё то, что теперь осталось мне возможным, всё лучшее, полезное: кто это имеет целью, тот, по крайней мере, не сделает ничего дурного. Еще раз повторяю: будем помогать друг другу, будем оживлять друг друга словами, делами, всем. Напиши ко мне больше о себе; о своем плане жизни; обо мне; о том, что нам делать обоим; как мы можем быть полезны друг для друга! Мне бы хотелось знать твои мысли о счастье, какое тебе возможно и какого нам обоим можно искать. Что ты думаешь о моем вояже и что мне советуешь делать, если не поеду? В будущем письме буду писать о том, какое счастье я себе воображаю и какое мне возможно. Но всё это похоже на воздушные замки, и тебе должны казаться смешными мои вопросы. Однако же ты должен на них отвечать! Не правда ли, однако ж, что я о твоем и своем счастье хочу рассуждать, как будто о какой-нибудь философической задаче? И в самом деле, неужели об этой материи надобно рассуждать в горячке и быть всегда мечтателем? Надобно сделать для себя какой-нибудь основательный план, не химерический, но утвержденный на возможности; нам надобно друг другу сообщать свои намерения и чувства, друг другу помогая сделать что-нибудь хорошее, утвердиться на чем-нибудь постоянно — итак, напиши мне о себе всё, не поленись, будь моим путеводителем или по крайней мере советником.

Что делает Мерзляков? Он забыл меня совершенно: я не получил от него ни строчки; не знаю, что он делает и что наше с ним путешествие! Я сам к нему почти ничего не писал, но всё писал — и в твоем письме, и один раз особенно. Напомни ему обо мне! За что нам друг от друга отдаляться? Признаюсь, мне обидно слышать, что ты с ним редко видишься: кому ж бы друг друга поддерживать и искать, как не вам двум! Что ж значит это отдаление? Не знаю, как это назвать; но мне кажется, что Мерзляков (хотя с ним мне всегда было весело быть вместе, потому что он человек необыкновенный) не был со мною таков, каким бы я желал его видеть; например, между нами не было искренности; если мы и говорили друг с другом, то вообще всегда говорили о посторонних материях;

одним словом, мне всегда казалось, что я мало для него значу, и от этого он мало на меня имел влияния. Может быть, этому причиною и то, что он не хотел иметь влияния: по крайней мере, я по сию пору еще его не знаю; он никогда мне не открывался, даже в самых безделицах, в своих сочинениях, не только в мыслях и чувствах. Между нами не было ничего общего; я не могу от него ничего требовать; нет ничего тяжелее и скучнее, как насилие и принужденность. Но он не имел причины мне показывать обманчивой наружности; следовательно я имею всё право верить тому, что он мне показывал, и теперь верю; только мне кажется, что всё было не таково, каким бы должно было быть между нами. Отчего такая слабая связь, такое равнодушие между нами? Нас должно оживлять одно, поддерживать одно! Одним словом, наша жизнь должна быть cause commune![[20]](#footnote-20) А мне кажется, что он меня забыл и всегда искал меня меньше, нежели я его. Или не вздор ли я написал и не похоже ли это на прицепки? Скажи ему обо мне полслова и напиши об нем что-нибудь. Нам надобно жить связно и жить друг для друга. Я признаюсь перед вами, любезные друзья, что я сам был что-то не

то, но нам надобно быть образователями друг друга. Не забывайте меня; я здесь имею в вас нужду, может быть, больше, нежели вы во мне.

Но прости, брат, на будущей почте буду писать еще; то есть получив от тебя ответ. Теперь некогда, мне мешают.

Пришли мне свое Путешествие14. Я теперь занимаюсь собранием русских поэтов15; скажи Мерзлякову, чтоб он прислал мне лучшие свои стихи: не будет ли чего для помещения в это собрание?

Пришли Путешествие. Неужели искреннее суждение дружбы не будет для тебя приятно? Все мои сочинения увидят не прежде свет, как с пропуском и благословением моих друзей.

À propos[[21]](#footnote-21). Пожалуйста, прочти Виландова «Агатона»16. Святая книга! Я начинаю больше уважать немецких авторов! Ради Бога, пришли мне что-нибудь хорошее в немецкой философии! Она возвышает душу, делая ее деятельнее; она больше возбуждает энтузиазм. Этому причина, конечно, то, что бóльшая

часть немецких философов живут в совершенном уединении, следовательно больше угадывают людей, видят их издали и больше применяют к себе. Французские все играют роль в большом свете, все подчинены хорошему тону, менее глубоко мысленны и меньше имеют живости в чувствах, которые обыкновенно притупляются светскою жизнью. Один Руссо17 может быть исключением, но Руссо жил всегда в уединении. Итак, пришли мне какого-нибудь немца-энтузиаста. Мне теперь нужен такой помощник, нужна философия, которая бы

оживила, пробудила мою душу. Если есть Schiller’s kleine prosaische Schriften18, присылай. Не забудь поздравить от меня батюшку с Новым годом; напиши об нем, об Иване Володимировиче19. О последнем буду говорить с тобою много, но не теперь! Спешу, мешают, торопят писать! Прости, брат! Что Андрей Сергеевич?20 Знаешь ли, что мне приходит в голову с ним поближе сойтись. Нам надобно составить отдельное общество! Но после, после!

**22.**

**А. И. Тургеневу**

*<Ноябрь 1806 г. Москва>*

Mon cher ami[[22]](#footnote-22), будучи ленив неподражаемым образом, ты еще меня хочешь наказывать за леность: побойся сатаны! Я отвечал на твое письмо, хотя несколько поздно, но ты сам отчасти причиною такого замедления: ты не доставил мне своего адреса, и я принужден адресовать письма на имя Костогорова1 и посылать через Соковниных2.

Деньги твои сию минуту получил и сию минуту везу к братьям3; я очень редко вижу матушку4, потому что теперь совершенно никого не вижу, сижу и должен сидеть дома. Не пеняй на меня, любезный друг, и более всего не сердись на меня за мою лень. Говорят, что отдаление, долговременная разлука, светская рассеянность, особливо рассеянность такого рода, как твоя, уменьшают дружбу! Я уверен, что ты это опровергнешь своею ко мне привязанностью.

*Обстоятельства* мои теперь идут так, мой любезный, добрый и неизменный Александр, что, может быть, я должен буду ограничить себя одною дружбою.

Эта счастливая идея блеснула сию минуту в моем сердце.

Так, любезный друг, быть может, для *счастья жизни* буду искать прибежища в тебе; ты, может быть, должен будешь заменить для меня *многое*: что

с одной стороны *потеряю*, то буду стараться *заменить* тобою! Идея радостная, идея, которая должна быть для меня теперь усладительна! Мы будем действовать вместе, друг для друга, действовать достойным друг друга образом! По крайней мере, эту жизнь можно будет назвать жизнью благородною и почти счастливою! Забудем ли когда-нибудь нашего брата?5 Забудем ли когда-нибудь друг друга? Брат, ради Бога, *возобновим* свою дружбу и будем жить, имея всегда перед глазами один другого; тогда, по крайней мере, душа не увянет. Благодарю счастливого гения, который дал мне перо в руку и побудил к тебе напи-

сать. Будущее для меня озарилось! Прости, любезный друг; теперь буду видеть в будущем тебя, et vous devrez être mon refuge[[23]](#footnote-23). Для того, чтобы я был добр, ценил жизнь и не потерял живости и чистоты душевной, не закрывай для меня сердца! Oui, il faut tenir à quelque chose; vivre sans liens, après avoir rompu tous ceux qui ont été si chers, c’est exister dans un tombeau![[24]](#footnote-24) Прости, мой друг; я еще буду

говорить с тобою, и много, но не теперь.

**23.**

**А. И. Тургеневу и Д. Н. Блудову**

*<Первая половина декабря 1806 г. Москва>*

Здравствуйте, любезные друзья Тургенев и Блудов! В доказательство того, что я вас помню и люблю, может быть, больше прежнего, посылаю вам целую кипу стихов1, из которых одни точно на ваше имя написаны и в такую минуту, в которую я с большим чувством думал об вас и о прошедшем времени2. Которые это стихи, вы сами узнать можете. Сделай дружбу, брат Тургенев, вели напечатать «Барда»3 особенно, если можно, с виньетом, на котором бы представить ту минуту, в которую Бард взбежал на холм и видит летящие тени. Извини, что занимаю тебя стихами тогда, когда мы все должны думать об отечестве4; но эти

стихи суть новый дар отечеству; я желал бы, чтобы ты сделал их известными. Если напечатаешь, то пришли и мне сколько-нибудь экземпляров. Покритикуйте их вместе с Блудовым и, если вздумаете что поправить, поправьте. Только поспеши. Здесь они будут напечатаны в «Вестнике»5. О других же моих пиесах не заботься; они будут напечатаны в «Вестнике» же, и я смешон бы был, когда бы хлопотал об них или занимался сочинением басен6 в такое время, каково на-

стоящее. Все эти стихи написаны в октябре, в спокойнейшие минуты, а теперь ни на чем постороннем нельзя остановить внимания. Я приехал было в Москву с тем, чтобы целый год посвятить порядочному учению, пройти историю и философию, и потом уже, имея основательные знания, приняться за что-нибудь важное и полезное; но теперешние обстоятельства, кажется, не позволят заняться науками. Я не знаю, на что решиться, и желал бы знать ваше мнение об этом, братцы. Теперь всякий обязан идти в службу, и я чувствую свою обязанность; но служить надобно для того, чтобы принести пользу. Вы знаете мои способности; скажите, что мне делать? А я не желал бы остаться в бездействии тогда, когда всякий должен действовать, но желал бы действовать так, чтобы принести пользу. Ожидаю вашего ответа, по крайней мере твоего, Тургенев: ты не так ленив, как Блудов, в котором одна страсть поглотила все другие способности, склонности и пр. и пр.7 Ты должен непременно отвечать мне, и в скорейшей скорости.

Если не ошибаюсь, то в сочинении манифеста8 участвовал и ты: кажется, есть в нем сходство с твоим слогом9. Вообще написан хорошо; но вы забыли, государи мои, что вы говорите с русским народом, следовательно не должны употреблять языка ораторскаго, а говорить простым, сильным и для всех равно понятным. Нынче и тот, кто привык читать и знает риторику, пленяется меньше украшениями, нежели простотою. Вообрази, что этот манифест должны читать все генерально. Кто знает Цицерона, для того он будет убедительнее, хотя и на него ораторские обороты будут вполовину только действовать: язык оратора подозрителен, ибо знаешь, что красноречие всё увеличивает. Для простого народа и для большей части высокого дворянского

сословия важнейшие места из манифеста будут почти непонятны, следовательно потеряют бóльшую часть своего действия. Мало и не положительно сказано о награждениях. Вы думаете всё основать на чувстве патриотизма, которое в большей части очень слабо, в одних потому, что они беспрестанно рассеяны светским вздором, следовательно не могут иметь ничего солидного в голове; в других потому, что они слишком грубы и необразованны, следовательно не могут иметь понятия о должностях морального человека и об отношениях гражданина к отечеству; а в простом народе оно едва ли может существовать: причина очевидна. Итак, надлежало бы говорить даже о личных выгодах и о личной опасности и о любви к государю. Для большей части народа русского государь знакомее отечества; и самый низкий народ всегда бывал привязан к государю, это докажет история: для грубых людей натуральнее любить лицо государя, которое они могут знать и видеть, нежели отвлеченное лицо отечества, которое существует в одном воображении. Тот, кто уже говорит об отечестве и понимает то, что говорит, может назваться довольно про-

свещенным; этого просвещения еще нет в нашем народе.

Что ж касается до личных выгод и личной опасности, то надлежало бы и их представить явственнее; надлежало бы сказать, какая именно опасность нам угрожает, и сказать самым простым, понятным языком: тут бы можно было распространиться о вере. Вот случай, в котором самая фанатическая вера может быть полезною: фанатизмом можно управлять, а теперь только того и желать дóлжно, чтобы всё покорялось без прекословия. Для чего не сказано ничего об

опасности, угрожаюшей нашей вере? Вера есть имение каждого; всякий, разумеется, верующий, а как скоро верующий, то и большой энтузиазм получить могущий, вступился бы за свою собственность. Этот предлог еше необходимее для наших крестьян, которые не имеют собственности. Представить бы опасность не риторски, а просто, сильно и языком для всех понятным. О награждениях сказано вообще! А это-то и требовало распространения. В первую минуту энтузиазм мог воспламенить ревность, но дóлжно бы было дать подпору энтузиазму; надежда на будущие выгоды могла бы быть ему подпорою. Определить бы награду для дворян, что меньше, однако, нужно, ибо дворяне могут больше быть убеждены в необходимости вооружения; определить бы награду и для самих мужиков, и вот, мне кажется, благоприятный случай для дарования многих прав крестьянству, которые бы приблизили его несколько к свободному состоянию, которого наш государь так сильно, кажется мне, желает: первый шаг труден, и для сделания сего шага нужен нам непременнно повод, а теперешний случай может почесться весьма сильным поводом. Мало также и не весьма ясно говорено о распущении войск: многие вообразят, что должны будут служить как обыкновенные солдаты.

Теперь много, весьма много зависит от помещиков и от исправников: им бы дóлжно было, одним своих крестьян, другим казенных, собрать и толковать им волю государеву, прочесть перед ними манифест и объяснить им их собственную должность; вселить бы в них уважение к тому званию, в которое они посвящаются; дать им почувствовать, что они идут не насильно, а по призыванию своего государя; представить бы им надежду на награждения и отличия;

одним словом, уничтожить совершенно то уныние, которое я заметил уже во многих, чему причиною сам манифест, в котором о необходимости вооружения и должности гражданской говорено языком ораторским, следовательно не совсем понятным для всех. У большей части по прочтении манифеста остается

одна только мысль о новом и ужасном наборе, и никакая другая о выгоде сего набора и об обязанностях каждого не может поколебать впечатления, им произведенного, потому что это впечатление самое главное и сильное. Надлежало непременно уничтожить его другими сильнейшими. Наши дворяне могли бы легко его уничтожить и даже заменить энтузиазмом или по крайней мере готовностью на всё; но сколько на это способных из живущих по деревням? Еще ж, едва ли не больше, могли бы сделать священники. Я бы написал проповедь простую, но сильную, которую бы разослал по всем приходам и велел бы читать перед народом; умный священник к написанному мог бы прибавить свое словесное толкование, а глупый ничего не прибавил, а прочел бы всё так, как написано. Это произвело бы великое действие. В проповеди основал бы всё на вере; говорил бы о любви к государю, к женам и детям, о потере возможной имущества и о наградах в здешнем и будущем мире: одним словом, освятил бы вооружение. Между тем и для каждого офицера приготовил бы такую же инструкцию, по которой он бы непременно часто, если не ежедневно, внушал каждому солдату его должность; но чтобы и тени не было витийства; оно хорошо на кафедре, перед народом афинским, но не в России, где народ не одарен живым воображением: больше ж всего говорить бы о вере, государе, личных выгодах и наградах, которые непременно бы должно было выполнить… Вот тебе, мой любезный друг, мои мысли, которые осмеливаюсь вверить почте, потому что они основаны на желании блага моему отечеству. Теперь узнáем, каков патриотизм русских. По крайней мере, история сохранила не много таких примеров любви к государю, которые заставляют ожидать от истинно русских необыкновенных пожертвований. Желал бы узнать, куда назначаются все эти семь войск10, кто будут начальники? Напиши об этом, если только об этом писать позволено… Между тем прости, любезный друг. Я писал к тебе о манифесте для того, что почитаю тебя его автором. Отвечай мне скорее: что я должен делать и что могу сделать? Об этом ты можешь сказать что-нибудь решительное. Если надобно будет идти, то нельзя ли будет получить такое место, где бы я мог употребить в бóльшую пользу свои способности, а именно, нельзя ли будет найти случая втереться в штат которого-нибудь из главнокомандующих областных для письменных дел и не можешь ли ты для меня этого сделать? Я стал бы работать и душой, и телом. Впрочем, и во фрунт идти не откажусь, если нужно будет идти, хотя за способности свои в этом случае не отвечаю11. Подумай за меня хорошенько, любезный друг; сообщи мне свои мысли немедленно. Я между тем буду с другими советоваться, но ни на что решительное без твоего мнения не отважусь. Теперь всякий *желающий* может быть хотя несколько полезен, но чем больше, тем лучше; итак, надобно искать места по способностям. Похлопочи обо мне: в этом случае полагаюсь на тебя совершенно. Прости.

Кто жизнию дерзнет купить порабощенье!

Отчизны ль нашей быть добычей их когтей!

Иль диво нам карать надменных!12

Поспеши напечатать эти стихи: это лепта вдовицы.

У батюшки твоего бываю. Он слаб: говорит лучше прежнего и больше, но слабее. Одна только мысль и занимает его: поездка в Петербург13. Я непременно всякую субботу у него ночую и обедаю по воскресеньям; в другие дни расположился заняться своими лекциями14; но теперь не знаю, что будет. Отвечай, отве-

чай мне немедленно: твой ответ будет для меня доказательством твоей дружбы. Обнимаю вас, любезные друзья…

Нет, нет! Пусть всяк идет во след судьбы своей! Но в сердце любит незабвенных!15

Блудов, от тебя жду критики на мои стихи: твоя критика для меня закон.

**24.**

**А. И. Тургеневу**

*24 декабря <1806 г. Москва>*

24 декабря

Le mal est fait, mon cher ami![[25]](#footnote-25) Стихи напечатаны в «Вестнике»1 прежде, нежели я получил твое воспламеняющее письмо2, которое оживило мой гений. Для стихотворца, который себя чувствует, довольно двух судей, одаренных сродным с ним чувством: твоя похвала и Блудова стоят для меня похвалы всех наших почтенных сограждан и современников. Слыша чью-нибудь глупую критику, буду думать: мои друзья не так судят, и всякая такая критика будет для меня только смешна. Одним словом, скажу тебе, что я читал твое письмо с восхищением, и эта минута была моею наградою за труды мои, если только стихи, произведенные в минуту вдохновения, можно назвать трудом. Критики Блудова ожидаю и уверен, что она еще больше воспламенит меня: умная критика всегда открывает дорогу к новым подвигам. Поспеши, любезный, добрый друг, напечатать «Барда» и делай с ним, что внушит тебе твоя ко мне дружба,

только пришли мне сколько-нибудь экземпляров, и поскорее. Я спешу сообщить тебе мой план. Кашин3 почти положил эту пиесу на музыку. Она должна быть представлена мелодрамою на театре, и думаю, что произведет великое действие, и конечно, больше, нежели при чтении. К будущему понедельнику, то есть через восемь дней, она совсем поспеет и тотчас будет по почте доставлена к тебе; нельзя ли будет похлопотать, чтобы ее дали на театре и чтобы Нарышкин4 дал приказание и на здешней <сцене> ее сыграть (об этом уже постарайся ты)? Впрочем, вы с Блудовым рассудите, прилично ли это будет или нет? Мне кажется, что можно бы.

«Вечер»5 отдаю на твое расположение и чрезвычайно рад, что ты находишь в нем то же, что я нахожу. Что же касается до моего приезда в Петербург, то я, признаться, пленяюсь твоим приглашением; я чувствую, что я был бы совсем не тот, когда бы жил вместе с вами, братцы! Если письма ваши (которых, однако, почти не пишете) меня так оживляют, что ж ваша дружба, которая мне так нужна и так нам необходима для нашего общего образования! Но я, братец, здесь занят без помешательства лекциями: мои знания очень несовершенны, надобно хотя несколько усовершенствовать их! Если б можно было найти в Петербурге такую службу, которая бы не мешала мне заниматься и в то же время (что всего важнее!) могла доставлять мне средства к моему содержанию (ведь не всё же мне ходить в Блудова сюртуке6 и жилете и есть слоеные пироги), то я бы с радостью, с большою радостью к вам приехал. Подумай, любезный друг, какого рода службу можешь найти мне; только, пожалуйста, подумай об этом хорошенько, чтобы мне не потерять! Простите, друзья, милые друзья, не могу больше писать! Блудов, обнимаю тебя от всего сердца, хотя имею право на тебя сердиться. Ты обманул меня! Хотел ко мне приехать и не приехал, а я так радовался этою мыслью. Простите, братья. Вот хор, который я прибавил к «Барду», для музыки:

Росс! И щит, и меч во длань!

Враг за гибелью притек!

Смерть ему от Росса дань! Жертвой рок его нарек!

Прочь покоем наслажденье!

Там отчизна! Там наш царь!

Братья, руки на алтарь!

Клятва: смерть или спасенье!

Мы ль на жертву предадим Вас, Славян отцы священны? Мы ль врага не истребим От отчизны ополченны?

Росс! И щит, и меч во длань, и пр.7

Пришли мне братнины стихи печатные8. Я их отдам Кашину, чтобы сделал на них польский.

# 1807

**25.**

**А. И. Тургеневу**

*<Первая половина января 1807 г. Москва>*

Я получил твое последнее письмо1, любезный друг Александр, и мне очень жаль, что Блудов болен, тем больше, что его по выздоровлении ожидает самая горестная весть о смерти его матери, которая скончалась от водяной2. Я уверен, брат, что и ты, и Озеров3 всё сделаете, чтобы не нанести этою вестью слишком

сильного удара, который еще сильнее будет после болезни. Я воображаю, какого рода эта болезнь: расслабление нервов. Скажи Блудову, что я искренно желал бы разделить с ним его горесть, и надеюсь, что мог бы пособить ему ее перенести; но дóлжно быть покуда с вами розно. Не хочу и не почитаю нужным утешать его на письме; горесть успокаивается временем и дружбою: ты можешь быть в этом случае для него очень полезен. Боюсь, не присоединяется ли к его болезни какая-нибудь другая горесть4, или и болезнь произошла от этой горести? Если так, то его теперешнее положение будет очень тяжело, и я очень,

очень сожалею об нем и очень бы желал быть теперь вместе с вами, братцы. Ты правду говоришь, что мы нужны друг другу; но это надобно бы было доказать на самом деле, а мы рассеялись по разным сторонам, и наша дружба мало имеет влияния на нашу душу, тогда когда она бы должна была иметь великое влияние. Не ты один жалуешься на холодность, и я иногда чувствую эту болезнь; твоя происходит от чрезмерной рассеянности, а моя — от частого одиночества. Нам можно бы было оживлять друг друга. Может быть, и приведет судьба жить вместе и вместе действовать. Между тем старайся найти мне такое место, которое не разлучило бы меня с музами и не требовало бы от меня большой гибкости и расторопности: я чувствую, что я, как говорит Державин о себе, — расстегай5. Но ты меня знаешь и должен знать, какое место мне прилично; впрочем, служба не очень меня прельщает. Что, если дóлжно будет отказаться от всего,

чем привык заниматься, и посвятить себя такому делу, которым я ничего не выиграю, потому что не умею ничем воспользоваться? Думай за меня, только не будь опрометчив. Пожалуйста, напиши мне хоть несколько строк о Блудове на будущей почте: я нетерпеливо хочу знать о его положении; попроси его самого написать, как скоро сможет. Прости. Я тебе, однако, очень неблагодарен за то,

что ты взялся напечатать стихи и не печатаешь. Случай пройдет, и они никуда не будут годиться. Оставь на минуту свою рассеянность, особливо ж это так легко; а хора печатать не надобно6. Он только для музыки. Пришли адрес твой и Блудова квартиры.

**26.**

**А. И. Тургеневу**

*17 января <1807 г. Москва>*

17 генваря

Не стыдно ли, брат Тургенев, быть так ветреным? Ты написал ко мне о болезни Блудова, думаешь, что он почти опасен, и в последнем письме1 своем не говоришь ни слова о его болезни; пожалуйста, поспеши мне дать знать, что

с ним делается, и сказали ли вы ему о смерти матери: ее в понедельник погребли2, и я был на погребении. Если вы еще не сказали, братцы, то надобно это сделать осторожнее. Пожалуйста, поспеши написать обо всем об этом. Что же касается до последнего твоего письма и до службы, то я, право, не знаю, на что решиться. Как мне приехать в Петербург, не знавши, зачем я приеду? Для чего

ты не написал, какого рода служба меня ожидает? Нужны выгоды. Я не очень буду доволен, если меня определят *куда-нибудь*, в первую открывшуюся должность! Сверх того, чем меньше зависимости, тем было бы лучше: нет ли у вас, например, какого-нибудь *библиотекарского* места с хорошим жалованьем, и вообще я бы желал места по части просвещения. Ты, однако, не очень должен

спешить: я теперь занят своими лекциями, следовательно, ничего не потеряю, если и через год войду в службу. Прости, любезный друг, буду ожидать твоего письма с нетерпением. Блудова болезнь меня беспокоит: он не очень крепок, а болезнь опасная и тяжелая, как я слышал от Сокорева3; пожалуйста, поспеши дать знать об нем. А я пишу мало оттого, что голова очень тяжела; перо из рук валится.

Твой *Жуковский*

Мне пришла идея! Что, если бы меня сделать каким-нибудь директором училища, и именно в Москве? Я может бы мог быть и полезен! Но об этом еще надобно подумать и узнать, что за должность. По-настоящему, если бы нашлась хорошая должность в Москве с хорошим жалованьем, то мне бы выгоднее остаться в Москве; мои родные все здесь, и сверх того, моя матушка могла бы жить со мною.

P. S. Что ж, брат, стихи? Видно забыл? А Кашин сделал музыку4, но теперь она ни на что не годится. Что ты ничего не напишешь о наших военных обстоятельствах?5 Пришли мне свой адрес.

**27.**

**А. И. Тургеневу**

*28 января <1807 г. Москва>*

Мой милый, любезный друг, спешу сказать тебе несколько слов; батюшка твой поехал отсюда в прошедшую пятницу, т. е. 25го я его проводил. Дай Бог,

чтобы он обрадовал тебя своим благополучным приездом. Я с своей стороны очень, душевно обрадовался выздоровлением Блудова; поздравь его от меня; писал бы к нему особенно, но, право, спешу. Еще больше буду обрадован, когда

от него самого получу несколько строк. Нынче мое рождение1. Выпейте, братцы, за мое здоровье так, как я буду пить за ваше вместе с Мерзляковым. Тургенев, если хочешь меня видеть у себя, то напиши мне, какого рода службу могу надеяться найти и должен ли я сейчас приехать, или не могу ли остаться до окончания первого курса моих лекций. Напиши пообстоятельнее; возьми на себя этот труд и, пожалуйста, не будь так рассеян. Если моя ода2 отпечатана, то поспеши мне доставить несколько экземпляров; жаль, что не будет виньетов.

Прости. Матушка твоя велела тебе сказать, чтобы ты приготовил Франка3 к приезду батюшки, то есть предупредил бы его в том, чтобы он взялся лечить батюшку. Прости, брат. Напиши же поскорее, не забудь сказать о новостях. Если нужно будет приехать, приеду, и поживем вместе.

*Жуковский* 28 генваря

**28.**

**А. И. Тургеневу**

*<Начало февраля 1807 г. Москва>*

Спешу послать тебе летописцы; последние экземпляры. Новогородский Летописец1 обещали мне доставить. В четверг буду у Карамзина и спрошу у него, что за птица *Большой Чертеж*2. И Новогородский Летописец, и Чертежа объяснения пошлю в будущий понедельник. Теперь прости. Не стыдно ли написать ко мне целое письмо вздору и не сказать ни слова о том, что для меня важно, о моей службе? Решись на минуту отложить рассеяние. Спроси у Блудова, можно ли ждать его скоро в Москву; мне сказывали, что он должен скоро приехать: это очень бы меня обрадовало. Что нового в армии? Не слыхал ли? Напиши. Теперь батюшка, верно, уже в Петербурге: каков он?

При Московских древностях посылаю и Московские новости: стихи, которых автор твой и мой знакомец3. Бутервекова Эстетика у меня есть4; ты можешь свой экземпляр у себя оставить, но хорошо сделаешь, если купишь мне Платнеровы Афоризмы5, которых здесь нет и по которым я имею честь учиться премудрости. Поищи, пожалуйста, если можно, последнее издание: ошарь все ученые немецкие закоулки в Петербурге: очень буду тебе благодарен. А Новогородский Летописец пришлю на следующей почте; по крайней мере на мою медлительность не будешь иметь причины жаловаться так, как я на твою рассеянность.

**29.**

**А. И. Тургеневу**

*<Вторая половина февраля 1807 г. Москва>*

Посылаю тебе, любезный друг, Новогородский Летописец и первый номер Ученых Ведомостей1. О Чертеже спрашивал у Карамзина; это книжка в двенадцатую долю листа, толстая, в которой содержится не самый чертеж, но

описание какого-то старого чертежа; ее титул «Книга большему чертежу, или Древная карта Российскаго государства. В С.-Петербурге. В типографии Горного училища. 1792-го года». Получил ли ты прежде посланные книги, и те ли я послал, которые тебе нужны? Благодарствую за присылку моих стихов2. Я виноват, прежде пенял на тебя за медленность, но, получив твое письмо, в котором ты говоришь о состоянии батюшки3, подосадовал сам на себя: тебе теперь не до стихов, и я очень воображаю, как должно быть для тебя тяжело твое со-

стояние. Что Блудов не едет? Я жду его нетерпеливо; ему надобно быть скоро, дороги портятся, времени терять не можно, если хочет здесь быть. Нельзя ли прислать с ним Платнера4 и Traité de l’economie politique par Say5 или Canard?6 Здесь не нашел, а очень нужны. Посылаю тебе письмо от Томашевского7. Этот бедняк жалок: попался в комнату каких-то шалунов, которые не дают ему покою, дразнят его и даже бьют. Инспектором Аршеневский8, которому, видно, не хочется вступиться в это дело. Этот бедняк Томашевский очень странен; он не может говорить по-русски и приписывает ненависти к иностранцам те насмешки, которыми потчуют его за странность. Несмотря на то, он жалок; ты

сам знаешь, каковы пансионеры и ученики университетские, а Томашевский, кажется мне, второй том Родзянки9. Я рекомендовал его Шлёцеру10; может быть, он сделает, что его переставят в другую горницу. Письмо же его посылаю к тебе для того, что он просил меня его к тебе доставить; впрочем, кажется, по нем ты не можешь ничего сделать. Как просить Муравьева11 о том, чтобы велено переставить в другую комнату? Нельзя ли об нем только напомнить? Нельзя ли, чтобы Муравьев дал знать профессорам, что интересуется этим человеком? В этих господах очень мало человеколюбия: им легко бы сделать всякую помощь этому бедняку, особливо видя, что он здесь чужестранец, но им лень и подумать об этом; впрочем, против странности не скоро найдешь лекарство. Я между тем поговорю с Шлёцером, не захочет ли он что-нибудь для него сделать? Прости, поклонись братьям. Пожалуйста, напиши мне чтонибудь о батюшке, которому скажи мое искреннее почтение. Что слышно о войне?12 Сделай милость, скажи что-нибудь: здесь ничего не говорят, а это мол-

чание ужасно.

**30.**

**Д. Н. Блудову**

*<Конец июня 1807 г. Москва>*

Пишу к тебе, любезный странник1, накануне своего отъезда в деревню. Завтра рано поутру еду: проживу два месяца в деревне и, может быть, напишу коечто. На будущий год непременно беру «Вестника»2; товарищей у меня не будет: Мерзлякову нельзя, других не возьму, потому что это товарищество может легко обратиться в несогласие. Молись Аполлону, чтобы он меня помиловал; но уже мы не поедем вместе в Петербург: я должен остаться и готовиться к изданию, в котором и ты (надеюсь на дружбу твою!) будешь иногда участвовать. Пора приняться за деятельность; теперь я буду принужден не лениться, и тем лучше!

Реляция о твоем путешествии не очень забавна: ты тонешь и скучаешь3; сверх того, беспокоишься, о чем неизвестно, и по сию пору без причины. Дай Бог, чтобы ты никогда не имел причины, и я как-то уверен, что ты никогда не будешь иметь ее. Оставь ребячество и надейся *лучшего*; освяти свою церковь и поспеши в Петербург; только, ради Бога, не утони опять и сохрани себя для *любви* и дружбы4. Твое поручение беру на себя с радостью — готов быть твоим поверенным по части *благих* дел, и письмо твое, в котором говоришь об этой материи, читал с искренним удовольствием. Назначь сумму и пришли ее ко мне: я буду искать и *действовать*, а вам отдавать во всём подробнейший отчет. Немцу нашел квартиру, и он уже ее занимает, а я ему присоветовал выменять образ святой Анны, какой — не знаю.

Заключу это письмо новостями: Данциг освобожден от французов5, и англичане высадили свою армию на берег; при отражении французов от Данцига убито их 600 и в плен взято 1800; Щербатов6 сделал вылазку, а Каменский7 ударил в тыл. Бонапарте предлагал государю перемирие, обещаясь отступить за Вислу; государь отвечал только: *за Рейн*. Вот всё. Посылаю тебе письмо от Александра Тург<енева> из Бартенштейна8. Ты должен быть мне благодарен за это письмо; пишу его тогда, когда принужден хлопотать и убираться: вот прямой героизм дружбы. Прости. Пиши ко мне в Белев.

**31.**

**А. И. Тургеневу**

*<Начало июля 1807 г. Белев>*

Я получил оба твои письма, любезный друг Александр, одно из Бартенштейна, надписанное на мое имя, другое из Тильзита1, писанное к Костогорову2 и присланное мне Соковниными. Очень благодарю тебя за твою дружбу и желал бы, чтобы ты чаще давал об ней знать своими письмами, которых, однако, не имею права требовать, потому что моя лень обратилась в совершенную болезнь, и писать письма к кому бы то ни было теперь есть для меня *несчастье*. Несмотря на лень, берусь за перо и пишу к тебе. Я в Белеве, с новым планом по своему обыкновению и с совершенною неизвестностью, исполнится ли этот план когда-нибудь. Хочу выдавать на будущий год «Вестника Европы». Каченовскиий3 отказывается, и мои прелиминарные условия с нашим любезным благоприятелем Максимусом Ивановичем4 сделаны. Теперь начинаю готовить пиесы; но так как я довольно мало на себя надеюсь и даже боюсь своей лени, то, любезный друг, не худо будет, если ты постараешься помочь мне. Ты теперь имеешь довольно пособий и источников; тебе известна хорошо немецкая литература, след<овательно> ты можешь назначить мне: что и где находится годного и нового, или старого, но еще неизвестного, в немецких книгах. Ты теперь в таком месте, которое очень интересно по настоящим обстоятельствам. Записывай, что видишь и слышишь; такого рода записки могут занять хорошее место в моем будущем журнале. Еще: твое путешествие по Европе не напечатано5 и, может быть, не приведено в порядок. Если есть в тебе довольно духу и твердости, то постарайся его обработать и приготовь к будущему году. Ты в связи со многими людьми, которые могут иметь в своих портфелях какие-нибудь важные рукописи, которые очень бы мне пригодились: например, я желал бы иметь Записки Кантемира о его посольстве6, которых нет печатных. Нет ли еще каких-нибудь подобных записок? Одним словом, ты имеешь много случаев доставать и слышать любопытные вещи, и если по дружбе своей ко мне возьмешься снабжать мой журнал ими и станешь ревностно доставлять мне всё важное и достойное замечания и *напечатания*, то я буду тебе благодарен от всего сердца. По части политики снабжай меня, если будешь иметь время, сочинениями или переводами, или по крайней мере назначай мне достойные помещения пиесы, то есть сказывай, в каком сочинении их отыскивать. В последнем

случае не нужно будет тебе и письма писать, только напиши в двух строках: такая-то пиеса в такой-то книге хороша. Это будет для меня весьма выгодно: спасет у меня много времени. Нет ли чего в бумагах братниных?7 Я думаю, некоторые статьи из его журнала, писанные в чужих краях, могли бы годиться. Одним словом, будь моим ревностным помощником и побуждай лентяя Блудова, когда опять с ним сойдешься, помогать мне. Если же паче чаяния не войду в издание журнала, то приезжаю в Петербург и вхожу в службу.

Теперь еще одна просьба, любезный друг, на которую, конечно, не получу отказа. Постарайся справиться хорошенько об одном бывшем пансионере, которого и ты, я думаю, знаешь, Проташинском8. Он служит в гвардии, в Измайловском (кажется) полку, унтер-офицером. Думаю, что он уже был в сражении.

Что с ним сделалось, жив ли он и в каких он обстоятельствах? Если ему нужна помощь и протекция и если ты можешь и то и другое доставить, то я уверен,

что без моей просьбы всё полезное для него сделаешь. Если найдешь его, то заставь его, пожалуйста, написать о себе к своим родным. И я, и многие будем тебе за это благодарны. Прости, любезный друг, не забывай посреди шуму и хлопот своих друзей, которые проводят свои дни смиренно и не шумно. Желаю искренно, чтобы все твои планы и желания исполнялись лучше моих. Не забудь написать о своем приезде в Петербург9. Я еще не видал твоей матушки, потому что уехал из Москвы за полторы недели до ее приезда. Наш добрый Леман умер10; я видел его перед своим отъездом: он страдал и желал смерти, которой и я пожелал ему, видя его страшное мучение, хотя горестно видеть смерть такого

человека, который мог бы прожить еще долго и по своему прекрасному характеру достоин был долговременнейшей и лучшей жизни. Adieu[[26]](#footnote-26).

Твой навсегда *Ж.*

Поклонись от меня Гагарину11. А тебе кланяется Лодер12, который лечил мою руку. Я поехал было с Блудовым в Оренбург, хотел видеть некоторую часть православной Руси, но в двадцати верстах от Москвы наша коляска была опрокинута; я ушиб руку; Блудов здоров и теперь странствует один.

**32.**

**А. М. Соковниной**

*<Июль—август 1807 г. Белев>*

Je vous envoye le reste de ma dette et je n’ai pas d’instant libre pour vous dire encore quelque chose de plus. Je ne puis que vous remercier bien sincèrement pour votre dernière lettre et vous dire que vous pourrez m’être d’un grand secours, si vous êtes

toujours la même, c’est à dire telle que vous avez été jadis, dans le temps où on chantait: «Puisque l’orgueil pour jamais te sépare»1. Nous pourrons encore être heureux, non pas moi, mais nous, et cela dépend de nous, et nous devons absolument faire en sorte que cela soit. Adieu. Bientôt nous nous reverrons. Je me presse seulement d’expédier l’argent pour ne pas faire languir notre malheureux traducteur. Ne m’oubliez pas cependant, et Dieu vous bénisse; pour moi je passe ma vie en voyages, bien solitaires et ennuyeux par eux-mêmes, mais qui ont pour moi un côté charmant. Adieu[[27]](#footnote-27). Напишите к Тургеневу и напишите на следующей же почте; Вы знаете его адрес, попросите его от меня.

Самому мне писать теперь некогда: еду и спешу.

Попросите, чтобы он отвечал мне на мое последнее письмо2, дал бы знать, что он и где существует. Он меня забыл. Это и натурально; он бежит за честью и чинами, или нет: он только рассеян, и в те часы, когда остается свободен от своих честолюбивых хлопот, верно, с удовольствием думает обо мне и старом времени. Но главное и самое важное есть то, чтобы узнать от него, проведал ли

он о Проташинском3, который служит в гвардии, в Измайловском полку. Что с ним сделалось, где он и нет ли ему в чем нужды? Пожалуйста, поспешите об этом написать к нему, и так как Ваши слова для него важнее моих, то заставьте, попросите, убедите и прочее его постараться о Проташинском и написать ко мне пообстоятельнее об нем. Поспешите исполнить эту комиссию, чем одолжите меня совершенно. Adieu, adieu[[28]](#footnote-28). Если М<ихаил> Дмитриевич здесь, то поклонитесь ему от меня по-дружески; надеюсь, что он не оставил литературы и будет мне иногда помогать своими переводами4. Когда будете писать к моему любезному А<лександру> Федоровичу5, то скажите ему, что я мысленно его

обнимаю.

**33.**

**А. И. Тургеневу и Д. Н. Блудову**

*<Конец ноября 1807 г. Москва>*

Здравствуйте, любезные друзья, отвечаю к вам поздно и мало, потому что некогда и лень. Я издаю на будущий год «Вестника», это должно быть вам известно; надеюсь на вашу помощь, и это также, думаю, вы знаете. Получу ли от вас какуюнибудь помощь, это едва ли и самому Богу известно. Хотя Блудов и обещал для меня трудиться, доставлять мне свои критики, свои рассуждения, не говорю уже о стихах, но может ли быть, чтобы он когда-нибудь изменил своему характеру, то есть сделался аккуратен и помнил свои обещания!1 Он влюблен!2 Извиняю его, бедного человека! Но ты, бесстрастный стоик Тургенев, которого Путешествие, не рожденное и не сотворенное, занимает целую стопу бумаги, ужели не вздумаешь расстаться с этою ненужною для тебя кипою и дать ее своему приятелю, который, приведши этот хаос в порядок, украсил бы им свой журнал?3 Друзья мои, друзья, вы совсем от меня отступились! Вы могли бы мне помогать и ободрением, и материалами, но вы слишком рассеяны, чтобы обо мне позаботиться! Никак не могу подумать, чтобы были в состоянии исполнить собственное свое желание — в котором я уверен — и подать руку помощи своему товарищу? — Но

чего требует этот товарищ? спросите вы. — Сочинений, новостей, книг. Блудов, в Петербурге много и больше, нежели в Москве, литературных новостей! Найди новейшие, разумеется, приличнейшие для моего журнала, дай мне знать и, если можно, некоторые доставь: я заплачу тебе деньги аккуратно, потому что буду платить не свои, а университетские. Например, я желал бы иметь The lives of most eminent englisch <sic!> poets by Johnson4, Der philosophische Bauer von Hirzel5, но

более всего новостей. Ты, Блудов, мог бы доставлять мне рисунки и планы лучших петербургских зданий, разумеется, с описанием: это было бы полезно для моего журнала, который хочу украшать не только пером, но и резцом, хотя в объявлении об нем от типографии не достало немного смысла6.

Тургенев, еще повторяю, пришли мне свое Путешествие и позволь мне привести его в порядок и выдать. И один раз навсегда, любезные друзья, помогайте мне чем можете и как можно бескорыстнее, то есть не ожидая от меня писем: право, некогда. Блудов, критикуй Петербургский театр и актеров, представляющих и смотрящих; присылай ко мне *Замечания Петербургского зрителя*7, пиши что придет в ум, и даже, если хочешь, не заботься о слоге; мне нужно твое остроумие и твои замечания, и чтобы избавить тебя от труда, следовательно от всякой отговорки, позволяю тебе даже писать дурно и нескладно: берусь всё вычищать, только пиши, не ленись! И что тебе делать? Авторские твои проказы украсили бы мой журнал! Друзья, не забудьте что лень разрушает все добродетели; исправьтесь и пишите для «Вестника»! Какою бы прекрасною галереею портретов обогатили вы мой журнал, вы, которые живете в свете, видите

такое множество разных рож и имеете способность их видеть! Блудов, будь хоть невзначай аккуратен и возврати мне, ради Бога, мои книги: Parny8, Contes de M-e Genlis9 и 1-й том Лагарпа10, которого купи непременно; где мне, пасынку Плутуса11, взять денег и тратить за твои глупости? Еще не забудь прислать мне записку о том, сколько и в которое число и сколько лет уплачивать мне тебе свой долг. Ты забыл это сделать, а мне нужно непременно знать заранее, чтобы приготовить нужное число денег вовремя и быть исправным.

Не забудь же прислать книги и, если можно, похлопочи о каких-нибудь французских и для журнала моего хороших новостях. Тургенев, тебе поручаю искать мне немецких книг всякого рода.

Пишите, братцы!

Дмитриев12 кланяется Блудову и просит его купить у Роспини13 следующие книги; вот записка его руки! или нет, лучше напишу сам. Тургенев, верно, потеряет записку:

1. Les études du magistrat par Francois de Neufchateau14.
2. Oeuvres choisies de Cochin; avocat au parlament. 2 v.15
3. De la bienfaisance dans l’ordre judiciaire16.

Перечитывая письмо свое, нахожу, что в нем нет ни складу ни ладу. Важное открытие!

**34.**

**А. И. Тургеневу**

*9 декабря <1807 г. Москва>*

9е декабря

Для меня совсем не утешительно слышать, любезный друг Александр, что ты и Блудов сбираетесь ко мне писать и не сберетесь, хотя это очень натурально: когда вам обо мне подумать? И можете ли уделить мне хотя минуту! Надобно

ехать на бал к Демидову1, на именины, во дворец и прочее. Ты приготовил некоторые переводы2, которые могли бы быть очень интересны в первых книжках, потому что новые, но я не надеюсь их получить! Кто видал, чтобы люди, занятые со светом и которых головы наполнены разными *высокими* идеями, брали на себя какой-нибудь труд, когда надобно сделать удовольствие приятелю отдаленному, одинокому и имеющему в них нужду! Легкое ли дело? Сложить пакет, запечатать, написать адрес и послать на почту! Путешествия твоего иметь не надеюсь; за книги, за журналы, для меня купленные и выписанные, благодарю, хотя уверен, что их иметь не буду. Одним словом, любезные друзья, вы забыли меня совершенно, и для меня очень оскорбительно, что в таких случаях, когда вы можете мне помочь и когда нетрудно помочь — нужно иметь немножечко внимания, в котором, конечно, нельзя отказать и чужому, — вы не только обо мне не думаете, но даже и не позволяете себе думать. В этом случае я не похож на вас, всякую нужду своего приятеля исполню, и тотчас (разумеется, когда могу); лениться писать другое дело: это не есть необходимость и никогда не может оскорбить, разве только в таких случаях, когда письмо нужно. Например, я уверен, что ты, Александр, не отдал Блудову записки о тех книгах, которых требует Дмитриев; между тем мне пеняют, а тебе и дела нет! Просит приятель: на что же исполнить! Обязанности существуют только с одними незнакомыми, перед которыми надобно *казаться*! Приятели меня знают; на что же поддерживать то, что твердо? Самое логическое рассуждение!

Еще благодарю тебя и за то, что ты постарался потерять письмо к Проташинскому3: доказательство твоего внимания, и больше ничего: ты же, как я вижу, <ищешь?> случаев быть полезным только в важных вещах, а малыми пренебрегаешь. Поверь, любезный друг, что важные немногочисленны и редки, а забывая часто о безделицах, которые требуют от тебя друзья и которые так легко бы было исполнить, ты наконец уверишь их, что совершенно выгнал их из памяти и из сердца! Я в этом, конечно, не уверен, и очень далек от таких мыслей, но, признаюсь, для меня досадно было, и очень досадно, читать в письме к Соковниным: «Скажите Жуковскому, что письмо к Проташинскому потеряно». Ты об этом так пишешь, как будто это очень натурально и иначе быть не могло!

*Мы еще не собирались к нему писать* (несмотря на то, что ему теперь в нас нужда). Что против этого сказать? Вы правы, милостивые государи! Больше ни-

чего. И как роптать на людей, которые для пользы приятелей должны опоздать десятью минутами в ресторацию или на бал к Демидову? И можно ли требовать

таких великих жертв?

Не сердитесь на меня, братцы, за то, что я на вас сержусь; дружба позволяет иметь требования, а вы забываете меня, слишком забываете: вам нетрудно жертвовать мною рассеянию, а для меня это, признаюсь, оскорбительно. Лениться писать для того только, чтобы сказать несколько слов, которых можно бы было и не сказать, и лениться думать о своем приятеле тогда, когда он этого требует, когда это нужно, — великая разница.

Вот комиссии, которые прошу исполнить.

Первая: книги Дмитриеву следующие у Роспини:

Les études du magistrat par F. M. Neufchâteau, Oeuvres choises de Cochin. 2 v.

De la bienfaisance dans l’ordre judiciaire4.

Вторая: найти Проташинского непременно, если он не уехал, сказать ему о потерянном письме и еще чтобы он, если должен будет ехать через Москву, увиделся со мной. Дать ему адрес.

Dites-moi encore, Alexandre, que veulent dire ces mots[[29]](#footnote-29):

Одна живет в году весна,

Одна и милая на свете!5

N’est-ce pas inconséquent de montrer; qu’on a des sentiments; sans avoir le dessein de les nourrir et sans en avoir la possibilité? Pourqoui parler d’une chose, qu’on n’a pas ni le désir; ni le pouvoir de recommencer; et pourquoi risquer de réveiller des sentiments, qui ont été bien vifs, qui sont déjà éteints et qui ne peuvent être que douloureux? Je ne sais pas, quelle ideé vous aviez eu en écrivant ces vers. Dans ces choses, conaissant bien les personnes, avec lesquelles vous avez relation, vous ne devez pas agir sans but. Et ces expressions parasites, jadis agréables, à présent inutiles, ne vous conviennent plus. Silence sur tout ce qui est passé! En parler seulement pour ne pas se taire sent trop le grand monde, qui n’attache pas beaucoup de valeur à tout ce qu’il dit. Adieu, cher ami, expliquez vous sur cet article. Ma lettre vous paraìtra-t-elle ridicule? Je ne l’espère pas[[30]](#footnote-30).

Если ты слышал от Блудова о некоторых моих связях, о которых я ему сказал слова два очень давно, и если он не забыл этих *двух слов*, то попроси его от меня, чтобы он об них забыл и для себя, и для других; что я этого требую как искренний друг и что его скромность в этом случае должна быть самым верным доказательством его дружбы. Я говорю не шутя, и прошу его как друга не шутить (по обыкновению своему) такою вещью, которую почитаю слишком важною. Не надобно говорить и тебе; сомкни свои уста, хотя ты ничего не знаешь. Признаюсь, боюсь нескромности, или, лучше сказать, обыкновенной *невнимательности* Блудова, а она в этом случае, по некоторым обстоятельствам, может быть для меня несчастьем4.

**35.**

**А. И. Тургеневу**

*<Начало декабря (до 10-го) 1807 г. Москва>*

Здравствуй, любезный друг Александр; пишу к тебе несколько строк, не имея времени написать больше. *Первое*, прошу тебя забыть мщение и прислать мне те пиесы, которые ты приготовил для «Вестника»1: то, что интересно и ново, надобно поместить в первых книжках; также доставь мне и свое Путешествие2. Надеюсь, что ты и Блудов будете снабжать меня хорошим, в материалах и в готовых пиесах. Боюсь одной вашей беспечности или рассеянности, которые, может быть, не позволят вам обратить внимания на вашего *издающего* друга.

*Второе,* и самое важное: мне сказывала Анна Михайловна, что она слышала от верных людей, будто ее письма и всё, что у тебя есть от нее, в таком у тебя неприборе, что всякий profane[[31]](#footnote-31) может их видеть3. Если это правда, то ты, любезный друг, виноват и должен исправить беду: прошедшее заслуживает большее от нас уважение, потому особенно, что настоящего никак нельзя ему предпо-

честь. Она говорила мне об этом с чувством упрека, и она права! Как можешь так не дорожить ее именем, или, лучше сказать, как можешь быть так рассеянным? Ожидаю от тебя на это обстоятельство объяснения. Мой адрес тебе известен: у Антонского. Прости. Обнимаю тебя.

*Жуковский*

**36.**

**А. И. Тургеневу**

*<Конец декабря 1807 — начало января 1808 г. Москва>*

Пишу к тебе два слова, любезный друг, не имея совершенно времени писать более. Твое письмо получил и показывал; оно рассеяло все сомнения, для тебя неприятные. Костогоров просил тебя о журнале брата, писанном в Вене1, для А<нны> М<ихайловны>, а не для К<атерины> М<ихайловны>2. Доставь ко мне, если хочешь, а к ним об этом напиши. К<атерине> М<ихайловне> не всё можно показывать, ты знаешь сам. За французские бумаги благодарю, но в них совершенно нет ничего интересного. Я думал, что ты пришлешь мне свой перевод из английских памфлетов о Тильзитском мире3, и Блудова перевод Руссовой пиесы4, и свое Путешествие. Но дождешься ли от тебя и от Блудова аккуратности, хотя мне это и очень досадно: как можно так быть незаботливым

о друзьях! Скажи Блудову, чтоб он доставил мне поскорее Johnsons Lives5, за которые много его благодарю. Не пишу к нему оттого, что пишу к тебе, следовательно для двух одно письмо! Ты спрашиваешь в своих письмах, нужно ли мне то и то. Напрасно! Присылай всё, что тебе покажется хорошо: если мне не будет нужно, возвращу тотчас и аккуратно. Напомни Блудову, чтоб он прислал Laharpe, Parny и Genlis6. За что он разрушил мою библиотеку? О друзья мои, какие вы бессовестные! Вы любите меня, это знаю; но лень и рассеянность! Что ж книги Дмитриеву?7 Если нет на немецком «Der philosophische Bauer»8, то поищи на французском «Le Socrate rustique»9. Еще Hirzel an Gleim über Sulzer den Weltweisen10. Александр, пришли с Андреем Федоровичем11 всё, что в библиотеке твоей найдется годного для журнала; я возвращаю всё в целости и сохране! Поверь Богу! Поищите с Блудовым каких-нибудь политических отрывков. Но этому не бывать; где вам для меня победить свою лень! Я прихожу в отчаяние. О друзья мои, о друзья мои!

À propos[[32]](#footnote-32) скажу приятную новость: Родзянка приходит в себя! Есть надежды, что выздоровеет. Простите. Блудов, побойся сатаны, пришли книги, мои и свои, и перевод, и всё! Несколько сочинений твоих! Пиши, пожалуйста, какие-нибудь замечания на то, что видишь. Кому ж и писать их, если не тебе? Хотя из жалости к твоему другу будь остроумным.

Томашевский едет в Петербург. Я ему отдал все деньги.

# 1808

**37.**

**П. А. Вяземскому**

*<25—27 июня 1808 г. Москва>*

Любезнейшего из всех именинников1 благодарю искренно за его приглашение и за то, что он меня вспомнил, еще раз повторяю ему, что желаю от всего

сердца иметь его дружбу; кстати ли это сказано или некстати, не знаю, по край-

ней мере, для меня всегда кстати.

Но быть к тебе на именины,

О друг бессмертной Мнемозины,

Сказать по правде, не могу!

Прими стихами поздравленье!

Желаю — и, поверь, не лгу, —

Чтоб ты, ударясь в одопенье,

Гремел и смертных оглушал!

Чтоб мир, тобою удивленный,

Тебе венок в награду дал

Не из репейника сплетенный,

Но из душистых пышных роз

И свежих лавров Геликона!

Не бойся кроновых угроз!

К тебе не жопа Аполлона,

Но лик бессмертный обращен!

Ликуй во славе на Парнасе

И, восседая на Пегасе,

Не бойся, чтобы он лягнул!

Прошу тебе стихов от неба,

Молю превыспренного Феба,

Чтоб дух твой пылкий не заснул!

А я к тебе, мой друг, приеду

Не к именинному обеду;

Когда у вас гостей содом,

Когда ваш пышный, светлый дом

Украшен яркими огнями,

Когда шумящими толпами

При звуке бубнов и гитар

Кружится десять, двадцать пар,

Земли не слыша под ногами!

Хочу быть у тебя — с тобой;

Хочу, в покое наслажденья,

В твоем селе, без развлеченья,

С твоей беседовать душой.

Не с шумным, мне безвестным светом,

Который лишь с дали видал,

Который никогда предметом

Моих желаний не бывал!

В спокойный час уединенья,

Когда не будешь окружен

Толпой, живущей для мгновенья,

Когда с тобою Аполлон

Под тень дубравы уклонится

И лирою тебя пленит,

Тогда твой друг к тебе явится,

Тобою сердце оживит!

Тогда еще тебе он скажет,

Что он в душе тебя хранит,

И если жребий повелит,

Он то *на опыте докажет*!2

Прошу не сердиться за стихи, приложенные к этой записке. Письмо на имя Николая Михайловича прошу ему доставить, а ответ поспешите прислать ко мне3. Я перешлю, если надобно. Не нужен ли кому-нибудь учитель?4 Я знаю

очень хорошего и способного человека; дайте мне знать, если Вы имеете на примете какое-нибудь место. Вы очень бы меня одолжили.

Вам преданный *Жуковский*

За что моя письменная книга с Вами уехала? и почему не было угодно Вашему сиятельству ее возвратить. По крайней мере, чтобы загладить вину свою, прошу меня любить и помнить. Adieu, cher et bien cher ami[[33]](#footnote-33). Обнимаю Вас от всего сердца.

**38.**

**И. П. Черкасову**

*29—30 июня <1808 г. Москва>*

Благодарю Вас искренно, любезный и почтенный философ володьковской пустыни1, за поручение мне Ваших комиссий, которые уже исполнены (сколько их? одна!). Отвечаю к Вам несколько поздно — извините! я уверен, что Вы не отнесете моего молчания к нежеланию с Вами беседовать (что было одною из многих моральных невозможностей, в которых убеждает нас и рассудок, и сердце), а только к моим обстоятельствам, которые мешали мне в то время быть свободным, в которое надобно было взять перо в руки и писать к Вам эпистолу. Благодарю Вас за восемь полновесных страниц, наполненных выражениями дружбы, для меня драгоценной; они напомнили мне некоторые приятные вечера, проведенные перед володьковским камином, и минуту семейственного полдника:

Где мы пред ярким огоньком,

С спокойством дружества приятным,

За *прародительским* столом,

За чаем хинским, ароматным, Ценили жизнь, людей и свет!

Ценили счастье и несчастье!

Мечтали: «Вечного блаженства в жизни нет! Но горесть — быстрое ненастье!

Промчится! снова ясный луч —

Как солнца поздний свет за мраком бурных туч —

Утешит сердце утоленно:

За гробом лишь найдем мы счастье неизменно!» Нередко солнечный закат

Мы в поле взором провожали, Прохладой вечера дышали,

Смотря на бег шумящих стад,

И тихия зари пленялися блистаньем,

Когда на пруд склоненный лес, Зефира зыблемый дыханьем, Покрытый заревом небес,

Блистал с полугоры водами отраженный,

И светлым вечера туманом покровенный

За рощей вдалеке мелькал тот милый град,

Где всё любезное душе моей хранится, Где я так счастлив был — ах! придут ли назад, Те дни, к которым днесь душа моя стремится?

Или веселие навеки отцвело

И счастие мое с протекшим протекло!

Как часто о часах минувших я мечтаю!

Как часто с сладостью конец воображаю!

Конец всему — души покой —

Конец веселиям, едва, едва приметным, Конец борению и с горем, и с собой!

Не знаю… но, мой друг, кончины сладкий час Любимою моей мечтою становится!

Унылость томная в душе моей таится!

Во всем мне слышится знакомый смерти глас! Смотрю ли, как заря с закатом потухает, Так, мыслю, юноша цветущий исчезает!

Внимаю ли рогам пастушьим за горой, Иль тихого ручья в кустарнике журчанью, Или мгновенному дубравы трепетанью,

Смотрю ль в туманну даль вечернею порой, К клавиру ль преклонясь, гармонии внимаю, Во всем последнюю минуту вспоминаю!

Иль предвещание в унынии моем?

Иль скоро суждено в весенни жизни годы,

Мне, скрывшись в мраке гробовом,

Покинуть и поля, и отческие воды, И свет, где жизнь моя бесплодно расцвела!

Скажу ль? — мне ужасов могила не являет!

И сердце с сладостью прискорбной ожидает,

Чтоб Промысла рука обратно то взяла,

Чем я безрадостно в сем мире бременился,

Ту жизнь, которой я так мало насладился,

Которую лучи надежды не златят!..2

Но полно мне стихотворствовать! Уже одиннадцать часов; не знаю, поспеет ли это письмо на почту! Обнимаю Вас от всего сердца; милым детям кланяюсь. Я видел Марью Алексеевну3 и ей отдал Ваши книги. С Дмитрием Александровичем4 еще не видался. Но имел удовольствие с ним встретиться, и он меня звал к себе. Сначала воспрепятствовал мне флюс, который изуродовал мою щеку, исполнить свое желание, после удержала меня моя обыкновенная глупая застенчивость: как ехать к человеку незнакомому, сбиравшись так долго и не собравшись, однако я вооружусь мужеством Геркулесовым и смелостью семи мудрецов греческ<их> и отправлюсь к нему с этим запасом; я очень уверен, что потеряю много, не воспользовавшись случаем с ним познакомиться!

30 июня

Таково-то писать на почту стихами! Пропустил время, и письмо не принято! Обвиняйте не меня, а Феба. Но я рад этой отсрочке; имел случай исправить ошибку Марьи Николаевны5, которая вместо моих книг — которые были прежде отданы — отдала она Марье Алексеевне журналы немецкие, приготовленные для Карла Яковлевича6. Прошу Вас взять на себя труд и их ему доставить. Истинно преданный Вам *Жуковский*

P. S. Надеюсь получить от Вас ответ, но вместе надеюсь и на Вашу ко мне снисходительность; Вы, конечно, позволите мне быть несколько неаккуратным и отвечать Вам не всегда на следующей почте. Случается, право, так, что нет времени подумать о постороннем или что-нибудь отвлечет, но поверьте, что я за совершенное удовольствие почитаю делиться с Вами и чувствами, и мыслями; простите, еще раз Вас обнимаю.

**39.**

**П. А. Вяземскому**

*<30 июля 1808 г. Москва>\**

Хорошее начало нашей дружбы, любезный князь! С первого шагу не понимаем друг друга! Я замечаю, что Вы по письму моему приписываете мне какую-то смешную гордость и вообразили, что моя *старость* хочет непременно учить Вашу *молодость*. По крайней мере, я этого совсем не думал. Я, право, уверяю Вас, что я *теперь* искренно Вас люблю, что я Ваш *приятель*, что *желаю* и с этой минуты буду *стараться* быть Вашим другом: мне кажется, большего нельзя ни Вам ожидать от меня, ни мне ожидать от Вас *на эту минуту*. Но я же писал к Вам в том же письме, что мы можем сделать из своей *будущей* дружбы

что-нибудь важное для всей своей жизни — разумеется, это случится только тогда, когда с обеих сторон будет одинакое желание, одинакое усилие — с моей стороны оно будет, непременно; желаю, чтоб было и с Вашей. Я надеялся, что

Вы напишете мне в ответ: *хорошо! согласен на твое мнение, и мы будем друзьями.* Вы, напротив, присылаете мне стихи1, писанные pour donc consoler (comme vous le dites) de *la non réussite* de deux demarches[[34]](#footnote-34) и требуете от меня письма о дружбе,

которого, однако, не напишу и которое постараюсь заменить опытом. Еще Вам повторяю, что дружба может быть произведением не двух слов, крупно напи-

санных и подчеркнутых, а связи, основанной на взаимной уверенности, что мы нужны друг для друга: итак, любезный князь, сделаемся нужными друг для друга, и мы будем друзьями2. Не привязываясь к словам, скажите, согласны ли

Вы со мною? Et travaillons ensemble à devenir bons amis, mais amis de cette amitié qui peut avoir une influence bienfaisante sur toute la vie. Je vous prie donc répondre

un petit mot. Tout à vous[[35]](#footnote-35).

*Joukovsky*

1808. 30 Juillet

Peut-être je vous paraîtrai drôle avec mes idées, romanesques, mais vous me donnez là-dessus votre opinion *franchement.*

J’ai deja cacheté ma lettre, mais après avoir relu encore une fois la vôtre, je la décachette de <nouveau?> pour ajouter quelques mots. Comment avez vous prié m’écrire apres avoir reçu ma réponse <de ce> que votre demande ne vous a pas réussi. Cela est inconcevable. Vous avez dans votre caractère beaucoup trop d’impatience; la moindre chose vous régrette. Voulez vous être dans l’amitié, ce que vous êtes, au jeu du billard? au moins un coup manqué est toujours une sorte de défaite. Mais ici est ce que vous avez manqué <le> vôtre; et n’avez vous pas tort de vous plaindre d’une *non réussite* qui n’existe que dans votre imagination un peu trop <irraisonable>? Je ne vous ai rien écrit dans ma dernière lettre que je ne voudrais pas maintenant avoir reçu de votre part. Une promesse franche de travailler à devenir votre ami vous l’appellez un refus, ce qui est vraiment injuste[[36]](#footnote-36).

Наше знакомство с Вами по сию пору не иное что еще, как *встреча* — можете ли Вы сказать мне с первого раза *я тебе друг* и поверите ли Вы мне, если я скажу Вам *то же*? Такого рода поспешность может ли возбудить доверенность? При первой встрече можно только пожелать, чтобы она произвела дружбу, можно только обещать друг другу, что будешь об этом стараться! Если я Вам даю это обещание, то Вы должны быть уверены, что я искренно желаю его исполнить, что меня побуждает к тому искренняя к Вам привязанность: зависит от Вас и от меня усилить эту привязанность и обратить ее в дружбу. Если такой ответ можете назвать *отказом*, то, признаюсь, Ваше толкование русских слов есть самое неверное, и я советую Вам сделать в своем лексиконе порядочные поправки. То, что Вы называете моею старостью, есть не иное что, как двадцать четыре года жизни, проведенной без всяких опытов: я совершенный еще ребенок; в этом уверен твердо и часто бываю сам смешон в собственных глазах своих: следовательно, не могу упрекать Вас *ребячеством*; но желаю, чтобы наша дружба — une fois conduite[[37]](#footnote-37) — была не ребяческая, а настоящая, по крайней мере, сделалась бы со временем настоящею, и я не знаю, можете ли Вы чего-нибудь желать более, если только Вы в самом деле желаете чего-нибудь, в чем я не

сомневаюсь, судя по себе! Adieu[[38]](#footnote-38). Отвечайте мне. Я пробуду здесь до 8-го числа, следовательно, Вы будете еще иметь время.

**40.**

**П. А. Вяземскому**

*5 августа <1808 г. Москва>\**

Ваше, или, лучше сказать, твое письмо, милый князь, то есть милый приятель и будущий друг, для меня очень, очень приятно, и я прочел его с особенным удовольствием, тем более что я начинал уже отчаиваться в получении твоего ответа, вообразив, что ты с досады на *мнимый* промах бросил кий1 и оставил меня играть с другими (что, мимоходом сказать, было сделано нехорошо).

Вдруг подают мне пакет, и в этом пакете прелюбезное письмо, за которое, к сожалению, не могу обнять тебя лично, хотя бы желал этого от всего сердца. Не войду ни в какие подробности и не хочу делать комментария ни на мое прошедшее письмо, ни на твой теперешний на него ответ: самым лучшим комментарием должен быть *опыт*. Я много бы мог сказать в возражение на твою мысль,

что не дóлжно travailler a devenir amis[[39]](#footnote-39); но всё это оставляю до нашего свидания, от которого обещаю себе много и премного удовольствия2. Теперь скажу только то, что тебе, как умному и доброму человеку, нельзя будет со мною не согласиться. Из деревни буду писать более; но дóлжно, чтобы ты написал ко мне первый: это условие необходимо для моей лени. Еду дня через четыре: по крайней мере, так бы мне хотелось; не знаю, точно ли исполню это хотение, ибо завишу теперь не от себя. Прости, любезный друг. Мы будем друзьями! Это верно, как и то, что ты со временем будешь предпочитать Кребильону Расина.

*Жуковский*

5-е августа

**41.**

**Е. Д. Турчаниновой**

*<Сентябрь* (*не позднее 10-го*) *1808 г. Москва>*

Целую Ваши ручки, милый друг матушка, имею честь Вам доложить, что я, слава Богу, здоров и что надеюсь через две недели Вас увидеть. Бумаги, касательно до дому, послал по Вашему приказанию на прошедшей еще почте к Катерине Афанасьевне; очень рад, что дом продается. С тех пор, как у меня завелось

очень много денег (в воображении), чувствую, что богатеть очень весело; мне хочется привыкнуть иметь деньги, эта болезнь имеет свои приятности, хотя лекарств от нее очень много и хотя я сам не из последних лекарей. Думаю, однако,

что мои ближние не заплакали бы, когда бы я занемог богатством и занемог *неизлечимо*. Пошли мне Господи эту черную немочь: покуда, скажу Вам еще раз,

что я здоров и здоров во всех отношениях. Целую Ваши ручки. Дай Бог, чтоб

я нашел Вас спокойными, веселыми, здоровыми и пр. и пр. Ваш

покорный и послушный сын

*В. Жуковский*

# 1809

**42.**

**А. И. Тургеневу**

*<10 февраля 1809 г. Москва>*

Через две недели, любезный друг, а много через три, надеюсь тебя увидеть.

Приготовь мне, если можно, угол в своей горнице1.

Однако прежде напиши, будет ли у тебя место. Ведь ты живешь теперь с Блудовым. О причине моего прибытия в Петербург узнаешь тогда, когда увидимся: что бы ни вышло, мы проживем вместе месяц или два. Напомни обо мне Константину Булгакову2, с которым, как кажется, не нужно будет снова знакомиться. А Александру Яковлевичу3 рекомендуй меня заранее, так чтобы я при-

ехал совершенно в знакомый дом. Прощай, любезный друг. Au revoir[[40]](#footnote-40).

**43.**

**А. И. Тургеневу**

*<Конец марта 1809 г. Москва>*

Брат, прошу тебя отдать эту шубу Блудову, которому скажи от меня, что я люблю его по-прежнему. Благодарю его за доставленные мне книги. Скажи ему также, что я исправно плачу Томашевскому определенные им сто рублей. О себе нечего сказать хорошего — час от часу более ссорюсь с жизнью. Сообщаю тебе известие, которое для тебя так же горестно будет, как и для меня: Катерины Михайловны нет на свете. Веселись, брат; наш круг час от часу уменьшается. Многих уже нет — а те, которые остались, живут розно и не радуются жизнью. По крайней мере, я давно разучился ею радоваться. Что из этого выйдет, не знаю; но смерть всего лучше.

**44.**

**П. И. Голубкову**

*25 мая 1809 г. Белев*

Надеюсь, любезнейший Петр Иванович, что ты не откажешься исполнить усердную просьбу старого твоего приятеля и сослуживца в полку знаменитого Роде1. Ты, может быть, удивишься, когда скажу тебе, что и я имею дело с юстициею, с этим слепым божеством, у которого глаза в руках. Кажется, зачем бы журналисту2 заглядывать в курьезное жилище госпожи Фемиды, но так оно

случилось; самый глупый процесс обрушился на меня, как бомба со всеми своими принадлежностями. Вот в чем состоит мое дело. Бог наградил меня четвернею верных служителей; один из них, и тебе знакомый, откупился и теперь купечествует в Москве; трое остальных, все мастеровые, ходили по воле и во всё это время были уверены, что платят мне оброк, которого я и в глаза не видывал. Вдруг пришло им в голову, или, лучше сказать, сам черт, под видом одного крючкотворца из уездного суда, посадил им в мысль, что они свободные, что

отец их, польский выходец, не был крепостным человеком Афанасья Ивановича3 (от которого он отдан мне и с детьми), а только жил у него по условию — и давай писать просьбу, и ну бить челом в уездном суде, чтобы возвратить им свободу, неправо у них похищенную; но уездный суд вместо свободы возвратил им одну их просьбу, с маленьким нравственным наставлением, в котором сказано, что эта просьба не дельная, то есть, говоря языком правосудия, с надпи-

сью. Мои претенденты свободы не удовольствовались; тот же самый служитель Асмодея, который написал им просьбу в Белевский суд, состряпал в минуту для них новую просьбу в Тулу, которая и послана (по уверению этих господ, уже 3 недели), но еще решения на нее не последовало. Если бы я знал об этом прежде, то, увидевшись с тобою в Туле, не преминул бы попросить тебя о своем деле лично; но я узнал уже обо всем не прежде, как по приезде своем в Белев, — и вот в чем состоит моя покорная просьба. Просьба моих людей совершенно не дельная: отец их точно польский выходец, но он добровольно пошел в крепость к покойному Афанасью Ивановичу, на что есть у меня и бумага, которую я представлю, если то будет нужно, — следственно, дети его не могут иметь никакого права на свободу и точно принадлежат мне по купчей, данной мне от Афанасья Ивановича. Они не представили в Белевский суд никаких положительных доказательств своей свободы, и потому просьба возвращена и с надписью, без всякого дальнейшего исследования. Они послали бумагу в Тулу — если эта бумага будет уважена и если Белевскому суду велят исследовать дело, то оно может превратиться в продолжительную тяжбу, которая, конечно, должна быть решена в мою пользу, но может наделать мне самых скучных хлопот. Итак, прошу тебя, любезнейший друг, несколько позаботиться о прежнем своем сотоварище. Первое: узнать, точно ли подана просьба от моих людей: Сергея, Василия и Ефима Казимировых4, которые называют себя польскими выходцами. Второе: куда она подана? К губернатору ли, в губернское ли правление? Третье: похлопотать, если можно, чтобы она не пошла в дело, а возвращена была просителям с такою же надписью, как из уездного суда, или чтобы уездному суду приказано было не производить по ней следствия, а только объяснить губернскому правлению, почему он возвратил эту просьбу. Надеюсь, любезнейший друг, что ты не откажешь пожертвовать несколькими минутами тому человеку, который желал бы возобновить старинную связь с тобою не просьбами своими, а услугами. Не забудь, что ты обещал побывать в наших краях. Прости. Когда будешь писать к батюшке и матушке, скажи им мое почтение. Прошу тебя уведомить меня о получении этого письма.

Преданный тебе *В. Жуковский*

25 мая 1809. Белев

**45.**

**А. П. Юшковой (Зонтаг)**1

*<Июнь 1809 г. Муратово>*

Любезная из любезнейших Анн Петровен, прошу Вас покорно доставить приложенный пакет в пять этажей в почтамт города Белева, дабы этот почтамт переслал оный пакет в город Москву, в котором городе Москве отнесут его туда, куда надлежит. Если мужик наш приедет и в семь, и в восемь часов вечера, то Вы всё пошлите2, хотя на лошади; Федор Александрович3 милостив, а пакет довольно грузен, следовательно и весьма важен. Не забудьте приложить к оному и тетрадку для записания денег.

Я теперь один-одинехонек! Все мои сожители гостят у Плещеевых; я остался дописывать «Вестник»; дописал и посылаю. Простите troupe charmante[[41]](#footnote-41); хотя Вы и одни налицо, милостивая государыня Анна Петровна, но за долг почитаю объявить Вам, что в Вас пребывает целая труппа, именно: три грации из мифологии; два ангела из Старого Завета, да один еще из Магометова Алькорана; начел бы и еще несколько всякой всячины из истории, — но лошадь готова; время летит, надобно еще попросить Вас, чтобы Вы поцеловали за меня раз пяток ручку у бабушки4, которой благословением я со всеми вами радуюсь, ибо от него и столбы наши поднялись, да и не косятся!5 Также прошу Вас доложить матушке, что я, нижеименованный, в рассуждении того, например, так сказать,

оно конечно, — однако, если бы принять в разбирательство, то вышло бы и кстати6. Однако думаешь, думаешь и случится что выйдет — а если нет? Впро-

чем, и то не беда! лихо начать! чихнешь, вспрянешь, аукнешься, съешь репы, наденешь колпак, слава Богу! Всё это значит, что я по приказанию ее разведал о деревне7. Прошу ее благословения и целую ее ручки.

Если есть ко мне письма и журналы, доставьте.

**46.**

**И. В. Лопухину**

*24 августа 1809 г. Белев*

Милостивый государь Иван Володимирович!

Хотя я уверен, что напоминать Вам о том, что Вами уже обещано, есть дело совсем излишнее, но, получив от Вас Записки Вашей жизни1 и притом с таким приятнейшим для меня письмом2, позволяю себе смело быть с Вами неотступным и даже, если угодно, скучным. К чему такое предисловие, спросите Вы? Всё к тому же! Именно к делу Марьи Ивановны Протасовой3, о котором я уже неоднократно Вас просил и которое, между прочим, послужило еще новым доказательством Вашего особенного ко мне расположения. Оно вступило уже в общее собрание Московского сената, где должно быть рассмотрено в свое время, — а просьба моя состоит в том, чтобы Вы обратили на него такое же благодетельное внимание, как и прежде. Повторяю эту просьбу. Уверен истинно,

что она бесполезна.

Позвольте при этом случае затруднить Вас вопросом: какого Вы мнения о самой тяжбе Марьи Ивановны Протасовой? Может ли она по законам решена быть в ее пользу, и права ее не усилены ли недавно решившимся процессом Голицыных о имении, которое покойным Александром Михайловичем Голицыным оставлено было больнице4, процессом, по которому точно объясняется,

что имение, *купленное* в роде, выходит из него и становится благоприобретенным? Можно ли надеяться, что Вы удостоите на всё это меня ответом? Еще раз повторяю, простите мне мою неотступность. Я желал бы, чтобы всякая добрая вера могла быть так сильна, как моя вера в Вашу снисходительность к тем людям, которые нападают на Вас с просьбами.

В заключение доложу Вам, что, *первое*, я исполнил Вашу комиссию в рассуждении барона5 — пенял ему, он кается, но любит Вас по-старому и что, *второе*, Вы, позволив мне дать копию с Ваших Записок, сделали еще одного человека Вам благодарным. Экземпляр для Тургенева6 переписывается, но медленно, здесь нет таких скорописцев, как в Москве. Доложу Вам еще за новость, что мой «Вестник» принадлежит теперь к числу тех оракулов, которых по уничтожении идолопоклонства называли просто болванами, — ему запрещено уже бредить политикою7.

Еще увереваю Вас в истинной моей к Вам привязанности, честь имею быть

Вашего высокопревосходительства покорнейшим слугою

*В. Жуковский*

1809го года августа 24го дня

Белев

**47.**

**А. И. Тургеневу**

*<Конец августа 1809 г. Белев>*

Я получил твое письмо, любезнейший друг. Благодарю тебя за препоручение твое написать ответ на письмо к Саратовскому жителю1. Постараюсь выполнить его как можно лучше, теперь могу сказать тебе только одно: пришли мне тотчас печатный экземпляр, как скоро выйдет на свет. Я думаю, что к 1-му или 15 ноября не будет поздно отвечать. Прежде не успею. И нет, кажется, нужды спешить. Вслед за этим письмом получишь непременно другое. Но я не знаю, верно ли ты получаешь мои письма, ибо я не имею от тебя ответа на такое письмо, на которое должен бы был непременно получить ответ. В следующем письме буду отвечать насчет курса словесности2; я имею об этом довольно

сказать тебе. Теперь прости, мой любезный, добрый и всегдашний друг. Радуюсь, что ты, живучи с людьми, более и более думаешь, что наша дружба для нас

обоих необходима. Я, будучи гораздо тебя уединеннее, час от часу это чувствую. Дай Бог, чтобы то время скорее пришло, в которое мы бы могли сказать решительно и с большим основанием: мы живем друг для друга. Теперь мы живем только в одном мире и знаем, что наша дружба может быть нашим счастьем. Когда эта возможность исполнится и не будет в одном воображении. Нам надобно не только быть друзьями, но должно, чтобы дружба наша была для нас благодетельна и чтобы мы это чувствовали, следственно, были этим счастливы. Прости. Ив<ан> Володимирович, думаю, уже писал к тебе; по крайней мере, он обещал мне к тебе написать. Он подарил мне экземпляр своих Записок3; я велел уже для тебя, с его позволения, списывать; когда допишут, получишь. Прости,

обнимаю тебя.

**48.**

**А. И. Тургеневу**

*15 сентября 1809 г. Белев*

Белев 15го сентября 1809

Сначала буду отвечать тебе на последнее твое письмо от 31 августа1, любезнейший друг. Ты спрашиваешь, какое содержание того письма, которое было от меня тебе послано и тобою не получено2 и что нужно по нем исполнить? Содержание его для меня важно, но исполнение по нем можешь сделать во всякое время. Я писал в такую минуту, когда для меня необходимо было к тебе писать, и просил тебя, чтобы ты меня уверил, что твои слова: *ты забыл меня совершенно*, написанные тобою в заключении одного из стародавних и NB последних твоих писем3, были не иное что, как только слова, без всяких мыслей написанные, что ты уверен в моей истинной к тебе дружбе, которая ни на минуту не ослабевала, а, право, со времени минутного нашего свидания с тобою в Москве удвоилась. Получить от тебя такое драгоценное для меня уверение было мне нужно, и я очень сожалею, что письмо мое потеряно: уверен, что его не донесли на почту, ибо я писал из чужой деревни, в которой останавливался, проезжая в Орел. Так тому и быть! Но что отсрочено, то не потеряно! Ты и теперь можешь

сделать мне ответ на мою задачу. Я писал к тебе еще (что повторяю и теперь и что надеюсь повторять по самую смерть), что я желаю, чтобы наша дружба с тобою была не одною только мыслью, но делом, и *главным делом* жизни, что нам надобно воспользоваться жизнью *вместе*, и не только *знать*, но и вместе *чувствовать на опыте*, что мы друзья, следовательно иметь всегда в виду, что мы со временем будем *вместе* и будем стараться друг другу доставить то счастье, которого напрасно искали в других местах (по крайней мере, это могу сказать

о себе: я еще не знаю, что такое счастье, выключая разве только те минуты, когда пишешь; но это минуты). На всё это ожидать ответа надобно с нетерпением; потому-то я и написал, что ты *должен* был отвечать на письмо мое; но это-то письмо именно и пропало. Досадно, а нечего делать.

Я уже отпел панихиду политике4 и нимало не опечален ее кончиною. Правда, она отымет у моего журнала несколько подписчиков, — но так тому и быть. Это ничуть не умалило моего рвения; напротив, чувствую желание сделать журнал мой из дурного, или много-много посредственного, хорошим. Издавать его буду не один, но вместе с Каченовским. План наш распространится,

о чем узнаешь из объявления5. Если бы ты не был и ленив, и беспечен, то мог бы быть весьма полезен моему изданию. Первое, доставляя разные известия о ученых обществах петербургских, о литературе, театре и разных разностях, являющихся на горизонте петербургского мира; или по крайней мере ты мог бы надоумить двух-трех и до полдюжины хлопотливых и умных человек (напр<имер>, Костогорова), которые присылали бы мне разные известия, с полною доверенностью делать из них что мне рассудится. Также не худо бы было, если бы ты снабжал меня и книгами, *годными* для журнала, за которые получал бы от меня деньги аккуратно, ибо типография ассигновала на сии издержки 200 рублей и более; но ты ленив, и ленив, и ленив. Надеюсь, одним словом, что «Вестник» на следующий год будет занимательнее, любопытнее, разнообразнее и вдвое менее принесет доходу. Но черт побери те доходы, которые к нам не доходят!

Письмо от Саратовского жителя6 будет написано непременно, к тебе прислано на цензуру, но не прежде, как в декабре; теперь я занят другим — пишу стихи7, и после опять примусь за стихи — следовательно проза к черту! Но на будущий год и прозы будет в моем журнале довольно! Боюсь только залениться. А планов и предметов в голове пропасть, и пишется как-то скорее и удачнее прежнего. Honni soit qui mal y pense[[42]](#footnote-42)8.

Не стыдно ли Блудову не написать ко мне ни строчки и лениться так же, как я? Не вздумал ли он, что я его забыл? Нет, братцы, прошу вас никогда не воображать обо мне такого сраму. Я ваш вечно, душою и мыслями: но что прикажешь делать, если нет другого средства говорить с вами, как через письма! Мы будем вместе, будем и тогда…

Теперь слово о моем Собрании9. Я издаю не *примеры*, но полное собрание лучших стихотворений российских — книгу, которая могла бы заместить для людей со вкусом и для не весьма богатых людей собрание всех сочинений рус-

ских поэтов каждого порознь. Беру из каждого лучшее и, всё это смешав вместе, предлагаю нашей публики душистое pot-pourri[[43]](#footnote-43), в котором между лилеями, розами и жасминами не забыты и ландыши и другие полевые цветы, то есть, говоря без глупых фигур, в котором между лучшими произведениями лучших стихотворцев должны быть помещены и лучшие произведения посредственных, следовательно, в сравнении с первыми посредственные, однако не дурные: под вывескою *посредственного* выступят все те стихотворения, которые выберу я из полных сочинений наших второстепенных авторов и из журналов10. И кому удалось во всю жизнь свою написать один только порядочный quatrain[[44]](#footnote-44), за что ж этому бедному сироте погибать в глуши какого-нибудь журнала? И я, по милости своей, даю ему пристанище в моем Собрании стихотворцев, которое по многим отношениям будет сходствовать с домом *странноприимным*11,

удивляющим за Сухаревою башнею путешественника. Вот расположение моего

собрания; оно должно состоять из пяти, если не из шести, полновесных томов:12 в первых двух или трех *лирическая поэзия*; в следующих по порядку: *басни,*

*сказки, элегии*, и прочее и прочее до *дистиха*13. Порядок смешан будет с разнообразием; роды поэзии отделены один от другого, зато авторы перемешаны и отличаются один от другого только именем и — слогом. Всё уже списано и приведено в порядок; остается дополнить некоторыми оставшимися дрожжами из журналов (и то из некоторых, ибо все почти перечитаны). Посылаю тебе на апробацию роспись всем назначенным пиесам; просмотри ее вместе

с Блудовым и назначьте то, что забыто и что выкинуть. Прошу, однако, помнить,

что между превосходным я поместил и посредственное; если пиеса написана чистым слогом, вообще недурна и имеет хорошее, то я принимаю ее без зазрения совести, ибо хочу, чтобы в собрании моем были chef-d’oeuvres[[45]](#footnote-45)*всех* наших стихотворцев без исключения. Если есть у тебя или у твоих знакомых хорошие рукописные пиесы, еще неизвестные или известные, но мною забытые, доставь их мне непременно, а я буду благодарить тебя от всего сердца. При каждом томе будет портрет и виньетка14. Если это издание будет принято хорошо, то при втором15 приложу и собственное рассуждение о разных родах поэзии и про-

чее — но этому быть еще не скоро. Прозы не будет.

Таков мой план — я уже уговорился о печатании. До сих пор останавливало меня одно: я опасался, не будут ли сердиться на меня некоторые матадоры нашей поэзии, то есть всего на всё *Державин* и после него в большом отдалении *Крылов* и *Востоков* с компаниею, за то, что я обокрал их стихи. Кажется, не намерен их обидеть, но чем черт не шутит. Ты бы много одолжил меня, когда бы у первого *униженно* истребовал мне позволения повытаскать кое-что из его

сочинений и приложить к сему выбору его портрет16; а портреты будут *Державина*, *Ломоносова*, *Карамзина*, *Дмитриева*, *Хераскова* и еще которого-нибудь из матадоров; думаю, *Богдановича* или *Фон-Визина*, хотя последнего стихов мало17.

По твоему письму кажется мне, однако, что ты сам занимаешься подобным собранием18; не помешаю ли я тебе? Если надобно, я всё оставлю и даже могу тебе помочь своим. Расположи это как хочешь; я на всё буду согласен. Или не возьмешь ли на себя одну прозу — и выдадим вместе. Ты трудишься по препоручению какой-то *высокой* особы; не можно ли, чтобы и я в этом участвовал? Впрочем, воля твоя да будет — ты господин полновластный моего собрания, и я без твоего ответа не приступлю к изданию; следовательно изволь отвечать немедленно. *NB*. По письму твоему вижу, что ты не очень жалуешь *Востокова*19. Грешишь, любезный друг; этот человек с истинным стихотворческим талантом. Я предсказываю, что он будет одним из хороших наших стихотворцев. Надобно ему только очистить слог. В его стихах виден человек с мыслями, с чувством, с воображением и наполненный духом древних. Желаю от всего сердца ему образования и успеха. Я буду *говорить* об нем в своем журнале, ибо Каченовский говорил о его таланте в своей критике на *Лирические его опыты*20*.*

Записки И<вана> Вол<одимировича> списываются для тебя, но очень медленно; ибо здесь, в православном Белеве, нет переписчиков; но я доставлю их тебе непременно, в этом будь уверен. Что ни говори, но Иван Володимирович (если забыть только его несчастные и, можно сказать, неизвинительные беспорядки в отношении к долгам) есть человек необыкновенный, и, прочитав его Записки, пожелаешь, чтобы таких людей было поболее, а для себя сочтешь счастьем пользоваться их дружбою. Не читав их, я был как будто в нерешимости, любить ли его или нет, но, прочитав, решился к нему привязаться более и более: рассчитавши всё, доброе и необыкновенно доброе превосходит в нем дурное,

а последнее имеет источником также доброе. Впрочем, не всё в его Записках мне нравится, и они были бы плодовитою материею для наших с тобою разговоров. Ах! если бы ты мог приехать в январе в Москву — какое было бы для меня счастье! Подумай об этом. Но возвратимся к Ивану Володимировичу. Не послать ли мне ему твоего письма, в котором ты говоришь о расстройстве, при-

чиняемом тебе его неплатежом вашего долга? Это могло бы послужить вместо твоего с ним объяснения21.

Я надеюсь, что ты непременно доставишь мне бюст И<вана> Петровича22. Этот подарок будет для меня очень важен. Также хотелось бы мне очень, чтобы ты прислал мне журнал брата Андрея23: это единственный памятник, который напоминает, или, лучше, изображает его (ибо нужно ли напоминать об нем?) весьма живо. Ты много, много бы одолжил меня этим. Разумеется, я прошу только *списка*.

Вышла ли «Поликсена»?24 Доставь ее мне поскорее! По дурной критике, напечатанной в «Цветнике»25, заключаю, что план этой трагедии очень прост и отзывается древностью. Между приведенными стихами в примере есть прекрасные, но мало. Озеров с великим талантом и чувством26. Я беспрестанно ссорюсь за него с Карамзиным, который называет «Фингала» дрянью. А «Фингал» делает честь нашей поэзии: три прекрасных характера, Моины, Фингала и особливо *Старна*, который весь принадлежит Озерову, ибо в хороших французских трагедиях я не знаю ни одного *мстительного отца*27.

Ты хочешь, чтобы я прислал тебе *полную* роспись моих произведений (!!) в стихах и прозе и переводов для помещения обо мне известия в вашем обозрении. Hélas! Pauvre Jacques! Je sens trop fort ma misère[[46]](#footnote-46)28. Пусть скажут: он перевел «Дон-Кишота»29, но *как* перевел, ни слова, ибо………30, и что сего творения будет скоро напечатано второе издание31, кое-как поправленное; все же прочие поделки мои заключены в «Вестнике», начиная от *Карамзина* до *Жуковского*.

Вот и всё. К Мерзлякову пиши сам об этом, потому что мне весьма лень.

Прошу прислать мне примеры *стихотв<орений> Буниной*32, «Письмо к Нижегородскому помещику»33 и «Les treize journées de Gagarine»34.

О возвращении своем еще не знаю, в октябре или в декабре35. Тогда напишу, если не поленюсь, или заставлю написать твоего Сергея36, с которым надобно познакомиться покороче. À propos\*\*: пишет ли Николай?37 Нет ли чего в его письмах годного для «Вестника»? И что Андрей Сергеевич?38 Я видел последнего в проезде его через Москву: добрый малый, всё тот же; надобно, чтоб он навсегда остался нашим. Скажи ему это, когда будешь писать. Я обнимаю его от всего сердца, и тебя, и Блудова, которому дóлжно без всяких околичностей верить моей истинной дружбе. Прошу вас, братцы, любите вашего Жуковского — вашего всегда, всегда и от всего сердца.

Я получил от Петра Петровича Тургенева39 письмо. В конце его стоит следующее: *Что говорю и пишу, от того не отрекусь: Александр мой влаяйся вол-*

*нам житейским*! Что это значит?40

**49.**

**А. И. Тургеневу**

*<2 декабря 1809 г. Москва>*

Здравствуй, любезнейший друг, обнимаю тебя от всего сердца; на следующей почте буду к тебе писать более1 и просить письма к Гагарину2. Теперь некогда. Нельзя ли поискать мне в Петербурге книги: «Handbuch der Erziehung» von Niemeyer, последнее издание, в 3-х томах3. Обними за меня Блудова.

Твой *Жуковский*

# 1810

**50.**

**А. А. Перовскому**

*<20—25 января 1810 г. Москва>\**

Посылаю к Вам, любезнейший Алексей Алексеевич, мое письмо, которое прошу Вас доставить князю1. Я привез бы его непременно к Вам лично, когда бы не боялся, что не застану Вас дома. Пользуюсь этим случаем, чтобы просить Вас о сохранении мне Вашего знакомства: в противном случае Вы меня сделаете суевером; я могу счесть Вас за привидение, которое, показавшись глазам моим на одну минуту, пропало; а я не охотник до привидений, потому что их боюсь… Но что же значат все эти чудесные мистические фразы? Они значат, что Вам надобно будет непременно дать мне знать о своем возвращении в Москву, как

скоро Вы приедете из Новгорода; тогда постараюсь Вам объяснить как-нибудь потолковитее, что мне непременно надобно быть хорошо с Вами знакомым, потому что сие приятное почитаю нужным и даже здоровым. Bon voyage[[47]](#footnote-47) и будьте здоровы.

Ваш покорный слуга *Жуковский*

**51.**

**П. А. Вяземскому**

*<20—25 января 1810 г. Москва>\**

Я хотел писать к тебе по почте и просил вашего человека, чтобы дал мне знать, когда Катерина Андреевна1 будет посылать свое письмо, чтобы приложить к ее письму и свое, потому что я не знал, куда к тебе адресовать. Теперь имею случай доставить к тебе мое письмо через Перовского, пишу с ним2. Mon cher et pauvre ami[[48]](#footnote-48), тебя не нужно уверять, как я разделяю твою потерю3; она и моя собственная; я плакал очень много, смотря, как опускали тело сестры в могилу и смотря на бедного мужа, которому я за несколько месяцев завидовал. Я ждал тебя во всё это время с нетерпением, будучи уверен, что ты приедешь: я думал, что тебе не скажут о твоем несчастье до твоего возвращения. Ты зовешь меня к себе — это приглашение почитаю истинным знаком твоей ко мне дружбы и благодарю тебя за него от всего сердца; для меня, право, неизъяснимо больно, что я не могу тебя возблагодарить за него исполнением твоего желания, которое в то же время и мое; именно в эту минуту нельзя мне отсюда уехать4, не остановив журнала, который при всей своей бедности должен быть выдаваем безостановочно; ни строки не заготовлено вперед; Каченовский не может заняться изданием один, у него есть университетские и канцелярские дела, которых теперь гораздо более, потому что граф Разумовский сбирается в Петербург5; словом, мне невозможно, и я бешусь на эту невозможность. Зато вот тебе мое слово: я поеду с вами в деревню и проживу у вас месяц непременно. Теперь прошу тебя об одном, любезный и добрый друг — не останавливайся ни на каких черных мыслях; рассеивать твоей унылости я и не желаю: как лишить тебя той горести, которая не может не быть дорога, потому что она единственно привязывает тебя теперь к твоей милой сестре; другие связи с нею все кончились; я сам, мой милый друг, вспоминал о твоей печати, она была отдана при мне, я и теперь помню, как она поспешно вышла из горницы, чтобы скрыть

свои слезы. Oui, mon ami, de votre soeur elle est devenus votre ange tutélaire. Cette idée n’a rien de chimérique étant vrai. Elle est en même temps consolante — et elle ne peut pas ne pas être vraie, puisque Dieu existe. Cette vérité a pour moi une évidence invincible — les liens de sentiment ne peuvent pas être anéantis par la mort et il y a une vie éternelle! Que serait Dieu s’il pouvait créer des êtres aussi charmants, qu’elle l’a été, seulement pour quelques instants d’une existence fugitive, seulement pour goûter la mort, sans pouvoir goûter la vie! Divinité, peut elle agir sans but![[49]](#footnote-49) Это я думал

еще за несколько дней до нашей общей потери, неся гроб молодой женщины, над которою за десять месяцев перед тем держал венец и которая умерла под ножом оператора, будучи не в состоянии родить! И через несколько дней потом я увидел могилу твоей сестры. Ты пишешь: inspirée dans ce moment elle ignorait elle-même que sa devise devenait mystique — je vis dans l’espérance d’une réunion et en même temps je me trouve dans ce monde privé de tout. J’ajouterai: conservez cette espérance; Dieu vous garde de la perdre; mais ne dites pas que vous êtes privé de tout.

Vous avez des amis[[50]](#footnote-50).

Вчера я был у Карамзина; он поднялся, но он был на шаг от смерти. Sa femme a vraiment une âme grande, son état a été un des plus affreux, qu’on puisse s’imaginer, mais elle a tout supporté, et avec quelle fermeté à Dieu. *Au revoir, mon cher ami*! Pensez toujours, que ces mots vous lient aux vivants, aussi bien qu’a celle qui n’existe pour vous qu’au de la de cette vie! Pensez que dans ce nombre de ces vivants existe un qui vous aimera toujours, c’est moi[[51]](#footnote-51).

Едва с младенчеством рассталась!

Едва для жизни расцвела!

Как непорочно улыбалась!

И ангел красотой была!

В душе ее, как утро ясной,

Уже рождался чувства жар… Но жребий сей цветок прекрасной Могиле приготовил в дар!

И дни Творцу она вручила! И взоры тихие закрыла, Не сетуя на смертный час! Так след улыбки исчезает!

Так за долиной умолкает Минутный Филомелы глас!6

**52.**

**П. А. Вяземскому**

*1 февраля <1810 г. Москва>\**

1 февраля

Comment cela va-t-il, cher ami?[[52]](#footnote-52) Где ты теперь? Я жду от тебя с нетерпением ответа, желая узнать, каков ты и что у тебя на душе! Ты очень бы меня обрадовал, когда бы написал ко мне, что скоро будешь в Москву1: я этого желал бы и для тебя, и для себя. Для тебя потому, что здесь, я уверен, было бы тебе несколько веселее, тебе нужны теперь люди, более к тебе близкие, а меня и всех тех, которые к тебе привязаны, избавил бы ты от тягостных мыслей,

что ты, может быть, излишне предаешься своей печали. Сверх того, очень вероятно, что я решусь уехать в Петербург; если решусь, то уеду очень скоро, и мне весьма будет жаль, если отъезд мой случится прежде твоего возвращения в Москву: я сердечно желаю тебя увидать. Напиши же ко мне скорее, хотя несколько строк.

У твоих бываю часто. Ник<олай> Мих<айлович> оправляется2, и они дней через пять переедут в дом Кушникова3. О себе самом нечего тебе сказать доброго: скучный «Вестник», и скучный «Вестник», и еще скучный «Вестник» — более ничего. Что бы ни было, а нынешний год есть последний моего ежемесячного бреда4: надобно делать что-нибудь лучшее, чтобы не стоить твоих эпиграмм, которыми, если верить внутреннему убеждению, ты, без сомнения, награждал меня и заочно, и в присутствии своей незнакомой Пермянки5. Хотел было написать к тебе много, но в голове у меня такая вьюга, какая и на дворе. Это случается, думаю, и с тобою: по крайней мере, сужу так по прежним твоим письмам — говорю *прежним*, потому что *теперешних* нет, великодушие твое несколько захворало — одни были такие длинные и веселые, а другие короткие и только злые.

Вчера узнал я, что Перовский здесь, остался за болезнью матери5; об этом очень сожалею: ты теперь без доброго товарища; он показался мне любезным и умным и добрым, сколько могу судить по первому орлиному взгляду. Удивительное дело! Нынче поутру сбирался к тебе писать, и в голове было много кой-

чего; но вот подымись вьюга, испортись желудок, найди на мя гонение Божие, именуемое *запором*, и мысли все сгустишася аки содержащееся в моих кишках, тяну их за волосы, и всё упираются. Словом, надобно бросить перо. По крайней мере, скажу тебе то, что и в запор, и в понос, и в ясный, и в пасмурный всегда

одинаково, именно, что я люблю тебя всем сердцем.

*Au revoir, mon cher ami*[[53]](#footnote-53).

**53.**

**И. И. Дмитриеву**

*10 марта 1810 г. Москва*

М<илостивый> г<осударь> И <ван> И<ванович>!

Я теперь вдвое благодарю Вас за то, что Вы поручили мне быть корректором Ваших сочинений1: эта приятная обязанность доставила мне выгоду получить от Вашего превосходительства письмо, которое было чрезвычайно для меня лестно и которое подтвердило мое уверение, что Вы расположены ко мне и в Петербурге так же благоприятно, как и прежде в Москве. Проведя целый год в важнейших государственных заботах2, Вы засыпаете каждый вечер с приятною мыслью о своем уединенном московском домике3, о своем саде, о своей люльке доброго эгоиста4, о своих московских знакомых — это я слышал от нашего почтенного, возвратившегося из царства мертвых, историографа5. И я желал бы, чтобы эта черта была известна Вашему будущему биографу, хотя (со многими вместе) желаю, чтобы дело дошло до Вашей биографии как можно позже.

О себе имею честь доложить Вам, что я, Ваш молодой счастливец во всех отношениях, и по сию пору еще перехожу мыслью от одного понятия о счастье к другому и не знаю еще, на котором остановиться; самыми счастливейшими минутами были для меня по сие время минуты стихотворных родов. Иногда, вообразив, что счастье в Петербурге, готов уже взять подорожную; то вздумается, что оно на каких-нибудь швейцарских горах, и я мечтаю о путешествии в Швейцарию, о двух-трех годах, проведенных у Песталоция6, для того чтобы завести что-нибудь подобное его институту в России и быть через то истинно полезным. Часто останавливаюсь мыслью в том идеальном доме, в котором живет моя жена, и в эти минуты обыкновенно досадно, что Вы не исполнили своего намерения женить меня на миловидной немке из немецкой слободы. Одним словом, дай Бог здоровья моему воображению: оно любит разгуливать попрежнему.

Но позвольте возвратиться к существенному. Первый том стихотворений

Ваших совсем отпечатан7. Я снова взял его перечитывать и заметил уже ошибок с пять; заставляю читать и своего сожителя Соковнина8; Плат<он> Петр<ович> Бекетов9 также читает и обещал со мною снестись. Одним словом, мы ведем с большою деятельностью наступательную и оборонительную войну с наборщиками и опечатками. Желал бы я, чтобы и Дмитр<ий> Петр<ович>10 прислал мне записку о том, что он заметит. По всему этому сделаны будут поправки; для важных ошибок вставятся новые перепечатанные страницы, и менее важные внесены будут в конце в эррату11.

В письменном оригинале (перев<од> Горац<иевой> оды к Гросфу)12 находятся следующие стихи:

Мать-родину свою покинешь, Ничем ее не *заслужишь*. Но от себя не убежишь; Сердечной власти не отринешь.

*Заслужишь* есть ошибка г-на секретаря Северина; дóлжно, если не обманываюсь, *заглушишь*. Но отринуть и заглушить *власть* едва ли это ясно. Не рас-

судите ли это поправить? Я, между прочим, придумал следующее:

Сердечных жалоб не отринешь, И укоризн не заглушишь.

Или:

Мать-родину свою оставишь, Но от себя не убежишь,

Умолкнуть сердце не заставишь

И мук его не утолишь (усмиришь, заглушишь).

Смею надеяться, что Вы простите мне мою дерзость. И прочие части буду просматривать с возможным старанием.

И<мею> ч<есть> б<ыть> с совер<шенною> пред<анностью> В<ашего> П<ревосходительства>,

М<илостивого> Г<осударя>

П<окорнейший> С<луга>

*В. Жуковский*

1810.

Марта 10.

Москва

**54.**

**А. И. Тургеневу**

*<Начало апреля 1810 г. Москва>*

Благодарю тебя за письмо твое, любезный и истинно любимый друг. Спешу исполнить твое поручение о Копецком1, которого, надобно тебе знать, совсем не знаю. Я видел его всего на всё один раз у Карамзина, и еще когда-то, за несколько веков перед сим, у Баккаревича2. Всё это еще не дает мне права рекомендовать его Дмитриеву3. Впрочем, и нельзя мне присылать никого к Дмитриеву с моими рекомендательными письмами: ты знаешь его щекотливость. Но я говорил о Копецком Карамзину, который и хочет написать об нем И<вану> И<вановичу>4. Он не берется утверждать, что К<опецк>ий человек по всем отношениям хороший, ибо он его знает еще меньше меня; но он будет просить Дмитриева, чтобы он его принял и постарался сделать ему возможное добро. Я же с моей стороны прилагаю здесь письмо к Северину5, с которым пускай пойдет сам Копецкий. Северин поможет ему дойти до Дмитриева, а тот уже верно сделает ему добро. Ты жалуешься на мое молчание, а я жалуюсь на твое — мы квиты! Но ни я, ни ты не будем никогда, верно, жаловаться на обоюдную нашу холодность друг к другу, ибо этого с нами никогда случиться не может. Я не менее тебя, милый друг, жалею о наших потерянных Афинских вечерах6; но как быть! Подождем до будущего года — мы будем вместе

И дружбой, и любовью жить,

Из чаши Вакховой забвенье жизни пить, Искать добро, как мы его искали прежде,

И горем не скучать, бессмертия в надежде7.

Прощай.

*Жуковский*

Ты и забыл написать ко мне, как зовут Копецкого, — то-то аккуратный человек. Я рад заочному знакомству с Уваровым и прошу тебя рекомендовать ему меня от моего имени. Батюшков тебе кланяется.

**55.**

**К. Н. Батюшкову**

*<7> мая 1810 г. <Москва>*

Приезжай ко мне часу во втором, я достал пилигримов1 — выберем, что нужно. Потом, если хочешь, поедем обедать к Карамзину, а от него вместе в собрание2. Пожалуйста, приезжай. Ж.

Майя 1810

**56.**

**П. А. Вяземскому**

*<Около 1 июля 1810 г. Москва>\**

Здравствуй, любезный друг. Спасибо за угощение. Я добрался вчера очень порядочно до Москвы. Выехал из Остафьева1 в половине девятого, а в десять был уже у Московской заставы. Но сердце ведун — я точно угадал, что Соковнин переехал на другую квартиру2. Приезжаю к воротам прежнего дома своего —

Прибиты ставни к окнам,

На воротах запор, И только что на кровле Мяучит тощий кот3.

И я принужден был отправиться в странствие, искать своей Дульцинеи.

Нашел ее, она изволила уже почивать, в силу чего и я сам лег спать. Тем и кончилось мое пребывание в Остафьеве. И письмо это тем же надобно кончить, хотя оно и невелико и вздорное, — но на дворе несносно жарко и здешний жар совсем не остафьевский. Мой усердный поклон Катерине Андреевне и Николаю Михайловичу — желаю, чтобы они были здоровы и меня иногда помнили. Детям посылаю игрушек: солдат и лошадь Андрюше, мельницу Соничке, а кукушку Катеньке4. Adieu, mon cher[[54]](#footnote-54), если умру, чур поскорее забыть. Если ты получишь на мое имя пакет, возврати его поскорее. Я еду в понедельник в ночь5.

**57.**

**П. А. Вяземскому**

*3 <июля> 1810 г. <Москва>\**

Сейчас получил письмо твое и сейчас отвечаю — какова честность? Зато и не требуй длинного письма. Я сбираюсь в дорогу. Езжу туда и сюда, как угорелый; читаю корректуру; поправляю стихи и прозу; почти не ем; укладываюсь; словом — весь погружен в суету. Следовательно, не могу и отвечать тебе на твой душистый катрень и дистихом. Прощай. Будь здоров. Обнимаю тебя дружески,

а чтобы повеселить твою душу, посылаю тебе № «Друга юношества», в котором ругают тебя нещадно и меня тут же за эпиграммы на Боброва1. Скажи мой

усердный поклон твоим; желаю, чтобы они были здоровы и счастливы. Прости, любезный друг.

Твой *Жуковский* 1810 г. Июня 3-е

**58.**

**А. И. Тургеневу**

*11 июля 1810 г. Белев*

Белев. 1810го июля 11

Пишу к тебе это письмо, любезный и первый друг мой, только для того, чтобы обременить тебя некоторыми комиссиями, которых всего на всё две. Первая: прислать мне, если можно, Шлёцерова «Нестора», Гебгартово1, Машево2 и Тунмановы3 сочинения о правах древних славян (титула сих книг не знаю, но

слышал об них от Карамзина, и теперь имею в них нужду). Очень много одолжишь, а возвращу эти книги тебе непременно самолично, ибо имею намерение быть в Петербурге. Но только поспеши исполнить эту комиссию поскорее, за что весьма буду тебе благодарен. Вторая комиссия состоит в том, чтобы ты попросил от себя и от меня М<ихаила> Дмитриевича Костогорова4 о докторе Мухине5, который был чем-то в Медико-хирургической академии и теперь желает после разрушения этой Академии6 получить какую-нибудь награду, а Мих<аил> Дмитриевич может попросить за него доктора В….7 у которого он служит и от которого эта награда зависит. Вот и всё. О себе скажу тебе, моему истинному другу, что я, при всём неописанном молчании моем, привязан к тебе по-прежнему всею душою, как к моему брату и верному товарищу в жизни. Надеюсь, что мы не всё будем жить в отдалении один от другого. Я привез сюда в Белев письма твои и брата Андрея8, перечитываю их иногда и, кажется, с бóльшим чувством, нежели даже в то время, когда их получил: теперь к прежнему сладкому чувству присоединяется и горестное чувство вечной потери. Скажу, однако, что я никого никогда не любил так, как твоего, или, лучше, нашего незабвеннаго друга и брата — ты по нем первый. Сказать ли, кого еще я полюбил гораздо живее прежнего, но полюбил, расставшись с ним? — Твоего брата Сергея! Прекрасное сердце! Я был у твоей матушки, надеясь еще застать его (в это время я жил у Карамзина в деревне и заезжал в Москву на час), но он уже уехал9, и матушка твоя очень меня тронула, рассказывая о его с нею прощании. Вообще в последнее время были мы с ним несколько чаще. Подождем будущего! Авось… Так, *авось* дело прекрасное! Что же касается до настоящего, то отвечай мне скорее, скорее. Не знаешь ли чего-нибудь о Блудове?

**59.**

**А. И. Тургеневу**

*<Август 1810 г. Белев>*

Спешу написать тебе несколько слов, любезнейший друг, чтобы успокоить тебя насчет присланных тобою мне книг. Я получил их и благодарю тебя от всей души за твое поспешное исполнение моей просьбы1. Шлёцер в прибавлении четвертой части «Нестора» говорит о своем сочинении «Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen»2, в котором есть история печенегов. Нет ли у тебя этой книги? Весьма много одолжишь, если мне ее доставишь. Также позаботься и о тех книгах, которых я у тебя просил3. Ты сам лучше меня теперь знаешь, что мне нужно для того плана, который у меня в голове4. Я не хочу быть историком, но хочу иметь основательное понятие о древности Славянской и Русской. Не получив его, и за дело приниматься не дóлжно. Отвечай на это и на первое мое письмо поскорее. Также дай знать и о том, как ты располагаешь с приездом в Москву? Постарайся так приехать, как я писал в прошедшем моем письме, но дай мне об этом знать заранее. Прости, любезнейший друг! Будь здоров, не забудь осведомиться и постараться о Гриневе5.

Твой *Жуковский*

Напиши от меня дружеский поклон к братьям Сергею и Николаю. Нельзя ли доставить мне некоторые Николаевы письма?6 Матушка твоя сказывала, что иные из них годились бы и в «Вестник». Для чего же ты не хочешь которогонибудь из них напечатать? Еще раз повторяю просьбу мою о доставлении мне

сочинения Уварова7.

NB. Schlözer’s Nordische Geschichte8 у меня есть.

Что, если мы сделаем будущею весною путешествие в Киев? Пришли, между прочим, и Гельмольда9 и Гебарда10. О целости книг твоих не сомневайся. Назначь, прошу тебя, мне все те русские книги, которые годились бы мне для моего плана.

**60.**

**А. И. Тургеневу**

*12 сентября 1810 г. <Муратово>*

Благодарю тебя, любезный мой Миллер1, за длинное твое письмо и за всё то, что в нем заключается. Несмотря на твою деятельность (которой письмо твое, написанное на добрых осьми страницах, могло бы быть неоспоримым доказательством), я начинаю думать, что ты неизлечимый ленивец, и сверх того еще уверяюсь, что ты никогда не заглядываешь в моего «Вестника» — (признаюсь сам, что он весьма худой журнал, и ты бы рассердил меня, если бы вздумал в угождение моему самолюбию и вопреки искренней дружбе его хвалить), — но оглавление каждой книжки прочитать было бы нетрудно, а взявши этот труд на себя, ты и увидел бы, что письма Миллеровы, и именно те, которые посвящены тебе в моих мыслях, переведены мною. Чтобы избавить тебя от скучной работы перебирать все книжки «Вестника», скажу, что эти письма найдешь ты в № 16 на странице 2632. Они переведены хорошо, ибо я переводил их с истинным удовольствием; хотя ты и можешь заметить в слоге некоторые бездельные неисправности, напр<имер>, в ином месте частые повторения одних и тех же слов, но эти ошибки остались оттого, что я не перечитывал сам, по причине моего

отсутствия из Москвы, корректуры: а в манускрипте никогда не заметишь тех погрешностей, которые увидеть можешь в печатном листе. Итак, первая задача решена: *ты не читаешь «Вестника»*. Но это преступление и не важное, ибо в нем ты не найдешь и не можешь искать *меня*. По какой причине? Об этом говорить теперь не стану. Вторая задача: *ты ленивец*! Как, ленивец? Написавши восемь страниц? Первое доказательство: при этих же осьми страницах ты мог бы прислать мне *Миллеровы письма*; но тебе лень было их завернуть в бумагу и сказать человеку своему: отнеси эту посылку на почту, написав на ней адрес. Второе доказательство: ты *думаешь* о выборе мне книг из своей библиотеки, *угадывая* мое намерение. Через две недели по получении моего письма ты начал только *думать*, тогда как стоило бы только обойти кругом все свои шкапы и вынуть из них без всякого предварительного *обдумывания* все книги, касающиеся до Российской истории, и потом из этих же книг отложить те, которые мне нужны (и это было бы гораздо легче сделать, имея их все перед глазами, нежели просто об них думая, следовательно подвергая себя опасности иную и забыть); а, отложивши, отправить их по почте, таким же точно образом, как и Миллеровы письма. А *угадать* мое *намерение* было тебе не совсем трудно, ибо я описал его тебе весьма подробно. Что же касается до моего *плана*3, то он только что посеян в моем воображении, а созреет тогда только, когда семена будут напитаны теми материалами, которых я от тебя теперь требую.

Вторая задача решена: ты ленивец! Вот и некоторые дополнительные доказательства. Я просил тебя о доставлении мне Шлёцеровой книги «Die Deutschen in Siebenbürgen»4, где есть что-то о печенегах; но ты не *подумал* об этой комис-

сии, или, может быть, только *думаешь*.

Но полно браниться! Какой-то тихий голос сказал мне в эту минуту на ухо твоими словами: this man is my bosom-friend![[55]](#footnote-55) — и я обнимаю тебя заочно со всею искренностью верной дружбы. Еще раз благодарю, любезный друг, за «Не-

стора» Шлёцерова. Я прочитал с *жадностью* первую часть, служащую введением, и ожидаю с нетерпением октября, в котором начнется мой курс отечественной истории; прежде я не могу этого сделать, ибо я теперь не в Белеве, а в другой деревне, находящейся под Орлом5, где нет со мною ни карт, ни других книг, без которых не хочу начинать этого чтения. Читая русскую историю, буду иметь в виду не одну мою поэму, но и самую русскую историю; но в истории особенно буду следовать за образованием русского характера, буду искать в ней объяснения настоящего морального образования русских. Это мне кажется прекрасною точкою зрения, и со временем может выйти из моих замечаний что-нибудь весьма полезное (пишу это про тебя). Политические происшествия можно назвать воспитанием того отвлеченного существа, которое называют *нациею*. Читая историю в этом отношении, то есть наблюдая, каким образом воспитатель могущий народов (Судьба, Провидение, Творец) образовал их характер, увидишь и средства, каким образом можно исправить то, что испорчено воспитанием, дополнить недоконченное, воспользоваться выгодным, уничтожить вредное. Эта мысль (которая может служить точкою соединения всех наблюдений), признаюсь, восхищает меня. Я теперь нахожу в себе гораздо более расположения к деятельности; может быть, такая перемена произошла во мне оттого, что я *деятельность писателя* теперь поставляю единственным своим благом, зави-

сящим от меня, и хочу к этому благу стремиться, отказавшись от всех *других*, от меня не зависящих и неверных, предоставляя себе, однако, воспользоваться ими, если они на дороге мне представятся. Но я удалился от Шлёцера.

Этот человек имеет дар оживотворять самую сухую науку исторических древностей (а северные древности не римские и не греческие). Его можно назвать Лессингом, Лагарпом истории; он привлекательно говорит и о скучных

ошибках переписчиков «Нестора». Слог его приятен не искусством писателя, но тою твердою логикою и тою экономическою краткостью, благодаря которым мысли его представляются вдруг, ярко и в связи рассудку читателя. Таких критиков весьма немного. Но он иногда бывает излишне недоверчив; особливо

странно то, что он сомневается в существовании Песни Игоревым воинам6, тогда как она давно напечатана7 и имеет, кажется мне, наружность неотрицаемой истины (autenticité). Сердит меня немного и то, что он, писавши книгу свою и для русских (которых неученость ему известна), испестрил ее огромными греческими и латинскими тирадами. Немцы красно говорить не хотят или и не умеют, имея слишком *дельные* головы; не отнимая у них ничего из этой полезной дельности, желал бы, чтобы они заняли несколько ветреной привлекательности у французов (англичане, кажется мне, занимают истинную средину между ними и французами). Я желал бы иметь все или по крайней мере избраннейшие сочинения Шлёцера; например, я с большим удовольствием про-

чел бы его «Selbstbiographie»8. Есть ли у тебя его «Probe Russischer Annalen»?9 Он часто ссылается на эту книгу в своем «Несторе». Но для избежания многословия прошу тебя исполнить следуюущее, без всякого предварительного обдумывания (à l’allemande[[56]](#footnote-56)): 1е — пришли мне Миллера (я буду переводить из него

отрывки, а со временем, может быть (разумеется, исподволь), переведу и все письма; они будут точно посвящены тебе, хотя бы я выдавал их и на 60 году жизни). 2е — напиши (NB: *без обдумывания*) полную роспись всех книг русских, немецких, latinskych и других, принадлежащих к русской и славянской истории, латинские титулы прилагай в оригинале и переводе. 3е — доставь мне те книги, которые мне теперь могут быть нужны, руководствуясь в этом первым моим письмом. 4е — дай мне каталог Шлёцеровых сочинений. Из русских старинных летописей имею: «Нестора» по Радзивиловскому списку (это, думаю, тот, которого бранит Шлёцер); Никонову летопись; Софийский список Нестора; величественный Синопсис, старый и новый; есть у меня и «Русская Правда», и Духовная Владимира Мономаха, и Болтин, и Щербатов, и Хилков, и Штриттер, и песнь Игорю10. Но более всего радуюсь твоим Шлёцером. Теперь смотрю на него с таким же удовольствием, с каким *во время оно* смотрел на него с отвращением, и это не в отношении к одному «Владимиру», а точно из некоторой

особенной привязанности к тому занятию, которое представляет мне история. Герберштейн есть и на немецком!11 Нельзя ли им меня снабдить? Но в нем теперь нет крайней нужды (боюсь тебя ограбить; но ведь ты и не будешь лишать

себя нужного; этого ни по чему ты не должен делать). *NB*. Разговоры о Новогороде12 у меня есть. Нет ли чего-нибудь подобного о Киеве, и где я о нем найду какие-нибудь подробности?

На твое мнение предпочесть Владимиру Святослава13 теперь не отвечаю ничего, ибо мой план, как я уже сказал выше, есть только одно семя; но Владимир есть наш Карл Великий, а богатыри его — те рыцари, которые были при дворе Карла; сказки и предания приучили нас окружать Владимира каким-то баснословным блеском, который, может быть, заменит самое историческое вероятие; читатель легче верит вымыслам о Владимире, нежели вымыслам о Святославе, хотя последний по героическому характеру своему и более принадлежит поэзии, нежели первый. Благодаря древним романам14 ни Ариосту15, ни Виланду16 никто не поставил в вину, что они окружили Карла Великого рыцарями, хотя в его время рыцарства еще не существовало. Что же касаетя до святости Владимира, то можно говорить об нем и заставить его действовать приличным образом его историческому характеру; к тому же главным действующим лицом будет не он, а я его сделаю точкою соединения всех посторонних действий, для сохранения единства. Поэма же будет не героическая, а то, что на-

зывают немцы romantisches Heldengedicht[[57]](#footnote-57); следовательно, я позволю себе смесь всякого рода вымыслов, но наряду с баснею постараюсь ввести истину истори-

ческую, а с вымыслами постараюсь соединить и верное изображение нравов, характера времени, мнений, позволяя, однако, себе нравы и мнения времен до Владимира перенести в его время, ибо это принадлежит к вольности стихотворного дворянства, данного нашей братье императором Фебом. Вот! не хотел ничего говорить о Святославе и Владимире, а наговорил с три кузова! О, перо неугомонное и непостижимое! Или оно ленится, или пишет без памяти.

Стихи мои *переписываются* для тебя; но ты получишь их не так-то скоро, ибо я не имею здесь переписчика; зато переписывает их прелестнейшая рука, рука милой Грации, в самом деле Грации17. Но ты станешь смеяться моим планам и скажешь мне: собирай лучше материалы для «Владимира».

Итак, возвращаюсь к своим сочинениям. На твое намерение печатать их, чтобы дополнить мое издание Русских стихотворцев18, никак не соглашаюсь; береги их про себя; но выдам их я сам, когда их наберется поболее. На что отнимать у них цену новости? Прошу также никому (разумеется, кроме Блудова, которого суд, и критика, и одобрение весьма для меня важны) не давать копий.

Что же принадлежит до моего издания стихотворцев русских, то оно уже в действии: первый том отпечатан, а выдан будет с вторым19. Всех томов будет числом пять. Я старался собрать всё то, что можно читать с удовольствием; следовательно не ограничивал себя одним *совершенным*. Благодарю за доставление стихов Уварова20. Со мнением твоем о его таланте совершенно согласен, также и с тем, что Василий Львович21 не имеет души, при всей опрятности слога своего. Слог его можно сравнить с прекрасною восковою куклою, в которой находим мы всё, составляющее человека, кроме самого человека. А стихов его22 я не поместил для того, что они слабы, заключают в себе одну только брань, которая есть бесполезная вещь в литературе; впрочем, поместить их более не хотел Каченовский, не желая заводить ссоры, с чем и я согласен. Шишкова почитаю суеверным, но умным раскольником23 в литературе; мнения его о языке то же,

что религия раскольников, которые почитают священные книги более за то, что они старые, а старые ошибки предпочитают новым истинам, и тех, которые молятся не по старым книгам, называют богоотступниками. Таких раскольников надобно побеждать не оружием В<асилия> Львовича, слишком слабым и не-

чувствительным.

Гомера читаю на английском, имея перед собою и Фоссов перевод24. Не соглашаюсь, однако, чтобы Фоссов перевод был лучше Попова25; может быть, в первом найдешь более истинного гомерова духу и греческой простоты, но он сух, и чувствительно, что немец Фосс из всей силы хотел быть греком. Поп растянут и иногда очень удаляется от гомерова духа, особливо когда дело дойдет до богов, говоря о которых он вмешивает такие выражения, которые более приличны новейшим метафизикам; зато язык его стихотворнее. Эти два перевода по-настоящему надобно читать вместе: один увеличит цену другого; Попова щеголеватость сделает приятнее Фоссову простоту, а Фоссова сухость сделает еще приятнее Попову блистательную поэзию. Чуть ли и я со временем не примусь за греческую грамматику, а латинская уже и очень вертится в голове моей. В Белеве есть один латинус, которого я хочу прибрать в руки; тогда берегись Гельмольд26, а особенно Виргилий и Гораций; доведи, Господи, и до Тацита! Доставь мне пиесу Уварова «Sur l’avantage de mourir <jeune>»27; я очень любопытен читать ее, особенно по тому, что ты об ней пишешь. NB. Первая присланная тобою пиеса его нравится мне более, нежели последняя. В ней, кажется, язык и правильнее, и стихотворнее.

Напрасно бранишь ты послание Воейкова к Мерзлякову28; в нем много хорошего; и ход мыслей, и слог вообще хороши.

Их корни внутри земли,

Вершины за облаком;

Их свойство — величие Удел — независимость!

…………………………… О, верь мне, что в городе

И слава вседневная Есть гроб славы истинной.

Писатель, желая льстить

*И нравиться публике*, Блистая мгновение, Теряет бессмертие.

Всё это хорошо, а окончание прекрасное29. И вообще в этой пиесе много легкости; можно бы было кое-что и поправить (что сущая безделица в стихах без рифм), но всё это послание остается очень приятным.

Каким образом Блудов в Петербурге, а не в Молдавии?30 Вот новое дополнение к доказательствам о твоей лени! Как не сказать об нем ни слова? Уверь

его, если можно, что ему надобно бы было ко мне написать. Как же он обленился между мусульманами! Au moins a-t-il conservé son prépuce?[[58]](#footnote-58)

На забудь о Гриневе31. Кланяйся братьям, когда к ним писать будешь, и перестань *думать* о исполнении просьбы моей, а просто исполни ее. Прости, любезный Миллер.

Твой *Бонстеттен*32.

1810го, сентября 12

NB. Замаранные мною строки33 написаны были перед обедом; после обеда, во время варения желудка, догадался я, что их непременно надобно вымарать — и вымарал, и это сделано по той же причине, по которой ты не хотел поставить всего имени *одного человека* в своем письме и отложил говорить об нем до личного свидания нашего, а только не потому, чтобы я хотел от тебя скрываться. Итак, vale![[59]](#footnote-59)

**61.**

**А. И. Тургеневу**

*19 сентября <1810 г. Муратово>*

19 сентября

Constantiam et gravitatem werden Sie nicht eher erlangen, bis alle Ihre Stunden wie im Kloster regelmäβig ausgetheilt sind[[60]](#footnote-60)1. Вот золотое правило, которого держаться надлежит непременно, чтобы достигнуть до чего-нибудь прямо высокого. А Миллеровы письма должны быть катехизисом того человека, который хочет посвятить себя наукам. Я почти дочитал их, но уверен, что буду еще перечитывать и что никогда перечитывать не устану. По этому началу, мой любезный друг, ты, может быть, вообразишь, что я в своем письме буду рассуждать с тобою о Миллере, о деятельности ученого человека, о нашей дружбе, — я не имею времени этим теперь насладиться. Мое письмо содержит в себе комиссию, которую исполнить в скорости и с величайшею точностью прошу тебя именем Миллера, Бонстеттена и им подобных. Вот записка о деле, о котором ты должен начать хлопотать тотчас по получении моего письма, ибо здесь всего нужнее поспешность, и твое старание будет истинным доказательством твоей ко мне дружбы. Екатерина Афанасьевна Протасова имеет в 25-летней Экспедиции2 свидетельство на 231 душу; но из этих 231 души заложено только 37 душ; остальные свободны. 25-летняя Экспедиция не дает более денег; Ек<атерина> Аф<анасьевна> хочет занять деньги в Опекунском Совете; но двух свидетельств на одно и то же имение получить невозможно, и она просит, вследствие этой невозможно-

сти, чтобы 25-л<етняя> Экспедиция передала свое свидетельство Опекунскому Совету или снеслась бы с ним о том, что Ек<атерину> Аф<анасьевну> можно удовлетворить деньгами на залог остальных от 231 души крестьян свободных,

чему доказательством служит самое свидетельство. И просьба моя к тебе состоит в том, чтобы без всякого замедления выхлопотал (или сам, или через знакомых) это отношение от 25-летней Экспедиции в Опекунский Совет, и как скоро оно будет послано, уведомил бы меня через почту. Надеюсь, любезный друг, что, доставляя тебе случай оказать мне истинное одолжение, я делаю тебе удовольствие; уверен, что ты возьмешься за это дело со всевозможною ревностью, и обнимаю тебя со всею искренностью дружбы. Отвечай на это письмо поскорее; дело, право, весьма для меня важное. Между тем скажу тебе, в заключение моего письма, что я учу латинские вокабулы, читаю латинскую грамматику и думаю с восхищением о греческом языке, который *NB* почитаю необходимым для усовершенствования русского, ибо наш русский язык воспитан греческим, с которого переведены первые наши книги. Но об этом после. Я начинаю предвидеть, что моя лень скоро исчезнет и что мы будем переписываться с тобою весьма порядочно, следовательно будет время еще поговорить и о Миллере, о языке латинском, о «Несторе», о русской истории. Но я советую тебе, любезный мой Миллер, позаботиться о доставлении мне хорошей латин-

ской грамматики. Не худо было бы, если бы ты заранее запас меня и греческою, также хорошею; хотя о греческом языке теперь еще и слуху нет, но я бы изредка заглядывал в грамматику, приучал бы глаза свои к каракулькам греческим; это питало бы мою жадность — аппетит голодного увеличивается, когда он смотрит на пищу, в ожидании того часа, как скажут ему: Пиль![[61]](#footnote-61)Прости.

Твой *Ж*.

**62.**

**М. Т. Каченовскому**

*27 сентября <1810 г. Муратово>*

Поздравляю Вас с именем издателя «Вестника Европы», с благополучным избавлением от тяжкой *всемирной трубы*1,которою Вы хотели было против меня вооружиться. «Вестник», доведенный *Вами* до цветущего положения, не поблекший и *при мне*, сохранивший древнее великолепие свое и *при нас*, принадлежит Вам теперь безраздельно. В добрый час! Желаю Вам всевозможного успеха. Мне между тем позвольте сказать несколько слов в ответ на Ваше *дружеское* письмецо.

Вначале объявляю Вам, что я согласен с большим удовольствием быть только *посторонним* сотрудником в издании Вашего журнала, не заботясь о его распоряжении, которое теперь единственно зависит от Вас. Но дело пока не

о том. Хочу сделать небольшое замечание на две или три строки Вашего письма, которые для меня по всему *неожиданная* резкость. Вы пишете: *позвольте сказать, что Вы несколько хитры; но Бог с Вами, любезный кум. Я всё-таки желаю Вам добра и никак не хочу потерять Вашу дружбу, хоть мне и кажется, будто бы Вы хотели оттереть меня*2. Другими словами: любезный кум, Вы вздумали хитрить, ибо нельзя не хитрить, когда идет дело об деньгах. Вы хотели меня оттереть, то есть обмануть, следовательно Вы плут; я прощаю Вас и всё еще Вам желаю добра, хотя, между нами сказать, Вы этого и не стоите. Но я это делаю из милости. Таков и смысл, и тон Вашего письма.

Позвольте ж спросить, Михайло Трофимович, у кого заимствовали Вы такой язык и по какому праву говорите им со мною? Если Вы не шутите (впрочем, и шутить таким образом, кажется, никогда не прилично), то уверяю Вас, что такой образ мыслей насчет людей, которых Вы ни по чему не можете оскорблять подозрением низким, унизителен только для Вас самих. Так говорить со мною могли бы Вы только тогда, когда бы имели в руках доказательства ясные, но по одним подозрениям неосновательным, без всякой причины делать оскорбление человеку, которого честность и совершенное бескорыстие на опыте Вам известны, стыдно и неблагородно. И почему ж Вы не в состоянии предполагать в самых приятелях Ваших прямодушия; разве деньги кажутся Вам столь всемогущими, что все люди без исключения должны жертвовать им своею совестью. Напрасно приводите Вы в пример самого себя. «Вестник», доведенный Вами до *цветущего состояния,* был оставлен в исходе 1807 года3, и я, вступив в издание, не имел нужды делать с Вами условие; теперь напротив, отказываясь от имени издателя, я желал и сам иметь некоторое участие в издании, о чем предварительно и было говорено между Вами и мною. Большая разница! Вспомните и то,

что при заключении в 1809 году контракта с типографиею я во всём вверился Вам, не опасаясь, чтобы Вы вздумали оттереть меня.

Находясь в деревне4, я никаких не имею способов, если бы и хотел, *оттереть* Вас от издания. Впрочем, этого и хотеть мне невозможно, ибо я располагаюсь бóльшую часть года жить в деревне, как же бы мне издавать одному.

Конечно, для этого благородного подвига я мог бы сделать наступательный и оборонительный союз с Сущёвым5, если бы только он на это согласился6. Но и этот союз был бы весьма безуспешен. Я живу в деревне, а Вы — профессор университета, могущий иметь влияние на дела его, состоите налицо, и типография от Вас в двух шагах; я был бы сумасшедший, когда бы вздумал приняться за обман, не предвидя от того никакой себе выгоды и единственно для одного бесславия — не говоря уже о собственном к самому себе уважении, это мое дело… но виноват; между нами идет дело не о честности, не о доверенности взаимной, не о дружбе и благородстве, а просто о *деньгах*, и я, оставляя Вам думать обо мне что хотите и как хотите, повторяю, что я совершенно согласен на Ваше условие, Вы будете от меня получать аккуратно для каждого № *два листа* оригиналу, а я буду от Вас получать деньги; в год доставляя Вам не менее и не более 48 листов7. Хотя по словесному предварительному уговору и было назначено между нами, чтобы Вам платить мне свою *цену*; но я соглашаюсь получить пятью рублями менее того, что Вы получать будете по Вашему условию с типографиею: это составит Вам выиграша на 240 рублей — впрочем, здесь расположение зависит единственно от Вас, ибо контракт уже сделан. Обязуюсь клятвенно доставлять Вам не более двух листов для каждого №.

Прошу Вас: 1-е — помещать каждую мою пиесу без отговорки (об этом также было говорено между нами), ибо я, живучи своими трудами, не могу терять их понапрасну, и 2-е — позволить мне присылать их по-прежнему непереписанными, а я обязываюсь писать разборчивее. Прошу Вас не замедлить на сии последние пункты ответом. Верьте, Михайла Трофимович, что я из усердия к Вам и совсем бы желал отказаться от всякого участия в «Вестнике», но теперь по моим обстоятельствам этого мне сделать невозможно, и это для меня огор-

чительно. Ваш

покорный слуга

*В. Жуковский* Сентября 27

**63.**

**М. Т. Каченовскому**

*<Не ранее 30 сентября и не позднее 3 октября 1810 г. Муратово>*

Милостивый государь мой Михаил Трофимович!

Еще одно письмо, с которым позволю себе войти в некоторые объяснения, — и потом всему конец. Итак, Вы шутили, сказав приятелю своему, который искренно дорожил Вашею дружбою, который от всего сердца вверил Вам всё свое имение (ибо он имел полную ко всему доверен<ность>), что он: *хотел оттереть Вас от издания «Вестника»*. Я написал целое письмо, наполненное грубыми укоризнами, это правда, а Вы поместили в Вашем одно только грубое слово — совсем не грубое, и то одно, но Ваше одно слово обиднее всех моих укоризн, ибо оно заключает в себе Ваше дурное мнение насчет человека, который старался всегда быть Вашим приятелем; а все мои укоризны, напротив, означают только то, что мне было чрезвычайно больно найти Вас на счет мой так жестоко несправедливым. Вы виноваты передо мною делом, а я виноват перед Вами словами. Но после нескольких лет короткого дружеского знакомства мог ли вообразить, чтобы Вы когда-нибудь сказали мне: Ты хотел *оттереть* меня

от издания «Вестника», давши слово уступить его мне добровольно.

Право, я всегда старался быть добрым Вам товарищем, и Ваше выражение не могло не быть для меня чрезвычайно чувствительным именно потому, что я уверен был, что Вы меня знаете более многих и более многих характер мой ценить можете. Не зная, что бы Вы отвечали мне, если бы в моем письме к Вам не написано было: *Вы хитры, Вы хотели меня оттереть*, и сочли бы Вы такое выражение шуточным (впрочем, и шутка обнаруживает мнение — а в Вашей шутке какое же обнаруживаете Вы насчет приятеля своего мнение?)

Написанное в письме моем, в чем искренно каюсь, признаю очень резким, но говорю и теперь, что Вы виноваты передо мною гораздо более, нежели я перед Вами, ибо Вы точно показали на счет мой подозрительность, которой я никак от Вас не заслуживал и не ожидал. Пускай Ваше выражение шуточное — но что же значит Ваша шутка? Неужели в ней нет никакого смысла? а если есть

он — то какой же? И скажите, ради Бога, не виноватее ли тот человек, который с холодным духом шутя и в выражениях не грубых говорит своему приятелю: *я сомневаюсь в твоей честности*, — нежели тот, который, получив от своего приятеля такой неожиданный комплимент, отвечает ему в первую минуту колкостями и с досадою. Признаюсь, если бы я имел несчастье оскорбить приятеля обидным на счет его подозрением, то для меня такая бы ошибка была бы больнее всех его грубостей, она лежала бы у меня на душе, и я, сказавши ему: твои выражения не годятся никуда, поспешил бы, однако, сложить с своей совести преступление против дружбы, то есть или бы с ним объяснился, или сказал бы ему: виноват, подозрение мое было неосновательно, но мы поквитались, ибо за мою ошибку в логике заплатил мне порядочною ошибкою против учтивости.

Искренно буду сожалеть, если наше знакомство таким образом прекратится, по крайней мере я не очернил себя перед Вами никаким противным короткому знакомству поступком. Я только написал к Вам грубое письмо. Это преступление против учтивости, благопристойности и тому подобного; а Вы, Вы думали о приятеле своем дурно тогда, когда обязаны были уважать его — истинное преступление против совести, и я не знаю, простит ли она его Вам.

Теперь слово <*2* *нрзб*.> с Вами о журнале.

Прошу Вас покорно, дабы прекратить всякий излишний разговор, всё расположить, как будет Вам выгодно. Платить мне можете Вы то, что Вам покажется *должным*, я соглашаюсь на всё без всякого затруднения. Прошу Вас только *назначить* цену — отказаться мне от этого участия, право, невозможно; но я надеюсь, что пиесы мои не будут портить вашего «Вестника».

По большей части буду переводить для статьи «Науки и искусства», для которой имею хороший запас материалов1. Прошу Вас отвечать мне без замедления и в ответе своем определить цену. На принятие цены вперед соглашаюсь.

Статья для критики будет приготовлена, если не к XXI, то к XXII книжке2.

Будучи уверен, что Вы в этом случае поступите как <…>3.

**64.**

**И. И. Дмитриеву**

*<Между 30 сентября и 3 октября 1810 г. Муратово>* Милостивый государь Иван Иванович!

Приношу Вашему превосходительству чувствительную благодарность за драгоценный подарок, мною от Вас полученный1. Читая и перечитывая Ваши

сочинения, буду питать, усовершенствовать и оживлять в себе чувство всего прекрасного, а вообразив, что автор их расположен ко мне дружески, буду и в самых печальных обстоятельствах жизни почитать себя счастливым! Уверяю Ваше превосходительство в неизменнейшем почтении и преданности.

Вашего превосходительства <покорнейший слуга

*В. Жуковский*>2

**65.**

**А. И. Тургеневу**

*<Конец сентября — начало октября 1810 г. Муратово>*

Книги твои получил, любезнейшый друг, и дочитываю Миллера1. Прекрасная, единственная в своем роде книга! Но теперь об ней ни слова; голова болит, дождик хочет идти, холод несносный — всё это препятствует мне писать; даже и думать не хочется. Я взял перо для того, чтобы пожаловаться тебе на Каменского Латинскую грамматику2, которая несносно сбивчива и беспорядочна, особливо для того, кто хочет один учиться по латыни (или с малым весьма пособием). Половина писана по-латыни без перевода, другая с переводом; порядку нет никакого. Меня снабдил ею Каченовский. Нет ли у тебя своей хорошей? А если нет, то поищи в книжных лавках; только в этом случае прошу тебя быть аккуратнее и поспешнее, то есть купить не первую попавшуюся в руки грамматику, а с рассмотрением; очень одолжишь, если не замедлишь доставить мне эту книгу. Нет ли у тебя Винкельмана на немецком?3 Миллер вселил в меня нетерпение прочитать его. Сколько издано в свете «Истории» Миллера?4 У меня только четыре части. Какую книгу написал Бонстеттен и что он писал?5 Уведомь. Любезный друг, еще раз повторяю тебе, снабжай меня только теми книгами, которые можешь присылать без пожертвования. Где Олеарий?6 У тебя? Или у Сергея в Мо-

скве?7 Я желал бы иметь его. Я его читал, но хочу несколько раз почитать то,

что он пишет об русских. Хотя, признаться, он и не очень приветлив, но я не думаю, чтобы он выдумывал, и, вопреки Глинке8, начинаю быть уверенным, что нынешнее время лучше старины, даже и со стороны нравственности. Грубость не есть чистота нравов, а что сказать о грубости, соединенной с развратом? Но я совсем не расположен писать; следовательно прости, любезный друг. В первом моем письме буду говорить с тобою о Миллере.

Твой *Жуковский*

*NB*. Я читал уже Гереново сочинение о Миллере9; меня ссужал этою книжкою твой брат Сергей. Но после писем еще раз ее перечитаю. Просто, но дельно пишет. Прошу тебя не замедлить присылкою грамматики. Время летит, и я еще ни слова не знаю по-латински. Молись Богу, чтобы даровал мне прилежание.

**66.**

**А. И. Тургеневу**

*11 октября <1810 г. Белев>*

11 октября

Любезнейший друг, благодаря тебя усердно за присылку росписи1, спешу тебя попросить сделать мне еще одно крайнее одолжение: именно прислать как можно поскорее Геренову «Handbuch der neuesten Geschichte»(#)2; для чего она мне так нужна, об этом напишу в следующем моем письме, в котором буду писать о весьма многом. Теперь очень мало времени осталось до почты, а я желал бы поговорить с тобою о некоторых важных для меня вещах, следовательно без всякого спеха, не торопясь. Герена, ради Бога, Герена! Очень он мне надобен. Книжку его о Миллере3 возвращаю. Прекрасно. Прочти 45 страницу. Ты увидишь, что я и без сердечной необходимости имею важную причину писать к тебе много и часто; но к этой важной причине присоединяется еще и то, что мне час от часу становится необходимее быть вместе с тобою, если не в самом деле, то по крайней мере мысленно. Но об этом после; скоро получишь от меня длинное письмо. Отныне переписка наша должна быть для нас важным и необходимым занятием. Итак, прости, любезный друг, до первого моего разговора с тобою. Теперь прошу только прислать мне скорее Герена. И брат твой Сергей обещал мне его дать прочитать, но он уехал, не исполнив этого обещания;

сними же вину с его совести. Прошу тебя не забыть о моей другой просьбе, то есть похлопотать в Банке. Обнимаю тебя.

*Жуковский*

(#) Я ошибся; у тебя в письме стоит «Geschichte der Europäischen Staatensystem» (sic!). Шлёцеровых сочинений роспись возвращаю; я заметил в них всё то, что тебе надобно будет мне прислать. Милый друг, я надеюсь, что ты позволишь мне располагать твоею библиотекою, как собственною моею4. Ни одна книга твоя не пропадает: в этом ты можешь быть твердо уверен; могут они сгореть вместе со мною, но тогда будешь ты обо мне сожалеть более, нежели об своих книгах. Ты очень, очень бы одолжил меня, когда бы назначенные мною Шлёцеровы сочинения прислал вместе с Гереном, и на следующей же почте. Что же грамматика латинская и греческая? Ленивец!

P. S. Не откладывай, прошу тебя, присылки книг. Время летит, и я всё еще грубая невежда во всем. Нет ли у тебя хороших книг, трактуюущих о вспомогательных науках истории: о госуд<арственном> хозяйстве, о правилах политики, статистики и пр. (ты должен это знать лучше меня)? Снабди меня всем этим; живучи в деревне, ни от кого, кроме тебя, не могу иметь пособия. Но главное и важнейшее условие: не медлить! Сделай всё, что можешь сделать и тотчас.

Give me all thou canst and let me dream the rest![[62]](#footnote-62)5 Я теперь сделался очень прилежен. Всякая минута у меня занята. Но когда подумаю, сколько погибло драгоценного времени по пустякам, сердце обливается кровью. Брат, надобно возвратить сколько-нибудь потерянное. Но как-то тяжело время деятельности употреблять на одно приготовление! Прости; об этом в другой раз буду писать и много. Теперь совершенно некогда.

**67.**

**А. И. Тургеневу**

*18 октября <1810 г. Белев>*

Октября 18

Друг сердечный, милый Миллер, — два слова! Благодарю тебя за хлопоты о деле Екатерины Афанасьевны1. Не поленись, похлопочи об нем еще раз. Из записки Хитрова2, тобою мне доставленной, вижу, что Е<катерине> Аф<анасьевне> надобно послать в Опек<унский> Совет просьбу, и что по этой просьбе Совет сделает сношение с Экспедициею, и что Экспедиция тогда уже разрешит его на выдачу денег. Почему же Экспедиция не может прямо по просьбе Ек<атерины> Аф<анасьевны> послать этого разрешения в Опек<унский> Совет? И когда уже эта просьба подана, то для чего по ней не исполнить и, оставляя прямую дорогу, переходить на кривую, более продолжительную? Нельзя ли поторопиться,

чтобы Экспедиция, не дожидаясь от Оп<екунского> Сов<ета> отношения, тотчас дала ему знать о том, что души, предл<агаемые> в залог, точно свободны. Право, я думаю, что это без всякого затруднения сделать можно, и ты искренно одолжишь меня, если опять несколько потормошишь Хитрова и убедишь его не губить понапрасну драгоценного для просительницы времени.

А грамматики латинской всё еще нет! Брат, и ты пожалей моего времени и не откладывай. Также прошу тебя и о скорейшем доставлении тех книг, которые назначил я в последнем письме моем. О плане своего чтения истории буду говорить с тобою в будущем моем письме. Пишу к тебе мало не от лени, а точно от невозможности. Право, я совсем почти перестал лениться, и только тогда бываю не очень деятелен, когда у меня на жопе геморроидальная шишка3, а в голове тяжесть. Это отчасти есть и теперь. Письмо пишется худо, потому что мысли связаны; а *выдумывать*, чем бы наполнить к тебе письмо, совсем не моя метода. Прости, мой милый Миллер.

Твой *Бонстеттен*

Вот тебе на этот раз несколько золотых строк из нашего Миллера: Das höchste Glück ist die Unabhängigkeit: und die besteht nicht in dem, dass jemand aus seinen Renten lebt, sondern in dem, dass jeder von den Irrthümern der Menschen

unabhängig sei und auch sich, wenn es nöthig ist, besiegen könne[[63]](#footnote-63)4.

**68.**

**П. А. Вяземскому**

*4 ноября <1810 г. Белев>\**

4 ноября

Не сердись на меня, милый мой друг, за то, что я ни одного письма не написал к тебе в четыре месяца, — я не забыл тебя, и это пусть будет моим извинением. Ты беспрестанно бранишься на меня в своих письмах1; а я отмалчиваюсь; но не писать тебе ко мне за то, что я молчу, и грешно, и стыдно; ты знаешь, что я не люблю писать и что ты, напротив, очень любишь — следовательно пиши, и пиши больше, а мне дай полную свободу молчать и любить тебя в молчании. Ты называешь меня ленивцем — а я скажу, что я никогда не бывал так деятелен, как теперь, и что у меня нет ни одной праздной минуты. Не пишу, то есть не сочиняю ничего единственно оттого, что намерен или писать хорошо, или ничего не писать. Но писать так, как пишу теперь, почти всё то же, что не писать ничего; а чтоб писать хорошо, надобно поболее скопить основательных сведений, и в этом-то *скоплении* состоит теперешняя моя деятельность — верь или не верь, воля твоя, ибо слово деятельность дико для ушей твоих — но я на первый случай скажу, что учусь по-латыни и что скоро примусь за греческий язык. Терпения и трудолюбия достанет, в этом я уверен. Что выйдет из этого скопа матерьялов, не знаю, по крайней мере, тогда уже будет не моя вина. Единственная моя теперешняя мечта состоит в том, чтоб быть *хорошим* писателем, следовательно, не воображая, что я уже писатель, образовать себя сколько возможно, и сколько возможно заменить прилежанием невозвратную потерю драгоценного времени3. Я не выхожу из своей комнаты; часы мои все заняты; и я счастлив занятием — (выключая одни те часы, в которые надобно *перево-*

*дить* для «Вестника», ибо эта работа нужна для кармана4), — но меня оживляет будущее; прошу только от того Бога, к которому ты так немилостиво расположен, здоровья — всё остальное надеюсь (по крайней мере, сколько возможно буду стараться) доставить себе сам. И всё это должно уверить тебя, что я еще не скоро явлюсь в Москву или что я приеду в нее только на самое короткое время: рассеяние меня ужасает.

Критику твою я получил, но она пожаловала ко мне уже поздно, ибо я сам уже написал на тот же несчастный перевод «Зенобии» критику и отправил ее к Каченовскому4; выгода от этого та, что ты хотя один номер «Вестника» про-

смотришь с бóльшим против обыкновенного вниманием и между тем будешь иметь удовольствие, comme de raison[[64]](#footnote-64), найти, что твоя критика лучше моей. На твое прекрасное рассуждение о любви к России5 не скажу ни слова, эта любовь у тебя на одном счету с любовью к Богу, которому очень от тебя достается, как скоро пойдет дождь и некоторой Елене не позволит прийти к некоторому Парису; но замечу, что мне весьма бы невесело было мечтать о славе, когда бы эта слава состояла в том, чтобы стоять наряду с Глинкою и Шихматовым6, — к счастью, письмо твое не есть еще скрижаль бессмертия (говоря языком Шихматова), почему я и не отчаиваюсь. Впрочем, я и не забочусь о том, чтобы ты меня хвалил. Помни меня, люби меня, пиши ко мне, верь моей дружбе — и позволь мне писать к тебе письма тогда, когда вздумается, не считая моего молчания недостатком дружбы, — этого довольно. Прости. Это письмо покажи Батюшкову7 и скажи ему, что я никак не могу забыть, что он поэт с истинным дарованием и что по тех пор буду любить его, пока он не перестанет быть поэтом — следовательно всегда. И это *всегда* очень может быть согласно с ленью. Поклонись Блудову, если он еще в Москве8.

Пиши же ко мне, любезнейший друг.

NB. Ты очень одолжишь меня, если доставишь мне книгу, которая у тебя, кажется, есть: «Cours de Latinité» par Lunau de Bois<j>ermain9.

Получил ли Николай Михайлович чин? Тургенев писал ко мне, что он пожалован коллежским советником10.

Хочешь ли меня очень много одолжить? Выпроси у Николая Михайловича табаку и пришли мне его по первой почте. Здесь совсем негде взять этой драгоценности, а для меня она необходима. Выпроси поболее, только прошу тебя, не поленись послать и сам не выкури.

Скажи от меня усердный поклон Катерине Андреевне и Николаю Михайловичу.

**69.**

**А. И. Тургеневу**

*4 ноября <1810 г. Белев>*

4 ноября

Скажи мне, любезный друг, поступал ли Миллер с своим Бонстеттеном так безбожно, как ты со мною поступаешь? В письме твоем от 4го октября сказано1, что Шлёцеровы книги «Die Deutschen in Siebenbürgen», «Probe russischer Annalen» и «Selbstbiographie»2 отложены и готовы к отсылке ко мне. Ты должен давно уже получить и мое письмо, в котором я со всею убедительностью крайней нужды прошу тебя о других Шлёцеровых книгах и о Гереновой новой истории. Грамматика латинская должна уже или по крайней мере уже могла быть давно отыскана — и вот 4 ноября, а я еще ни одной из этих книг не имею!

Признаюсь, такая неаккуратность меня сердит. Неужели твои важные дела не дают тебе ни одной свободной минуты, чтобы сделать прямую (хотя для тебя и самую легкую) услугу твоему другу? И скажи мне, не крайне ли неприятно думать каждый раз, когда тебя просишь о чем-нибудь: он этого не исполнит до тех пор, пока не надоешь ему частым напоминанием. Не забудь, что я в деревне, что письма в Петербург ходят отсюда ровно десять дней и что с оборотом должно это составить двадцать дней.

За что же терять мне по целому месяцу от того только, что тебе лень о просьбе моей подумать? Еще раз прошу тебя: перечитай все мои письма и исполни по ним всё без всякого отлагательства. По крайней мере то исполни, что можешь, а в остальном не мешкай. Единственное одолжение, какое в твоей возможности теперь мне оказать, состоит в доставлении мне тех книг, которые имеешь ты в своей библиотеке и которые сохранятся у меня во всей неприкосновенности, и чистоте, и целости, и прочее и прочее. Возвращу их тебе, когда потребуешь. Сделай же милость, будь несколько снисходительнее к моим просьбам и не серди меня досадным твоим пренебрежением.

Я кое-как перебиваюсь теперь с латинскою грамматикою Лебедева3; но желал бы иметь такую, в которой правила были бы истолкованы пояснее. Также я просил тебя и о хорошей немецкой грамматике. Любезный друг, пожалей о моем времени; боюсь, что я за ним не поспею, что оно улетит и что мне не удастся быть тем, чем бы хотелось.

Теперь мои занятия идут порядочно. Вдали передо мною «Владимир». Поближе «Владимира» русская история. Но передо мною латинский и греческий язык и история всеобщая. Прежде, нежели примусь за русскую, хочу составить

себе хорошее понятие об истории всеобщей, и для того-то имею крайнюю нужду и в Шлёцере, и в Герене. Теперь читаю Гаттерера4; в нем удивительно хорошо предложена вся система всеобщей истории, но он дошел только до открытия Америки; Герен изобразил времена новейшие. Промежуток между Гаттерером и

Гереном займет Ремер5 («Handbuch der neueren Geschichte»), которого выписываю из Москвы. Составив себе это *общее* понятие об истории, буду иметь уже в голове нить происшествий, с которою невредимо пройду через лабиринт историй частных, и тогда уже наряду с русскою историею, которою буду заниматься, входя во все подробности, начну читать и классиков. Не подумай, чтобы эта метода была противна методе Миллера, который от *частного* возвысился до *всеобщего*. Для меня всеобщее будет одним *планом* здания, следовательно не самим зданием; темная идея о всеобщем объяснится *частным* и сделает идею *ясною*.

Но мне надобно будет отказаться от всех идей, и ясных, и темных, если ты не рассудишь отказаться от своей немилосердой лени и беспечности, которые делают тебя совершенно невнимательным к моим просьбам. Оканчиваю это письмо еще просьбою, которую также, без сомнения, ты не рассудишь исполнить. Однако на всякий случай попытаюсь, и вот моя просьба: спросить у Северина, за что не отвечает он на мое письмо, в котором я покорнейше просил

его помочь одному бедному человеку?6 И можно ли ему помочь? Попроси его, чтобы он написал ко мне или по крайней мере хотя через тебя сказал: *да* или *нет*. Более ничего не требую. Прости, любезный, неаккуратный и добрый друг мой.

*Жуковский*

**70.**

**А. И. Тургеневу**

*7 ноября <1810 г. Белев>*

7 ноября

Письмо твое от 31 октября получил, мой милый Миллер1; благодарю тебя за присылку книг, которых еще у меня нет, и еще раз повторяю просьбу мою доставить мне все остальные, а чтобы узнать, какие они, перечитай все прежние письма мои и отложи свою обыкновенную, досадную беспечность, которая

одна мешает мне *в полноте* восхищаться тобою.

Ты спрашиваешь, на что мне нужен Герен и в каком отношении? Я уже написал к тебе об этом в моем последнем, несколько сердитом письме, но написал коротко. Теперь напишу попространнее. Но в предисловии объясню, для чего не писал к тебе так долго и отчего могут и вперед случаться некоторые промежутки в нашей переписке. Причиною этому Миллер, или, лучше сказать, одно из его прекраснейших правил: Constantiam i gravitatem werden Sie nicht eher erlangen, bis alle Ihre Stunden wie im Kloster regelmässig ausgetheilt sind[[65]](#footnote-65). Этому правилу

стараюсь последовать со всею точностью трудолюбивого немца. Часы мои разделены. Для каждого есть особенное непременное занятие. Следовательно есть

часы и для писем. Обыкновенно ввечеру, накануне почты, пишу письма, и таких эпох у меня две в неделе. Но я должен часто писать в типографию; два раза в неделю непременно должен отправить корректуру моего Собрания стихотворцев, которого еще ни один том не отпечатан; первый готов, но еще нет предисловия (след<овательно> ты и не мог получить его); наконец, случаются и другие письма. Все эти дела положено исправлять у меня в понедельник и пятницу, по вечерам, отчего и случается иногда совершенная невозможность к тебе писать; а в этом порядке непременно хочу быть педантом; в противном случае что ни делай, всё будет не основательно. Прибавь еще к тому и то, что иногда в час, определенный для переписки, в голове моей сидит геморрой, от которого душа как мертвая, а я хочу угощать тебя живою душою; хочу, чтобы *рука писала от сердца*. Но как писать, когда голова в споре с сердцем?

Итак, поговорим о Герене и братии. Entre nous soit dit[[66]](#footnote-66), я совершенный невежда в истории. Не правда ли, что в этом отношении наша переписка несколько далека от Миллеровой с Бонстеттеном? Он в двадцать лет предвидел политические перемены мира. Но я хочу получить об истории хорошее понятие; не быть в ней ученым, ибо я не располагаюсь писать историю, но приобресть философический взгляд на происшествия в связи. История из всех наук самая важнейшая; важнее философии, ибо в ней заключена лучшая философия, то есть практическая, следовательно полезная. Для литератора и поэта история необходимее всякой другой науки: она возвышает душу, расширяет понятия и предохраняет от излишней мечтательности, обращая ум на существенное. Я хочу прочитать всех классиков-историков; но для того, чтобы извлечь из них всю возможную пользу и чтобы идея об истории была не смутная, а ясная, хочу предварительно составить себе общий план всех происшествий в связи. Для этого и начинаю Гаттерером и Гереном. Вот моя метода, несколько трудная и продолжительная, но для упрямой памяти моей необходимая. Прочитав статью в Гаттерере, имея перед глазами Габлеровы таблицы2, откладывая и потом составляя несколько карт (à la Schlötzer fils[[67]](#footnote-67))3 того времени, о котором читал, на картах, в хронологическом и вместе синхронистическом порядке, изображаю главнейшие происшествия — это оставляет в голове чрезвычайно ясную идею о переменах и их последствии. Кончив этот труд, пишу из головы общее обозрение происшествий прочитанного периода. Так составится у меня целый курс всеобщей истории. Подробностей знать не буду; но теперь они мне еще и не нужны. Я хочу иметь один план, с которым можно было бы не заблудиться посреди бесчисленных подробностей. Составив этот план, мне уже будет весьма легко после заниматься отдельно чтением классиков, из которых ни

один не написал обо всем, а избрал для себя какую-нибудь важнейшую часть. Эти важнейшие части будут мне известны подробно; а связь между ними сохранит мое предварительное чтение Гаттерера и Герена. Русская история, однако, будет другого рода занятием. Тут уже нечего думать о классиках, а надобно добираться самому до источников. Но и для Русской истории прежде, нежели погружусь в океан летописей, намерен я составить такой же точно план, для которого мне нужна будет какая-нибудь краткая, но хотя несколько сносная Русская историй ка. Не знаешь ли чего-нибудь в этом роде? «Владимир» будет моим фаросом; но чтобы плыть прямо и безопасно при свете этого фароса, надобно научиться искусству мореплавания. Вот что я теперь и делаю. Ах, брат и друг, сколько погибло времени! Вся моя прошедшая жизнь покрыта каким-то туманом *недеятельности душевной*, который ничего не дает мне различить в ней. Причина этой недеятельности тебе известна. А теперь, друг мой, эта самая деятельность служит мне лекарством от того, что было прежде ей помехою. Если романическая любовь может спасать душу от порчи, зато она уничтожает в ней и действительность, привлекая ее к одному предмету, который удаляет ее

от всех других. Этот один убийственный предмет как царь сидел в душе моей по сие время. Но теперешняя моя деятельность, наполнив душу мою (или, лучше сказать, *начиная* наполнять), избавляет ее от вредного постояльца. Если бы он ушел сам, не *уступивши* места своего другому, то душа могла бы угаснуть; но теперь она только переменила свое направление и, признаться, к совершенной своей выгоде. Эту выгоду я очень чувствую, и ты скоро, может быть, получишь от меня «Послание о деятельности»4, о благодетельности этого святого гения, которому посвящаю жизнь мою, которым будет храниться всё мое счастье. Не забудь, однако, что этот гений всегда рука в руку с гением дружбы. Пускай же они будут моими ангелами-хранителями. В эту минуту желал бы иметь тебя перед собою, чтобы подать руку, прижать тебя к сердцу, не сказать, может быть, ни слова, но зато всё выразить своим молчанием. Не подумай, однако, чтобы сия мысль о действии любви была *общею* мыслью, а не моею; нет, она справедлива и неоспорима, но только тогда, когда будешь предполагать некоторые особые обстоятельства; она справедлива в отношении ко мне. Надобно сообразить мои обстоятельства: воспитание, семейственные связи и двух тех, которые так много и так мало на меня действовали5. Об этом хорошо говорить на словах, и я надеюсь говорить об этом с тобою в каком-нибудь московском уголку, в котором мы будем двое вспоминать о прошедшем и располагать будущее, возобновляя душевный обет навсегда, навсегда быть добрыми спутниками в счастье и несчастье! Видя, как всё рушится, иногда приходит мне в голову мысль, что, может быть, впереди готовит для нас судьба что-нибудь ужасное6. Я часто хотел писать к тебе об этом. Милый друг! Никогда не теряй из головы мысль, что нам надобно помогать, помогать друг другу переносить бурю; что несчастье должно

соединить нас, что нам непременно дóлжно быть вместе, когда начнется это испытание. Какое оно — не знаю. Но подумай о том, что были многие эмигранты, рассыпанные по всему свету революциею; взгляни на то, что происходит около нас, и вообрази возможности. И эти-то возможные времена должны соединить нас, если они настанут. Для двух несчастье не ужасно; двое могут иметь одну

общую непоколебимую твердость, которой каждый из них *один*, может быть, и иметь не способен; в глазах и в руке друга — надежда и сила7. Признаюсь тебе, иногда мысль о будущем приводит меня в уныние. Что, если предпринятая мною деятельность будет бесплодна? Но в этом случае надобно забывать будущее не верное, а только возможное; и я всегда говорю себе: *настоящая минута труда уже сама по себе есть плод прекрасный.* Так, милый друг, деятельность и предмет ее, польза — вот что меня теперь одушевляет. Первая же моя недеятельность происходила, может быть, и от мысли, что я не могу быть деятельным. Теперь начинаю верить противному, ибо я нахожу удовольствие даже и в том, чтобы учить наизусть примеры из латинского синтаксиса, воображая, что со временем буду читать Виргилия и Тацита. Теперь главные занятия мои составляют: история всеобщая, как приготовление к русской и к классикам, и языки, пока латинский, а через несколько времени и греческий. В «Вестник» буду посылать переводы, ибо это необходимо для кармана. Между тем, чтобы не раззнакомиться с Музами, буду делать минутные набеги на Парнасскую область,

с тем, однако, чтобы со временем занять в ней выгодное место, поближе к Храму Славы. Три года будут посвящены труду *приготовительному*, необходимому, тяжелому, но услаждаемому высокою мыслью быть прямо тем, что дóлжно. Авторство почитаю службою оте честву, в которой надобно быть отличным или презренным: промежутка нет. Но с теми сведениями, которые имею теперь, нельзя надеяться достигнуть до первого. Итак, лучше поздно, нежели никогда. Тебе, как доброму другу моему, надобо желать одного: чтобы обстоятельства, по крайней мере в эти приготовительные годы, были благоприятны мне и не столкнули меня с дороги. А труд, который был для меня прежде тяжел, становится для меня любезен, и час от часу более. Я уверен теперь, что один тот только почитает труд тяжким, кто не знает его; но тот именно его и любит, кто наиболее обременен им. Вот мысль Горация, которая привела меня в восхищение, ибо теперь с отменною живостью чувствую истину, в ней заключенную:

Et ni

Posces ante diem librum cum lumine, si non Intendas animum studiis et rebus honestis; Invidia vel amore vigil torquebere[[68]](#footnote-68)8.

Не подумай, однако, чтобы я хотел хвастать знанием своим латинского языка. Я прочитал это в переводе, а для тебя, как для латинуса, выписываю в оригинале.

Переписанных моих сочинений нельзя тебе скоро иметь: милая переписчица9 улетела в Москву пленять всё, что ей ни встретится, следовательно и переписывать ей некогда. А переписчика здесь нет. Терпение, милый друг. Чтонибудь подоспеет новое, тогда вдруг всё получишь. Между тем мое *Послание* очень вертится у меня в голове, и я бы давно написал его, если бы не был рабом моего немецкого порядка, — восхищению стихотворному назначен у меня час особый, свой. Но это восхищение как-то упрямо, и не всегда в положенное время изволит ко мне жаловать. Между прочим, скажу тебе, чтобы поджечь твое любопытство, что у меня почти готова еще баллада, которой главное действующее лицо диавол10, которая вдвое длиннее «Людмилы», и гораздо ее лучше. И этот *диавол* посвящен будет милой переписчице, которая сама некоторым образом по свой обольстительности — диавол.

Но пора кончить. Надобно еще написать письмо к Блудову, который зовет, и напрасно, к сожалению моему, зовет меня в Москву. Я буду в Москве не прежде, как в конце декабря, и то на короткое время, и ты непременно в ней быть должен. В противном случае, милый мой Миллер, мы можем опять не увидеться, а это будет для меня очень грустно. Постарайся расположить дела свои

так, чтобы тебе непременно приехать в Москву около нового года.

В заключение письма две просьбы: первая, непременно увидеться с Севериным и попросить его для меня самым усердным образом об ответе на мое письмо. Он жалуется на мое молчание, а сам пренебрегает отвечать мне тогда, когда бы надобно было тотчас, без всякого замедления, отвечать; ибо я, по прежней моей с ним приятельской связи, просил его об услуге, в точном уверении, что ему приятно будет для меня ее сделать. Его молчание для меня непостижимо и, признаюсь, несколько обидно. Можно ли таким образом переменяться? Покажи ему эти строки и попроси его, чтобы он объяснил мне, что я должен подумать о его молчании?

Антонский советует мне ехать в Петербург и пользоваться случаем нашего министра юстиции!11 Нет, я не поеду; не сделаю той глупости, которую вздумал было в начале последнего года сделать!12 Всё уверяет меня, что наш министр и для своих приятелей министр! Он не имеет того расположения в душе, чтобы воспользоваться силою для добра тех, которых он ласкал и называл *своими* во время оно, и сделать это, избавив их от жестокого труда, или, лучше сказать, от мучения выкланивать себе выгоду, и предупредив их своим добрым желанием, и приноровив свое об их попечение к их собственным желаниям и способностям. Он не Муравьев13, который два раза, не знавши меня совсем в лицо, присылал у меня спрашивать, не может ли он быть полезен, и которого я не могу вспомнить без благодарного чувства… Но basta![[69]](#footnote-69)

Зная теперь, как мне время дорого, ты должен без всякого отлагательства прислать мне лат<инскую> грамматику и греческую. И ты много, много одолжил бы меня, если бы снабдил меня и Эйхгорном14, и «Histoire de la diplomatie»15. На книги твои позволяю себе иметь полное право, и ты должен снабжать меня всеми, какие имеешь. Покупать их не могу, ибо я бедняк, а тебе должно быть приятно помогать мне в нужде. Это же так легко. Только не медли!

**71.**

**А. И. Тургеневу**

*<Вторая половина ноября 1810 г. Муратово>*

Вот тебе еще хлопоты, любезнейший друг. Прилагаю при сем записку о том, что надобно сделать для Екатерины Афанасьевны Протасовой1 и что ты сделай без всякого отлагательства. Не знаю, однако, можно ли будет сделать? Если не

ошибаюсь, надобно бы для получения из банка копии с свидетельства подать ему об этом просьбу — однако попытайся. Я с своей стороны напишу к Екатерине Афанасьевне, которая находится теперь в Москве, чтобы она послала просьбу, адресовав ее или прямо в банк, или на твое имя. Твое дело хлопотать и *теперь*, чтобы выдали и послали копию куда следует, без просьбы, и *тогда*, когда пришлется просьба, если теперешний опыт окажется неудачен, и в том и в другом случае обязанность твоя есть быть деятельным. А моя обязанность во всех случаях есть любить тебя от всей души и беситься на твою необстоятельность — ибо книг и теперь еще нет2. Правда, что почта еще не пришла, но я почти уверен, что ты поленился послать.

Герен3, Шлёцер: Weltgeschichte, Selbstbiogra<phie>, P. R. Annalen, Deutschen in Siebenbürgen, и пр.4 Эйхгорн5. Греческая грамматика. Латинская грамматика6

и прочее. Когда это всё ко мне будет?

Брат! я в деревне. Денег у меня нет. Книги твои останутся целы. Ты можешь меня одолжить — и медлишь. О, людоед!

Тотчас уведомь меня о том, что сделано будет по этому письму.

Обнимаю тебя.

Das beste Mittel wider die bevorstehenden Unannehmlichkeiten ist meinen Geist mit einem desto festern Entschluss zu grossen Dingen und Gesinnungen zu erfüllen, denn ich kenne mich genug um zu wissen, dass der Vorsatz oder die Zuversicht in meinem Leben das gemeine Wohl zu befördern mich mehr als alles andere standhaft und ruhig macht; dadurch werden in meinem eigenen Augen meine Wissenschaften so edel und wichtig, dass Pflicht und Ruhmbegierde mich gegen alles unüberwindlich

machen[[70]](#footnote-70).

Из Миллеровых писем буду переводить лучшие для Вестника7.Из остальных выберу лучшие мысли. Всё это соберу и напечатаю особенно, с посвящением8.

Тогда только ты можешь поздравить меня истинным автором, когда я буду восхищаться Демосфеном, Тацитом, Гомером и Горацием в оригинале.

Перечитав письмо Екат<ерины> Афан<асьевны> ко мне, начинаю думать, что просьба в банк послана и что в ней только неясно сказано то, о чем она просит в приложенной записке — справься. А я между тем всё напишу к ней.

Книги сию минуту получил — обнимаю тебя. О Греческой грамматике не заботься — прислали.

P. R. Annalen9 самое старинное издание, я видел у Каченовского совсем другое — большой октаво.

Ты очень одолжишь меня Эйхгорном; прошу тебя не называть меня неотступным и слишком жадным. Еще раз повторяю, что книги твои все до одной будут целы; только доставь все те, которые я требовал, и не сердись на меня, что так на тебя нападаю.

Латинскую грамматику!!!

**72.**

**П. А. Вяземскому**

*<Начало декабря 1810 г. Белев>\**

Отвечаю тебе на два последние письма твои, милостивый государь и любезный друг. На последнее нечего отвечать, ибо в нем, кроме приятных стихов Давыдова, которые будут и поправлены, и напечатаны в «Вестнике»1, нет ничего. Даже и ужасное твое молчание насчет моей критики2 есть то же, что *ничего.* Критический гром твой имеет не<ко>торое сходство с громом театральным — громко, но не убийственно и даже не страшно. На первое твое письмецо надобно, однако, сказать несколько слов. Начинаю тем известием, что к новому году буду иметь удовольствие представить тебе самолично и физику

свою, и мораль. Скажу, что ты очень напрасно сделал, не позволив себе попотчевать меня перцем насчет моего *безумного* плана учиться и делать дело не шутя — la matière etait belle[[71]](#footnote-71) и тебе представляется прекрасный случай сказать несколько злых эпиграмм. Но ты заменишь потерянное в одной из тех друже-

ских бесед, которые будем иметь по приезде моем в столицу. Заранее вооружусь терпением. Кстати о беседах. Уговор лучше денег: видаться часто, но вовремя; я еду в Москву не для праздности и более оттого, что в деревне остаться мне невозможно, ибо мои все уезжают. Прошу тебя как друга; если ты хочешь, чтобы наши частые свидания были истинным для меня наслаждением, сообразуйся с моим временем и щади те часы, которые посвящены будут мною делу. Почитаю за нужное писать об этом к тебе заранее (и, может быть, заставить тебя посмеяться на мой счет) для того, что ты всегда бывал несколько самоволен. Между нами будь сказано, ты эгоист в своих дружеских связях и никогда не воображаешь, чтобы нужно было сообразоваться в чем-нибудь с своими приятелями; а напротив, думаешь, что им непременно дóлжно с тобою сообразоваться. Знай, однако, любезнейший друг, что ты лишишь наши будущие свидания главной их прелести, если не согласишься исполнить моего условия, для меня чрезвычайно важного, — но этой важности объяснять не стану; она не слишком будет для тебя понятна, ибо ты никогда не вообразишь, чтобы я в состоянии был трудиться порядочно и постоянно. И вот мое требование, которое решись исполнить с совершенною точностью: до шести часов после обеда почитать горницу мою для тебя затворенною. После шести часов будет для меня время отдыха, следовательно и время дружбы3. Такая пышная прокламация может показаться тебе очень забавною — и для меня она забавна, но с тобою, еще раз повторяю, такого рода условие необходимо; и я, несмотря на ужасную тучу готовых обрушиться на меня эпиграмм и сарказмов, отваживаюсь его сделать.

Последнего письма твоего ожидал я с любопытством, надеясь найти в нем подробное описание вашей тверской жизни4; но ты удостоил меня двумя или тремя приемами перца на счет моей критики — суди тебя Бог! Говорить вздор тогда, когда бы ты мог говорить дело, — где же совесть? Пламенное желание твое написать комическую оперу5 и приготовительное старание приобресть некоторую ученость в *водевилях* французских почитаю весьма полезным для тебя делом, особливо весьма хорошим лекарством против жестокой болезни твоей: *незнания, куда бы девать проклятое время*; но я уже уверен, что этот рецепт теперь не годится; Тверь победила водевили, и место оперы, вероятно, занимают теперь или прекрасные глаза какой-нибудь Сильфиды, или стремление за новыми лаврами и успехами в курьозных обителях Галиматьи.

Жалею очень, что я не мог застать в Москве Блудова6; это для меня важная потеря, но как же быть — пусть будут моим утешением те восхитительные строки, которыми угостил меня в твоем письмеце любезнейший Сибирский остроумец: они довольно меня позабавили; и я советую тебе дать этому забавнику пристойное местечко в своих водевилях.

Плана твоего *собрать свои критики*7 совсем не одобряю, ибо твои критики, любезный друг (это сказано не в отмщение), не годятся никуда: ты не разбираешь, не судишь и не доказываешь, а только замечаешь некоторые забавные

стихи и прибавляешь к ним несколько едких сарказмов, не имеющих никакого достоинства, и особенно в критике не могущих составлять *единственное* достоинство. Ты критикуешь поэтов точно так, как судишь людей: в человеке не замечаешь ты характера, а только его выражения и одни только странные выражения; по ним уже судишь и об уме, и о свойствах моральных; и в критике ты смотришь не на слог, не на общее, а только схватываешь мимолетом (мимоходом слишком для тебя степенно) некоторые отдельные выражения и по ним заключаешь о целом. И при таких неосновательных правах на суждение ты позволяешь себе судить очень решительно и даже воображать, что мнение твое не может бы<ть> ложное.

В заключение скажу тебе, что (предполагая мое условие исполненным) я радуюсь мысленно теми минутами, которые проведем мы вместе. В ожидании этого удовольствия обнимаю тебя сердечно. Скажи мой усердный поклон Н<ико лаю> Мих<айловичу> и К<атерине> А<ндреевне>. Поздравляю Н<иколая> М<ихайловича> с чином8, и поздравляю как человек, которому всё, касающееся до него, так же почти важно, как собственное.

**73.**

**А. И. Тургеневу**

*4—5 декабря <1810 г. Белев>*

Последнее твое письмо от 17го ноября1. Оно служит ответом на мое сердитое. С тех пор ты уже успел получить два письма от меня: одно большое, другое с запискою о деле Ек<атерины> Афан<асьевны>. Прошло уже три почты с того времени, как я получил это последнее письмо твое, и от тебя нет ответа. Что причиною такой лени, любезный друг? Книгу Уварова2 я получил, но при ней нет от тебя ни строчки. Кто же ленивее, ты или я? И от Блудова нет ответа, а я ожидаю его с большим нетерпением. Что же это значит? По-настоящему, мне надлежало бы наказать тебя молчанием, но мне самому теперь молчать не хо-

чется и писать к тебе совсем не тяжело для моей лени. Первое, скажу тебе, что я не совсем доволен последним твоим письмом. Что значит выражение: *тебе не нужно заставлять меня перечитывать письма твои, я и без того читаю их сколько для удовольствия, столько для пользы*. Неужели ты хотел мне сказать комплимент? Не знаю отчего, но это выражение мне очень не понравилось. И тем более что на следующей же странице доказал ты мне очень ясно его несправедливость. Если бы ты перечитывал письма мои для пользы, то непременно воспользовался бы дружеским моим *наставлением* и прислал бы мне Schlözer’s Weltgeschichte3, о которой я особенно писал к тебе в двух письмах, а не написал бы ко мне, что мне не худо бы было иметь между прочим и эту книгу. Ты критикуешь мой план *исторического курса*; по длинному письму моему ты уже должен иметь об нем яснейшее понятие и, может быть, уже теперь со мною

согласен. Прибавлю одно то, что ты напрасно мне представляешь примером Миллера. Он читал классиков и всему предпочитал источники, потому что уже имел в голове основу, которой я не имею и без которой самые классики вдвое менее будут полезны. К их чтению Миллер приготовлен был Гёттингеном, а для меня не было Гёттингена, и я должен был непременно быть несколько времени собственным своим учеником. Чтоб быть со временем чем-нибудь, мне надобно непременно *начать с начала* — трудно, скучно, продолжительно, однако необходимо. Я уже не могу надеяться достигнуть до учености обширной, но я могу приобресть хорошее образование, то именно, которое мне нужно по моей части, то есть по части *искусств изящных*. Надлежит только сделать хороший и экономный план учения, такой, чтобы не было употреблено пустого труда и время не пропадало даром. Об этом мы будем беседовать с тобою тогда, когда увидимся в Москве. Я буду в ней непременно в конце декабря; старайся и ты к тому же времени туда приехать; эта перспектива радует меня чрезвычайно. Заранее, однако, прошу тебя привезть мне из библиотеки своей все те книги, которые сочтешь для меня нужными; например, те, в которых могу я получить порядочное понятие о вспомогательных науках истории: статистику, политическую экономию, Staatsrecht[[72]](#footnote-72), географию и другие, не забывши и тех, о которых я просил тебя в моих последних письмах; ты сделаешь мне этим истинное благодеяние, а бедный карман мой избавишь от горестного убытка.

Прожект Уварова я прочитал и прошу тебя сказать ему от меня усердную благодарность за доставление этой книги. Мне приятно было узнать его со стороны его сведений, и он должен принадлежать, если не ошибаюсь, к числу необыкновенных людей из русских. Жалею только об одном: он разделяет, как видно, со многими несчастье предубеждения против всего русского и лучше соглашается не быть оригинальным на французском языке, нежели унизить талант свой до русского и быть отличным писателем русским (если только *NB* он хочеть быть писателем, на что, кажется, дают ему право его хорошие сведения, между русскими необыкновенные). Я очень далек от грубого восхищения à la Glinka4; но что же будет с нашим бедным отечеством, если мы все без изъятия будем пренебрегать его и восхищаться всем, что только не наше. Кому же и сделать любезным русское, как не людям с талантом, и особенно людям светским, соединяющим с остроумием и приятностью, приобретенными в большом свете, и талант, полученный от натуры, и сведения, приобретенные в кабинете. Что же касается до самого прожекта, то он делает честь изобретателю, но едва ли может быть очень полезен в России. Тогда мы, кажется, могли бы заниматься и с жарким рвением, и с верною пользою рассматриванием литературы азиатской (привлекательной только для любопытства людей ученых), когда бы уже стояли на высокой степени образования; но где же у нас образование и где ученость? Выпишу одну статью из прожекта; она послужит неоспоримым его опровержением: Et s’il est vrai, que nous sommes arrivés à l’une de ces époques; qui ne sont pas inconnues dans l’histoire de la civilisation; ou l’esprit humain, parvenu au dernier terme de son abondance productive et ne pouvant plus suffire à la fermentation des idées, se replie sur lui-même pour recueillir de nouvelles forces par l’analyse de ses propres richesses, jamais la renaissance des études orientales ne pouvait rencontrer des circonstances plus favorables. Ce vif élan…[[73]](#footnote-73)5 и прочее (прочти весь девятый параграф первой части). *Si nous* *sommes arrivés* — но мы еще очень далеко от этой эпохи. У нас еще никто не воображает, чтобы латинский и греческий язык были нужны для воспитания: мы еще не имеем порядочной русской грамматики. Это правда, что мы в сношении с такими народами, которые дошли уже до степени *пресыщения* в образовании умственном и которые необходимо должны требовать *нового* для того, чтобы оживлять умственную свою деятельность; но нам это *сношение* не дает еще права на *равенство*, и то, что может быть весьма полезно для наших соседей, то очень еще бесполезно для нас. В Германии, например, заведение Академии азиатской привело бы все головы в движение; у нас займет оно несколько образованных голов, и то, вероятно, голов, покрытых немецкими париками, а всем вообще русским покажется странностью; и Академия азиатская внутри России будет не иное что *для русских*, как храм, в котором совершаются таинства непостижимые и совершенно неприступные для профанов. И я опять уверен, что эта Академия, если она только будет основана, будет одно *пышное имя*, и что литература азиатская не может еще быть привлекательна для такого народа, который не имеет литературы *собственной*, очень поверхностно знаком с литературой французской и никакой идеи не имеет о древней, об английской и немецкой. У нас заведено и Общество историческое6; но что же оно делало, это Общество? А предмет его *русская история*! Мы сидим еще за русскою азбукою, а хотим уже разбирать китайскую и проницать в глубину древнейшей истории тогда, когда у нас только одна Миллотова всеобщая7, а оригинальная русская единственно та, которая издана для народных училищ8. Можно ли при таком богатстве словесности воображать *пресыщение* и приметное желание приобретать *новое*? Ce vif élan, cette force de produire и пр<очее> ne caractérisent pas le siécle où nous vivons[[74]](#footnote-74)9. Это правда; но одно действие от разных причин. Соседи наши оттого не имеют деятельности живой, что они уже истощили свою деятельность, а мы оттого, что еще не начинали действовать; следовательно, нам не может быть прилично то, что будет прилично им. Им нужно *новое*, а нам еще нужно перейти тот путь, который они уже сделали; если же, напротив, будем стараться идти с ними наряду и действовать одинаково с неодинакими способами и силами, то будем в опасности ничего не сделать или всё сделать очень худо. Хвататься за трудное, не приготовив себя к успешному его исполнению работою продолжительною, есть свойство русских, за которое должны они благодарить Петру Великому. В пример целой России могу поставить самого себя. Не знавши азбуки, я принялся за авторство; но авторство мое уверило меня, что надобно приняться за азбуку. И я решился, наконец, последовать этому доброму совету, может быть, несколько поздно; но лучше поздно, нежели никогда. Мы хотим заводить Академию азиатскую, а наша русская академия еще в колыбели! Не значит ли это, что мы уверены в своей зрелости; а эта уверенность не есть ли гибельное препятствие и самой возможности некогда сделаться зрелыми? Вот тебе мое мнение. Само по себе разумеется, что

оно должно остаться между нами. Прожект будет переведен для «Вестника»10, ибо он может составить в нем очень любопытную статью; но замечаний на него делать не стану и не могу, ибо эта часть — как и весьма, весьма многие — неизвестна мне совершенно. В письме к тебе позволяю себе умствовать и криво, и косо; но говорить пустяки перед публикою тяжко для совести.

Остальные страницы надобно наполнить кое-чем о себе. Время мое и мои занятия идут порядочно; вообще чувствую себя счастливым; недостает одного — и этот недостаток очень бывает чувствителен — возможности сообщать мысли свои о том единственном предмете, которым занята моя душа беспрестанно, и чрез это сообщение оживлять в себе деятельность. Я окружен милыми людьми, ко всем им очень много привязан; но с этой именно стороны

одинок, с которой особенно было бы нужно мне общество, и очень часто думаю, какое было бы для меня наслаждение, когда бы я мог жить или с тобою, или с Блудовым и когда бы мы общими силами трудились над усовершенствованием своего образования. Чтоб дать тебе некоторое понятие о своем теперешнем положении, выпишу одну статью из моей записной книги, статью, написанную с тем, чтобы сообщить ее тебе. Не думай, однако, чтобы я вел порядочный журнал: до этого совершенства в занятии я еще не достигнул, и не всё то еще исполняется, что я хотел бы исполнить.

Ноября 2211

Прежде в голове моей была одна только мысль: *надобно писать*! И я писал очень мало, потому что мой талант естественный всегда был в противоположности с моими способами — я невежда, во всей обширности этого слова. Теперь главная мысль моя: *надобно учиться и потом писать*, и я час от часу становлюсь деятельнее, по крайней мере час от часу сильнее желаю быть деятельным. Я имею теперь довольно твердости, чтоб отступить назад и *начать с начала* (Bélier, mon ami, commencez par le commencement!)[[75]](#footnote-75)12, дабы дойти до счастливого конца. Мысль, что я уже *автор*, меня портила и удерживала на степени невежества. Между тем я внутренно был неспокоен и не мог быть счастлив своим положением; ибо то, что я делал, необходимо должно было казаться мне пустым, и неуверенность в собственных силах лишала меня утешительной надежды на успех. Решившись приобрести сведения основательнее, я сделался и спокойнее, и счастливее. Приобретение сведений есть само по себе уже наслаждение. А имея в виду прекрасную цель, это наслаждение удвоиваешь: настоящее украшается будущим. Вот два месяца, как работы мои идут порядочно, как я доволен собою, спокоен, внутренно весел. Думаю, что эта привычка к порядку, любовь к деятельности и постоянство в преследовании одного предмета более и более будут во мне укореняться. Эти два месяца более познакомили меня и с самим собою. Теперь я сделался доверчивее к своему постоянству. Прежде казалось мне, что я совсем не имею памяти и что учение для меня труд напрасный; но теперь начинаю думать, что моя беспамятливость по большей части была следствием душевной недеятельности или слишком беспорядочной в деятельности: каждую минуту рождалось новое занятие, не связанное с предыдущим и часто ему противное; одно истребляемо было другим. Могло ли что-нибудь после этого в голове остаться? Теперь в работах моих постоянство; нет беспутного разнообразия, и память во мне рождается. Надобно осудить

себя на несколько лет *ученической деятельности*, или *приготовительной*, дабы набрать сведения; надобно не скучать трудностями, более всего дорожить временем и твердо держаться порядка. Теперь утешает меня особенно то, что работать или мыслить о работе есть обыкновенное, всегдашнее мое положение. Работа — средство к счастью, она же и счастье. Я открыл в себе и способность *дорожить временем* (способность, которую, однако, надобно поболее усовершенствовать), а прежде время летело между пальцев. Между тем работа, приносящая пользу и соединенная с некоторым успехом, удивительное имеет влияние и на самое моральное состояние души. Никогда я не был так расположен ко всему доброму и во всех других отношениях так хорош, как теперь: главное дело мое идет как дóлжно, следовательно и всё постороннее, но с главным бо-

лее или менее имеющее связь, должно быть необходимо в таком же порядке. Все другие должности сделались для меня любезнее; и не должно ли из этой привычки к труду выйти, наконец, и большее совершенство моральное: следовательно, трудясь, не достигну ли верховной цели человека? О! Как благодарю ту минуту, в которую сделался счастливый перелом моих мыслей, в которую я сказал самому себе: ты отчаиваешься, что потерял много времени, и теряешь надежду; но кто же мешает исправить потерянное? Сделай, что можешь сделать; только трудись и трудись постоянно! — мое настоящее положение весьма может быть названо *счастливым*. Посредственность состояния не ужасает меня, богатство не кажется мне прелестным, связи мои с матушкою становятся для меня драгоценны; имею добрых друзей, которые меня любят; остается быть достойным и их, и себя — а средство: деятельность в том малом круге, который

я для себя назначил. Прежняя моя лень весьма много происходила и от *любви*, которая составляла царствующую в голове моей идею и всему прочему была тираном. Теперь и любовь уступила *трудолюбию*. Одного бы желал, одного бы просил от Бога: не слишком быть озабоченным своим состоянием, иметь необходимое, но иметь верное. Надобно себя приучить к расчетливости, если можно, и к скупости, ибо скупость в моем состоянии есть добродетель. Одну половину из составляющего прямое богатство я имею: *нежелание многого*; надобно присоединить к ней и другую: *умение дорожить малым и с ним согла-*

*совать образ жизни*. Надобно укоренить в душе утешительную мысль: тихая, скромная жизнь, употребляемая на исполнение должностей и на труд полезный, есть самая счастливая, и Бог благословляет ее всегда, и успех с нею неразлучен. У меня теперь две должности: работать для того, чтобы быть автором (с этим неразлучно и собственное образование); действовать для счастья матушки, иметь его в виду беспрестанно; но и эта последняя тесно соединена с первою, ибо все мои средства соединяются в авторстве. Авторство мне надобно почитать и должностью гражданскою, которую совесть велит исполнять

со всевозможным совершенством. Теперь не могу исполнять ее как бы надлежало, ибо я невежда; но я могу исполнить ее со временем, следовательно и самый приготовительный труд есть некоторым образом уже исполнение. Итак — деятельность! А предмет ее — польза! А награда за нее — слава, счастье! Это повторять себе каждую минуту и приучить себя не уважать временными неудачами или худым расположением к работе, которые почитать только временными остановками, долженствующими случаться реже по мере прилежания к работе, что я испытал уже и над собою.

Длинная моя рапсодия не должна тебе скучать: я записал всё это в свой журнал с тем, чтобы к тебе доставить, и переписывать было для меня чрезвы-

чайно приятно. Вообще, этот журнал, в котором написано у меня еще очень, очень немного, заступает для меня место откровенного друга, с которым я разговариваю в минуту *необходимости* сообщения мыслей, следовательно и всё, записанное в нем, принадлежит тебе по праву. Прибавлю еще одно, то, о чем я уже несколько раз думал к тебе написать и что всегда уходило у меня из памяти.

Состояние мое не совсем может назваться хорошим; небольшая сумма денег, из которых некоторая часть отдана в неверные руки, не может меня совершенно обеспечить; боюсь, чтобы тягостные заботы о состоянии не принудили меня сойти с дороги, мною выбранной, и не бросили меня на такую, на которой я не надеюсь быть счастливым. Делаю тебя с этой стороны своим Промыслом. Прошу тебя, мой милый друг, думай иногда и о том, чтобы доставить мне такое место, в котором я мог бы, имея жалование, заниматься собственным. Я не имею нужды в чинах и других выгодах, лишь бы иметь несколько таких денег, которые не дóлжно было бы вырабатывать; всё это не так необходимо теперь как через год или через два; но знать это не худо заранее, дабы не упустить благоприятного случая. Обязанность об этом думать и хлопотать поручаю тебе и Блудову. Не будет ли для вас большим наслаждением, если вы доставите Жуковскому несколько способов к его счастью? Например, место при какойнибудь библиотеке было бы всего для меня выгоднее. Еще раз повторяю: место мне нужно только для того, чтобы работать с большею беззаботностью; ибо

служба для меня не цель, а только средство. Теперь пока я обеспечен «Вестником», ибо я в нем участвую, хотя уже не буду иметь имени издателя (что для меня весьма выгодно); но со временем могу и этого средства лишиться; следовательно, нужно иметь что-нибудь вернейшее. Советую вам, добрые мои друзья, Миллер-Тургенев и Лагарп-Блудов, составить между собою академию дружбы, которой цель должна быть: изыскание статистическое, филологическое и микроскопическое способов доставить вашему Жуковскому верное состояние; определите для съездов ваших один день в неделю, например несколько утренних часов в воскресенье (помни день субботний, святите его), и в эти часы говорите, думайте и рассуждайте, и действуйте для моей пользы. Такая Академия едва ли не будет полезнее Азиатской; и в самом деле: вы сделаете пользу *мне*, а я — я буду полезен целой России. Говорю это не шутя, ибо я могу быть и буду хорошим писателем.

От Северина всё еще я не получил ответа; попеняй ему хорошенько. Признаюсь тебе, это молчание меня жестоко сердит. Канцелярия министров портит людей, и Северин уже почитает себя человеком весьма важным13: ему некогда отвечать приятелю своему на такое письмо, в котором он отважился обременить его просьбою. И мне молчание Северина тем досаднее, что я чрезвычайно хотел бы услужить тому человеку, о котором я к нему писал. Похлопочи, любезный друг, о милостивом ответе.

О деле Екатерины Афанасьевны также от тебя не знаю; а пора бы чему-нибудь решительному уже сделаться. Ты спрашиваешь у меня, кто по этому делу хлопочет. Ты один, любезнейший друг. Вместе с тою запискою, которую я тебе доставил, послана и просьба в банк, на которую надобно выходить благоприятное разрешение; а выходить некому, кроме тебя. Следовательно, решись еще раз вооружиться деятельностью и напади на того чудака, который уже выдержал первое твое нападение с некоторым уроном для стороны правой. По крайней мере, отвечай мне по этому делу удовлеворительным образом.

Наше свидание в Москве веселит меня заранее, и вот мой план. Я буду жить у Соковнина14; работы мои будут идти тем же порядком, каким идут теперь;

с пяти часов утра до шести после обеда буду сидеть за делом, но каждый день в шесть часов после обеда ты должен будешь ко мне приезжать (не ранее и не позже), и мы будем сидеть очень весело дома, или будем вместе ездить к Карамзину, или куда случится. Только непременно надобно нам видаться всякий день и ездить ко мне *тебе*, а не мне к тебе, ибо (важное *NB*) я не намерен нанимать лошадей. (Не правда ли, однако, что я становлюсь расчетливым немцем и в деньгах, и в расположении времени, хотя, увы! эта расчетливость еще по большей части только на словах, а не на деле.) Одним словом, любезнейший мой Миллер, ожидаю приезда твоего в Москву с нетерпением, и наши дружеские, искренние разговоры восхищают меня заранее. Как бы хорошо было, если бы с тобою прилетела и милая рожица Блудов! Но и для него важный закон *шести часов* непреложен. Заключу письмо свое обыкновенным рефренем. Перечитай все мои письма не для своей, а для *моей* пользы; выпиши из них на особую бумагу все те книги, о которых я тебя просил, не забыв и росписи Шлёцеровых сочинений, в которой я некоторые книги отметил карандашом; отбери назначенные книги; что понужнее, пришли, а что не так нужно, привези с собою, не забыв, однако, приложить к этой сумме и тех книг, которых я не назначил, но которые ты сам сочтешь для меня нужными. Если всё это исполнишь, то я поверю, что ты перечитываешь письма мои для своей пользы. *Пользы*! Какой чудак! Но разве я пишу к тебе эпистолы à la Sénèque?[[76]](#footnote-76)15 А далее какое пышное приветствие: *досуги твои для меня священны! Я не простил бы себе, если бы был причиною потери твоего времени. Оно так дорого для любящих русскую словесность*. Не стыдно ли тебе говорить со мной таким языком? Прошу тебя, мой милый Миллер, иметь обо мне понятие настоящее, следовательно не слишком высокое; ибо для меня будет больно, если ты будешь на мой счет обманываться, хотя бы то было в хорошую сторону. Я желаю, чтобы твое понятие обо мне было для меня самым верным зеркалом и чтобы оно не украшало меня в собственных моих глазах. Мне всегда было неприятно, когда и посторонний ценил меня выше того, что я стою; а от доброго друга это еще неприятнее.

Между тем латинской грамматики всё еще нет. Досуги мои не очень же для тебя священны. Я, кажется, в первый раз писал к тебе о грамматиике в августе, вот 4е декабря. Если бы я, понадеявшись на аккуратность твою, вздумал отложить попечение о латинском языке до радостного прибытия Бредерова16, то слишком бы мало воспользовался священными досугами.

Нет ли у тебя «Geist der Hebräischen Poesie» von Herder?17 И «Саконталу»18 желал бы прочитать. Projet Уварова напечатан будет в 1 № Генваря месяца. Прежде невозможно. Обнимаю тебя от всего сердца. Еще раз прошу тебя — кажется, что я уже об этом просил, — выручи у Андрея Сергеевича19 Шлёцеров манускрипт: «Записки о жизни его отца»20*.* Он взялся было перевести его в «Вестник» с дополнением; но и меня лишил этого перевода, и сам ничего не сделал. А Шлёцер, который написал этот отрывок по моей просьбе, досадует на меня и требует, чтобы я возвратил ему манускрипт. А мне досадно на Андрея Сергеевича: взяться за такое дело, которого исполнение могло бы быть для него очень приятно, не исполнить его и меня ввести в нарекание — это не совсем в порядке вещей. Прости еще раз. Это длинное письмо и предыдущее, которое было не короче, обязывают тебя написать ко мне поболее, и жду твоего ответа с нетерпением. Но это письмо также и для Блудова, которому также советую не мучить меня своим молчанием. В теперешних обстоятельствах ему стыдно не написать ко мне ни слова.

5-го ноября21

Написав к тебе, мой милый друг, я всегда чувствую себя веселее обыкновенного, как будто после самого приятного разговора, в котором душа оживилась новыми чувствами, а голова новыми мыслями. Друзья, Тургенев и Блудов, любите меня более и более. Пока мы будем иметь в жизни один общий предмет: сохранение и усовершенствование дружбы нашей, по тех пор и самая жизнь будет в глазах наших иметь высокую цену. Знайте, что вы первые для меня люди в свете. Но, любезные друзья, перестаньте же лениться; вот и еще пришла почта, а от вас ни строки! На что же это похоже? Я начинаю думать, что ни ты, Тургенев, ни ты, Блудов, не получили моих писем, и для избежания такой неприятности ставлю на конверте великое слово: *подателю 25 копеек*. Нет, мало! *50*! Для уплаты можете сложиться.

**74.**

**А. И. Тургеневу**

*<Декабрь 1810 г. Белев>*

На будущей неделе еду в Москву1, следовательно не пиши ко мне в Белев, а в Москву. Письма адресуй в контору Университеской типографии. Мало пишу для того, что не хочу писать; на два больших письма моих нет от тебя никакого ответа; ни слова о банковом деле. До тех пор ни ты, ни Блудов не получите от меня ни строки, пока не увижу от вас порядочных писем. Стихи мои, тебе обещанные, все списаны2; но ты их не скоро получишь, в наказание за твою лень. Сверх того, намерен наказать тебя и денежною пенею; знай наперед, что всякий раз, когда ты заленишься и не станешь отвечать на мои письма, беру бумагу, пишу на ней не более двух строк, и за эти две строки заплатишь ты, смотря по великости твоего преступления, полтину, рубль или пять рублей. Если нельзя выпросить писем от твоей дружбы, то по крайней мере можно у твоего кошелька. Не правда ли, что выдумка премудрая? Зубы болят, холодно страшно, а я пишу стихи!3

**75.**

**П. А. Вяземскому**

*<Вторая половина 1810 г. Белев (?)>\**

Любезный друг, скажу тебе два слова, очень для меня нужные. Я купил, или покупаю, в здешней стороне маленькую деревнишку1. Мне нужно непременно 5000 рублей. Твой Ванюша2 обнадеживал меня, что в случае нужды найдет для меня до 6000 рублей: сделай одолжение, спроси у него, может ли он мне теперь помочь, и уведомь без всякого замедления о его ответе. Я дам знать, нужны ли будут мне деньги; теперь есть надежда найти их и в другом месте; однако всё будет не худо, если и ты с своей стороны обо мне постараешься. Прости, любезный друг, ожидаю твоего ответа и прошу тебя не замедлить. В августе месяце непременно должна быть совершена купчая. В противном случае я теряю две тысячи.

Пришли же мне обстоятельный план вашего журнала3 и что должно быть в первых книжках. На сих днях были у нас Плещеевы4. Я еду к ним дней через пять. По поводу галиматьи и остроумия вспоминаю и о тебе.

**76.**

**А. И. Тургеневу**

*<Конец декабря 1810 — начало января 1811 г. Москва>*

На письмо твое отвечать в подробности не имею времени, а спешу повторить тебе просьбу мою только об одном, именно о деле Екатерины Афанасьевны,

о котором, как мне кажется, ты уже отложил попечение, ибо от тебя никакого слуху; а между тем здесь думают, что ты хлопочешь, и в этом уверении не принимают никаких других мер. Я получил от тебя записку Хитрова1; но после этой записки я писал к тебе другое письмо, в котором уведомлял тебя, что просьба в банк о выдаче свидетельства послана (и она послана в ноябре месяце); сверх того, просил тебя, чтобы ты постарался, через Хитрова или кого-нибудь другого, чтобы по этой просьбе было исполнено; а ты мне в ответ пишешь, после весьма продолжительного молчания, что ты доставил уже мне записку Хитрова и что надобно прислать просьбу в банк. Одно из двух: или ты не читаешь моих писем, или совсем они к тебе не доходят. И то и другое досадно; но первое досаднее. Сделай милость, возьмись за это дело и исправь его, если можешь, как обещался. Просьба состоит в том, чтобы узнать, доставлена ли просьба в банк; если доставлена, то можно ли по ней выполнить, если можно, то выполнить поскорее; а если нельзя, то по крайней мере дать знать, что в этом случае делать.

Благодарю тебя за Шлёцера и за Якобса2. Всё горе: я ехал сюда с веселою надеждою тебя увидеть; но вот приезжает М. Кайсаров3 и сказывает, что тебя и ожидать не должно. И ты еще хочешь, чтобы я сделался таким же невольником, как ты! Но об этой материи после. Прощай, мое Провидение, и надобно прибавить, весьма беспечное Провидение.

# 1811

**77.**

**А. И. Тургеневу**

*15 февраля 1811 г. <Москва>*

Просьба в банк послана, любезный друг, в первой половине ноября месяца. Когда будешь просить о исполнении по ней, то скажи просто, что к тебе пишут о ней, не означив числа, ибо я и сам числа не знаю. Содержание ее: дать копию с свидетельства, имеющегося в 25-летней Экспедиции на сельцо Муратово

с Козловкою, Орловской губернии, Болховского уезда, с 1802-го года, по которому принято в залог только 37 душ, а прочие свободны, о чем в свидетельстве просят и поместить. И доставить бы это свидетельство в город Белев Тульской губернии на имя Екатерины Афанасьевны Протасовой. Вот и всё. Постарайся, любезный друг, обо всем из дружбы ко мне. На письмо твое, полученное мною

через Уварова1, у которого я еще не был, буду отвечать, но не теперь, ибо ей-ей нет времени.

Твой *Жуковский* 1811го февраля 15

**78.**

**А. И. Тургеневу**

*27 марта 1811 г. <Москва>*

27 марта 1811

Пламенный Державин под старость лет сделался только вспыльчивым; в поступках его тот же самый сумбур и беспорядок, который в его одах. Письмо его1, тобою мне доставленное, сначала и огорчило меня, и испугало. Огорчило потому, что всякая грубость2, сколь бы она ни была глупа и достойна презрения, на первую минуту не может не быть огорчительна; а испугало совсем по другим причинам. Я вообразил, что человеку, украшенному титулом высокопревосходительного, весьма нетрудно превзойти всякую справедливость и безрассудные угрозы свои привести в исполнение3; а в этом случае исполнение таких угроз повредило бы мне чрезвычайно, не тем, что я потерял бы собственные деньги (ты можешь быть уверен, что я не пожалел бы об них ни минуты), но тем, что за все издержки, употребленные на печатание моей книги тем человеком, который ее у меня купил, надлежало бы заплатить мне (по нашему условию), что сделало бы мне крайнее разорение. Теперь, однако, смотрю на эту глупость совсем иначе, и грубое письмо нашего Пиндара с некоторых сторон для меня еще и выгодно.

Я не понимаю, однако, по какой причине ты ему не отвечал4 и для чего считаешь нужным ожидать моего разрешения. Ведь письмо писано к тебе; тебе известно, что я поместил в своем собрании пиесы Державина с его позволения, ибо нашим посредником был ты5; что же помешало тебе ему отвечать? Я же лично не намерен делать ему никакого ответа — всех грубостей сказать ему невозможно, а не сказать их было бы низко; тебе же это легче: ты будешь говорить не за себя, а за меня, и как посторонний. Желание же его исполню6, и тем с большею охотою, что оно и без его требования было бы исполнено, ибо все лучшие пиесы его помещены уже в первых частях, а те, которые выброшу из последних,

совсем не такого рода, чтобы можно было об них пожалеть. Я почти догадываюсь, что его так против меня взбесило. Он выгнал Гнедича из дому к<нязя> Б<ориса> Г<олицына>7, а в первом томе моего собрания его «Вельможа»8 стоит подле пиесы Гнедича «Скоротечность юности»9. Как же быть оде Державина в одном томе с одою Гнедича, когда сам Державин не хотел быть в одном доме с Гнедичем: том и дом почти одно и то же. А если выбирать, то я предпочту оду Державина всегда самому Державину. Следовательно, по его пиндарической логике, я сделал ему жестокую обиду. Но кто же знал обстоятельства? Итак, любезный друг, отвечай ему что хочешь и как хочешь; дай ему только знать в

своем ответе, что ты доставил мне копию с его эпистолы: из моего молчания он должен уже будет понять, что я не нашел ее достойною ответа. Твое дело также стараться, чтобы печатание книги моей не было остановлено; в этом случае полагаюсь на твою попечительность. В IV томе Собрания напечатано будет *Послание Пушкина ко мне о Славянофилах*10. Это может вооружить против меня всю вашу ватагу скрибентов; смотри же, стой твердо и будь гранитным оплотом моей книги. Причиною этой державинской бури почитаю отчасти и московских бездельников-переплетчиков. Тотчас по отпечатании первых двух частей хотел я послать и к Держав<ину>, и к Ив<ану> Иван<овичу>11 экземпляры, и к тебе: отдал их переплетать; и переплетали их недели три — обыкновенная метода cлавянорусских художников тянуть дело и портить; наконец переплели; приносят ко мне; что же? Предисловие прилепили к второй части, а портреты стоят после титулов. Как послать, особливо к И<вану> И<вановичу>, который так строг в рассуждении точности? Взбесился и велел переплести новые экземпляры12, которых по сию пору не могу добиться. Это мне досадно крайне, ибо я теперь должен казаться странным и И<вану> И<вановичу>; он мне прислал свои сочинения, а я не доставил ему еще своей книги. К Державину же не пошлю экземпляра, и с этой стороны грубое письмецо его почитаю для себя выгодным; оно избавляет меня от необходимости и труда писать к нему письмо в таком тоне, который для меня очень неприятен. Смотри же, не забудь сказать в своем ответе, что копия с письма ко мне доставлена13.

Прости, любезнейший друг. Я ныне собирался писать к тебе совсем о другой материи, то есть отвечать на прежние твои письма, на которые ты еще не имеешь ответа, и сообщить тебе некоторые свои намерения, но это оставляю до следующего понедельника; теперь надобно написать другое письмо: это заставило бы меня спешить, а мне хочется поговорить с тобою на просторе. Московская моя жизнь привела в некоторый беспорядок и мою с тобою переписку, так как и прочие мои занятия; возвратясь в деревню, возвращусь и к тебе, и к прежнему счастливому порядку моему. Я всегда более неразлучен с тобою в такие минуты, в которые более доволен самим собою; здесь тьма мелких обстоятельств нарушает обыкновенный ход моих упражнений; от этого беспорядка поселяется и какое-то беспокойство в душе, которое портит и все другие приятные чувства ее. Поклонись от меня С. С. Уварову. И об нем еще не говорил

с тобою; но всё это откладываю до след<ующего> понедельника. Теперь скажу тебе только, что я несколько раз внутренно благодарю тебя за это знакомство, доставленное мне тобою.

Любезный друг, еще одно требование: сыскать в своей библиотеке следующие книги: «Ethik von Aristoteles» übersetzt von Garve14, «Principles of Moral and Political Sciences» by Adam Ferguson (если найдешь перевод этой книги Гарвев)15,

«System of Moral Philosophy» by Hutcheson16, Feders «Untersuchungen über den menschlichen Willen»17, Булеву «Историю древней философии» и его же «Историю новой философии»18. Которые из этих книг в твоей библиотеке, те доставь мне тотчас по почте, если в них не найдешь нужды сам; а об остальных потрудись справиться в книжных лавках; что стоят, дай мне знать, деньги пришлю. Если не найдешь оригиналов, хотя переводы. Две науки: моральная философия и история будут идти у меня рядом, но последняя только для первой. При них изящная словесность. Письмо мое не забудь показать Дмитриеву: хочу, чтобы он знал, почему я не доставил ему экземпляра. Готчесон есть переведенный Лессингом19, Булева ист<ория> фил<ософии>, кажется, есть у тебя в библиотеке.

Прошу тебя, не замедли и не досадуй на меня за мои разорения.

Доставь мне копию с твоего ответа Державину20.

**79.**

**С. С. Уварову**

*4 мая 1811 г. Москва*

Москва. Мая 4. 1811

Я имел удовольствие получить Ваше письмо1 и спешу на него отвечать. На предлагаемое Вами перепечатание моего перевода2 соглашаюсь с большим удовольствием: желал бы только, чтобы Вы или Тургенев взяли на себя труд его пересмотреть и в некоторых местах исправить: я переводил поспешно, ибо должен был кончить в срок, для напечатания в первых №№ «Вестника»; я уверен,

что в нем довольно найдется ошибок или худых оборотов. Я сам охотно взял бы на себя эту поправку, но не знаю, к которому времени нужно ее кончить; если время терпит, то прошу Вас покорно меня уведомить: я поспешу доставить Вам экземпляр, сколько можно исправленный, и этот труд возьму на себя с большим удовольствием, ибо он дает мне случай сделать что-нибудь Вам приятное; назначьте только срок, к которому всё надобно изготовить.

На сих днях я был у Николая Михайловича и исполнил Ваше препоручение, то есть сказал ему о новой Шлегелевой книге, которую Вы намерены со временем ему прислать3.

Он скоро едет в деревню. Я также собираюсь проститься с Москвою4 и желал бы надолго, дабы без всякого помешательства заняться делом и наконец

что-нибудь сделать.

Здесь позвольте мне упомянуть, что Вы предлагали мне в Москве5. Предложение это почитаю отменно для себя выгодным, но также почитаю необходимым объясниться с Вами искренно; может быть, искренность моя покажется Вам странной — так и быть. Я совершенно *не готов* к тому званию, на которое

Вы меня определяете; мои сведения все вообще весьма еще несовершенны и не приведены в порядок. Для того чтобы их несколько усовершенствовать, нужна

свобода; занявшись должностью, для меня важною и по моей *неготовности* весьма для меня трудною, я не буду иметь возможности исполнить это намерение: одно исключительное занятие отвлечет меня от других необходимых занятий, которых я ни за что не хотел бы оставить…

Хотите ли мне сделать истинное добро? Дайте мне время, нужное для приготовительного, ученического труда и между тем позвольте мне иметь надежду,

что я, по совершении своего курса, на который по крайней мере употребить надобно года два, найду в Вас верное прибежище и что Вы тогда не откажетесь доставить мне средство употребить способности мои на общую пользу. Эта надежда меня совершенно успокоит: без всякой заботы о будущем посвящу себя упражнению и стану заранее наслаждаться мыслью, что выгодами жизни обязан буду тем людям, к которым прилеплен чувствами дружбы. Такая мысль и самый труд сделает для меня сладким. Напротив, если теперь возьму на себя такую должность, к которой я совсем не готов, то она будет для меня только источником самых неприятных ощущений: беспрестанно буду воображать себя не на своем месте и с выгодами *состояния* не получу того, что делает всякое состояние приятным, то есть спокойствия внутреннего и довольства самим собою. Одним словом, прошу от Вас только одной надежды, то есть позвольте мне быть уверенным, что я в свое время найду в Вас нужную мне помощь. Более ничего теперь не требую и не имею права требовать.

Желал бы, если бы это было возможно, быть теперь просто привязанным к С<анкт>-Петербургскому университету, не получая никакого жалованья, а только при нем *считаться*. Также весьма бы желал знать заранее, к какой особенной должности надлежит мне особенно себя приготовить. Я говорил с Вами искренно, ибо говорил не с таким человеком, от которого ожидаю одних только выгод, но с человеком, к которому хочу быть привязан чувством дружбы без всяких посторонних видов. Хотя несколько приятных часов, проведенных мною с Вами в Москве, и не дают мне на это полного права, но Ваше давнишнее знакомство с Тургеневым и меня сделало Вашим давнишним знакомцем.

Возвращаю с благодарностью Вашего Гёте. Позвольте Вам напомнить, что

Вы обещали мне прислать французские Ваши стихи: «Sur l’avantage de mourir jeune»6. Эта идея меня пленяет; мне самому хотелось бы ее обработать на нашем гиперборейском языке, укравши у Вас несколько мыслей. Вы обещали мне и другие Ваши стихи и еще Гердерову книгу «Geist der Hebraischen Poesie»7.

Простите, почтенный Сергей Семенович. Прошу Вас не забывать искренно преданного Вам

*Жуковского*

**80.**

**А. И. Тургеневу**

*<Начало мая (около 6-го) 1811 г. Москва>*

Рекомендую тебе, любезнейший друг, своего доброго приятеля и очень доб рого человека Владимира Сергеевича Филимонова1; он должен быть и тебе самому известен, ибо служил, кажется, вместе с тобою в Архиве2. Он никак не хотел быть в Петербурге, не узнавши тебя, и непременно требовал, чтобы я тебя

с ним познакомил. Это письмо пишу только для того, чтобы оно служило ему проводником к тебе; а более писать некогда; давно начато у меня к тебе послание3, но всё еще его не кончу: Москва для меня источник лени. Прости, любезнейший друг; обнимаю тебя от всей души.

Твой *Жуковский*

P. S. Если случится Филимонову какая-нибудь такая нужда, в которой ты можешь быть ему помощником, то я надеюсь, что из дружбы ко мне употребишь всё старание помочь ему. Также еще, любезный друг, узнай от Северина, что дело Ершова4.

**81.**

**Н. И. Гнедичу**

*<6 мая 1811 г. Москва>*

Жуковский сердечно обнимает любезного Николая Ивановича и желает ему здоровья, удовольствий и более досуга, чтобы почаще быть наедине с Гомеровым гением1.

**82.**

**А. И. Тургеневу**

*<Середина мая (около 13-го) 1811 г. Москва>*

Любезный и добрый друг, на письмо твое1 не могу теперь отвечать обстоятельно; несчастный случай велит мне немедленно ехать в деревню, в Белев и потом в Орел, и на несколько месяцев2. Из Орла сделаю тебе ответ настоящий; но он будет содержать в себе то же, что и мой последний ответ самому Сергею Семеновичу3, которого от всей души благодарю за его доброе ко мне расположение; если он сохранит его, то я надеюсь со временем им воспользоваться. Ты слишком нетерпелив в делании мне добра, любезнейший мой друг; не упускай из виду того, что ты со временем можешь мне быть полезен, но *жди* того времени, в которое скажу тебе сам: брат, теперь мне нужна твоя помощь. Из деревни опишу обстоятельно все причины, принуждающие меня отказаться от выгодной должности, мне предлагаемой. Теперь мне совсем не до того. Прости, мой милый друг; из деревни буду писать и к Сергею Семеновичу. Отказываясь поневоле теперь от выгоды, я остаюсь с успокаивающим меня уверением, что в вас двух имею таких людей, которые со временем захотят подать мне помощь4. Прости. Что же ни слова об Ершове?5 Пиши ко мне в Белев; оттуда уже будут присылать ко мне письма очень верно. Я позабыл поблагодарить тебя за твой прекрасный ответ Державину6; он тронул меня. Я даже радовался тому случаю, который доставил тебе способ за меня так прекрасно вступиться и доказать мне перед всеми искреннюю твою дружбу.

Твой *Жуковский*

**83.**

**А. И. Тургеневу**

*<Середина июня 1811 г. Муратово>\**

Мой милый и всегдашний друг, скажу о себе два слова. В месяце мае много сделалось перемены в моей участи. Тот несчастный случай, о котором я писал тебе в последнем моем письме, была кончина моей благодетельницы и друга, Марьи Григорьевны Буниной, у которой в доме я вырос и воспитан. Писав к тебе, я сбирался ехать в Белевскую деревню, где надобно было похоронить ее тело. Я пробыл в Белеве три дня, всё исполнил и поехал в Орловскую деревню к Е<катерине> Аф<анасьевне> Протасовой, чтобы сказать ей о кончине ее матери. В это время занемогла моя мать, оставшаяся в Москве; за мною прислали; я поехал в Москву, совсем не зная, зачем еду, ибо меня вызвали под другим предлогом: в восьми верстах от Москвы узнаю, что у меня нет матери; приезжая, нахожу одну ее могилу. Избавляю тебя, мой милый друг, от всех комментарий. Пожалей обо мне и останься для меня навсегда тем же, чем ты был доселе. Вот главное. О службе теперь не хочу думать; она не доставит уже никаких мне выгод, ибо все эти выгоды были только в отношении к моей матери. А для меня самого нужно очень мало: я имею угол, в котором соединены для меня драгоценные мне люди1, они избавят меня от ужасной муки одиночества; имею маленький кусок, которого может быть для меня довольно и который есть благодеяние моей матери2, буду работать и этим одним ограничу свою жизнь. Бог лишил меня счастья успокоить старость моей матери; Он сам на себя взял эту заботу, а мне оставил одну только обязанность жить так, как будто бы она была еще со мною: мой милый друг, я исполню эту обязанность. Между тем я еще имею утешительную отраду в твоей дружбе и в дружбе еще некоторых немногих для меня людей. Напиши ко мне; я буду отвечать тебе подробнее. А теперь

еще голова моя не пришла в порядок.

Твой навеки

*Жуковский*

Благодарю Сергея Семеновича за доставление стихов3; скажи ему, что я звание друга его ценю несравненно выше профессорского звания: весьма вероятно, что я останусь теперь при одном только первом. Обними за меня Блудова и попеняй ему. Не знать об нем в настоящих моих и его обстоятельствах очень для меня тяжело; а он уже доказал мне, что может ко мне писать много, как

скоро захочет.

**84.**

**П. А. Вяземскому**

*<Середина июня 1811 г. Муратово>\**

Благодарю тебя, мой милый друг, за твое письмо и за твою дружбу. Прости меня, что я уехал из Москвы, не видавшись с тобою; признаюсь, что в эти первые минуты мне никого не хотелось видеть, и я только думал о том, как бы поскорее оставить Москву1. Помнишь ли наше с тобою расставание. Мне было в эту минуту более обыкновенного грустно: как будто мне говорило предчувствие, что ты уже не увидишь меня в счастливых обстоятельствах. Я пользуюсь, однако, твоим наставлением и сижу за работою2. Не авторствую, но учусь. Вот и все мои планы.

Меня зовут в Петербург для профессорства; но я не поеду3.

План, тобою мне присланный, я читал, и надобно сказать с Мерзляковым: *план написан, а плана нет*; сперва скажи мне, что вы хотите делать, потом я скажу тебе, что я буду вместе с вами делать: вот тебе весь ответ мой на твою 8-ю статью; не замедли уведомить меня о вашем расположении4.

Между тем исполни мою просьбу (и я уверен, что ты исполнишь ее с возможною точностью). Съезди к Екатерине Федоровне Муравьевой и узнай, когда

она расположена отдать в печать стихотворения М<ихаила> Н<икитича>?5 В следующем месяце доставлю ей остальные, мною исправленные; между тем пускай печатается начало. Печатать отдать в Университетскую типографию, Андрею Дмитриевичу Сущёву, который будет уже пересылать ко мне корректурные листы: я с ним об этом говорил, и он знает мой адрес. Биографическое известие о жизни М<ихаила> Никитича не замедлю написать; а ты попроси Ек<атерину> Фед<оровну>, чтобы *поспешила* доставить мне какие-нибудь известия о его службе, о некоторых главных происшествиях его жизни: например, обстоятельства его воспитания, того времени, в которое он был при великих князьях и тому подобное, этого ничего нет в тех бумагах, которые я имею и которыми могу очень хорошо воспользоваться только для изображения его образа мыслей и характера. Обо всем этом ты сам будешь уметь переговорить с нею лучше меня; только сделай дружбу, поспеши. Извини меня перед Екатер<иной> Фед<оровной>, что я уехал, не кончив начатого и не про-

стясь с нею; оправдай меня в этом случае моими обстоятельствами. Надеюсь, мой милый друг, что ты докажешь мне свою дружбу *скорым* исполнением этого поручения, право, для меня очень важного. На точность твою крепко надеюсь. Также доставь мне поскорее и подробное расположение вашего издания, в котором я, однако, участвовать буду не иначе как *посторонний*, ибо я теперь надолго закопался в деревне и буду появляться в Москве на короткое только время. Поклонись для меня Батюшкову. Он меня совсем забыл. По крайней мере, напомни ему о Самариной6 и о моем манускрипте, которому пора ко мне возвратиться. Всем нашим от меня кланяйся. Пиши ко мне, если можно, по-

чаще хотя коротенькие письма. Право, люблю тебя от всего сердца. И заочно — как-то больше, не оттого ли, что здесь не надоедаешь ты мне своими эпиграммами и не рвешь у меня зубов.

Твой *Жуковский* Отдали ли тебе портрет? Напиши.

**85.**

**П. А. Вяземскому**

*8 <сентября 1811 г. Муратово>\**

Милый друг, ты сердишься на меня, молчишь и воображаешь, что я тебя забыл. Ради Бога, не будь несправедлив и не меняй ко мне своей дружбы. Во всё это время, которое ты не получал от меня писем, я был болен, не физически, а еще хуже, морально1: болен и теперь; но в душе своей не переменился к тебе нисколько. Это письмо пишу только для того, чтобы тебя ко мне написать за-

ставить, потому что письма твои большим для меня утешением служат. Итак, обрадуй меня. Напиши ко мне более и скажи, что ты всё ко мне тот же — друг на всю жизнь. О себе буду писать много — дай только немного успокоиться. Обнимаю тебя от всего сердца. Прости, брат, друг, товарищ.

Твой *Жуковский* 8 августа

**86.**

**П. А. Вяземскому**

*22 сентября <1811 г. Муратово>\**

Сентября 22-го

Я получил здесь очень неприятное о тебе известие, которому, однако, не верю, ибо оно дошло сюда от человека совсем недостоверного. Пишут об тебе из Москвы, что ты был очень болен1, что болезнь твоя миновалась, но что ее следствия могут быть весьма для тебя опасны; словом, дают тебе чахотку. Прошу тебя, поспеши меня о себе уведомить; что с тобою делается и что справедливого в этих слухах. Я видел здесь нашего общего знакомца Апухтина2, который сказывал мне о некоторых обстоятельствах твоей помолвки; но всё я ничего не знаю подробно. Если ты здоров или если найдешь свободную для меня минуту, то вооружись пером и напиши несколько строк. О себе не скажу ни хорошего, ни дурного; всё для меня более дурно, нежели хорошо, и я частенько говорю

с нетерпением: когда же кончится эта глупая трагикомедия? Желаю сердечно,

чтобы ты не был знаком с этой мрачностью души, которая, однако, если не ошибаюсь, и тебе небезызвестна. Обстоятельства твоей помолвки3 показались мне несколько странными, если верить описанию; прошу тебя описать мне всё, как было. Я здесь ни об ком из своих приятелей ничего не ведаю. Стыдно вам так забывать меня. Прости, любезный друг. Обнимаю тебя от всего сердца.

Твой *Жуковский* Получил ли ты первое мое письмо в ответ на твое?

**87.**

**П. А. Вяземскому**

*<Середина сентября 1811 г. Муратово>\**

Поздравляю и себя, и тебя с твоим счастьем!1 Ты удивил меня чрезвычайно. Радуюсь, любезный друг, и от всего сердца желаю, чтобы все твои настоящие радости и восхищения навсегда при тебе остались. Желал бы разделить их с тобою лично, но должен отказать себе в этом удовольствии: обстоятельства приковывают меня к одному месту, и я совсем не надеюсь даже и нынешнею зимою быть в Москве. Следовательно, весьма вероятно, что увижу тебя не прежде, как уже отцом (ибо твоя деятельность в этом случае мне известна); сидя подле люльки, будешь ты с жаром проповедовать мне философию, совсем противную той, которую проповедовал во время оно; я буду слушать и не верить ушам своим; наконец поверю и начну тебе завидовать, и, вероятно, буду завидовать целую жизнь, ибо так делается на сем свете: враги женитьбы женятся и вопреки самим себе бывают счастливы; а тот, кто выше всего ставит семейственную жизнь, принужден навсегда от нее отказаться и грызть в одиночестве ногти. Я имел бы право попенять тебе, любезный друг, за твой лаконизм, но

слишком счастливым людям всё прощается. Ты пишешь ко мне просто: я женюсь, я в восхищении! а не описываешь, как это случилось; следующее письмо твое, если только найдешь свободную минуту от любви, должно быть подробнее. Впрочем, твоя метода почти мне известна —

Люби! еще не досказала,

А я уже пылал тобой!2

Так, без сомнения, случилось и здесь. Но на скольких же развалинах эта новая неразрушимая любовь поселилась и скольких врагов ты себе нажил!3 Тем лучше! Веди ее к алтарю в триумфе; а меня между тем не забудь уведомить о всех подробностях приступа, ибо хотя я и не имею надежды когда-нибудь подойти под венец, но всё думаю, что уроки твои на что-нибудь мне пригодятся. Я же несколько за тебя робею, ибо ты некогда проговорился мне что-то о неспособности, о неумении — ради Бога, не будь Батюшков!4

Я здесь живу весьма уединенно; круг мой самый тесный, но самый для меня милый; занятия мои идут довольно порядочно; Плещеевы — которые NB будут нынешнею зимою в Москве — от нас близко, и я видаюсь с ними довольно ча-

сто. Деревнишку маленькую купил, но еще и азбуки хозяйства не знаю; между тем, несмотря на некоторые веселые развлечения, чувствую, что у меня в душе всё мрачно и час от часу становится мрачнее; будущее для меня в каком-то печальном тумане и в жизни не представляется для меня совсем никакого счастья; день за днем проходит без всякой радости, и самая жизнь теряет в глазах моих цену. Такой печальный отголосок на твои веселые восторги совсем здесь не у места, и я, откладывая свои Иеремияты5, заключаю письмо свое тем же, чем

его начал, то есть сердечным желанием тебе счастья; я желаю его тебе как друг, следовательно почитаю его собственным и для меня драгоценным. Обнимаю тебя искренно.

Твой *Жуковский*

**88.**

**П. А. Вяземскому**

*<Первая половина октября 1811 г. Муратово>\**

Благодарю тебя, любезнейший друг, за твое письмо, которое успокоило меня насчет твоего здоровья. Слухи о тебе были самые печальные; в одно время с твоим письмом получил я письмо от Северина1, которое могло бы меня напугать, если бы твое не послужило на него возражением; он почти называет тебя покойником. Хотя я не из тех людей, которые называют смерть большим несчастьем2, но желаю, чтобы ты познакомился с нею как можно позже; особливо умирать в женихах смешно и глупо. И я дивлюсь твоему стоицизму: ты шутишь, говоря о смерти. Если когда-нибудь можно на нее смотреть с ужасом, так, конечно, в теперешнем твоем состоянии. Будущее *должно* тебе представляться прелестным, следовательно и разрушитель этого будущего отвратительным. Из двух твоих реляций физическою я довольнее, нежели моральною; ты ничего не описываешь мне обстоятельно; многое узнаю со стороны; из твоего письма только *угадываю*, что ты всё состряпал без ведома некоторых особ и теперь с ними дурно3: худой приступ к семейственному счастью! Нарушение прав и обязанностей семейственных! Это несколько похоже на нравоучение; я называю это *искренностью*; хотя еще не знаю, о чем с тобою говорить *искренно*, ибо твои обстоятельства мне совсем неизвестны. Если бы ты вздумал отбросить на несколько минут твою лень и посвятить несколько часов *дружескому излиянию мыслей*, то избавил бы меня от тяжелого бремени принужденности — ты говоришь, что в некоторые минуты чувствуешь во мне нужду; но разве нельзя удовлетворить этой нужды будучи розно! Пиши всё, что у тебя на сердце, не бойся бумаги, я буду отвечать тебе так, как буду чувствовать и думать.

Ты хочешь знать о моих занятиях. Они в большом расстройстве. Я более рассеян, нежели занят; но эти рассеяния, однако, были для меня полезны — теперь опять начинаю чувствовать нужду в занятии порядочном и постоянном. Принимаюсь за стихотворство. Хочется поболее написать в продолжении следующих двух лет, ибо — сказать ли тебе мою странную мысль? — мне кажется, и кажется наверное, что я проживу не более двух лет!!! Что-то мне говорит: спеши! оставь после себя что-нибудь такое, что бы всегда напоминало о тебе с удовольствием! И эта мысль о воспоминании имеет для меня особенную прелесть! Я не желал бы жить долго, ибо уверен, что буду *несчастлив*! Но желал бы непременно прожить два или три года, чтобы в это время написать что-нибудь достойное служить мне *памятником*. Как бы я желал, чтобы какой-нибудь посол судьбы слетел ко мне с неба и сказал мне наверное: два года, не более! Эта уверенность была бы для меня драгоценный подарок; она бы распространила очарование на этот короткий срок жизни! В два года прожил бы я более, нежели в двадцать! Но ты смеешься; поговорим о другом — о моих рассеяниях. Я очень

часто видаюсь с Плещеевыми, с которыми час от часу мне становится приятнее; я у них как дома; вместе с А<лександром> А<лексеевичем> пишем комедии4, играем их, разумеется, между собою; поем, слушаем музыку.

Я никогда не думал, чтоб можно было мне познакомиться с Плещеев<ыми> коротко и дружески — теперь этому верю, и радуюсь, что моя дикость не помешала мне познакомиться с ними так, как со многими другими. Жена премилая женщина, я люблю ее искренно — здесь не худо тебе напомнить о прошедшем!5 Ради Бога, будь скромен! Если ты еще кому-нибудь, кроме меня сделал доверенность, то поступил мерзко; если ж нет, то молчи, а все письма в огонь! Минутная ошибка, произведенная обстоятельствами и горячею кровью, не должна разрушать семейственного счастья. (Об этом ты должен особенной статьей уведомить меня в первом твоем письме: *сожжены ли письма и знает ли ктонибудь другой, кроме меня, эту тайну*!)

Завтра Плещеевы будут у нас. Мы уговорились, чтобы я каждый месяц приезжал к ним на неделю в деревню: эта неделя будет посвящена поэзии и музыке; я буду писать стихи, он — ноты; уж некоторые мои стихи обречены на бессмертие его музыкою6, а для будущего множество идей превосходных и новых. Мы выдумали новый род соединения музыки с поэзиею; но это еще тайна, которая скоро обнаружится. Терпение! À propos[[77]](#footnote-77), Плещеев имеет особенный талант чрезвычайно приятный7. Я еще никогда не слыхал *читающего*

с таким искусством, особливо театральные пиесы; ты можешь сказать от меня В. Пушкину, что он, несмотря на то что знаменитый Тальма его учитель, не должен и во сне сравнивать себя в этом отношении с Плещеевым8. Недавно он читал нам Шиллерова «Дон Карлоса»; у меня голова разболелась от того впечатления, которое сделала надо мною эта пиеса, хотя я ее и знал прежде9. *NB*. Ты много одолжишь меня, мой милый друг, если достанешь мне и на первой же почте пришлешь эту пиесу: не худо, если бы ты взял у Горна10 на мой счет и весь Шиллеров театр, по крайней мере все те пиесы, которые у него найдутся; не забудь об этой просьбе. Исполнив ее, точно докажешь, что меня помнишь. Прости, любезный друг. Что нового в литературе? Читал ли в последнем «Вестнике» стихи Милонова и особенно перевод Горация?11 Браво! Браво! Прекрасно! Истинная поэзия.

Твой *Жуковский* Пришли мне свой адрес. Я принужден писать к тебе через других.

**89.**

**П. А. Вяземскому**

*<Конец (после 18-го) октября 1811 г. Муратово>*

Мой милой друг!

Знать, недосуг

Писать к друзьям?

Пристал к мужьям!

И свысока,

Как с чердака,

На бедняков

Холостяков,

Смеясь глядишь!

И говоришь: «Вы дураки!

Как челноки,

Игрою волн!

Мой мирный челн

Нашел приют!

Старинный плут,

Эрот слепой

Был кормщик мой!..

Ревел Борей

И, как злодей,

Сожрать грозил!

Но верой был

От бурь, друзья,

Избавлен я!

Теперь мне смех:

Гляжу на всех

Из уголка!

Мне жизнь легка,

Вам — тяжкий груз;

Без милых уз

Что жизнь для нас!»

Ну, в добрый час!

Рад от души!

Да напиши,

Что, мужем став,

Ты старый нрав

Сберег друзьям!

Ведь по годам,

Не по часам, Друзья растут!

Пусть Леля-плут

Или Эрот

Свое возьмет!

Но часть и — нам,

Твоим друзьям!..

Апухтин прав!

Ведь бес лукав:

Он всем вертит —

И твой пиит

Лекенем стал!

В Орле играл

В Филине он

И был смешон!

Под париком,

Как под шатром,

На двух ногах,

Как на клюках,

Он в первый раз

Для трехсот глаз

(Хоть и не рад)

Был адвокат.

Зато уж он

Не Селадон!

Роль волокит

Ему не льстит!

Апухтин врал,

Когда сказал,

Что милый взор,

Как хитрый вор,

Исподтишка

У чудака

Полсердца сжег!

Свидетель Бог,

Что это ложь!

Не делай рож!

Я не в Орле,

Живу в селе,

Земном раю;

И жизнь свою

В труде, во сне

И в тишине,

Таясь, веду;

И только жду,

Что стукнет в дверь

Плешивый зверь

С большой косой

И скажет: «Стой!

Окончен путь;

Пора заснуть,

И — добра ночь!»

Вот я — точь-в-точь!

Ты хочешь знать,

Позволю ль ждать

Меня зимой

Или весной В Москву? —

Ответ

Короткий: нет!

**90.**

**П. А. Вяземскому**

*6 ноября 1811 г. <Белев>\**

Ноября 6-е 1811

Отвечаю на два письма твои, любезнейший друг, и начну поздравлением.

В час добрый! ты в пристани!

Ты кинул якорь свой у пристани забвенья!1

То есть *забвенья* всего скучного, печального, неверного, ветреного и так далее. Милая жена есть образ возможного счастья. Этот язык, над которым ты прежде забавлялся, должен быть для тебя теперь понятен и, верно, понятнее, нежели для меня, ибо я расстался с мечтою о семейственном счастье и с горем пополам уступаю ее тебе; но для тебя она уже перестает быть мечтою. Из глубины сердца желаю тебе этим счастьем наслаждаться до конца жизни. Твои приглашения дают мне большую охоту побывать в Москве; но я почти уверен, что не буду к вам нынешнею зимою. Терпение.

Последним твоим письмом я весьма доволен, потому что оно успокоило меня насчет твоего разрыва с Карамзиными2; хотя это примирение не совсем

оправдывает твою совесть, но оно было тебе необходимо для того, чтобы твое теперешнее счастье было полно. Я могу себе вообразить тебя веселым, счастливым; но еще никак не могу представить тебя мужем — переход был слишком быстрый и неожиданный. Что ты делаешь? Как располагаешь свою жизнь? Обо всем этом желал бы получить от тебя полную реляцию.

В прошедшем письме я говорил о смерти, теперь занят бессмертием — читаю «Федона»3. Читал ли ты его? Если не читал, то не имеешь понятия о красноречии. Но теперь надеюсь, что ты его прочтешь. Разве ты не женился! Кто бы этого от тебя мог ожидать! Почему же теперь не вообразить, что ты прочитаешь и трактат о бессмертии души. Теперь же тебе не худо несколько более прежнего подружиться с душою и позволить ей существовать! Для нас, бедных одиноких людей, нет нужды в душе! А для тебя, женатого, то ли дело! Без всех шуток, купи Мендельсонова «Федона» и выучи его наизусть; или лучше погоди, я переведу его для «Вестника» и из дружбы к тебе не испорчу в переводе.

Не понимаю, почему короткость моя с Плещеевым тебя удивляет! И какие догадки можешь ты делать насчет этого знакомства! И отчего теряешься в недоумениях. Плещеев добрый малый, умный, приятный, и мне нравится; жена его милая женщина, которая всегда выиграет в коротком знакомстве. Узнав ее короче, я натурально не мог не надивиться *тому, что случилось*4, и не найти его совершенно несходным с тем, что вижу, — надобно было всё оправдать минутным заблуждением ума, помраченного слишком горячим темпераментом.

Человек, не со всех сторон правый, может еще со многих сторон заслуживать и любовь, и уважение. Не имел ли я, однако, причины бояться, что минутная ошибка может сделать большой вред этой бедной женщине? Теперь ее тайна в общем владении Северина, Вяземского и Пушкина! Вероятно, что она ими совсем забыта; но можно ли поручиться за их языки! По крайней мере, письма *да* *обратятся в пепел*, который советую на всякий случай сберечь и принимать вместо порошка всякий раз, как скоро тебе вздумается опять состряпать какую-нибудь глупую нескромность.

За обещание прислать Шиллера благодарю; толь<ко> не откладывай в длинный ящик; и непременно вместе с прочими трагедиями доставь «Дон Кар-

лоса». Едва ли не примусь переводить его!5 Прелестная трагедия, но пропасть надобно переделывать.

Я воображаю, что ты теперь или совершенно бросишься в свет, или посвятишь себя одной литературе! Скажи, прошу тебя, как ты располагаешься жить? Что делаешь? и что твоя служба?

Мы с Плещеевым пишем комедии, каких никто никогда не писывал, — половина по-русски, половина по-французски — и все в стихах. Но этого вздору я не намерен к тебе посылать. Дивись только тому, что я играю на театре, пою и танцую в балете в костюме *Жука*!6

Прости, любезный друг, пиши больше и чаще.

**91.**

**В. Ф. Вяземской**

*7 ноября 1811 г. Белев\**

Милостивая государыня Вера Федоровна!

Ваше письмо есть самое неоспоримое доказательство, что мой любезный Вяземский точно мне друг: он поспешил дать обо мне самое выгодное мнение тому человеку, который теперь для него драгоценнее всего на свете. Благодарю его за этот новый знак дружбы, а Вас за то, что Вы ему поверили. Поздравляя его с его счастьем, я в то же время поздравляю и самого себя, ибо этим счастьем и я буду пользоваться. Мы часто бывали с ним не согласны в некоторых мнениях; теперь смело могу сказать перед целым светом, что Вера его есть моя вера! И обещаюсь быть привязанным к ней от всего сердца. Откладывая все комплименты, прошу Вас просто принять участие в той дружбе, которую имеет ко мне Ваш, или, лучше сказать, наш Вяземский; а я ему оставляю быть порукой в той привязанности, в которой надеюсь и желал бы скорее удостоверить Вас лично. Имею честь быть, милостивая государыня, Вашим покорнейшим слугою

*В. Жуковский*

1811 г. Ноября 7

Белев

**92.**

**Д. Н. Блудову**

*<5—11 декабря 1811 г. Белев>*

Всё имеет свою хорошую сторону, любезнейший мой друг, даже и наша с тобою лень писать друг к другу (которая, сказать правду, лишает нас больших удовольствий); если бы ты писал ко мне чаще, то слог твоих писем был бы умереннее, и я более радовался бы твоею дружбою, нежели ее выражением; но в последнем письме твоем и дружба и ее выражения одинаково меня обрадовали, и за это благодарю твою лень, которая некоторым образом заставляет

тебя в продолжение полугода скопить маленький капитал дружеских чувств, которые ты по совершении срока и перешлешь мне все разом, в одном письмеце. Шутки в сторону; жаль очень, что мы так ленивы; как бы весело было для меня всякие две недели один раз так радоваться твоим письмам, как я последнему обрадовался. Ты не должен никогда воображать — но ведь ты никогда и не воображаешь этого, — чтобы я по числу писем и по тем случаям, в которых писаны эти письма, рассчитывал *твою* дружбу; с другими этот расчет мог бы служить масштабом дружеской привязанности, но не с тобою, не со мною и не с Тургеневым, хотя, еще повторю, для общего нашего удовольствия (скажу, даже счастья), желал бы, чтобы какой-нибудь волшебник прикосновением магического жезла выгнал вдруг из души нашей убийственную лень; точно почитаю необходимостью постоянную переписку между нами; я уверен, что она меня *животворила бы*; признаюсь: часто в душе бывает какая-то мрачность и умерщвляющая все ее силы холодность — и любовь к добру, и доверенность к самому себе, и деятельность ослабевают, когда не делишься ими с теми, в ком находишь одинакие с собою чувства.

Конец прошедшего года был для меня пресчастливый1; я занят был беспрестанно; занятия мои имели успех. Я был доволен собою, следственно до некоторой степени и обстоятельствами. Приехал в Москву2 — порядок мой расстроился; а то, что меня *выгнало* из Москвы, надолго меня самого расстроило; теперь опять всё приходит понемногу в порядок; опять принялся за дело; но всё еще недостает живости; мало-помалу и она возвратится — моя судьба кажется совсем решена: жить в своей горнице, работать, ограничить себя сколько можно малым: литература, дружба, посредственность — вот и всё тут! Ты спрашиваешь, чем я занимаюсь? Мое время разделено на две половины; одна посвящена *ученью*! другая *авторству* (в том числе и переводы). *Ученье*: философия и история и языки. Что это значит? Читаю те немногие философические и исторические книги, которые у меня есть, но читаю с порядком. *Сочинение и переводы*: начал перевод из «Оберона» (*недавно,* однако, и дабы успокоить твою ревность насчет моих сочинений, посылаемых на будущей почте к Тургеневу, «Оберон» будет посвящен тебе); сочиняю разные мелкие; делаю планы для будущих сочинений, в которых нет недостатка; имею в голове русскую *по-*

*эму*3, которую начну после «Оберона» (!!!) и прочее и прочее. Есть у меня здесь добрый и любезный приятель Плещеев4, с которым часто вместе соединяем поэтические силы; он воспламеняет меня своею музыкою, а я стихотворствую для его музыки; «Оберон» занимает меня поутру; а ввечеру *перевожу*, и теперь занят мендельсоновым «Федоном»5, которого уже около половины переведено. Это добыча «Вестника Европы»; но добыча прекрасная, ибо «Федон» в своем роде единственная книга; я прочитал его с жадностью два раза сряду, перевожу

его с особенным удовольствием и, вероятно, более ему обязан тем, что моя деятельность несколько порасполыхалась. Живу я очень уединенно и с *своими*, хотя уже настоящей *моей* нет в здешнем свете. Жизнь моя, настоящая и будущая, посвящена *будет уединенной* работе, но, чтобы работа и жизнь имела для меня прелесть, надобно необходимо, чтобы вы, первые и лучшие друзья мои, Блудов и Тургенев, час от часу теснее, или, лучше сказать, по-прежнему, соединены были со мною. Надобно, чтобы никогда не отдалялась от меня мысль о вашей утешительной для меня дружбе — следственно надобно нам друг к другу

чаще писать; переписка если не усиливает, то наверное оживотворяет дружбу, а очень, очень часто служит она большим подкрепителем!6 Пришли мне свой адрес; я его забыл.

**93.**

**П. А. Вяземскому**

*<Начало декабря 1811 г. Муратово>\**

Шиллер приехал, и я тебя обнимаю, любезнейший друг, за твой подарок; но это издание не полное, или, лучше сказать, *депарельированное*1 (это слово для Шишкова); недостает третьего тома. Не взбесился ли Горн?2 Полечи его, любезнейший друг; если ж он неизлечим, то есть, когда в его лавке нет сего третьего тома, то вытребуй от него хотя порознь те трагедии, которые должны быть в недостающем томе, именно: «Wallenstein» и «Die Braut von Messina»3, которых я не читал и желаю нетерпеливо прочитать, ибо душа моя опять воспылала чревобесным окаянством Шиллерова Гениального Совершенства; даже я соглашаюсь и на то, чтобы ты мне и эти две трагедии *воздал яко долг природы из преизбыточной атмосферы твоего ко мне дружества.* Но в отношении к будущим могущим произойти от меня комиссиям советую тебе воздержаться от такой изящной фантасмагории, ибо это может и меня воздерживать от всякого при-

ступа к приобретению посредством тебя недостающих мне разнообразностей. Надеясь на этот предварительный договор — прошу тебя взять у Горна же на мой счет Шиллеровы сочинения, то есть «Geschichte des Dreißigjährigen Kriegs»,

«Geschichte des Abfalls der Niederlanden von Spanien», и нет ли еще его Oeuvres posthumes4; одним словом, всё, что есть Шиллерово, присылай, а Горна проси от меня потерпеть денег faute de mieux[[78]](#footnote-78). Все сии и будущие комиссии даются тебе, любезнейший мой друг, для того, что ты, сверх всякого моего чаяния, оказался весьма точным в исполнении всякого поручения. Советую и тебе запастись гос подином Фридрихом Шиллером: он именно такой автор, которого ты, яко любитель всего пламенного и преступающего за границы общих правил, должен обожать с энтузиазмом (и это для Шишкопиита <?>). «Wilhelm Tell» трагедия не трагедия, но нельзя ее читать не пылая душою! «Федон»5 переводится и переведен уже почти до половины, но ты ведь не будешь его читать, а если и будешь, то à la manière d’Aretine[[79]](#footnote-79)6. При «Федоне» переводится и «Оберон»7, и с довольною живостью; каждый день непременно посвящаю ему часа три и буду стараться не отойти ни на пядь от оригинала.

Между тем для отдыха иногда пишу кое-что и мелкое; следственно, в Москву по тех пор не буду, пока не будет готово большей половины «Оберона», пока не напишется жизнь Муравьева (à propos[[80]](#footnote-80), что ты сделал с стихами Муравьева, которые мною тебе отданы при моем отъезде, и что сказала Екатерина Федоровна?) — пока не будет довольно мелких разностей, дабы всем этим тебя и прочих вознаградить за долгое мое отсутствие. Но, любезнейший друг, ведь быть с тобою розно не значит менее тебя любить; напротив, еще ты как-то более мне мил, когда я тебя воображаю, нежели когда вижу — как это истолковать, не знаю, но оно так! Уж не причиною ли тому твое беспрестанное Аретинство всегда и во всем!

Подумай! И прощай! Присылай Шиллера и как можно скорее что найдешь.

Между тем не забывай знакомить меня и с новостями литературы; например, я желал бы прочитать 2, 3 и 4 книжки «Беседы»8; пришли, возвращу в целости. Нет ли и еще чего-нибудь интересного. Дашкова критика очень хороша9; слог ясный, умный, благородный. Нет ли «Досугов» *Грамматина*?10 И стоят ли они того, чтобы прочтению их жертвовать досугом! Прости, обнимаю тебя; где Батюшков и что он пишет?11

**94.**

**П. А. Вяземскому**

*<Конец 1811 г. Муратово>*

Князь Петр, жилец Московский!

Рука твоя легка!

Пожалуй сертука!

Твой сельский друг Жуковский

Обнову хочет сшить.

Но ах! не можно быть

(Ведь тело тяжко бремя)

В одно, мой милый, время

В столице и в Орле.

Он за сто верст в селе.

Есть муза — нет портнова!

А надобна обнова.

Итак, пусть твой сертук,

Сиятельный мой друг,

Для Проля или Грея

Послужит образцом.

Портной столичный — фея!

Владеет утюгом,

И ножниц острых силой,

И ниток колдовством —

И будет с сертуком

Твой стиходел унылой,

А старый мой сертук

Уж выбился из рук;

И много превращенья,

Несчастный претерпел;

Под щеткою кряхтел;

А сколько же мученья

От злого голика!

Пытали, как злодея!

Ну право, нет жальчее

На свете сертука!

Итак, ничуть не диво:

Отставки просит он;

Служил он не лениво,

И честно награжден Заплатами за службу!

А ты — не в службу, в дружбу —

Для образца, мой друг,

Пожалуй без расписки Подателю записки

Твой княжеский сертук!

# 1812

**95.**

**П. А. Вяземскому**

*<Начало февраля 1812 г.>\**

Любезнейший настоящий друг мой и будущий отец1 (но не мой) князь Петр Андреевич, приложенное письмо доставь Тургеневу2; на твою эпистолу буду отвечать на следующей почте. Теперь некогда. Скажи мой поклон Вере Федор<овне>, Николаю Мих<айловичу> и Екатерине Андреев<не>3. Давно ли ты сделался панегиристом службы?4

Твой *Жуковский*

**96.**

**П. А. Вяземскому**

*<Первая половина марта 1812 г. Мишенское>\**

У тебя есть в твоей библиотеке книга: «Paris, Versailles et ses provinces a la très du XVIII siècle» (собрание анекдотов)1. Пришли, сделай одолжение; если и еще что-нибудь есть хорошее в этом роде, также доставь. Да прошу тебя,

осведомись у Алара2, не получил ли он II и III томов «Précis de la Géographie universelle» par Malte-Brun3; если получил, возьми и доставь также поскорее, назначив цену, а Алару заплати сам. Я просил об этом же написать к Алару некоего Моро4; не знаю, написал ли он; ты и об этом спроси у Алара — чтобы мне не получить двойного экземпляра. Первый том я давно уже купил у Алара. Где Тургенев? Да напиши, что у вас слышно о войне с французами?5 Здесь страхи рассказывают.

**97.**

**П. А. Вяземскому**

*<Конец апреля 1812 г. Муратово>\**

Любезнейший мой друг, не сердись на меня за мое молчание! Виноват! ленился как дура! Но ведь ты великодушен, и я полагаюсь на твою ко мне дружбу в молчании. Посылаю тебе вместо красного яичка начало нашей переписки с Плещеевым1. Мы побожились друг с другом не переписываться иначе, как в стихах! Это послание не первое; я уже много намарал к нему вздору — но это, кажется, вышло не вздорное. Критиковать его тебе позволяется, и я за слог не

стою, ибо оно написано в два утра с половиною и писано как письмо на почту. По этой скорости оно изрядное. Плещеев пишет ко мне на него ответ, на который, натурально, и с моей стороны должен последовать ответ же: из этого выйдет со временем переписка двух соседей на двух языках. Но посылая эту пиесу к тебе, имею в виду кое-что и другое: ты должен непременно помочь одной бедной, погорелой и прочее и прочее, то есть ты должен прислать мне по крайней мере сотню рублей, которые и будут отданы кому следует. Хорошо, если бы ты

сделал сбор и помог этим беднякам2. Кто они, до этого дела нет; пришли ко мне, и концы в воду.

О себе скажу, что я служу верно и усерднее прежнего Музам. Пишу и пишу, как сказано в послании для Лексикона3. Еще поспела страшная баллада4; переведена Драйденова ода «Сила Гармонии»5; начата поэма, которой уже есть стихов 3006, и много кое-чего — теперь всё отставляю, чтобы писать к Батюшкову

ответ на его стихи к Пенатам7. Он скоро поспеет. *И план, и мысли — всё уже есть!*

Батюшкова пиеса прекрасная! Легкость и свежесть в слоге! Стихотворное воображение! Есть места прелестные! Кое-что надобно поправить! Этот лентяй так ленив, что самую безделицу поправить ему невозможно. Доставь приложенную записочку к нему. А на заключение моего послания к Плещееву непременно жду от тебя тяжеловесного ответа. Прости. Обнимаю тебя. Скажи мне, правда ли, что Тургенев на месте Магницкого?8 Что Лицей?9

**98.**

**П. А. Вяземскому**

*<Конец мая 1812 г. Чернь>\**

Любезный друг, получил твое любезное письмо и деньги1: за то и другое благодарю. Очень рад, что мои стихи тебе нравятся; но прошу тебя их не раздавать по рукам, первое, потому что они могут мне наделать и неприятностей,

если найдется какой-нибудь Кутузов, желающий вредить2, который их прочтет: в них говорится о войне, а войны еще нет; сверх того, есть в них и личности; я не знаю, замарал ли я в французских стихах имя Павлова, стоящее в выноске; если не замарал, то этот труд возьми на себя ты; также из французских стихов вымарай слово M. Troquet3, это прозванье одного нашего знакомого, который

совсем не будет доволен, если попадется оно ему в том месте, где теперь стоит. Всего же лучше не показывать этих стихов профанам, ибо они писаны для себя.

Намерение ваше издать выбор из выбора стихотворений4 почитаю весьма благоразумным; только его можешь легко исполнить и не браня моего собрания, которое избавит тебя от труда искать, ибо в нем ничто хорошее не забыто, хотя к хорошему кое-где примешано и посредственное. Пришли мне роспись

собранных тобою пиес; я немного побаиваюсь, что ты не исполнишь этого намерения, ибо что ты на своем веку докончил? Правда, ты теперь женат и хочешь возложить главные заботы на Северина: это меня ободряет. Когда у тебя всё будет приготовлено, то и я доставлю свои пиесы; у меня мало-помалу набирается, и буду стараться, чтобы все были *хороши*,то есть такие, которыми бы ты, Блудов и еще несколько строгих чудаков были довольны. Послание к Батюшкову почти готово, осталось написать стихов тридцать; но так как я во всё это время был не весьма в духе, то и не мог их написать; желаю очень, чтобы эта пиеса тебе понравилась; чтобы она *стоила* Батюшковой пиесы, чем я буду и доволен, ибо наш Пипинька, сказать без всех курьозностей и жеманства, пишет прекрасно; по его приказанию кое-что поправил, и эти бы поправки были доставлены тебе, но я не дома, а у Плещеева в деревне и позабыл взять с собою пиесу Батюшкова. Я пишу довольно прилежно, и если обстоятельства оставят меня до будущего января здесь, то в январе привезу тебе большой запас стихов. Начата одна *важная* работа или (если угодно) *две*5, но об них ни слова, чтобы не прослыть синицею, которая ходила зажигать море и не зажгла его, а только шуму наделала.

Ваши московские стихотворные кабали[[81]](#footnote-81)6 гадки; если Мерзляков в них участник, то Феб наказывает его по достоинству теми дурными стихами, которые подсказывает он ему при переводе Тасса! Я начинаю терять надежду,

чтобы Мерзляков, при всем своем даровании, когда-нибудь мог хорошо писать. Как изуродован бедный Торквато7. Зато есть его прекрасный перевод Горациевой оды в «Вестнике»8. Не забудь об нем в своем Собрании. Что ж касается до заговоров против Карамзина, то пускай эти заговорщики квакают и пускай Василий Львович с ними бранится: с обеих сторон пустой труд. Наш Ник<олай> Мих<айлович> в этом случае поступает как истинный автор, достойный своего почтенного звания, он не думает о вралях, пишет и отвечает им прекрасными произведениями. Лучший способ для авторов-царей уничтожать все заговоры авторов-рабов. Напрасно Пушкин горячится; ссорами только навлечешь на себя неприятности и испортишь у себя кровь. Я положил себе за правило не принадлежать ни к какой партии, не мешаться ни в какие распри (для сбережения своего покоя, ибо кто отвечает за свое самолюбие), довольствоваться одним наслаждением труда, ожидая без всякого беспокойства заслуженной награды, то есть похвалы *избранных*, но не поставляя ее своею целью, ибо эта похвала ничто в сравнении с тем удовольствием, которое

чувствуешь, когда трудишься. Это, кажется, должно быть законом для каждого автора, который уважает свое достоинство. А я, любезный друг, хочу быть автором и более ничем. Но вот уж я перелез на третью страницу; а я хотел написать к тебе не более трех строк, ибо совсем нет времени. Поэтому и письмо мое кажется галиматьей. Извини. В нем найдешь свой вексель, который мне ни на что не надобен, ибо ты, без сомнения, уже по нем заплатил деньги. А если не заплатил, так заплатишь. Утри им княжескую свою задницу. В заключение прошу тебя обнять от меня хорошенько Северина, если он в Москве. Я хотел было ему попенять за его молчание, но это молчание теперь для меня лучше всякого писания, и вот почему. Я читал письмо Елены Ивановны Протасовой9, в котором она, говоря об нем, уведомляет, что он, как верный друг, любит и помнит Жуковского. Это меня весьма обрадовало. Уверь его, что я плачу ему тою же монетою и что этой монеты у меня для него превеликий запас. Попроси его сделать для меня важное одолжение; вот какое: я послал к Тургеневу полный экземпляр своих стихов, но у меня у самого нет списка с теми поправками, которые в этом экземпляре сделаны. Прошу его взять на себя труд по приезде в Петербург велеть списать мне стихи мои повернее и получше и ко мне доставить. Этого поручения не делаю Тургеневу, потому что не надеюсь, чтобы оно было исполнено; а Северин из всей нашей братии есть самый точный и порядочный человек. Надеюсь, что он меня не откажется этим одолжить. Буду к нему писать, но после. Теперь некогда. Простите, любезные друзья. Скажи мой поклон Вере Федоровне, Ек<атерине> Андреевне и Ник<олаю> Михайловичу10.

**99.**

**П. А. Вяземскому и Д. П. Северину**

*<Конец мая 1812 г. Муратово>\**

Здравствуйте, любезнейшие друзья Вяземский и Северин1. Обнимаю вас и люблю. Тебе, Вяземский, да будет ведомо, что ты непременно должен прислать мне ту вещь (о которой я к тебе писал)2 на следующей тяжелой почте, по обыкновенному моему адресу. А почтенному Северину посылается полномочие списать мои стихотворения, если ему оные желается иметь, но с условием доставить мне экземпляр и, сверх того, исполнить следующую мою просьбу: общий нам с ним приятель и весьма добрый человек Моро3 записался в канцелярию Орловского губернского предводителя4, который охотно желал бы доставить ему чин, но хочет прежде узнать, согласится ли министр5 исполнить по представлению. Об этом-то согласии надобно похлопотать Северину и уведомить меня о успехе его хлопот. Моро же ему рекомендовать нет нужды; он его знает и, верно, любит6.

Вяземский! Если это письмо не застанет Северина в Москве, то имеешь ты без всякого замедления его доставить ему; а на меня прошу не сердиться за то, что «Светлана» доставлена Протасовым прежде, нежели тебе. Посылаю и ее7. На следующей почте получишь мое «Послание к Батюшкову»8, от которого я получил прекрасное письмо9. Прошу сделать мне на послание мое замечания строгие и весьма желаю, чтобы эта пиеса вам обоим понравилась, ибо это будет для меня весьма ободрительно. И прочие новости свои доставлю. Простите,

любезные друзья.

**100.**

**П. А. Вяземскому**

*<Начало (?) июня 1812 г. Муратово>\**

Вот послание1. Прошу его прочитать и тотчас мне возвратить с своими критическими замечаниями, дабы я по них переправив, отослал его к Батюшкову, который требует от меня ответа2. Прости. Писать некогда. На будущей почте

сообщу тебе некоторые мои планы в рассуждении моих сочинений. Кольцо!3 Обними за меня Северина4. Прощайте, друзья.

**101.**

**П. А. Вяземскому**

*<Конец июля 1812 г.>\**

Дней через десять я у тебя в доме1. Вероятно, найду тебя облеченного в мундир военный. Приготовь и мне такой же. Хочу окурить свою лиру порохом. Прощай. Жди меня.

Твой *Жуковский*

Весьма бы ты хорошо сделал, когда бы нашел мне к моему приезду 15002. Знаю, что это в теперешнее время трудно; но это зато будет усилие дружбы. Впрочем, будь твоя воля. Обнимаю тебя. Смотри же: вместе и неразлучно; на голове крест, а на груди и перед глазами честь.

# 1813

**102.**

**А. И. Тургеневу**

*6 февраля 1813 г. <Белев>*

1813. 6 февраля

Здравствуй, мой милый друг. Ты удивишься, получив мое письмо из Белева1. Я воротился на свою родину из Вильны, бывши свидетелем единственной в истории войны. Не знаю, останусь ли здесь; не знаю, понесет ли меня судьба на Вислу. Между тем думаю о том, как бы собрать в одно целое всё, что я до

сих пор написал2. У меня было два списка моих стихов; один сгорел в Москве, другой Бог знает где путешествует. У тебя есть еще один, хотя неполный, но зато совсем исправленный; прошу тебя без всякого замедления отдать его подателю сего письма господину Ланцу3, которого тебе рекомендую. Мне нужно непременно иметь список, и ты очень меня одолжишь, если не замедлишь при-

сылкою; а я за это (но не иначе) доставлю тебе всё вновь написанное. Боюсь,

чтобы не потерять головы прежде, нежели утверждены будут мои *права на бессмертие*. Во всяком случае (!!!) тебе поручаю быть издателем моих творений. Всего вернее, однако, что я останусь там, где и теперь. Прости, любезнейший друг. Если будешь мне отвечать и пришлешь мой манускрипт, то получишь от меня большое письмо.

Твой *Жуковский*

**103.**

**В. А. Азбукину**

*19 февраля <1813 г.> Белев\**

Белев. 19 февраля

Бога Вы не боитесь, любезный мой Василий Андреевич! Как можно так долго не написать к своим ни строчки. Федор Александрович1 получает Ваши письма, а к Екатерине Афанасьевне Вы не найдете случая написать2. Она этим огорчается, и не без причины. Скажу Вам, что наши обстоятельства совсем не веселые. Авдотья Афанасьевна вчера скончалась3. В Муратове были почти все больны, но теперь, слава Богу, все здоровы. Прошу Вас не полениться исполнить

следующие мои комиссии. Приложенное письмо, в котором находится 150 рублей денег, — вручите от меня Андрею Сергеевичу4 и попросите его эти деньги доставить моему доброму благодетелю Сергею Егоровичу Рогачеву5. Благодете-

лем могу его назвать потому, что он в нужде отдал мне *последние* деньги свои. Андрей Сергеевич должен был получить еще из Белева 275 для доставления мне; если он их получил, то попросите его оставить себе 75 рублей, которые я

ему должен, отдав остальные 200 Ивану Никитичу6.

Уведомьте меня, прошу Вас, поскорее, получил ли он эти деньги. Если не получил, то я поспешу доставить свой долг Ивану Никитичу. Также уведомьте, у Вас ли Карпов7 и получил ли от него Иван Никитич те 140 рублей, которые он обещал ему доставить. Всё это нужно мне знать, чтобы поскорее расквитаться <с> долгом, который лежит у меня на сердце. Что-то Вы делаете? Опишите все свои похождения. Иногда мне жаль Вас. Теперь, получив *желаемое* и главное, я могу видеть и хорошие стороны того, что видел в одних только худых. Хотелось бы взглянуть на Германию. Но там, где я, всего лучше. И если не буду *принужден* ехать отсюда, то не поеду. А чтобы не принудили меня, то постарайтесь выхлопотать мне отставку. Думаю, что это Иван Никитич сделать может. В противном случае всё какой-то голос говорит мне: надобно ехать! И я никак не могу заставить молчать этого говоруна. А зачем ехать! Сам не знаю! Простите. Отвечайте скорее о деньгах и об отставке. Да напишите хотя раз в жизни к Екатерине Афанасьевне.

Ваш *Жуковский*

Скажите Александру Ивановичу Куприянову8, что я его обнимаю и люблю от всего сердца. Скоро пришлю ему пук стихов. В оде моей на победы10 не забуду и об его <не дописано>. Что Игнатьев?10 Совсем ли протух? Если мне дадут увольнение, то надобно будет выхлопотать и аттестат. Надеюсь, что Вы в этом случае за меня поработаете и постараетесь сделать всё, что возможно. Отвечайте на первой почте.

II.

Это письмо было написано давно, и я ждал только случая его к Вам отправить, любезнейший друг Василий Андреевич. Теперь остается Вам сказать в прибавок старое и новое, то, что я Вас люблю душевно, и надеюсь крепко, что Вы мне тем же платите. Vale[[82]](#footnote-82). Поспешите отдать Рогачеву мои деньги.

**104.**

**М. Н. Свечиной и А. Н. Арбеневой**

*2 марта <1813 г. Муратово>*

2 марта

Я получил наконец от Вас письмецо, короткое, но очень милое. Я уверен теперь, что мое письмо у Вас. Этого с меня довольно. Знаю, что Вы принимаете во мне живое участие, остальное оставляю Вашему сердцу, которому наше счастье дорого. Вы не сказали мне ничего, но я и не ожидал, чтобы Вы мне что-нибудь

сказали. В этом случае Вам никому не дóлжно открывать своего мнения, кроме тетушки. Мне нужно было иметь одно Ваше участие; для этого стоило только Вам открыться; я уверен в Вашем участии и спокоен. Когда Вы будете с нею говорить, подумайте, что Вы, может быть, решите судьбу всей жизни моей; Вы, без сомнения, тот человек, который наиболее может на нее подействовать. Не откажитесь с нею говорить решительно. Не опасайтесь этим потерять ее дружбы. Если Вам удастся согласить ее, то Вы будете причиною и ее счастья: спокойствие души, семейственное согласие, радость видеть вокруг себя довольные лица — всё это заключено в ее согласии. Несколько твердости с Вашей стороны будет нам благодеянием; нашим благодеянием? жизнью. Вам непременно дóлжно сюда приехать. Вещи не могут остаться в том положении, в каком они

теперь; нам или дóлжно быть навсегда вместе, или расстаться навсегда. Быть здесь нарушителем спокойствия милых людей без надежды на счастье и не видеть впереди ничего лучшего — такая жизнь ужасна. Ваш приезд решит. Доведите до того, чтобы тетушка сама обо всем Вам сказала, — она готова сделать эту доверенность; она часто говорит об Вас, и говорит, я уверен, с этою целью. У меня готово к ней письмо1. Я написал его в такое время, когда думал, что она хочет со мною объясниться. Признаюсь, без Вас боюсь этого объяснения. Некому будет нас поддержать. Но не понимаю, как по сию пору она могла молчать;

она видит Машу и *знает* уже ее ко мне привязанность — и ни слова. Как это объяснить? Я уверен, что она сама рада будет, если уверится в возможности, и даже думаю, что она в нерешительности. В противном случае как бы молчать?

Одним словом, милая сестра, *наш добрый гений,* жду Вас как своего счастья.

О! если бы можно было пожертвовать только одним собою! Если бы с этим пожертвованием не было соединено и ее горе! Как бы тогда можно было поколебаться? Но я не могу не быть привязанным всеми силами души к тому счастью, которое есть и ее счастье! Жизнь, от которой надобно добровольно отказаться, представляется для меня прелестною, лучшею, какую только могу вообразить! Как же разрушить всё это добровольно? Не думайте, милая, чтобы могла для меня в жизни быть какая-нибудь замена. Невозможно. Как думать о своем счастье, воображая, что ее счастье разрушено, и мною разрушено? Не низко ли *даже думать* о своем отдельном счастье? Не надобно ли будет презирать себя, если будешь способен желать такого счастья. В будущем для меня или самая ясная, спокойная жизнь, посвященная тихому добру, в глазах ангела; или одно

скучное, бесполезное, ничтожное, механическое существование.

Простите, милые друзья.

P. S. Отсюда поехал Гавр<ила> Петрович Апухтин2 в Петербург. Я поручил ему отдать Вам в Москве тетрадь своих стихов: бедный подарок в день Вашего ангела. Вчера я выпил полный бокал малаги; мы стукнулись с Машею рюмками, и я сказал Вам тост, Шиллеров немецкий стих: «Dieses Glas dem guten Geist»[[83]](#footnote-83)3. *Доброму Гению!*

**105.**

**Н. П. Свечину**

*<Весна (март?) 1813 г. Белев>\**

Думаю, что это письмо тебя уже не застанет в Борисове, любезный командир и комендант, но пишу на волю Божию. Из газет видел я, что наша милиция распущена. Заключаю из этого, что и я должен быть вместе с вами уволен1. Прошу тебя, любезный друг, одолжить меня в десятый раз и доставить мне мое увольнение. Окажешь мне большую помощь, если избавишь меня от необходимости ехать отсюда, ибо денежный мой запас совсем исчах; поход этот произвел сильную в кармане моем чахотку. Скоро ли увидим тебя в наших краях. Пора к Белеву. Здесь Содом и Гомор. Возвратись и брось на него огнь небесный. Хорошо, когда бы все здешние плуты могли обратиться в столпы соляные; была бы от них польза, и один Белев послужил бы тогда магазином для целой России, и в этом магазине не было бы ни усыпки, ни утечки. Я получил твое комендантское *извещение* и думал, что вследствие оного имею право надеть на себя драгоценную медаль2. Но желал бы, чтобы ты мне ее доставил. А я посылаю

тебе две стихотворные свои проказы. Одна написана перед сражением Тарутинским3, а другая после Краснинского дела4. Voilà tout mon talent! Je ne sais s’il suffit! À propos[[84]](#footnote-84). Я послал тебе из Вильны5 рубашки, которые сшиты были для тебя тетушкою Екатер<иною> Афанасьевн<ою>. Получил ли ты их? Прошу, любезнейший командир, отвечай на это письмо хотя несколько строк6 искренне преданному тебе

*Жуковскому*

**106.**

**А. И. Тургеневу**

*9 апреля <1813 г. Муратово>*

9 апреля

Я писал к тебе, милый друг, маленькое письмо с Ланцом1, на которое не имею ответа. Получил ли ты его и не сердишься ли на меня за мое молчание? Оно может только быть извинено моею к тебе истинною дружбою, которой ничто никогда ослабить в душе моей не может. Она еще увеличилась с недавнего времени благодарностью. Мне сказывал в Орле Абаза2, и потом из письма твоего к Ив<ану> Владимировичу, у которого я был в деревне3, узнал я, что ты посылал ко мне в Вильну курьера4. Я был болен порядочною горячкою и вылежал 13 дней в постели. Слабость заставила меня взять отпуск, ибо я никак не мог следовать за главною квартирою: путешествие в маленьких санках и в сырую весеннюю погоду могло бы возобновить горячку, которая была бы вероятно

смертельная. Жаль мне, что твой курьер не застал меня в Вильне; я потерял одно из самых чувствительных удовольствий. По крайней мере, напиши ко мне в Орел. Сколько перемен во всё то время, в которое ты не получал от меня известий! Мог ли бы ты вообразить, чтобы я когда-нибудь очутился во фрунте и в сражении? Происшествия нынешнего времени делают всё возможным. Впрочем, не воображай, чтобы я сколько-нибудь был знакомее прежнего с военным ремеслом. Вся моя военная карьера состоит в том, что я прошел от Москвы до Можайска пешком; простоял с толпою русских крестоносцев в кустах в продолжение Бородинского дела, слышал свист нескольких ядер и канонаду дьяволь-

скую; потом, наскучив биваками, перешел в Главную квартиру, с которою по трупам завоевателей добрался до Вильны, где занемог, взял отпуск *бессрочный* и теперь остаюсь в нерешимости: ехать ли назад или остаться? Мне дали чин5, и наверное обещали *Анну* на шею, если я пробуду еще месяц. Но я предпочел этому *возвращение*, ибо записался под знамена не для чина, не для креста и не по выбору собственному6, а потому, что в *это время* всякому *дóлжно* было быть военным, даже и не имея охоты; а так как теперь война не внутри России, а вне России, то почитаю себя вправе сойти с этой дороги, которая мне противна и на которую могли меня бросить одни только обстоятельства. Не знаю, будешь ли ты согласен со мною и оправдаешь ли мой поступок? Я желал бы узнать искреннее твое мнение. Оно решило бы меня и успокоило; ибо иногда приходит мне в голову, что мне никак не дóлжно *здесь* оставаться, хотя и я уверен, что буду *там* совсем бесполезен, что потеряю остаток своего имения, которого уже почти половину истратил (ибо мой поход стоит мне денег!), и что, наконец, потеряю драгоценное время, которое мог бы употребить с большею пользою. Одним словом, прошу тебя сказать мне, что ты об этом думаешь. Мнение твое в этом случае будет для меня законом. Ведь ты знаешь, что такое друг:

Он наша совесть! Он для нас

Второе Провиденье!7

И я это писал, думая о тебе. À propos[[85]](#footnote-85). «Певца» ты напечатал в Петербурге8. Я некоторые места поправил, и жаль, если твой экземпляр напечатан по старому стилю; жаль, если в этом экземпляре остался Чичагов, которого я выкинул после той проказы, которую он с нами сыграл на переходе Березиной9. Пришли мне этот экземпляр и всё, что есть хорошего на случай нынешних побед. И мне хочется кое-что написать10, тем более что имею на это право, ибо я был их пред-

сказателем; многие места в моей песни точно пророческие и сбылись à la lettre[[86]](#footnote-86). План давно сделан, но всё мешает нездоровье и худое расположение. Напиши ко мне поскорее и поболее. Твое письмо будет для меня вместо энтузиазма.

Скоро буду опять писать.

Прошу тебя поспешить доставить мне экземпляр моих стихов. Я удивляюсь, что по сию пору не имею никакого известия от Ланца. А мой адрес по-

старому: *в Белев*.

**107.**

**И. И. Дмитриеву**

*18 апреля 1813 г. <Муратово>*

Милостивый государь Иван Иванович!

Не могу изъяснить, с какою благодарностью к Вам читал я Ваше лестное ко мне письмо1. Никогда не воображал я иметь счастья обратить на себя внимание ее величества2, и это счастье тем для меня драгоценнее, что, без сомнения, обязан им Вашей ко мне дружбе, — осмеливаюсь употребить это выражение. Неудивительно, что я мог иметь некоторый успех в поэзии, — я пользовался

Вашими уроками и Вы всегда были моим образцом. Спешу исполнить приказание ее величества; имею честь препроводить при сем экземпляр моих стихов, мною переписанный. Извините, если почерк не весьма хорош; я употребил всё

свое старание и уверяю Ваше превосходительство, что лучше писать не умею. Я осмелился приложить к этому экземпляру всеподданнейше посвящение моей песни ее величеству; прошу Ваше превосходительство и в этом случае быть моим покровителем и представить государыне мое послание. Я был бы неизъяснимо счастлив, когда бы ее величеству было угодно, чтобы эти стихи, писанные с чувством живейшей благодарности к ее милостям, были напечатаны во втором издании «Певца»3.

Для меня сладостно гордиться благосклонным вниманием ее величества, хотя уверен, что мало заслужил сие счастье.

Читая письмо Вашего превосходительства, я вспомнил счастливое старое время; вспомнил, какие приятные вечера проводил я в Вашем прекрасном домике!4 — но где он? Наша Москва представляет теперь печальное зрелище. вчера сказали мне, что дом Марьи Ивановны Протасовой5 уцелел; я заключил из этого, что и Ваш домик упасен от пожара; но после, к сожалению, услышал,

что и его постигла общая участь.

Итак! ее уж нет,

Сей пристани спокойной,

Где добрый наш поэт

Играл на лире стройной,

И, счастия достойной,

Пройдя стезю честей,

Мечтал закатом дней

Веселым насладиться,

И с жизнию проститься,

Как светлый майский день

Прощается с природой!

Исчезла мира сень!

С харитами, свободой,

В сем тихом уголке

Веселость обитала,

И *с сердцем на руке*

Там дружба угощала

Друзей по вечерам!..

Но время всё умчало,

И *здесь,* навеки *там*! —

Как весело бывало,

Когда своим друзьям,

Под липою ветвистой

Хозяин разливал

С коньяком чай душистой

И круг наш оживлял

Шутливым, острым словом!..

О, дерево друзей!

Сколь часто мирным кровом

Развесистых ветвей

Ты добрых осеняло!

Сколь часто ты внимало

Веселым мудрецам,

Кудрявых од разборам,

Забавным, важным спорам,

И — Пушкина стихам!..

Как часто прохлажденный

Сей тенью Карамзин —

Наш Ливий-славянин —

Как будто вдохновенный

Пред нами разрывал

Завесу лет минувших

И смертным сном заснувших

Героев вызывал

Из гроба перед нами!

С подъятыми перстами,

Со пламенем в очах,

Под серым юберроком

И в пыльных сапогах

Казался он пророком,

Открывшим в небесах

Все тайны их священны!

И наш мудрец смиренный,

Козлятьев незабвенный

Оратору внимал

С улыбкой одобренья,

И взором выражал

В молчанье все движенья

Души своей простой!..

Он кончил путь земной!

Но как без восхищенья

О добром говорить!

О! можно ль позабыть

Сей взор приятный, ясной,

Орган души прекрасной;

Сей скромной, милой вид,

Сердечную учтивость,

И старческих ланит

Прелестную стыдливость,

И простоту речей?..

Покой сих мирных дней

Смиренье ограждало;

Ничто их не смущало

Священной чистоты!

Страдальца, сироты

Молчащее стенанье

Внимал он со слезой!

Он скрытою рукой

Благотворил в молчанье!

Увы! его уж нет!

И милой жизни след

Хранит воспоминанье!..

Но что ж? очарованье

Сих дружеских бесед

Погибло ль без возврата?..

Пожар не пощадил

Ни доброго *Сократа*, Которому грозил

*Амур* в тени акаций;

Ни скромной *урны граций*,

Ни тесной *люльки* той,

Где эгоист спокойной

Под тенью в полдень знойной,

С подругою мечтой

Делил уединенье!..

Всё грозною рукой

Постигло разрушенье!..6

Писавши к Вашему превосходительству, нельзя удержаться от поэтического вдохновения. Простите моей музе ее болтливость. Я замечаю, что она кокетствует перед Вашею; но это доказывает только то, что ей весьма хотелось бы обратить на себя внимание Вашей богини и уверить ее, что она одинакового с нею происхождения! Но я поубавлю этой гордости, напомнив ей о тех ошибках, которые по милости ее сделаны мною в моей *песни*7и которые Вы благосклонно заметили.

Одна из них, если не ошибаюсь, принадлежит или наборщику, или корректору. Мои стихи в Петербурге напечатаны, не знаю с какого списка, и я после сделал некоторые прибавления и поправки.

Не тщетной славы пред тобой, *Не* мщение дружины.

Это ошибка типографическая. Надлежало бы напечатать:

*Но* мщение дружины.

Но и так едва ли смысл будет совершенно ясен. Всему виновата перестановка. Другой стих, замеченный Вашим превосходительством, я поправил; не знаю, сделал ли лучше. По крайней мере, теперь он мне кажется яснее.

Пой лебедь! свергнуть их мечам и пр.

Значило

Пой лебедь! определено свергнуть их мечам и пр.

Эти выпущения глаголов, кажется мне, делают выражение сильным; но они не всегда бывают удачны, как, например, здесь. Сила должна быть соединена с ясностью. Признаюсь, что и еще некоторые места в этой песни, по собственному моему замечанию, надлежало бы поправить; но мне обыкновенно удается портить всё то, что примусь поправлять. Моя метода писать стихи благоприятна для чистоты слога, но очень неблагоприятна для поправок. Я до тех пор нейду *далее*, пока мое выражение кажется мне еще недостаточным. Это истощает в голове запас выражений, нужных для будущих поправок. И вот почему все мои поправки бывают несчастливы. Извините, Ваше превосходительство,

что занимаю Вас такими мелочами.

Вы, я думаю, улыбнулись, когда Вам сказали, что я надел мундир. Признаюсь, это и для самого меня теперь забавно. Как бы то ни было, судьба велела мне видеть войну во всех ее ужасах. Минута энтузиазма, весьма естественная при чтении манифестов нашего государя, заставила меня броситься на такую дорогу, которая мне совсем неизвестна. Вот единственная хорошая сторона моего поступка. Дурная та, что я не спросился ни с здоровьем, ни с способностями, ни

с обстоятельствами. В Вильне захватила меня горячка; я взял отпуск и теперь опять дома, беседую, в ожидании того, что велит мне судьба, с своею музою, под покровительством любимого божества моего, которое

Зовут *уединеньем*!

Изнежен наслажденьем,

Сын света незнаком

С сим добрым Божеством;

Ни труженик унылый,

Безмолвный раб могилы,

Презревший Божий свет

Степной анахорет!

Ужасным привиденьем

Пред их воображеньем

Является оно,

Как тьмой облечено

Одеждою печальной,

И к урне погребальной

Приникшее челом;

И в сумраке кругом,

Объятый грозной думой,

Совет его угрюмой:

С толпой видений *страх*,

Унылое *молчанье*

И мрачное *мечтанье*

С безумием в очах;

И душ холодных мука,

Губитель жизни, *скука*!

О! вид совсем иной

Для тех оно приемлет,

Кто зову сердца внемлет

И с мирною душой,

Младенец простотой,

Вслед Промысла стремится,

Ни света, ни людей

Угрюмо не дичится,

Но счастья жизни сей

От них не ожидает

И в сердце заключает

Прямой источник благ!

С улыбкой на устах,

Покояся на лоне

Веселой тишины,

В сиянии весны,

На благовонном троне

Из лилий молодых,

Как райское виденье

Себя являет их

Очам *уединенье*.

Вблизи под тенью мирт

Кружится рой *Харит*

И пляску соглашает

С струнами *Аонид*;

Смотря на них, смягчает

*Наука* важный вид;

При ней сын размышленья

С веселым взглядом *труд*,

В руке его сосуд

Счастливого забвенья

Сразивших душу бед,

И радостей минувших,

И сердце обманувших

Разрушенных надежд.

Там зрится *отдых* ясный,

*Труда* шутливый друг,

И сладостный *досуг*!

И три сестры, прекрасны

Как юная весна:

*Вчера* — воспоминанье,

И *ныне* — тишина,

И *завтра —* упованье;

Сидят рука с рукой:

Та с розой облетелой,

Та с розою младой,

А та, мечтой веселой

Стремяся к небесам,

Их тайны проникает

И, радуясь, сливает

Неведомое нам

В магическое *там*!8

Опять стихотворная вылазка! Простите великодушно. Повторю прозою мою благодарность Вашему превосходительству за то, что Вы таким чувствительным образом показываете мне свою благосклонность. Ни от кого покровительство не может быть мне так приятно, как от Вас; Вы имеете тайну делать его привлекательным. Смею надеяться, что Ваше превосходительство удостоите меня ответом. Мысль, что ее величеству угодно сделать второе издание моего «Певца», делает меня счастливым9. Я никак не смею надеяться такого лестного одобрения и для меня приятно обнаруживать это чувство. Как буду обрадован, когда получу экземпляр этого издания, памятник монаршей милости и драгоценной дружбы Дмитриева. Я написал бы сам требуемые Вашим превосходительством исторические примечания, но никак не думаю, чтобы это было мне можно сделать *здесь* с надлежащею точностью, почему и осмеливаюсь просить Ваше превосходительство быть мне в этом случае помощником10.

Простите, что отвечаю на Ваше письмо несколько поздно, это не моя вина. Письмо Вашего превосходительства было адресовано в Белев. Почтмейстер, думая, что я в Орле, переслал его в Орел, оттуда оно, пролежав несколько времени на почте (ибо меня не было в городе), отправлено было ко мне в Болхов, близ которого я поселился в благословенной Аркадии11 (Аркадиею называю дом милых мне людей, достойных золотого века). Одним словом, я получил его накануне Светлого Воскресения; следовательно, имею право надеяться, что Ваше превосходительство меня извинит.

Но я начинаю замечать, что слишком обременяю длинным письмом моим внимание Вашего превосходительства. Повторяя уверение в совершенной моей

к Вам привязанности и в искреннем почтении, честь имею быть,

Вашего превосходительства покорнейшим слугою

*В. Жуковский* 1813. Апрель 18

**108.**

**А. И. Тургеневу**

*9 мая <1813 г.> Орел*

Орел. 9 мая

Что же ты ко мне не пишешь, любезный друг! На два письма мои нет ответа. Вот третье коротенькое, но очень для меня нужное. Дело состоит в том,

чтобы оказать услугу человеку, очень достойному твоего внимания. Здесь в Орле есть пленный генерал Бонами1, храбрый и благородный человек. Я видел его после Можайского сражения2, с десятью или и более ран, сделанных штыком (из коих одна преглубокая на груди и от которой он весьма страдает). Теперь он находится в Орле, откуда велено его переслать с прочими пленниками в Казань. Это путешествие будет для него смертельно; тяжелая рана его погубит. Он писал к военному министру3 письмо, в котором просит, чтобы ему позволено было остаться в Орле до поправления раны. Письмо это послано вместе с моим к тебе. И просьба моя состоит в том, чтобы ты, если имеешь какую-нибудь возможность, выхлопотал у министра ответ благоприятный; если не сам, то хотя через других. Очень бы я желал, чтобы можно было помочь этому хорошему человеку, умному и храброму. Будет весьма жестоко, если просьба его не уважится. О себе скажу, что я очень рад, что еще отселе не уехал: милиция наша распущена, и мне надобно скидывать мундир. Обнимаю тебя. Отвечай, ради Саваофа4.

Бонами писал и к министру полиции5; следовательно надобно будет хлопотать у обоих. Письмо его послано двумя или тремя почтами прежде моего.

**109.**

**А. И. Тургеневу**

*15 мая <1813 г.> Белев*

Белев. 15 мая

Вручитель этого письма, Иван Петрович барон Черкасов1, был очень хорошо знаком с твоим отцом, есть один из добрых моих приятелей и достоин с твоей стороны всякого уважения. Рекомендую тебе его. При первом свидании прими его как любезного мне человека. А при втором, без сомнения, примешь

его как приятного знакомца и для тебя. Он приехал в Петербург по тяжебному делу. Надобно непременно оказать ему всю ту помощь, какую тебе возможно будет. Он взял у меня письмо и к Дашкову2. Постарайся, чтобы их знакомство

сделалось у тебя в доме, и убеди вместе со мною Дашкова быть ему помощником. Всякую услугу, ему от тебя оказанную, приму за новый знак твоей бесценной ко мне дружбы. Еще одна просьба. Ему хотелось бы поместить сына своего3 в Петербургский университет или Педагогический институт. Мне сказывали,

что там прекрасно учат. Сын его редкий молодой человек, самого прекрасного характера и больших способностей; одним словом, наш Поддевический4. Я желал бы, чтобы ты дал Ив<ану> Петр<овичу> наставления о помещении его в Петербург, а если он расположится туда его перевести, был ему и добрым приятелем, и покровителем у Уварова. Обо всем этом вы переговорите лучше на

словах. Прости, бесценный друг.

Твой *Жуковский*

**110.**

**А. И. Тургеневу**

*20 мая <1813 г.> Белев*

20 мая. Белев

Твое письмо, любезный мой друг, тронуло меня до слез. Твои хлопоты о бедном Жуковском были бы ему вместо лекарства, когда бы он об них узнал еще в Вильне. Вероятно, что твой посланный не застал уже меня в этом городе. Приехавши сюда, я писал к тебе с одним иностранцем, ехавшим из Орла в Петербург (Ланцем1). В этом письме я просил тебя, чтобы ты немедленно отдал подателю оного тот манускрипт моих стихов, который я переслал к тебе с Новосильцовым2. Но, видно, Ланц не успел еще тебя найти. Итак, повторяю мою просьбу о скорейшем доставлении мне этого экземпляра. Мне он нужен, потому что он *единственный поправленный*; я хочу сделать для себя список, нужный для издания в печать всех *моих творений*. Прошу тебя поспешить исполнить мою просьбу. Очень рад, что ты находишь хорошими мои стихи3; твое-то одобрение мне и надобно. Благодарю, что ты их напечатал, хотя и с ошибками4; но твое дружеское старание доставить мне какое-нибудь имя меня восхищает. Я получил от Ивана Ивановича Дмитриева письмо, в котором он говорит, что государыне *вдовствующей* императрице угодно сделать второе издание моей песни5; я поспешил переписать эту пиесу и доставил ее к И<вану> И<вановичу>, приложив к ней и Послание к ее величеству6. Но ты пишешь, что государыня Елизавета Алексеевна приказала И<вану> И<вановичу> требовать у меня другого списка. Это меня удивляет. Кто из вас ошибся? Ты или И<ван> И<ванович>? Признаюсь, желал бы, чтобы ошибка была твоя, ибо мой список уже сделан и давно отправлен. Прошу тебя уведомить меня о его судьбе. Между тем скажу тебе, что всё это меня чрезвычайно радует и порядочно щекочет мое авторское самолюбие, которое теперь беспрестанно жужжит мне на ухо словами моего доброго друга: *пиши более и скорее*. Буду, буду писать. Другого нечего и делать, ибо ничего другого не умею. Планов весьма много, и теперь, когда буря, сдернувшая меня с моего мирного местечка, *для меня* миновалась, буду писать с большим рвением. Может быть, осмелюсь посвятить несколько

стихов священному праху нашего спасителя7. Какой счастливый и славный конец! Он привел свои войска к тому месту, где некогда подняла голову свобода Европы8, сказал им: Спасайте мир! и улетел к Густаву9. Дай Бог, чтобы эта смерть была для нас пророчеством!

Ты зовешь меня в Петербург. Я и сам, мой милый друг, ничего так не желаю, как тебя видеть. Но теперь невозможно. Я обеднел совершенно. Мой поход стоит мне половины моего капитала, о котором, однако, я не жалею. Для путешествия в Петербург нужны деньги. Сверх того, мне нужно всем снова запасаться, даже платьем, ибо у меня всё почти распропало. А в долги входить

опасно. Итак, я принужден отложить мое свидание до приведения в большее устройство моих скудных финансов. Ты говоришь, что мне нельзя оставаться в деревне. По сию пору ничего не могу желать, кроме того, чтобы жить в деревне. Здесь буду и могу писать более, нежели где-нибудь. Вся моя деятельность должна ограничиться авторством, а служба совсем меня не прельщает. Правда,

она мне нужна для того, чтобы иметь кусок хлеба; но пока еще не дошло до этого, то попользуемся свободою и будем писать с вольным духом. Желания мои весьма скромны. Ничего не имею в виду, кроме независимости; хочу иметь столько, чтобы, не думая о завтрашнем дне, писать, писать и писать. Впрочем, могут случиться такие обстоятельства, которые заставят меня искать приюта в службе10. Тогда ты будешь моим прибежищем. Думая о *том*, что может со мною случиться худого, думаю всегда, что ты мне останешься и что в тебе найду замену того, чего, может быть, дóлжно лишиться. Это покажется тебе мистиче-

ским. Объяснимся после. Дорого бы дал, чтобы с тобою увидеться: я так давно уже не имел этого счастья. Но что говорить о счастье; нельзя сказать, чтобы оно было со мною знакомо. Верно только то, что я имею твою дружбу и никогда ее не лишусь. Кстати о дружбе. Где Вяземский? Как и куда к нему писать? Уведомь

его о моем местопребывании и пришли мне его адрес. Он был последний, которого я видел в Москве.

Слава Витгенштейну!11 Первый шаг — победа! С ним Русская слава не погибнет! А Коновницын ранен!12 Храни его русский Бог! Я этого человека обожаю! Воплощенная доброта и храбрость!

Я не на шутку помышляю о собрании моих стихотворных грехов. Как скоро доставишь ко мне мой манускрипт, то сделаю верный список, расположив пи-

есы в надлежащем порядке. Этот список будет к тебе доставлен; ты отдашь его в печать и возьмешь на себя корректуру или поручишь ее какому-нибудь аккуратному человеку (дабы стихи были напечатаны повернее «Певца»). Продав этот манускрипт, может быть, доставишь мне способ побывать и в Петербурге.

Вот тебе план моего воздушного зáмка. Постарайся по нем исполнить.

Прошу тебя сказать мое почтение Сергею Семеновичу13, которого душевно уважаю и люблю, хотя виделся с ним на минуту. Братьев твоих обнимаю; надеюсь, что они обо мне не забывают. Отвечай скорее и уведомь, что сделалось

с моим письмом к Ив<ану> Ив<ановичу> Дм<итриеву>.

Письма адресуй в Белев. Поклонись от меня Дашкову.

При сем прилагаю письмо, писанное две недели тому назад. Похлопочи о *Бонами*14.

**111.**

**П. А. Вяземскому**

*13 июня <1813 г. Муратово>\**

13 июня

Откликнись, милый друг ваше сиятельство. Я давно жду от тебя письма, но ты не пишешь; давно хочу к тебе написать, но не знаю, куда? Наконец, из газет узнаю, что ты возвратился в Москву, — еще более прежнего надеюсь, что ты, узнавши от нашей литературной братии о месте моего пребывания, ко мне напишешь или по крайней мере пришлешь мне свой адрес — нет! Я полагаю, что ты теперь в своем разоренном Остафьеве1; пишу к тебе через Моро2, которому поручил с тобою увидеться. Ты можешь быть ему весьма полезен. Он теперь

очень в тесных обстоятельствах; ищет учительского места и должен ехать в Петербург, не имея верной надежды поместиться. Помоги ему, как можешь; этим одолжишь и меня, ибо мы с ним добрые приятели. Но, разумеется, помоги не деньгами, а рекомендациями; и пока не будет у него места, дай ему (NB если можно) убежище *у себя* в доме (это ему предложи от себя). Жена его3 — женщина чрезвычайно интересная; писательница; музыкантша (воспитанница Сюара4); сочиняет прекрасные стихи. Тебе ее общество, без сомнения, будет приятно. Одним словом, ты одолжишь меня весьма много, если окажешь Моро всю ту помощь, какая только от тебя зависит.

Я давно уже на старом месте; на границах простился с армиею и взял отпуск. Едва не ушел я на тот свет. Горячка едва не унесла меня на заказных. Теперь конец моему военному поприщу. О наших приключениях будем говорить, когда увидимся; скажи мне только, уволен ли ты или нет5. Московская милиция рушена. Но какой должны иметь вид офицеры? Отпущены ли они? Я этого здесь не знаю; ибо живу здесь с отпуском и еще не имею отставку. Прошу тебя уведомить меня об этом обстоятельно и, если можно, доставь мне такой же точно вид, какой сам имеешь. Похлопочи, милый друг! Очень одолжишь. Я думаю, что тебе надобно будет спросить в канцелярии Маркова6, если только она существует. Надеюсь, что ты в этом случае откажешься от своей обыкновенной лени и за меня подействуешь усердно.

Если твой остафьевский дом не сожжен и не совсем разграблен7, то ты, верно, найдешь в нем мои бумаги, отправленные тобою туда из Москвы: *список моих стихов, послание Батюшкову*8 *и пр.* Прошу тебя всё это мне поскорее доставить. Жаль очень, если эти chefs d’oeuvres[[87]](#footnote-87) употреблены на разжигание

французских трубок и на подтирание французских жоп.

Напиши ко мне поскорее. Что ты намерен делать с собою? Куда ехать? Что из тебя родилось: сын или дочь?9 (Я помню, что я об этом спрашивал в Вильне у твоего человека, но горячка отшибла у меня память, и я совсем забыл его ответ.) Здорова ли Вера Федоровна? Где Карамзин и что с ним делается? Не потерпела ли его История от пожара московского и спас ли он свои рукописи? Что Батюшков? и прочее и прочее! Отвечай на все эти вопросы. А я опять принимаюсь за стихотворство и теперь буду писать более, нежели прежде. Ты, верно, уже читал в «Вестнике» новую мою балладу10. Еще готовится новая11; скоро начну собирать свои стихи для полного издания. Собери и все свои. Выдадим вместе.

Но прежде доставь мне и мой, и свой манускрипт. Надобно пересмотреть.

Поклонись от меня усердно Вере Федоровне. Как было мне грустно с ней прощаться! И как теперь весело подумать, что вы опять вместе и что она совсем спокойна. Последние минуты, которые провели мы с тобою в Москве, были ужасны: право, сердце сжимается от одного воспоминания! Прости, брат.

Твой *Жуковский*

P. S. Моро должен будет ехать в Петербург для приискания себе места. Везти с собою жену и сына, не имея верной надежды получить успех в своем искании, весьма затруднительно для человека, не имеющего ничего, кроме долгов. Я желал бы, мой милый друг, чтобы ты на это время дал жене его пристанище в своем остафьевском доме (если это только не будет противно собственным твоим расположениям). Я делаю это предложение тебе потому, что сам сделал бы на твоем месте то же, что тебе предлагаю. Впрочем, не знаю твоих обстоятельств, может быть, они и не согласны с моим требованием. Уверен, что ты из уважения к моей просьбе всё то сделаешь, что от тебя зависит. Прости, добрый друг. Люблю тебя по-прежнему; или более; прошедшая буря, кажется, еще более меня к тебе придвинула.

**112.**

**П. А. Вяземскому**

*27 июня <1813 г. Муратово>\**

27 июня

Наконец я обрадован известием о тебе, мой милый друг! Для меня было великим удовольствием получить твое коротенькое, но милое письмо. Я из газет ведал, что ты приехал в Москву, но это было для меня танталовым праздником: я не знал, куда адресовать к тебе письмо; Кисловка, и Смирнова дом, и Иоанн Милостивый, вероятно, погибли1, а с ними и твой адрес. Жаль только, что ты пишешь слишком мало, не сказал ни слова ни о Вере Фед<оровне>, ни о своем детище (сын или дочь, не знаю; помню, что я спрашивал об нем в Вильне у Демида2; но горячка, которая тогда меня ела, выбила у меня из памяти ответ Демидов и она же не позволила мне к тебе написать ни строчки). Я сам очень хочу тебя видеть и даже надеюсь у тебя побывать в Остафьеве. Теперь еще не могу; но думаю, что скоро это может быть исполнено. Я опять на старом своем пепелище. Я взял отпуск; горячка разлучила меня в Вильне с армиею; я хотел было ехать опять, но услышал, что милиция московская распущена; это меня остановило. Еще не имею, однако, полного увольнения. Прошу тебя в этом случае мне помочь; то есть доставить мне, если можешь, такой же точно вид, с каким ты уволен. Избавь меня от лишних хлопот: я совсем растерялся; моя короткая служба высосала много из моего кармана, да и здоровье едва было не совсем погибло. Предпринимать новое путешествие будет стоить новых издержек, а мне уже издерживать нечего. Итак, похлопочи, да пришли мне экземпляр медали, данной милиции, надеть ее на себя очень будет приятно3.

Вот тебе и сведение, которое может быть нужно: мой полк первый пехотный московского ополчения, полковой командир Свечин4; полк находился в Борисове; где он теперь, не знаю; распущен ли, нет ли, также не знаю; к Свечину я писал, но не имею ответа5. Если нужно будет явиться туда, чтобы идти в поход, я готов; но если надобно ехать единственно только для того, чтобы получить увольнение, то будут одни пустые издержки, и для меня весьма тяжелые потому, что карман пуст и чрезвычайно грустен. Мой чин: штабс-капитан. Вот всё, что тебе знать надобно.

Еще другая просьба: я оставил тебе при нашем расставании некоторые стихотворные бумаги свои; если они избегли хищных когтей французских, то ты, верно, найдешь их в Остафьеве. Потрудись отыскать и поскорее доставить: жаль будет, если пропали; жаль послания Батюшкова к Пенатам6 и моего к Батюшкову. Последнее напечатано, но по старому стилю; у тебя было поправленное7. Жаль и начала перевода «ArtPoetique»8 и пр. и пр. Отыщи, люб<езный> друг! Я собираю свои старые крохи, чтобы из них что-нибудь целое составить. А между тем принимаюсь и за новое. Если буду у тебя в Остафьеве, то поработаем вместе. Я желал бы, чтобы ты с моими стихами доставил и свои *избранные*; можно бы было напечатать их вместе с моими. Я хочу сделать верный и полный список, который доставлю или тебе, дабы напечатать в Москве у Всеволожского9 (если его тип<ография> существует), или в Петербург к Тургеневу10. У меня много стихотворных проектов. Теперь работа, после жестоких хлопот прошедшего 1812-го года, имеет для меня неизъяснимую сладость. Мой угол

сделался для меня очаровательным. И беды на что-нибудь годятся.

Я очень рад, что «Певец» мой тебе понравился. В нем много было пророческого, и всё сбылось. Писать эту пиесу было для меня большим наслаждением. Она и многим понравилась. Мне было очень приятно получить от И. И. Дмитриева письмо, в котором он от имени вдовст<вующей> императрицы просил меня доставить ему верный список этой пиесы, дабы государыня могла велеть

его на свой кошт напечатать11. Я послал список, а с ним и послание к государыне. Из этого всего родился перстень, который приятно было мне получить потому, что я его совсем не искал. Новое издание «Певца» еще не вышло12. Более всего льстит моему самолюбию то, что *Дмитриев есть его издатель*. Но всего лучше (лучше и славы) — есть удовольствие писать, и я буду писать, писать и писать (не забывая, однако, иногда и лениться); а ты будешь меня хвалить — ибо я буду показывать тебе только хорошее, с дурным же стану управляться сам.

Мой поклон Вере Федоровне. Приложенное письмо отдай Николаю Михайловичу13.

**113.**

**П. А. Вяземскому**

*<Начало июля 1813 г. Муратово>\**

Я еще не имею от тебя ответа на мое письмо, а весьма бы желал его иметь поскорее. Мне очень нужно знать решительно о своей *судьбе*. Я просил тебя уведомить меня, точно ли распущена наша милиция и могу ли иметь заочно мое увольнение. Повторяю опять о том же мою просьбу. Узнай и дай мне без замедления знать, что сделано с тем полком, в котором я служил до вступления в Главную квартиру и в котором теперь только числюсь (*это первый пехотный полк Московского ополчения*). Я слышал здесь, что его хотят обратить в линейный: это будет весьма для меня неблагоприятно, ибо я никак не хочу вступать в *настоящую* военную службу и в ней оставаться. Напиши мне, каким образом ты получил свое увольнение и что я должен сделать, чтобы его иметь. Если имеешь способ, чтобы избавить меня от хлопот и сам за меня всё выхлопотать, то употреби этот способ. Прости. Обнимаю тебя. Отвечай скорее. Мой адрес всё в Белеве.

P. S. Узнай обо всем этом в канцелярии графа Маркова1. Там скажут тебе, распущен ли 1 пехотн<ый> полк или обращен в линейный — прошу тебя написать ко мне поаккуратнее и поскорее. Если же полк не распущен и не причислен к линейным, то encore une fois adieu les Muses! et vive la glorie ou la mort![[88]](#footnote-88)

**114.**

**А. И. Тургеневу**

*<Начало июля 1813 г. Мишенское>*

Прошу тебя, мой милый друг, поспешить уведомить меня о своем здоровье1. Надеюсь, что ты уже теперь совсем оправился; очень обрадуешь, когда ко мне напишешь и когда из письма твоего увижу, что болезнь твоя совсем миновалась. Письмо Сергея Ив<ановича>2 меня удивило. Кто тебе сказал, что мне дана Анна?3 Признаюсь, не понимаю, как могло это случиться, и по сих пор никак этому не верю. Уведомь пообстоятельнее. Не ошибка ли? Но пуще всего поспеши уведомить о себе; право, сердце будет не на месте до получения о тебе известия. Ты мне дорог чрезвычайно как верный и необходимый товарищ жизни; я часто о тебе думаю, и всегда эта мысль меня трогает. Поблагодари от меня милого Сергея Ив<ановича> за его письмо, за которое обнимаю его дружески; сердечно бы желал вас всех троих4 видеть и пожить с вами вместе; но пока невозможно. Не теряю, однако, надежды. О службе моей, кажется, могу сказать, что она кончилась; полк мой будет к началу августа в Москве, где и распустится. Он стоял всё в Борисове. Если же ему сказан будет поход за границу, то не отставать же. О брате Андрее5 я погрустил. Славная, завидная смерть!

Мигом ношу в прах!6

Надобно друга и товарища помянуть стихами7. Напишу и доставлю к тебе.

Прощайте, друзья. Любите вашего брата *Жуковского.*

Ради Бога, отвечай скорее. Да что же! Когда доставишь мне список с моих стихов? Право, необходимо нужен, и мне очень досадно, что многократная просьба моя осталась тобою забыта. Как горохом в стену!

**115.**

**С. С. Уварову**

*15 июля <1813 г. Белев>*

Милостивый государь Сергей Семенович!

Я имел удовольствие получить Ваше письмо; простите, что отвечаю на оное несколько поздно. Оно долгое время путешествовало вслед за мною. На сих только днях получил я его в Белеве.

Сердечно благодарю Вас за приятный Ваш подарок; наконец желание мое исполнилось: Вы принялись за русскую литературу. Несколько раз сряду про-

читал я Ваше маленькое сочинение, и с большим удовольствием. Оно написано простым, ясным, правильным, совершенно приличным предмету слогом. Уверяю Вас, что я очень обрадовался Вашему обращению на путь истинный. До сих пор Ваш прекрасный талант посвящен был языку чужому; Вы раскаялись и принялись за отечественный, и доброе дело не остается без награждения. По-видимому, этот переход не стоит Вам никакого усилия; Ваше рассуждение написано пером опытным; простота оживлялась воображением; слог приятный, ясный и правильный; нельзя не подумать, чтобы автор не писал много по-русски. Позвольте ж мне быть пророком: Ваш стихотворный талант мне известен1; если Вы приметесь за русские стихи, то наша литература будет иметь

еще одного хорошего поэта. Не знаю, однако, обратите ли Вы свое внимание, занимаясь важными обязанностями, соединенными с Вашим званием?

Почему же? Часы отдохновения разве не могут быть посвящены Музам?

По крайней мере, от прозы Вам отделаться невозможно. И самое Ваше звание требует, чтобы Вы были автор. Вы можете много сделать для просвещения нашего отечества. Будучи исполнителем намерений правительства по своему чину, Вы можете некоторым образом его руководствовать, представляя ему свои мысли как писатель. Вы можете иметь благодетельное влияние на общественное воспитание; предмет важнейший, на котором единственно основано благо нашего отечества. Без просвещения, без нравственности, без твердого национального характера (которые могут нам быть возвращены одним только воспитанием) не может быть и могущества. Без них огромность империи есть только *материал для огромных развалин*. Просвещение родит в нас уважение к самим себе, не то глупое уважение, которым хотят напугать гордость нашу фанатики-декламаторы, которые беспрестанно кричат, что русский народ *по всему* первый есть в мире2 и что нам надобно только возвратиться в грубое состояние наших предков, чтоб быть совершенными. Такое мнение почти так же вредно, как и то, что иностранное не может быть лучше русского. Одно дает излишнюю само надеянность и производит чванство, другое уничтожает уважение к самим себе и погашает пламень соревнования3. Нам дóлжно знать свои недостатки4, но знать их не для того, чтобы предпочитать собственному всё чужое, а для того, чтобы самим взойти на ту степень просвещения, на которой стоят другие народы — немцы, англичане; о французах ни слова: они своим просвещением задавили нравственность; избави Бог от такого разрушительного просвещения. Одним словом: русским нужно общественное воспитание, устроенное по хорошему плану, и еще не менее нужно, чтобы все вообще были уверены в необходимости воспитания и образованности. Благодаря крикунам у нас по большей части думают, что просвещение есть синоним разврата и что

старинная русская грубость есть то благодатное состояние, в которое нам необходимо возвратиться дóлжно5. Кто ж победит такой гибельный предрассудок? Хорошие писатели. Тут опять обращаюсь к Вам. Вы можете быть хорошим писателем. Вы занимаете такое место, на котором как государственный человек можете исполнять то, что будете мыслить как писатель. Пером можете действовать на умы, а властью производить в действо намерения общеполезные. Как же Вам не быть писателем?

Многие места в Вашем рассуждении мне особенно понравились. Вообще в Вашем слоге заметил я то, что весьма редко в наших прозаистах (Карамзина в сторону): точность выражений (propriété des termes)[[89]](#footnote-89), без которой нет слога. Можно иметь много идей, можно иметь богатое воображение, но они останутся в тумане, если будут выражаться без точности и неясно. Сказать не более и не менее, а так, как дóлжно, — вот главное. Более других понравились мне 6 и 7 § — быстрая картина иностранных происшествий. Прекрасное дело — воображение

стихотворное! Оно найдет способ оживить самую сухую материю или оборотом, или сравнением, вставленным как будто невзначай: *характер русского народа, на который Европа смотрит, как изнеможенный старец на бодрость и силу цветущего юноши*. Это прекрасно! Всё вообще мне нравится. Право, пишите более.

Это Ваша обязанность. Писатель — государственный человек — всегда возбуждает доверенность и большое внимание. Предмет, которым Вы можете заниматься, есть самый обильный и полезный. Одно только условие: не забывайте иногда заглядывать и к нам в дом сума сшедших, то есть к нам, стихотворцам6.

Как ни говорите, а Вы имеет право гражданства и между нами.

Теперь позвольте Вам сообщить некоторые мысли, которые пришли мне в голову при чтении Вашего рассуждения. О плане Вашем не говорю ни слова. Он может быть очень хорошим руководством для всякого наставника. Мне хочется сказать несколько слов о народных училищах7. Их можно назвать первою степенью просвещения, а для некоторых классов людей эта же степень есть высшая, далее которой они идти не могут и не должны, — для простого ремесленника, простого купца и пр. В народном училище должны быть закончены все те науки, которые им в их состоянии нужны, и целью того просвещения, которое они приобретают в сих местах, должно быть образование нравственности и приобретение всех способов, которыми они могут улучшить свое состояние. Итак, все науки, им не нужные в этом состоянии, должны быть из народных училищ исключены; ибо они вместо пользы сделают вред, исторгнут человека просвещением из того круга, в котором он заключен судьбою. И Ваша мысль, что заведение хорошего народного училища еще труднее, нежели заведение хорошего университета8. Кто хочет идти вдаль, для того открыты гимназии и университеты; кто должен остаться на первой степени, тот должен найти в народном училище *всё* нужное для него в тесном его круге, но не более.

Например, *история* для простого, ограниченного низким жребием человека совсем не может быть представлена с той точки зрения, с какой смотрит на нее человек, имеющий круг деятельности обширной. Для него она не иное что, как курс практической нравственности. Я бы разделил преподавание оной на два курса: один *моральный*, другой *политический*9. Первый начинался и кончился бы в народном училище; другой начинался бы в гимназии, а кончился бы в университете. В первом представлялись бы одни действия человека, движимого страстями, несчастливого или счастливого под руководством Провидения (разу меется, что в этом курсе главное место занимали бы, как Вы хотите,

священная и отечественная истории, но без целости. Не худо бы кинуть один взгляд и на всеобщую). С такою целью история может быть полезна и для простолюдина. Тогда она не есть для него один предмет любопытства, непривлекательный потому, что любопытство его совсем не обращается на то, что выходит из его сферы, но предмет приятного занятия; ибо он сам некоторым образом

становится наряду с людьми историческими, видя их, сходных с ним страстями, бедствиями и покорных тому же Промыслу, который и о нем заботится; одна только эта черта сходства может сделать для него историю привлекательною и полезною.

Языки иностранные едва ли нужны в народных училищах10. Зато русский и славянский необходимы; особенно славянский, на котором написаны у нас все священные книги — нужнейшее чтение для простолюдина. Иностранные языки потому не нужны ему, что могут познакомить с предметами, совершенно ему чуждыми, а может быть, и вредными. Эти предметы могут быть полезны для тех только, которые пройдут полный курс наук: для них гимназии и университеты.

Если единственною целью преподавания наук в народных училищах будет совершенное образование простолюдина, остающегося в своем смиренном классе (*совершенным* называю образование, доставляющее ему ни более, ни менее того, что *ему* нужно), и только открытие дальнейшего пути тому, кто пожелает идти далее, то необходимо нужно, чтобы и всё соответствовало сей цели. Для того чтобы ремесленник, купец, земледелец были счастливы в своем звании, нужно, чтобы они имели идеи, приличные их званию. Следовательно, курс нравственности им преподавания должен быть написан для них. Само по

себе разумеется, что он должен быть основан на религии; надобно, чтобы в нем говорено было о должностях, им особенно принадлежащих, о нравственном

образовании, им особенно возможном11. Такого курса еще никто не написал.

Что еще им необходимо? Начальные понятия о математике, общие понятия о натуральной истории12 и физике, знакомящие их с тем, что перед их глазами, и разрушающие многие гибельные предрассудки! Технология13, отечественная география! Я прибавил бы к этому понятия о медицине14, нужные для каждого.

Учебные книги о сих предметах должны быть написаны по особенному плану и для сей особенной цели. Мы их еще не имеем.

Но этого не довольно! Получив нужные сведения в народном училище, простолюдин или растеряет их, возвратясь в самого себя, или испортит, обратив пробужденное внимание свое на предметы, ему вредные. У нас еще нет книг, написанных для этого класса людей. Германия и Англия ими богаты15, и потому-то простой народ имеет у них много основательных сведений. Например, какую великую пользу принес бы у нас писатель с талантом, когда бы вздумал выдавать журнал, подобный франклинову16. Какая бездна для него материалов! Такой журнал мог бы заключать в себе всё — всё дело состояло бы в предложении, в приноровлении к предположенной цели, то есть к образованию простолюдина. Правительство сделало бы великое благодеяние нашему отечеству, когда бы позаботилось о издании книг, нужных для бедного класса людей17, для которого нужно распространять приобретенные им сведения, не выходя из того круга, которым очертили его судьбы.

Надеюсь, что Вы, для доброго намерения, извините мою болтливость. Не знаю, справедливы ли мои мысли. Но с Вами даю себе волю говорить себе всё то, что мне взбредет на ум. Сверх этого права Вы мне дали другое право: любить Вас и желать приобрести Вашу дружбу. Похвалы Ваши моим стихам радуют меня и ободряют. Не знаю, заслуживаю ли я их, но уверен, что Вы хвалите меня искренно, хотя, может быть, и пристрастно. Приобретение всеобщей известности, правда, весьма привлекательно, но очень, однако, меня тревожит; но похвала немногих для меня важная, и не заслужить ее будет больно. В числе этих немногих считаю и Вас. Для меня чрезвычайно весело думать, что Вы обо мне помните, что Вы принимаете во мне дружеское участие, что Вы всегда скажете мне искренно свое мнение pro и contra. Писать приятно, если только не имеешь причудливого, слишком неугомонного самолюбия. Когда пишешь, тогда наслаждаешься самим собою в высочайшем градусе; но это наслаждение усиливается мыслью, что есть люди, которые будут ценить твой труд, которые умеют его ценить и не откажут в заслуженном одобрении. Весело иметь пред глазами такое судилище: самое неодобрение его приятно, ибо оно есть урок. Еще же веселее видеть в этом судилище друзей, готовых насладиться твоим успехом.

Вашего рассуждения о *стопосложении*18 ожидаю нетерпеливо. Теперь каждое Ваше сочинение (русское, разумеется) будет для меня торжеством. Мне смертно хочется, чтобы Вы много писали — такое прекрасное поприще для Вас открыто! Вы можете приобрести славу, и славу самую восхитительную, писателя, который не только писал, но и действовал для пользы.

Позвольте заключить письмо мое просьбою. Жалуюсь Вам на Тургенева. Я послал ему очень давно список моих стихов; это единственный поправленный экземпляр19. Другой бывший у меня сгорел с Москвою. Давно уже прошу Тургенева, чтобы он доставил мне этот список. Нет никакого ответа. Вступитесь за меня. Если бы не боялся затруднить Вас пустяками, то попросил бы Вас пере-

слать этот манускрипт ко мне сюда.

Прошу Вас покорно быть уверенным в моей искренней к Вам преданности.

Честь имею быть

Вашим покорнейшим слугою

*Жуковский* 15 июля

**116.**

**А. П. Киреевской (Елагиной)**

*<Июль 1813 г. Чернь, Мишенское>*

Я пишу к Вам для того, что на словах или *не всё* скажу, или не буду иметь ни случая ни времени, или не буду уметь довольно ясно выразиться, или от противоречия потеряю из памяти то, что сказать был намерен. К тому же сказанное забывается, а написанное остается.

Наше путешествие в Долбино1, признаюсь, пугает меня и за Вас, и за прочих. Я был бы совершенно покоен, когда бы мог быть уверен, что Вы *захотите* дать волю рассудку, дабы победить то впечатление, которое натурально должен произвести первый взгляд на Долбино. Очень понимаю, что весьма тяжело возвратиться в такое место, где всё напоминает о милом человеке2; но я не понимаю, как можно давать волю над собою печальному чувству, не понимаю, как можно даже находить наслаждение в этом раздражении горести. А этого-то я от Вас и боюсь. Как Вы ни говорите, но имея много настоящей чувствительности, Вы имеете и слишком распаленную голову; ничто до сих пор не заставляло Вас думать об излечении этой болезни, которая, право, может иметь жестокое влияние и на Вашу жизнь, и на судьбу Ваших детей. Пускай бы люди, у которых нет души, трудились над тем, чтобы иметь подделанные чувства, Вам какая нужда прибавлять к тому, что имеете от природы. И несмотря на то, Ваше воображение любит трудиться над изобретением новых горестей, чтобы произвести в душе такие чувства, которых нет и не должно быть в натуре и которые самые натуральные должны наконец уничтожить. Возвращение в Долбино есте-

ственно должно возбудить горестное воспоминание. Но этого довольно. Что перейдет за эту границу, то будет не естественное, а подделанное. Не думайте,

чтобы я здесь говорил о притворстве. Нет! я никогда не замечал в Вас притворства; но подделанным чувством называю такое, которое с усилием, стараясь раздражать и питать свою горесть, наконец, производит <ее> в душе и которое действует на нее столь же сильно, как и настоящее, еще сильнее, потому что ему помогает воображение, которое, произведя его, старается и укоренить. Боюсь,

что Вы, оживив свою горесть воспоминанием, к ней привяжетесь, начнете ее растравлять, может быть, сочтете, что Вы *обязаны* ей предаваться, что не иметь

ее есть оскорбление Вашей должности, Вашей любви; таким образом, прошедшее возобновится, и Вы насильно себя приведете в то самое положение, в какое привела бы Вас новая потеря, подобная прежней. Признаюсь, я боюсь, чтобы Вы не имели вредной мысли, что горесть есть обязанность, что стараться ее уменьшить есть некоторым образом преступление и что, напротив, весьма до-

стойно Вашего характера ее усиливать и продлить сколько можно. Прошу Вас, милая, выйти из заблуждения. Горесть не есть воспоминание, она, разлучая нас с жизнью, переселяет из мира в гроб и связывает с мертвыми союзом, нимало их не достойным. Воспоминание есть союз другого рода: это милое *товарищество*, которого и смерть не разрывает, *завещание*, по которому мы *одни* исполняем то, что прежде исполняли *вдвоем*. Скажите ж! разве Вам не оставлено никакого завещания? а если оставлено, то горесть не есть ли первая преграда к его исполнению, особливо неумеренная, усиленная воображением и никогда не позволенная горесть? На это ни с какою диалектикою не можете Вы сделать сносного возражения. И на что же возражение? Дело не о том, чтобы Вам или мне быть правым! но о нашем общем добре, о нашем общем счастье? Итак, самолюбие в сторону! подумайте о том, что я Вам говорю; согласитесь, если найдете, что я прав (но дай Бог, чтобы я был неправ! тем меньше труда!), и agissez en conséquence[[90]](#footnote-90).

До сих пор написано было в Черни. Наш разговор в коляске меня несколько успокоил. Вы заодно со мною старались опровергать Сашу, следовательно во многом Вы со мною согласны. Но весь мой страх не без основания; и я доскажу,

что был сказать намерен. Одно только прошу Вас как доказательство дружбы: не показывайте никому этого письма. Оно для Вас одних. Мне будет очень больно,

если кому-нибудь вздумается надо мною пошутить и найти мое послание к Вам странным. Право, я пишу для того, что боюсь Вашей поездки в Долбино и думаю

что-нибудь своим письмом сделать.

Вы спросите, чего я от Вас требую? Я требую, чтобы Вы себя переломили; чтобы Вы, дав волю настоящей горести в первую минуту, решительно отказались от всего того, что может ее усилить; не останавливались бы на ней мыслями; избегали бы всякого случая возобновить ее; думали бы о том, что у Вас есть, а не о том, что Вы потеряли, и, наконец, чтобы Вы уничтожили вредную, фальшивую мысль, что горесть есть должность. Стараться быть счастливою, сколько возможно, есть Ваша обязанность, ибо Вы мать (не говоря уже о прочих Ваших связях). Уверьте же себя один раз навсегда, что воспитывая своих детей для *счастья*3 и стараясь сберечь для них оставленное им состояние в наилучшем порядке, Вы самым убедительным образом докажете, что память их отца Вам дорога. Но чтобы иметь в этом успех, надобно сохранить душевный покой, беречь его как некоторую драгоценность, а не стараться его рас-

строивать. Боюсь, что мое требование покажется Вам неисполнительным, но я бы желал — и Ваше согласие было бы для меня самым неоспоримым знаком дружбы — я бы желал, чтобы Вы не ходили в церковь во всё время Вашего пребывания в Долбине. Кто ручается за следствие сильного впечатления. Взгляните на себя! но если и надеетесь на свои силы, то можете ли ручаться за тетушку4 и особливо за Машу. У одной всякий день болит голова. Другой здоровье на волоске. Скажите ж, как не отказаться от обряда (который сам по себе бесполезен и только есть наружный знак воспоминания), когда можно почти наверное предсказать, что он будет иметь на них вредное действие5. Теперь всякое новое потрясение пагубно для Маши; Фор6 говорит: il est bien temps de prendre des précautions sérieuses[[91]](#footnote-91). Следовательно, всего более надобно думать, как бы поправить испорченное; а не прибавлять к старому новое, которое тем будет сильнее, что должно действовать на силы уже истощенные. Еще один какойнибудь чувствительный удар, и тогда, может быть, уже ничего исправить не будет возможно. Подумайте ж, если Вы некоторым образом сделаетесь причиною этого ужасного несчастья? Что нас тогда утешит! Признаюсь, мне очень жаль,

что наш отъезд не был еще отсрочен. Только что начала она лечиться, а уже и готово новое горе: слезы, ночи без сна, унылость — всё это для нее яд! Милая, Вы ее искренно любите, Вы всегда об ней думаете, Вы точно находите счастье в привязанности к ней — в этом я уверен. Но Вам недостает постоянства в Вашей к ней доверенности. Иногда Ваша susceptibilité[[92]](#footnote-92) бывает причиною огорчения и для нее, и для Вас. Зачем давать воображению волю и принимать его выдумки за правду. Особливо с Машею дóлжно быть как можно осторожнее. Вы знаете,

что всё падает прямо к ней на сердце и в нем остается; она скрывает всякое огорчение в самой себе. Бездельное волнение при таком нежном здоровье есть прием яда; а этот яд, мало-помалу скопляясь, наконец подействует. Посмотрите на нее. Эта слабость, право, меня ужасает. Милая, Вам можно быть ее хранителем. Дайте ж мне слово, что с этой минуты даже и тогда не огорчите ее упреком, когда бы имели на то право. Если и может она сделаться перед Вами виновною, то, конечно, не от недостатка дружбы и, верно, на одну минуту. Но ее спокойствие — это должно быть для Вас главное. На спокойствии основана ее жизнь. Душевное волнение для нее пагубно — как же ужасно быть его причиною. Вы всё можете делать для ее сбережения! Вы имеете столько способов ее счастливить — на что же то, что составляет ее счастье, Ваша дружба, бывает источником и огорчения. Я очень понимаю, что можно и в дружбе быть ревнивым (новое доказательство привязанности), но огорчения ревности всегда несправедливы; скрывая их, живее доказываешь свою привязанность. Лучше простить, не дождавшись оправдания, нежели, обнаружив свое огорчение, расстроить

спокойствие милого человека, особливо, когда знаешь, что всякое душевное волнение ему вредно. На Вашем месте при всякой досаде я говорил бы себе: *или я ошибаюсь, или нет! Но огорчу ее верно, лучше же пожертвовать своим неудовольствием.* Я уверен, что против такой мысли никакая досада устоять не может — иначе нет и дружбы. Таким образом, Вы будете не только ей другом, но и в полном смысле хранителем ее жизни. Не правду ли ж я говорил дорогою, что *счастье Ваше в Ваших руках*. Чтоб быть счастливою в дружбе, Вам стоит только не давать воли первым движениям досады и быть не столько взыскательною. Я это говорю не для того, чтобы Вас обвинять, но для того единственно, что по-

читаю необходимым сказать Вам искренно мое мнение. Или я очень ошибусь в Вас, или Ваша дружба ко мне должна за это усилиться. Например, Вы иногда говорите: *я не хотела бы никого любить; всего лучше не иметь привязанности* и прочее. Всё это чрезвычайно оскорбительно и несправедливо; и может служить не только к огорчению, но со временем охладить и самую дружбу, которая не может существовать без полной доверенности. Я смотрю с удовольствием на Вас, когда Вы с такой заботливостью приготовляете лекарства для Маши, но иногда мне кажется это печальным противоречием: Ваши огорчительные ссоры, основанные на безделицах, не должны ли назваться ядом, который уничтожает действие этих лекарств! Разрушать одною рукою то, что сделала другая! День, проведенный в слезах, которые надобно еще скрывать, и ночь без сна то же для Маши, что день болезни. Одним словом, для сохранения ее жизни и Вашего счастья должны Вы наперед пожертвовать всеми будущими досадами, должны решиться их не иметь, даже и тогда не иметь, когда бы было на то право. Такое пожертвование даст Вам полное и счастливое спокойствие, и самая Ваша дружба от этого должна увеличиться. Какое счастье для Вас быть ее хранителем. Веселость души нужнее для нее всех Форовых лекарств, и Вы владеете этим верным лекарством. Вы созданы для того, чтобы быть ею любимою; Ваш характер дает Вам на то право. Истребите ж из него всё то, что может это право

уничтожить.

Я не говорю уже ни слова о том, как необходимо принять предписанный

Фором regime[[93]](#footnote-93). Хотя и сбирался говорить об этом весьма пространно. Я думал сначала, что это предписание будет пренебрежено и Форов совет сочтен неосновательным. Но теперь я спокоен с этой стороны. Кажется, у Вас положено слушаться доктора. Теперь остается одно: постоянство, исполнять *всегда*, что начато

*однажды*. Если нет болезни, то из этого не следует еще, что нет нужды и в предосторожности. Напротив, при таком хилом здоровье, каково Машино, нужно иметь осторожность неусыпную и не оставлять без замечания ни малейшей безделицы: Фор говорит, что он ручается за ее сохранение только тогда, когда *всё* и *всегда* было исполняемо. И от Вас зависит, чтобы *всё* было исполняемо *всегда*. Но не забывать, что без душевного лекарства не может действовать и телесное.

P. S. Баронесса (я слышал) говорила7, что не худо бы пригласить к Вам в Долбино Николы Гостунского8 протопопа, думая, что его присутствие по-

служило бы к Вашему успокоению. Тетушка нашла это излишним — и очень справедливо. А мне это было и досадно. Почему же человек, одетый в рясу и имеющий имя протопопа, может иметь на Вас более влияния, нежели наша общая польза, нежели вид Ваших детей, нежели собственный рассудок, который запрещает Вам всякое излишество и говорит Вам, что избегать всякого бесполезного расстройства души есть Ваша должность. Признаюсь, что ничто так меня не трогает и не возбуждает моего почтения, как спокойная твердость чувствительного человека, решившегося исполнять свою обязанность, ничему не поддаваясь, и ничто так не приятно, как иметь такое почтение к своим друзьям.

Самое действительное лекарство от огорчения есть *занятие*. Это я много раз испытал на себе. Вы имеете два таких занятия, которые могли бы служить для Вас на всю жизнь источником приятнейшей *деятельности: воспитание* Ваших детей и *хозяйство*. По сию пору я еще не заметил, чтобы Вы и тем и другим занимались как дóлжно. О последнем не говорю, потому что не могу никакого подать совета в таком деле, которого не знаю; что же касается до первого, то Вам нельзя же вообразить, чтобы Вы имели все сведения и опытность, нужные для воспитания. Прочитывать в день по странице с Петрушей и с Ваничкой9 не значит еще их воспитывать. Если где нужна метода и *одна* постоянная система, то, конечно, в воспитании, ибо здесь каждый шаг, каждая ошибка могут иметь важнейшее следствие на целую жизнь детей. Скажите ж, имеете ли Вы какую-нибудь методу? Ее можно только занять из чтения хороших книг и из чтения порядочного; а Вы читаете Ифланда10, переписываете ноты или (helas![[94]](#footnote-94)) мои стихи. Надобно Вам самим несколько времени поучиться, чтобы сделаться полезною для детей. Для сыновей Ваших будут со временем открыты университеты, а для дочери Вы одни. Для чего же не стараетесь скоплять нужные сведения для воспитательницы. Одной материнской привязанности не довольно. И в самом образовании нравственности нужна метода. Чтобы получить ее, надобно спроситься с книгами: в них собраны чужие опыты, которые можно приноровить к своим обстоятельствам. Займитесь же сперва воспитанием как *наукой*, для себя, потом будете исполнять прочитанное на деле. А это занятие наполнит приятнейшим образом Вашу жизнь, и с ним душевное спокойствие неразлучно. Только порядок и постоянство.

Еще раз прошу: *этого письма отнюдь никому не показывать*. Исполнение этой просьбы будет доказательством искренней дружбы.

**117.**

**А. П. Киреевской (Елагиной)**

*<Июль 1813 г. Мишенское>*

Я ходил, ходил по зале в надежде, что Вы выйдете, наконец потерял терпение и вздумал к Вам написать. Маше непременно надобно пробыть несколько времени в глазах доктора; это особенно нужно при *начале* лечения; Вы видите

сами, что Вы ничего не умеете делать; надобно, чтобы он научил.

Вместо Долбина ехать бы в Чернь и там пробыть недели полторы или две. Это и потому нужно, что для первых дней пребывания в Долбине Маше надобны большие силы; я уверен, что ей почти так же будет грустно там, как и Вам самим. Эта грусть, право, помешает лечению. Надобно привести здоровье несколько в порядок. Не понимаю, как это могло не прийти нам в голову еще в Черни. Успех лечения зависит от начала его. Но Вы видите, что оно в начале идет худо. Вместо того, чтобы <*нрзб*.>1 имела желанное действие, мы теперь принуждены *останавливать* ее действие: две беды вместо одной. К тому же еще и мучительное страдание. Прибавьте к этому *новую грусть*, и всё испортится. То, что Вас зовет в Долбино, милая, может быть отложено. Приедем туда через две недели; но по крайней мере уж с одной стороны сердце будет на месте. Для Вашего собственного спокойствия это необходимо. Я не знаю, достанет ли у Вас довольно сил, чтобы снести два огорчения. Быть в Долбине и видеть ее страдания — две грусти, право, несносны. Настойте ж, милая, на том, чтобы ехать в Чернь. Не слушайте Маши! она всем готова для Вас жертвовать; потому-то и не дóлжно принимать таких пожертвований. Я не знаю, как тетушка могла сказать, что *они могут быть там в тягость*, там, где за величайшее счастье почитают их любить и всё для них делать. Как бы то ни было, теперь совсем не время ехать в Долбино. Настойте с твердостью. Ехать в Долбино совсем не есть *необходимость*, а быть в Черни, право, *необходимо*. Возьмете ли на себя отвечать за следствия? Для Вас всё равно: ехать ли *завтра* или через *две недели* в Долбино; а для нее, право, не всё равно. Не подумайте, чтобы я считал за нужное Вас в этом случае уговаривать; я знаю, что Вы этого желаете сами, что Вы уж сделали предложение. Но я желаю только, чтобы Вы настояли решительнее и не откладывали. Если ехать, так ехать завтра или поздно, поздно послезавтра. Нынче бы послать в Чернь, чтобы нам прислали в Дольцы подставу; Вы своих лошадей отошлете в Долбино; они будут дожидаться нас в Каменове тогда, когда мы поедем назад. J’ai eu la bêtise de dire un mot sur ce départ. J’ai mal fait. Selon ma coutume ordinaire je gâte les choses dont je me mêle. Tâchez de remedier à ce mal[[95]](#footnote-95).

**118.**

**А. П. Киреевской (Елагиной)**

*<Июль 1813 г. Мишенское>*

Ваше милое письмо, которое меня очень тронуло, еще более утвердило меня в мысли, что Вы имеете высокую душу и прекрасное сердце. Но я не могу не

сделать замечаний на некоторые места: «*нет ни одной счастливой минуты, которую бы я не променяла на то, чтобы быть там; сильного впечатления это на меня сделать не может — я перенесла сильнее*»1. Простите, милая, я Вас огорчаю, но не могу не сказать того, что думаю. Ваше чувство для меня понятно, я ценю его настоящим образом, его источник благородный, но, право, рассудок ему противится. Оно есть для меня новое доказательство, что Вы *привязаны* к своей горести и намерены ее *питать*. Что же в свете может усилить ее более, как не предмет, столь печальный, возбуждающий такие горестные мысли! Не удаляться от него — значит *самой* стараться раздражать свою болезнь. Быть там! Скажите, милая, что будете *там* делать? чего Вы будете там искать? Неужели утешения? или сил для перенесения печали своей? «*Сильного впечатления это на меня сделать не может*». Что ж Вы это говорите? Можно ли так себя обманывать? Какое же впечатление? неужели приятное? Нет, милая, я бы очень был счастлив, когда бы могли Вы решиться пожертвовать *на этот раз только* своим намерением. Дайте еще волю времени и мыслям. Когда Вы более обдумаете все выгоды своего положения, когда более утвердитесь в мысли, что Вы можете быть еще истинно счастливы — тогда можете дать себе полную свободу. А теперь бы смотреть за собою как за младенцем; и пуще всего не говорить: «*нет ни одной счастливой минуты, которой бы не променяла на то, чтобы быть там*». Это язык горести, разгоряченной воображением! Ваше место не там — ибо там всё говорит о потере, всё возбуждает отвращение к жизни (а такого рода мысли и чувства Вам запрещены), — Ваше место подле Ваших детей; вот милые памятники, при них Вы находите спокойствие души, надежду и самым чистым образом удовлетворяете своей чувствительности! Но что можете Вы сказать гробу? и еще более: что скажет он Вам? Этот язык ужасен! Если б Вы могли переломить себя и не удовлетворять сильному влечению сердца, которое, право, требует от Вас поступка, противного Вашему спокойствию! И тем более это пожертвование нужно, что Вам нельзя будет скрыться от других; те Вас не выпустят из глаз, а я опять напомню о состоянии Машина здоровья. Теперь спокойствие для нее нужнее, нежели когда-нибудь: ей необходимо нужно возвратить потерянные силы.

Следующая фраза написана точно Вами: «для меня довольно того чувства, что она *мне* теперь всё на свете и что от нее не буду *требовать* ничего». Вы забыли прибавить, что и Вы для *нее* всё; и что Вам уже ничего более не осталось от нее требовать: ибо Вы всё имеете. Для такой связи, каковы ваши, нужна только *доверенность*, ею она укоренится, ею она будет приятна и сделается верным счастьем на всю Вашу жизнь.

Вы говорите, что Ваша недеятельность в рассуждении воспитания детей и хозяйства сокрушает Вас. Но почему же деятельность не в Вашей власти? Вы можете заняться чтением без всякого помешательства, и всё расположение времени, нужного для этого занятия, зависит единственно от Вас; читая книги о воспитании, которых и у Вас, и у меня довольно, Вы будете собирать нужные сведения (дети между тем будут в Ваших глазах, и ничто их испортить не может), в год или в полтора много можно набрать сведения — время между тем не уйдет, и всё еще можно будет привести в исполнение. Этим и в Муратове, и в Долбине можете заниматься с одинаковым успехом. Что же касается до хозяйства, то надобно непременно найти человека, которому бы поручить

его; за ним можете Вы наблюдать, но он будет иметь на руках главные хлопоты. Для Вас же воспитание пусть будет главным занятием. Прочие занятия будут только отдохновением. В этом случае Маша Вам помощник самый усердный, и такого рода занятие ей самой не только будет приятно, но и весьма полезно. Оно будет заменою того, чего ее лишают, и заменою самою сладостною. Быть Вам товарищем, Вашим сотрудником в такой милой должности! Это может быть между вами иного рода связью и самою тесною. Вы будете и здесь не одни.

Для чего я всё это пишу? Собственного счастья, того, которое мне *нужно*, я иметь не буду! Мне остается только видеть его в Вашем милом круге — оно всё будет *моим*. Когда буду его находить вокруг себя, тогда и работа будет для меня наслаждением! Даже и для моей *славы* должны Вы стараться быть сколько можно счастливее! Без душевного спокойствия нельзя трудиться с успехом. «En

vous suppliant d’etre heureuses autant que possible je plaide ma propre cause»[[96]](#footnote-96)2.

**119.**

**А. И. Тургеневу**

*<Август 1813 г. Муратово>*

Отдай это письмо Оленину1. Я благодарю его за виньеты. Да уведомь скорее меня, Кирилов и архимандрит Филарет2 одна ли персона? Мне это знать весьма нужно3. А для чего, после узнаешь. Писать более некогда. Обнимаю тебя. Пришли экземпляры «Певца», да еще, если есть, рисунок памятника4, который ты поставить хочешь. На будущей почте получишь письмо к Голицыной5. Смотри же, оправдай меня.

Твой *Жуковский*

**120.**

**Е. И. Голицыной**

*<Конец августа — начало сентября 1813 г. Муратово>*

Простите меня, что так поздно отвечаю на Ваше лестное письмо; оно получено было в моем отсутствии. Возвратясь, я занемог, и эта продолжительная болезнь была принужденной причиною моего молчания. Я несколько раз перечитывал с отменным удовольствием Ваш манускрипт1, который позвольте мне сохранить, и приношу Вам благодарность за те приятные минуты, которые доставило мне это чтение. Нынче время патриотизма. Всякий спешит положить свою дань на алтарь отечества. Вы принесли прекраснейшие чувства души, исполненной благородного пламени. Будет ли принято Ваше предложение или нет — это зависит от вышней власти; но Ваше намерение, изображенное таким прекрасным слогом, останется навсегда памятником Ваших чувств, драгоценным для каждого русского, привязанного к своему отечеству.

Многие мысли в Вашем «Мнении» разительны своею справедливостью. Nos rêves etc.[[97]](#footnote-97)2 1812 год был для нас важен не одними победами; он открыл нам в самих нас такие силы, которых, может быть, прежде мы не подозревали. Всего важнее для народа уважение к самому себе: теперь мы приобрели его. Минутными несчастьями купили мы такое благо, которого никто у нас не отымет. Ужасное потрясение 1812 года вместо того, чтобы нас сразить, только что нас пробудило. Патриоты, имевшие доверенность к своему отечеству, ободрились; и те немногие, которые, пользуясь его благотворениями, были его истинными врагами по своему холодному к нему презрению, потеряли бодрость и должны молчать. Если Провидение допустит совершить начатое дело освобождения Европы, то мы увидим Россию на такой степени величия, на какой никогда она еше не стояла.

Я желал, чтобы Ваша мысль *включить крест в русский герб* была принята государем: этот крест, присоединенный к скипетру, будет напоминанием славнейшего происшествия в нашей истории, и, конечно, такой памятник (как Вы говорите) нетленнее всех триумфальных ворот и всех Аустерлицких мостов, которые могут быть уничтожены временем. Присоединение креста к скипетру означит великую эпоху, эпоху *возрождения* нашей силы, эпоху, с которой, может быть, определено считать нам истинное бытие наше. Он будет эмблемою нашей благодарности Промыслу, который чудесно возвеличил нас бедствием! И, отдавая его нашему орлу — который есть изображение России, — мы некоторым образом ознаменуем свою благодарность, вверив его попечению отечество, и в то же время мы вверим отечество покровительству той верховной силы, которая так разительно в прошедшем году за нас вступилась.

Вероятно, что Вы теперь уже получили какой-нибудь отзыв от государя на Ваше предложение. Сердечно желаю знать, имело ли оно успех. Вы дали мне право принимать живейшее участие в том, что до Вас касается. Заключу письмо мое благодарностью. Ваши похвалы для меня весьма ободрительны; но то самое живое удовольствие, которое они мне сделали, невольно возбудило во мне пе-

чальную мысль о сиротстве нашего языка. Нельзя не признаться, чтобы враги, которые произвели внутри нашего отечества такое опустошение, не сильно владычествовали над нами своим языком и своею словесностью. Бедный русский писатель, которому одобрение просвещенных и имеющих нежный вкус судей так дорого, почти не имеет доступа к тем, которым наиболее желал бы нравиться. Именно Ваше любезное письмо произвело во мне это сожаление об участи нашей словесности, изгнанной из лучшего общества. Но вступаясь за русскую поэзию, я должен употребить и язык ее.

**121.**

**А. И. Тургеневу**

*2 сентября <1813 г. Муратово>*

2 сентября

Я получил твои два милые письма, брат и друг, и начал отвечать на них стихами: низкая проза их не стоит. Думаю, что на будущей почте отправлю к тебе мое послание1. До тех пор довольствуйся молчанием. Теперь пишу для того, чтобы сказать тебе, что я получил письмо Голицыной2, и список моих стихов, и экземпляры «Певца». На первое буду отвечать, как случится, прозою или

стихами. Список своих стихов пришлю тебе полный для напечатания, только не знаю когда. Надобно прибавить еще несколько баллад, чтобы книжка была пополнее. Баллады мой избранный род поэзии; следовательно их число должно быть по крайней мере 10, ибо и заповедей Божиих такое же число. «Певца» ты прислал ко мне совсем изуродованного, без середины — одно начало и конец. Это похоже на тебя; но из этого следует, что ты должен мне прислать 25 экземпляров полных и переплетенных. С остальными поступай как хочешь. Я хотел было их принести в дар вашему благотворительному обществу3 — но что за дар! смешно! Лучше продать их просто книгопродавцу, если купит и если у тебя достанет заботливости, чтобы взять на себя эту продажу; а деньги пришли мне — вот и всё тут. А мои экземпляры присылай поскорее. Хорошо, когда бы на следующей же почте. Что же касается до денег, то ты можешь и сам сделать из них такое употребление, какое хочешь. Прости, брат. Обнимаю твоих братьев. И стихи на смерть нашего Андрея4 будут написаны и посвящены тебе.

Твой *Жуковский*

*2 сентября*

Какой день! Я бы желал, чтобы его всегда торжествовали. День славной жертвы за свободу и отечество5.

**122.**

**А. Ф. Воейкову**

*<Сентябрь 1813 г. Муратово>*

Коротко да ясно. Брат, я получил твое маленькое письмо из Сарепты1, и получил его в то самое время, когда писал к Тургеневу послание, касающееся и до тебя, ибо в нем говорится о прошлом времени, о нашем лучшем времени2: я доставлю его и к тебе, ибо ты имеешь на него такое же право, как и Тургенев. Ты один из действующих лиц той прекрасной комедии, которую мы играли во время оно и которая называется *счастье*3. Многие из актеров сошли со сцены, а для остальных пиеса кончилась, они разделись, устали и просят, чтобы их скорее отпустили по домам. В ответ на твое письмо скажу, что я никуда не располагаюсь ехать и (если что-нибудь неожиданное не пихнет меня к черту) буду всё жить в Болхове4. Приезжай. Уверяю тебя, что ты не раскаешься в своем путешествии. *Первое*: проживешь несколько времени вместе со мною. Попишем, поговорим о прошлом, поплюем на настоящее и еще теснее сдружимся: что главное. *Второе*: познакомишься с двумя милыми семействами5, с которыми время пролетит для тебя скоро. *Третье*: получишь от меня послание в ответ на твое прекрасное и слишком уже для меня обольстительное6. Напишу его при тебе и, верно, оттого напишу лучше и отдам тебе из рук в руки. Приезжай в Болхов (Орловской губернии), спроси Александра Алексеевича Плещеева, который готов от всего сердца с тобою познакомиться и редко добрый и милый малый. Он живет близ Болхова7 и будет тебе проводником ко мне. Приезжай, ради Бога. Я воображаю, что мы проведем друг с другом самые сладостные минуты. Знаешь ли, что делаю в эту минуту? Перечитываю письма Андрея Ивановича. Как они всё живо напоминают. И какая досада рвет сердце, когда подумаешь, что уже этого воротить нельзя8.

Весь твой *Жуковский*

Мой самый верный адрес: *в Белев*, откуда ко мне пересылает письма сам почтмейстер9.

**123.**

**П. А. Вяземскому**

*<Около 20 сентября 1813 г. Муратово>\**

Друг и брат, что же нет от тебя никакого ответа на последнее мое письмо? Я просил тебя в нем постараться об моей отставке, послал к тебе белый лист, написав на нем мое имя, дабы ты, написавши сам прошение, подал его Маркову1 или сказал бы мне в ответе своем, что этого сделать нельзя заочно; тогда бы я скрепя сердце отправился в Москву. Ты сделаешь мне истинное одолжение, когда избавишь меня от этой поездки. Я уверен, что Свечин2 сказал пустое. Нельзя, чтобы я был взят Барклаем3. Он хотел только *запутать*, и, право, не понимаю, что могло побудить его к такому поступку. Ты распутай этот хаос. Может быть, ты не получил моего письма. Я прилагаю при сем еще белый лист с моею подписью; в прошении скажи, что я за болезнью отпущен был из Вильны Светлейшим4, а теперь, когда московское ополчение распущено, желаю наряду с другими иметь отставку. Буду писать к тебе много на одной из следующих почт. А ты отвечай на это письмо подробнее и скорее.

Твой *Жуковский*

Начинаю важную пиесу5 — о чем, узнаешь, когда прочтешь. Теперь собираю свои мелочи в один корпус для издания6. Издавать будете в Петербурге ты и Тургенев7. Не будь эгоистом; не жалуйся, что я не приехал к тебе в Остафьево; не приписывай этого недостатку дружбы — я люблю тебя как брата; не спрашивай о причинах — но верь моей дружбе без пустых уверений; это еще лучше будет сказано в моем к тебе послании, которое еще не начато.

Поздравляю с прошедшею именинницею8. Мой усерд<ный> поклон ей и всем.

На всякий случай посылаю два белых листа с разными подписями — если одна не годится, то другая!!!!!!

**124.**

**П. А. Вяземскому**

*26 сентября <1813. Муратово>\**

26 сентября

Ты удивительный и премилый чудак: даешь мне деньги, которые я от тебя не просил, хлопочешь обо мне как о себе и даже не сердишься на меня за то, что к тебе не еду и не говорю, для чего не еду. Благодарю тебя за твою *тысячу*; я не имел необходимой нужды в этих деньгах; но так как тебе, верно, было приятно одолжить меня, и так как меня очень трогает то чувство, которое побудило тебя помочь твоему другу, — то не могу отказать и тебе, и себе в удовольствии принять эти деньги; они послужат мне к уплате некоторых долгов, а тебе возвращены будут, когда я сделаюсь миллионщиком, то есть когда продам манускрипт своих сочинений. Он готовится и будет доставлен к тебе, дабы ты делал из него, что хочешь, и продал его, кому хочешь; это собрание моих творений должно состоять из трех томов: два тома стихов, а третий прозы1. Всё будет переписано так, как должно быть напечатано. Останется только найти хорошего корректора — это твоя с Тургеневым забота. Мне обещали уговорить *Тончи*2

сделать для некоторых пиес виньеты; я написал для него программы; но еще не знаю, согласится ли он. Если ж и согласится, то не знаю, что делать с этими виньетами, — издание будет слишком дорого. Но об этом подумаю тогда, когда всё приготовится для напечатания. Еще многие пиесы, которые назначены для этого издания, не написаны и существуют в одном моем воображении: между прочим, и послание к тебе, которое может быть прекрасное3. (*Твоего*4 теперь не посылаю для того, что еще не придумал, какие где сделать поправки; когда это сделаю, то доставлю тебе на апробацию; ты всё выправишь по моему или по своему плану и возвратишь эту пиесу ко мне. Я не замедлю.)

У меня много прожектов для новых сочинений — если я мало теперь писал, то этому причиною не лень, но обстоятельства. Во всё это время я не имел спокойного духа, нужного для того, чтобы писать с успехом. О причинах расстройки моей не спрашивай: об этом на письме говорить нельзя. Моя судьба довольно странная. Не испытав убийственных несчастий, я всегда лишен был

счастья; будучи одарен характером таким, который бы должен был сделать меня счастливым, я в лучшее время жизни не пользовался жизнью и был от обстоятельств по большей части к ней равнодушен. Всё это должно показаться тебе мистическим, но я не намерен об этом писать, да и говорить бы не скоро согласился. Довольно с тебя того, что я мало писал не от лени или недостатка в желании, но от худого расположения духа. Теперь надеюсь быть деятельнее. В голове у меня вертится план журнала. Какой он должен быть, еще не знаю, но только знаю то, что будущий год стану готовить материалы (так, чтобы их было заранее приготовлено по крайней мере на полгода), выдавать будет кто-нибудь из вас в Петербурге или Москве, а мне останется только присылать к вам материалы. Обдумаю план, потом к тебе его доставлю. Весьма было бы хорошо выдавать что-нибудь подобное Аддисонову «Спектатору»5.

Друг милый, употреби всё старание, чтобы выхлопотать мне отставку. Свечин поступил мерзко: он обманул меня и сделал мне неприятность вместо услуги, которую ему так легко было мне оказать6. Эти люди для меня непостижимы. Уехавши из Вильны, я много потерял, ибо мне представлялись величайшие выгоды по службе; но я вошел в эту службу не для выгод, а потому

что этого потребовала должность! Теперь почитаю себя избавленным от этой обязанности. Но отставку иметь мне необходимо — то есть *вид* отставки, ибо с полком нашим и служба моя кончилась. Хлопочи, милый друг. Признаюсь: с одним *отпуском* оставаться неприятно. Те, которые не знают моих побудительных причин и меня самого, могут иметь право меня осуждать; а это тяжело! Тебе вверяю, моему милому другу, попечение о том, чтобы избавить меня от такой неприятности.

Не зови меня в Петербург, это дело решенное — я не буду и не хочу служить! Если мне дóлжно будет отсюда уехать, то *тем хуже* для меня. Я буду пи-

сать и писать *здесь* — вот всё, что теперь знаю. А тебе в заключение скажу, что час от часу живее чувствую то, что я люблю тебя как доброго брата; я вижу в тебе истинную ко мне привязанность — она меня трогает и моя собственная более и более к тебе усиливается. Скажи мне, зачем едешь в Петербург, долго ли там останешься и какие у тебя планы?

Обнимаю тебя. Читал ли ты в «Сыне Отечества» маленькое послание Батюшкова к Дашкову?7 Прекрасно! Прекрасно! Этот Пипинька превосходный поэт! Зачем черт его понес в службу! Оторвут голову? Кто тогда станет за него писать?

Поцелуй за меня своего малютку8 и скажи его матери, что я всем сердцем к ней привязан. Николаю Михайл<овичу> и Кат<ерине> Андр<еевне>9 мой усердный поклон. Плещеев10 тебя обнимает. Отвечай скорее.

Твой *Жуковский*

Скоро надеюсь тебе доставить французский перевод в стихах моей баллады «12 спящих дев». Переводила Mmе Moreau11, очень умная женщина, с прекрасным стихотворным дарованием. Она жила несколько времени у нас. Слог очень приятный и живой. Я еще не читал перевода, но он скоро будет ко мне доставлен. Знаю другие ее стихи: в них много хорошего. Она воспитанница Сю-

ара12; и в связи с многими хорошими литераторами Франции.

**125.**

**П. А. Вяземскому**

*<Начало октября 1813 г. Муратово>\**

Два последние твои письма получил я в одно время. Обнимаю тебя, бесценный друг, за твое милое *люблю тебя, как душу*; это выражение от тебя меня очень трогает. Так, брат, люби меня. Я чувствую, что наша взаимная дружба должна час от часу быть сильнее; это чувство для меня весьма сладостно, и я люблю ему предаваться. А на мою таинственность не сетуй. Она не означает ни скрытности, ни недоверчивости к тебе. Довольно с тебя быть уверенным,

что я твой верный душою и сердцем товарищ в жизни.

Послание к государыне1 будет доставлено на следующей почте; а ты пришли мне остальные твои стихи. Присланные же все перечитал с отменным удовольствием. Лучше всего понравилось мне твое послание ко мне и баллада2. Видишь ли, тебе бы дóлжно более писать, чтобы развернуть совершенно свой талант. На все эти пиесы напишу замечания, но для этого нужно писать к тебе одному — теперь пишу целых шесть писем — нет времени. На следующей почте получишь ты от меня «Певца» с поправками, и вот для чего. Я получил от бывшего книгопродавца Попова прошение сделать новое издание «Певца»3. Он просит также назначить за оное цену. Я хочу прибавить кое-что в тексте и в нотах. Также думаю, что не худо будет поместить в начале и мое послание к государыне. Всё это приготовив, к тебе доставлю, а ты уже делай какое хочешь условие с Поповым и сам назначай цену. Я писал к нему, чтобы он к тебе адресовался4. Присылай остальные стихи свои, а с ними и отставку. Надобно тебе сыскать Караулова5, правителя канцелярии Маркова6. Он всё дело сделает, а об нем узнай от Офросимова Николая Михайловича7, который был в моем полку адъютантом и которого адрес не знаю, спроси об нем в Почтамте у Петра Михайловича Рудина8. Хлопочи, брат. Да еще просьба. В Москве продается «Певец» с портретами наших генералов. Если стоит того, купи и пришли. Прости, друг милый. Всем твоим кланяюсь.

Посылаю тебе послание к императрице; к Ивану Ивановичу9 доставлю на след<ующей> почте. Не успели переписать, да и сам к нему писать буду.

Твой *Жуковский*

**126.**

**П. А. Вяземскому**

*12 октября <1813 г. Муратово>\**

12 октября

Посылаю тебе письмо к Северину, которое доставь с своим, и письмо к Дмитриеву, которое не замедли отдать1. Прочитай мое письмо к Северину;

оно касается и до тебя: мысль моя, право, не романическая; она полюбилась мне в ту минуту, в которую я стал ее объяснять на письме. Что ты об ней скажешь? Напиши об этом ко мне поболее; я тебе стану отвечать *обстоятельно*!! Займемся мечтою как делом. Мечта — дело важное, когда она доставляет удовольствие, а в исполнении моего плана я вижу большое удовольствие — ты будешь смеяться! И не мудрено! Идеи, которые приходят в голову человеку, живущему в уединенном углу Болховской степи2, должны иногда казаться забавными тому, у кого перед глазами сожженная Москва, и еще более смешными тому, кто едет при посольстве в Гишпанию3. Как бы то ни было, отвечай. «Певца» поправляю и доставлю; а ты узнай от Ивана Ивановича, можно ли напечатать в новом издании эпистолу к государыне4. Опять же много писать пи-

сем (ибо я всё откладываю, наконец и накопится). Когда будет время, напишу к тебе большое письмо в ответ на твое послание5, и критику стихов твоих тебе доставлю, а ты доставь всё, что есть еще у тебя в портфеле, чтобы критиковать всё разом. Кланяйся своим. Желал бы посмотреть, как ты нянчишься с своим малюткой6.

Отвечай мне на две вещи: зачем едешь в Петербург и что сделалось с твоим Ванюшей?7

**127.**

**П. А. Вяземскому**

*31 октября <1813. Муратово>\**

31 октября

Милый друг и инфант, посылаю тебе переправленного «Певца» с прибавлениями назло Иванову1 и в угождение тетушкам, бабушкам и кузинам. Не думай, однако ж, чтобы мысль сделать эти прибавления пришла мне от этих кликуш. В самом деле, я виноват, что, говоря о некоторых, не сказал ни слова о других, не менее достойных2. Воронцову я вместо двух строк посвятил две строфы: это истинный герой по своей храбрости и по своему прелестному характеру3.

Что скажешь о строфе Щербатову? Прилично ли?4 Я писал ее с особенным удовольствием. О партизанах также надобно было упомянуть. Они творили и еще теперь творят великие чудеса5. Спросись у Ивана Ивановича6, можно ли поместить послание к государыне. Не надобно ли чего будет поправить и в предисловии. Всё это оставляю на твою волю, так же как и условие с Поповым7 и надзирание за изданием. Прошу тебя послать к Попову и пригласить его к себе. Об нем узнай в типографии университетской: он имеет дом подле тюремного замка, на самом выезде из Москвы. Прошу тебя взять на себя все эти заботы. Благодарю тебя за милые, бесценные письма, которые читаю и смеюсь от всего сердца и другим читаю и других заставляю хохотать. На них будет ответ обстоятельный с обстоятельными замечаниями на твои стихи. Теперь скажу только

одно общее замечание: пиши более. Ты обещаешь прекраснейшего стихотворца. Всё это будет доказано как дважды два четыре в моей будущей критике. Теперь пишу мало оттого, что сию минуту едут на почту, которая от нас в 40 верстах, — боюсь опоздать. Я у тебя буду непременно в Остафьеве. Не знаю только, можно ли мне разъезжать, не имев отставки. Черт знает, как это досадно! В будущем письме скажу и о своих стихотворных проектах. К тебе готовлю послание8; но прежде надобно написать кое-что другое. С посланием в руках приеду и в Оста-

фьево. Но об этом еще напишу. Отложи на всякий случай до весны поездку

в Питер, если это можно. Обнимаю тебя, будь здоров, милый инфант.

Что когда б *одни* влачились

Мы дорогою земной И нигде на ней не льстились Повстречать души родной?..

И от странствия, друзья! Отказался б лучше я!

Что тогда красы творенья В наших были бы глазах?

На источник наслажденья Мы смотрели бы в слезах! И веселья милый глас Был бы жалобен для нас!

Кто б отрадными устами Нам: *терпение*! сказал? Кто б нас братскими руками Утомленных поддержал? Кто б в опасный, страшный час Был покров и щит для нас?

И безрадостно б, уныло Наша вся дорога шла!..

От чего ж нам жить так мило?

Чем дорога весела?..

О друзья! то сердца глас:

Провожают *Братья* нас!9

Это пошли при случае Северину. Песня Братьев для условленного дня воспоминания будет написана10. Ты не хочешь первого января? Согласен: будь первое мая! Возрождение земли, пусть оно будет эмблемою возобновления дружеских обетов. Пришли мои отрывки из «Вестника»11. Я очень рад, что они не пропали. Обнимаю тебя. Сообщи мою *любовь Вере.* А *надежду*, то есть милого твоего малышку, поцелуй12. Прости, брат и друг!

**128.**

**П. А. Вяземскому**

*<Конец ноября — начало декабря 1813. Муратово>\** Отвечаю тебе на твои замечания1:

Любви и скорби оживить и пр.

Темновато; я и сам это знаю; но ведь понять можно, эти два стиха тут для двух последних, которых мне переменить не хотелось2. Для того и теперь не переменяю, ибо уверен, что сделаю хуже. Обыкновенная судьба всех моих поправок. Это мне и вперед уроком: не отставать дотоле от отделки, пока сам не буду совершенно доволен. Мне ничего нельзя оставлять на поправку, всегда испорчу.

И мир *откликнул*: слава

Откликнул хуже, нежели отгрянул3, это правда, но эта поправка показалась мне необходимою для того, что *отгрянул: слава!* употреблено уже мною в переводе Томсонова «Гимна»4, где оно более на месте, да и в «Певце» есть уже в другом месте:

Родится жизнь в ея струнах, И звучно грянут: слава!

Зачем красть у самого себя! Повторяя часто счастливые выражения, делаешь их обыкновенными. Этим стихом пожертвовал я для пользы тех двух. Лучше убить один, нежели три. Итак, оставь *откликнул*, хотя оно и слабее.

Хвала тебе, славян *любовь. врагов*5

Гадкая рифма! Я, однако, сам ее не заметил, иначе верно бы не оставил. Не придумаешь ли ты чего — поправь! Отдаю на твою волю! *NB*. С Коновницыным6 у нас не было никакой ссоры; напротив, он предлагал мне войти в гвардию для скорейшего производства — говорил об этом не мне, но Скобелеву7, но я, признаться, не хотел закабалить себя в настоящую службу, из которой не скоро бы выбрался, хотя теперь и часто жалею, зачем уехал, — это поступок весьма, весьма неосновательный! Надлежало бы кончить, что начал! Часто бывает досадно на себя и завидно на прочих! Но тут было другое побуждение, которое слишком было сильно и заставило меня сделать глупость. Так и быть. Но ты, видно, забыл хлопотать о моей отставке. Есть ли какой-нибудь след? Возвращаюсь к стихам. Посади на место Остермана8 Дохторова9, а Строгонова10 на место Дохторова — на все эти перемены согласен. Только ты не так читаешь стих:

Хвала наш Строгонов! — Хвала Наш Иловайский ярый11.

Последняя хвала принадлежит Иловайскому.

Вместо *прогремит* ставь смело *пролетит*, это ошибка; и вместо *ясным взором* — *с ясным взором*; но не знаю, почему гадки стихи

*Бросает взглядом* и пр.12

В них нет ничего неправильного, если не ошибаюсь. Согласен, что они не могут удостоиться ордена Большого Креста!13 но, кажется, совсем не режут ни здравого смысла, ни слуха. Я бы их и рад поправить, но, право, не умею: давно, давно мой стихотворный дух лежит лежмя. Читая твои стихи, возгорается желание приняться за перо, но для того чтобы писать, надобно быть и веселым и спокойным — а я очень далек от этого вожделенного состояния. Вот причина, для чего и так долго не возвращается к тебе твоя стихотворная тетрадь. Замечаний будет немного, весьма немного — но весьма много замечу под титлом *прекрасно*! Уверяю тебя, что ты имеешь большой дар и что твой истинный род *послания*: ты имеешь много *мыслей*, выражаешь их просто, но стихотворно; ты мыслишь в стихах; нет принуждения, нет усилия; твои стихи принадлежат к роду таких, которые всегда весело *перечитывать*, а этот род самый лучший.

Из маленьких пиес послания к Межакову и к Батюшкову14 могут быть в своем роде образцами. Одного только боюсь: не перестань писать, уехав в Петербург; но об этом поговорю в моих примечаниях; а ты проси за меня Аполлона, чтобы дал мне тишины душевной, тогда и стихи польются. Ты, Батюшков и я составим триумвират стихотворный и триумвират друзей.

Эта мысль меня пленяет. Всё, что напишешь, доставляй ко мне. Я буду вести верный протокол и красотам, и ошибкам. То же будешь для меня и ты. Я готовлю полное собрание моих стихов, которое сперва пойдет к тебе на цензуру, потом ты же и продашь и напечатаешь. Надобно только еще многие пиесы прибавить. План их есть, но меня самого еще для них нет, и буду ли когда, не знаю.

NB. Литеры **Ж** и **Д** вымарай15. Но всё еще спросись с Ив<аном> Иван<овичем>, как он посоветует, печатать ли или нет? Для меня всё равно! Я не сам это вздумал, а ко мне писал Попов16. За деньгами же я не гонюсь. Карандаш мой — пришли.

À propos[[98]](#footnote-98). Что за Межаков? Твои стихи сделали его для меня интересным.

**129.**

**П. А. Вяземскому**

*<Начало декабря 1813 г. Муратово>\**

Брат, сделай мне два одолжения: первое — прикажи сшить на свою мерку пару платья, фрак и панталоны, какого цвета хочешь, лучше бы синие; и еще сюртук. Да купи (и прошу тебя, без всякого замедления) по прилагаемому образцу бумажки четырех разных цветов, каждого цвета 12 листиков; да другого маленького формата, также столько же цветов и по стольку же листов. Что всё это будет стоить, уведомь непременно и не думай меня дарить (иначе не буду тебе никаких поручать комиссий). Только прошу тебя, пришли бумагу поскорее. Меня весьма просили, и ты очень обяжешь.

На будущей почте буду отвечать на твой запрос о Пантеоне иностр<анной> словесности1. Очень бы много ты одолжил меня, если бы исполнил еще следующее важное поручение. Недели две тому, как посланы из Орла в Опекунский совет деньги — последняя сумма в уплату долга на заклад душ Орловской губернии села Мелехова, принадлежащих Екатерине Афанасьевне Протасовой. Сумма 4200; число заложенных душ 60, а заложено имение 1806 августа 23 дня. Нужно, чтобы из Опекунского совета в Орловскую гражданскую палату было послано разрешение, без которого нельзя будет совершить на эту деревню купчую. Потрудись, друг, выхлопотать, чтобы это разрешение было поскорее послано. Тут нужно только заглянуть в Воспитательный дом2 да заплатить несколько рублей, чтобы написали да отправили по почте. Это тебе не трудно будет сделать, а нас избавит от большого затруднения. Да бумагу присылай поскорее. Не худо, если бы ты купил и белой по приложенным образцам — каждого цвета тетрадок по десяти. Это уже для меня.

Твои стихи у меня здесь списывают без памяти. Прошу не зазнаваться.

**130.**

**А. Н. Арбеневой**

*15 декабря <1813 г. Муратово>*

15 декабря

Не могу изъяснить Вам, мой милый и истинный друг, как мне жаль, что я бедная, безденежная тварь; каким бы было для меня наслаждением отдать Вам последнюю копейку. Для чего черти нынче не то, что были в старину; я заложил бы первому черту, по примеру моего приятеля Громобоя1, душу, взял бы у него неистощимый кошелек и посыпáл бы из него червонцами во имя Ваше до тех пор, пока бы Вы не закричали: стой, довольно! И уверен, что причина, для которой погубил бы душу, была бы спасением; кто жертвует собою для дружбы, тому никогда райская дверь закрыта не будет. Шутки в сторону. Вот Вам положение дел моих in naturalibus[[99]](#footnote-99). Капиталу у меня верного всего на всё есть 2 500, и они отданы. Есть у меня еще деревнишка2; я ее продаю и должен получить за нее 12 000. Для чего продаю, спросите Вы. Вот для чего. Тетушка Екатерина Афанасьевна продала деревню свою Мелехово за 33 500, из коих 1 000 уже употреблена на уплату казенного долга; следовательно, ей остается 32 500; в то же время купила она другую деревню за 50 000; прибавьте к этому 1 000 на пошлинные расходы, на купчую, выйдет 51 000. Вот на ней долгу 8 500; да еще собственного долгу имеет она 9 000, всего 17 500. Это побудило меня разделаться с своею деревнею и отдать ей свои 12 000 — почему, видите, милая, что из этой суммы не могу Вам дать ничего. Мне быть должным для нее не тяжело; напротив, всякому другому долг был бы для нее отяготителен. В иные минуты ничего бы так не желал, как всемогущества (безделица!). Но из него сделал бы прекрасное употребление — я употребил бы его на счастье моих друзей. И как бы Вы были счастливы тогда! Говорю это от полноты сердца и признаюсь с горем, воображая, как я беден и как ничтожны одни желания. А люблю Вас более, нежели когда-нибудь, люблю, как сестру, которой мое счастье дорого, и, думая

об Вас, всегда сердце у меня разгорячается. Еще о многом надобно мне говорить с Вами; я намерен Вам открыть свою душу и, может быть, Вам назначено иметь величайшее влияние на судьбу целой моей жизни3. Теперь скажу только одно,

что я, при возможности пользоваться истинными благами жизни, чувствую одну только тяготу жизни, что бóльшая часть ее проходит для меня в желании ее прекращения; всё бы могло для меня перемениться, и ничто не меняется. Всё это для Вас загадка или, может быть, полузагадка. Погодите, милый друг, милая сестра; я с Вами объясняться теперь еще не могу, но скоро получите от меня предлинное письмо. Уверен только в том, что в Вашем сердце найду сильнейшего моего заступника. Ваше сердце богато истинною чувствительностью и выше всех ничтожных предубеждений, разрушителей всякой чувствительности. En attendant[[100]](#footnote-100), любите меня. *Об наших* скажу, что они теперь все здоровы. Не пишут к Вам потому, что теперь нет времени. Мы говорим об Вас часто, и тот, кто говорит, у того сверкают глаза и рад бы прижать к сердцу тех, кто его

слушает и понимает. Но прошу Вас, милая, в Ваших письмах к ним не упоминать об моем и не говорить ни слова ни об каких объяснениях. То, что теперь я к Вам писал, принадлежит Вам одним. У меня еще сидит в голове и стихотворное к Вам послание4. Но стихи пишутся тогда только, когда на душе ясно. А на моей душе часто и очень часто сумерки. Перецелуйте за меня детей. А вихряатамана дважды5.

# 1814

**131.**

**П. А. Вяземскому**

*6 января 1814 г. <Муратово>\**

6 Генваря 1814

Обнимаю тебя, милый друг, и поздравляю с Новым годом. Вместо подарка на новый год посылаю тебе несколько моих стихов, а с моими вместе и твои. Из моих «Послание к императрице» (с маленьким к нему примечанием, которое сделай сам). Балладу «Ивиковы журавли», «Эпимесида» и «К самому себе» отдай в «Вестник»1; послание же к Тургеневу2 посылается к тебе на апробацию, оставь его в своем портфеле; оно будет напечатано в собрании моих творений, которое всё еще не переписано; зато как скоро будет готово, то и отправится к тебе, моему милому, доброму Аристарху на суд беспристрастный.

Передо мною лежит множество твоих писем, на которые не сделано еще ответа. Начну их перечитывать и отвечать по порядку на каждое. Между тем Воейков, сидящий подле меня, перечитает все твои стихи и к моим на них замечаниям прибавит собственные… Воейков? Какой Воейков? Как он очутился у меня!3 Да! Приехал нарочно на свидание с братом по Фебу. Живет в моей горнице. Мы перечитываем с ним его перевод «Садов» и начало его перевода Виргилиевых «Георгик»4. Читаем вместе твои стихи и вместе восклицаем: браво, браво, Вяземский! истинное дарование! Спаси Господи его от петербургского рассеяния! Пошли ему Творец усердия, чтобы писал больше и больше, ибо он будет один из лучших наших поэтов и в некоторых частях образцом и пр. и пр.

Воейков остается у меня до 17 сего месяца. Он приехал звать меня путешествовать с ним вместе будущею весною по Тавриде5; но… я не поеду. Он принял этот удар с смиренною покорностью. А ты, друг, бранишься на меня за мой неприезд и даже от этого краснеешь. Бранись сколько хочешь, но не красней и не добивайся до *причины*, которая меня здесь останавливает, а знай, что я, при всей своей неподвижности и лености писать в определенное время письма, привязан к тебе, как к брату по душе, и что у меня всегда сердце запрыгает, когда подумаю о твоей братской ко мне привязанности. На три твои послания будет у меня сделан ответ, и скоро. Стихи на смерть Кутузова приготовлены будут к тому числу, когда исполнится год его смерти6. Я обязан этою данью его памяти; я должен воспеть его не только как благотворителя отечества, но также как и моего собственного благотворителя. Но теперь дело не о том. Вот блистательная мысль, которая озарила в сию минуту мою голову и голову Воейкова, следовательно две из лучших голов в мире: что если бы Вяземский, тотчас по получении этого письма, воскликнул: Демид7, скорей уложи что надобно в чемодан и лошадей! Еду в Белев; спрашиваю в Белеве у почтмейстера, где село Мишенское, останавливаюсь в нем на минуту, беру проводника и прямо еду в село Муратово к Жуковскому, у которого пробуду до дня рождения, то есть до 29-го января!

Как думаешь об этом! Способен ли ты это воскликнуть и исполнить, а следствием этого было бы то, что я, глядя на тебя, написал бы к тебе послание, так, как теперь готовлюсь писать к Воейкову8; вместе поправили бы и твои, и мои

стихи и прочее. Остается на твое размышление. Но исполнением этого плана оживишь и обрадуешь мою душу.

Боже мой! одиннадцать часов, а до почты 12 верст; а почта отходит в

3-м часу. Непременно должно бросить перо и опять отложить подробный ответ на твои письма до… Если это письмо опоздает, то ты получишь его днями пятью позже, следовательно не приедешь ко мне вовремя (если поедешь) и не застанешь у меня Воейкова.

Прости друг. Свою Веру, своего малютку, Никол<ая> Мих<айловича> и Екат<ерину> Андр<еевну>9 поздравь от меня с праздником, то есть с новым годом, если только новый год можно назвать праздником.

Стихи мои отошли к Измайлову10.

Карандаш, бумагу и платье получил11. Сколько всего на всё я тебе должен?

**132.**

**А. И. Тургеневу**

*31 января <1814 г. Муратово>*

Прошу тебя, любезнейший друг, сделать мне большое одолжение. В Тамбове есть пленный François, adjutant major au 4-ème de ligne[[101]](#footnote-101)1; в Болхове есть родной его дядя, может быть, знакомый и тебе, Осип Петрович Букильон2, живущий у Александра Алексеевича Плещеева, которого ты, вероятно, знаешь. Этот Франсуа был бы весьма счастлив, когда бы мог быть вместе с своим родным. Постарайся сделать, чтобы его переслали из Тамбовской губернии в Орловскую, для пребывания в Болхове. Этим обяжешь меня, ибо я желаю оказать какую-нибудь услугу Плещеевым3, потому что их дружба заботится обо мне, как об них самих. Об *нашем обо всем*4 узнаешь от Воейкова5, который, вероятно,

с тобою увидится. Прости. Éloge de Moreau[[102]](#footnote-102)6, Miller7 etc.

Что скажешь о моем новом послании?8

*Жуковский* Отвечай мне поскорее на это письмо9.

31 генваря

**133.**

**П. А. Вяземскому**

*<Начало февраля 1814 г. Муратово>\**

Одно меня чрезвычайно тронуло в твоем сумасшедшем письме: то, что ты меня обвиняешь в убиении твоего стихотворного дара, — это обвинение падает прямо на сердце, и меня, право, в жар бросило, когда это прочитал в твоем письме. Если бы ты мог видеть, с какою радостью читаю сам и потом по нескольку раз перечитываю окружающим меня твои стихи, тогда бы ты не сказал, что я хочу убивать твой гений. Его нельзя убить. Он слишком живущ, и такой оригинал, каких у нас немного. Причина краткости моего письма была надежда, что ты сам приедешь ко мне, надежда, за которую уцепилась моя лень писать письма. Я хотел написать большое письмо, и точно такое, какого ты желал, хотел сказать в нем вообще о твоих стихах (сделав частные замечания на маржах[[103]](#footnote-103)), о роде стихов, более тебе приличном, о твоем слоге, о его погрешностях — и последняя сия статья была бы очень недолга, может быть, ее бы и совсем не было — всего этого лишила тебя моя надежда увидеться с тобою. Ты узнал бы от меня самого и от Воейкова1, что думаю о твоих стихах, узнал бы, что я ничего так не желаю тебе, как плодовитости и желания писать беспрестанно. Вместо тебя самого получаю от тебя письмо, и такое, какого не мог никак от тебя ожидать, обидное и даже глупое. Мне чрезвычайно больно, что я, который восхищаюсь твоим талантом, мог на минуту его охолодить. Это жестоко меня огорчило. Остальное же в твоем письме есть не иное что, как сумасшествие, досадное и обидное, — удивляюсь, как мог ты отправить на почту такое письмо, как мог ты позабыть, что между мною и тобою 300 верст, что огорчение, сделанное в одну минуту и по первому движению, может остаться на несколько недель и не быть заглаженным; удивляюсь твоему самолюбию, которое так глупо вступается за всякое выражение, сбежавшее с твоего пера: я совсем иначе принимаю твою критику, даже и такую, на которую не совсем можно согласиться. Тот стих или то выражение, которых ты не одобрил, становятся для меня *подозрительны*, и я всегда склоннее их поправить, нежели оставить по-старому, если же не поправлю, то по крайней мере остаюсь с мнением, что в них есть что-нибудь недоброе, когда человек со вкусом не одобряет их. Ты же, напротив, осыпаешь меня глупыми сарказмами как жалкий пачкун, которому всяко слово, написанное его пером, дорого и кажется неприкосновенным. Этот опыт есть для меня первый и последний. Отныне ты не дождешься от меня ни одного замечания. Буду хвалить твои стихи, ибо их нельзя не хвалить — всё, что ты ни напишешь, и оригинально, и замысловато, и стихотворно. В этом мнении, кажется, нет ничего убийственного для твоего дарования. Но никогда не осмелюсь сделать замечания об ошибках: ты опять

с высоты совершенства своего скажешь мне, что я дурак, Болховский страмец, выходец из дома сумасшедших. Признаюсь, не понимаю, как можно согласить с дружбою и уважением, на которые имею от тебя право, такой грубый и оскорбительный тон. Послание твое к Мерзлякову и Кокошкину прелестно — возвращаю его; стихи к подушке…2 Но об этом ни слова: я буду говорить только

с тобою о тех стихах, которые мне нравятся. Возвращаю тебе и подушку. В заключение скажу, что ты ошибся в различии тех знаков, которые я сделал на твоих стихах, — стихи подчеркнутые показались мне требующими поправки; всё то, напротив, что подчеркнуто сзади, то нравится мне чрезвычайно — может быть, я не объяснил этого в письме; виноват — забыл; всё надеялся объяснить на словах. Несмотря на твои сарказмы, стихи, которые ты защищаешь, всё

остаются для меня недостойными твоей Музы — это замечание последнее и, право, только в оправдание моего болховского3 ничтожества. Если на маленькую песню «Красны девицы» сделано более замечаний, нежели на послание к Батюшкову4, то причина очевидная: в этой крошке более уродства, нежели в том великане, — а я хотел заметить всё без изъятия. Но полно. На все твои оправдания я мог бы отвечать убедительным образом; но не хочу, не хочу и никогда хотеть не буду! Оставайся при своих стихах, если ты так к ним привязан, только избавь меня от сарказмов. Другое письмо такого рода будет тебе возвращено без ответа, а следующего за ним и не распечатаю. Ты оскорбил меня своею мыслью, что я хотел тебя охолодить, — этого я не стою и долго тебе не прощу. И не скоро ты теперь дождешься от меня послания.

Прошу позаботиться о Моро и его жене5. Я рекомендую их как добрых и умных людей. Их положение несчастное и в них будешь покровительствовать людей, которых люблю искренно и которые много ко мне привязаны. Mme Moreau необыкновенная женщина. Очень жаль, что тебе не нужно иметь у своего сына никого: ей бы весьма можно вверить его первоначальное воспитание. А для тебя и твоей жены была бы она приятнейшею беседою. Она умна; автор и музыкант и обращения самого любезного. Вот стих, выпущенный из «Эпимесида»:

Врага в прошедшем видит он; Влачить забот и скуки бремя Он в настоящем осужден;

А счастье будущего сон и пр.6

À propos![[104]](#footnote-104) Не срами себя невежеством: Ивик точно существовал, и история журавлей есть старинное греческое предание7. У тебя в голове одни французы, потому-то и величественный гекзаметр, перед которым ямб есть дохлая проза, кажется тебе слабым и вялым.

Я написал большое послание к Воейкову, но ты не прежде будешь его читать, как по напечатании в «Вестнике»8.

**134.**

**П. А. Вяземскому**

*<Начало февраля 1814 г. Муратово>\**

Друг и брат! на письмо твое отвечал я сгоряча. Оно показалось мне совсем не таким, каким теперь кажется, то есть не шуточным и забавным, а только что

сердитым. Я виноватее, нежели ты. Но начало его, право, не шутка. Делать меня убийцей твоей Музы, тогда когда я ее обожатель, совсем не сварительная вещь, и это мне было больно. Я опять тебе сказываю, что мое письмо сократила надежда тебя увидеть. Теперь пишу только для того, чтобы сказать тебе, что мы ведь и не ссорились. Я писал много писем, устал, и поэтому прощай; на будущей почте поговорим о Карамзине, Муравьеве1 и о прочих конфектах.

Твой *Жуковский*

Ко мне пишет Каченовский, что книгопродавец Ширяев2 предлагает мне выдавать какой-то журнал «Народный вестник», по какому-то плану Пнина3.

Что это за план? и чего им хочется? Как ты думаешь! Порасклей эту мысль журналоиздательства. Не худо бы нам затеять что-нибудь вместе. Что ты написал нового? А я сделал послание к Воейкову, которое на следующей почте получишь для себя и потом для помещения в «Вестник». Пришли мне копию с твоих стихов. Моя готова почти и будет тебе доставлена. А сколько бишь я тебе должен за все конфекты?

**135.**

**П. А. Вяземскому**

*<Начало февраля 1814 г. Муратово>\**

Брат Вяземский, вот тебе вместо письма стихи1.

Голова болит, и перо валится из рук. Люби и присылай более стихов. Неуж ли в самом деле я палач твоей Музы. Да бишь, вот и препоручение. Купи мне экземпляр «Собрания русских стихотворений» в переплете2. Очень одолжишь. Да пришли мне список своих старых стихов, то есть тех, которые я уже имел. Здесь есть на них охотники. Между прочим, я *обещал* графине Чернышовой3 их доставить. Ради Бога, пиши, иначе я пропаду от горя. Такого убийства не было примера. Я много буду писать тебе на твое глупое письмо. Свинтус! Как можно такую бесовщину на меня взвалить. Не забывай думать о Моро4. Очень много этим меня обяжешь. Приложенного послания не отдавай в печать5.

**136.**

**А. Ф. Воейкову**

*13 февраля <1814 г. Муратово>*

Пятница. Февр<аля> 13

*Я белой книги не страшуся*1

Вчера получил твое письмо из Мценска2 и жалел, читая его, что ты, мой милый изгнанник на время из мира ангелов3 (но получивший из оного подорожную4 в мир человеков с надписью *обратно*), коптишься на постоялом дворе вместо того, чтобы пить чай в зеленом кабинете из рук Александрины5, слушаешь явную ложь из пасти Ржевского6 вместо того, чтобы видеть скрытую истину на милом лице кошачьего брадобрея7. Мой припев: приезжай, приезжай; наши дела идут сильно к развязке. Сатана, на которого я в прошедшем письме жаловался8, был, напротив, так сказать, ангел; ничто не испорчено — хотя и могло бы испортиться, — струны только более натянуты; или они лопнут, или будет совершенная гармония. При всей своей трусости верю более последнему. Друг милый, твое возвращение ускорено должно быть целым месяцем. Арбенева будет в конце февраля в Москву и в начале марта в Муратово9: ты сам должен чувствовать, что твое присутствие тогда будет необходимо. Я уверен, что по приезде Арбеневой тотчас последует и объяснение. *Она одна* совсем не то,

что *она и ты*. Одною батареею будет менее. Я завтра еду в Орел, а послезавтра к Ив<ану> Владимировичу10. Надобно его приготовить, дабы можно было его употребить наверное в пору и вовремя.

Твои дела идут хорошо; говорят об тебе как о *своем*; списывают твои стихи в несколько рук; за обедом поят кошку цимлянским вином и увещевают ее пить за здоровье *черного негра*11. А я уверяю, что все кошки от Муратова до Саратова будут тобою обстрижены и что ты привезешь к нам с собою большой пук кошачьих усов

В святой залог воспоминанья

И в верный знак, что в жизни сей

Малейшие души твоей Свершаются желанья12.

Было слово и об Иване Владимировиче. Он здесь более силен, нежели как я думал. Это открылось мне вчера. Он крестный отец Ванички Киреевского, а Екатерина Афан<асьевна> его кума. Но он сам об этом не знает, и его только имя упоминалось при крещении13. Киреевский, чудак, который всегда верил приметам, хотел иметь крестным отцом своего сына истинного христианина.

И они вместе с Екатерин<ою> Афан<асьевною> выбрали Иван<а> Владимировича, но его об этом не уведомляли. После этого как сильно будет его покровительство. О! надежда меня делает счастливым. Брат, подумай, что если устроится наша Аркадия?14 Вообрази это себе как можно живее, и пускай сердце твое обольется радостью. Я вчера с восхищением смотрел на ясное, светлое небо, и благодарность к *Создателю этого неба и надежды* наполняла мою душу. Я говорил Отцу, который скрывался за этим светлым небом: «Ты готовишь мне счастье, тебя достойное, и я клянусь сохранить его как залог милости, и не унизиться, чтобы не потерять на него право»15. В эту минуту жизнь и земля совсем казались мне иными. И я не мог усидеть в кибитке (я ехал в Чернь)16; надобно было выйти и подышать на свободе. Как бы мы жили вместе: согласие во всем, одинакие занятия и стремления к одному не по пустой скучной дороге, но вместе с верными товарищами, которых цель не особенная, но общая, и которые не могли бы желать дойти к этой цели одни. И всё это возможно — возможно потому, что мы созданы быть добрыми и знаем то, что достойно искать в жизни. Знаем, что это достойное вблизи нас и в нас самих. Брат, и то еще меня успокаивает — такое счастье было бы неверно, когда бы оно досталось легко. Но оно будет куплено дорогою ценою, и прошедшее порука за будущее. Я готов даже благодарить Создателя и за несчастье, и, верно, теперь настоящее огор-

чение не будет для меня так горько, как было. Я буду в нем видеть одну только надбавку цены: тем прочнее покупка, чем выше цена. Лишь бы сохранить надежду! И знаешь ли, что наиболее меня радует в будущем. Я самого себя вижу

лучшим: я сам для себя теперь только надежда. Мне кажется, что тот *я*, который должен еще жить на сем свете, вдали, и что я иду за ним; и что он уже мне показывается на дороге, и что я уже подымаю руку, дабы отдать ему свою жизнь и потом, сказав: «Наслаждайся», исчезнуть, уступив ему свою дорогу. Самая не-

опытность кажется для меня теперь счастьем. Я теперь как Бюффонов человек, одаренный всем совершенством жизни и вдруг пробуждающийся: так, как для него открылась вдруг вся вселенная со всеми ее красотами17, так и я должен буду получить вдруг *все* радости: семейственные, дружба, деятельность, самая религия, всё для меня еще надежда. Сон начинает меня покидать, я готов открыть глаза, чувствую *сквозь сон* всю прелесть того, что увижу… Молись же судьбе, чтобы вдруг меня не ослепило. Это значит: приезжай; и в белой книге наполнятся страницы. О, как мы опять будем торжествовать, ты, я и мой Негр (*наш* Негр18, который *плачет* от радости при каждой *моей* надежде) <в> ту минуту, в которую подам тебе *дописанного* «Владимира». Как бы ни учрежден был этот праздник, но к вечеру накануне этого дня мы должны трое, без штанов, на полу, пить рейнвейн в кабинете Негра и кричать: Э! взяла, белая книга! Прости. Обнимаю тебя.

*Ж.*

Посылаю тебе письмо Каченовского19; поразжуй на досуге предложение

Ширяева. *Нам* со временем нельзя будет обойтись без издания журнала. Надобно будет приняться без всяких шуток за ковку денег.

Положись на тебя; ты совсем забыл о Моро20. Вот об нем записка: толстый, добрый, с хорошими сведениями и правилами француз Моро, учащий языку

франц<узскому>, географии, истории и особенно математике, и жена его, знающая немецк<ий>, франц<узский> и итальянский языки, большая музыкантша, мастерица петь, да к тому же и литератор. Если нельзя поместить обоих, то одну жену, ибо муж имеет уже место.

*Та же пятница, к вечеру*

Хотел печатать это письмо21 — глядь на стол, вижу пакет. Что же? от тебя22. И откуда? из Москвы. И ты пишешь, что надеешься найти кипу писем от меня у Тургенева; а я и не воображал, чтобы ты был на дороге из Москвы в Петербург. Одно мое письмо — правда, маленькое — будет очень смиренно ожидать тебя в смиренном Балашове23. И это за ним последовало бы туда же, если бы твое письмо нечаянно не попалось мне прежде в руки. Ветреный осел! Я тебя, право, не постигаю. Ты точно из ослиного упрямства лезешь на профессорскую кафедру. Ради Бога, скажи мне, на что может быть тебе нужно теперь твое профессорство. Ты не хотел бросать надежды на него единственно для того, что другая твоя надежда казалась тебе неверною — но она теперь верна, а ты скачешь Бог знает куда и Бог знает за чем. Признаюсь, я думал, что в Рязань отзывали тебя нужные дела и не противоречил; но если бы мог вообразить, что ты едешь в Москву и в Петербург единственно для профессорства, то не пустил бы тебя и не стал бы дожидаться почты, чтобы сказать тебе, что ты ветер и… осел. От профессорства

же ты должен отказаться, совсем отказаться. Другого и думать нечего. Я думал,

что ты, переделав свои рязанские дела, воротишься в Муратово и потом, вместо того чтобы ехать за профессорством, — останешься в Муратове. Нет! ты скачешь в Петербург. И еще надеешься иметь от меня в Петербурге письма, думая, что я об этом знаю, что и в моей голове твои планы так же меняются, как в твоей. Право, никак не понимаю, чего тебе хочется. Сделавшись профессором, надобно *быть* профессором, и быть им не неделю, а целый год по крайней мере, дабы после иметь неизреченное счастье быть отставным надворным советником!24 А время? А жизнь-изменница? Всё к черту! Сделай милость, желай решительно и желай *одного*, и будь немного попонятнее — ты для меня загадка. В одном письме говоришь дело, в другом дичь, в одном желаешь *берега*, в другом *открытого моря*; но так и быть! По крайней мере, пиши обстоятельнее! Замечу тебе одно: на *небе*

очень хмурятся на твой Дерпт и говорят: или Дерпт, или Муратово. Да я и сам то же говорю, перенося самого себя на твое место. Вот всё.

**137.**

**А. Ф. Воейкову**

*20 февраля <1814 г. Муратово>*

20-е февраля

15-го числа отправился я к Ивану Владимировичу. Он пробудет еще здесь до конца мая. Это расположение для *нас* всех прекрасное. Вероятно, что он и для тебя пригодится. Я пробыл у него двое суток и 17<-го> после обеда от него поехал. Он *наш* и готов нам содействовать. Я уверен, что его слово будет иметь наибольшее влияние. Он здесь в силе более, нежели я себе то воображал. Но

если бы и ты был здесь, то всё шло бы гораздо лучше. На письме не стану рассказывать того, что случилось. Одно только то скажу, что дело приближается к развязке. Без тебя большой шаг к ней сделан. Всему бы надлежало испортиться, но не испортилось ничто, и едва ли не сделалось лучше, хотя были и жесткие минуты. Ив<ан> Вл<адимирович> смотрит на эти обстоятельства как просвещенный христианин и не видит препятствия. Как сладостна для меня мысль

ему быть обязанным своим счастьем. Мой благодетель и друг И<вана> Петровича Тургенева будет моим отцом — настоящим отцом, не случайным, но выбранным по душе и утвержденным благодарностью. Всё это меня к нему приближило, и я намерен более утвердить мою с ним связь. Оставя всё то, в чем его обвиняют, буду видеть в нем человека необыкновенного по доброте души, необыкновенного по твердости характера в государственном деле1. Всё то, что могут в нем опорочивать, объясняется мягкостью характера, может быть, беспечностью, нерадением о *собственном*2; но душа в нем прекрасная, источник

его дел чистый; он может быть в затмении для тех, которые судят об нем издали, предубежденные стечением обвиняющих обстоятельств; но тот, кто к нему близок, кто видит в нем морального человека, тот не должен повторять подобострастно мнения других; *мы все* должны в нем видеть доброго, нежного, исполненного высоких чувств человека — на остальное пускай благодарность и любовь накроют покров! По крайней мере для меня нужно теперь видеть

его только с этой стороны. Я уверен, что тесное, искреннее с ним сообщество, даже при несогласии в понятиях3, будет *для нас* благотворительно. Прочитав его записки, скажешь: *вот человек, который старается восстановить себя во мнении людей*; но в то же время как не скажешь: *вот человек, каких мало*!4 По

обыкновению своему был он довольно говорлив, много рассказывал мне любопытных вещей; жалел, что ты его не посетил; я извинял тебя необходимостью и сказал, что ты для того не поехал *теперь*, что надеялся скоро возвратиться, и тогда к первому к нему. (Дал ему почувствовать, что возвратишься за делом важным.) Он тебя очень любит5. Прощаясь с ним, я просил, чтобы он дал мне благословение. Теперь жду тебя с Арбеневой6. Вы здесь крайне нужны. Стараюсь как можно не иметь до тех пор объяснения. *Один* я бессилен, хотя уже заметно, что мысли в той голове, которая должна решить нашу участь, в большом брожении. Это предвещает кризис, и мне самому верится, что этот кризис возвратит нам всем здоровье.

Теперь ответ на твои два последние письма: одно из Рязани от 5-го числа, полученное после первого московского, другое из Москвы от 12—137. Прежде маленькое NB: ты ничего не пишешь о племяннике Букильона8, что ты сделал с вверенными тебе деньгами — по крайней мере, не забудь похлопотать об нем в Петербурге, то есть о перемещении его в Орел; а нас уведомь о пересылке денег. Также и о Фриофе9 постарайся. Эти оба письма получены 18 февраля в день моего возвращения. Мы все сидели в гостиной. Доктор с нами. Загадывали друг другу загадки. Я выставил № и число получения на письмах (единственная моя должность и единственный признак моего на них права: они же сами отдаются Е<катерине> Афанасьевне); потом начал читать их вслух. О двух предпоследних скажу, что они здесь всех тронули, и Маша благодарит тебя (как мать) за чашку. Она переписывает все твои стихи для Е<катерины> Афан<асьевны>. А Саша по ее просьбе нарисовала твой портрет с Фриофова для помещения в фронтисписе10. Счастливец! Другому бы я стал завидовать. Но ты поддевиче-

ский11 — а наше счастье общее. Худо бы ты меня знал, когда бы мог подумать,

чтобы твое не было мне утешением даже и при уничтожении *моего*. (Но *мы* будем счастливы; по крайней мере, во всяком случае, постараюсь не быть несчастным.) Впрочем, теперь в моих мыслях чувствительная перемена: вера к Провидению и надежда на него сделалась для меня необходимостью. Возможность иметь то счастье, которое единственно меня удовлетворит в этой жизни, располагает душу и к вере. Я вижу в ней большое наслаждение. Сердце бьется, когда подумаю о той жизни, которую *мы* можем еще вести в этом свете: жизнь,

обращенная на внутреннее наслаждение собою, наслаждение верное, для других невидимое, но тем более драгоценное. Брат, несмотря на твое буйное прошедшее, я уверен, что ты способен чувствовать цену такой жизни. А для нас двух, взаимно помогающих друг другу в достижении прямого счастья, такая жизнь будет легка. И желать ее совсем не есть мечта воображения. Благодарю

судьбу, что она привела меня к этой цели дорогою печали: она должна быть довольна испытанием и, верно, в будущем приготовила мне удовлетворительную замену. Но перо увело меня от моего предмета. Я хотел было затопать ногами, прочитав в твоем письме: *скачу в Петербург*12; но твои слова: *увижусь с Тургеневым* удержали на воздухе правую мою ногу, она тихо опустилась, а левая и не подумала пошевелиться. Я даже позавидовал. Обними его за *двух*, скажи ему всё, что дружба внушит твоему сердцу, скажи ему, что он мой брат, что я чту память его отца как святыню и что он почти замена для меня Андрея. Это *почти* не может быть для него оскорбительно. Об Дерпте *подумай* — и только. Здесь

*все* против Дерпта и ждут *тебя*, а не надворного советника13; желают, чтобы ты думал об *одном* решительно, а не колебался, как ты делаешь. Профессорство для тебя теперь не нужно. Колтовская <?>14 другое дело — бери с нее деньги в час добрый! Но с деньгами к нам, а не в Дерпт! (Здесь маленькое NB: будь осторожнее в некоторых выражениях, не говори, например, что ты хочешь в случае неудачи ускакать на тот свет на пуле и тому подобное. Здесь это и в шутку дерет ухо. Скажу еще: в твоих письмах ни слова обо мне. Эта материя до свидания. Тургеневу скажи обо всем, но чтобы это *всё* осталось у него в душе; к делу не приступать без моего побуждения.)15

Ответ на второе письмо. *1 пункт*, здоровье. У Ек<атерины> Аф<анась евны> была дважды без тебя сильная мигрень с своею жестокою спутницею рвотою. За последнюю можно поблагодарить, кажется, первую неделю поста16, которая comme de raison[[105]](#footnote-105) снабжала желудок ее грибами, пустыми щами, капустою и тому подобным; эта *неделя*, по несчастью, выговоренная — но порадуйся: она постничала не всю неделю. Слава тебе! Саша была во всё время здорова. Маша здорова, но слаба (следствие не физического, но морального расстройства). Видишь ли, как ты здесь нужен и как не нужно профессорство. *2 пункт и прочие.* Плещеевы были у нас один только раз, а мы у них ни разу, и не думаю, чтобы скоро собрались. Из этого *мы* исключаюся *я.* Шахматы отложены до свидания17, и в них играть не *хотят*. На учтивость Кутузова сделаю одно замечание: он не может быть *добрым* кстати. Здесь истинное добро было бы не давать тебе атте-

статов18. И ты еще требуешь, чтобы я переводил отрывок из Виргилия. На что он тебе?19 Ради Бога, будь посогласнее с самим собою! Чего ты хочешь? Профессорство и Муратово исключают одно другое, — а ты желаешь и того и другого! Непонятно. В ответе твоем Антонскому20 есть погрешность: я не имею еще чина — счастливого! Я только еще кандидат и нахожусь в герольдии Надежды в списке Терпения. Обвинения Антонского насчет забывчивости его воспитанника и прочего тронуло меня за живое — я виноват перед ним21. Жду с нетерпением и, признаюсь, с недоверчивостью той минуты, в которую упаду на колена и воскликну: *Виноват! Я не понимаю тебя.* Чтобы избавить меня от несчастья *не понимать*, лучше бы всего было объясниться! Твоя таинственность не есть ли доказательство, что ты не имеешь способа сделаться понятным и сам еще не понимаешь себя, а следуешь какому-то темному влечению? Смотри, чтобы не увело это влечение тебя в тину. Натал<ья> Андр<еевна> благодарит тебя очень за дружеские твои заботы о ее брате22.

Очень любопытен знать суждение *братии* о «Певце»23. Отсюда вижу Иванова, который врет матерщину и думает, что делает острое заключение24; Кокошкина, который топорщится и всякому хорошему стиху дает как министр

одобрение, а при дурном смотрит на Мерзлякова, читает на его лице мысль, которую ловит на полете и выдает важно за свою25; Мерзлякова, который сердится и дуется и решительно громит меня правилами, неясно им предлагаемыми26; Каченовского, который цитует Ломоносова и судит с пренебрежением27. Несмотря на то, желаю знать приговор священного ареопага и уверен, что будут справедливые замечания, хотя и с предубеждением сделанные, ибо, что ни говори, а у этих господ муза моя не в кредит. Простота кажется им прозою. Я очень пеняю тебе за то, что ты не видал лучшего из нашей братии, *Вяземского*; могу извинить это разве одною твоею *дикостью*; но Вяземского тебе любить дóлжно — он добрый и благородный детина, а стихотворец будет прекрасный, и вкус его самый верный. Не заводя партий, мы должны быть стеснены в маленький кружок: Вяземской, Батюшков, я, ты, Уваров, Плещеев, Тургенев — должны быть под одним знаменем: *простоты и здравого вкуса*. Забыл важного и весьма важного человека: *Дашкова*. Обними его за меня по-братски. Министрами просвещения в нашей республике пусть будут *Карамзин и Дмитриев*,а папою нашим *Филарет*28. *Мы* с тобою будем трудиться там, в Суринамском уголке29, и верно, верно отдадим со временем святой долг отечеству; *остальные* на открытой сцене света будут нашими ободрителями, сотрудни-

ками и судиями. Их мнение будет и наградою нашею, и нашим законом.

О прочих здесь останемся беспечны!30

Брат, брат! вообрази нашу Суринамскую жизнь, вообрази наш тесный союз, наше спокойствие, основанное на душевной тишине и озаренное душевными радостями; вообрази труд постоянный и полезный, не рассеянный светским шумом, но делимый и награждаемый в тесном круге самыми лучшими людьми; вообрази, что у нас, сверх того, будут и верные друзья, одобрители и

сообщники — Тургенев, Уваров, Кавелин, хотя и вдали, но всё наши: вообрази, что мы будем иметь все наслаждения чести без малейших ее невыгод, вообрази, что мы трудимся вместе, вместе располагаем, утверждаем свое счастье, служим друг другу подпорою и в горе.

Сообрази всё это и благодари Провидение, которое внушило тебе мысль посетить

*Жуковского*

**138.**

**М. Н. Свечиной и А. Н. Арбеневой**

*7 марта 1814 г. <Муратово>*

7 марта 1814

По несчастью, Ваше письмо получил я поздно, милая Марья Николаевна

(это письмо для вас обеих, мои добрые сестры). Я отвечал к Вам на ваше последнее маленькое, которое вы написали вместе. Но это, на которое теперь отвечаю, получено мною гораздо после1. О, почта! почта! Очень досадно мне такое замедление. Несмотря на то, что Вы говорите мне в своем письме о том человеке, которого не знаю и которого мнение должно быть так для меня решительно, я всё боюсь2. Боюсь его образа мыслей; боюсь предрассудка, которым могут быть определены эти мысли; боюсь влияния, которое могут они иметь на Ваши собственные, которых согласие с моими так для меня важно, потому что на Вас более, нежели на ком-нибудь, основаны мои надежды. По всему вижу, что никто не может принять с таким жаром мое счастье, *наше* счастье к сердцу, как Вы. Что же если и Ваше мнение сделается ему противоположным? Для меня самого сомнения нет — но что же я? Бедный, бессильный невольник, которому оставлена

свобода только беситься на свой жребий. Всё мое лучшее в чужих руках. Жаль очень, что Ваше письмо получено поздно. Я бы Вас предупредил и представил

Вам другой способ, такой же точно, как и Ваш, но, мне кажется, более успешный. Впрочем, и теперь еще время не ушло. Вот в чем дело. Удивляюсь только, как это средство не пришло мне в голову гораздо прежде. Всё бы, может быть, давно уже было решено. Я сам имею здесь человека3, который с самой нежной молодости мною любим, который был благодетелем лучших моих друзей, уважавших его как отца и теперь к нему привязанных, который был другом лучших людей нашего времени, истинного христианина, но христианина не суевера.

Я говорил с ним искренно, говорил с ним как с отцом — это имя останется ему теперь навсегда. Он меня одобрил, он меня благословил, он сказал мне, что на месте тетушки ни минуты не поколебался бы сделать наше счастье.

Такое одобрение меня ободрило. Тетушка его знает, имеет величайшую доверенность к его правилам и большое уважение к его характеру4 — этому имею несомненное доказательство. Мнение такого человека было бы решительно,

если бы оно было поддержано Вашим, милая Авдотья Николаевна. Сколько для нее убеждения! С одной стороны, одобрение человека, которого христианство несомнительно; с другой стороны, Ваше согласие и, что всего важнее, — счастье ее детей, и с ним собственное ее счастье. Положим, что тот, с кем Вы советовались, противоречит нам своим образом мыслей. Я с своей стороны представляю Вам другого, которого правила с этой стороны тверды, которого жизнь и мнения всегда были основаны на чистом христианстве. Вот два христианских разных мнения. Которое же из этих двух мнений справедливо? Но как же сомневаться? Конечно, то мнение, которое дает счастье, а не то, которое его разрушает. Здесь могу напомнить Вам, милая Марья Николаевна, еще о том, что я от Вас же самих слышал. Ваш отец был истинный христианин. Но какие же были его намерения?5 Кого готовил он Вашим мужем? И что, если бы его планы не исполнились, — не были ли бы Вы во сто раз счастливее? Нет! никогда не могу оскорбить Создателя своею мыслью, чтобы то, что производит настоящее

счастье — *спокойствие души, привязанность к жизни, деятельность, даже вера*, было противно Его закону. Согласен. Тетушка с одной стороны права. Не разбирая справедливости ее мнения, она слепо считала его сообразным с законом Божиим и на нем основывалась. Теперь дело в том, чтобы решить, что важнее: мнение или счастье милых ей людей? Не должно ли это счастье быть побуждением, чтобы разобрать, нет ли ошибки во мнении, ибо здесь ошибка ужасна. Можно ли иметь привязанность ко мнению, слепую и даже жестокую? Если это мнение уничтожает истинное счастье — не есть ли уже это *почти* доказательством, что оно ложное? Бояться смерти одного из нас, как наказания свыше за преступление! Кто дал ей право на такую боязнь, и на чем может быть она основана? Есть суеверы, которые от просыпанной солонки ожидают несчастья! Итак, мне стоит вообразить себе всякую нелепицу и на этой нелепице основать свои поступки, и потом освятить их еще именем закона. Где же понятие о Боге? Бояться нашей смерти и, чтобы избавить себя от этого несчастья, самой готовить ее и давать преждевременную, настоящую смерть счастья, уничтожающую не физическую, но моральную жизнь! Прежде нежели она уверена, что Бог накажет преступление, она уже заступает Его место, и наказание предупреждает преступление. А преступления нет и не будет.

*Если тебе надобно принести великую жертву*, пишете Вы, *ты принесешь ее*

*Отцу Небесному*. Правда, принесу великую жертву; но совсем не Отцу Небесному; не хочу и оскорблять Его такою жертвою. Она Ему противна. Я в этом уверен. Буду уверен до конца жизни. Я принесу жертву какому-то чудовищу, которое называют Богом, а не моему Богу, который в моем сердце. Принесу жертву как связанный человек, который *соглашается*, чтобы его зарезали и в глазах его зарезали лучшего его друга; соглашается, потому что не может перервать цепей своих. Тут нет покорности, и я не считаю такого несчастья ни для кого нужным. *Великодушия оставить всякое земное чувство, быть ей братом, быть тетушке сыном*, как пишете Вы, я иметь не могу, потому что здесь и иметь его будет не можно. Это могло бы сделаться прежде, если бы с одной стороны была доверенность; но я не имел и того, на что имел право. Теперь этого иметь и не надеюсь. Я не предполагаю себе никакого счастья возможным в доме тетушки.

Уверен, что она была бы мною истинно счастлива с одним только условием; без этого условия мы должны *навсегда* расстаться, и на это я готов. Прошедшее есть для меня образец будущего; что было прежде, то будет и вперед. Как же снесть

такую жизнь? Прежде, по крайней мере, оставалась у меня надежда на перемену; она давала мне силу; счастье будущее (и то счастье было бы истинным) украшало для меня всё печальное в настоящем; но без этой надежды я не могу

сносить того, что было сносить довольно легко. Быть только *терпимым*, иметь только *приют* от холоду и голоду там, где я хотел бы *жить*. Можно ли на это согласиться? Быть разрушителем спокойствия Маши, сносить подозрения и даже пренебрежения без всякой надежды, чтобы это было во что-нибудь вменено, — это всё выше меня. Да это же было бы противно и счастью Маши. Ее спокойствие должно быть правилом моих поступков. Если не буду иметь возможности дать ей счастье, то по крайней мере хотя не отнимать того, что ей останется. Когда-нибудь и тетушка будет жалеть; но такое сожаление ужасно! Оно будет и позднее, и бесполезное.

*12 февраля*, день, в который я поехал к Ивану Владимировичу6, если уже надобно его назвать, был для меня одним из счастливейших в жизни. Неужели надежда, которая тогда наполнила мою душу, есть обман! Эта надежда была чи-

стая; могу ли не почитать ее тайным голосом одобряющего Божества? Я в эту минуту живо и ясно чувствовал, что *можно быть счастливым в жизни*. Такого

сильного чувства еще и не помню. Я не молился, то есть никаким выражением не объяснял то, что стеснялось в моей душе; но то, что было в моей душе, — была клятва, которую давал я Богу *удостоиться* того счастья, которое мне в этой надежде изображалось. К этому присоединялась для меня еще другая, лучшая мысль: я видел там самого себя не таким, каков я теперь, но лучшим, новым, живым, а не мертвым. Вдали, как будто сквозь тень, представлялось мне

совсем новое существование: спокойствие, душевная тишина, доверенность к Провидению, словом, всё, что составляет настоящее бытие человека. До этого времени, признаюсь, я замечал какую-то холодность к религии — предрассудки

ее слишком для меня были убийственны; но в эту минуту, с живою надеждою, оживилось во мне и живейшее чувство ее необходимости. О, как она нужна для того, чтобы счастье было просто и чисто! Я еще не могу себе представить этого счастья ясно; всё это есть не иное что, как предчувствие чего-то необыкновенно приятного. Вижу тихую и вместе самую деятельную жизнь: тихую, потому что

она ограничится самым тесным кругом, из которого ни шагу; деятельную, потому что всё обратится на *себя*. Столько чувств, которые во мне погибали даром, вдруг получили бы свободу! Вдруг иметь все святейшие связи, о которых я имел одно только понятие, но понятие грустное, потому что оно только давало мне чувствовать их недостаток; и, сверх всего этого, вера живая, идущая из сердца вера, не на словах, не на обрядах основанная, но вера, радость души, ее счастье, ее необходимая подпора, ее жизнь: чувство, доселе совсем почти незнакомое мне, убитое одиночеством, заглушенное непривязанностью к жизни. Что сравнится с таким приобретением и как не быть привязанным более, чем к жизни, к тому, кому был бы им обязан? А это — она! Верить вместе с нею благому Провидению и ему вручить *с ней* всю жизнь свою и все свои надежды! Повторяю опять: я чувствовал до сих пор одно только отдаление от религии; она казалась мне убийцею моей жизни; уважать ее значило для меня — соглашаться с предрассудком, разрушителем моей надежды. Но теперь в каком новом свете она представляется моему сердцу и как считаю ее нужною для истинного счастья! Вместе с таким милым товарищем искать в вере прямого блага — это было бы для меня новою наукою, которой бы скоро я выучился, ибо она необходима для жизни. Вместе с нею готовиться здешнею жизнью для будущей и в этом

одном заключить свою жизнь: иметь одну эту цель, не заботясь о постороннем. Здесь, право, не вмешивается никакая мечтательность. Всё это для меня в будущем, и всё это возможно! Такое счастье было бы твердо, ибо оно было бы нашею пищею; мы имели бы его в глазах нашей матери, им счастливой. Такая жизнь, непонятная для большей части претендентов на счастье, была бы нашею без раздела, тихою, скрытою от ненужных свидетелей; она не призрак, но она только внутри сердца существовать может. И целая прошедшая жизнь меня к ней приготовила. Я даже рад бы был благодарить Провидение за все прошедшие потери и горести; они — достойная цена за такое счастье. Без них можно бы было его страшиться. Но оно будет купленное, и дорого.

Я точно теперь похож на такого человека, который видел один только сон жизни, прекрасный, восхитительный, но знал, что это сон и что он только видел его в горячке и им не наслаждается, и вдруг чувствует, что к нему приближается Ангел, чтобы его разбудить, и говорит: *проснись, чтобы жить*. И он готов встать с полным понятием о жизни, с полною готовностью ею воспользоваться, как человек слепой от рождения, знавший только по слуху о красотах мира и вдруг получающий зрение. Для меня в жизни всё еще будет *новым*, но я приготовлен к нему *лишениями*. Довольно!

Скажу вам в заключение, милые мои друзья, сделайте с своей стороны *вы* *всё*, что можете, чтобы дать нам это счастье. В И<ване> Владимировиче будете иметь сильного помощника; только не откажитесь с ним вместе действовать. Я уверен, что все вместе вы перемените образ мыслей тетушки. Я уверен, что она сама обрадуется случаю от него отказаться. Сделаем всё, что от нас зависит; остальное представим Провидению. Простите.

*<Середина марта 1814 г. Болхов>*

Благодарю тебя, милый друг, за исполнение моей комиссии1, и вот тебе в благодарность другая, которую постарайся так же, если можно, исполнить. Дело состоит в том, чтобы успокоить бедную мать насчет ее сына2; а эта мать была другом моей, из чего можешь заключить, как желаю исполнить ее требование. Сын ее в военной службе. Вот об нем записка: 1807го года декабря 23 вступил он в ординарцы унтер-офицером в Московский конновоенный полк; 1809 ноября 18 переведен в 19 егерский полк юнкером; 1812 февраля 28 произведен прапорщиком в 17 егерский полк, который теперь в Грузии, на персидских границах. Имя моего клиента Григорий Ильич Астраков3. Просьба состоит в том,

чтобы из той армии он переведен был в здешнюю. Нельзя ли этого сделать и как сделать? Постарайся, друг милый. Мне это будет большим одолжением.

Критика твоя на *горшок*4 кажется мне несправедлива; я не стою за красоту стихов своих, но здесь эта черта характерная — она изображает *обычай* народа; уже это одно делает благородным слово горшок; сверх того оно прикрашено эпитетом *братский.* Напрасно ты не сделал бóльших замечаний. *Из коих деды их стреляли*. Это кажется тебе прозою? Не знаю — могу ошибиться; но тут нет ни поэзии, ни прозы. Впрочем, всякий стих, на который уже сделано замечание человеком, стоящим доверенности, приходит для меня в упадок. Читал ли ты со вниманием заключение этого послания? Молись, брат, чтобы в моей белой книге5 наполнились страницы. Об издании же моих стихов не думай. У меня здесь все они переписываются в том порядке и формате, который должен быть при напечатании; этот список ты получишь. Прости.

Твой *Жуковский*

Обними Воейкова6; скажи, что у нас все здоровы и что я уже написал к нему 5 писем. Получил ли он их? Вот как вещи меняются! В то время, когда я писал к тебе о профессорстве Воейкова, я прибавил: от этого может зависеть его сча-

стье; теперь говорю: ему необходимо для счастья отказаться от профессорства.

Поэтому и прошу тебя употребить все усилия, чтобы ему не давали кафедры7. *24 марта <1814 г. Муратово>*

24 марта

Мой милый друг, я очень много обязан тебе за скорое исполнение моей комиссии о François1. Но еще нет об нем никакого слуху. Осведомься, послано ли в Тамбов приказание о его перемещении. Я писал к тебе на последней по-

чте об Астракове2. Получил ли ты мое письмо? Можно ли сделать что-нибудь по моей просьбе? Утешь, друг милый, бедную мать, которая с большим горем просила меня о своем сыне. На всякий случай опять повторяю здесь, в чем со-

стоит просьба: письмо могло, как и многие, писанные мною к тебе и к Воейкову, пропасть. Вот в чем дело. Прапорщик Григорий Ильич Астраков, вступивший в службу 1807 года декабря 23 ординарцем с чином унтер-офицера в Московский конновоенный полк, переведенный 1809, 18 ноября в 19 егерский полк юнкером, а потом 1812, февраля 28 дня, с чином прапорщика в 17 егерский полк, находится теперь в Грузии за Елисаветполем. Ему более всего хочется перейти в здешнюю армию; да и полк его 17 егерский, кажется, здесь же; в Грузии один батальон, не более. Нельзя ли этого сделать? Одолжи меня, брат и друг, и не замедли уведомить, есть ли надежда, чтобы это могло исполниться.

Я просил и тебя, и Кавелина о докторе Фриофе3. Что об нем слуху?

Наконец на закуску еще просьба о докторе же. Здесь есть в Орле Гаспаридоктор4. Он еще в прошлом году представлен к Анне 2-го класса. Прилагаю при

сем его письмо об этом предмете. Что сделано по этому? Люди, с ним в одно время представленные, получили награждения; а он нет. Узнай, похлопочи. Меня одолжишь много; а одолжить доктора не безделица; он министр смерти, следовательно защитник жизни и часто, что бывает также по обстоятельствам весьма выгодно, ее истребитель. К Воейкову не пишу, предполагая, что он в дороге. Он бранит меня за то, что пишу к нему мало, а я написал уже к нему шесть писем и получил ответ на одно только из них. Что же делать с почтою? Теперь у меня готово к нему письмо, но я его не посылаю, а отдам из рук в руки. Прости. Обнимаю Кавелина. Самый усердный поклон Уварову.

Твой *Жуковский*

*<26 марта 1814 г. Муратово>*

Nei giorni tuoi felici

Ricordati di me![[106]](#footnote-106)1

*В день счастья* вспомнить о тебе! На что такое, друг, желанье?

На что нам поручать судьбе Священное воспоминанье? Когда б любовь к тебе моя

Моим лишь счастьем измерялась И им лишь в сердце оживлялась, — Сколь беден ею был бы я!

Нет! нет! мой брат, мой друг-хранитель! Воспоминанием иным

Плачу тебе! Я *вечно* с ним!

Оно мой лучший утешитель!

*Во дни печали* ты со мной!

И, ободряемый тобой, Еще я жизнь не презираю!

Ты судия избранный мной!..

О! что бы ни было… я знаю, *Где* мне прибежище обресть,

*Куда* любовь свою принесть, И *где* любовь не изменится, И *где* нежнейшее хранится Участие к судьбе моей!

Дождусь иль нет *счастливых дней*, О том, мой милый брат, ни слова!

Каким бы я ни шел путем — Всё ты мне гением-вождем! Со мной до камня гробовова Не изменяясь, друг, иди!

Одна мольба: не упреди!2

Вот тебе ответ на твои два италианские стиха, которых всю цену и всё значение понимаю и чувствую. Не думаю, однако, чтобы когда-нибудь удалось по ним исполнить. Но ты от этого ничего не потеряешь. Воейков польстил мне

надеждою, что ты соберешься ко мне. Не верю. То, что я писал к тебе в одном из моих писем о неисполнении по его желанию относительно до профессорства,

есть шутка3. Но он беспокоился, чтобы ты шутки не принял за дело. Итак, эта просьба должна быть оставлена без внимания. Не забудь о Гаспари, Астракове и François. Люблю тебя и обнимаю.

Твой навсегда *Жуковский*

Мое усердное почтение С. С. Уварову. Он как будто обещал мне английских книг, W. Scott4, etc. etc. Нельзя ли ему напомнить? Скоро будет от меня к нему цидула. Дашкова обнимаю и буду к нему писать5.

**142.**

**П. А. Вяземскому**

*<Около 30 марта 1814 г. Муратово>\**

*Воистину* прекрасно вопреки твоей антихристианской критике1, и такая критика совсем не делает тебе чести. Разве никому еще не удавалось тебе сказать: *Христос воскресе*! и разве никто не отвечал тебе *воистину*? Разве не видал ты священника, стоящего на амвоне с крестом, и не слыхал, как весь народ отвечает ему: *воистину*! Это самая торжественная минута заутрени. Христос воскресе! есть для нас лучшее слово во всей религии нашей: оно уверяет нас в бессмертии. И чье *воистину* может быть утешительнее того, которое говорит нам дух наших друзей или (что всё равно) воспоминание наше о потерянных наших друзьях! Одним словом, ты не лучше меня критикуешь, и я имел бы право отвечать тебе таким же письмом, каким одолжил меня ты сам.

Одушевленны табунами2.

Стих этот кажется мне без погрешности — всё живое одушевляет. Здесь дело идет не о бессмертной душе, но о живости, которую сообщает мертвой природе присутствие всякого животного. По сходству можно движение принять за душу. Это кажется не есть licence[[107]](#footnote-107), а самое простое выражение, даже и в прозе позволенное.

Что сделал ты, певец лукавый,

Мою ты душу погубил!3 —

Правда! правда! Стих матушки Еремеевны! Поправлю его, если не испорчу. В «Ивиковых журавлях», признаюсь и сам, есть некоторые стихи *образные* — виноват Шиллер, автор этой баллады4, виноват тем, что прельстил меня своим слогом и не позволил мне от себя отдалиться. Я хотел выразить близко и выразил темно. Но содержание этой пиесы прекрасное. По содержанию она лучшая. Эвмениды5 делают большой effet[[108]](#footnote-108). И всё греческое. Жаль, если она дурна. Себе самому не верю, но, право, не нахожу, чтобы она была такая злодейская пиеса,

чтобы уж надлежало ее предать смерти.

Теперь слово о твоих стихах. Напрасно ты мучил и себя, и меня глупою мыслью, что у тебя нет большого таланта, и твердил вслед за богинею глупости c’est un demi-caractère[[109]](#footnote-109)6 и пр. Вздор и пустяки! Demi-caractère! Ты не можешь еще себе решить, к чему особенно влечет тебя твой талант; всё до сих пор написанное было мелочи — но все эти мелочи были написаны с тем дарованием, которое им прилично. И теперь всё написанное тобою в роде Буфлера7 гораздо выше ставлю буфлерова! Острота истинная, непринужденная. Никогда выражение не портит мысли — напротив, ее усиливает и украшает. Вот талант. До сих пор мне казалось, что тебе сатирическое и остроумное более свойственно. Но и во всех других родах ты всегда au niveau de sujet[[110]](#footnote-110). А *главная мысль, служащая основанием, и план* всегда стихотворны. Вот общее мнение о твоем таланте. Из присланных новых твоих стихов: «К двоюродной сестре»8 прелестно, все прочие

читать весело и весело перечитывать — а это главное! Избави Бог от чести быть уважаемым и нечитанным. Для меня приятнее быть автором двадцати лафонтеновых басен, нежели огромной «Мессиады»9, которая величественно скучна.

Из присланных «Письмо из Казани» и песня «Пускай монах»10 совсем мне не нравятся. Изорвать их! Да не забыть прислать мне полный список твоих творений и всего, что есть у тебя из стихов Батюшкова. Ты славишь меня по Москве, а я хочу расславить тебя по уездам. Пиши, друг. Собрание твоих стихов будет кладовою острых и прекрасных мыслей, в которую и потомки будут заглядывать с надеждою обогатиться. Но прими совет от дружбы, которой дарование твое драгоценно. Не унижай таланта своего злословием. Я слышал,

что ты написал Noël, где множество злого остроумия11. Поверь мне, что такого рода сочинения не сделают никогда чести и могут быть причиною несчастья. Тебе необходимо дóлжно дорожить своим спокойствием — ты отец семейства. Одному позволено и погибнуть, но, имея священные связи, нужно быть и уважаемым, и любимым. Слава остряка не есть еще слава. Одобрительный хохот некоторых чудаков не есть еще одобрение, и человеку с твоим умом и характером такое одобрение постыдно. На снурке самолюбия водят тебя шалуны и показывают обществу за деньги. А ты в угодность им покрываешь себя бесславием, тогда как тебе открыта совсем другая дорога. Твой Noël есть пасквиль, и пасквиль, достойный не только презрения, но еще и наказания. Ты нападаешь на честь и репутацию людей, поставленных самим государем на высокую степень. Заслуживают ли они это или нет — о том ни слова! Но твое ли дело — в двадцать лет — быть обвинителем и, может быть, клеветником. Признаюсь, меня жестоко огорчила эта пиеса, и для меня больно воображать, что теперь и такие люди, которые тебя не стоят ни по уму, ни по сердцу, имеют *право* нападать на твое доброе имя. Еще одна вещь меня тронула больно: мне сказывали, что ты всё продолжаешь играть! Что со временем из этого выйдет? Бедствие! Но в состоянии ли ты приноровиться к несчастью? С пылким и неукротимым твоим характером! Не забудь, что ты теперь не один! Одному всё сносно! А жена? а сын? Или всё это должно быть принесено на жертву минуте! И для тебя еще нет никакого *образа жизни*! А всё определяется одним мгновением, и *завтра* может для тебя уничтожить всё сделанное *нынче*! На что же ум и талант? Ты можешь жить и быть счастлив! Брат, кто имеет средства пользоваться жизнью, у кого ничто не отнято, что может возвысить душу, и кто всё это отвергает — тот в глазах моих низкий человек, и тем более низкий, чем он выше других по тем способам, которые дали ему и счастье, и природа. Не называй меня проповедником пошлой морали. Здесь дело идет о твоей судьбе. А для нас, друзей, не должно быть ничего отдельного, и наша судьба есть общее наше благо или несчастье. При всем твоем уме тобою правит всегда одно *первое впечатление*. Карабанина12 не полюбил ты за его распухлую жопу и по жопе судишь о его голове и сердце. Он странен — может быть! Но этот порок ужасен для глаз светского человека, привыкших к формам приятным. Я имел случай видеть на опыте и в обстоятельствах для меня важных, что он имеет доброе сердце, имеет и ум — не для всех открыта уборная большого света, в которой и глупость иногда надевает маску остроумия. Гнедичево послание к Хвостову13 также напрасно навлекло на себя твою анафему: тебя поразил один стих:

Но ты, о ревностный поклонник Аполлона.

Не то же ли этот стих, что Карабанина жопа, он заслонил перед тобою все прочие стихи, между которыми многие прекрасные. Вообще всё послание мне нравится. В нем виден талант. И самый этот стих, который ты критикуешь, есть более насмешка над Хвостовым, нежели ему похвала, по связи своей с предыдущим и последующим. Лучше к Хвостову написать не можно. К Муравьеву14

ты несправедлив. Мысли его о математике и воспитании прекрасны. В последнем письме о французском языке есть много разительно справедливого и вообще письма его писаны хорошим слогом, показывают мыслящего человека; если в иных местах и проскакивает фанатизм, то это еще не дает тебе права закрывать глаза на другие хорошие стороны. Зачем быть фанатиком цинизма? А *Филарет*?15 Как не отдать ему надлежащей чести! Этот человек имеет великое дарование оратора! Не сужу об нем в других отношениях — на это еще не имею права, но в слоге истинное красноречие, и дай Бог нам иметь поболее Филаретов! За что нападки на *Витгенштейна*?16 Досадно и больно. А письмо к Измайлову!17 Но говорить об нем не нужно! Ты сам каешься! А он точно *не разобрал* твоей руки (это я слышал здесь), иначе бы твои стихи были напеча-

таны! Буйная голова. Но полно браниться. Ты дурно поступишь, если на всё это будешь мне отвечать сарказмами! Они ничего не поправят — а могут много испортить. Из тех, которые окружают тебя в Москве, верно, нет ни одного, которому бы твое счастье так было дорого, как мне, то есть твое настоящее счастье! Там у тебя выигрывают деньги и бьют твой характер, созданный быть прекрасным и высоким, — а я хочу выиграть одну только твою любовь, основанную не на остроумии, а на взаимном уважении. Итак, прошу не хмуриться.

Слово о журнале. У меня есть в голове прекрасный план; но об нем ни слова. Надобно только, чтобы этот журнал имел и достоинство журнала, пленяющего на минуту и в минуту забываемого, и достоинство хорошей книги, которую всегда перечитывают. План сообщу со временем и подробный. Ты аппробуешь тогда, имея les preuves dans la main[[111]](#footnote-111). Просто быть журналистом, то есть занимать праздное внимание приятным вздором, не стоит; талантам цель лучшая: полезное занятие и влияние более обширное на вкус и нравственность. Издание этого журнала зависит от обстоятельств. Молись за меня судьбе. Aut

Cezar, aut nihil[[112]](#footnote-112).

В заключение просьба, которую прошу не отринуть для дружбы. Я несколько раз писал к тебе о Madame Moreau18. Она заслуживает всё твое внимание по уму и по достоинствам характера. Она без места, в самых тесных обстоятельствах, обременена семейством и долгами. Этот подвиг тебя достоин; помоги ей продраться если не к счастью, то по крайней мере к спокойствию. Приищи ей место. Смело ее рекомендуй. Постарайся сам с нею познакомиться. Ты увидишь сам, что она имеет в себе много, что заслуживает уважение, а главный повод к уважению — несчастье. Мать семейства — и вместо всякого пропитания долги и необходимость вверить себя и с детьми произволу людей неизвестных. Такого рода положение самое тягостное. Непременно найди ее. Сотвори благо во имя мое. Ее адрес: на Моросейке, в доме Казакова19, у госпожи Зубовой. Я уверен, что она у тебя в доме была бы не лишняя, и прекрасная компания для княгини. А со временем и твои *дети* смогут иметь в ней нужду.

Кажется, всё сказано, что хотелось сказать. Что же не шлешь мне Собрание русских стихотворений20 и списки своих стихов? Всё это мне нужно. Что же пародия на «Певца»?21 Ты человек аккуратный на комиссии. Пошли к Попову22 и проси его, чтобы отдал тебе мой перстень, и перешли его ко мне.

Кончу лучшим: Христос воскресе! Это значит, что моя к тебе дружба бессмертна. Помни обо мне и в хорошие, и в дурные минуты. Вид друга, товарища жизни есть всегда приятный посетитель.

Воейков опять у меня — или, лучше сказать, не у меня, а у своей невесты23. Приехал к дружбе, а подле нее нашел и любовь. А поп с венцом как тут — он женится. Ты знаешь его невесту, Александру Андреевну Протасову. Она бывала и у вас, но вероятно, что ты ее проглядел по милости близорукости. Тем лучше для *Веры*24. Скажи ей мой дружеский поклон, надеюсь, что она уверена в моей к ней привязанности.

**143.**

**А. А. Прокоповичу-Антонскому**

*30 марта <1814 г. Муратово>*

30 марта

Христос воскресе1, почтенный мой благодетель Антон Антонович! Здоровы ли Вы? Еще не имею от Вас ответа на мое письмо, писанное из Орла2, но смею надеяться, что Вы простили *своего* Жуковского, который почитает Вас душевно и во всю жизнь почитать не перестанет. Это письмо пишу для того, чтобы представить Вашему покровительству молодого человека, желающего быть моим потомком, т. е. воспитанником Вашего пансиона2. Представляю Вам нового кандидата для получения Ваших благодеяний и для платежа за них благодарностью и привязанностью. Прошу Вас принять его. Он не имеет ни отца, ни матери. Его

единственная покровительница — молодая двадцатилетняя сестра, которая одна беспокоится и за самое себя и еще должна пристраивать своих братьев. Ваше к ней благодеяние будет милостью, а сироте благотворением. Не откажите3.

На одной из следующих почт доставлю Вам должные мною Вам деньги, тысячу рублей. Проценты за 1813 Вам не заплачены — это верно. Но заплачены ли за 1812? Право, этого не помню. Уведомьте. Да я и еще сверх тысячи останусь

сколько-то Вам должен. И об этом прошу меня известить.

Будьте здоровы, почтенный мой благодетель. Пишу к Вам мало оттого, что мне еще очень много писать надобно. Прошу Вас не замедлить уведомлением меня о себе.

Подательница этого письма есть самая девица Голостеева4; будьте к просьбе ее благосклонны.

Честь имею быть Вашим вечно преданным

*Жуковским*

**144.**

**А. И. Тургеневу**

*30 марта 1814 г. Муратово*

Воейков был сильно растроган за минуту до того, как взялся за перо, чтобы к тебе писать, *мой брат, мой друг-хранитель*. Хотя дело идет и обо мне, но я в эту минуту похолоднее. Вот в чем это дело. Авд<отья> Ник<олаевна> Арбенева, которую ты должен знать1, женщина очень умная, но, как теперь слишком поздно для меня открылось, более энтузиаст, нежели чувствительная и добрая, очень

любима и уважаема Екатер<иною> Афанасьевной, матерью моей доброй Маши. Она имела и показывала ко мне большую дружбу, и теперь, вероятно, имеет ее. Но чего не уничтожит суеверие? Я писал к ней, просил ее всё переделать в мою пользу; она горячо вступилась за нас обоих, и всё пошло бы прекрасно, когда бы не замешался монах2. Он грозит гневом Неба и испугал ее суе верным страхом. Теперь видит она необходимость *всё разрушить*, и вот что пишет к своей сестре3 — читай приложенное письмо. По счастью, ей самой сюда быть не можно. Екатер<ина> Афан<асьевна> не поедет в Москву. Я же написал к Арбеневой такое письмо, которое если не обратит ее в мою сторону, то по крайней мере не даст ей нам вредить. Итак, время выиграно. Но ты что можешь для меня сделать? Не зная нисколько, до какой обширности простирается твое антифанатическое могущество, ничего не требую. Но вот мои мысли. Нельзя ли затащить на нашу

сторону Августина4 и заставить его внушить Филарету, чтобы он и поправил испорченное, и успокоил тот страх, который сам произвел? Это было бы всего действительнее. Впрочем, всё оставляю на твою волю. Ты знаешь лучше. Мое счастье тебе дорого. Оно же для меня *в одном*. Потеряю это, и *всё* пропало. Может быть, и Досифей5 со временем нам понадобится. Тогда тебе же действовать. Прости, бесценный брат. Стихи, сочиненные на твои два стиха италианские6, написаны для тебя, и для нее7, для двух *нераздельных в моем сердце.* Твоя бумажка будет всегда при мне. Первый день счастья запишу на ней. Христос воскресе!

Не худо ли я объяснился? Тебе надобно писать к Августину, изобразить ему мои обстоятельства, требовать его участия, зацепить его самолюбие и заставить его (не *самого*, ибо от этого всё дело испортится), но чрез Филарета, действовать на ум Арбеневой. Можешь ли это сделать? Только будь осторожен. Нельзя ли скрыть мое имя и имя Маши от Августина, а назвать в письме одну только Арбеневу (Авдотья Николаевна)? Если это возможно, то пиши скорее.

Не говорю: оставь свою лень! Ведь дело идет о счастье жизни моей.

Еще одна важная заметка: в письме своем к Августину говори с ним искренно и проси его, чтобы он скрыл свое посредство и чтобы строго приказал Филарету не открывать того, что он (Августин) в это дело вмешался. Иначе всё будет тщетно. А ко мне тотчас пришли копию с твоего письма к Августину, дабы я здесь мог согласно с тобою действовать. Прошу тебя не медлить. Надобно это

совершить, пока Арбенева в Москве. Боюсь, что она сюда взбеленится ехать. Тогда бы не худо заставить Филарета к ней написать. Иначе она всё здесь испортит. Ее же письмо прошу тебя изорвать.

Посылаю перевод элегии Андрея Ивановича, сделанный Фриофом8.

**145.**

**А. А. Прокоповичу-Антонскому**

*<Конец марта* (*после 30-го*) *— начало апреля 1814 г. Муратово>*

Я получил Ваше письмо, почтеннейший Антон Антонович. Нельзя сказать, чтобы оно меня порадовало. Вы, вместо того чтобы меня бранить, на меня сердитесь, и как будто расположены были сердиться. Знаете ли, что это не богоугодно? Нет, будьте по-старому и забудьте старое, настоящее и, вероятно, будущее, то есть мою лень писать письма1. Любить Вас, быть всегда Вам благодарным и признавать это перед целым светом я никогда не перестану. Много

же мне Вам о себе и писать нечего, хорошего мало; всё старое — то же, и то же, и всегда то же.

Посылаю при сем 1000 рублей, которые я Вам должен, и проценты за 1812 и 1813. Прошедшие смутные обстоятельства сделали меня неаккуратным; надеюсь, что они и извинят меня перед Вами. Благодарю Вас за помощь в нужном случае. Если опять когда-нибудь она будет для меня необходима, то мимо Вас не пойду никуда, и надеюсь, что мой добрый покровитель сочтет за удовольствие

ее мне сделать2.

Простите, любезнейший Антон Антонович. Уведомьте меня о себе. Обрадуйте чем-нибудь веселым.

Поздравляю Вас с великими делами русского государя. Теперь и Вы, при всей Вашей старинной взыскательности, при всей охоте всё предвидеть слишком издали, должны быть довольны политическими происшествиями. Но кто бы это предсказал в половине 1812 года? Провидение за нас чудесным образом

обнаружилось.

**146.**

**А. Ф. Воейкову**

*<Середина апреля* (*не позднее 16-го*) *1814 г. Муратово>*

И я приписываю к тебе в этом милом письме, друг, брат, товарищ. Дело наше не испорчено; профессорство тебе остается, итак, не сердись на меня. Ты сам виноват, что мне не открыл надлежащей причины, для чего этого места желаешь. Наши добрые друзья за тебя хлопочут. Смотри, не хотеть моего Тургенева. Отошли к нему мои письма — а я буду перед ним сам виниться и перед Кавелиным на следующей почте. Извини, что прочитал письмо Тургенева и Кавелина; я думал найти в нем что-нибудь, касающееся до меня.

Твой *Жуковский*

И дай Бог, чтобы навсегда остался твоим — это слово всё для меня заключает в себе. Кавелин прислал тебе и то письмо, о котором я тебе говорил: я не рассудил его к тебе посылать. Мы прочтем его вместе.

**147.**

**А. И. Тургеневу**

*16 апреля <1814 г. Муратово>*

16 апреля

Обнимаю тебя, милый друг. Ты, верно, уже получил мою палинодию1, то есть мое отречение насчет профессорства Воейкова. Он сам виноват в том, что я написал это письмецо, которое тебя привело в сомнение: он не объяснился со мною, а я видел и его, и свою выгоду в неполучении профессорства. Но ничто не испорчено, и он профессор, женится, счастлив; а я пишу к нему *послание о его счастье*2, сидя у моря, дожидаясь погоды, видя полнеба моего закрытого тучею и еще не зная, разойдется ли эта туча или совсем покроет мое небо и грянет в меня залпом своих перунов. Монахи, энтузиасты, самолюбие сделали против меня союз. Они уже добрались до моей Москвы и грозят ее выжечь, и пускай выжгут, лишь бы какой-нибудь Кутузов их прогнал и истребил. Мою Москву не трудно будет перестроить, и тогда уже басурманы не будут ей ужасны.

Дело пока не обо мне, а об Воейкове — то же, что и обо мне: теперь наша с ним судьба пока неразлучна; то, что сотворится с ним, будет иметь великое влия ние и на меня. Ты же главная наша пружина. Он профессор. Чтобы всё привести в порядок, и *свое*, и *мое*, ему необходимо нужно остаться здесь до начала или половины сентября. Друг, как хочешь, выхлопочи ему отсрочку3. Тут для тебя нет отговорок. *Сделай*, во что бы то ни стало. Эти месяцы самые решительные для всей моей жизни. Брось свою лень и употреби всю свою деятельность. Эта отсрочка нужна ему для приведения своих дел в порядок, для женитьбы, для меня — и для меня более, нежели для себя. Итак, чтобы был ему

отпуск непременно; уведомь, что для этого надобно сделать; какую бумагу написать и как написать — пришли образец. Одним словом, тотчас по получении этого письма начинай работать и присылай нам ответ и полное наставление. Впрочем, если можно, то, по полученному тобою праву, пиши и подписывай всё, что нужно будет подписать и представить. Он же дает тебе слово быть самым ревностным профессором.

Думаю, что на следующей почте пришлю тебе свои переписанные творения. Прошу тебя с компаниею добрых критиков — именно Уварова и Дашкова — переглядеть их, и то, что нужно будет выбросить, выбросить без сожаления. Пощадите только «Пиршество Александра»4. Что ни бредит Воейков, а этот перевод хорош.

Буттервека получил5. Не знаю, но он мне мало нравится. Он более философ, нежели поэт. Стихотворец делает из мыслей чувства и картины, а он из картин и чувств делает мысли. В слоге его нет той ясности, которая составляет главную прелесть всякого слога. В нежных его стихах видна страсть, воспитанница воображения, не страсть сердца, которое одно истинно красноречиво, одно дает жизнь выражению, как бы оно просто ни было. Но это мнение может быть и несправедливо. Я читал бегом. Прочитав повнимательнее, может быть, и переменю мысли.

Не забудь об Астракове. Сделав ему помощь, окажешь мне истинное одолжение и оживишь бедную мать, которая только и думает, что о сыне.

Что же François? Мы не имеем здесь никакого об нем известия. Прости, друг.

Твой *Жуковский*

Я, может быть, еще потребую от тебя важного одолжения. Может быть, мне нужно будет тебе рекомендовать Проташинского6, которого, вероятно, и ты знаешь5. Он служил и служит в военной службе, ранен под Бородиным, теперь в Москве, добивается от Растопчина6 места, и всё не добьется. Если будет нужно, не найдешь ли средства доставить ему при военном министре или через военного министра выгодного места в Петербурге, а пока он не будет его иметь, позволить ему провести несколько времени у тебя в доме? Он ничего не имеет, но он брат М<аши>7. Всё это еще одно *может быть*. Уведомь, как об этом думаешь? Я от тебя многого требую; но от кого же и могу требовать *всего*, как не от тебя, которому и мое *всё* отдам с наслаждением! Брат, я теперь более, нежели когда-нибудь, к тебе привязан. Вижу и чувствую глубоко в сердце, как нежно ты меня любишь; а моя дружба к тебе есть в то же время и благодарность. В рас-

сеянии света, на дороге к почестям7 ты обо мне помнишь, и чем более между нами расстояния, времени и образа жизни, тем твое сердце ко мне ближе. Какое

сокровище на свете заменит такую дружбу?8

**148.**

**А. П. Киреевской (Елагиной)**

*<16 апреля 1814 г. Муратово>*

Здравствуйте, милая моя сестра, новая знакомка и старый друг1. Вы мне дали на дорогу добрый запас размышлений и чувств. Месяца за два я бы не вообразил, что мне будет можно поехать *с грустью* из Долбина в Муратово, — бедные мы люди! думаем о бессмертии, *о горнем*, отдаленном счастье, а под носом не видим того, что может нас утешать и делать довольнее. Наше путешествие

сделало и моему сердцу большое добро; оно помогло найти ему находку — *доверенность* к дружбе, прежде смешанную с сомнением, потом почти совсем разрушенную, обратить в *веру*, — не есть ли это находка? И не везде ли видно доброе Провидение? Отымая с одной стороны, оно всегда заменяет с другой. С полною доверенностью я сунулся было просить дружбы там, где было одно притворство, и меня встретило предательство со всем своим отвратительным безобразием, — от Вас не думал ничего требовать, и всё само сделалось. Эта мена ничуть не убыточная; а вместе с нею и добрый урок.

Вот Вам моя реляция. Поехав от Вас, я думал ночевать в Черни. Но в Болхове узнал, что Плещеев, мой добрый Негр, который белых книг не страшится2, приехал один из Ельца. Я скорее в Чернь; но его не застал — он уехал в Муратово. Переменив лошадей, скачу за ним. Ночь и страшная грязь не выпустили меня из Козловки, и я ночевал у Марии Николаевны3. Она сказала мне официальную новость: *свадьба назначена на 2 июля, а после свадьбы едут в Дерпт*4. Я поглядел на своего спутника — Вы его знаете. Больная, одержимая подагрою надежда, которая скрепя сердце тащится за мною на костылях и часто отстает. — Что

скажешь, товарищ! — Что сказать? Нам *недолго* таскаться вместе по белу свету. После второго июля — что бы ни было — мы расстанемся! Или покину тебя одного и бреди, как хочешь! или оставлю тебе свою сестрицу, которая лучше меня и гораздо лучше<е> (не только для добрых) *исполнение*. С нею дурной человек становится хуже, а добрый гораздо добрее. Она приготовит тебя к тому

обетованному краю,

Где вера не нужна, где места нет надежде,

Где царство вечное одной любви святой!5

— А если останусь один! — Тогда! Готовься, как умеешь сам, к переселению в этот край! Но едва ли удастся получить пропускной билет!

Разве чудо путь укажет

В сей прелестный край чудес!6

— Но ждать чуда? Кто его дождется! — И я то же думаю! — Что же делать! — Не знаю! а для меня верно только то, что мы расстанемся! — вот Вам слово в слово весь наш разговор.

Поутру рано приезжаю. Плещеев здесь по делам. У них всё идет лучше:

Вадковская7 стала поздоровее и весною ее перевезут в Орел. А сами Плещеевы возвратятся в Чернь недели через две. Я принят был по-обыкновенному; но, давая мне руку, смотрели на Плещеева. А мой подагрик шепнул мне на ухо: терпи! тебя будут *любить*, когда получишь свободу быть тем, каким быть хочешь и можешь. И сердце скрепилось. Но было ли оно довольно так, как бывает довольным у человека, возвратившегося в тот круг, где его счастье, где его настоящая жизнь?.. Нет! Нет! сиротство и одиночество ужасно в виду счастья и счастливых! Гораздо легче быть одиноким в лесу со зверями, в тюрьме с цепями, нежели подле той милой семьи, в которую хотел бы броситься и из которой тебя выбрасывают. Благодаря моему подагрику это всё еще для меня пока

сносно. Но когда он от меня отковыляет в дальнюю, неизвестную сторону — тогда быть совсем выброшенным будет даже утешительно — можно разбиться вдребезги. Плещеев уехал во втором часу. У Воейкова заболела голова — его положили в кабинете; сами подкладывали ему под ноги, под голову подушки; я сидел спичкою, и на меня поглядывали с торжествующим, радостным видом — в самом деле, торжество и радость. Я посматривал исподлобья, не найду

ли где в углу христианской *любви*, внушающей сожаление, пощаду, кротость. Нет! одно холодное *жестокосердие* в монашеской рясе с кровавою надписью на лбу *должность* (выправленною весьма неискусно из слова *суеверие*) сидело против меня и страшно сверкало на меня глазами. И мне стало страшно, и я ушел к себе отведать ничтожества, то есть как-нибудь *заснуть* — и заснул, и проснулся *к утешению*, к Вашей записке, которая и всегда бы меня обрадовала, а тут утешила… голос друга послышался в пустыне. В ней стоит: *милый брат мой*!8 Это слово имеет совсем иной смысл в минуту тяжелого горя. Да это же слово прилетело с родины, где было много *моего, собственного*! было и нет.

Опять слова два об Вашей записке! ce voyage a fait tant de bien à mon coeur[[113]](#footnote-113) пишете Вы! И моему сердцу это путешествие большой благодетель. Нельзя изъяснить, что такое значит доверенность к искреннему участию, к дружескому сожалению. Я не верил Вашей привязанности к Маше, а теперь ей верю. Так говорить об ней, как мы говорили, нельзя, не любивши ее нежно. Теперь знаю,

что Вы будете понимать друг друга не одним молчанием, которое иногда может быть и непонятно. А ей так часто бывает нужно говорить без закрышки. Весь век таиться в самой себе ужасно. Свобода — жизнь души, — а тюрьма душевная гораздо страшнее той, в которой мы можем играть хотя цепями.

Возвратимся к своей реляции. Еще очень много осталось Вам сказать. После обеда приехала Марья Николаевна, а ввечеру получены три письма от Авд<отьи> Ник<олаевны>9 и между ими одно большое, в котором она сказывает тетушке о моих к ней письмах, о угрозах Филарета, об Ив<ане> Влад<имировиче> (которого производит в мартинисты). Я не знаю его содержания; сказываю Вам, что слышал. Но подивитесь же. Мне об этом письме ни

слова, даже я не заметил почти никакой к себе перемены. И по-видимому оно ничего слишком дурного не произвело. Итак, если оно не испортило, то поправило, потому что приготовило. Был после разговор об Иване Владимир<овиче>. Тетушка сказала, что ей хотелось бы с ним познакомиться!10 Познакомиться тогда, когда знает, что он мое мнение оправдывает. Это весьма важно. Милая, может, оно подействует на ее мысли. И тут Провидение! Оно назначило, может быть, Вашему Ваничке быть моим ангелом-хранителем11. Родясь на свет, он принес, может быть, мое счастье; он своею жизнью сделал между ими связь, которая может сделаться причиною и здешнего, и будущего моего счастья, — я их не разлучаю! Одно необходимое следствие другого. Но подумайте ж о по-

ступке Авдотьи Никол<аевны>. Пока дружба была одно слово, которое стоило только произнести или написать и которое ни к чему не обязывало, по тех пор она ею меня прельщала! Понадобилось сделать опыт — прощай, дружба! Я ведь не требовал от нее нарушения правил — я только себя ей вверил! В первую минуту показывала она живое участие. Вдруг всё переменилось. И вместо того

чтобы мне прямо сказать свои мысли, она с каким-то каменным равнодушием не отвечала ни слова ни на одно из писем моих и прямо всё открыла тетушке. Я не мог требовать от нее того, что, по ее образу мыслей, могло казаться ей или непозволенным, или невозможным, но имел право требовать прямодушия, участия, внимания, потому что меня приманили дружбою на доверенность. И эти люди называют себя христианами. Какое же понятие имеют они о самых простых должностях, предписываемых совестью и религиею, которая есть та же совесть, но только более возвышенная и определенная? Что это за религия, которая учит предательству и вымораживает из души всякое сострадание? Эти люди, эгоисты под святым именем христиан, смотрят на людей свысока: одним несчастным более или менее в порядке создания! Какое дело! Режь во имя Бога и будь спокоен! Но дело не об том! Я презираю ее от всей души и с тою ложною религиею, которую она так пышно выдает за истинную!12 Жаль только, что

обманулся! Ее чувствительность есть не иное что, как искра, которая таится в кремне, иногда из него выскакивает при сильном ударе, но всегда оставляет

его и холодным, и жестким. Еще не всё испорчено. Вам много можно сделать. Поговорите с М<арьей> Алексеевной13. Теперь ее мнение великий сделало бы перевес. Тетушка знает, что И<ван> Вл<адимирович> со мною согласен. Машино чувство ей также известно14, хотя она и хочет себя уверить, что оно не существует. Если можно, упросите М<арью> Алекесеевну написать к ней. Только бы мнение ее согласно было с нашим — писать и сказать его искренно не будет стоить для нее никакого усилия. Боже мой! Она за нас молилась! Неужели человеку будет сказать ей труднее то, что она говорит Богу! Дело идет о целой жизни двух добрых тварей — она может им дать на всю жизнь самое нежное, благодарное об ней воспоминание! Быть причиною счастья — какое святое дело для христианина.

Я думал написать к ней сам, но считаю это неприличным! Не имею на это права. Но посылаю Вам то письмо, которое я давно приготовил тетушке15, — в той мысли, что она захочет со мною объясниться. Объяснения не было. Но я всё отдам его ей непременно, когда будет надобно. Покажите его М<арье> Алексеевне. Если сочтете нужным, покажите и это. Еще посылаю Вам тот листок, который я написал тотчас по возвращении моем от И<вана> Владим<ировича>16, *говея, и хотел* показать Вам в Долбине, но не нашел. Всё это Вы мне возвратите.

Я уверен, что Марья Ал<ексеевна> много для нас сделать может. Скажите ей, что, узнавши о ее участии, о том, что она за меня молилась, я привязался к ней, право, сыновнею благодарностью. Такую нежную доброту в редком сердце встретишь. Она сама по себе уже есть благодеяние.

**149.**

**Д. А. Кавелину**

*<23 апреля 1814 г. Муратово>*

И я, нижеподписавшийся, подтверждаю брату Кавелину — брату по сердцу, брату по подлости, брату по всему хорошему, даже и по всему дурному, ибо и в дурном не откажусь быть его братом, — подтверждаю, что отпуск нашему претенденту на педантство весьма нужен. Нужен для *счастья* — законная причина, когда говоришь с другом; когда же надобно будет говорить перед министром, то просто сказать для *женитьбы*1. И я, как крестный отец профессорши будущей, который принимал ее от купели, клялся Богу, что она будет лучшим в мире творением, и сдержал клятву. Клянусь и за будущего профессора, что

он, добившись счастья, будет одним из ревностнейших и достойнейших шпанского парика педантом; то есть будет в условленный час ходить на лекции; разбирать русских стихотворцев; хвалить свои стихи бесстыдно; поправлять вкус немцев и пр. и пр. Клятва эта, верно, исполнится. Хлопочите, милый, добрый *наш* друг, — говорю это по праву. Отпуск нашему Негру очень нужен, и думаю,

что не могут и отказать в нем, ибо *женитьба причина законная*; для этого и из армии отпускают. Простите, милый, почтенный Дмитрий Александрович. При наших планах о счастье, которые мы иногда делаем с Воейковым, — а ему как их и не делать: он видит счастье лицом к лицу, — Вы всегда присутствуете. Хоть Вас и нет с нами, но мысль о друзьях всегда добрый товарищ. Простите. Будьте счастливы Вашим семейством — лучшего пожелать на сем свете нечего.

Даже и в Петербурге такое желание есть самое лучшее.

Ваш *Жуковский*

**150.**

**А. П. Киреевской (Елагиной)**

*<Конец апреля 1814 г. Муратово>*

Я успею к Вам написать только два слова — говорили ли Вы с баронессою?

Если Вы не говорили, то не откладывайте, прошу Вас. Письмо ее много подействует. Только не надобно ей отдавать того, что я к Вам послал. Ничего, мною писанного, ей посылать не должно к тетушке. Пускай пишет от себя. Моего же письма, к Вам писанного, не показывайте никому: ни баронессе, ни сестрам. Я написал много лишнего. Но чего не напишешь, когда на душе кошки. Я скоро у Вас буду. Теперь пишу для того только, чтобы Вас предуведомить. Пускай баронесса пишет. Это теперь всего нужнее, только, ради Бога, чтобы не было обо мне ни слова. Всё делайте от себя. Я поцеловал Нинушку, когда она сказала, что Вы просили, чтобы я к Вам писал. Но мои письма были уже посланы. Получили ли Вы их?

**151.**

**А. П. Киреевской (Елагиной)**

*<5 мая 1814 г. Чернь>*

Милая моя сестра. Какие два письма я от Вас получил1. Не доброе ли дело иногда и горе. Оно сильно дает чувствовать и нужду в прямой дружбе, и дей-

ствие прямой дружбы. Вы в первом письме своем говорите, что Вам грустно,

что я имею нужду в Вашей дружбе. Это не имело бы никакого смысла, если бы моя бедная судьба не была толкователем Ваших слов: Вам грустно, что в Вашей дружбе ищу *подпоры*. В хорошее время, когда всё вокруг весело, довольно и одной общей мысли, что любим и любишь, но когда тонешь или валишься в ров, то хватаешься за соломинку, и великое счастье, когда вместо соломинки встретишь руку друга, которая хотя немного согреет сердце. Еще Вы спрашиваете, *на что мне Ваша дружба*? Право, не знаю, как этот вопрос забрел в Ваше письмо, и никак не могу понять, что могло заставить Вас его сделать. Неужели Вы думали в эту минуту о прошедшем? Пропади и самое об нем воспоминание.

Я поехал с Воейковым в прошедшую субботу2 из Муратова в Орел, где встретил

Плещеевых, и первое, что мне попалось в руки, было Ваше письмо — милое, утешительное. Я собрался было ехать к Вам на другой же день. Но лошадей уже не было; а Плещеевы сами должны были ехать в понедельник; почему я и решился остаться до их отъезда. Вчера, то есть в понедельник, мы отправились из Орла и приехали сюда, в Чернь, ввечеру. Я с тем намерением, чтобы на другой же день

отправиться в Долбино, к своей доброй сестре, освежить подле нее душу, которая жестоко стеснена и так пуста, что едва ли что осталось в ней на жертву ничтожеству. Но Ваше письмо остановило меня, и точно, эта остановка для меня большая тягость. Я много люблю Анну Ивановну3 и знаю, что она имеет ко мне дружбу неограниченную, но никогда не говорил с нею таким языком о себе и

об Маше, как в последний раз с Вами в Долбине. Теперь это еще мне нужнее. И живое горе все-таки есть жизнь. А мертвое страшнее смерти. Теперешнее мое бытие для меня так тяжело, как самое ужасное бедствие. Для меня было бы величайшим наслаждением попасть в горячку, в чахотку или что-нибудь подобное и увидеть вдруг вблизи *прелестный край чудес*4. Но этого вожатого еще нет; а самому броситься, без лодки, *в ужасный поток, который грозно мчится по скалам*5, нельзя, не дóлжно — сиди на пустом берегу и рвись с досады, глядя на *ту сторону*, где всё так прекрасно или по крайней мере так тихо. Пускай всякое чувство гниет вместе с душою. Это выражение Вам не понравилось6. Вы показываете на вечность. Но что бы отвечал Вам человек, зараженный неизле-

чимою болезнью, и которому Вы бы сказали, что ему еще долго жить остается. Да на что же жить с болезнью. А здешняя жизнь, согнившая в бездействии всех чувств, не есть ли зараза, неизлечимая и для вечности. Здешняя жизнь есть то же, что младенчество. Она так же, как младенчество, готовящее нас для зрелых лет, готовит нас для вечности. Что будем мы там, если мы здесь *ничто*? А мое здешнее всё в одном. Пропади оно, всё пропало.

Грядущее для нас протекшим лишь прелестно!7 Но для чего все эти отступления? Воейков уверяет, что я слишком болтлив в своих письмах и никогда остановиться не умею. Итак, стану Вам отвечать по порядку. Вас ободрило и обрадовало то, что хотят знакомиться с Ив<аном> Владимировичем8. Не слишком

ободряйтесь. Это я написал Вам еще прежде нашего объяснения с тетушкою. Между прочим, я ей сказал и об Ив<ане> Владимировиче. Вот ее ответ: «*Если мнение Ив<ана> Влад<имировича> с твоим согласно, то это только переменит мое об нем мнение*». Признаюсь Вам, ее сердце для меня весьма часто есть ужасная загадка. Неужели для нее важнее остаться правою в своих мыслях, нежели дать нам счастье? В противном случае, как бы не поколебаться, как бы хотя минуту не подумать, что она может ошибаться и что ошибка эта может разрушить счастье целой моей и Машиной жизни. Да, и Машиной. Ибо в ее привязанности ко мне она более не сомневается9. Маша сама с нею объяснилась,

сказала ей *всё* и прибавила то же, что я, то есть, *что спокойствию ее готова жертвовать собственным*. Но скажите, возможно ли ж для нее какое-нибудь

спокойствие? Что же? Она думает только о том, как бы это скрыть от других. Боже мой! Что пользы, когда другие будут воображать нас счастливыми, если для нее не будем мы счастливы! И кто же другие? Все те, которые вокруг нее, *знают*; а для тех, которые *вдали*, можно ли надевать такую маску, которой они и видеть не будут и не захотят. Несмотря на то, всё не теряю надежды на Иван<а> Владимир<овича>. Мы были у него с Воейковым10. Он обещал написать письмо *от себя к Воейкову*11, в котором хочет представить доказательства, взятые из самого Евангелия, что это не есть преступление. По крайней мере, она увидит,

что жертва эта не Богу, а ее спокойствию, и пускай приносит ее.

Знаете ли, что более всего меня тронуло в том, что Вы говорите о баронессе. Ее мысль, что *Маша не будет счастлива*12. Эта мысль наполнила сильною горестью мое сердце. Баронесса, добрая, чистая душа, во мне сомневается и в чем же сомневается? В том, что я не способен счастливить этого ангела. Это мнение поселило во мне какую-то горькую, унизительную недоверчивость к самому себе! Боже мой! если это правда! Если я отнял у Маши спокойствие без всякого права на то, чтобы чем-нибудь за то вознаградить ее? Это значит, что и тогда, когда бы и никаких препятствий не было, я бы не должен был думать о таком счастье! Что же мне останется, когда и на сожаление о потере его не могу иметь права!

Тут не нахожу ничего сказать в свое оправдание! Объясните, только ли это думала баронесса! и почему она так думает! Мне остается только одно искреннее, непритворное желание дать ей счастье и искать его в добре, во всем, что может быть достойно человеческого сердца! Найду ли его для нее? Способен ли быть ей в этом товарищем — как сказать решительно? Но разве тот, для кого только нужно, чтобы мы *стремились <нрзб*.*>*,не укажет мне прямой дороги? Верно только то, что желаю найти эту прямую дорогу и что для меня *единственное* на это средство.

Я сам думал, что она не согласится писать *мимо* барона13. Думаю также, что нет никакой беды ему открыться. Но знаете ли, какой способ привлечь его на *нашу* сторону? Дать ему наперед почувствовать, что Вы уже почитаете его

согласным с нами во мнении. Начните тем, что скажите ему о мнении Ив<ана> Влад<имировича>, давно ко мне писанное14, которое прилагаю и в котором есть слова два *об нас*. Если он будет с нами согласен, то баронесса уже не поколеблется и напишет гораздо сильнее. Итак, всё теперь зависит от Вашего красноречия. Но говорите с ним и с нею *от себя*. Чтобы они и не думали, что это всё по моей просьбе. Мои письма покажите *от себя же*. И найдите сами объяснить, по какой причине эти письма у Вас. Хорошо, когда бы они написали или теперь, или в начале будущего месяца. Вот почему. *Тетушка 12 числа едет к Павлу Ивановичу*; оттуда в Коренную15. Эти путешествия ослабят или и совершенно уничтожат в ней впечатления, сделанные письмами барона. В половине же июня будет Воейков16 — он нам поможет. К тому же времени поспеет и письмо Ив<ана> Владимир<овича>, которое отдадим при случае. Между тем и Досифей будет приготовлен17 — если только можно его приготовить. Я нынче отправил к Тургеневу эстафету и велел ему приготовить два письма Досифею18. Одно послать теперь же. Другое доставить ко мне, которое отдадим ему тогда, когда говорить решимся. Уведомьте немедленно, как Вы обо всем этом думаете. Если теперь не станете говорить с бароном, то мне к Вам приехать будет можно. Буду у барона и не скажу ему ни слова. А у Вас проживу с неделю.

Я забыл Вам сказать, что Ив<ан> Вл<адимирович> будет посаженым отцом Воейкова, следовательно будет на свадьбе, следовательно может объясниться и словесно19.

Вы спрашиваете, говорить ли Вам об Маше? Говорите и верьте, что она вместе с Вами говорить будет. Она уже и говорила. И Саша, во всяком случае,

объявляет свободно свое мнение. Не бойтесь только того, когда Екат<ерина> Аф<анасьевна> скажет Вам в ответ, что уверена в Машином равнодушии, — она уверена в противном20.

Вас огорчило мое выражение насчет Авд<отьи> Ник<олаевны>. Это моя судьба — предаваться первому движению, открывать его и потом раскаиваться. Слово *презираю*21 ее есть первое движение. Но я имею право сказать его только в отношении ее ко мне дружбы. Я имел право ожидать участия — но мне показана одна холодная нечувствительность. Не было ни одного ответа на мои письма, и всё мимо меня сказано тетушке. Фанатизм может управлять мнениями; но разве он может делать предателем доброе сердце. Я не имею права требовать от нее согласия со мною в образе мыслей, и ее противоречие не оскорбило бы меня. Но ее поступок — предатель мой, а всякое предательство заслуживает ненависть и презрение. Ни на одно из дружеских писем моих она не отвечала. Недавно получил от нее большой и *дружеский* ответ22, но на какое же письмо, на то, в котором я делал ей упреки. Несмотря на то, и это письмо меня бы тронуло, если бы в руках тетушки не было уже *того*, которым она ее против всего вооружила. Такая поспешность губит людей, такое несомнение в самой себе ужасно, зато теперь она и может навсегда хвалиться перед собою тем, что единственно ей буду обязан уничтожением всего, что могло льстить меня в жизни. Как могла она не подумать, взявшись за перо, что письмо ее может иметь влияние на целую жизнь *двух друзей*! Письмо написать недолго! Но

что, если она обманулась. Чем поправить?

«*Слушайте, друг,* — пишете Вы, — *всегда ли так будет? Опять покажут Вам то, чего нет. Боюсь очень; а через 2 недели и более бояться буду*». Милая, верьте одному, что нет человека искреннее меня. С Вами сердце открылось и теперь всегда открыто будет. Что дурное всползет на него, то не будет спрятано. И станем очищать вместе. А опыт для меня верное правило: в дурном верить одному себе. Прямодушие же всегда заставит сверяться. Итак, на этот счет будьте спокойны и спокойны не на 2 недели, а на всю жизнь. Я имею одну добродетель: bonne fois[[114]](#footnote-114). Никто более меня не боится несправедливости и не имеет такой готовности признаваться, когда был или есть несправедлив. Всё *наружное* мне противно. А голос прямой дружбы всегда прямо в душе моей

отзовется.

Это письмо *для всех трех*23. От них обеих ничего не хочу иметь скрытного. Я просил Вас не показывать первого моего письма24 не от недоверчивости, а потому только, что оно написано в первом движении, — следовательно и Вам бы не надобно было его видеть. Но что же мне делать с собою. Я всегда буду слишком виден. Лучше перестать заботиться о decorum[[115]](#footnote-115).

В заключение словечко о себе. Я простился с ними на месяц и буду бродить подле ворот рая, не смея в него заглянуть, до приезду Воейкова. Этот карантин меня не вылечит. Больница моя, в которой есть верный лекарь, стоит за *рубежом* — знаете ли этот рубеж? Подагрик крепко охает25. Между тем сердце бьется, смотря на то, что вместе с этим бедным страдальцем гибнет. Что, если мне суждено положить его в гроб, а вместе с ним и всё? Ничего пустее и гнилее не представить той жизни, которую он мне после себя оставит. А Вы еще утешаете меня вечностью. О, вечность прекрасная бездна! да только бы поскорее! Совсем не нужно для того, чтобы ею наслаждаться, ползти до нее по навозу и тине.

Поэзия! Но поэзия и счастье одно и то же! Можно с большим наслаждением ковать подковы или строгать доски, чтобы рассеять себя усталостью! Но писать стихи — для этого нужно быть в свете, иметь надежду на жизнь, потому

что со всякою хорошею мыслью сливается нечувствительно и земное воспоминание о том, что мило в жизни! Я был бы не то, когда бы был счастлив; и ничем не буду, если не буду иметь счастья.

Простите. Дайте поскорее с собою увидеться. Право, это большая для меня необходимость. Детей перецелуйте и уведомьте о Петушке26. Важная просьба: первое — подарить красный шалевый платок, который Вы мне дали на дорогу,

отпуская меня из Долбина. Он что-то очень мне мил с того времени. Другая, в которой Вы и не подумаете мне отказать, дать мне *половину Машиных волос*, которые она отдала Вам прошлого года в Орле и которым я так жестоко завидовал. Я тогда не думал, что мне можно будет их у Вас просить. Милая, ради Бога, не откажите.

**152.**

**А. И. Тургеневу**

*5 мая <1814 г. Чернь>*

5 мая

Это письмо отправляется с эстафетою. Надобно, чтобы ты получил его и верно, и скоро; и отвечал на него тотчас по получении. На многие писанные мною и Воейковым к тебе письма нет ответа. Или почта ползет черепахою, или

сам Ариман1, который присутствовал при моем рождении, крадет мои письма и их к тебе не допускает.

Обнимаю тебя, друг бесценный, за твое последнее письмо, от <…> апреля2. Оно утешительно во всякое время, а теперь еще более, когда хочется ухватиться и за соломинку, чтобы спасти счастье целой жизни. Мои дела идут к развязке. Хорошей развязки не предвижу еще, но обманщица-надежда всё еще меня не покидает. Вот в чем дело. Арбенева, к которой я писал и на которую так много надеялся, всё испортила. Она не отвечала ни на одно из моих писем, но мимо меня писала обо всем к матери3. И сам можешь вообразить, каково должно быть это письмо, которое диктовал суеверный монах4. Мать имела со мною объяснение, которого результат есть тот, что она сказала мне, что ей невозможно согласиться, потому что она видит тут беззаконие. Я отвечал ей, что ничего подобного тут не вижу, что я не родня ей, потому что закон, определяющий родство, не дал мне имени ее брата, следовательно всякое родство уничтожил между нами; я прибавил, что уверен в нашем счастье, если бы она на него согласилась, но что готов от всего отказаться, если мое счастье не сделает ее счастья или его разрушает. Теперь она со стороны моих намерений покойна, уверена в моей готовности ей собою жертвовать. Но еще не всё пропало. Может быть, найдется

еще способ переменить ее образ мнения. Воейков еще с нею не объяснился. Ив<ан> Владимирович обещал писать и будет писать непременно5. Здесь есть люди, которых она уважает и которые готовы с нею говорить *за нас,* — именно баронесса Черкасова6. Она хочет ей присоветовать отдаться на суд орловского архиерея Досифея. Согласится ли она на это, не знаю; но во всяком случае надобно предупредить Досифея. Можешь ли это взять на себя? Если можешь, то пиши к нему немедленно. Более всего в письме своем утверждай, что между нами родства нет. Ты знаешь, в чем состоит это родство: *я сын ее отца*. Скажи в своем письме, что ищешь его покровительства, еще не зная, будут ли ему об нас говорить, но что хочешь только предупредить его в нашу пользу. Это письмо

отправь к нему немедленно. А другое к нему же доставь ко мне с этою эстафетою. В этом — которое сберегу на всякий случай — скажи то же и упомяни о первом письме, к нему об том же предмете написанном. Не говори, однако, ни слова о подателе письма, потому что я не знаю, кто будет подателем. Это письмо оставлю у себя, и оно будет передано Досифею в таком только случае, когда согласятся с ним советоваться. Я теперь *скитаюсь*, как Каин с кровавым знаком на лбу7. 25 этого месяца буду у Ив<ана> Владимировича, и он напишет письмо

обо мне к Воейкову, который тотчас после своей свадьбы, назначенной 2 июля, начнет говорить. Дело не в том, чтобы вырвать у нее согласие. В добрую минуту она и может согласиться. Но какое же выйдет следствие? Расстройство общего спокойствия. Счастья, на таком хилом фундаменте основанного, желать не могу.

Надобно убедить и разрушить предрассудок. Если ничто не удастся, то надобно будет отсюда бежать, и всё, всё для меня переменится. На что решусь, еще не знаю. Никакой план не представляется мне и ни к какому не лежит сердце. Ведь это не будет *план счастья*, а только того, как бы дожить те годы, которые еще остались на мой удел. Самая печальная перспектива! И самое лучшее из дурного была бы жизнь совершенно уединенная, уголок, в котором бы я мог работать только для того, чтобы работать. Другое ничто не может быть для меня прилично. Служба есть тяжкое бремя. Петербургская и московская жизнь меня пугают. Не вижу ничего, кроме убийственного рассеяния, которое только что умерщвляет душу. Я представляю себе самый прекрасный образ жизни, и то,

что может его для меня заменить, есть *совершенное уединение*, ограниченность необходимым и занятия, чтобы не иметь скуки считать часов и минут. Подумай и об этом. Если бы мог я найти такое местечко, где бы можно было прожить

*двумя тысячами* в год, читать, писать и утешать себя мыслью, что есть у меня добрый друг, товарищ мой душою, и в прочем не иметь никаких связей, никакой зависимости, то я бы ничего и не пожелал другого. В своих четырех стенах был бы я *хотя покоен*, а перо бы меня не покинуло. Брат, потеряв то, что составляет главную прелесть жизни, нельзя ни в чем искать прибежища, кроме одного

себя; быть с тобою — этого довольно. Если бы я мог в Петербурге *жить для тебя*, то ни об каком другом угле бы не подумал. Но жизнь петербургская будет для меня убийственна. Мы будем далее друг от друга, нежели здесь, и я лишусь главного своего прибежища — *занятия*. Ты велишь мне писать. Нет, друг! Теперь перо мое как будто в параличе, и в воображении моем большая засуха. Смотрю на все прекрасные планы, как на развалины. Одно только счастье или совершенное уединение могут на этих планах что-нибудь построить. Смотря на прошедшую жизнь свою, говорю с горем: я совсем не то, что бы мог быть; смотря на будущую, должен сказать, что я, *вероятно,* ничего не буду. А как узнать, долго ли это ощутительное ничтожество продолжится и скоро ли дойдешь до рубежа?

Полно выть! Поговорим об Воейкове! Он отсюда уехал, и твое письмо его не застало. Я писал к тебе об том, чтобы выхлопотать ему отсрочку. Опять повторяю свою просьбу. Отсрочка до 1 сентября ему необходима. Свадьба его назначена 2 июля, и в течение августа он должен привести в порядок и свои, и мои дела. Думаю, что не могут ему отказать в этой отсрочке: причина законная; а твое покровительство всё сделает. Что же касается до обязательства на 6 лет, то ничего об этом не могу сказать решительного, ибо его мнения не знаю. Но вот мое мнение: постараться избегнуть от этого обязательства. По всему оно для него крайне невыгодно. Нельзя ли просить министра8, чтобы от него уволить, представив ему, что такого обязательства человеку, имеющему семью и дела собственные, взять на себя невозможно и что никто, вступая в службу, не дает таких обязательств; что профессор не может делать контрактов с тем местом, в которое вступает, и что эта неволя не предписана никаким уставом. Ты же знаешь, что такое обязательство для него крайне невыгодно. Прибавлю: и для меня. Но *мое* должно решиться прежде, и во всяком случае это профессорство много мне вреда сделает. Но об этом нечего и говорить. Для меня верное на сем свете одно: *твоя дружба, ее любовь*. Прочее оставим Провидению.

Прилагаю при сем копию с билета, данного мне из Главной квартиры9. Выхлопочи форменное увольнение. Билет засвидетельствуй сам. Также выхлопочи и послужной список, которого форму здесь прилагаю. Вопрос: я был в строевой службе, наш полк, первый пехотный, был под Бородиным; имею ли право носить медаль? Обо всем этом уведомь. Récapitulation[[116]](#footnote-116).

1. Написать письмо к Досифею и тотчас отправить, а об отправлении уведомить эстафетою.
2. Написать другое письмо к Досифею и доставить ко мне.
3. Уведомить, писал ли к Августину.
4. Уведомить о деле Воейкова. Дастся ли ему отпуск и можно ли будет избавиться от 6-летнего заточения?
5. Уведомить, отправлено ли повеление к Тамбовскому губернатору о перемещении François и что сделать можно в пользу Астракова?
6. Уведомить, возмешься ли продать мои сочинения, которые совсем приготовлены для печати, можешь ли скоро это сделать и взять деньги, ибо они мне нужны, и возьмется ли Дашков держать корректуру и проч.?
7. Увольнение. Послужной список и пр.10

На эти семь пунктов ответить и потом исполнить прошу тебя немедленно и прислать обратно ответ с эстафетою. А письмо адресовать, дабы оно не попалось к кому не надобно, изволь на имя Александра Алексеевича Плещеева в Болхов, вложив в его пакет другой. И все другие письма адресуй на его же имя: это скорее и вернее. Также и все письма к Воейкову.

**153.**

**А. П. Киреевской (Елагиной)**

*<Середина (?) мая 1814 г. Чернь>*

Вместо себя посылаю Вам Максима1. Вы, верно, милая Дуняша и сестры, не рассердитесь, что я отложил мою к Вам поездку дня на два — причиною этому письмо Марьи Николаевны2, которое к Вам посылаю. Прочитайте его, и Вы увидите, что мне нельзя было к ней не поехать. Она грустна. Начинает строить свой дом и не знает, с чего начать. Я предпочел лучше ехать теперь, нежели после, — теперь тетушки там нет, и я уеду до ее возвращения. Нынче там ночую, а завтра опять возвращусь в Чернь. Вас же прошу прислать мне в Чернь дрожки с тройкою лошадей; высылайте их завтра, чтобы они могли переночевать в Черни; а в Пальну3 подставу. Здесь лошадей нет. Нанимать же — нет денег. Это роковое *нет* даст Вам чувствовать, что Вы должны приготовить мне рублей 300 (если есть); по возвращении Воейкова, который взял у меня 300 рублей, отдам Вам эти деньги.

Я получил от Тургенева письмо4 — он писал прежде, нежели я этого требовал, туда, куда надобно. И Ив<ан> Влад<имирович> писал — и там всё слажено5. Но всё это едва ли не напрасно! Еще кое-что есть у меня в запасе — я всё это к Вам привезу; мы помечтаем вместе и… только.

Но зачем же Вы себя упрекаете? И в чем? Неужели в желании сделать всё для нашего счастья? Какой удачи ждать с теми людьми, которые служат кровожаднейшему из всех идолов, Молоху *Я*? Самые наши неудачи имеют для меня прекрасную сторону! Они все доказательства Вашей бесценной дружбы! Про-

читав письмо Марьи Николаевны, Вы еще более полюбите ее. Que n’est il riche ou pauvre qui est si généreux![[117]](#footnote-117) Я писал к ней от Ив<ана> Влад<имировича>6. Дай Бог, чтобы то чувство и те мысли, которые au beau milieu de la lettre[[118]](#footnote-118) родились у меня в душе, навсегда в ней остались. Они были бы моим спокойствием и дали мне много той твердости, которая нужна для того, чтобы не умереть заживо и жить, пользуясь жизнью. Теперь поддерживает меня мысль, что я уже ни от кого и ни от чего не зависим. Тетушка ни дать мне ничего, ни отнять у меня ничего не может. Разве мы с Машею не на одной земле и не под одним отеческим правлением? разве не можем друг для друга жить и иметь всегда в виду друг друга? Один дом — один свет, одна кровля — одно небо7, не всё ли равно? А будущее всё еще наше! То, чего мы *желали*, не исполнилось и, вероятно, не исполнится! *Желание* можно переменить — а цель останется всё одна и та же! Будучи у Вас, я об этом к ней напишу. От нее единственно зависит дать мне еще много сча-

стья! Она одна может заставить меня или уважать жизнь, или ее презирать. До свидания, милый друг! Надобно быть выше судьбы своей! А я еще много имею! Могу сохранить все свои чувства — теперь на них никто иметь права не может, — могу свободно презирать и несправедливости, и кровожадные суеверие и эгоизм, украшенный маскою добродушия. Напишите мне все *свои* мысли *об этом* — я буду их беречь. Такого рода мысли должны быть для меня *написаны*, дабы в случае нужды принять их как крепительное.

Письмо Марьи Николаевны мне возвратите, то есть оставьте у себя до моего приезда, чтобы отдать из рук в руки.

**154.**

**А. П. Киреевской (Елагиной)**

*<22 мая 1814 г. Чернь>*

Отчего Вы не написали мне ни словечка с Иваном Никифоровичем1, голубушка Дуняша? Я остался здесь нарочно, чтобы дождаться от Вас письма и с ним вместе письма из Муратова, и теперь должен уехать, ничего не дождавшись. Вчера мы посылали в Муратово. Нынче посланный возвратился —

там никого нет2. Одна Наталья Андреевна3. Она ко мне пишет и уверяет, что все здоровы и здоровее. Я сам нынче в ночь отправляюсь в Орел4; но поеду через Муратово, чтобы увидеться с Марьею Николаевною5, которая завтра же едет на ярмарку6. От нее получил я записочку сию минуту через Морленкура, который у нас с Мену7, но в этой записочке нет ни слова в ответ на мое письмо. Получила ли она его? Не потеряно ли оно нашим посланным? Или дошло ли до нее и не задержала ли его тетушка? всё это бунтует в моей голове и не дает мне покоя. Впрочем, чего же ждать? Кажется, это для меня на сем свете дело решено, а остается ждать только одного: *на своей улице праздника*. Жду его с нетерпением и с досадою на неизвестность. Никакого желания живее этого не имею, и никакая другая надежда не имеет для меня такой прелести. Не сердитесь на меня, милая, и не скучайте моими элегиями: я сам знаю, что лучше всего молчание; но иногда, право, хочется бросить два или три слова в сердце друга, ведь это не на ветер.

Смотрите! чтобы я непременно нашел от Вас письмо после своего сюда приезда! А теперь простите! Еду нынче в ночь.

**155.**

**А. И. Тургеневу**

*<Вторая половина мая 1814 г. Чернь>*

Я получил твое милое письмо1, бесценный друг. Оно утешит всякое горе. Иметь такого человека, как ты, своим другом есть богатство, неотъемлемое никакою судьбою. Одна только просьба: не упреди!2 Спешу отвечать тебе в немногих словах. Ты, верно, получил мое письмо, посланное с эстафетою, в котором прошу о письме к Досифею. И теперь повторяю ту же просьбу. Но не знаю, будет ли какая-нибудь польза, захотят ли с ним советоваться и примут ли его совет. Не один фанатизм против меня вооружается. Есть много нечувствительности и упрямства. Если нельзя дойти до сердца, то рассудок убедить трудно; а при слабом, нерешительном характере едва ли и возможно3. Я сам с твоим мнением согласен: монахов вводить в это дело опасно. Но если уже нельзя будет избежать от них, то хотя приготовленных монахов, а не простых, покрытых непроницаемою рясою, заставить действовать. Итак, пиши к Досифею. Напиши об нем и к Ивану Владимировичу, который твое письмо подкрепит в случае нужды своим. Августина оставь в покое. Арбенева свое сделала: написала письмо к матери и много испортила. Теперь вся надежда на Воейкова и, если захотят *советоваться*, на Досифея. Но я не думаю, чтобы это возможно было устроить. В июле Воейкова свадьба. В сентябре или октябре поедут в Дерпт. Когда ж к Досифею в Севск? Мы расстанемся — и всему конец. Особливо, если нельзя будет избавиться от 6-летней обязанности. Но почему бы нельзя? Одни воспитанные на казенный кошт принимают такую обязанность. Воейков дворянин. Неужели университет может уничтожить право дворянства, дающее полную свободу входить в службу и выходить из нее, *как захочешь*? Разве не могут случиться такие обстоятельства по делам его, которые необходимо потребуют отставки? Как поручиться за себя за шесть лет? Похлопочи, ради Бога, чтобы этого не было.

Ты велишь мне писать. Друг бесценный, душа воспламеняется при всем великом, что происходит у нас перед глазами. Сердце жмется от восторга при воспоминании о нашем государе и той божественной роли, которую он играет теперь в виду целого света. Никогда Россия не была столь высоко возведена. Какое восхитительное величие! Но, как нарочно, теперь и засуха в воображении. Мысли пробуждаются в голове; но, взявшись за перо, чувствую, что в нем паралич, и остается только жалеть о самом себе. Не умею тебе описать своего положения. Это не горе — нет! и горе есть жизнь; а какая-то мертвая сухость. Всё кажется пустым, а жизнь всего пустее. Такое состояние хуже смерти, и разве одно только Наполеоново может быть еще его хуже. Мне пришла, однако, прекрасная мысль, но эта мысль мечта. Я вообразил, что ты можешь сюда приехать к свадьбе Воейкова (2 июля). Но может ли это сбыться? В теперешних обстоятельствах ты должен быть *на виду*. Я о себе теперь не думаю, и на что думать? Пускай всё случится само собой. Для будущего планов нет. Будущее само покажет, чему быть должно.

Мое дело предать себя с совершенным равнодушием бегущему потоку. Иногда (то есть всегда) досадно, что этот поток так медлителен. Перечитай мое послание к тебе: теперь более, нежели когда-нибудь, оно выражает мое со-

стояние.

О! Беден, кто себя переживет4.

Не упрекай меня, брат! При всем этом мысль о тебе есть лучшее мое услаждение —

О, что бы ни было, я знаю, *Где* мне прибежище обресть5.

Прошу только тебя за меня думать, за меня делать планы для будущего — мое дело быть покорным.

Сажусь писать некоторые нужные примечания к моим сочинениям, чтобы после тебе их доставить. Сам размысли, как с ними поступить — продать ли, напечатать ли на свой кошт. Знай только то, что у меня нет денег и что един-

ственный доход, какой я теперь имею в виду, есть их продажа.

Не забудь об Астракове. Успех его дела весьма у меня на сердце.

Письма ко мне и к Воейкову адресуй в Болхов на имя Александра Алексеевича Плещеева. Это необходимо нужно для того, чтобы они не могли попасть в заповеданные руки.

Я, однако, несмотря на свой паралич, подумываю иногда о послании к нашему Марку Аврелию6. Какой прелестный характер! И какие страницы для истории 1814 год приготовил! О, милая Русь! Как душа возвышается при имени русского! И как не обожать того, кто нас так возвеличил! Брат, брат! Если бы

счастье, что бы я написал! Но как же велеть душе летать, когда она вязнет в тине? Поэзия есть счастье — то есть тишина души, надежда в будущем, наслаждение в настоящем. Как иметь стихотворные мысли, когда всё это погибло? Стихотворная мысль то же, что день весенний: он радует одну только живую душу, для которой в жизни есть прелесть!

Что в оны дни будило радость в нас,

То в нас теперь унылость пробуждает7.

Прости, бесценный друг! Думай за меня о моем настоящем и будущем.

Я сказал в последнем моем письме, что профессорство Воейкова мне повредит. Нет! это вздор. И сам не понимаю, почему это сказал. Смотри, и ты не вооружись против профессорства. Если кто может мне сделать добро, так, конечно, Воейков.

Отвечай скорее на это письмо.

**156.**

**П. А. Вяземскому**

*<Май 1814 г. Чернь>*

Твои четыре стиха прелестны1, но письмо твое слишком коротко, и вообще ты пишешь ко мне и редко, и мало. Что это значит? Уж не сердишься ли за мою проповедь? Избави тебя Бог от желания сделать меня неискренним с моим добрым другом! Искренность — эгида дружбы. Не так ли?

Пришли мне непременно описание своего праздника2 и всё, что будет на этот случай написано. Только прошу не называть меня так некстати Мраморным мужем. Нет, друг! Я в восторге от происшествия, от русского царя, от славы и имени русского. Какое беспримерное и кроткое величие на высочайшей ступени могущества и славы! Кто в мире лучше его играл такую роль и какое лицо будет он играть в истории. Но писать — это другое дело; для этого недостает мне многого; в чем это *многое*, говорить нечего, и не обвиняй меня в таинственности. А береги мне свою дружбу. Только мне от тебя и надобно. Очень вероятно, что мы увидимся, и скоро.

Я ничего не написал и ничего не пишется. А ты, Мраморный друг, и не думаешь исполнить моей просьбы, не присылаешь мне своих стихов. Не забудь, что ты, Батюшков и я составляем триумвират. И ради Бога, перестань говорить, что твоя Муза имеет un demi-caractère[[119]](#footnote-119)3, который тебе не нравится. Elle a un caractère bien décidé et c’est un très beau caractère[[120]](#footnote-120). Если краткость моих заме-

чаний, которые надеялся я дополнить *словесными*, отняла у тебя доверенность к моему суждению, то виноват ты, а не я. Верно, никто не может так радоваться твоим талантом и так ценить его, как я. Только не пиши Ноелей4 и тому подобного; не скверни своего пера личностями — и без того много предметов, тебя достойных. Никогда не соглашусь, чтобы имя пасквилянта сделало кому-нибудь честь. Как ни будь пасквиль остроумен, он всё пасквиль и так же несносен в литературе, как умный человек, бодун и дристун в хорошем обществе.

Жду от тебя большого письма, подробного описания праздника; всех стихов твоих; стихов Пушкина5 и пр.

Благодари Василья Львовича за его дружеское ко мне письмецо и за его стихи, ко мне присланные.

Что есть слуху о Батюшкове? Когда ты пришлешь мне его пародию на «Певца»6, которой давно жду не дождусь? Прости, друг.

**157.**

**А. И. Тургеневу**

*6 июня <1814 г. Чернь>*

6 июня

Я получил твое письмо1 и благодарю душевно за то утешение, которое ты им мне сделал. Мне никак не дóлжно жаловаться на судьбу. Я много и точно бесценных благ имею. И то, чего лишаюсь, не должно делать меня нечувствительным к тем сокровищам, которые у меня есть. Буду писать к тебе об этом много. Теперь нет времени. Теперь пишу к тебе для того единственно, чтобы тебя заставить поскорее переслать приложенное письмо по адресу. Очень много обяжешь меня, если без замедления исполнишь мою просьбу. Еще прошу вывести меня из беспокойства: что значит предполагаемая тобою поездка на Волгу и на *долгое время*? Что значит возвращение Николая?2 О чем говоришь в заключении твоего письма и что *миновало* тебя? Всё это меня очень тревожит. Объяснись, друг. За что же я один свои беды на тебя налагаю, а твоих мне и частицы нет!

Франсуа здесь. Но ты не на все вопросные пункты мне отвечал. Об Астракове я еще ничего от тебя не имею; а много, много бы ты меня обязал, когда бы о переведении его похлопотал. Мне очень хочется оказать услугу его доброй матери. Прости, милый друг.

Воейков еще не возвращался. Жду его всякий день.

Твой *Жуковский*

Если у тебя есть сколько-нибудь моих денег за «Певца» — пришли. Я совсем обеднел.

**158.**

**А. П. Киреевской (Елагиной)**

*<10—12 (?) июня 1814 г. Чернь>*

Здравствуйте, милая сестра. Каковы Вы? все ли в добром здоровье? Были ли Вы здоровы с тех пор, как я имел честь Вас видеть? и прочее. Что ангел-Маша (я говорю о Вашем ангеле)? Что Ваня и Петя? Одним словом, что всё милое долбинское мое?

А Воейкова еще нет! и я хорошо бы сделал, когда бы не так от Вас спешил. Теперь не трогаюсь с места и жду его прибытия. Между тем скажу Вам новость. Свечин1 пишет к тетушке письмо и в нем стоят следующие конфекты. (Копию этого письма прислал он к Марье Алексеевне2, а она его показала Плещеевым.)

«Ne précipitez rien, voyez, considérez et surtout, gagnez du temps: c’est là le creuset où l’amour vrai s’épure. Le caractère, la conduite, les qualités du coeur tout paraîtra au grand jour — je ne puis vous en dire davantage. Votre chère Alexandrine, qui main-

tenant ne voit que par vos yeux, n’agit, que par vos conseils et n’aime que par votre coeur, une fois mariée, cette chère ne peut être ni heureuse, ni souffrir à demi. Gardez

vous d’ensevelir dans la même tombe une femme malheureuse, une mère au désespoir, une soeur tendre et sensible, *un ami véritable et si digne de l’être, le seul que vous avez, qui vous sacrifia sa vie, et qui par un élan de son bon coeur malheureusement participe* à l’événement qui vient d’attrister la plupart de ceux qui vous aiment véritablement.

Ils pensent comme moi et par une fausse délicatesse ne se hasardent pas à vous dire la vérité»[[121]](#footnote-121). Как Вам это кажется? Я написал к нему об этом3, и письмо мое посылаю к Вам незапечатанное; запечатайте его и доставьте ему.

О себе нечего сказать ни доброго, ни худого: здорово, скучно, грустно, пусто, глупо. Вот и всё.

**159.**

**А. П. Киреевской (Елагиной)**

*<10—15 (?) июня 1814 г. Чернь (?)>*

Воейкова еще нет!1 Следовательно, судьба велит мне ехать к Павлу Ивановичу2. Вчера я доехал сюда здорово, но очень поздно. И ужина не застал. Возвращаю Вам Ваши дрожки и с ними еще том деток Аббатства3. Остальные пришлю

скоро. И оду Карамзина возвращаю4. У меня здесь есть экземпляр, присланный Вяземским, который говорит об этой оде с восторгом5. А у него вкус верный. Уж не ошибся ли я? Еще раз перечитаю. Увидим.

Подробного слова писать к Вам, милая и прелестная душа моя, некогда. Сейчас едем с Марьей Николаевной в Орел; а оттуда еду к Ив<ану> Владимировичу. Там напишу к Вам поболее. Благодарю Вас за бесценное письмо. Я возвращусь к Плещеевым 29-го и оттуда его к Вам пришлю. Теперь нечего другого

сказать, как *дружба* за *дружбу* и навсегда.

**160.**

**А. П. Киреевской (Елагиной)**

*<15—20 (?) июня 1814 г. Муратово (?)>*

Милый дружок, или, лучше сказать, милые дружки1 мои, большие и малые, являйтесь все к нам. Воейков здесь, да и Муратовские здесь. Я поехал было провожать Воейкова только до Муратова и хотел его отпустить одного к Пав<лу> Ив<ановичу>2. И худо бы сделал. Там меня любят и *хотят*. Это словечко объяснит Вам Маша. Только прошу не прыгать и не строить Сурьяновских планов3. Ничего нет. Приезжайте. Я принят был прекрасно, сердце было опять начало бушевать. Mais ce beau n’est qu’un beau idéal[[122]](#footnote-122). Ни на пядь от того, что уже довольно твердо сидит в моем сердце. Я чувствую в себе какую-то гордую независимость. Только умом постигаю возможность лучшего, но не хочу этой возможности отдавать на аренду своего сердца. Оно всё отдано тому сокровищу, которое имею, которого отнять у меня никто не может, которое может только увеличиться и никогда, никогда не может уменьшиться. А увеличит его, верно, тот, у кого власть всемогущая и воля прямого отца. О! ему весело отдавать в проценты свою сумму. Не успеешь оглянуться, как она и вдвое. Я чувствую, что душа возвышается от одной этой мысли. Напрасно боялись Вы *капли*, которая мою пустоту может переполнить. Ничто не может взволновать в моей душе того, что в ней *начало укладываться*. В ней всё то же, то же навсегда — захочу ли потерять лучшую свою драгоценность — но это то же само по себе стало лучше. Оно освещено прекрасным и возвышенным светом. Вся жизнь будет по-

священа тому, чтоб этот свет час от часу становился ярче и чище.

*О прочем* здесь останемся беспечны4.

То есть будем иметь беспечность младенца, которому только и думать *о игрушках* на руках доброго отца*.* Не правильное ли это сравнение? Маша, мой *добрый ангел*, весела и здорова и на мой счет покойна. Она читала мое письмо к М<арии> Ник<олаевне>5 и верит ему. Это главное! О! для меня много, много еще в жизни осталось. А будущее? Разве не может оно быть прекрасным. Будь сам только лучше. Anathème au désespoir! Rien de plus bas et de plus criminel que lе désespoir[[123]](#footnote-123).

Мы с Воейковым едем к Павлу Ивановичу6. Всё, что здесь об нем (т. е. о П<ав ле> И<вановиче>) слышал, заставило меня душевно его любить и уважать.

Теперь слово об Вас. Прежде нежели сюда отправитесь, пошлите непременно *нарочных* для сделания описей тех деревень, которых описи еще не поданы в Опеку, и тотчас эти описи в Опеку. Без *этого* приступить к заключению продажи нельзя и с Опекою не сладишь7. Ту же деревню, к которой принадлежит лес, надобно Вам будет взять на седьмую часть (чего без описи сделать нельзя); таким образом и всё скорее развяжется. Всё затруднение теперь в опи-

сях. Скорее описи. Поговорите об этом с Алекс<еем> Сергеевичем8. Да не худо бы и Ивана Никифоровича взять за пупок9. Не забудьте взять тысячу для Чайковских10. Да я еще с Юшковыми11 говорил об некоторой тысяче — поговорите и Вы с ними: если можно, то сделайте. Но не иначе как мне12.

Тетушка показала мне письмо Свечина13. Советую Вам и Юшковым с ней об нем поговорить, а мое, *писанное к Свечину*14, пошлите, ибо я сказал, что к нему писал; если же оно у Вас изодрано, то прилагаю новый экземпляр. Всё *мое* перецелуйте и между собою собственноустно поцелуйтесь. Да постарайтесь какнибудь послать мое почтение (мало *почтение*, мою искреннюю сыновнюю привязанность) Марье Алексеевне и Елене Ивановне15 милой *братскую*. Не правда ли, что жизнь была бы прекрасною вещью, когда бы половина или хотя утро каждого дня было таким, какое провели мы вместе в Володькове16 за круглым

столом. Vive les bons coeurs![[124]](#footnote-124) И с добрым сердцем не хотеть жить на свете! *Кто приказал*, скажу я с Варлашкою!17 *Я сам капитан*!

Вася едет в Орел с Сергеем18 и там всё, что нужно, сделает. Я ему дам письмо к всемогущему Клушину19.

Рецепт отправлен мною в Орел, и капли тотчас пошлются к Е<лене> И<вановне> т. е. к Катоше20. Простите, милые братья.

Vivat![[125]](#footnote-125) Азбукин нашелся21. Растопчин22 видел его в Париже. Три ордена.

Не забудьте о том, что я Вам говорил. Обо мне ни слова; когда будут начинать с Вами говорить, отклоняйте материю.

**161.**

**А. И. Тургеневу**

*21 июня 1814 г. <Чернь>*

Милый друг, обнимаю тебя и спешу дать тебе несколько препоручений, о которых ты, верно, позабудешь. Сначала побранимся: я просил тебя несколько раз о Астракове; для меня очень важно сделать услугу его матери, которую мать моя очень любила и которая всё полагает счастье в своем сыне. Неужели тебе лень об нем подумать? Друг милый, утешь меня, похлопочи об нем. Теперь еще две просьбы. Одна об общем нашем благодетеле Антонском1. Он просил меня убедить тебя выходить ему место директора Лицея2. Можешь ли? По крайней мере, сделай, что можешь. Как же не весело нам об нем заботиться? Я всегда храню к нему в сердце благодарное уважение. Другая просьба о Плещеевых3. Здесь есть пленный доктор Фор4, которого они очень бы желали оставить у себя. Есть ли средство, и если есть, то какое? Уведомь об этом обстоятельно и поскорее. Наконец, последнее. Кавелин писал ко мне о Никольском5, который торгует мои стихи для своего издания. Извини меня перед ним и поблагодари за честь.

На его желание согласиться не могу, потому что сам хочу скоро выдавать всё свое вместе. Тот же ответ и от Воейкова. О себе не пишу ни слова, а буду писать много. Мне надобно разделить с тобою все свои чувства. Уверен, что ты будешь и ободрителем моим и во всём со мною согласишься. Твое одобрение есть мое верховное судилище.

Скоро у вас в Петербург будет и мой, и твой знакомец: милый, прелестный человек — Протасов, сын Павла Ивановича6. Поручаю его твоей дружбе. Он стоит ее. Он меня любит. Я буду писать об нем много. Он будет искать службы.

Ты должен быть ему в этом случае самым ревностным помощником.

Пришли мне новое сочинение Уварова7.

Прости, милый, бесценный друг.

От всего сердца твой *Жуковский*

1814. 21 июня

**162.**

**М. А. Протасовой**

*21 июня <1814 г. Муратово>*

*21 июня.* Понедельник. Я возвращаю тебе Май, *пустой* совершенно1. Что было в него записывать? Нужно ли было выражать для моего друга такое со-

стояние души, которое было ее недостойно. Пустота в сердце, непривязанность к жизни, чувство усталости — вот всё. Можно ли было об этом писать. Рука не могла взяться за перо. Словом, такая жизнь была смерть заживо. И самое живое и приятное желание и надежда мои были в это время на смерть! Друг мой! прости меня! теперь о смерти не могу подумать без самого нежнейшего

о тебе сожаления. Как желать ее, когда ты на свете! Как предпочесть свое спокойствие твоему! Маша, милая моя спутница, моя истинная благодетельница, заплачу ли за все те чувства, которые ты в меня поселила, презрением к жизни, к самому себе, низостью, отчаянием! Нет! я должен любить тебя иначе! Я должен жить для тебя — кто мне запретит это! Быть счастливыми, то есть дойти до

своей цели, зависит не от нас; но быть достойным счастья, идти к прекрасной цели — о! это наше! наше навеки! Как живо чувствую в эту минуту всю высокость жизни, посвященной добру и тебе! Не знаю, как пробудилось во мне это

чувство, — но это сделалось вдруг. По моему письму к М<арье> Ник<олаевне>2, то есть по его началу, ты могла судить, что я взялся за перо совсем в другом расположении: и мысли, и чувства были черные. Вдруг как будто свет озарил мое сердце и взгляд на жизнь совсем переменился. Ангел-утешитель! ведь ты на свете и ты моя.

Я остановился на этом месте и пошел в залу искать платка — ты подала мне изломанное кольцо3. Как кстати, какой прекрасный знак! Друг мой, оно дано тебе *не мною*. Возьми *мое*. Пускай оно означает совершенную перемену моих чувств к тебе на лучшее, возвышеннейшее чувство самой чистой, неизменной привязанности; в ней истинная моя жизнь; она будет для меня источником верного счастья, добра, надежды, религии и наконец получит награду от того, кто будет *видеть* жизнь мою, кто соединил нас и освятит наш союз. В знак *того* *же* дай и ты мне кольцо *от себя*. Обручимся во имя Бога на добродетель, на хорошую жизнь, которая пройдет если не вместе, то по крайней мере *одинаково* и для *одного*. Милый друг, уверяю тебя, что ты мне теперь еще милее, еще святее и необходимее прежнего. Я в последний месяц слишком испытал, что без тебя, без ободрительного о тебе воспоминания, без чистой к тебе привязанности я ничто.

Мы не можем быть вместе. Но одна кровля, одно небо — разве не одно и то же!

Главное — *наше сердце* — кто его переменит? Мы могли бы жить вместе, если бы нам дана была полная доверенность, полная свобода любить друг друга и показывать друг другу без принуждения самую чистую привязанность! Мы бы были счастливы вместе и сохранили бы свое счастье непорочным. Но ожидать такой доверенности невозможно. Захочешь ли, чтобы я был только терпимым в твоей семье, без уважения, без дружбы; чтобы я всякую минуту чувствовал недостаток счастья; завидовал тем, кто пользуются бесценно правом делить всё с тобою, и свои чувства таил бы как какое преступление. Вдали от тебя я более с тобою. Здесь всё для меня отравлено. Когда я один, то думаю только о том, как бы быть с тобою, и ничто другое не входит в голову; когда с тобою, то сердце рвется и самая твердость исчезает, — поневоле ропот, досада на жизнь, унылость во мне поселяются. Такая жизнь тебя недостойна. Когда я с тобою простился, то в первые дни, или, лучше сказать, во весь первый месяц, я был как мертвый — нестерпимая холодность ко всему давила мое сердце.

О! смерть несравненно лучше такого ощутительного ничтожества. В душе моей было одно только чувство разлуки. Всему конец, нечего искать в жизни — вот что я думал и более ниче<го> не мог думать! Но это переменилось! Я нашел верное для себя убежище — ангел мой! хранительница моего сердца! самое лучшее украшение моей жизни! *Ты* мое убежище! Как могла ты сказать в своем последнем бесценном письме4: *я даже желаю, чтобы ты меня любил менее*. Это желание убийственное; нет! нет! Желаю, чтобы моя к тебе любовь усиливалась, если можно, беспрестанно! В ней *всё* для меня! Она заключает для меня всю мою силу и деятельность в *настоящем*; ею может быть для меня прекрасно и *будущее*! С нею могу воображать *вечность*! Она даст мне пример — религию. С нею я богач — без нее был бы самый жалкий, отверженный нищий. Скажу тебе то же, что я писал к Марье Николаевне: для нас осталось теперь одно: *твердая вера друг в друга*!Разве, расставшись, мы друг для друга погибли! Разве нет у нас одной общей надежды; одного верного защитника! Разве цель, к которой он нас ведет, не прекрасная! Он только говорит нам: *идите*! Ужели откажемся от проводника доброго? Разве можем требовать награды прежде заслуги? Разве брошены мы в эту жизнь как в пустыню, в которой ужасы собраны только для того, чтобы ужасать! Нет! это опыт! Из него надобно выйти невредимо и достойным награды! Вера в тебя будет моею твердостью! А ты верь мне и будь спокойна! Тот, кому дорого наше прямое счастье, сделает всё за нас и лучше, нежели мы сами. Неуспех употребленных нами усилий доказывает нам только то, что мы *ничего* не можем, итак, оставим всё на волю Тому, кто *всё* может!

А мы будем ждать, каждый в своем углу, розно, чтоб после благодарить *вместе*.

«Где бы я ни был (это выписываю из письма моего к М<арье> Н<иколаевне>), всё ты будешь в душе моей, лучшею моею надеждою, верным моим счастьем. Будем в настоящем относить всё к этой надежде, а о будущем перестанем и заботиться. Станем *порознь* употреблять это *настоящее* самым лучшим образом, имея в виду то счастливое *вместе*, которое когда-нибудь придет. *Знай и верь*,

что я живу для тебя. Разве место и время переменят чувства. С такою целью могу любить жизнь! Где бы я ни был, везде буду помнить, что я принадлежу тебе. Итак, везде и всегда надобно быть тебя достойным. Если дашь мне слово (и сохранишь его) быть спокойною и беречь себя для лучшего времени, то я даю слово (и сохраню), что буду пользоваться сколько можно своею жизнью, буду думать о себе как о твоей свято неотъемлемой собственности. Как не уважать

жизнь, когда она *твоя*! Как не желать ее сделать тебя достойною!». Разве мысли быть тобою любимым не довольно на целую жизнь! Такое счастье подвержено ли перемене судьбы? Случай может ли им владычествовать! Нет! нет! верить Провидению! верить друг другу! всегда и везде быть достойными друг друга — вот всё! Остальное не может быть дурно! Дай же мне руку! будь мне примером!

товарищем! ангелом-хранителем!

Милый друг, расставаясь с тобою, я много теряю! Боже мой! не видаться!

Но знаешь ли, что мы выигрываем? Свободу любить друг друга! Мы заплатили за нее своим пожертвованием! Теперь любовь верная и чистая *наша* и никто не может на нее иметь права. Маменька5 могла бы дать нам полное счастье —

о! с таким счастьем ничто не сравнится! Но теперь она уже ничего у нас отнять не может! Без этого полного счастья нам нельзя быть вместе. *Без доверенности, но вместе* — мы бы опять были рабами, принуждены бы были таиться и притворствовать, — *розно* мы свободны, и наша любовь принадлежит нам по праву. Я никогда и нигде не буду *одиноким* с моею к тебе привязанностью,

с моею верою в твое сердце! Я буду богат мыслью, что ты моя и что всякое мое чувство, всякая мысль, всякий поступок мой будут освещены воспоминанием о том, что мне всего дороже, — разве это не жизнь? Кто такой союз разрушит? Кто имеет право его осуждать? Наша жертва сделана! Теперь мы выше всех, кто так равнодушно располагает нашею судьбою; мы спокойно можем скрыть себя в глубину сердца и в нем находить свое счастье, в нем заключить веру друг в друга, не зависящую ни от кого, и веру в Провидение, которая нас приведет ко всему и всё заменит, что дурно, добрым. *Розно* — мы независимы ни от кого, ни от чего. *Вместе* — нас только бы оскорбляли и сохранили бы еще некоторое право и на то, что у нас в сердце. Нет! мой ангел! для меня довольно одной моей к тебе привязанности на целую жизнь! *Одно* чувство распространит на нее самый прекрасный свет, который ничем не помрачится. Я буду, буду дорожить жизнью.

Признаюсь тебе, с тех пор как я сюда возвратился — я несколько колебался в этих мыслях. Видя тебя снова, чувствую всё то жестокое горе разлуки, которое стесняло мою душу, — вижу одно только то счастье, которого я лишен, и забываю о том, которое мне осталось. Видеть тебя перед собою и иметь одно только воспоминание о тебе — какая разница! Но я и не хочу сражаться с этим чувством: пускай оно меня мучит! Теперь последнее время — оно бесценно при всех страданиях! Но даю тебе слово, что убийственная безнадежность ко мне уже не возвратится. Нет! друг милый! Я знаю, где и в чем искать счастье! По крайней мере, теперь я с одной стороны спокойнее, — я ничего не жду от маменьки; я поставил себя выше несправедливости и пренебрежения и доволен мыслью, что она уже у меня ничего отнять не может.

Прошу от тебя только одного — будь мне примером и верным товарищем в этой твердости, в этой взаимной доверенности; ищи такого же спокойствия в самой себе. О, если бы я мог быть уверен в твоем спокойствии! Какую бы твердость это мне дало на целую жизнь!

Я сделал себе правило, которое одно мне на *целую жизнь* послужить может. При всяком чувстве, при всякой мысли, при всяком намерении буду у себя спрашивать: *достойны ли они моей Маши? Можно ли их ей открыть? Будет ли и должна ли она в них участвовать*? Милый мой ангел, разве этого не довольно,

чтобы не только не испортиться, но еще и сделаться лучшим?

Скажу несколько слов о своем плане жизни. Для меня теперь одно — занятие. И это занятие будет троякое: *читать* — собирать хорошие мысли и чувства; *писать* — для славы и пользы; *делать* всё то добро, которое будет в моей власти. Милый ангел, еще жить можно. Хорошо мыслить и чувствовать не есть ли быть всегда с моею Машею, становиться для нее лучшим. О! я это часто,

часто испытывал: при всякой высокой мысли, при всяком хорошем чувстве воспоминание о тебе оживляется в моем сердце! я становлюсь как будто с тобою знакомее и дружнее. Где же разлука? Разве не от меня зависит всегда быть

с тобою вместе? *Слава* имеет теперь для меня необыкновенную и особенную прелесть — какой, может быть, не имела прежде. Ты будешь обо мне слышать! Честь моего имени, купленная ценою чистою, будет принадлежать тебе! Ты будешь радоваться ею, и обещаю возвысить свое имя. Эта надежда меня радует. Приобрести общее уважение для меня теперь дорого. О! как мне сладко думать, что сердце твое будет трогаться тем уважением, которое будут мне показывать. Или его не будет, или оно будет справедливое, достойное тебя, мой друг бесценный и единственный.

Быть *добрым на деле* значит для меня любить мою Машу. Я мало, слишком мало добра сделал. Теперь много имею быть причины сделаться добрее. Всякое доброе дело будет новою с тобою связью. О! если бы только это не осталось

одним намерением! Боюсь своей лени, — а здесь нужна деятельность! Но ты со мною! Буду вырабатывать деньги! Часть себе, — а всё, что не будет *необходимым*, — другим. Но и пожертвование даже будет весело. Какой прелестный у меня свидетель! Милый друг! проси Бога, чтобы Он благословил меня на такую жизнь и сама дай мне благословение любви, верности и товарищества. Всё доб рое, что мы сделаем, будет для нас *заслугою* для счастья в глазах Провидения. Но мы будем только верить этой награде, — а действовать и без награды, только не желай, чтобы *любовь моя к тебе уменьшилась*. Нет! пускай она час от часу усиливается: в ней все мои сокровища.

Думаю, что буду жить в Мишенском, — то есть Мишенское будет главным местом моего пребывания (впрочем, увидим). Желал бы лучше в Долбине. Дуняша всех лучше умеет тебя любить6, всех лучше тебя понимает и с нею всегда говорим об тебе *одним языком*, но у нее нет места.

Уединение для меня лекарство. Я всегда лучше с собою, когда один; душа утихает; мысли приходят в порядок и *лучшее* всё подымается наверх. Для меня рассеяние не только не нужно, но и вредно. От чего мне рассеиваться? Неужели желать забыть? Забыть всё мне милое, всё лучшее!

Нет! моя к тебе любовь не может быть моим губителем! Теперь более нежели когда-нибудь знаю, сколько она нужна моему сердцу! Как бы то ни было: буду *здесь, с ними*, как можно уединеннее; порядок и занятие — этого в рассеянной жизни найти не можно! Рассеяние, если не отвлечет меня сердцем от моей милой цели, то по крайней мере будет препятствием стремиться к ней на деле. Думаю, однако, что изредка буду заглядывать и в Москву. Сарепта же была безумная мысль7, произведенная первым волнением. Нет, милая, совершенно уединиться невозможно — но лучшие минуты мои будут для меня со мною. Часть времени буду проводить в Черни. Одним словом, буду кружиться на своей родине. Но, Боже мой! то место, где я считал иметь всё, мой рай земной, будет уже для меня пусто или заперто. Но зачем этим себя мучить? Мой рай — твое сердце — оно никогда не будет для меня закрыто. Как, однако, вдруг одна мысль всё помрачит, и надобно пройти несколько времени, чтобы душа опять пришла в порядок. Какое горькое сиротство в этом слове — *быть розно с тобою*. Но разве я думаю теперь о счастье? Его нет! Нам надобно думать только о вере в счастье! Оно будет наше, когда мы будем счастья достойны. Мы еще много сокровища сберегли от бури! Но смею ли сказать, что мы сберегли лучшее! О! это слово: *розно*! Как оно раздирает душу! Другие будут иметь право заботиться о твоем счастье! А я буду для тебя чужой? Нет! не чужой! Они будут только иметь наружность права! а настоящее, данное твоим сердцем, принадлежит мне! В своем уголке буду думать, верить, утешаться мыслью, что я *живу для твоего счастья*! что мое право никому не будет уступлено. Это жестокое *розно* можно украсить; всё, всё употреблю на то, чтобы оно не было так убийственно. *Думать, чувствовать, делать, писать —* всё для тебя! О! если бы только иметь довольно твердости — но моя твердость зависит от твоей. Будь моим утешите-

лем, хранителем, спутником жизни!

Ты говоришь о поездке в Петербург — если можно будет согласить уединение и занятие с петербургскою жизнью, то я поеду. Но ты напрасно желаешь,

чтобы я вошел в службу, — служба ничего мне не доставит! Всё могу сделать пером — а для пера нужны уединение и свобода. Одно только может меня на это подвигнуть: петербургская жизнь нас сблизит! Но что же пользы, если только

сблизит, а не соединит, а между тем бросит меня совсем не в тот круг действий, в котором я могу что-нибудь хорошее сделать. Впрочем, обо всем посоветуюсь

с Тургеневым8. Он укажет мне настоящую дорогу. Ты пишешь: *нельзя, чтобы маменька не захотела тебя увидеть.* Ангел мой! мне ужасно быть у вас гостем! Увидеться для того, чтобы расстаться, — какое мучение! Быть подле вас и не с вами — как это тяжело! О! тогда нет ни покоя, ни твердости! Душевное волнение не дает места никакой доброй мысли укорениться; чувствуешь одно бремя жизни и желаешь только его сбросить. Здесь я буду по крайней мере без забот и независим.

Всем бы этим я пожертвовал, когда бы мог видеть, что петербургск<ая> жизнь приведет к чему-нибудь счастливому. Но еще раз повторяю — наше счастье зависит теперь единственно от Провидения! вверим ему отеческую об нем заботу. На *наши* средства полагаться нечего. Моя последняя надежда была на Воейкова — милый друг, эта надежда пустая9. Он не имеет довольно постоянства, чтобы держаться одной и той же мысли. Я боюсь быть к нему несправедливым — но кажется мне, что пылкость его и рвение более на словах, и он слишком переменчив для приведения чего-нибудь к концу. Я не сомневаюсь в его дружбе. Но теперешний язык его и со мною не похож на *прежний*. Он прежде говорил так часто о *нашей жизни вместе*; теперь об этом нет и в помине. Il s’est trop vite résigné pour moi[[126]](#footnote-126). Мы с ним живем под одною кровлею и как будто не знаем друг друга, а нам жить вместе недолго. Одним словом, лучше не ждать ничего и ни от кого, а верить Тому, кто не обманывает и не переменяется. О, мой милый друг! Ему поручаю твою судьбу и твое будущее, и в этом всё мое — ты моя единственная цель в этом свете. Пропади твое счастье, и я не подорожу жизнью! Тогда будет приятно с нею расстаться, и слово «смерть» опять получит для меня свою прелесть. Теперь жизнь моя освящена тобою, и я буду любить ее как твою принадлежность.

Теперь план моей жизни тебе известен — благослови нас Бог! Я уверен, что ты одинаково со мною думаешь и о себе. Я желал бы, чтобы ты более занималась и таким, что бы питало твою душу. Я желал бы, чтобы ты сколько можно более читала. План чтения у тебя есть. Форово предписание также10. Неужели без меня не будешь о себе заботиться так же, как и при мне? Вот что тебе скажу: в первые дни после моего от вас отъезда мне приходило желание сделать чтонибудь такое, что бы совсем расстроило здоровье, что бы дало болезнь, и если можно, смертельную — прости меня за такую мысль, но знаешь ли, что меня останавливало всякий раз? — *сожаление* о тебе, а теперь и самая мысль о смерти возбуждает это сожаление — ангел мой! имей такое же ко мне сожаление! Береги себя! Не убей моей жизни. Я желал бы, чтобы ты не бросала и своих *feuilles*

*volantes*[[127]](#footnote-127). Записывай дни свои, мысли и то, что хорошего заметишь в книгах, — я то же буду делать и с своей стороны. Когда-нибудь разменяемся.

Участие Алек<сандра> Павл<овича>11 в нас сильно меня тронуло. Какое доброе сердце! Но эта доброта не одно преходящее чувство — нет, она выше! Она дает его душе сожаление и побуждает ее *действовать* для облегчения или утешения! Это прямая, но редкая доброта. Дружба такого человека бесценна: я готов его любить как брата — и знаешь ли, что меня радует? То, что он познакомился с Тургеневым12 и они вместе — два добрых, благородных сердца — будут о нас заботиться. Я с ним переговорю о Петербурге. Если можно будет всё

согласить, то он с Тургеневым всё устроит.

Такая привязанность *к нам* милых, прекрасных людей не есть ли большое утешение? О мой ангел! сколько людей тебе желают счастья!

Авдотья Никол<аевна> приедет, и приедет с уроками и увещаниями13. Друг милый, не старайся ее убеждать; скажи ей просто, что она разрушила прямое счастье; но скажи один раз и не давай ей никакой доверенности; отклоняй даже и разговор, если она захочет с тобою обо мне говорить. Всё решено. От нее же утешения не нужно.

Я буду писать к маменьке — но только тогда, когда с нею расстанусь. Я никакой надежды не полагаю на свое письмо — но сказать ей всё необходимо. Ее мнение обо мне несправедливое и унизительное — это надобно ей доказать. Более ничего и не желаю. Я не хочу, чтобы она считала, что я признаю себя виноватым, что принимаю изгнание из ее дома с покорностью раскаяния. Нет, такое мнение о себе ей оставить мне невозможно. Теперь она ко мне ласкова.

Я этого не приму за дружбу. И вера к ее ласке совсем исчезла в моей душе. Но я благодарен ей и за добрую наружность. Теперь вижу в ней одну твою мать, и это имя для меня свято. Почтение, неожидание ничего и терпение — вот всё. Письмо мое будет просто. Отъезд мой не будет разрывом. Наружность связи будет сохранена.

Прилагаю при этом письмо М<арьи> Ник<олаевны>14. Ответ на то, которое я к ней написал, и еще письмо Дуняши, после него написанное. Милые люди! Какое услаждение для нас их дружба и участие! Они ничего не заменят для меня — но они будут знать мою цель! Они будут понимать мои чувства! С ними легче и бодрее буду идти к этой цели.

Милый ангел! сердце разрывается, когда подумаю, что ты не будешь иметь их с собою. О! для меня было бы легче, когда бы можно было отдать тебе все свои отрады! И тогда бы я не был одиноким! Нет! нет! прочь мысль об одиночестве! Моя цель прекрасная! Мой милый спутник в одном свете со мною: мы мыслим, чувствуем и живем одинаково и для одного! Боже! благодарю тебя!

Прилагаю при этом и *весь пустой май*. Прошу тебя всё это в него переписать. От слова до слова, и прибавить свой ответ. Эта книжка будет моим законом. А то, что ты мне напишешь, перепишу для тебя. Даю тебе слово, что вся моя жизнь будет посвящена исполнению этих добрых намерений или (чтобы кончить одною чертою) *любви к тебе.*

Воспоминание, святая, утешительная мысль о моем друге — пусть будет оно хранителем моего сердца. Где бы я ни был, этот ангел меня не покинет. С ним моя жизнь не может быть пустою, ничтожною жизнью. Нет, она будет *доброю* жизнью. Я чувствую в душе своей какое-то стремительное влечение к добру. Чувствую за себя и за тебя высокую твердость, которая говорит мне: *вы ни от чего теперь не зависимы. Ни судьба, ни люди не истребят того, что вы имеете! а лучшее впереди! Там Бог! Он вас видит и вы в любви Его неразлучны! Некогда будете сами это чувствовать. А теперь только верьте и будьте выше своего жребия.*

Laβ mich

Aus dem geliebten Mund was meine Seele hasset

Nie wieder hören! Klage dich

Nicht selber an, nicht Den, der was uns drücket Uns nur zur Prüfung, nicht zur Strafe zugeschicket!

Er prüft nur, die Er liebt, und liebet Väterlich!

……………………………………………………

Mir sagt’s mein Herz, ich glaub’s, und fühle was ich glaube. Die Hand, die uns durch dieses Dunkel führt, Laβt uns dem Elend nicht zum Raube.

Und wenn die Hoffnung auch den Ankergrund verliert, So laβ uns fest an diesem Glauben halten:

*Ein einziger Augenblick kann Alles umgestalten.*

Doch laβ das ärgste sein! Sie ziehe ganz sich ab Die Wunderhand, die uns bisher umgab;

Laβ sein daβ Jahr um Jahr sich ohne Hülf erneue, Fern sei es das mich je, was ich gethan, gereue!

Und läge noch die freie Wahl von mir, Mit frohem Muth ins Elend folgt’ich dir!

Mir kostet’s nichts von allem mich zu scheiden

Was ich besaβ; mein Herz und deine Lieb’ ersetzt

Mir alles; und so tief das Glück herab mich setzt,

Bleibst du mir nur, so wird’ ich keine neiden

Die sich durch Gold und Purpur glücklich schätzt, Nur, daβ *du leidest*, ist mein wahres Leiden!

Ein trüber Blick, einstach, das dir entfährt,

Ist was mit tausend Färb die eigne Noth erschwert. Sprich nicht von dem was ich für dich gegeben,

Für dich gethan! Ich that was mir mein Herz gebot,

That’s für mich selbst, der zehenfache Tod Nicht bittrer ist als ohne dich zu leben.

Was unser Schicksal ist, hilft deine Liebe *mir*,

Hilft meine Liebe *dir* ertragen;

So schwer es sei, so unerträglich — hier

Ist meine Hand — ich will’s mit Freuden tragen[[128]](#footnote-128)15.

На твое письмо завтра буду отвечать16.

**163.**

**М. А. Протасовой**

*28 июня <1814 г.> Дер. Куликовка — Сорочьи Кусты <Орловская губ.>*

Июня 28

Я еду по вашим следам. Остановился в Куликовке, в 17 верстах от Орла, там, где вы ночевали в последний раз, возвращаясь с ярмарки. Сижу на том месте, где ты сидела, мой милый друг, и воображаю тебя. Хозяйка мне рассказывала об вас и я уверил ее, что я *жених*, но что невеста моя не младшая, а старшая дочь той госпожи, которая у нее останавливалась.

Ночевать буду в Разбегаевке, на вашем же ночлеге; а завтра обедать в Губкине у Крылова1 и поклонюсь тому гробу, который вы сами сделали.

Ты видела меня грустным, друг милый, в последние дни — может ли быть иначе? Во всяком положении, где бы я ни был, грусть более или менее будет в моем сердце — она будет его обыкновенным состоянием. Могу ли когда-нибудь не чувствовать, что я лучшего не имею в жизни и иметь не буду? Но как же расстаться с нею, с этой грустью? Она есть для меня воспоминание; счастья истинного, настоящего никогда для меня не будет, и я не могу даже его искать. В чем можно найти его? Но верь мне! убийственная безнадежность никогда ко мне не возвратится. Тем, что осталось для меня в жизни, буду стараться воспользовать<ся>, и так, чтобы не был недостойным тебя. Теперь дóлжно переменить понятие о жизни. Вчера, — подъезжая к Мезени2, я смотрел на рощу, которая растет близ дороги, — погода была тихая, и роща была покрыта прекрасным сиянием заходящего солнца. Чувство во мне было приятное, но с этою приятностью соединено было уныние, которое всегда чувствую, когда что-нибудь подобное мне представится. Я очень понимаю это чувство. Прежде (но давно уже)

с приятным впечатлением соединялась всегда веселая надежда на будущее — надежда неизвестная, но еще не обманутая и потому веселая. Теперь при каждом таком впечатлении недостает веселой надежды, и сердце стесняется. Будущее известно. Ждать того, что составляет лучшее в жизни, нечего… Для чего это пишу? Чтобы сказать тебе то, что я в эту минуту подумал. Мысль обыкновенная, слишком обыкновенная. Но в эту минуту она показалась мне разительно-новою. Отчего это? Оттого, что прежде она была просто мыслью, а теперь есть опыт; тогда убеждал в ее справедливости один ум, а теперь она представилась как необходимость, как прибежище: — *Ограничить себя настоящим.*

Будь настоящее наш утешительный Гений3.

Милый друг, настоящее принадлежит нам. Если надежда на будущее пропала, то будем, сколько возможно, стараться пользоваться настоящею минутою и соберем *вокруг себя всё то*, что у нас есть, — предоставив *всё будущее без всякой заботы* попечению Промысла. В настоящем мы принадлежим друг другу и настоящим должны жить друг для друга. Будем, смотря на прекрасный вечер, наслаждаться им и не давать воли сердцу сжиматься при мысли о будущем. *То, что есть*, на то устремлять *всё* внимание, и не давать никакой посторонней мысли его расстраивать. В том маленьком кружку, в котором суждено мне действовать, может найтись *доброе* занятие для каждой минуты. А я имею свидетеля, верного и неразлучного со мною. Любви к этому другу достанет на всю жизнь.

Но всё это одно прибежище. Я уцепился за него, как утопающий за доску. Лучшего в жизни, семейственного счастья, единственного, которого мог я желать, я иметь не буду — грусть об его потере всегда останется на дне сердца. Не дóлжно только давать ей власти — чтобы она не отравляла того, что мне осталось. Жизнь моя должна быть тебя достойна — в этом главная теперь моя обязанность.

Но пользоваться настоящим — эта мысль еще не имеет для меня полной ясности. Это одно только темное намерение. Во мне два человека. Один — *вседневный*, то есть по привычке недеятельный, следующий своим склонностям,

со всеми недостатками; другой — *совершенный*, то есть в иные минуты готовый на всё прекрасное, имеющий высокие мысли и желания. Этого *совершенного* я вижу часто как будто во сне, и он точно как сон пропадает, оставляя по себе одно легкое воспоминание. Надобно непременно взять, как говорится, *этот сон в руку*. Не надобно быть хорошим во сне; надобно *совершенное* сделать *вседневным*. Совершенное: какое гордое слово… но, друг милый! если предположить себе цель, то уже дóлжно, чтобы эта цель была самая высокая.

Например, кстати или некстати, скажу то, что пришло мне в голову об *удовольствии*: много такого называют удовольствием, что пленяет нас одну минуту и потом исчезает, не оставив по себе следа. Достойно ли такое удовольствие искания? Нет! одно *удовольствие с воспоминанием* есть прямая принадлежность души человеческой; одно воспоминание может дать ему цену. И только такие

удовольствия могут *слиться в счастье*. Но для этого они должны быть *добрые*. Об этом много бы можно было сказать; после что-нибудь и напишу. Еще одна мысль: пока ничто в жизни не решилось, по тех пор мы живем *вне себя —* всё наше; от всего чего-то ждешь; когда же узнаешь, что такое жизнь, — то нужда велит заключить себя *в самом себе*, с тем, что лучшего сберечь от судьбы своей. Еще счастлив, когда это прибежище возможно, когда сам для себя можешь быть приютом. Милый друг! я не буду один в этом приюте — мой лучший друг

со мною! Ты!

Вот смешное замечание. В Орле остановился я ночевать на постоялом дворе. Там стоит княгиня Несвицкая4 с больною дочерью. Эта женщина в разводе с мужем, которого я знал. Глупый и пустой человек. Но вот что смешно. С глупым мужем она не ужилась. А к глупому любовнику имела *нежную привязанность.* Чтобы сказать *всё* одним словом, этот Грандиссон был Ник<олай> Ив<анович> Вельяминов5. Чтобы быть мужем — нужны добродетели; а любовника делает прелестным для многих женщин мысль, что его можно оставить. Pardon, pour cette bêtise. Je ne devrais pas la faire entrer ici[[129]](#footnote-129). Но мне хочется

с тобою болтать.

Пишу к тебе, сидя у дверей постоялого двора, — деревня Сорочьи Кусты; в Разбегаевке оттого не остановился, что завтра будет слишком велик переезд до Губкиной. Но я *видел* тот двор, в котором вы ночевали. Перед самыми окнами колодезь и мост. Признаю, жаль было его проехать.

Около меня бегают три забавных мальчика — здоровые и свежие, хозяйские дети. Я перекупил у них землянику, за которую они предлагали грош, а я дал пятак. Надобно было видеть их гордость, когда они торговались, и смирение, когда торг не состоялся; но я их утешил, разделив эту землянику между ними. Этот великодушный поступок произвел великое впечатление над детьми,

собирательницами земляники. Явилось их ко мне с полдюжины — и у всех земляника была куплена и роздана ребятишкам, за исключением одного стакана, за этим транспортом явился новый — но я отказал. Вот все мои подвиги.

Вот еще мысль: самая верная дорога к цели есть *прямая*6. Осторожность не есть хитрость. Но хитрить — значит подвергать себя опасности быть открытым, необходимости поддерживать обман обманом, или себе изменить. Если цель хорошая, то чтобы к ней достигнуть, надобно и средства употреблять хорошие; — иначе дурные средства и самую цель обезобразят. Кто ищет счастья,

тот должен его *стоить* и чувствовать, что стоит; без этого чувства не будет и счастья. Получив желаемое унижением самих себя, мы сами то уничтожаем,

чего желали, ибо дело не в приобретении, а в сохранении; — приобретение — *минута*, сохранение — *жизнь*.

Но как же сохранить хорошее, когда оно приобретено дурным способом и, след<овательно>, когда мы сами сделались неспособны им пользоваться. Важность не *в присутствии счастья*, а в том, чтобы *мы* могли выдержать его при-

сутствие.

Эта мысль написана прежде моего разговора с маменькою *об Иванове*7.

Писал бы еще более, но темно; надобно ложиться спать, чтобы встать до свету. В Губкине опять поговорю с тобою. Эти синенькие книжки непременно будут продолжаться. Прошу и тебя писать. Возвратясь, нашел их тебе много.

Хорошо, что я ничего не писал в мае. Он точно был пустой в жизни8. Но ты его наполнишь. Эта книжка всегда будет при мне. Она будет моим катехизисом.

**164.**

**М. А. Протасовой**

*29 <июня 1814 г.> С. Губкино <Орловская губ.>*

*29 <июня>. — Губкино.* Лежу в сарае, в санях, на сене. Читаю Виландова *Diogenes von Sinope*1 и часто перерываю чтение, чтобы думать о тебе. Гулял и по кладбищу — даже и срисовал его.

Ты хотела знать мои мысли о предведении. Право, не помню, что я писал к

Ив<ану> Вл<адимировичу>2, — этого письма нет у меня. Смысл, кажется, следующий: в мире, под властью Божиею, два закона управляют всеми вещами. Один физический — неизменяемый, другой нравственный — свободный. Первому подчинено всё, не имеющее ума. Последнему — всё, что имеет ум и волю.

Предопределение, фатализм существует только в физическом мире.

Закон, установленный от века, продолжает и вечно будет продолжать действовать без всякого изменения. Но в нравственном мире нет предопределения, иначе не было бы и воли, а без воли нет добродетели, и человек был бы машиною, самою жалкою из машин, потому что он бы чувствовал свою неволю. Но предведение и предопределение одно и то же. Бог предвидит только то, что сам предопределяет. Предвидеть наши поступки — значит предопределить их, значит отнять у нас волю. Только тогда Бог может быть нашим помощником, защитником и наградителем, когда не будет иметь сего предведения, лишающего и Его всякой свободы относительно к нам. Одному только всемогуществу возможно было отказаться от сего предведения. Случаи жизни устраиваются Промыслом; путь человека назначается им же, но человек сам действует, сам мыслит — чувствует посреди этих случаев, сам *идет* по этой дороге. Всё, что ни встречается с нами в жизни, есть только *повод к действию* и зависит от Провидения. Но *как по этому* поводу действовать, это зависит от нас.

Творец предоставил себе только одно — судить наши действия. Не предвидя их, Он оставил себе свободу нас награждать; облегчать работу, трудную для наших сил, содействовать нам, располагать случаи так, чтобы мы не могли никогда потерять силы и надежду (для этого Он требует от нас одного только упования). В противном случае нет для человека надежды, а для Творца свободы исполнять надежду верующего сердца. Если подумаешь, то ты найдешь, что моя мысль гораздо более сходна с понятием о Провидении, нежели мысль тех, которые дают Богу это жестокое предведение, думая тем доказывать Его всемогущество, но в самом деле только лишая Его свободы. Надобно отделить человека *самого* от того, что бывает *с человеком*. *То*, что с ним бывает, определяется, устраивается, предвидимо Божеством. То, что он *сам* бывает в этих разных случаях жизни, — зависит единственно от него и предоставлено совершенно на произвол его всемогуществом Божиим. В одном и том <же> случае человек (один и тот же) может действовать тысячью разных манер — доказательство, что от него зависит избрать способ действия. Иначе, где было бы достоинство человека. Бог наклоняет человеческую волю к добру — это правда, но человек властен следовать или не следовать этому влечению. В чем же состоит Провидение? В том,

что оно располагает случаями жизни, устраивает их к лучшему, а человеку говорит: действуй согласно со мною и верь моему содействию. Что бы ни было, мой друг, но мы должны смотреть на всё, что ни встречается с нами, как на предлагаемый нам способ *свыше* приобресть *лучшее*. Надобно только верить. Как бы ни было страшно и трудно, а тайный, невидимый помощник близко.

Друг! что беды для веры в Провиденье?

Лишь вестники, что смотрит с высоты На нас святой, незримый Испытатель!

Лишь сердцу глас: крепись! Минутный ты Жилец земли! Есть Бог! и ждет Создатель Тебя в другой и лучшей стороне!

Дорога бурь приводит к тишине3.

**165.**

**М. А. Протасовой**

*5 июля <1814 г.> Орел*

*5 июля. Орел*. В Нетрубеже1 не писал ничего, и не было времени писать. Мне было очень свободно, и я принят был очень хорошо. Признаться, мне не хотелось ехать, — я боялся быть неловким, принужденным, — следовательно скучным. Но этого совсем не было, и никогда быть не может, если не захочешь иметь никаких *претензий*. Моя принужденность иногда бывает от *расположения*. В иные минуты невольно думаешь более о самом себе; от этого теряешь всякую свободу или не имеешь ни способности, ни желания быть с другими веселым, ласковым и прочее. Непринужденность в обращении много зависит от *первой минуты —*

от того, каков был в первую минуту с людьми, с которыми заводишь сношение. Если первая минута не удалась, то это делает надолго или и навсегда неловким. Много непринужденность зависит от *их характера и образа жизни*.

В первый вечер много было говорено *об вас* и о тебе особенно. Милая, видно, опять надобно отказаться от доверенности! Ты опять больна и опять начинаешь скрываться. Ты только хочешь носить маску любви ко мне — не сердись за это выражение! Где же любовь, когда нет никакой заботы о себе, когда ты довольствуешься только тем, что я тебе верю и нимало не думаешь оправдывать моей веры. Правда! меня с тобою не будет и я не буду *видеть*. Но помни и то, что и тебя не будет со мною, что и ты также *видеть* не будешь. Но следствия для меня *всё* обнаружат и тогда уже сожаление не удержит меня от подражания. Подумай об этом хорошенько и будь заботлива. Моя привязанность к жизни, мое уважение к ней основаны на мысли, что ты всё со мною разделяешь. Одна только ты можешь для меня всё уничтожить. Ал<ександр> Павлович говорил *обо всем* со мною. Предполагая нежнейшее сожаление в сердце маменькином к нам, он думает, что всего важнее стараться переменить ее мнение и что это возможно; надеется на Досифея, на Ив<ана> Владим<ировича> и пр. Милый друг, он был бы прав, если бы его *предположение* было справедливо. Я сам всего

ждал от сожаления, от желания сделать наше счастье. Но их нет. Ты видишь,

что маменька не хочет верить, что это тебе *нужно*; что она только об том заботится, чтобы и другие тому верили. Наше несчастье для нее не существует. Иначе могла ли бы она иметь дух с такою холодностью, с таким пренебрежением шутить насчет нашей привязанности, которую называет страстью и хочет представить смешною и странною; а нас какими-то романическими героями и тому подобным. Для нее важно только исполнение ее воли.

О! она была бы исполнена и без этих жестоких, незаслуженных несправедливостей. Она не понимает нас или понимать не хочет. Где же тут думать о перемене мнения. Тогда была бы возможность его победить, когда бы она сравнивала его пожертвование с пожертвованием нашего счастья! Но она не чувствует необходимости в этом сравнении и не думает колебаться. Ей не страшно. Ал<ександр> Павл<ович> сказывал мне, что и отец, и мать его слышали об нас и были весьма недовольны, что, узнавши вас, они уверились в несправедливости слухов и что М<арья> Ник<олаевна>2 — как она об этом сказывала Катер<ине> Яковлевне3, — *поговорив со мною, по своей проницательности всё узнала и совсем успокоилась на мой счет. Начав говорить о тебе, она смотрела мне пристально в глаза; не заметила никакой во мне перемены; и я отвечал ей холодно! чего же более?* и она обещала порядочную спеть обедню тем, которые так ее вздумали дурачить.

На них нечего надеяться. Павел Иван<ович> способен сильное в нас принять участие, но он не имеет никакой воли и ничего решительно желать не может. Он говорит о тебе с чувством; я уверен, что, несмотря на мнение, он в состоянии согласиться с нами в желаниях, — но исполнить их он неспособен. При первом противоречии он нас оставит, следовательно всё еще более испортит. Я даже скорее бы положился на Мар<ью> Никол<аевну>, несмотря на весь ее флегматизм. Она имеет твердость. Стоит только найти способ привлечь на свою сторону ее мнение. Но для этого нужна бы была великая осторожность и время, если бы и думать, что и он, и она могут быть нам полезны. Но что они для нас сделают? Всё, что теперь остается, есть только приобресть их дружбу — это от-

части и сделано, само собою, без всяких *пантомим и маскарадов*, а просто — иначе и не должно.

**166.**

**М. А. Протасовой**

*9—15 (?) июля <1814 г.> Дер. Котовка <Орловская губ.> — Муратово*

*9 июля.* Деревня *Котовка*. Завтра увидимся, друг милый. Вчера я простился с своими хозяевами, которые, кажется, довольно меня полюбили. А с Александром Павловичем у нас идет по-братски. Знаешь ли, что мне вчера было предложено? Не менее как путешествие с Алекс<андром> Павловичем1. Что ты на это скажешь? Я дал слово подумать, но решительного ничего не сказал. Александр Павл<ович> очень был бы рад путешествию, но он не верит, чтобы этот план был исполним. Его уже совсем снарядили было один раз в Неаполь и вдруг ужасное *не хочу* всё расстроило; был некогда общий план ехать в Америку, и всё уже было уложено, но грозное *не хочу* подоспело в свое время. Его состояние тяжелое. Он совершенный невольник капризов. Время у него отнято; занятиями его располагают самовластно; беспрестанно упрекают его в холодности и твердят о его независимости. Павел Ив<анович> при всей своей доброте со всем

соглашается и всё сносит. Но он сносит, потому что имеет характер слабый, который во всех положениях, быть может, и на всё погнется. А Алекс<андр> Павл<ович>, имея характер твердый, должен всё снести, обо всем молчать и всё скрывать в самом себе. Это его невольно от них отдаляет в душе своей, и он совершенно одинок в отеческом доме. Но и в самом этом одиночестве он не имеет свободы. Напр<имер>, он желал бы писать и точно имеет дарование2, которое мог бы при такой охоте к трудолюбию весьма образовать, но он должен отказаться от пера — ему будут и здесь связывать руки, будут поправлять то, что он напишет, и свое печатать под его именем. Служба для него прибежище. Но вот уже матери опять не хочется, чтобы он служил, а отец с нею согласен. Лучше желают, чтобы он путешествовал, — а он боится, чтобы под предлогом путеше-

ствия только не была бы у него отнята служба.

Одним словом, у него нет матери. Под этим именем безрассудное творение управляет его судьбою — желает от него любви, хочет искренности, но естественно ли быть искренним с теми, которые не предполагают в нас никакой собственной воли, не дают нам ни радости, ни права мыслить, а требуют одной слепой и безответной покорности! Это ожесточает человека с характером твердым. Он мог бы иметь в отце и товарища, и друга, и участника в счастье, когда бы отец его был с ним свободен, когда бы чужая воля не управляла его слабою волею. Но безрассудство матери не только обременяет сына, но и отца с ним разлучает. Таково его положение. К матери он иметь привязанности не может —

он может только рабски молчать перед нею; к отцу также — от него не надеется он ни справедливости, ни помощи, ибо доброе сердце его молчит перед самовластием матери. К тому же его не понимают. Он выше их образом мыслей и чувствами. В своей горнице со мною он совсем не тот, каков в гостиной с отцом и матерью. Главное его чувство — желание оставить дом семейственный, где нет ему никакого счастья. Такое положение ужасно.

Путешествие было бы весьма приятно с таким товарищем, каков Ал<ександр>, а ему очень было бы хорошо со мною — я в этом уверен. Между тем это бы сохранило мою с ними связь, а они для нас нужны. Твое же сердце и мое не могут перемениться. Путешествие не рассеет меня, и ничто в свете не отымет у меня лучшей моей драгоценности: *любви к моему земному спутнику*. Подумай сама об этом, мой бесценный ангел. Эта мысль — уехать за границу — ужаснула бы меня в другое время, но теперь и без того надобно будет разлучиться, и скоро. Я думаю, что я *должен* уехать от вас *сам*, а не ждать вашей поездки в Дерпт3. Как жить у вас, зная образ мыслей маменьки? Как быть у вас только *терпимым*; иметь только приют — уехать, с вами видаться, но не жить у вас. Я желаю знать твое мнение на этот счет. Подумай, милая, что маменька видит во мне Иванова4 и ставит меня на одну с ним доску. К тебе, мой друг, я привязан теперь более, нежели когда-нибудь, — прошедший месяц убедил меня, что эта привязанность необходима для моей жизни. Теперь знаю на опыте, что имею такое благо, которого ничто — ни обстоятельства, ни случай — у меня не похитят. Но от маменьки благодеяний принять не могу — она не должна думать,

чтобы чем-нибудь могла заплатить мне за ту дружбу, которую я от нее требовал в замену моей, и чтобы была какая-нибудь замена того счастья, которого

она меня лишила с таким спокойствием. Милому человеку простить не можно, хотя бы и желал. Я недавно между письмами нашел одно свое письмо, писанное к ней в Москве в марте 1811 после вашего отъезда5. Не помню, почему оно не послано. Но в этом письме я прошу от нее доверенности и уверяю ее, что это

единственный способ переменить мою к тебе привязанность в чувство брата и сделать нас счастливыми. Это письмо я ей отдам в доказательство, что *она* не захотела нашего счастья. За последний тяжелый месяц я готов даже благодарить Провидение. Оно жестоким способом преобразовало мое сердце и сделало его тебя достойнее. Теперь люблю тебя как причину всего, что может сделать мою жизнь хорошею. Надежда моя не пропала, но от нее отделилось беспокойное нетерпение, которого место заступила беззаботная доверенность к Промыслу.

Пускай он всё устроивает сам, и всё будет устроено к лучшему.

Будущее всё еще наше — не будем мешаться в распоряжения отеческой власти, а будем только думать о том, как бы заслужить от нее награду. Такая мысль, мой друг, не дает ли душе утешительное спокойствие: что перед этою надеждою случаи жизни?

–––

Как тяжела рассеянная жизнь! Я это чувствовал во всё время нынешнего моего путешествия6. Счастлив тот, кто может заниматься и уметь не скучать с самим собою. Дорогою — из Муратова в Орел — я завел разговор с Павлом Ив<ановичем> о свадьбе Толстого (Варф<оломея> Вас<ильевича>)7, в которой он много участвовал. Из этого разговора заключить можно только то, что он всё для нас сделать может и ничего не сделает. Он любит тебя нежно, и его редко доброе сердце заставит его с жаром взять твою сторону, но он не устоит против противоречий. Как бы то ни было, всё ты можешь иметь в нем доброго защитника.

–––

Теперь вспомнил еще одно, что слышал о тебе от Павла Ивановича. Ты возвратилась с ярмарки8 с больною грудью, и у тебя болел бок. Он (который тебя

останавливал от поездки) спросил у тебя, не повредило ли тебе это путешествие. Ты и не подумала ничего сказать. Напротив, успокоила его и, по обыкновению своему, рассудила страдать молча… Неужели это всегда так будет. Когда я видел тебя в последний раз, ты была бледнее и казалась нездоровою. Друг мой, какого же мне счастья велишь ты искать на свете, когда не буду иметь доверенности к твоей любви. И есть ли какое-нибудь в тебе ко мне сожаление! Ты последнее

сама у меня отымаешь, последнее добровольно хочешь разрушить!

–––

Если можно, друг мой, спиши мне некоторые мысли, которые в этой тетрадке.

Я желал бы их сохранить. Этот список доставить мне с Марией Николаевной9.

–––

Милый друг, когда я стоял в церкви и смотрел на нашу милую Сашу и когда мне казалось сомнительным ее счастье, сердце мое было стеснено, и никогда так не поразило меня слово *Отче наш* и вся эта молитва. Я читал ее, или, лучше

сказать, объяснял для себя, совсем иначе, нежели как это случалось прежде. Во мне возбудилась доверенность к Промыслу, и будущее не было уже так страшным. Я обещал Саше написать эту молитву с собственными, немногими прибавлениями. Где же лучше написать ее, как не здесь?

Пусть будет она *прежде* для тебя, а потом и *для нее*. Жаль, что это не написалось тогда же, так как было в душе.

*Отче наш*. Что утешительнее этого имени, друг мой! Отец, *наш* Отец и *всесильный*, следовательно, всё строящий к благу. И ты и она будете счастливы. Сердца ваши достойны счастья. Отец — а мы дети. Вообрази обязанности, налагаемые на нас этим именем! Вообрази счастье, с ним соединенное! Быть добрыми детьми доброго Отца и Отца всемогущего. Можно ли бояться жизни! Мы живы, и Он наш Отец — мы созданы для этого святого семейства! Где же одиночество? И земля и небо разве не наш отеческий, семейственный дом? Я живу в доме Отца моего, в доме, куда ни зло, ни несчастья не входят, а когда входят, то единственно только для того, чтобы мы живее могли почувствовать всю безопасность отеческого крова, живее почувствовали всю красоту милого, отеческого края.

Где лучше товарищество, как не с Отцом? А этот Отец наш товарищ. Перед ним *всё* ясно. Он нас видит и слышит. Не нужно языка, чтобы перед Ним выражать свои чувства. Они для Него понятны. Только нам надобно понимать

язык Его.

*Иже еси*. Какое утешение! Какую твердость дает душе это слово *еси*. Он существует — Он *есть* наш товарищ, наш защитник, судия нашего сердца неизменный, неподкупный. Он *есть* — в этом слове вся наша судьба, все наши надежды, утешения и подпоры. Он *есть* — Он везде, где бы мы ни были, и мы но-

сим Его в своем сердце, и Он везде наш, везде видим нашему сердцу*.* *На небесех*. Там, где увидим Его некогда лицом к лицу, — где Он всё для нас объяснит. Но и объяснение нужно ли нам будет! *Ha небесех* — этим величественным словом всё еще здесь объясняется. *И на земле*. Здесь, где Он наш товарищ, — на жизнь и смерть, в горе и радости! С Ним прямо к цели! Что дорога жизни с таким сопутником! Куда ни оглянись, — Он везде на земле, везде видим в могуществе и благости и всюду слышен сердцу, — только склоняй слух к Его утешительному голосу! Только научись понимать Его! Только верь и люби. *Да святится имя*

*Твое*. Можно ли сказать без чувства Отцу, *да святится имя Твое*? Имя милое. Вообрази сына, который святит имя отца, — святит его всем: любовью, когда он еще с ним, воспоминанием, когда его уже нет. Но отец земной разлучается с своим сыном; с Отцем небесным разлуки нет.

Да святится имя Его любовью, благодарностью, надеждою и твердостью. *Да приидет царствие Твое*. Не то царствие, которое начинается для нас за гробом, — оно откроется вместе с гробовою доскою, и эта минута сама собою наступит. Желать ее ускорения можно только в минуту забвения самого себя и значило бы нарушать закон вечный, но царствие сие да начнется для нас на земли. Вообразим, что оно уже началось, что мы все граждане этого царствия. Если не все с нами согласны в покорности, то будем покорны каждый отдельно своему царю, будем верными подданными его престола и скажем: *Да будет воля Твоя, якоже на небеси и на земли*. Здесь и там. Мир земной да сольется для нас с миром небесным. О, как не предаться в *Его* волю, когда всё так обманчиво и тленно на земле! Но как же и земная жизнь становится возвышенною, когда предашь себя этой воле, всем земным управляющей! *Хлеб наш насущный даждь нам днесь*. Всё Провидению — и обо всём беспечность младенца. Верь и будь достоин — *остальное* дурно быть не может. *И остави нам долги наши.* Суди нас как отец! И дай нам в Твоих милостях уроки добра! Самые Твои наказания да приемлем как милости и наставления. *Якоже и мы оставляем должникам нашим.* О! Это пишу от всего сердца! Прочь, низкое! прочь, злоба! С именем Святого Отца — всем любовь или всем — прощение. Бог станет нас судить, как мы сами здесь судили. Друг мой! Я начинаю теперь *новую дорогу жизни —* вон из сердца всякое чувство ненависти и злобы. Оскорбления не чувствовать не могу — но прочь, низкое и злоба! Я буду достоин моего Небесного Отца! Вся моя жизнь Его Провидению.

*Не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого*. Не несчастье для нас искушение — по слабости души, приводящей к ропоту, который всё унижает: и жизнь и свет делает противным! *Отчаяние* — вот опасный враг; тот *лукавый*,

от которого да избавит нас Отец Всевышний. Оно и небо и землю покрывает для

нас темнотою, в которой исчезает путь Провидения. Дух бодрый на дороге бед! –––

Воейков сейчас рассказал мне ваш разговор с маменькою. Боже мой, сколько обвинений!

–––

Последнее! и кончу навсегда! Сейчас мы говорили с Воейковым — обнялись, плакали и дали друг другу слово в братстве от сердца. Друг мой, будь

с ним искренна, ищи в них обеих подпоры и *верь* им. Доверенность не будет обманута. Сердце мое рвалось, когда я воображал тебя с ними одинокою. Теперь легче, но, ради Бога, не таись ни в чем и всё дели с ними. Мне же остается теперь одно — вера в твое сердце! Если в нем сбережено будет мое место, если твое уважение ко мне будет всегда неизменно, — чего мне останется желать? Моя судьба теперь вся от тебя зависит; никто другой на мою жизнь влияния иметь не может. Ты и Провидение — в вас мое верное счастье. Тебя отдаю под

его защиту, а сам даю тебе слово предаться ему с совершенным спокойствием; оно сохранит нас — мы перед ним невинны; мы желали и желаем счастья, основанного на всем добром; оно нас приведет к Нему — когда? Это неизвестно! Но думай, верь всякую минуту, что мы к Нему идем! Эта спокойная надежда стоит

счастья. Я боялся одного — чтобы не захотели делать насилия твоему сердцу. Саша и Воейков ручаются за его сохранение. Я просил Воейк<ова> как друга, как брата быть твоим помощником, твоим утешителем10. Нет! он не обманет меня. Он это завещание верно исполнит. Сохраняя твое спокойствие, он будет и моим благотворителем. Я просил его ничего более для нас не требовать, но быть только всегда на наш счет неизменным во мнении. Это для него не может быть трудно. Только будьте согласны и не имейте недоверчивости друг к другу. Ангел мой, прости. Благослови тебя Бог!

Я жив — и ты моя!11

В этих двух словах весь мой жребий.

**167.**

**А. Ф. Воейкову**

*<10—12 (?) июля 1814 г. Муратово>*

Пишу к тебе не для того, чтобы я считал это слишком нужным для *тебя*, но для того, что *мне* нужно сказать искренно свое мнение. Вперед уже говорить его не удастся; наше *вместе* с тобою кончилось и, вероятно, на всю жизнь. Дело здесь идет не о расчетах касательно дружбы; а о том, что важнее: о *вашем* семей-

ственном согласии и спокойствии.

Вчера на вопрос Саши: *ты знаешь, что Воейков тебя любит*, я отвечал: *не знаю*! Если бы она спросила это у меня при первом твоем отъезде из Муратова или при первом твоем возвращении в Муратово, я отвечал бы: *верю*. Но верить еще не есть знать*.* Верить можно и без доказательств. Тогда, однако, я имел много причин *верить*: приезд нарочный ко мне издалека1, жаркое участие во всем, что принадлежит до меня, — кажется, доказательств довольно. Но признаюсь, и тогда меня этот жар несколько удивлял. До того времени между мною и тобою не было жаркой, исключительной дружбы — была одна дружеская связь молодых товарищей; вдруг такой скачок к дружбе меня удивил, но вместе обрадовал, и я поверил.

Можно ли было принять жарче тебя участие в моей привязанности к Маше? Можно ли желать сильнее тебя, чтобы она была моею? — по крайней мере, так мне казалось! Стихи и проза — всё за меня ополчилось! С этим духом

отправился ты и в Петербург2 — там привел в движение всех друзей, и своих, и моих! Всё было на моей стороне! Ты же советовался и с Ив<аном> Владимировичем, и к *тебе* он адресовал свое письмо!3 Когда узнал о поступке со мною Арбеневой, то едва ли не более моего против нее вооружился — вспомни, что ты писал об ней к Тургеневу4. Сам же на счет мой и Машин был убежден совершенно, первое, тем, что *желал* нашего счастья и говорил, что без него не захочешь и собственного, второе, и самим *мнением*: ибо (тогда) для тебя образ мыслей Екатер<ины> Афан<асьевны> казался суеверным, и в этом ты не колебался нимало. Семейственное счастье казалось тебе возможным только *вместе*

со мною; наши общие планы были прекрасные. Признаться, такая способность к дружбе давала большую доверенность к твоему характеру, который никогда не был мне известен *по опыту.* Но опыт скоро и подоспел. После объяснения моего с Екатерин<ой> Афан<асьевной>5 уже начало мне казаться, что ты как будто отделился от меня, — но я не хотел еще давать воли сомнению. Помнишь ли нашу последнюю поездку из Муратово в Орел, тогда, когда мы встрет<или> Плещеевых?6 Дело уже казалось решенным! Трудность склонить Екатер<ину> Афан<асьевну> была очевидна. Я говорил тебе дорогою, что я *решился уехать.*

Признаюсь, в эту минуту мне тяжело было заметить, что и ты на это же решился без большого усилия, — какое несходство с прежним жаром! Я обвинял тебя не в том, что это не *сбылось,* — было бы великое безумство ставить на твой счет то, что от тебя совершенно не зависит. Но для меня больно было не найти в тебе того чувства, которое я имел право ожидать от тебя в таком случае; и в эту минуту сделалось для меня заметнее, что у тебя в душе судьба наша, прежде неразлучная, разделилась. Ты написал к Екатерине Афанасьевне письмо — в котором говоришь обо мне, — сказываешь, что это письмо прекрасное, и на это письмо был тебе ответ прежестокий7. Я этого письма не читал. Но здесь мимоходом признаюсь тебе, что во всех твоих письмах вообще я замечал что-то авторское, приготовленное, неискренное. Во всех чувствительно,

что ты думаешь не об одном читателе, а об читателях. Ты возвратился и нашел меня у Плещеевых. Первое слово твое, сказанное мне, была жалоба *на то,*

*что хотят тебя поработить в лучших твоих чувствах: в 15-летней ко мне дружбе, а второе — несогласие на требование, чтобы ты ехал к Павлу Ивановичу*8. На последнее ты по моему убеждению согласился. А первое было само собою опровергнуто последствием. Жестокое письмо на мой счет имело только то действие, что оно охолодило тебя ко мне, или, лучше сказать, твой наружный вид *дружбы* переменило на холодный, естественный. И во всё время, проведенное с тех пор нами вместе, я не слыхал от тебя ни слова. Живучи в одном доме, мы как будто жили под разными полюсами. И самый твой образ мнений на счет всего, что ты прежде с таким жаром защищал, переменился. Мне говорил ты одно, а с Екатер<иной> Афан<асьевной> другое. После всего этого не имею ли право сказать, что я о твоей дружбе ничего *не знаю*. Было что-то на нее похожее в начале. Согласно с обстоятельствами это *что-то* переменилось на *ничто*. То

есть теперь и того не осталось, что было между нами до твоего приезда в Муратово. Тогда я мог видеть в тебе если не избранного друга, то по крайней мере товарища молодости — современника поддевических счастливцев9; теперь вижу

совсем другого, нового, надевающего и снимающего, смотря по времени и обстоятельствам, маску по мерке: прежнего Воейкова нет на свете! А теперешний мне чужой!

Вот всё, что я имел тебе сказать о твоей ко мне дружбе — но это не главное. Мне горестно увериться, что она мечта, но я от тебя не завишу, судьба моя вся слажена. Мое решено, и для меня перемены быть не может. Хуже со мною не может уже ничего случить<ся>, а лучшее еще возможно, благодаря <тому что?>, я не заслужил несчастья. Будущее в руке Провидения, которому теперь верю, тем более верю, что знаю на опыте, как оно не обманчиво и как *обманчивы бы-*

*вают люди*. Остается сказать о главном, о *твоем* характере, который несколько удалось мне рассмотреть, видя тебя вблизи. Он пугает меня, потому что от него зависит счастье тех, которых люблю наравне с жизнью, и вот почему и мое счастье много связано с твоим.

Или ты никакого не имеешь характера, или в тебе совсем нет прямодушия. Одно из двух. По крайней мере, многое заставляет меня сомневаться в последнем. И если бы надобно было выбирать, я бы выбрал скорее *бесхарактерность*, которая всё еще может быть согласна с добротою сердца, нежели *лицемерие*, которое всегда есть маска дурного. Вот мои доказательства. Ты совсем не имеешь никакой искренности в обхожд<ении>. С Екат<ериной> Афан<асьевной> в гостиной ты совсем не тот, как во флигеле. Согласен, ее собственная неискренность может и тебя делать принужденным; но она никогда не может оправдать притворства. Твои чрезмерные к ней ласки в ту самую минуту, когда ты противу нее огорчен, меня ужасают; твои нежные поцелуи в то время, когда ты в душе своей имеешь что-то похожее на отвращение, кажутся мне поцелуями Иуды; твои уверения исполнять волю ее и никогда с нею не разлучаться тогда, когда ты почти решился сделать противное, производят во мне отвращение. Помнишь ли тот день, в который ты пришел ко мне в крайней на нее досаде (день твоего отъезда к Арбеневой) и говорил, что ты решился всё разорвать и не возвращаться? Несколько минут разговора тебя успокоили. Но что же? Возвратясь к ней, ты начал целовать ей ноги. У меня сердце поворотилось. Сейчас нечаянно развернул я твоего Гесснера и на одной странице прочитал следующее: *несчастье и опыт Авдотьи Николаевны — будут счастьем и опытом для Саши. После матушки — она ей первый ментор и лучший, нежели я и Маша*10*.* После матушки!!! Это замечание написано для Муратова. Авд<отью> Никол<аевну> я не знаю; но знаю, как ты думаешь об *опытности матушки.* Одним словом, всё это жестоко пахнет притворством. Но всего более меня возмущает — твоя религия11. Атеизм сто раз простительнее, нежели притворная набожность. Религия, употребленная как способ понравиться, есть святотатство. Я знаю истинно, что ты не имеешь *той* религии, которую здесь показываешь. Это поразило меня еще и тогда, когда ты прислал сюда свои стихи к моим друзьям, — из Петербурга12. И не ты ли сказал, что нарочно промешкал один день, чтобы быть здесь в день Казанской Богоматери13, ибо так обещал Авдотье

Николаевне Арбеневой. Боже мой! какой переворот! Но это язык Тартюфа14. Могу ли после этого и уважать тебя, и верить твоей дружбе. И такое притворство не должно ли заставить меня ужасаться всего для Сашиной судьбы! Какого ей ожидать счастья, когда в тебе нет искренности! Разве в счастье можно быть прямым, когда дойдешь до него ползком? А ты ползешь или, что всё равно, носишь маску. Религию дóлжно иметь, а не употреблять ее как средство привлечь на свою сторону — это и для нее, и для самого себя унизительно. Всего благороднее и надежнее прямодушие. Что же касается до твоей твердости в намерениях и образе мыслей, то довольно и одного примера. Твое истинное, или, лучше сказать, назвавшееся истинным мнение насчет моей прив<язанности> к Маше мне известно. В Петербурге ты только утвердил его и, возвратясь, усилил собственную мою надежду; здесь начал колебаться и почти потерял убеждение; письмо Ив<ана> Владимировича переменило в мою пользу; помнишь

ли, что ты мне говорил при отъезде к Арбеневой о разговоре с Екат<ериной> Афан<асьевной>. *Ты сказал ей, что имеешь письмо от почтенного человека, которое покажешь после свадьбы.* (NB. Но ты не объявил от кого, и она думала,

что это письмо от Авд<отьи> Петр<овны>.)15 Побывав у Арбеневой, ты называешь Ив<ана> Владим<ировича> сумасшедшим и твердишь Саше, что положения соборов неприкосновенны16 (что я собств<енными> ушами слышал),

совершенно противное тому, что ты ей говорил прежде. После этого спрашиваю, чего же ты желаешь решительно? Признаться, не могу найти на это ответа. Если бы ты был всегда *против меня* просто и искренно, мог ли бы я на тебя жаловаться. Дружба не принуждает к измене правилам. Но такая переменчивость — смотря по времени и месту — неужели она не есть унижение характера. Я уверен, что ты не осмелился сказать и Арбеневой своего настоящего мнения на счет наш, но что ты и ей сказал то же, что и Екатер<ине> Афан<асьевне>, то есть противное тому, что говорил мне: *не знаю! не думаю, чтобы было позволено*. Послушай: если бы и ничего не удалось тебе для меня сделать (могу <ли> требовать невозможного), всё бы я остался тебе благодарным, и дружба наша могла бы существовать, ибо ты показал бы мне прямое участие, был бы одинаков и неизменчив. Мы бы сожалели вместе о неудаче, и я был бы тебе обязан мнением Саши, покоем их всех и знал бы, что Маша имеет в тебе верного утешителя и друга; но теперь — ты переменил свою дружбу ко мне и свое

сердце для всех и каждого; счастье Саши кажется мне неверным, ибо я не имею доверенности ни к прямодушию твоему, ни к постоянству, а для Маши не вижу никакого утешения. Как же нам оставаться друзьями?

Я выпишу для тебя ту мысль, которую возбудила в моей голове твоя поездка к Арбеневой и которую только что подтвердило твое возвращение. «Самая верная дорога к цели есть *прямая*»17.

**168.**

**Д. А. Кавелину**

*18 июля 1814 г. <Муратово>*

Любезнейший Дмитрий Александрович, посылаю Вам письмо ко мне Фриофа1, в котором *изражает* он всё, что по его делу в Орле. Прошу Вас опять принять его под свое покровительство. Этот чудак немец долго промедлил исполнить по Вашему совету — его удерживала обыкновенная немецкая раздум-

чивость, которая и добро самому себе делать мешает.

О плане нового издания прозы и стихов2 будет к Вам подробно писать

Воейков. А меня простите, что пишу мало. Много хлопот, и самых скучных.

От всего этого и письмо не пишется. Но во всякое время, и в вёдро, и в ненастье, и в тюрьме, и в раю, скажу Вам и буду в состоянии написать самою твердою рукою, что Вас душевно люблю и почитаю.

Ваш *Жуковский*

1814

1. июля

**169.**

**А. Ф. Воейкову**

1. *июля 1814 г. <Муратово>*

Для чего всё это пишу? Какую может это иметь пользу? Если ты искренно хочешь счастья с Сашею — простого, чистого, единственного, которое с нею возможно, то ты его найдешь. Но если это счастье состоит для тебя в одном только исполнении буйного желания — не страсти, ибо и страсти в тебе к ней не замечаю, — то оно исчезнет в несколько мигов! И для тебя останется одно только бедственное уверение, что ты уничтожил прекрасную жизнь прекраснейшего творения. Ее счастье неразлучно с ее матерью и сестрою. Если будешь желать его *искренно*, то решишься твердо, несмотря ни на что, осчастливить их *трех вместе*. Что ты ни думай о характере Екатер<ины> Афанасьевны, но ты обязан ей таким благом, какого немногие в жизни добиваются; безо всякого с твоей стороны права на ее уважение ты получил от нее всё то, что только годами привязанности приобресть было бы возможно; благодарность должна закрыть глаза на недостатки, а недостатки матери ничто, когда такая дочь и жена, как Саша, помогает их сносить и в этом согласном терпении заключает свое счастье. Вообразив себя на твоем месте — чтобы для меня было трудно иметь своим товарищем Машу? Тебя же называет Екатер<ина> Аф<анасьевна>

своим спасителем и спасителем от меня — надобно удостоиться такого названия. В твоей власти вести прекраснейшую жизнь. Нельзя же почитать тебе себя таким любимцем Промысла, чтобы уже и некоторые неприятности в жизни найти слишком тяжкими. Промысел выбрал для тебя жребий прекрасный. Неприятности для тебя *будут*. Но счастье ты иметь *должен*, и оно от тебя зависит: только помни, что оно между вами нераздельно. Разделясь, оно исчезнет, и ты только докажешь, что был его недостоин.

*NB.* Записано 19 июля 1814.

Воейков вздумал уверять Машу, что я не люблю Екатер<ины> Афанасьевны. Воейков, который обязан ей всем своим счастьем, который накануне свадьбы сказал мне, что ее презирает, который наружными знаками, а не искренним сердечным чувством доказывал ей любовь. Моя привязанность к ней была воспитана со мною. Если я теперь показывал на нее досаду и к ней холодность, то это потому, что был жестоко оскорблен ее ко мне равнодушием и несправедливостью. Если бы я их сильно не чувствовал, то это значило бы, что я к ней никогда привязан не был. Я уверен, что через несколько времени (а может быть, уже и теперь) Воейков, который более нежели кто-нибудь одобрял и поддерживал мою привязанность к Маше, который и прежде и недавно советовал мне ее увезти1, сам начнет уверять, что я и злодей и развратник. Как прикажут! Что *нужно* сказать, то и свято2.

**170.**

**Е. А. Протасовой**

*<Конец июля 1814 г. Чернь>*

Сердце у меня рвется, когда подумаю, что Вы теперь грустите. Мое письмо1, верно, Вас расстроило. Нет! мне не надобно бы было его отдавать; оно написано было в огорчении. В последние два дня, видя, что и Вам грустно, я сильно колебался: отдавать ли его или нет? Не отдавать — значило для меня решиться оставить Вам добровольно то мнение обо мне, которое было для меня несносно; отдавать — значило огорчить Вас. Вчера ввечеру я поручил его Воейкову; а нынче поутру, не имея власти решиться ни на то, ни на другое, написал к Воейкову записочку, в которой оставил ему на волю поступать как хочет. Если Вы его читали, то Вам должно быть очень грустно, а это меня мучит. И эта мысль, что мое письмо у Вас в руках, еще при выезде из Муратова совсем преобразовала самые мои к Вам чувства. Я нахожу в себе всю прежнюю мою к Вам привязанность и вижу теперь *только себя* виноватым. Без меня были бы Вы спокойны. А невозможность сделать меня счастливым разве не есть и для Вас несчастье?

Нет! нет! Сохрани меня Бог обвинять Вас! Будьте на этот счет спокойны. В прошедшем вижу и буду помнить только то, что Вы для меня были, в чем я был уверен и что всегда было так нужно для моего счастья. Расставшись с Вами, буду помнить одну только Вашу ко мне любовь. Ваша горесть, которую теперь воображаю, всё заглаживает. Ах! гораздо лучше любить и верить, чем упрекать! Возвратите мне свою прежнюю, давнишнюю привязанность; я имею на нее некоторое право, хотя потому, что от Вас ожидал счастья жизни и не получил его. Будучи розно, мы будем только любить друг друга. Избавьте меня от мысли, что я для Муратова мертвый. Эта мысль ужасная. Быть с Вами мне невозможно, Вы не будете при мне спокойны и не можете на меня глядеть глазами дружбы. Как же мне желать быть нарушителем Вашего семейственного счастья? А принужденность несносна. Расставшись с Вами, эта принужденность исчезнет, не будет причин меня не любить, и Вы свободно можете мне отдать справедливость. Нет! для собственного спокойствия не хочу думать, чтобы мое место между вами было забыто, чтобы мы ничего уже не могли сделать друг для друга в жизни. Вы много можете для меня сделать — можете меня любить и помнить! А я могу жить так, чтобы моя жизнь была Вас достойна. Всегда останусь уверен, что счастье, которого я желал, не может быть никогда противно Богу; но оно противно Вашему, следовательно невозможно, и желать его перестаю; но оно никаким заменено быть не может. Привязанность мою к Маше сохраню вечно: она для меня необходима; она всегда будет моим лучшим и самым благодетельным для меня чувством. Эта привязанность даст мне силу и бодрость пользоваться жизнью. С нею найду еще много хорошего в жизни. Будьте же на мой счет спокойны, и чтобы мысль обо мне никогда не нарушала Вашего счастья! Я от Вас требую только одного — любить меня и уважать. Более Вам нечего для меня сделать. Нам нельзя делиться счастьем, зато можно делиться жизнью. Мы все в одном свете; всё Муратово будет моим раем, из которого я не выгнан, где всё *мое*, и теперь более, нежели когда-нибудь, — наша разлука всё согласила; теперь всё осталось для одной дружбы! Воспоминание одному только счастью, одним добрым, вместе проведенным минутам; благодарность за все взаимные благодеяния! И совершенное забвение всему, что делало нас взаимно несчастными! С таким воспоминанием смело смотрю на будущее. Оно ничего у меня не отымет. Мое место в сердцах моих друзей сохранено; всё остальное Провидению! Ах! Как утешительна для меня мысль, что у Вас, в моем раю, всё будет тихо и весело, что я не буду никогда в нем ни чужой, ни забытый и что я могу *розно с*

*вами* жить — так, как бы и *вместе.* А когда-нибудь и *вечно вместе*. Теперь смело, при Вас, называю Машу моим другом; она мне благодетельница на целую жизнь. Моя привязанность к ней самая чистая, и Вы не должны ею оскорбляться. Благословите же меня *прежним* благословением и будьте уверены, что я моею жизнью сохраню спокойствие Ваше. Это теперь святейшая для меня обязанность.

Пришлите мужа Машиной кормилицы. Здесь есть ему место, и Фор2 будет лечить.

Я перечитал это письмо. Оно Вас огорчит, и мне тяжело быть причиной этого огорчения. Но как же расстаться с Вами и оставить Вам то несправедливое обо мне понятие, какое Вы имеете? Надобно же когда-нибудь *всё* сказать,

что на душе. Даю Вам слово, что это огорчение будет последнее. Я был причиною многих печалей для Вас в жизни; но, право, никогда мое сердце не было перед Вами виновато. Всему причиною то, что мне жаль было расстаться с своим

счастьем. Что же делать, что на мою часть выпало такое, которое не может быть согласно с Вашим! Пожалейте обо мне и забудьте всё. Нового беспокойства от меня не будет для Вас никакого. Я буду вести тот род жизни, который наиболее мне приличен, — буду писать, и ничего более искать не буду. Не воображайте,

чтобы я когда-нибудь мог быть в недостатке: умеренность будет мой эконом, а на немногое всегда у меня деньги будут. Что ж касается до спокойствия душевного, то я теперь гораздо спокойнее. Перестать жалеть о потерянном, не думать, что я потерял его *напрасно*, я никогда не смогу. Того, в чем полагаю истинное счастье, для меня никогда не будет. Это решено на всю жизнь. *Хуже быть для меня ничего не может*. Для меня собственно будущее не страшно. Но я почитаю

обязанностью пользоваться сколько возможно своею жизнью и найти в ней всё возможное добро. А добра в ней много и без счастья. Я еще много, много имею. Я верю, что всё хорошее придет само собою к нам навстречу, когда пойдем к нему прямою дорогою и вместо излишней заботливости будем иметь надежду на своего путеводителя. И горе бывает полезно. Я это знаю по собственному опыту. Оно нас дружит с самим собою и открывает нам в нас самих множество таких способов, каких мы и не подозревали. Более всего дает оно надежду и веру. Итак, прошу Вас нимало обо мне не беспокоиться. Я не хочу иметь в душе этого несчастья. Вам остается быть счастливою в своей семье: счастье Ваше не разрушено, а, напротив, устроено. В Вашей воле его сохранить. И на это одно

средство: доверенность.

Я не мог с Вами проститься. Это было бы тяжело. С Вами, может быть, и скоро увижусь. Но с Вашею семьею, с Муратовым, с моим настоящим отечеством, расстаюсь навсегда. Можно ли прощаться? Благослови Вас Бог спокойствием и радостью. Это всегда будет моим сильнейшим желанием.

**171.**

**А. П. Киреевской (Елагиной) и А. П. Юшковой (Зонтаг)**

*31 июля — 2 августа <1814 г. Чернь>*

31 июля

Надобно еще начать маленькою побранкою. *Она спокойна! я не буду нарушителем ее спокойствия!* Что если бы это было сказано в том смысле, который Вы этому дали, и с той досадою, которую при этом вообразили! Какое было бы прелестное чувство в душе моей! *Я не буду нарушителем ее спокой-*

*ствия* — не значит, чтобы воспоминание обо мне было для нее несчастьем. Это, напротив, представилось мне как единственным утешением в несчастье быть розно. Жить *вместе* без доверенности, дружбы и уважения не значит ли нарушать ее спокойствие! Не видать меня — значит не огорчаться ни холодностью ко мне, ни несправедливостью и свободно верить моему сердцу. Не утешает ли это, не заставляет ли смотреть приятными глазами на разлуку, и не скажешь ли тогда с отрадою: *она спокойна*! Но позвольте ж сердцу сжиматься и при этом слове. Боже мой! о каком же счастье и жалеть, как не о счастье давать спокойствие самому милому человеку. Можно ли без стеснения души это счастье уступить другому? А всё бы доверенность поправила — но полно ссориться! Имя шептуна1 принадлежит Вам по праву! Если бы мой тайный шептун мог быть *слышен*, то я никакого другого языка не дал бы ему, как Вашего. Вы, милая, умеете задевать за сердце! Может быть оттого, что не Вы с пером спрашиваетесь, а оно с Вами. Подумаем же вместе, какую одну фразу выбрать покороче, но такую, чтобы можно было ее растянуть на всю жизнь. Да чего долго думать? *Persévérance*[[130]](#footnote-130), да и только. Я переведу Вам это словечко на русский, на *свой* язык, и Вы тогда ясно увидите, что оно может быть на целую жизнь растянуто. Что ни есть доброго в настоящем и в будущем, всё можно прицепить к этому слову. Ваша правда, есть прекрасные минуты в жизни, такие, которые оставляют прекрасный свет в душе! Их можно сравнить с сиянием молнии, которая осветит мрак и исчезнет, — после нее останется прежняя темнота; но уже эта темнота не страшна: если не видишь, то по крайней мере знаешь, где дорога, — вот то же, что вера! идешь вперед до первой молнии, которая возобновит ослабшее воспоминание и оживит бодрость. А есть ли буря без благодетельных освещающих молний? В эти прекрасные минуты несчастье хотя и не переменяет своего имени, но дает душе необыкновенную возвышенность! Ни в какое другое время так не можешь себя чувствовать, так быть близким к Творцу и Провидению! Нет! не надобно надевать маски на лицо несчастья — гораздо лучше смотреть ему в глаза и не робеть. Иначе отымешь всё очарование у слова Провидение! Избави Бог только от минут равнодушия, от минут душевного паралича, когда ничто не трогает и жизнь представляется пустою, ничтожною, — тогда и сам для себя становишься противным. Но такие минуты со мной нынче реже и давно меня не посещают. Моя жизнь не может быть скучною (скука для пустого сердца), она не должна быть тяжелою — чувствовать тягость жизни — значит желать, чтобы она кончилась! А как позволить такой мысли коснуться души — нет! Милая, я смерти боюсь не так, как чего-то противного, но как

опасного обольстителя, который может выгнать из души всё то, что ей дорого. Скажем просто: будем тянуть жизнь без счастья в надежде, что ею дойдем до прекрасной, свободной, тихой. — Аминь!

Обещание держать верно! — писать и говорить всё, что взойдет в мысль, хотя бы попасть и в Утки!2 Хорошо бы вы все сделали, когда бы приехали, — то

есть я не знаю, хорошо ли бы это было. Не могу решиться ни на *нет*, ни на *да*.

Вы закричали бы от всего сердца: *возвратись*! а между тем запрещаете мне писать к тетушке, и Вы, и Анета, чтобы избавить и себя, и ее от нового горя. Друзья! но я для того и пишу, чтобы вырвать из *сердца* это *возвратись*! Если не откликнется сердце, то я останусь там, где теперь. Уезжать уже нет нужды — я уехал. Я желал бы, чтобы Вы прочитали то, что я писал к тетушке3. Ей легко

сделать нас счастливыми, не *жертвуя* даже ничем, — дать волю только сердцу.

Но, может быть, *не уехав*, я этого ни написать, ни даже чувствовать не был бы в состоянии. Я здесь один — сужу обо всем по себе! Что мне возможно, то кажется мне возможным и ей. Я ничего от нее не требую, кроме того только, на

что имею *право* (если она NB искренно сказала, что *никто не умеет ее любить так, как я*). Верно, ни с кем из вас не говорил я так об Маше, как с нею в этом письме; и ни с кем бы я не был так искренним, как с нею, если бы она сама того могла хотеть; если бы могла дать свободу нашим чувствам; если бы вокруг нее не были мы все *одиноки* и не должны были не *чувствовать*, а только бы *применяться* к ее чувствам. Я требую от нее семьи, в которой бы я был уважаем, любим и мог свободно любить Машу в глазах ее матери, — за такое счастье чем не пожертвуешь! Но, вероятно, я требую невозможного. В две минуты характер не переменяется. По крайней мере, благодаря опыту я не *прилип к надежде*, и неудача ничего для меня не переменит. Но можно ли было не написать, не

сказать всё то искренно? Можно ли было спокойно отойти от того, что было главным счастьем жизни столько лет? Но, признаюсь Вам, написав это письмо, я начал бояться, чтобы она не согласилась! Можно ли желать возвратиться на *старое*? Что если одна минута слабости даст это согласие и ничто им не переменится! Избави Бог! Рай так легко сделать. О! я чувствую, как бы это было легко! Но что если вместо этого рая опять попаду в прежний ад! Одним словом, это одно желание лучшего, но его неисполнение ничего уже для меня не испортит! Хуже быть не может, нового горя не будет — останусь при *своем*! А это *мое* свято, и много, много хорошего в жизни есть и без счастья! Одна только фраза: persévérance[[131]](#footnote-131). Милая Анюта4, Ваше *благословение* во всем его смысле я принял. Только не желайте включить в этот смысл: *перемену*! Это не будет для меня благословением. Пускай Провидение даст мне только силу жить по *своим*

чувствам — вот и вся судьба! Переменять их не нужно; это значило бы отнять у меня лучшее.

От Вас человек приехал, а всё не написали мне ни строчки — не стыдно ли? Это, кажется, так легко! А я целый день ждал.

Знаете ли? Я жду с нетерпением, когда я буду с Вами вместе, на своей родине! Когда же это будет! Здесь шумно. Но меня беспокоит много одна мысль! Не будете ли Вы бояться le qu’en dira-t-on?[[132]](#footnote-132) Скажите искренно.

*2 августа*

Я не послал этой записочки вчера для того, что вообразил, что вас никого нет дома. По числам можете видеть, что она писана несколько дней. Мне лениться писать к Вам не можно, но я давно не имею от Вас ни слова, то есть было три *случая* от Вас писать, а я не получил ни строки, по крайней мере от Саши, которая обещалась писать много, и даже не отвечает. Жаль, если Вы не будете завтра. Vous voulez faire le poltron, la révolte, chère Eudoxie?[[133]](#footnote-133) Зачем же быть тру-

сом? и к чему бунтовщиком? Будьте тверды в образе мыслей! Не трусьте только, *обнаруживая* во всяком случае *одно и то же*! Одним словом, не будьте ни трусом, ни бунтовщиком! Будьте Вы, и всё дело кончено! Это Ваша лучшая роль. Я очень радуюсь этому шептуну — я отправлюсь вместе с Вами или скоро за Вами. Отдайте мое письмецо5 Саше6. Милая моя Катя7, целую Вас. Пожалуйста, скажите поискреннее о qu’en dira-t-on?[[134]](#footnote-134)

К Е<катерине> Афанасьевне я не пишу оттого, что нет от нее ни словечка ни на одно из моих писем.

**172.**

**А. П. Киреевской (Елагиной)**

*<Август (?) 1814 г. Чернь>*

Лучше начать бранью, нежели ею кончить. Ваше письмо прекрасное и утешительное потому, что оно от друга. Но знаете ли что: я едва не переменил за него Вашего названия. Я подумал: она шептун! Но не тот добрый шептун, которого весело слушать, — а шептун-селезень, которого надобно кормить, да и только. Неужели все вы разучились в одну неделю читать и понимать то, что

читаете. Саша бранит меня за то, что я огорчился Машиным спокойствием1, Вы браните за то же. Боже мой, какие люди. Можно ли предположить мое чувство? И к этому случаю говорить мне: *прочь низкое*! напоминать мне, что *недоверчивость* есть низкое и прочее тому подобное. Прошу мне выписать то место, которое послужило Вам текстом для такой проповеди2. Я его не помню, потому

что во мне не было того чувства, которое могло бы заставить написать такой сумбур. Заглянув в свое сердце, я уверяюсь, что не может быть человека, способнее меня на свете к доверенности, — Машино спокойствие есть мое счастье. Мысль, что у нее на душе ясно и тихо, везде и во всех обстоятельствах, будет для меня утешением. Я уверен, что это спокойствие будет основано на доверенности ко мне, что оно, вместо того чтобы быть забвением, будет самым лучшим обо мне воспоминанием. Ничто так для меня не дорого, как то, что она, думая обо мне, утешалась, — а это спокойствие я должен ей дать не одними словами, а всею жизнью. Неужели не верите моей искренности в этом случае и будете воображать, что я только угощаю Вас великолепными фразами. Но как же мне вырвать из сердца сожаление о том, что, будучи причиною ее спокой-

ствия, я не участник в счастье тех, которые дают его. Нет, милые, эта зависть не унизительна; тут нет недоверчивости, а только сожаление о самом себе. Говорить себе: *она спокойна, а меня там нет*! значит ли это роптать против ее спокойствия? Нет, это совсем иное чувство и как его истребить! и что же в нем низкого? Можно ли запретить Аббадоне смотреть с сожалением на прекрасный рай?3 Если у *четвертого* сердце сжимается, то не оттого, что *трем*4 было бы весело в Сибири, а оттого, что он не может делить с ними этой Сибири, — можно ли запретить ему об этом сожалеть? И что же низкого в этом чувстве? Нет, этот четвертый уверен, что он всегда с тремя будет неразлучен. Но он видит себя *одного*, он только с ними мыслями; но милое *вместе*, за которое бы всё можно было отдать, не для него. Что заменит это *вместе*? И когда вообразишь, как бы было *хорошо* быть на деле, а не в воображении четвертым, то как не сжаться сердцу! А Вы бранитесь! О люди! люди! о мода! мода!5 Послушайте! Спокойствие Маши есть самая лучшая для меня драгоценность — за него я готов отдать и то, что для меня всего важнее, — мое место в ее сердце, ее ко мне привязанность; не найдите и в этом *к ней недоверчивости*. Я здесь говорю об

одном себе, а не об ней, так же как и тогда, когда *горевал о ее спокойствии*, думал *об одном себе*. Вы пишете: *нет дурного, где же несчастье*? На что обольщать себя воображением. Несчастье *есть*, когда всем сердцем желал бы переменить то, что вокруг тебя, когда всё лучшее только вдали или назади; дело не в том,

чтобы называть прекрасным то, что и тяжело и дурно. Как ни называй, всё сердце не поверит. Да и нужен ли такой обман? Нужно ли и можно ли другим заменить то, что отнято, чтобы об нем только не сожалеть? Избави Бог от такого несожаления! Это всё равно, чтобы между здешнею и будущею жизнью провести Лету6 и одну для другой уничтожить. Нет! я знаю, что настоящее дурно, что оно могло бы быть лучше, и сожаление будет не только храниться как драгоценность в сердце, но будет и хранителем сердца. Скажем иначе: *Нет дурного! Есть твердость! Есть вера! есть уважение к жизни! есть уважение к самому себе!* При этом можно сохранить спокойствие! Можно смотреть на несчастье как на случай быть лучшим, как на способ сделать что-нибудь по

сердцу Создателя — нужно ли для этого наряжать его в маску счастья! Вот случай сказать: *прочь низкое*! Дело не в том, чтобы забыть и дать себе этим забвением спокойствие, или, лучше сказать, мертвый сон, беззаботный паралич — дело в том, чтобы сожаление не унизило самого себя, и света, и жизни перед

твоими глазами. Всё то спокойствие, которое для этого нужно, я имею. Оно состоит в *доверенности*, в покорности к Провидению, которое даст всё, что нам нужно, и даст непременно. «Воспоминание, святая, утешительная мысль

о моем товарище — пусть будут они хранителями моего сердца! Где бы я ни был, этот ангел меня не покинет. С ним моя жизнь не может быть пустою, ничтожною! Нет! она будет доброю жизнью! Я чувствую в душе своей стремительное влечение к добру, чувствую за себя и за нее»7.

**173.**

**П. А. Вяземскому**

*<Август—сентябрь 1814 г. Мишенское (?)>\**

Милый друг, вместо утешения и от тебя горе1. Сказал бы, пропади эта жизнь, да *нельзя*! А другого сказать, право, нечего. Мне за тебя грустно, очень грустно. Сам я никуда не гожусь — всё вокруг меня худо — и ты еще меня упрекаешь, и самый больной упрек твой есть подозрение в холодности к друзьям. Что же доказательством этой холодности? Неужели то, что я не еду к тебе в Москву!

Но знаешь ли, что меня здесь удерживает! Не знаешь! — так не обвиняй. А глупым слухам обо мне не верь. Я бы поехал к тебе в эту же минуту — так мне больно было твое обвинение и так грустно вообразить тебя страждущим отцом, но именно в эту минуту и надобно здесь остаться. Зачем, объясню после. Только ты имей ко мне доверенность и не прибавляй к той тяжести, которая лежит у меня на сердце, твоих тяжелых и несправедливых упреков. Ты сетуешь на мою недеятельность, равнодушие к общей пользе. Неужели советуешь мне идти в службу, зарыться в канцелярию какого-нибудь министра и самою скучною дорогою добиваться Бог знает чего — но, верно, не общей пользы. Писать — погоди! я буду писать! Дай оправиться: еще теперь не могу! Право, молчу не от лени, а от душевного расстройства, которое наконец придет в порядок! Музы не невольницы. Всё это для тебя загадка — я ее со временем разгадаю. Твоя проповедь совсем не для глухого, но для сердца, наполненного благодарной к тебе дружбы, которое твоя заботливость трогает. Брат, будь ко мне справедлив и не отымай у меня приятной мысли, что ты так же веришь моей к тебе дружбе, как я твоей. Прости. Желал бы послать в этом письме тебе столько утешения,

сколько участия принимаю в грусти твоей. Сам надеюсь непременно увидеться с тобою зимою. Буду писать более и подробнее — теперь нет мочи! Болит зуб. Отвечай. Только ни слова о холодности. Ты просишь у меня стихов — нового ничего нет; посылаю тебе полную коллекцию всего старого. Другой такой же экземпляр, с поправками и некоторыми выключениями пошлется в Петербург к Тургеневу для напечатания. Я просил у тебя всех твоих стихов, ты и не подумал исполнить этой просьбы.

Скажи мой дружеский поклон Вере Федоровне. Надеюсь, что ей теперь спокойнее. Пускай смотрит на дочь2, чтоб менее плакать об сыне. Милый друг, обнимаю тебя от всего сердца.

**174.**

**А. Ф. Воейкову**

*10 сентября <1814 г.> Чернь*

Сентября 10. Чернь

Так, *обстоятельства переменились, и теперь ты хочешь быть лучше виноватым передо мною, нежели перед совестью; а время всё откроет.* Не знаю,

что это такое таинственное, что должно быть открыто временем. Кажется, тебе передо мною скрывать нечего. Всё доброе, хоть бы оно было и моим выгодам противно, не может быть для меня ни оскорбительно, ни скрыто. При дружбе всё хорошо. Но обстоятельства переменились. Так, очень переменились! Тогда, когда ты мог только в моей *зеленой горнице* и с одним мною делать ткань *своего*

*счастья*, — тогда мои мысли были твои мысли, тогда эта горница была лучшею для тебя в муратовском доме. Тогда были в ней минуты сладкие. Твое верное и мое мечтательное счастье было впереди, и ты считал меня товарищем на дороге к этому счастью. Одним словом, *мой* образ жития был тогда *твоим*, и этому совесть твоя не противилась. Могу даже сказать, что ты с бóльшим жаром, нежели я, его держался. Вспомни твое послание к Екатерине Афанасьевне, о котором никто, кроме меня, не знает, и которое у меня хранится как документ *тогдашнего образа* твоих мыслей1. Желаю знать, для чего совесть не запретила тебе написать его! Вспомни письмо об Арбеневой к Тургеневу!2 И не ты ли первый говорил и с Кавелиным и с Тургеневым?3 (С первым совсем без моего позволения.) Не ты ли воспламенил их? Не ты ли вместе с Тургеневым выдумал план писать к архиерею4 — план, который последний исполнил как друг и о котором совсем забыл; наконец, не ты ли заставил думать и Сашу согласно с нами, заставил ее желать того же, чего я желал, думать так же, как я думал?.. А письмо Ив<ана> Влад<имировича>?5 Кто его требовал, и к кому оно писано? И кто после называл Ив<ана> же Владим<ировича> сумасшедшим?.. Одним словом, всё было прекрасно до последнего приезда твоего из Рязани6. Тут обстоятельства переменились. Ты *свое* имеешь, и моя зеленая горница, в которой было *столько сладких минут*, в которой так мы *мечтали*!!! о будущем *нераздельном* счастье, которую ты так убирал для 20 августа7, потеряла свою прелесть! В ней остался я один с худым своим настоящим, которое надобно было пожелать сносить и которое мне одному ты оставил на плечи; я не слыхал в ней ни одного утешительного слова; ты мог быть мне товарищем для будущего счастья, но товарищем для настоящего горя быть не мог. (Может быть, для того, чтобы не тушить пожар соломою.) Я был точно *один.* Именно в ту минуту жаркая дружба твоя переменилась на холодность и невнимательность, в которую надлежало бы ей усилиться, — я сделался сам и угрюм, и холоден. Это натурально. Я до комедий не охотник. А искать утешения нельзя. Надобно, чтобы оно само приходило. Просить дружбы как милостыни невозможно. Если эта холодность твоя ко мне была угождением для Екатер<ины> Афанасьевны, то тем хуже для нее. Ей нельзя было тебя за нее благодарить — какая надежда на человека, который по случаю и времени меняет сердце и располагает дружбу, то есть личину дружбы. Настоящая же дружба не так действует. Я знаю, что моя холодность меня же представила с дурной стороны для Е<катерины> Аф<анасьевны> (кого не хочешь видеть хорошим, тот во всем будет дурен), но что же делать? Носить на себе маску не умею и не хочу, хотя бы и умел. Пускай называют это неискусством жить и незнанием людей. Что бы ни было со мною, а так лучше. Чего бы я от тебя требовал и каким бы хотел видеть тебя — право, сказать не умею! Поэтому и не скажешь тому, кому собственное сердце этого сказать не умеет. Я чувствовал всякую минуту, что всё не так; может быть, в ином и ошибался, но это иное было в мелочах, а в главном я прав. Итак, пускай моя зеленая, пустая и навсегда пустая горница напоминает тебе о некоторых сладких мечтах *твоего* счастья, которые сбылись, которые делил я ото всего сердца, которые рад бы и всегда делить даже и без примеси *собственного*; но для меня она не напомнит ни одного часа, в который бы ты делил мое настоящее, не мечтательное горе. Помню несколько разговоров, после которых я успокаивался, — меня легко успокоить! Ни с кем так не легко быть искренним, как со мною (но искренним, и чтобы дело служило подпорою словам), — но эти разговоры, в которые всегда я сам тебя заводил, которые всегда оканчивались хорошо, потому что я всегда иду навстречу доверенности, были минуты приятные, но разрушаемые после *делом*. После всякого разговора я оставался с искренним уверением, что я ошибся, и всегда это уверение исчезало. Вспомни наш последний разговор8. Я говорил тебе: мне ничто так не нужно, как иметь к тебе доверенность. Твое дело не в том, чтобы иметь какойнибудь успех, — я невозможного не требую. Мое счастье зависит не от тебя. Но от тебя зависит не переменяться, быть искренним в мыслях, не жертвовать ни для кого тем мнением, которое ты имел, которое согласно с моим. Не твое дело, что другие не имеют его; ты имел его прежде, имей и теперь. Я требую

от тебя только одного: будь прямодушен. На этом основано ваше семейственное счастье и наша дружба. Если не останемся вместе, то по крайней мере будем друзьями. Твое прямодушие нужно менее для меня (я от тебя не завишу), но для тех, которых судьба связала тесно с тобою.

В ответ на это ты сказал мне, что мнение твое не переменилось, что ты ни перед кем его не скроешь. Послушай, если бы ты не согласен был со мною в образе мнений, но сказал бы это прямо и не теперь, когда это сказать нужно, а прежде, когда тебе не было никакой от этого пользы, мог ли бы я тебя обвинить. Нет! Есть люди, которые иначе думают, не как я, но которых участие трогает меня сильно, и я не желал бы ничего иного, как только того, чтобы Екат<ерина> Афан<асьевна> могла то же ко мне чувствовать, что они, — тогда бы мы могли быть счастливы. Но дело не об том.

Помнишь ли, что я еще прибавил? я сказал, что теперь желал бы, чтобы

Екат<ерина> Афан<асьевна> только *согласилась*, что уверена, что она в первые только минуты была бы менее счастлива, но что вся моя жизнь употреблена была бы на то, чтобы ее успокоить и что я надеялся в этом успеть?

Ты говорил: что моего дурного о себе мнения боялся более чахотки! Что тебе нет никакой причины *желать* моего удаления! Что так же думаешь, как и прежде, то есть считаешь образ мыслей Е<катерины> Аф<анасьевны> за предрассудок и прочее. И через минуту ты же говоришь совсем противное с Машею;

твердишь ей о грехе, уверяешь ее, что нет никакой возможности; что совесть это запрещает; что ты старался по крайней мере узнать, точно ли я сын моего отца, нельзя ли кому-нибудь другому им назваться; и, наконец, спрашиваешь у нее иронически, угодно ли ей, чтобы ее мать пошла в монастырь для нашего

счастья9, — и всё это здесь, час после такого разговора, в котором я открыл тебе прямо свое сердце. А ввечеру не при мне ли Маша просила у тебя прощения со слезами, и в чем же? В том, что она на тебя рассердилась! Но за что? Боже мой! За то, что ты вздумал ее утешать и сказал ей с душевным участием и милою ирониею: не плачьте, милый друг! Мы выдадим Вас за Жуковского! А маменьку посадим в монастырь! Всё будет прекрасно! И потом, оборотившись к Саше, прибавил: а ты, невинная душа! Ты не знала, что он в твою сестру влюблен и что твоя сестра влюблена в него! — вот оно, твое прямодушие! вот твое участие и твоя дружба! Но кто же этой невинной душе открыл мою привязанность к Маше и кто заставил эту невинную душу ее оправдывать? Не ты ли сам? Послушай! Видеть *грех* в нашем союзе не есть большая вина — и не требую от Е<катерины> А<фанасьевны> противного, я требую от нее сожаления, участия, дружбы, одним словом, возможного, именно того, чего особенно мог бы требовать от христианки, которая своему образу мыслей приносит в жертву всё драгоценное. Но она в этом-то и отказывает. Но видеть в этом союзе *грех* только в угождение другим и соглашаться с обстоятельствами, это уже не одно заблуждение — это лицемерство; а если присоединить к этому и то, что, показывая такое мнение (с которым в сердце не согласен, которому прежде противное показывал), жертвуешь другом, то поневоле скажешь — предательство! Для тебя в отношении ко мне обстоятельства не переменились; что ты прежде думал, не бывши мужем Саши, то можешь и должен думать и теперь, став ее мужем. Но ты в одной горнице говорил одно, а в другой другое. Так! В моей зеленой горнице *просияла для тебя заря блаженства.* Но на что же ты говоришь? *Его приязнь заманила меня в Муратово; его доброму обо мне мнению обязан я Сашею*. Совсем наоборот! Я и теперь повторю то же, что сказал прежде, в одном из писем моих к тебе в Петербург10. Благодари Провидение, которое вселило в тебя мысль посетить Жуковского! Но прибавлю: благодари за то, что оно дает тебе способ быть истинно счастливым, только не разрушай этого способа! На-

сколько я заметил, мне кажется, что ты не знаешь своего счастья и по сию пору (а это еще лучшие, первые минуты) не нашел способ им наслаждаться! Твоя нежность к Екат<ерине> Афан<асьевне> слишком явная, чтобы быть истинною; ты не имеешь к ней в душе своей той благодарности, которою ей обязан; я *знаю*, что ты ее не имеешь. А Саша, милая, добрая, покорная Саша, сколько раз уже она от тебя плакала. Если это так продолжится, когда же будет *блаженство*! Нет! Ты не моему доброму мнению обязан Сашею — ты сам знаешь, что значило мое мнение в Муратове! И как всё сделалось! Правда, твоя дружба ко мне, которая из такой дали привела тебя в Муратово, была первым твоим успехом — но всё остальное сделалось без меня! И я бы только испортил, если вздумал тебе помогать. Ты сам не один раз в этом со мною соглашался. Тогда мое доброе мнение принадлежало тебе, и если бы у меня его спросили, то оно тебя же бы оправдало. Но когда Ек<атерина> Аф<анасьевна> спросила у меня, какой ответ тебе сделать, то я сказал: *согласитесь, но оставьте себе право отказать.* Это ты знаешь. Что же? согласились и тотчас начали писать рекомендательные письма. Я помню, что ты сам благодарил меня за такой совет; *без такого требования твоего*, сказал ты, *так бы скоро не согласились.*

**175.**

**М. А. Протасовой**

*<15 сентября 1814 г. Чернь>*

*Всё в жертву за нее!*1

Не недоверчивость к Промыслу2, мой друг, а забвение самого себя, естественное следствие смущения и горести. Я видел, сколько печального ожидало тебя в будущем; многое, может быть, и увеличивал, — когда подумаю об этом и теперь, то такое же смущение; но теперь имею твое письмо — оно ото всего защита! Я его перечитываю, и всякий раз имеет оно на меня влияние *доброго дела*, — я готов прыгать; чувствую себя легче и живее. Но знаешь ли, что я не даю себе воли часто читать это бесценное письмо. Я откладываю его нарочно, как радость, чтобы иметь и наслаждение ожидания.

L’amour parfait chasse la crainte[[135]](#footnote-135)3. Вот в чем твое совершенство. Ты имеешь такую спокойную веру. Она дает и любви твоей бóльшую высокость. Ты лучше меня любить умеешь, и я в самой моей к тебе привязанности должен принять тебя же за образец.

Так, мой друг, будем смотреть на разлуку, как на срок4, — будем надеяться. Мы сделали условие с *теми*, кто об нашем счастье будет заботиться более нас самих. Будем уверены, что всё хорошее будет, и не позже, не ранее, как нужно. Готовить<ся> *в ожидании*. В этом слове теперь для нас жизнь. Но всё это не было бы для меня так понятно, когда бы я говорил тебе от одного себя; но и тут милость ко мне Провидения. Я должен был на минуту забыться, чтобы мой ангел изъяснил мне мою должность — и каким языком! — самый язык совести никогда не будет для меня так убедителен.

Язык утешения, радости, одним словом — язык моей Маши. Накануне и в самый день отъезда я сказал от сердца, что жизнь прекрасна, — это твое дело. Ты представила мне в будущем столько прекрасного. Своему проступку обязан я тем, что начал еще более тебя уважать, начал чувствовать твое превосходство надо мною, а как весело его чувствовать! Твои наставления кажутся мне чем-то святым! И кто имеет то, что я имею? Стоит о тебе вспомнить, чтобы обрадоваться, что я жив; стоит развернуть твое письмо, чтобы во всякое время жизни иметь утешение; ободрение для хорошего дела, защиту от дурного; поощрение к прекрасному; — всем, всем я обязан тебе; как весело в этом признаваться! Знаешь ли, что я перечитываю это письмо с восхищением, но не даю

себе этого удовольствия каждый день, чтобы оно было дороже от ожидания. Вечные мечты! Ты мне велела назвать тебя *своею матерью*, за ту нежную заботу о моей судьбе, которую ты имеешь. Нет, мы не расстаемся — вся наша жизнь будет тесным сношением друг с другом, une correspondance intime[[136]](#footnote-136). Всё, что ни

сделаю в жизни, всё для тебя, ты будешь знать обо мне и будешь радоваться5.

(Я не пишу того, что было писано о Воейкове. Несправедливость!)6

Райское *вместе* поручим Богу. Теперь одно: *мы живы* и друг для друга. Заслуживать! При этом слове все силы душевные возбуждаются, et il me semble déjà voir le royaume de Cachemire[[137]](#footnote-137)7.С маменькою можешь обо мне говорить

свободно; теперь имеем на это право; никто, кроме нее, не может нас сблизить.

Ты говоришь: *ta vie doit être active*[[138]](#footnote-138)8. Надобно было всё это слышать *от тебя*, чтобы сильно пожелать исполнить. Бесценное завещание моего друга, как его преступить! Мой пример для тебя нужен! нет, я могу только подражать тебе! Oui! montons la montagne![[139]](#footnote-139) Жизнь впереди! Какое счастье: résignation et courage! Si tu veux mon exemple, tu l’aura[[140]](#footnote-140). Теперь мое правило (и даю слово его исполнить!): *жить как ты велишь! как тебе нужно!* У меня баронесса9 спросила: какие же теперь мои намерения? — И ей отвечал: никаких! жить, как ей надобно! В этом всё! (Милый друг, прости! я не утерпел, чтобы ей не сказать

о своем предложении; мне хотелось, чтобы она знала в совершенстве, *что ты*! И какое для меня наслаждение видеть, как добрые сердца тебе удивляются! Вот истинное мое достоинство: быть любимым такою душою, как твоя!)

Теперь слово о том, что ты от меня требуешь! — Требуешь, милый друг: какое счастье тебе повиноваться. Бездействие! Нет! оно было не от тебя. Теперь мы розно, и что же влечет меня к деятельности! Ты! Что же, когда бы мы были вместе и вместе счастливы? Итак, вини не себя, а тех, которые наше *вместе* разрушили.

Вот мой *кодекс*. *Писать* (и при этом правило — жить как пишешь, чтобы сочинения были не маска, а зеркало души и поступков). Это будет моею с тобою корреспонденциею. Слава моя будет твоею. Мне сладко теперь думать о уважении, которое могу заслужить от отечества и которого причиною будешь *ты*. Эта мысль дает мне гордость и силу. Слава моя будет чистая и достойная моего ангела, *моей Маши*. Я буду писать много и беспрестанно.

*Воспитание детей*10. Это занятие будет посвящено тебе же. Но как же я рад, что ты угадала мои мысли. Я сам хотел употребить на это часть времени. Тем лучше, что это занятие будет исполнением твоей воли.

*Владимир* будет написан11. Мы не розно. Мой Ангел вдохновения всегда со мною. Мои милейшие желания исполнены в твоей любви. Остальное Провидению. Нет, моя белая книга не останется пустою — *я белой книги не стра-*

*шусь*12. Провидение твоею рукою начертало в ней невидимые черты, видимые сердцу, — *жить для Маши, для всего доброго, быть ее достойным, и этим заслужить счастье, которое верно*. Ты получишь ее из моих рук, и полную, полную, и во всякий час. Всё недостойное тебя забыто или будет отброшено. С таким предметом я счастлив.

Вот мои ежедневные занятия:

1. *Собрание понятий о религии*. Надобно сделать тебе мою исповедь. Я не могу быть перед тобой лицемером. Я не имею того, что называется полным понятием о религии13. Но желаю верить и буду иметь чистую, достойную человека и Бога веру. В этом ты мне порука. Искренность в этом желании, и довольно. Душевно буду искать убеждения, той веры, которая нужна для счастья, которая совершенствует сердце. Что бы ни было, но жить по правилам христианства. Это ведет к Небу. Итак: *чтение Свящ<енного> Писания, книг о религии и твоей книжки*14*. Свои мысли об этом предмете и для тебя, особенное собрание этих мыслей.*
2. *Чтение моралистов*. Хочу непременно делать *свои прививки*15, то есть каждый день к какой-нибудь хорошей чужой мысли прививать несколько своих. Собрание этих мыслей для тебя. Надобно, чтобы каждый день был озна-

чен своею особенною мыслью.

1. *Каждый день две или три страницы прозы* о чем бы то ни было. Это составит со временем порядочный материал для журнала. Особенный список для тебя. На это уже готов альбом.
2. *Всякий день непременно писать в стихах*, и всё будет для тебя переписано.
3. *Чтение книг о воспитании*. Прежде, нежели приняться за дело, надобно понабраться мыслей и чужих, если нет своих. Из этих материалов со временем составить письма о воспитании и письма к Дуняше о ее детях. Может выйти прекрасная книжка.
4. *Записывать свой день*. Это для тебя. Дурное и хорошее без закрышки перед моим другом, перед моею совестью, перед вторым Провидением моим. Видишь ли, какая куча занятий, и при всём этом оживотворитель, ободритель, свидетель ты, мой друг, моя благодетельница. Вот и расположение часов, чтобы

ты знала, чем я в какую минуту занят.

*6 час.* Чтение Св<ятого> Писания и т<ому> под<обного> и твоей книжки.

*7—8* Проза (письма).

* 1. Ходить.

*10, 11, 12* Стихи (письма).

*1—2* Материалы для *Владимира*.

*3, 4, 5* Произвольное занятие. Не худо и поспать. *6* Ход<ить>

*7, 8, 9* Чтение мор<алистических> книг и о воспитании.

* 1. Записки дня.

От тебя желал бы, чтобы ты делала 1, 2 и 6 для меня, как я для тебя. Кажется, что это возможно. Сделай книжку, в которую бы записывать лучшее из Святого Писания и духовн<ых> писателей. К этому прибавлять свои замечания. Другую книжку для записывания лучших мыслей из всех книг и к ним также свои заме-

чания. Наконец, каждый день в десяти строках записать в журнал (в голуб<ую> книжку) всё это для меня. Этот журнал будет вместо писем. При случае отдавать на почту, что будет легко. Мне же особенно писать к тебе будет нельзя. Но в Дуняшиных письмах всё подчеркнутое будет мое16.

Что же касается до денег, то вот мое требование (поздно я вздумал требовать!). Могут случиться весьма затруднительные обстоятельства — ты не имеешь об них понятия; *но верь мне*. Может случиться то, что деньги вам будут спасением. 1000 Дуняшины и еще другая 1000, которую получишь от меня, должны у тебя храниться как залог. Обещайся мне до этих денег ни в каком случае не касаться и беречь их *на черный день*. Если решишься исполнить мою просьбу, то успокоишь меня совершенно. Я боюсь ваших нужд. Не иметь денег в такой дальней стороне есть быть невольником, и самым жалким (а ты обо мне не подумала и раздала без нужды свои деньги. Это меня очень огорчило и огорчает). Береги эти деньги, как маменькино добро. Условие: не тратить их ни на что, а беречь про черный день.

Если дашь слово исполнить это условие, то я буду спокоен.

Теперь последнее слово. Друг мой, persévérance[[141]](#footnote-141), твердость и деятельность в горе; вера к будущему.

Одним твоим словом: devant Dieu[[142]](#footnote-142) ты дала мне всё — силу, надежду и даже счастье. Мысль, что ты призовешь меня на помощь, когда нельзя будет ничего другого сделать, заменяет для меня всё. Всё прочее заключено для нас в одном: *будем достойны своего счастья.*

**176.**

**М. А. Протасовой**

*26 сентября <1814 г. Чернь>*

26 сентября

Всё это было написано 15 сентября1. Милый ангел, кто бы мог ожидать такой перемены!

Ein einziges Augenblick kann alles umgestalten[[143]](#footnote-143)2.

Маша, дай руку на счастье. Мы будем вместе; *вместе*! как мило это слово после двух месяцев горькой мысли, что мы расстались3. Теперь нечего и некогда тебе сказать. Прости, друг бесценный! Без вас буду много думать о нашей будущей жизни4, о нашем милом *вместе;* каком — об этом напишу и для тебя. Это будет последним моим письмом к тебе и единственным, какое ты иметь будешь5. Между тем, чтобы ты знала, что буду без тебя делать, то вот рапорт.

1. Написать план *нашей жизни* (ангел, нашей). 2. Переслать к Тургеневу мои сочинения6. 3. Собраться в Дерпт7. 4. Послание к государю8 и перевести Библию9.
2. Всё то, что ты читала здесь, было бы планом моей жизни *без тебя*.

Оно останется таким же, но к этому прибавится только милое, одушевительное *с тобою*. Надобно сделать, чтобы наше *вместе* было как можно яснее и

спокойнее, но чего не снесешь для этого *вместе*. Ты будешь моим ободрителем, моею наставницею. Боюсь только, как бы Авд<отья> Никол<аевна> всего не расстроила10. Но это уже твое дело. Друг мой, будь моею защитницею. А я постараюсь обогатить себя такими мыслями, которые бы утвердили, а не расстроили наше счастье. Прости, душа, радость, жизнь.

**177.**

**А. П. Киреевской (Елагиной)**

*<Вторая половина сентября 1814 г. Чернь>*

Милая, *шептун*1 откликнулся и очень меня утешил. Но для чего же Вы, мой видимый шептун, так малословны? Неужели нужно Вам, чтобы я *своим* письмом от Вас вытребовал то, что Вы мне сказать можете и что, верно, Вы про себя мне говорите. Чтобы успокоить Вас на мой счет одним словом, скажу Вам, что я хочу приниматься за работу. Вчерашнее милое письмо Саши2 много дало мне души. Да и шептун много сказал хорошего, что я повторить не умею, потому что он выражается не словами и говорит не ушам. Я чувствую необходимость писать и почитаю это за должность. Слава для меня имя теперь святое. Хочу писать *к Царю* — предмет высокий; и я чувствую, что теперь моя душа ближе ко всему высокому. В ней живее все прекрасные мысли о Провидении, о добре, о настоящей славе. Кому я всем этим обязан? Право, не знаю, что сильнее в моем сердце — любовь или благодарность? Не беспокойтесь обо мне, не представляйте моего состояния низким унынием! Жизнь и без счастья кажется мне теперь чем-то священным и величественным. Я могу теперь ее ценить — и как пророк *знаю* свое будущее. А Провидение, которое во всём для меня видимо и слышно, — какое величие дает оно и свету, и жизни. Простите, мой милый шептун. Поцелуйте за меня обеих наших сестер и Ваших детенков. Дружба, да и только. Чего мне более? Прошу, напишите ко мне поболее.

**178.**

**А. И. Тургеневу**

*<Конец сентября 1814 г. Мишенское (Чернь?)>*

Брат, ты жестоко меня наказываешь. Сколько времени уже не имею от тебя слуху! Неужели петербургские праздники1 заставили тебя забыть своего белевского бедного поэта? Я сам давно не писал тебе; но ты мог догадаться, что мои обстоятельства не давали мне рук. Душа, право, всегда близко тебя, а теперь и гораздо ближе прежнего. Мне о многом, многом надобно говорить с тобою, и многое тебя изумит. Но радостного ничего не жди; может быть, зато иное восхитит твою душу; а иное и очень, очень сожмет. Всё это загадка — я тебе ее разгадаю. Только ты откликнись, друг, товарищ, всегда верный и неизменный сердцем, каковы бы ни были обстоятельства. Не обо всех это сказать можно.

Не обо всех! О немногих, очень немногих. Так и быть. А всё, как бы ни больно было, лучше быть добрым на худой дороге, нежели дурным на гладкой.

Полно теперь! Мое письмо похоже на крошево, в котором ничего не разберешь. Да я и не хочу, чтобы ты что-нибудь разобрал. Готовлю к тебе большую реляцию, и самую подробную, и скоро. Теперь опять комиссия. Здесь есть Минина, бывшая Михель2. Ей хочется поместить сына в Лицей. Узнай, когда прием, какие кондиции, и уведомь немедленно, чтобы она успела нынешнею зимой съездить в Петербург для отдачи. Да что же ни слуху о посланных мною к тебе пятидесяти рублях? Будут ли греческие книги?3

Мои стихи всё еще к тебе не посланы. И нового ничего нет. До сих пор гений, душа, сердце — всё, всё было в грязи. Я не умею тебе описать того низкого ничтожества, в котором я барахтался. Благодаря одному ангелу — на что тебе

его называть?4 ты его имя угадаешь — я опять подымаюсь, смотрю на жизнь другими глазами; хотя ничто не удалось и надежда на всё, что радовало, пропала, но этот ангел мне остался, и я еще *радуюсь* жизнью. Теперь слава мне *драгоценна*. Брат! Твоя дружба, любовь некоторых *добрых*, чистая, не униженная ничем презренным слава и этот ангел, который смотрит на мою жизнь, как на

свое благо… Еще жить можно!

Und ein Gott ist’s, Der Berge Spitzen

Röthet mit Blitzen!5

Видел ли ты Протасова, сдружился ли с ним, полюбил ли его?6 Вам надобно непременно любить друг друга. Обними его за меня. Буду писать к нему много. Скажи, чтобы прислал адрес. Через тебя нельзя: или забудешь письмо отдать, или потеряешь, так, как забыл совсем об Астракове7.

Батюшков, что приехал в Петербург, то уж и дал о себе знать8 — письмо о Муравьеве прекрасное9; но зачем же он меня бранит?10 Не я ли к нему писал,

чтобы у Ивана Матвеевича11 выпросить мне подробности жизни Муравьева? Не я ли послал ему переписанный экземпляр стихов Муравьева и не я ли на всё это не получил никакого ответа? Обними его за меня. Благодарение музам, которые сохранили своего любезнейшего друга! Его Скандинавский замок прелестен12. Он поджигает меня на поэму. Эта мысль уже давно в голове моей; теперь будет зреть и созреет. Вы *часто будете обо мне слышать. Между нами*: я хочу писать «Послание к государю»13. Принято ли это будет и не поздно ли?

Оно давно было бы и написано; но… Музе надобен покой! А у меня его не было.

Правда ли, что Блудов возвратился?14 Если правда, напомни ему обо мне.

Скажи ему, что я тот же — лентяй писать, но друг ему *по смерть* или, лучше, *на жизнь и смерть*.

Обнимаю тебя.

Нет ли у тебя каких-нибудь пособий для «Владимира»?15 Древностей, которые бы дали понятия о том веке, старинных русских повестей? Посоветуйся об этом с Дашковым и С<ергеем> Семеновичем16.

Кавелина обнимаю.

**179.**

**А. И. Тургеневу**

*20 октября <1814 г. Володьково1>*

20 октября

Нет, друг милый и *брат*, это большое письмо не написано, и не лень помешала его написать, и я рад, что его не написал, потому что в нем было бы много несправедливого, внушенного огорчением; а то, что и было бы справедливо, должно быть предано забвению и исправлено. Я думаю, через час после моего последнего письма к тебе обстоятельства переменились2. Не радуйся! Того, что надобно, что одно было бы для меня счастьем, нет и, вероятно, не будет. По крайней мере, и жестокого *розно* также не будет. Фанатизм, присоединенный к слабому, нерешительному характеру, непобедим. На него ни рассудок, ни сожаление, ничто действовать не могут. Нет, довольно твердости, чтобы на

что-нибудь решиться, чтобы остаться при том, на что решился. Вся твердость в этом дьявольском суеверии, которое ненавижу от всего сердца. Ах, святая религия, святое понятие о Боге, как вас искажают! Но так и быть! Будущее впереди, в руке твердой; мое дело дойти до него хорошею дорогою. Мы вме-

сте — это много, это всё. Не думаю, однако, чтобы было полное спокойствие, полное счастье; всё это зависит не от нас! Но надобно сколько можно беречь это сокровище — трудиться, помнить предположенную цель, радоваться, что есть дружба, которая меня утешает; словом, писать и жить, как пишешь. Стоить своего счастья, и оно будет наше. Разве мало — быть добрым, быть любимым таким сердцем, какого нет другого, быть другом твоим, быть поэтом и писать не для низкого всеобщего одобрения, а для семейства прекрасных людей, с которыми породнишься посредством высоких, неложных и хорошо выраженных чувств, которые, может быть, останутся и для потомства? Слава, истинная слава! А для меня она выше, нежели для других. Искать, а значит любить самое прелестное творение, в лучшие, совершеннейшие минуты жизни быть к ней ближе. Брат, еще можно быть счастливым на свете! Кто может писать и говорить мыслями сердцу, да притом не слишком самолюбив, чтобы в одном только

успехе видеть свою награду, тот живи и радуйся жизнью. Письмо мое похоже несколько на дифирамб; но ты поймешь меня. Теперь я совершенно один. Мои *все* разъехались — кто в Москву, кто в Тамбов3 и тому подобное. Но я никогда не был так весел. Все минуты *мои*. Сочиняю план будущего, и планы не химери-

ческие, а такие, которые можно и дóлжно исполнить. Пишу стихи без памяти4 — и когда всё то напишется, что я предположил написать в это время, то будет к тебе отправлено вместе с старым для напечатания. Хочу приниматься за «По-

слание к государю»; план сделан, кажется, хорошо5, а это для меня всего важнее. Он написан, следовательно не могу бояться, чтобы мысли, записанные в минуту горячую, пропали из головы в минуту холодную. Мне весело было писать этот план и, признаюсь, много обещаю себе наслаждения от самого сочинения. Никакой поэт не может похвалиться, чтобы имел подобный этому предмет. При имени государя сердце распаляет воображение. Кто подумает о лести! Россия должна благодарить его за тот великий характер, который он к славе ее явил в таких решительных для нее обстоятельствах и благодаря этому характеру Россия теперь славнее, нежели когда-нибудь. Но это всё найдешь в моем Послании. Только уговор — чтобы *никто не знал* об этом. Как скоро узнают, то это обратится в тяжкую обязанность, и принужденность будет охлаждением воображения. Я всегда замечал, что именно того я не делал, что должен или принужден был сделать. Итак, молчи и не убей моего Послания, рассказав о нем прежде, нежели оно родилось. À propos[[144]](#footnote-144). У меня бродит в голове мысль, что если б 25 декабря6 было бы для нас то же, что для англичан день святой Сесилии7.

Чтобы непременно каждый год была сочинена ода на этот день и положена на музыку? Почему не быть у нас Драйденам, Пóпам и Конгревам?8 А какой сюжет! Но только, чтобы это было установление, утвержденное государем. Оно перейдет к потомству. Молитвы своим чередом, а стихи своим.

Попробуй пульс у Батюшкова — в полном ли он здравии обретается? Ведь это сумасшествие! Прислать ко мне свою книжку и не написать ко мне ни слова9 — грех и стыд! Он напрасно журит меня за Муравьева. Поправленнный список его стихов отдан был, если не ошибаюсь, в Москве ему или по почте ему же доставлен. Беда бы не велика, но вот что больше беды: я потерял поправки, и надобно снова приниматься за эту работу. Напомни ему, что я должен был писать жизнь Муравьева, что для этого надобно было мне иметь сведения о его

обстоятельствах, что этих сведений нельзя почерпнуть из тех бумаг его, которые у меня, что я просил его же, пипиньку-шельму-блядуна10, мне эти сведения доставить! Бумаги все целы; успокой на счет их Екатерину Федоровну11. Теперь мне предстоит поездка в Дерпт. Я переселяюсь туда с Воейковым12. Вероятно,

что это случится зимою, и *первая* работа мне в Дерпте будет издание стихов Муравьева, с приобщением к ним его жизни. Приготовьте к этому времени все нужные материалы. То есть хоть ты возьмись стучать Батюшкову в голову и кричать этому кургузому скомороху, чтобы он доставил мне эти материалы.

Впрочем, и на тебя плоха надежда: что ни поручи тебе, всё проспишь. Какой ответ сделал ты мне о Лицее?13 Есть ли какой-нибудь слух об Астракове?14 Человек ты Божий!

Обними за меня Блудова! От него нет ни слова, но я сам виноват, сам не писал к нему ни разу. Но что, если он это молчание назовет моею переменою к нему в дружбе? Нет! не назовет. Тогда и мне даст он право то же об нем подумать. Прошу тебя, вымоли у него ко мне строчку. Он всё в долгу у меня. Я писал к нему в твоем письме, а он и тебе ничего мне сказать не велит. Это грустно и больно. Неужели мы можем друг для друга перемениться, не говорю уже расстаться? Его дружба не только нужна мне для меня, но и для моей Музы. Он один из тех людей, которых одобрение ценю весьма высоко. Растолкай, ради Бога, его дурацкую лень.

Прости. À propos[[145]](#footnote-145). Вчера родилась у меня еще баллада-приемыш, то есть перевод с английского15. Уж то-то черти, то-то гробы! Но это последняя в этом роде. Не думай, чтобы я на одних только чертях хотел ехать в потомство. Нет! Я знаю, что они собьют на дороге, а признаюсь, хочу, чтобы они меня конвоировали.

То, что ты пишешь о братьях, меня радует: славные ребята! На детей нашего старика Тургенева Бог поглядел в милостивую минуту — сердца и головы прекрасные. И всё это *мои*. Любо!

Прощай. Перед Сергеем Семеновичем16 я виноват, и он, видно, решился меня отбросить в толпу шалунов. Я с ним поступил как с тобою, то есть отложил ему отвечать на его письмо, а что отложишь, того не сделаешь. Вот и по сию пору я к нему не написал. Зато и нет у меня ни похвального слова Моро17, ни сочинения его о государе18. Я постараюсь загладить свою вину перед ним. Об Голицыной19 не могу подумать без содрогания. Выдумай какое-нибудь средство,

чтобы меня вывести из дураков, из этой бездны, в которую я сам добровольно залез и где сижу как какой-нибудь хозяин.

Что мой Протасов?20 Пожури его! Видно, он не умеет помнить посреди шумного света тех, кого любил в уединении. А у нас с ним не одна причина любить друг друга. Я его обнимаю.

*Жуковский*

**180.**

**П. А. Вяземскому**

*<Первые числа ноября 1814 г. Долбино>\**

Милый друг, податель этого письма есть Василий Андреевич Азбукин1.

Прошу его принять дружески, первое, за то, что он любезный и достойный твоего внимания человек, второе, за то, что он Василий же Андреевич, мой сослуживец, сотоварищ, соратник. От него узнаешь различные обо мне подробности. Ты опять сердишься на меня за мои сто лет молчания. А я разве не имею права пенять тебе за твои сто лет. Но не могу. Ибо в горе и беспокойстве. Я мог бы теперь побывать у тебя, но так как этот приезд был бы на три или четыре дня, не более, то я предпочитаю приехать в конце ноября на две недели *единственно*

*для тебя*. Я еду с своими на житье в Дерпт2. Ты будешь в Петербурге. Следовательно, мы будем ближе друг от друга и будем, вероятно, видаться. Эта поездка в Дерпт совсем не означает вступления в службу или чего-нибудь подобного; она значит только то, что *мои* все по своим обстоятельствам едут в Дерпт и там жить будут — а я за ними. Не входя ни в какие ненужные для тебя объяснения,

скажу, что у меня теперь на душе поспокойнее, и та яма, которую, по твоим словам, я сам для себя рою, сделалась *ямкою*, так что если и буду в ней сидеть, то всё Божий свет будет виден. Словом сказать, на сердце легче и наконец буду работать, перестану истощать бесценный мой талант на блестящие безделки,

утешу мое отечество, которое умеет отдавать мне справедливость, и вместе с Батюшковым, Вяземским буду работать не для минуты, а для веков. Согласен ли на это, друг? Если согласен, то не пиши таких стихов, которые мне прислал в последний раз3. Не пиши — это значит не думай и не чувствуй того, что в этих

стихах (впрочем, не слишком тебя достойных) написано вслед за Вольтером. В самом деле, *дурной час больного*. А у тебя, как я часто имел случай в старые годы заметить, такие часы бывают частенько. Несмотря на *всё, что у тебя есть*, ты имеешь какое-то презрение к жизни и смотришь на нее с насмешкою, и готов всякую минуту нападать с жестокими сарказмами на Провидение. С таким расположением души трудно будет написать что-нибудь такое, что бы *радовало* потомство. Не говорю уже о том, чтобы находить счастье посреди всего того,

что *делает* наше счастье. Стой, моралист! У меня до тебя просьба. Мы с Воейковым и с другими некоторыми выдаем снова «Собрание лучших русских стихотворений»4. *Твоего* в этом собрании должно быть *много*. Первый том уже печатается. Пришли мне непременно всё то, что желаешь поместить, и, пожалуйста, не скромничай и не скупись.

Пришли мне, если можно, *всё*, я выберу сам — только поскорее, чтобы не опоздать отослать в Петербург. Пипинькино письмо прекрасно5. Напрасно нападает он на меня за Муравьева6. Я поправил его стихи, переписал их и ему

отдал экземпляр. Этот экземпляр потерян и с ним все поправки. Надобно возиться с этою скучною работою опять. Я не мог написать «Жизнь Муравьева»7 потому, что не имею на то никаких материалов; те бумаги, которые у меня, могут служить только материалами для изображения его характера и образа мыслей. Но я Пипиньку же просил доставить мне известия о обстоятельствах его жизни и отобрать все нужные сведения у Ивана Матвеевича8. Он ничего этого не сделал и меня же бранит. Бумаги все у меня целы. И в Дерпте всё кончу; но только нужно, чтобы мне помогли.

Ты подумай о журнале. У меня есть в голове план, который, обдумав, тебе сообщу.

Поклонись от меня Денису-поэту-герою-Давыдову.

В экземпляре моих стихов, к тебе присланном, много ошибок. Некоторые пиесы, и их, думаю, наберется с десяток, не будут напечатаны. Что мне делать

с рифмою любовь и богов? Поправить не умею. Не выбросить ли и этой пиесы. Рви и режь, как хочешь! Я постараюсь стиснуть зубы и не крикнуть. *Ночи* и *полночи* не тронь. Так и быть!

À propos[[146]](#footnote-146). Я всё забыл. Я тебе должен за платье9. Тогда, когда писал об этом, у меня были деньги. Теперь нет. Итак, не взыщи. После расквитаемся.

Обнимаю тебя от всего сердца. Я теперь совершенно *один* и пробуду недели три один. В это время что-нибудь напишу. Я еще обязан тебе посланием. Друг, поверь, что не лень и не недостаток чувства мне помешали тебе отвечать. *С тобою* мне легко быть стихотворцем — то есть живо чувствовать всё прекрасное. Но эти последние два года были для меня убийственны. Теперь всё лучше, и я опять поэт. Буду писать много. Прости, до свидания. Вероятно, в конце ноября. Мой поклон Вере Федоровне.

Твой *Жуковский*

À propos\*\*. Вот мое подражание английским стихам God save the King[[147]](#footnote-147)10. Его здесь у нас поют (и на тот же голос). У Плещеева11 введено в обычай петь эту песню за столом при всяком семейном празднике. Хорошо, когда бы вся Русь приняла этот обычай. В минуту радости первый стакан царю, каких нет.

**181.**

**П. А. Вяземскому**

*7 ноября <1814 г. Долбино>\**

7 ноября

Я хотел много писать к тебе прозою; но неожиданный случай заставил писать стихами — о чем эти стихи, узнаешь, прочитав их1; остальное объяснит Азбукин2. Прошу не критиковать: всё это написалось очень скоро. Не говорю: прошу исполнить, потому что и без этого исполнишь. Прости до будущей почты.

У меня еще начато к тебе послание3. Но что-то мой Гений остановился и ждет попутного ветра. Оно будет ответом на твои прекрасные последние стихи, за которые обнимаю4. Кипу прочих твоих стихов получил. Вере Федоровне мой поклон и благодарность за ее милую дружескую записочку.

Твой *Жуковский*

У меня пропасть написано; никогда я столько не написал, как в прошедшем месяце; но еще пропасть написать надобно, и ты не прежде получишь чтонибудь, как по окончании *всего*. Скажу только, что я написал *пять* баллад; три ношу в голове; да еще две такие пиесы готовятся, от которых Феб лопнет5. Благослови меня, мой милый Феб. Пока не кончу всего этого, ты меня не увидишь. Обними за меня воина-поэта6; к нему буду писать на следующей почте; стихи его прекрасные, как и всё, что он пишет. Но это *всё* для меня очень не в большом

числе. Я и десятой доли не знаю того, что он навараксал; а желал бы *всё* знать и всё иметь. Не вздумает ли он вытряхнуть в мою суму свои сокровища.

**182.**

**А. И. Тургеневу**

*8 ноября 1814 г. <Долбино>*

Ты, верно, думаешь, что у меня всё готово, а я еще не написал ни одного стиха из моего Послания1; ты же об нем успел раструбить. Хорош ты! Но так и быть. Пишу теперь для того, что перед началом всякого доброго дела нужно поговорить с милым человеком, чтобы доброе было прямо добрым. Благослови, брат! Завтра начну прибивать свое имя к памятнику Александра. Не знаю, удастся ли. Не думай, однако, чтобы лень меня до сих пор удерживала. Нет, я написал много, и никогда так много не писал. Хотелось кончить многое мелкое, чтобы приняться без всякой заботы за одно большое. Но шутя, шутя напи-

сал пять баллад2, да еще три в голове3, которые пойдут рядом с Посланием. Но прошу только не расславлять моих подвигов. С тобою не боюсь быть синицею, но с другими это невесело. Скажи мне, когда поспеет *наш* памятник? Нельзя ли прислать ко мне рисунка? Два ли будет камня или один для двух? Я желал бы весь гений, какой во мне есть, посадить в одну надпись и боюсь не то написать,

что хочется. Но прежде непременно мне надобно иметь описание памятника4.

Видаешь ли ты Свиньина Павла?5 Поблагодари и обними его за меня за доставленную им мне книгу6 через Андрея Федоровича Сухотина7. Он очень

одолжил меня тем, что обо мне вспомнил; попроси, чтобы он доставил мне то, что написал о Моро8. Говорят, что он сделался славным живописцем. Виват, наши пансионеры! Посмотри, если не они положат печать на век Александров!

Пишу к тебе немного. Я в стихах по уши. Губарев9 взялся мне всё переписать, что как дóлжно для печати. Много найдешь нового в этом экземпляре.

Не хочу ничего посылать в журналы, дабы сберечь что-нибудь новое для издания; да и Никольский10 несколько меня пугает. А браниться с ними нельзя; я сам им подал пример. Скажи мне, что профессорство Воейкова? Что Блудов? Напишет ли он ко мне? Что Батюшков? Напишет ли он ко мне? Что Форовы греческие книги? Вспомнишь ли ты когда-нибудь об них и познакомишься ли хотя на минуту со стыдом?

Прости.

*Жуковский*

1814 Ноября 8

Нет ли в Петербурге сочинений Шиллера, вышедших после его смерти?11 Я желал бы иметь их.

**183.**

**П. А. Вяземскому**

*10 ноября <1814 г. Долбино>\**

10 ноября

Вот тебе и еще послание. Вдруг получишь два1. Одно не поспело на почту и, верно, для того, чтобы поспеть вместе с этим. Не знаю, будешь ли им доволен. Я хотел написать просто послание, а вышел дифирамб. Скажу прозою: друг, нам надобно писать много, и так, чтобы врезать свое имя в тот монумент, который поставят Александрову веку потомки. *Нам*! Что значит нам? Ты, я да Батюшков — должны составить союз на жизнь и смерть. Поэзия — цель и средство. Славе — почтение; похвалу болтунов — к черту; дружбе — всё! Я написал много; напишу еще более; всё пришлю, когда кончу; ты пиши; присылай; люби; увидимся нынешнею зимою. Давыдова2 обнимай3.

*Жуковский*

**184.**

**П. А. Вяземскому**

*14 ноября <1814. Долбино>\**

Ноября 14

Любезный друг, прошу тебя сделать мне одолжение прислать хорошей листовой, то есть in folio[[148]](#footnote-148) веленевой бумаги дести две. Здесь нет ее и тени, а мне нужно. На что — это моя тайна!!! Пришли скорее. Денег не посылаю, потому

что их у меня нет.

Получил ли ты *все* мои стихи? Что об этом нет от тебя ни слова? Я твои стихи вожу как товар! Читаю их и восхищаю ими; но жаль, что здесь мало слушателей! Зато есть и такие, каких лучше и в Москве не найдешь. Славно умеют понимать, славно умеют критиковать, и вкус может подле них не бояться ржав-

чины. Пришли мне Батюшкова «Пленника»1. Видно, и мне написать *Пленника*2. Две мои ипостаси написали3, и мне отставать не должно. Послание твое к Усачу4 прекрасное, точно горацианское; одно только меня в нем мучит, как склеить прелестные эти стихи:

Дар благодатный, дар волшебный

Благословенного Аи

Кипит, бьет искрами и пеной — Там жизнь кипит в младые дни!

Там за столом и проч.

Тут, верно, есть ошибка, а ты не потрудился перечитать; а если нет ошибки в переписке, то еще хуже — в слоге! Нельзя же бы мне не понять — а если бы и понял с трудом, то всё переменить должно, потому что я, друг твоих стихов, их с трудом понял. Стихи твои все вообще прекрасны, полны дарования — тебе дóлжно быть поэтом и записным поэтом, то есть записанным в кандидаты бессмертия. А в достоинстве твоих стихов ошибиться не могу — у меня есть верный признак их красоты. Они меня поджигают писать. Читая посредственное или слабое, всякий раз прихожу в какое-то глупое уныние — что, если и я не лучше! А от хорошего поневоле берется рука за перо.

Получил ли мое послание; что ты по нем сделал?5 Не худо бы было его прочитать в кругу каких-нибудь добрых людей, которые бы, выслушав его, не поленились сходить в карман и вынуть из него полный кулак денег! С стихами в руках просить милостыню (другим) не стыдно.

Моей Музе ты прибавил бегу. Пишет, да и только. И много написано. Не посылаю к тебе, потому что лень переписывать. Но вот тебе отчет. Я перевел (и это, право, tour de force[[149]](#footnote-149)) Фонтанову «Библию»6, где в 80 стихах самых живописных весь старый завет. И с первого октября по сие число (не ужаснись!) перевел четыре баллады и сочинил две. Принимаюсь за седьмую, которая будет не иное что, как продолжение «12 спящих дев»; но будет уж совсем в другом роде7. Чем больше пишу, тем более восхищаюсь нашим языком — этому очарователю всё возможно. Французская ясность, немецкая живопись и разнообразие и смелость и английская твердость — всё в нем есть. И сколько еще можно дать ему национального, собственного, чего нет ни в каком языке. Надобно,

чтобы у нас была *собственная, неподражательная поэзия*. Пользоваться образцами всех народов, не прилепляясь ни к одному в особенности; но непременно дать своей поэзии свою физиономию. Наш язык — молодой проснувшийся атлет! Отворить ему только поприще — он всех опередит. Это всё у меня как в тумане — вижу что-то; давай, брат, руку — наделаем много славного. Обо всем этом напишу пространнее в особенном прозаическом *изложении*, в котором, вероятно, много будет и пустяков, потому что, сказать между нами, я великая невежа, и сам не знаю, как помочь своему невежеству.

На сих днях я получил от Измайлова письмо — он жалуется на Университетскую типографию, которая самым несправедливым образом отняла у него издание «Вестника»8. Он хочет выдавать свой журнал9. Это нужно для его состояния. Просит у меня стихов. Я хочу поместить у него мои два послания к тебе, но для этого нужно, чтобы Пушкин дал свое с твоим на него ответом; а ты еще другое, к друзьям (прекрасное, острое, словом, *твое*), на которое мое последнее служит ответом10. Прошу не отказываться. Надобно помогать собрату. Я еще кое-что ему пришлю и тебе также советую. Напечатай у него и твое кое-что о Ломоносове11, но прежде дай прочитать. Отвечай на всё это обстоятельнее. Разумеется, что я не всё свое *новое* напечатаю у Измайлова, надобно

чем-нибудь заманить и читателя на собрание полных моих творений (!!), которое скоро начнет рождаться для бессмертия.

Приеду в Москву не прежде, как кончив всё, что затеял, следовательно не прежде, как к концу декабря12. Милый друг, не сердись. В Москве третьей доли того не напишу, что здесь напишется. К тебе хочу приехать с свободным духом. Теперь же у меня всё бежит по маслу. Сделан план для двух *капитальных* пиес13. Для каких — ни слова! чтоб не быть синицей, зажигательницею моря. Скажу только, что более всего желаю угодить твоему вкусу.

Ты познакомился с Юшковыми14 — прошу узнать их покороче, чтобы полюбить. Не искать в них блестящей светскости, но ума и души. Если ты любишь

читать стихи свои дамам, то смело читай им, чтобы слышать самый верный и приятный суд вкуса. Анна Петровна так пишет письма и по-русски и, hélas![[150]](#footnote-150) по-французски, как немногие у нас пишут. А ее сестрица, у которой я теперь проживаю в деревне и которой всякий день читаю то, что напишется, есть для меня самый лучший судья. Женского вкуса не обманешь. Ее письма еще лучше, я всегда читаю их как какое-нибудь лакомство. Чище, живее, быстрее слога быть не может. Итак, прошу с ними быть подружнее. Тебе это знакомство должно быть приятно и потому, что я, твой брат по Аполлону, вылез из одной с ними колыбели.

Прости. Отвечай на это письмо скорее. Партизана-поэта15 обнимаю побратски. Вере Федоровне мой дружеский поклон.

Твой *Жуковский*

**185.**

**А. П. Киреевской (Елагиной)**

*<25—28 ноября 1814 г. Чернь>*

*Здравствуйте*, милая. Вы не ошиблись; подставы не было, и я должен был простоять часа полтора в Пальне, беседуя с различными прохожими и хозяйками. Однако не опоздал, приехал засветло. Здесь всё нездорово — кашляют дети; кашляет Анна Ивановна1 и лежит. Смотрите, чтоб у Вас ни под каким видом того же не было. Но посудите же, как можно жить на свете. Плещеев давно

отправил по почте мне две музыки на русского пленника2 и NB прекрасны обе и еще списанные все мои и его романсы3 для отсылки к Вяземскому, и всё это гниет на почте. Или Федор Ал<ександрович>4 всё зажилил, или наши молодцы, ходя на почту, ничего не берут, или, чего Боже упаси, всё теряют. Пошлите, прошу Вас, на почту к самому Федору Алекс<андровичу> и вытребуйте у него всё наше. Что же мое, то перешлите по первой почте. Польские и экоссезы5 Вам списываются самим Плещеевым. Сейчас сшил для них я тетрадь. Праздник будет списан6. Доктору отдал почтение, немножко поизмятое от дороги7, и прочие конфекты. Послание8 хочу послать к Тургеневу не переписанное, чтобы он сам переписал, как рассудит, и мое письмо, за которое ныне примусь. Вы же, милая, всё перепишите. Хочется мне к Вам воротиться первого числа; но едва ли ворочусь. Как бы то ни было, в понедельник буду к Вам писать. Чур же быть здоровыми. Детенок целую. Когда увидите Е<лену> И<вановну>, то ей дружеский поклон и чтобы потрудилась передать мое почтение милой, доброй и *доброжелательной* М<арье> Алекс<еевне>9. Наталия10, здравствуй. Возвращаю дрожки. Их подобает починить. Я уже об этом рекомендовал Василию вознице, и Вы прикажите от себя.

**186.**

**П. А. Вяземскому**

*<Конец ноября (?) 1814 г. Чернь>\**

Прелестно! восхитительно! эти слова сами собою просятся на язык, когда читаешь твои стихи. Твой Пленник пленителен1. Живопись, гармония, новость и точность выражений — всё тут. А послание к Давыдову2, если можно, еще лучше. В этом роде у нас ничего нет, и никто в этом роде далеко с тобою сравниться не может. Этот проклятый усач тебя воспламенил своею скомканною рожицею, из которой так и пышет поэзия. Как прочтешь ваши стихи, то желал бы одним скачком перепрыгнуть в Москву. Но терпение! Буду к вам непременно. Поцелуй за меня смуглого Партизана-пьяницу-поэта3. Сердце прыгает, как подумаю, что мы родились в одно время, будем писать в одно время, будем рука в руку, с дружбою, с Музами идти к одному. Любо! Вяземский, не спи ночи и пиши. Твой талант будет славою России. Плюнь на всё и пиши! Я теперь как на треножнике Пифия, впереди вижу славу — а подле себя славных друзей!

NB. Согласен с Вяземским, последние четыре стиха лучше выбросить — всё прочее прекрасно!4 Кроме некоторых пятнышек, но прикоснуться к ним боюсь,

чтобы не вышло басни «Медведь и Пустынник»5. *Смотри Басни Ивана Крылова*.

**187.**

**А. И. Тургеневу**

*1 декабря <1814 г. Чернь>*

1 декабря

Ты ждешь от меня плана моего «Послания к государю», а я посылаю тебе его совсем написанное. Первое условие: прочитать вместе с Батюшковым1, с Блудовым, с Уваровым2 и, если он состоит налицо, с Дашковым. Что найдете необходимым поправить — поправляйте; на меня в этом случае уже не надейтесь. Лучше написать новое, нежели поправлять. Пока пишу, по тех пор мараю, сколько душе угодно, и *могу* марать; написал — всему конец! Если вздумается поправить, то для одной только порчи. Сюжет мой так велик, что мне надобно было держать себя в узде, чтобы не слишком расплодиться и излишним богат-

ством отдельных частей не ухлопать целого. Не знаю, удалось ли. Мне нравится, другим нравится; но надобно, чтобы вам, священный мой ареопаг3, против которого нет апелляций, понравилось! Если скажете: хорошо! то мое место в храме бессмертия свято! Скажите же, ради Бога: хорошо! но только не для того, чтобы меня по губам помазать, а положив руку на сердце, как друзья, как мои заботливые квартирьеры на походе к славе. Судьбу этого «Послания» предаю в руце тебе, Тургенев. Ты должен его переписать и доставить к государыне императрице4, и, если можно, скорее. Прошу цензуровать со всевозможною строгостью приложенное письмо5, переписать его, подписать за меня и подать. Признаюсь, я боюсь, чтобы не вздумалось меня за это Послание подарить чем-нибудь. Старайся, чтобы этого не было! Пошлины с любви и с выражения любви к нашему славному царю сбирать не дóлжно! Я многое писал с восхищением, и за это счастливое чувство нечем наградить. Я так этого боюсь, что даже намекнул об этом и в своем посвящении — но прилично ли? Суди сам, и сделай, как посудишь. Издание поручаю тебе. Надобно, чтобы формат был такой, чтобы не нужно было *ломать строк*: ломаные строки гадки и слишком пестры6. Прошу,

чтобы этого никак не было. Если можно, уговорить бы друга Михаила Дмитриевича7 позаботиться о корректуре: никто не может иметь такой точности, как он. Попроси его об этом от меня. Не худо бы было и виньетку; об этом лучше всего попросить Свиньина: для старого сотоварища он не поленится черкнуть раза три своею волшебною кистью8. Вот, кажется, всё, что касается до Послания.

Прошедшие октябрь и ноябрь были весьма плодородны. Я написал пропасть стихов; написал их столько, сколько силы стихотворные могут вынести. Всегда так писать невозможно! Ухлопаешь себя по-пустому. А почти так всегда писать можно и дóлжно! Жизнь мне изменяет; уцепился за бессмертие! Я об нем думаю, как о любовнице; быть стихотворцем во всем смысле этого слова — прекрасная мысль! Может быть, и гордая мысль! Но разве надобно иметь перед собою цель низкую? Писать так, чтобы говорить сердцу и возвышать его! А между тем, пока живешь, жить, думать, чувствовать и пр., как пишешь! Сверх того, иметь друзей — друзей твоей славы, друзей твоих чувств и мыслей, и с ними

еще *кого-нибудь*9… Жаль, что тебя нет в эту минуту подле меня! Как бы было весело пожать тебе руку! И всякий раз сердце сожмется, когда вспомнишь, что лучшего нашего товарища во всем прекрасном нет и никогда не будет!10

Что бы тебе сказать одним словом о всех моих поделках, кроме этого Послания? Переведены четыре баллады, да две сочинены11, да еще три послания к Вяземскому12, не считая всякого рода мелкой дряни, и годной, и негодной. Всё это доставлено будет к тебе вместе с прочим, переписанное и совсем готовое для печати. Как печатать, об этом дано будет письменное подробное настав-

ление. Поправок от меня не требовать. Дается вам право выбрасывать всё, что найдете негодным. Корректуру же надобно непременно поручить Михаилу Дмитриевичу. Если он за нее не возьмется, то хоть бы и не печатать. Как думаешь лучше выдавать? На подписку или так? Подписка, вероятно, была бы весьма благодетельна для моего кармана, который пуст, да и пуст так, что уже ничто с его пустотою сравняться не может. Но об этом после. Вероятно, мой манускрипт будет у тебя в руках через месяц. Вы между тем подумаете вместе о моих финансах. Перепишется скоро. За это взялся наш приятель Губарев, которого рукою переписано и «Послание к Царю». À propos[[151]](#footnote-151), придумайте вместе и титул, если тот, который дан мною ему, вам не понравится. А я теперь принимаюсь за новый подвиг. Певец во стане, предсказавший победы, должен их воспеть; и где же лучше, как не на Кремлевских развалинах, посреди народа, пришедшего благодарить Творца победы, на то же самое место, где он в первый раз грянул на наших новых ордынцев13. Итак, жди нового Певца; место — Кремль; слушатели — граждане Москвы; время — день Рождества Христова, день, посвященный торжеству победы единственной.

Жди, молчи и верь. План сделан; начало сделано, всё скоро поспеет. Не знаю только, будет ли в твоих руках к 25. А хорошо бы! Пришлю с эстафетою. Только, ради Бога, не разглашай. Это будет убийством.

Очень желаю, чтобы мое Послание вам понравилось. Новые баллады, кажется, не хуже первых, и две только в *страшном роде*14. Чтобы был полный комплект, осталось написать еще одну, необходимую, продолжение «12 спящих дев»15; она уже и начата. Только теперь надобно заняться одним Певцом. Есть и

еще несколько планов. Всё это должно поспеть в декабре.

Вероятно, что в конце декабря я приближусь к тебе на несколько сот верст. Вместе *с ними* еду в Дерпт. О Воейкове переговорим, когда увидимся. От дерптской жизни не жду ни счастья, ни покоя. Надобно иметь подле себя другие характеры, чтобы иметь и то и другое. Но всё заменится милым *вместе*. Так и быть! Но знаешь ли, что в голове моей бродит новая химера? Что-то похожее на надежду. Вот что я здесь слышал. Государыня М<ария> Фед<оровна> знает *обо*

*всём*, но, кажется, знает не так, как должно. Она думает, что М<аша>16 моя сестра. Если она бы знала настоящее положение вещей, то, вероятно, так же как и я, и ты, считала бы возможным *всё*. Это одна только тень надежды. Подумай сам и сообщи мне свои мысли; тогда поговорим обо всем пространнее. Ты занимаешь такое место, которое дает тебе доступ к ушесам священных наших законодателей церкви17. Эти две силы, Трон и Синод, могли бы победить предрассудок. Подумай и напиши ко мне. А я тебе доставлю все нужные подробности. Чтобы заставить тебя действовать, не нужно, кажется, представлять твоему воображению то счастье, каким бы твой товарищ наслаждался в жизни. Другого нет! А в этом счастье всё — поэзия, слава, жизнь. На Воейкова полагаться нечего: он не имеет характера. Я очень хорошо могу жить *с ним вместе*, но ждать от него нечего. Это между нами.

Вот тебе еще просьба. Если можно, исполни ее. Мне очень было бы весело сделать пособие этой доброй женщине, которая была дружна с моею матерью18. Из приложенной записки узнаешь, об чем дело. Тут же и записка о ее сыне, об котором я просил тебя уже несколько раз. Будучи членом Патриотического общества19, тебе, вероятно, будет легко что-нибудь выхлопотать на ее просьбу.

Постарайся.

Греческих книг ожидаю, и давно ожидаю20. Хорошо бы ты сделал, когда бы выпросил у Сергея Семеновича обещанные им мне английские книги; и еще попросил бы у него (если есть у него) «Thalaba the Destroyer»[[152]](#footnote-152) by Southey21 и «Arthur, or the Northern Enchantement»[[153]](#footnote-153) by Hoole22. Всё это могло бы мне пригодиться для моего «Владимира», который крепко гнездится в моей голове. О, если бы милый покой, — как бы всё шло прекрасно! Последние дни месяца провел я почти один, и каждая минута была моей; я точно спешил писать, как будто бы кто-нибудь говорил мне, что это последний срок, что в будущем всё пойдет хуже и хуже и что мой стихотворный гений накануне паралича. Дай Бог, чтобы предчувствие обмануло! Теперь, по крайней мере, знаю, что след мой не совсем погибнет! Но такой ли надобно по себе оставить!

Батюшкова обнимаю за его милое письмо23, на которое буду отвечать много на следующей почте. Блудова обнимаю за его молчание — безбожник!

Я просил Кавелина о Гаспари24 и Чайковском25, напомни ему об них и обо мне. Хотя бы он что-нибудь отвечал, дабы я им мог какой-нибудь ответ сделать.

Прости, отвечай скорее.

Боюсь, не наделал ли ты проказ с своим немецким Грекусом?26 Книги греческие, выписываемые мною, не для меня, а для француза, не знающего ни понемецки, ни по-русски. На что они будут годны, если они для русского или для немца?

Вот и подпись, с которой можешь списать, дабы за меня подписаться под письмом к государыне.

Вашего Императорского Величества верноподданный

*Василий Жуковский*

Надобно будет, я думаю, сделать некоторые примечания к «Посланию»27.

Постарайся об этом. Мне некогда — спешу посылать28.

**188.**

**П. А. Вяземскому**

*1 декабря <1814 г. Чернь>\**

1 декабря

Что с тобою сделалось? На пять или на шесть моих писем, и стихотворных, и прозаических, нет ответа. Где твои руки? Где твои перья? Где ты сам? Доходят до меня вести, что ты жив, что ты обо мне говоришь, думаешь и прочее, а ты сам как мертвый! За то, что ты так некстати молчишь, не посылаю тебе новых своих стихов — моего послания к Русскому царю, которое уже полетело в Петербург!1 За то же не посылаю и других моих стихов. Одним словом, сержусь и пылаю! Но чтобы доказать, что я не ты, и что еще верю силе Амфионовой музыки, ворочавшей камни2, посылаю две прекрасные музыки, сочиненные Плещеевым на твоего прекрасного Пленника3. При них 1 тетрадь моих романсов с его ж музыкою, которую поручаю твоей аккуратности или чему хочешь4. Дело состоит в том, чтобы ты со свойственною тебе заботливостью дружбы и прочих твоих добродетелей отдал эту тетрадь выгравировать, поручил корректуру нот какому-нибудь хорошему музыканту и похлопотал, чтоб слова не были изуродованы. Подумай об этом и уведомь Плещеева о успехе твоего думания. Скоро поспеет и другая тетрадь. Формат печати должен быть точно такой, как формат манускрипта. Пишу мало, потому что не хочу писать много, и до получения от тебя следующих мне разнообразных ответных документов ты не увидишь ни одной черты моего пера.

Это письмо придет к тебе или по почте, или будет отдано моим добрым приятелем Губаревым5, которого прошу непременно полюбить, потому что он любезный и умный чудак, с которым тебе будет весело. Если же письмо придет по почте, то всё это вышесказанное прошу покорно приобщить к сердечным проискам особенных помышлений6.

**189.**

**А. П. Киреевской (Елагиной)**

*<1—2 декабря 1814 г. Чернь>*

Послушайте, милая, первое или пятое разницы немного, а оставшись на семейном празднике друзей1, я сделаю друзьям удовольствие — это одно из важных дел *нашей* жизни; итак, прежде пятого не буду в Долбино. Но чтобы пятого ждала меня подстава в Пальне. Смотря по погоде, сани или дрожки. Я здоров и весел. Довольно ли с Вас? Вы будьте здоровы и веселы. Этого и очень довольно для меня. Благодарствуйте за присылку и за письмо. В петербургском пакете письмо от моего Тургенева и письмо от нашего Батюшкова2 — предлинное и премилое, которое будете Вы читать. За послание благодарствую — хотя оно и останется, ибо здесь переписал его Губарев3, и этот список нынче скачет к Тургеневу. Там будет оно уже переписано государственным образом и подложено под стопы монаршие. Прозаическое письмо посылаю Вам. Прошу

оное не потерять!!! Послание было здесь читано в общем собрании и произвело свой эффект или действие. Так же и «Эолова арфа»4, на которую Плещеев пусть разразится прекрасною музыкою, понеже она вступила в закраины его сердца назидательною трогательностью. «Старушки» треть уже положена на нотные завывания и очень преизрядно воспевает ужасные свои дьявольности5.

«Певец» начат, но здесь не Долбино, не мирный уголок, где есть бюро и над бюром милый ангел!6 Об Вас бы говорить теперь не следовало; Вы в своем письме *просите*: чтобы я любил Вас по-прежнему! Такого рода просьбу позволю Вам повторить мне только в желтом доме, там она будет и простительна, и понятна! Но в Долбинском, подле Ваших детей, подле той шифоньеры, где лежат Машины волосы, глядя на четверолиственник, вырезанный на Вашей печати, одним словом, в полном уме и сердце просить таких аккуратностей — можно ли? в последний раз прощаю и говорю: здравствуй, милая сестра!

Наши Московские дуры смешны и милы!7 Буду к ним писать, когда возвращусь в свой уголок, к своему бюру, к своим детям, к своей сестре8. Я и еще раз писал к Тамбовским9 — Вася послал эстафет к Воейкову (по приказанию рассудительного Воейкова), дабы уведомить, что на Болховской *почте нет к нему пакета*10. К затылку этого эстафета я пришпилил мое письмо, не забывши выставить №.

На дворе снег, а мороза всё нет! Была ли когда-нибудь глупее зима?

Не забудьте, что приехавши, нам надобно приняться за план. Набросайте свои идеи, мы их склеим с моими и выйдет фарш дружбы на счастье жизни, известный голод, который удовлетворим хотя общими планами.

À propos[[154]](#footnote-154). Едва ли не грянет на Вас новая туча. Губарев, мой переписчик, вдруг взбеленился ехать в Москву. Отпускать с ним своих творений не хочу. Даю ему переписывать одни баллады. Как быть с остальным? Неужели Вам?11 А совесть!

Милый друг Ваня12, целую тебя, а ты поцелуй за меня сестру и брата. Милый, добрый друг мой. Дай Бог говорить это всегда вместе, и целую жизнь. Разумеется, здесь счастливая жизнь.

Простите. Милой М<арье> Ал<ексеевне> и Е<лене> Ив<ановне> мой самый дружеский поклон. Наталье Андреевне дружески кланяюсь.

**190.**

**П. А. Вяземскому**

*12 декабря <1814 г. Долбино>\**

О каком «Пленнике» дерзну подумать, имея перед глазами ваших двух1. Я сказал только, что по таинственному закону Троицы и мне бы как третьей ипостаси нашего триумвирата дóлжно было написать «Пленника», — но после вас рука не поднимется. Послушай, Вяземский, ты, мне кажется, слишком меня хвалишь и имеешь злое намерение раскроить мне кадильницею лоб; а о себе уже слишком скромно поговариваешь — что первое искренно, в том уверен (искренно: справедливо ли или нет, о том ни слова!), что последнему и сам не веришь, и в этом я уверен. Нельзя же тебе не знать себе настоящей цены; а предо мною, перед своею совестью, зачем надевать личину!

В самом деле: это выражение прекрасное! Совесть! Считай меня своею совестью, а я буду почитать тебя *своею* — чур только не обманывать! С таким уговором можно будет спать спокойно.

В твоем послании к Давыдову я не понял одного места от ошибки в переписке — теперь понимаю и винюсь2. Оно прелестное. Только своего экземпляра я не намерен отсылать к Измайлову3. У тебя, верно, есть список — ты и пошли.

Вот поправка начала моего к *вам* послания4, и, по обыкновению, весьма худая! Так и быть: даю тебе полное право переменять, что хочешь и как хочешь.

Друзья, тот стихотворец — горе, В ком без похвал восторга нет!

Хотеть, чтоб нас хвалил *весь свет*, Не то же ли, что *выпить море* и пр.

Только напрасно считаешь мое выражение обидным для Пушкина; я браню не талант его, а одно только желание нравиться всем и каждому. Тут нет оскорбления! Впрочем, будь твоя воля. Если он оскорбился, то оправдай меня перед ним и скажи ему, что погрешило перед ним одно только *мое выражение*, худо

объяснившее мою мысль.

Посылаю кипу баллад и послание к Царю5. Их получишь от Юшковых6. «Ахилл» и «Эолова арфа» *мои* дети. Прочие приемыши. Перевод «Alix et Alexis»7 есть tour de force[[155]](#footnote-155), но боюсь, чтобы не показался он тебе tour de faiblesse[[156]](#footnote-156). Некоторые стихи надобно бы было еще погладить — но по сю пору еще не придумал ничего.

Романсов не отправляй в Петербург, а уведомь прежде8. Там у Плещеева есть свои знакомые. Напиши к нему непременно и скорее. Объяснением на *мой запрос* ты меня успокоил. Я и не думал думать, чтобы ты после данного мне слова показал Северину письмо, а вообразил, что это случилось прежде. Тем лучше, что не случилось. А *болтушку* оставь в покое. Лучше не заводить шума9.

Ни баллад, ни послания никому не давай списывать. Они останутся для Полного собрания моих творений. Принимаюсь за новое. Пришлю, когда кончу, а прежде не скажу, о чем идет дело, чтобы не напоминать о синице, которая хотела зажигать море10.

Давыдов — генерал!11 Ура! Поздравь его, обними и выпей за меня в честь ему полный стакан целебного аи.

*Жуковский*

Декабря 12

Денежный ответ на мое послание ты должен непременно сделать — и уведомить меня поскорее12. Еще одна просьба: поищи в русских лавках греческую грамматику на греческом и латинском Каменского13 и доставь поскорее; этим меня чрезвычайно обяжешь. Пожалуйста, не забудь.

Бумагу получил; благодарю — но теперь не нужно; мое послание полетело в Питер14, там его перепишут; а Батюшкову поручено и поправить. Я тебе много должен, а ты и не подумаешь уведомить, *сколько*.

**191.**

**Н. И. Гнедичу**

*<Вторая половина декабря (не ранее 12-го числа) 1814 г. Долбино>*

Письмо Ваше слишком уже для меня лестно, почтеннейший Николай Иванович. Но для меня весело благодарить Вас за то дружеское чувство, которое внушило Вам те похвалы, которыми Вы меня осыпаете. Это уже не самолюбие. Я помню всегда те немногие минуты, которые мне было так приятно провести с

Вами в Вашу бытность в Москве. По Вашему письму ко мне сужу, что и Вам они памятны. Давайте же руку, любезный родня по Парнасу. У нас одинакая цель — прекрасное! Итак, надобно, чтобы мы были добрыми товарищами по дороге к этой цели! Начнем с того, чтобы любить друг друга, следовательно радоваться взаимными успехами и помогать друг другу в их приобретении. Вы выбрали

себе славную работу: Россия будет Вам благодарна за старика Гомера, которого Вы ей усыновляете; я радуюсь, между прочим, и старому гекзаметру1, который вопреки нашим почетным любимцам Феба ближе к гармонии вдохновленных лир, чем сухой и прозаический ямб, освященный привычкою. Я сам осмелился

сделать опыт перевода гекзаметром «Аббадоны» — известный Вам эпизод из Клопштоковой «Мессиады»2. На следующей почте пошлю этот отрывок к Сергею Семеновичу3. А Вас прошу сделать замечания. Так как и всегда, прошу не отказывать мне в своих *братских* советах. Нигде так братство не нужно, как на Парнасе. Ни от кого так одобрение не приятно, как от товарищей. Обнимаю Вас, повторя то же, что сказал Вам за несколько лет на Пречистенке4, в своей комнатке, что желаю искренно Вашей дружбы.

Вам преданный с совершенным почтением

*Жуковский*

**192.**

**М. А. Протасовой и А. А. Воейковой**

*<Октябрь—декабрь 1814 г. Долбино>*

Я сейчас от Авдотьи Никол<аевны>, милый друг Marie, читал вашу записочку и благодарю Бога от всего сердца за то, что вы здоровы. Грустно ли мне об вас или нет, об этом ни слова. Желал бы вымарать из лексикона и из жизни слово *разлука*. По крайней мере, в ту минуту, когда теряешь человека из виду, как будто еще усиливается в душе желание, чтобы он был еще счастливее, хотя бы то было на счет собственного своего счастья; желаешь собрать все возможные *радости* и все *свои радости*, чтобы отправить их за ними вслед. По крайней мере, это мое теперешнее чувство: с самой минуты моей с вами разлуки одна только мысль в голове моей; чтобы вы были счастливы, счастливы, счастливы; и эта мысль будет главною моею мыслью до конца моей жизни. Прости, мой милый друг, Marie. Если будет время, вспомни иногда обо мне, — виноват; по-

следнее выражение никуда не годится.

А ты, мой несравненный цвет! Ленивица бесценна;

Отец твой крестный и поэт Из края отдаленна,

Тебе желая многих лет, Взывает умиленно,

Пиши к нему, не поленись,

Хоть прозой, хоть стихами — И с ним, хоть издали, делись И смехом, и слезами;

Он примет в сердце всё от вас1;

эти стихи могут быть началом послания, которого ожидать прошу с терпением. А теперь прости, мой милый друг, и помни обо мне.

# 1815

**193.**

**А. И. Тургеневу**

*<5 января 1815 г. Долбино>*

Приложенное письмо отдай Уварову. Писать некогда. Опоздал оттого, что вздумал вам отвечать стихами. Прошу их не критиковать, потому что они написаны нынче поутру, как письмо на почту. Они принадлежат Ареопагу1. К тебе, Блудову и Батюшкову буду писать особенно. Письма ваши все получил. Они придали мне жизни2. Славно иметь таких товарищей.

*Жуковский*

**194.**

**С. С. Уварову**

*<Начало января (около 5-го) 1815 г. Долбино>*

Я получил Ваше ободрительное, дружеское письмо1, на которое ответ, в трех словах, чтобы поблагодарить Вас от всего сердца. Весело быть стихотворцем, имея таких друзей, как Уваров, Тургенев, Блудов и Батюшков. Их критика наслаждение, а выше их одобрения ничего быть не может. Пишу к Вам оттого так мало, что меня бес попутал писать ответ на замечания Батюшкова стихами2. Как ни будь стихи-проза, всё надобно более над ними возиться, и я боюсь опоздать на почту и, вероятно, опоздал. Для Вас именно перевел я недавно большой отрывок из «Мессиады», эпизод Аббадоны3, гекзаметром. Стихи помешали мне по сю пору его Вам доставить, но я не замедлю; хочется еще что-нибудь сказать в прозе защитнику древних4. Чем более знакомлюсь с нашим языком, тем более удивляюсь этому Протею. Но простите. Почта не терпит. Поверьте, что я за счастье почитаю право считать Вас в числе моих друзей; если только не слишком рано называю это *своим* правом. Что Вы на это скажете?

Ваш *Жуковский*

**195.**

**А. И. Тургеневу**

*25 января <1815 г. Москва>*

25 января

Мой милый друг, я не скоро отвечаю тебе на твое последнее письмо, в котором описываешь чтение моего Послания1. Причина тому та, что я получил его, садясь в кибитку и на отъезде в Москву. Теперь пишу из священной нашей столицы, покрытой прахом славы, в которую въехал я с гордостью русского и с каким-то особенным чувством, мне одному принадлежащим, как певцу

ее величия. Благодарю тебя. После последнего твоего письма еще не имею ни строки, а ожидаю. Здесь пробуду еще две недели, а много-много три; потом в Дерпт, но в Дерпт через Петербург. Воейков и его семья едут прежде и, может быть, заедут в Петербург. Если заедут, то ты их увидишь и увидишь мое *всё*. Теперь я не могу тебе писать много; не могу писать ни к Блудову, ни к Уварову, ни к Гнедичу — нет возможности. До следующей почты. Жду рескрипта2 и счастлив тем, что мое Послание, плод искренней любви к нашему доброму царю, не лести, не корысти, не честолюбия, понравилось его матери. Более ничего не желаю, и ты сам знаешь лучше меня, что должен меня избавить от всякой *другой* награды, которая была бы унижением того чувства, с каким писано мое Послание. Ни о чем так тебя не прошу, как об этом. Для меня сладко было воображать тебя, моего брата, читающего мое Послание. Что вы придумали с Уваровым? Никак не могу угадать, но верю, что вами придуманное лучше всего, что бы я сам на вашем месте мог бы придумать3. Карамзин и Дмитриев здесь многое в Послании критикуют, и в некотором я с ними согласен, в ином упрямлюсь. Проездом в Дерпт заверну в Петербург, и нельзя иначе. Но без всяких видов, а единственно только для того, чтобы увидеть *своих* и изъявить благодарность государыне.

В иных отношениях я счастлив: имею таких друзей, каких никто не имеет, а любят они более, нежели стою. Скажи Блудову и Батюшкову, что люблю их более, нежели когда-нибудь, и что не лень, точно не лень, а множество разных причин посторонних воспрепятствовало мне до сих пор отвечать. Жду этой

*свободной* минуты, как наслаждения или, лучше сказать, как награды.

Еще раз: я здесь пробуду до 6—10 февраля. Потом, может быть, и в Питер. Итак, по получении этого письма, не пиши ни ты, ни Батюшков ко мне. Блудову не даю этого совета: он и без того ко мне писать не будет; но он у меня в душе — добрый, верный товарищ на всю жизнь. Право, не могу об вас думать, друзья, без благодарности к Провидению. О себе буду писать на просторе. Теперь некогда. Вы должны уже были получить мои поправки4. Хорошо бы вы сделали, когда бы поправили и мое посвящение государыне5; оно длинно, многословно и слишком фамильярно; особливо не следовало бы говорить о подарке. Это значит об нем

напоминать; а я подарка боюсь как огня. Твое дело меня избавить от него. Стих:

Спешащих раздробить еще приют свободы

поправить бы так:

Спешащих истребить еще приют свободы;

а стих:

О, сколь тогда велик, наш Царь, ты нам предстал

переменить так:

Сколь нам величествен, ты, Царь, тогда предстал6.

Прости, до следующей почты. Я приготовил для тебя весь список моих сочинений, полный и сколько можно, исправленный. Пришлю или привезу с собою. Твой *Жуковский*

**196.**

**А. И. Тургеневу**

*1 февраля 1815 г. <Москва>*

1815. Февраля 1е

Ответ на *все* твои письма. Наконец имею свободную минуту и могу с тобою говорить на просторе. За твои хлопоты о моем Послании не нужно мне, кажется, благодарить. Чувствую по себе, как тебе это весело. И ничто меня так не радует, как то, что ты был *чтецом* моего Послания1. Слава, доброе дело, а слава из рук друга есть сокровище. Эта слава есть счастье, и в ней, право, самолюбие мало участвует. Она напоминает о любви, о товариществе и приобретается лучшими наслаждениями, то есть уединенным трудом, который успокоивает и возвышает душу. Такая слава есть награда всего *доброго*. А я себе часто говорю (не знаю, буду ли в состоянии исполнить): живи, как пишешь! То есть и в том, и другом одинакая цель и одинакое совершенство. Чтобы *человек моральный* не был несходен *с человеком с талантом*. Самые замечаемые мною ошибки и замечаемые другими ошибки в том, что я написал, только пробуждают во мне надежду написать что-нибудь лучшее, а нимало не отымают у меня бодрости. Думая о тех немногих людях, которые меня любят и мною радуются, я сам радуюсь, что имею талант, и мысль об них ободряет меня. Если вы не даете мне

счастья вашею дружбою, то часто, часто заставляете забывать тяжелое горе, тем более тяжелое, что оно скрытное и нередко бывает самое унизительное. Мне часто бывает нужна помощь извне и от руки милой, чтобы о себе вспомнить и не совсем упасть духом. Ты спрашиваешь у меня в одном письме, что причиною возобновившейся во мне надежды? Брат, я говорил не об надежде. Впереди не вижу для себя ничего доброго. То, что мне нужно, едва ли когда сбудется. Жаль,

что мы не вместе: на письме всего не скажешь, а сказать бы *всё* надобно. Прошедший год был для меня весьма бурный. Ты уже знаешь, что я писал к Арбеневой, вообразив, что она, имея влияние на образ мыслей матери, может склонить ее на мою сторону. В этом я ошибся. Она сперва воспламенилась было весьма сильно. Потом монах всё расстроил, испугал ее Богом и чертом, и она написала к матери *против меня*2. Это произвело между нею и мною объяснение, и мы было расстались. Воейков вошел в семью, а я из нее вышел. Я писал к матери3 несколько раз и наконец требовал, чтобы, если уже не может всего сделать, по крайней мере сделала бы всё, что в ее власти, что я отказываюсь от всякого требования, несогласного с ее образом мыслей, с тем только, чтобы мы были вместе4, чтобы я пользовался полною доверенностью, мог быть счастлив

*в семье*, не был розно с *нею*, напротив, имел бы всю возможную с нею свободу, не был принужден ничего таить, тем более что ей (то есть матери) известно всё, и что большего, при полной доверенности, она бояться не может. Это обещание, как ни трудно, я мог бы исполнить. Я люблю Машу (с тобою можно дать

ей это имя), как жизнь. Видеть ее и делить ее спокойное счастье есть для меня всё, и для нее также. Но характер матери не таков. Она не может возвыситься до этой чистой, благородной доверенности, на которую и я, и Маша имели бы полное право, если бы только не принуждены были беспрестанно скрывать того,

что у нас в душе. Одним словом, мать согласилась, чтобы мы опять были вместе; но тех условий, на которых это *вместе* было бы для нас счастьем, она не держит и едва ли способна сдержать. Брат, мы живем *вместе*, а между нами бездна недоверчивости. Христианство (по ее словам) заставляет ее отказать нам в нашем счастье; а того, что составляет характер христианки, она не имеет, той любви, которая заботится о чужой судьбе, как о собственной. Каждая минута напоминает мне только о том, чего я лишен, и нет никакого вознаграждения. На нашу потерю смотрит она холодными глазами эгоизма. Нет никакой отрады. Мы не можем подойти друг к другу свободно. Это положение ужасно, а вый ти из него нет силы. Боже мой! Я не могу хотеть и искать своего отдельного счастья. С вами, с друзьями сердца, с верными товарищами жизни, я был бы счастлив: то есть и уважал, и делился бы всем, что есть хорошего в душе, без всякого принуждения; не было бы ужасной, противной сердцу необходимости носить на лице маску, — словом, я был бы с вами *я*; но я не могу и не хочу на это решиться. Лучше страдать и погибнуть вместе, нежели искать своего счастья. И может ли быть для меня *свое* счастье? Я бы себя возненавидел и рад бы разбить себе голову первою пулею, если бы мог быть на это способен. Теперь вопрос: что же будет с нами, с нею и со мною? Дойти ко гробу дорогою печали. Более ничего! Сердце рвется, когда воображу, какого счастья меня лишают, и с какою жестокою, нечувствительною холодностью. Хотя бы показали, что им жаль разрушать это счастье! Но его топчут ногами и смеются, и еще думают, что угождают Богу! В иные минуты мне жаль своих старых *надежд на смерть*. Я об ней думал с наслаждением; теперь и того себе не позволяю. Это была бы неблагодарность за любовь, которую ангел ко мне имеет. Эта любовь самая чистая, без всякой примеси низкого; ее никто понять не может, а она была бы счастьем, когда бы эгоизм не отравлял ее ежеминутными оскорблениями. Об Воейкове я писал к тебе в дурную минуту. Не имей об нем дурных мыслей. Он любит меня, и я этому верю, и мне нужно верить — мы будем жить вместе. А думать одно и показывать в поступках другое не могу; следовательно, верю ему и хочу верить.

Он мне большая подпора. То, что ты назвал моими новыми надеждами, состояло в том, что мать опять позволила мне жить вместе и что я вообразил, что она будет поступать с нами так, как я этого желал. Первые дни были довольно хороши, и я надеялся, что в будущем еще лучшее мне готовится. После этих дней *все* они уехали в Тамбов, а я остался в Белеве и прожил почти один — с милыми немногими людьми, с которыми душа свободна и которые во всем *моем* берут участие. Эти два месяца были самые спокойные. Их оживляла надежда на лучшее, и я написал много, столько, сколько не писал никогда5. Они возвратились, и принужденность опять возвратилась. И теперь едва ли я не уверен, что старое (то есть унижение, одинокая горесть, принужденность быть вместе и всякую минуту чувствовать, что мы розно, и еще тысяча подобных тяжелых горестей), словом, ужасное *старое* будет *по-старому*. Вот с какими надеждами еду в Дерпт, и там уже точно не будет ни в чем отрады, кроме одной мысли, что я с нею, что нам одна судьба и что я должен и могу эту судьбу считать как за испытание, как за средство быть лучшим. Такая мысль в иные минуты ободряет. Но часто душа разорвана в клочки. И рвут ее с такою холодностью, которая меня иногда выводит из себя. Всё, что я здесь написал, не даст тебе полного понятия об моем положении; но что-нибудь ты понять можешь. По крайней мере, можешь понять, что я несчастлив, и самым убийственным образом. То, что мне дает тень надежды, кажется мне самому химерою сумасшедшего. Мне кажется иногда, что государыня, которая уже что-то обо мне знает, могла бы дать нам счастье. Но вероятно ли, чтобы так могла она заняться моею судьбою? А здесь нужна осторожность. Матери самой уже известно, что государыня знает обо мне. Она сочтет за особенное для себя достоинство отказать и государю на его требование, если бы и

он вступился. Но и мне как желать принужденного согласия? Я знаю характер Маши. Она была бы несчастлива. Что же за польза из одной бездны перевести ее в другую и еще быть самому причиною ее страдания?6

Надобно бы действовать на мнение матери: опровержение предрассудка, приходящее с трона, было бы весьма убедительно. Если бы подкрепить его мнением какого-нибудь из наших святителей и архипастырей и прочее и прочее, тогда бы нечего было говорить, и совесть бы замолчала. Вот в чем дело. Я ей брат, то есть брат матери; но закон не дал мне этого имени. Закон письменнный противится бракам между родными; но родства в натуре нет. Та же религия представляет этому примеры: Авраам женат был на родной сестре, а он предок Мессии, следовательно его брак *по натуре* не есть преступление. *Натура и Бог не противятся этому браку*; противится ему один закон человеческий; но, чтобы закон человеч<еский> ему противился, надобно, чтобы закон его и определил. Закон не назвал меня ее братом, следовательно подхожу под один закон натуры; а он не против меня. Лютеранская же религия и римско-католическая разрешают браки и между родными, наименованными самим законом общественным. Вот тебе канва моих мыслей об этом предмете. Если бы могли это растолковать матери с трона, если бы это было подтверждено каким-нибудь голосом, идущим из-под рясы, тогда бы она могла и сама согласиться, тем более что она не имеет никаких ясных и определенных понятий, а действует по какому-то жестокому побуждению фанатизма. Вообрази, брат, как бы я был счастлив; подумай о всей будущей жизни моей. Подумай, что для меня уже теперь ничто не переменится и что я не могу думать об отдельном своем счастье, которого для меня быть не может, и сделай всё, что можешь.

Как мне жаль, что я в проезде мой в Дерпт с тобою не увижусь. Но буду непременно в Петербурге в марте или в начале апреля. *Все они*7 уехали уже в Дерпт, а я остался еще дней на 10 в Москве. Не заеду в Петербург теперь оттого, что хочу скорее их увидеть и узнать, каково они доехали. Я отпустил их не совсем здоровых. Но в марте буду у тебя непременно. Ты между тем думай обо мне. Если можно, представь мое положение государыне в настоящем его виде. Может быть, дерптская жизнь моя будет лучше, нежели как я себе ее представляю. Но если она будет такова, какою мне видится в иные минуты, то и я, и Маша пропадаем. Прощай тогда и талант, и слава! Хорошо, когда бы можно было сказать, без неблагодарности: прощай и жизнь! Так и быть! Поверяю судьбу свою дружбе.

Пора кончить. Это письмо покажи Блудову. Он имеет на него право. Я еще ему не отвечал на его письмо, право, не от лени. Я благодарю его за это письмо, как за подарок. Оно обрадовало меня и *ободрило* (c’est le mot[[157]](#footnote-157)). Уважение к другу

есть счастье и дает привязанность к жизни. Люблю его более, нежели когда-нибудь, и с каким-то новым чувством. Но об этом скажу ему самому.

При отъезде своем из Москвы пошлю к тебе полное собрание своих стихов, переписанное мною для печати. Но их не начинай печатать до свидания со мною. Многое надобно поправить вместе и вместе распорядить.

Поправки Послания пришлю с следующей почтой. Вы уже получили некоторые. В нем много недостатков, но всего и поправлять не нужно. Лучше написать что-нибудь новое. Тебе я на свой счет не верю: ты слишком уже восхищаешься моим soit disant[[158]](#footnote-158) гением. «Певца»8 я написал почти совсем и дописал бы, когда бы не помешала зубная боль. Но я им не весьма доволен. Кончу, однако; но когда, не знаю. Пришлю его из Дерпта.

Прошу тебя поблагодарить от меня Юрия Александровича9 за его ко мне благосклонность. Буду к нему писать сам, но теперь некогда.

Дашкова обнимаю. Я ему должен письмом.

На это письмо не отвечай мне, пока не получишь от меня письма из Дерпта. Здесь твой ответ меня не застанет, а в Дерпте он не должен меня ждать, потому что без меня могут его прочитать те, которым он не должен быть известен. И вообще, во всех твоих письмах всё, что касается особенно до меня, пиши на особой странице.

Прости. Уведомь, что вы *придумали* с Уваровым10. Если государыне угодно, чтобы Послание было напечатано в мою пользу, то я очень этому рад. Постарайся об моем кармане. Мои все доходы улетели к черту, и я теперь никаких, кроме своих пяти пальцев, не имею в виду. Надежда на издание моих стихов.

**197.**

**А. И. Тургеневу**

*4 февраля <1815 г. Москва>*

Февраля 4го

Вчера еще получил от тебя письмо и читал здесь письмо Офросимова1, который пишет к Юшковым о двухтысячном жалованье, о месте, для меня приготовленном, и прочее. Брат, не забывай, ради Бога, что мне ни место, ни жалованье не могут быть нужны. Мое место знаешь где, и всё возможное счастье там же2. Я желал бы, чтобы ты об этом помнил и с этим соображал всё то, что вздумаешь для меня сделать. На прошедшей почте я писал к тебе, и довольно много, но не знаю, объяснил ли хорошо свои мысли. Здесь прибавляю только одно: если государыня и захочет что-нибудь для меня сделать, то всё будет бесполезно, если употребит только одно средство власти. Может быть, и послушаются приказания; но к чему это послужит? Только к разрушению семейного покоя. Если бы могло быть написано к матери такое письмо, в котором бы более убеждали, а не приказывали; если бы, например, было в этом письме сказано, что обстоятельства и связи мои *известны*, что по мнению сведущих нет никакого противоречия для заключения брака, что государыня вступается за это по этому убеждению, тогда, верно бы, все концы в воду. Я знаю, что мать

сама устала противоречить и рада будет на чем-нибудь опереться. Может быть, я покажусь тебе смешон и странен с своими надеждами и выдумками. Но ты не требуй от меня благоразумия. Я рад привязаться к тени. Только ты употреби все способы, без рассеяния и, вошедши хорошенько в мое положение,

уверившись раз навсегда, что мне *этого счастья* ничто никогда заменить не может. А ты, кажется, более думаешь о моих чинах и кармане. Правда, карман не лишнее — на нем основана свобода. Об этом поговорим, когда увидимся. Я писал к тебе в последнем письме, что, ехавши в Дерпт, не заеду в Петербург; причина этому та, что я непременно хочу быть спокоен на их счет, узнать, как они доехали на место, увериться, что они здоровы, чтобы после пожить несколько недель в Петербурге с свободным духом. Итак, до марта. Ты в своем письме говорил мне о рескрипте3; но его нет, и я боюсь, чтобы он не приехал сюда в мое отсутствие и чтобы мы с ним не разъехались. Ты велишь мне писать к в<еликим> князьям, а что и об чем, не сказываешь4. И с какой стати мне писать к ним?

Стихи мои все сполна получишь скоро. А о печатании переговорим изустно.

Прошу моих писем не показывать никому. Приложенное письмо отдай Гнедичу5.

Всё, что я тебе писал и в теперешнем, и в последнем моем письме, кажется мне горячкою. Я сам не знаю иногда, что делать и что думать. По крайней мере, эти письма пусть дадут тебе понятие о моем состоянии. Но ты по ним ничего не делай и никому не показывай. Дай нам увидеться, тогда обо всём можно будет переговорить на просторе. Одним словом, не приступай ни к чему; *знай про себя*. Увидим.

**198.**

**Д. Н. Блудову**

*<Февраль (?) 1815 г. Москва>*

Voila ma profession de foi[[159]](#footnote-159). Сделав ее перед своею совестью, надобно сделать и перед другими моими совестями, то есть перед друзьями. И так как из этих других совестей один только ты, объевшись яиц, вздумал укорять и бунтовать мою душу, то к тебе и надобно адресовться с исповедью. Твои гнилые яйца едва было не лишили Строганова четырех стихов в «Певце» и бессмертия в будущем1. Я оставляю всё как есть, и вот почему. Надобно было выбрать одно из трех: или 1-е, выбросить все прибавочные строфы, или 2-е, выбросить только

четыре стиха о Строганове, или 3-е, всё оставить как есть.

*Выбросить все строфы*. Не дóлжно, потому что они уже написаны и всем известны. Уничтожить их — значит самым грубым образом оскорбить тех, которых имена в них поставлены, которые более или менее стоят этой чести.

Если некоторые заслуживают ее менее тех, о которых умолчено, то уже наверное ни один не заслуживает оскорбления. Все дрались, все были храбры — война была великая; каждое имя русского воина, чем-нибудь в ней отличивше-

еся, свято, и оскорбление не должно к нему прикасаться.

Итак, всего вымарывать невозможно.

*Выбросить одни стихи о Строганове*. Об этом и думать нечего.

Итак, *оставить всё как есть*. И справедливо, и *дóлжно*, потому что нельзя отказываться от написанных. Еще же дает мне это право и то, что об Строга-

нове было и прежде в прибавочных строфах. Вот как было прежде:

Хвала наш Строганов герой, Средь битвы ратник смелый.

Потом стояло:

И Остерман, гроза врагов, К победе вождь надежный.

А в последней строфе стояло:

Хвала наш Докторов! Хвала Наш Иловайский ярый!

Потом поправлено: вместо *Строганова* поставлен *Остерман* (ибо стихи ему приличнее); вместо *Остермана* *Докторов*. А с стихами:

Хвала наш Строганов! Хвала Наш Иловайский ярый!

я не умел никак ужиться; хотел выбросить всю строфу, но в ней стоял уже *Пален*, и стихи об нем хороши; наконец поправлено так, как есть теперь. Это всё должно служить тебе, моя сердитая совесть-яичница, доказательством a posteriori[[160]](#footnote-160), что я написал стихи о Строганове (то есть внес его имя в «Певца») еще в начале 1814 года, а не после личного с ним знакомства и скучного у него обеда. A priori[[161]](#footnote-161) же ты и сам себе это доказал без моей помощи. Итак, стихов о Строганове выбрасывать нельзя и не дóлжно. Дела нет до того, что души, таящиеся в пыли,

скажут о поэте. Строганов достоин хвалы менее Дибича, Сабанеева и Ламберта и всех прочих; но об нем *было написано*; но он дрался; но он также принадлежит по храбрости и по имени к 1812 году. Поставить его имя в стихи из уважения к этой храбрости (без всяких личных видов), потом выбрасывать это имя из уважения к толкам людей, могущих сказать, что я хвалю его за данный мне кусо-

чек бифстекса, — будет мерзко! Если бы надобно было писать «Певца» *теперь*, то, вероятно, явились бы в нем имена, выбранные с большею строгостью; но он написан — пусть всё, что в нем есть, в нем и останется. Прибавленные строфы дают ему вялость — согласен! И лучше, когда бы их не было! Но они уже есть, и я не имею права уничтожить их. Пусть говорят, что хотят, не знающие меня. Мой ареопаг знает меня и меня не обвинит. Все имена, стоящие в «Певце», внесены в него тогда, когда я был в деревне (и имя Строганова также); личных видов во мне *вам* предполагать невозможно; до *других* же нет дела.

Прошу скушать на здоровье эту яичницу. Молю Господа, чтобы она не испортила твоего нравственного желудка.

**199.**

**А. И. Тургеневу**

*4 марта <1815 г. Москва>*

4 марта. Четверг

Я еду отсюда в воскресенье, то есть 7 числа, и еду прямо в Дерпт, где пробуду сколько возможно менее, потом и в Петербург. Надеюсь быть там на четвертой неделе поста. Посылаю тебе вместо обоза мои стихотворные грехи. Я хотел сначала всё это выдать вместе под одним общим титулом Сочинений, но меня надоумил Антонский1; он советует сделать несколько разных книжек; например, баллады выдать особенно под титулом баллад; послания также особо или при втором издании «Послания к Александру»2, которое надобно еще весьма поправить (что сделаем в Петербурге общими силами); можно еще выдать две книжки: одну под титулом «Песни и романсы» с приобщением и прозаических

отрывков; другую под титулом «Певец на Кремле» (он почти кончен; надобно только поправить) с приобщением других лирических стихотворений и смеси. Таким образом выйдет несколько разных книжек, и титул *Сочинения* останется неприкосновенным и свежим. Этим титулом можно будет украсить полное собрание моих творений, когда их понаберется поболее3. Из всех этих хитростей ты можешь заключить, что я намерен ковать деньги. И скажу тебе за тайну: я приеду в Петербург с пустым карманом и с надеждою (может быть, также пустою) продать свое стряпанье книгопродавцам. Прошу тебя прочистить мне дорогу к их кошелькам. Между тем, если что-нибудь понакопится от моего Послания, то меня об этом уведомишь, дабы я по сему уведомлению мог расположить свои финансы.

Я слышал, что у тебя хранится рескрипт ее величества4. Прошу тебя переслать его тотчас по получении этого письма в Дерпт. Адресуй на имя Воейкова. Только в твоем письме ко мне не говори и не намекай ни о чем таком, что принадлежит до известных тебе обстоятельств: письмо твое, верно, до моего приезда будет распечатано. Но рескрипт присылай: я желаю, чтобы они его там видели.

Офросимов5 мне сказывал, что ты готовишь для меня какие-то места, — видно, ты не читаешь моих писем или совсем не понимаешь, чего я хочу! Но об этом переговорим на свидании. Знаешь ли, что приходит мне в голову?

Нелединский мог бы много быть нам полезен. Расскажи ему *до моего приезда* всё, что делается со мною, но расскажи так, чтобы это осталось между вами. Со-

общи ему мою надежду на государыню, как будто *твою надежду собственную*, и заставь его желать *одного* с нами. Он может лучше, нежели кто-нибудь, всё в надлежащем виде представить государыне. Это единственная нам оставшаяся надежда.

Прости, милый брат.

À propos[[162]](#footnote-162). Я не шутя начинаю думать о поэме6; уже и Карамзин (милый, единственный Карамзин, образец прекраснейшего человека) мне помогает. Я провел несколько сладостных дней, читая его Историю. Он даже позволил мне делать выписки7. Эти выписки послужат мне для сочинения моей поэмы. О, как еще много надобно накопить материалов! Жизнь дерптская, дерптская библиотека, всё это создаст «Владимира».

Приложенные письма отдай по адресам.

В 1 томе много ошибок; я не успел, или, лучше сказать, поленился перечитать. Прошу заметить.

Когда я начал печатать Послание, то меня взяло раздумье, посылать ли к тебе свои стихи или нет? Я решился на нет! Могут как-нибудь затеряться на почте; а у меня совсем нет списка. Я же сам скоро буду. Присылай рескрипт в Дерпт тотчас по получении этого письма.

**200.**

**А. И. Тургеневу**

*10 марта <1815 г.> Крестцы*

Крестцы1. Середа 10 марта

Мне сказывал Яковлев2 в Москве, что у тебя есть благое намерение приехать за мною в Дерпт3. Как бы это было прекрасно! Я буду в Дерпте, вероятно, в субботу. Приезжай, брат. Я имею предчувствие, что твое знакомство с моими послужит нам всем для счастья. 300 верст для дружбы проехать не диво. Пробудем вместе день или два и потом вместе отправимся в Петербург. Если ж нельзя тебе, то напиши, чтобы твое письмо я уже нашел в Дерпте. Пришли мне 25 экземпляров Послания и рескрипт. Всё адресуй на мое имя в доме профессора Воейкова или на его имя для передачи мне. Только смотри, ни слова ни о чем, касающемся до меня. Буду ждать или тебя, или твоего письма и не прежде поеду в Петербург. Приезжай, милый друг.

Твой навеки *Жуковский*

**201.**

**М. А. Протасовой**

*27 марта <1815 г. Дерпт>*

27 марта. Полночь

С этой минуты другая жизнь начнется для меня, милый друг, сестра, ангел, счастье прямое. Я не знаю, как описать то чувство, которое наполнило мне душу, когда мне представилась эта мысль так же ясно, как будто собственное мое счастье. Вспомнилось, что та минута, в которую я решительно от тебя отказываюсь, есть минута счастья, что-то неизъяснимо волшебное! И я готов просить у тебя как милости, чтобы ты со мною согласилась, чтобы ты меня подкрепила своим примером! Ангел мой, вообрази, какое неоцененное благо я получил с этим искренним, совершенным, решительным пожертвованием! Право заботиться о твоем счастье! Его уже у меня отнять не можно! Никому оно не принадлежит так, как мне! Я первый и ближайший твой родной — ты теперь точно моя, все мои мысли, все мои желания могут принадлежать тебе!

Я имею право быть твоим товарищем, твоим защитником! без этого пожертвования я тебе чужой; должен от тебя бегать, как какой преступник, — и только, ради Бога, будь со мною согласна! Я чувствую, что это необходимо для моей

твердости! Не знаю, как пришло это божественное чувство в мою душу; но по сию пору оно в ней твердо! Сохранив его, я в вашей семье займу настоящее свое место. Неужели маменька не даст мне всех прав своего брата1; тогда я ей товарищ, ей верный утешитель, и вы обе мои совершенно! А с этим именем брата какие святые должности для меня открываются! Ангел мой, твое счастье, которое было первою и последнею моею мыслью, будет тогда зависеть и от меня; меня никто не оторвет от участия в твоей судьбе, и ты будешь смотреть на меня как на покровителя. С этой минуты буду смотреть на тебя другими глазами. Чувствую, что ты мне стала дороже. Вчера за ужином я готов был плакать, но мне не горько было на тебя смотреть. Я стал к тебе ближе. Всё твое сделалось теперь моим. Того чувства, которым теперь полно мое сердце, я ни за что не желал бы потерять и благодарю за него Бога. Нет! оно верно не на минуту. Знаю, что мне будет иногда и тяжело и грустно, но знаю, что это чувство во мне останется. Я решился твердо. От вас обеих зависит меня поддержать. Неужели маменька в состоянии мне не поверить? Пускай она назовет меня искренно братом, тогда я ей верный товарищ и верный утешитель в тяжелые минуты. Но пусть же она будет и моим утешителем; пусть даст мне полное участие в судьбе моей Маши.

+ Я готов был прийти в отчаяние, видя, как низко с вами обходятся, видя свое ужасное бессилие вас сколько-нибудь утешить, будучи принужден от вас отказаться и оставить вас на волю человека, который как будто нарочно топчет ногами всё чистое и прекрасное. Друг мой, жертвуя всем собственным, я получаю святое право быть вам товарищем. За это мало жизни. Маша, дай мне руку на всё доброе; дай мне волю думать и всё сделать для твоего счастья и не

откажи мне ни в чем. Я поручаю тебе обо всем сказать маменьке. Отдери это последнее и покажи маменьке записку. +

**202.**

**М. А. Протасовой**

*29—30 марта <1815 г. Дерпт>*

29 марта

Милый друг, надобно сказать тебе что-нибудь в последний раз. У тебя много останется утешения; у тебя есть добрый товарищ: твоя смирная покорность Провидению. Она у тебя не на словах, а в сердце и на деле. Что могу сказать тебе утешительнее того, что скажет тебе лучшая душа, какая только была на свете, твой Фенелон1, которого ты понимать можешь. Я благодарю тебя за то, что ты его мне вчера присылала. Теперь знаю, что у тебя есть неразлучный товарищ, и такой, который всегда умеет дать твердость, надежду и ясность. Я знаю теперь, что каждый день доставит тебе прекрасную минуту. Стоит только вой ти в себя, поговорить с добрым, нельстивым другом, и всё, что вокруг тебя, примет другой вид. Читай же эту книгу беспрестанно. В дополнение к Фенелону пришлю тебе Массильона2. Теперь чтение для тебя не занятие, а жизнь и усовершенствование сердца и мыслей. Пусть это чтение напоминает тебе обо мне, о человеке, который желал быть твоим товарищем во всём добром. Я никогда не забуду, что всем тем счастьем, какое имею в жизни, обязан тебе, что ты мне давала лучшие намерения, что всё лучшее во мне было соединено с привязанностью к тебе, что, наконец, тебе же я был обязан самым прекрасным движением сердца, которое решилось на пожертвование тобою, — опыт самый благодетельный на всю жизнь; он уверяет меня, что лучшие минуты в жизни те, в которые человек забывает себя для добра и забывает не на одну минуту. Сама можешь судить, что в этом воспоминании о тебе заключены будут все мои должности. Пропади оно — я всё потеряю. Я сохраню его, как свою лучшую драгоценность. Я вверяю себя этому воспоминанию и, право, не боюсь будущего. Что может теперь в жизни сделаться ужасного для меня собственно? во всех обстоятельствах я буду стараться быть таким же, каков теперь. Обстоятельства — дело Провидения. Мысли и чувства в этих обстоятельствах — вот всё, что мы можем. И в этом-то постараюсь быть тебя достойным. В прочем останемся беззаботны. Всё в жизни к прекрасному средство!3 Я прошу от тебя только одного: не позволяй тобою жертвовать и заботься о своем счастье. Этим ты мне обязана. Я желал бы, чтобы ты более имела свободы заниматься собственным. Выпроси у маменьки несколько часов в дни для чтения — в этом

чтении прямая твоя жизнь. Но не читай ничего, чтобы было только для пустого развлечения. Малое, но питательное для такого сердца, как твое. Меня утешает теперь мысль, что маменька будет должна теперь к тебе более прежнего привязаться. Против остального терпение и твердость. Мои тетрадки сбереги. В них нечего переменять, кроме разве одного — везде *сестра*4. Помни же своего брата, своего истинного друга. Но помни так, как он того требует, то есть знай, что он, во все минуты жизни, если не живет, то по крайней мере желает жить так, как велит ему его привязанность к тебе, теперь вечная и более нежели когда-нибудь

чистая и сильная.

Об Воейкове скажу только одно слово. Мне ему прощать нечего. Слепому человеку нужно ли прощать его слепоту. Но каким же убеждением можно заставить себя верить, что он зрячий. Человек, который имеет полную власть счастливить тебя и который не только этого не делает, но еще делает противное, может ли носить название человека? Этого простить нельзя. Даже трудно удержаться от ненависти. Я не могу и не хочу притворяться. Между ним и мною нет ничего общего. Я <*две строки зачеркнуты*>5.

Ты мне напомнишь: всё в жизни к великому средство! Дай мне способ сделать ему добро: я его сделаю. Но называть белое черным и черное белым и уважать и показывать уважение к тому, что <*несколько слов зачеркнуто*> в этом нет величия; это притворство перед собою и другими.

В этом письме мне не дóлжно бы было говорить о Воейкове. Но дóлжно было отвечать на твое письмо. Я никак не ожидал, чтобы мое пожертвование было так принято6. Нет! меня хотят лишить всякого счастья! Но ты не бойся! Жизнь моя будет тебя стоить! Выключая наперед из нее минуты уныния и сомнения, всё прочее будет так, как тебе надобно. Тургенев зовет меня к себе, мы будем жить вместе7. У меня есть семья друзей8 и твое уважение. Я богат. Остальное Провидению. Дурного быть не может, если сам не будешь дурен. А у меня

есть верная защита от всего: воспоминание и persévérance![[163]](#footnote-163)Я бы желал, чтобы ты написала мне поболее.

Это было написано вчера поутру. Маша, откликнись. Я от тебя жду всего. У меня совершенно ничего не осталось. Ради Бога, открой мне глаза. Мне кажется, что я всё потерял.

**203.**

**М. А. Протасовой**

*<31 (?) марта 1815 г., Дерпт>*

Расположение, в каком к тебе пишу, уверяет меня, что я не нарушаю своего слова тем, что к тебе пишу. Надобно сказать всё своему другу. Я должен непременно тебе открыть настоящий образ своих мыслей. Маша *моя* (теперь *моя* более, нежели когда-нибудь), поняла ли тыто, что заставило меня решительно от тебя отказаться? Ангел мой, совсем не мысль, что я желаю беззаконного1, — нет! Я никогда не переменю на этот счет своего мнения и верю, что я был бы счастлив и что Бог благословил бы нашу жизнь! Совсем другое и гораздо лучшее побуждение произвело во мне эту перемену! твое собственное счастье и спокойствие! Решившись на эту жертву, я входил во все права твоего отца2. Другая, нежнейшая связь! Право, эта минута была для меня божественная; если можно

слышать на земле голос Божий, то, конечно, в эту минуту он мне послышался! С этим чувством всё для меня переменилось, все отношения к тебе сделались другие, я почувствовал в душе необыкновенную ясность; то, чего я никогда не имел в жизни, вдруг сделалось моим; я увидел подле себя сестру и сделался другом, покровителем, товарищем ее детей; я готов был глядеть на маменьку другими глазами и, право, восхищался тем чувством, с каким бы называл ее сестрою, — ничего еще подобного не бывало у меня в жизни! Имя сестры в первый раз в жизни меня тронуло до глубины сердца! Я готов был ее обожать; ни в ком, ни в ком (даже и в вас) не имела бы она такого неизменного друга, как во мне; до сих пор имя сестры только меня пугало, оно казалось мне разрушителем моего счастья; после совершенного пожертвования собою оно показалось мне самым лучшим утешением, совершенною всего заменою; Боже мой, какая прекрасная жизнь мне представилась! Самое дея тельное, самое ясное усовершенствование себя во всём добром! Можно ли, милый друг, изменить великому

чувству, которое нас вознесло выше самих себя! Жизнь, освященная этим великим чувством, казалась мне прелестною! Если прежде, когда моя привязанность к тебе была недозволенною, я имел в иные минуты счастье; что же теперь, когда душа от всякого бремени облегчилась и когда я имею право быть довольными

собою! Раз испытав прелесть пожертвования, можно ли разрушить самому эту прелесть! С этим великим чувством как бы счастливо шли мои минуты! Вместо своего частного счастья иметь в виду общее, жить для него и находить всё оправдание в своем сердце и в вашем уважении; быть вашим отцом (брат вашей матери имеет на это имя право), называть вас своими и заботиться об вашем

счастье — чем для этого не пожертвуешь! И для этого я всем пожертвовал! Так,

что и следу бы не осталось скоро в душе моей! Даже *в первую минуту* я почувствовал, что над собою работать нечего, — стоило только понять меня; подать мне руку сестры! стоило ей только вообразить, что брат ее встал из гроба и просится опять в ее дом, или, лучше, вообразить, что ваш отец жив и что он,

с полною к вам любовью, хочет с вами быть опять на свете. С этими счастливыми, скажу смело, добродетельными чувствами, соединялась и надежда вести

самый прекрасный образ жизни. Осмотревшись в Дерпте, я уверен, что здесь работал бы я так, как нигде нельзя работать, — никакого рассеяния, тьма пособий3 и ни малейшей заботы о том, чем бы прожить день, и при всём этом первое, единственное мое счастье — семья. С таким чувством пошел я к ней, *к моей сестре*. Что же в ответ? Расстаться! Она уверяет меня, что не от недоверчивости, — а для сохранения твоей и ее репутации! Милая, эта последняя причина должна бы удержать ее еще в Муратове. Там можно было того же бояться, чего и здесь. Но в Муратове она решилась возвратить меня4, несмотря на то, что в своих письмах я говорил совсем противное тому, что теперь говорю и чувствую. Нет! эта причина несправедливая! или дóлжно было меня еще остановить в Москве!5 И теперь в ту самую минуту, когда я только думал начать жить прекраснейшим образом, всё для меня разрушено! Я не раскаиваюсь в

своем пожертвовании — можно ли раскаяться когда-нибудь в том, что возвышает душу! Но я надеялся им заплатить за счастье, и я был бы истинно счастлив, если бы она только этого захотела! если бы она прямо мне поверила; если бы поняла, как чисто и свято то чувство, которым я был наполнен. Что же дают мне за то счастье, которого я требовал? Самую печальную жизнь без цели и прелести! Служить — спрашиваю, для каких выгод? отказаться от всякого занятия? В Петербурге я не мог бы заниматься, если бы и имел состояние! Убийственное рассеяние утомило бы душу! <*зачеркнута строка*> где тут иметь понятие? <*за-*

*черкнута строка*> Трудиться для денег! Прощай, энтузиазм! единственное, что оставалось! *Ремесленничество* не сходно ни с каким энтузиазмом6; но и без него рассеяние погубило бы энтузиазм! всё разом вдребезги — и счастье, которое вдруг представилось бы мне столь ясным, и труд свободный, замена за счастье! Нет, милая! Голос брата не дошел до ее сердца! Чтобы тронуть его, я, видно, не имею никакого языка! Я сделаюсь дорог тогда разве, когда меня не будет на свете! Этот страх расстроить репутацию есть только придирка! Почему же он теперь именно, когда все причины к недоверчивости совершенно разрушились, пришел в голову! Для чего вырвать меня из Долбина?7 Само по себе разумеется,

что против этой причины я не мог ничего сказать! Я готов во всяком случае быть за тебя жертвою — но надобно, чтобы жертва была необходима! Здесь каких толков бояться? Кто подаст к ним повод? А прежние толки пропадут сами собою! Да я первый все усилия употреблю, чтобы всё привести в порядок! Между тем мы были бы счастливы, счастливы в своей семье, и свидетель был бы у нас Бог! О! как бы весело было помогать друг другу вести жизнь добродетельную! Я чувствую, я уверен, что было бы легко и что мне даже и усилий никаких не было бы нужно делать над собою! Теперь что мне осталось? Начинать новую жизнь без цели, без бодрости и за каким счастьем гнаться? Так и быть! всё в жизни к прекрасному средство! Но сердце ноет, когда подумаешь,

чего и для чего меня лишили.

**204.**

**П. А. Вяземскому**

*<Конец марта (?) 1815 г. Дерпт>\**

Милый друг, я написал множество писем и потому ленюсь к тебе писать. Я в Дерпте уже с неделю. Послезавтра еду в Петербург1; оттуда буду писать к тебе много. Не знаю, что еще со мною будет. Здесь ли останусь или в Петербурге. Дурацкая судьба моя не дает мне ни на что решиться, и ты по-старому всё еще будешь долго считать меня загадкою. Я с тобою не говорил ни об чем. Помню минуту, в которую захотелось было мне всё высыпать из своего сердца в твое, да кто-то между нами явился третий, и мой мешок завязался. Не обвиняй меня в скрытности с другом. Я люблю и уважаю тебя теперь более прежнего, но не обо всем говорится. Знай только вообще, что я не принадлежу к счастливцам сего мира; а что впереди, право, еще не знаю.

Здешний город был бы прелестен для человека, которому было бы хорошо дома. Всё есть — и общество, и уединение, и работа, и пример, и товарищество людей приятных. Немцы смешные и милые люди. С ними можно расстегнуть душу, а это всего дороже. Но черт возьми и немцев; скажу слова два о себе. Люби меня, брат, и скажи твоей милой жене, чтобы она меня помнила и любила. Право, я чувствую к ней самую искреннюю привязанность. У ней прекрасное сердце. Мне было весело об ней думать. Еще одно: помни свое слово, данное другу. Исполнением его ты обязан дружбе.

Моего ангела Машку2 поцелуй.

Я получил от госуд<арыни> рескрипт очень милостивый3. Пришлю из Петербурга.

Посылаю выписку из одних немецких газет, которую сообщи Николаю Михайловичу. Скажи и ему, и Е<катерине> Андреевне мое почтение. К ним также буду писать из Петербурга. Давыдова обнимаю.

**205.**

**А. И. Тургеневу**

*1 апреля 1815 г. <Дерпт>*

Милый друг, посылаю тебе мой ответ на милостивый рескрипт ее величества, который тронул меня чрезвычайно. Не знаю, хорошо ли написал; но ты и прочие, знающие более *приличия*, можете его поправить. Переписавши и подписавши за меня, передай его Сергею Семеновичу. От него получил я ре-

скрипт1; его, кажется, следует мне просить и вручить ее величеству мой ответ. Поблагодари его от себя за его ко мне благосклонность, а приложенное письмо отдай ему.

Сочинений не посылаю; отдал переплетать. Привезу сам, потому что выеду отсюда дня через три или через четыре. Давно бы я был у вас, когда бы не дорога.

Каковы революции нашего века?2 Но что отчаиваться? Есть твердость, есть сила, есть благородный характер Александра! Надобно драться не на живот, а на смерть. В борьбе за свободу народы усиливаются духом. По крайней мере, для русских теперь ничто не должно быть страшно.

Об этом после. О себе скажу только два слова. Может быть, нам определено с тобою жить *неразлучно*. На всякий случай приготовься принять к себе своего четвертого брата, своего Андрея, который с надеждою на твое сердце найдет замену всему в товариществе с тобою. Как утешительно дать тебе название брата и все обязанности братства принять на себя и, может быть, теперь на всю остальную жизнь. Всё объясню, когда увидимся.

Скажи Батюшкову, что мне больно было читать заключение его письма к Воейкову3. Я писал к нему из Москвы. Но разве он не уверен, что Жуковский и молча привязан к нему искреннею дружбою?

Блудова, милого, бесценного друга, обнимаю крепко. Как весело подумать, что всех вас дней через пять-шесть увижу. Гнедича и Дашкова обнимаю.

Твой *Жуковский* 1815. Апреля 1

**206.**

**Императрице Марии Федоровне**

*1 апреля 1815 г. <Дерпт>*

Всемилостивейшая Государыня!

Я имел счастье получить недавно всемилостивейший рескрипт Вашего Императорского Величества, приношу чувства пламенной благодарности к стопам моей Государыни.

Вашему Величеству угодно было сказать мне, что мои стихи, внушенные малым дарованием, но великим удивлением к характеру лучшего из царей, тронули Ваше сердце. Могу ли вообразить что-нибудь выше такой награды?

Вашему Величеству угодно было еще сказать, что сии стихи свидетельствуют мою любовь к Государю и отечеству; с восхищением благодарю Ваше Величество за такое выражение. Слышать его из уст Ваших есть счастье неизъясни мое.

В сию минуту, когда Провидение посылает новые опыты человечеству, все — не только мы, русские, но и чужие народы — с твердостью мыслят, что

сильнейший между царями, управляющими их судьбою, соединяет с могуществом и прекрасную душу, верную человеческому благу. На него устремлены все надежды, подтвержденные уже опытом. Благо народов твердо, пока Алек-

сандр на троне.

Счастливейшая минута жизни моей будет та, в которую удостоюсь быть представлен Вашему Императорскому Величеству. Хотя и не осмеливаюсь ла-

скать себя таким счастьем, но благодарность, которую сердце мое к Вашему Императорскому Величеству исполнено, дает мне право желать его.

Вашего Императорского Величества верноподданейший

*Жуковский*

**207.**

**С. С. Уварову**

*1 апреля 1815 г. Дерпт*

Дерпт. Апреля 1. 1815

Я получил Ваше дружеское письмо и приложенный при нем высочайший рескрипт ее императорского величества1. Благодарю Вас за доставление; весело было получить его через Вас. Чтение его чрезвычайно меня тронуло; выражения государыни на мой счет необыкновенно милостивы.

Я послал Тургеневу вчерне мой ответ2, прося его Вам показать, вместе с Вами что нужно поправить и, переписав, отдать Вам для вручения ее величеству. Не откажитесь от исполнения сих поручений, которые сделать Вам дает моя дружба, которую Вы ко мне так явно показываете, не ставя в счет того, что я иногда поступаю с Вами как беспечный стихотворец и как человек, весьма уже с Вами короткий. Но причина всему этому Тургенев: я уверен, что тот, кто

с ним друг, должен любить и Жуковского и даже многое прощать ему.

Радуюсь, что мой перевод Вам понравился3. Надеюсь, что Вы вместе с Гнедичем поправили замеченные Вами ошибки. Замечания же Ваши надеюсь скоро

*слышать*.

Я надеялся быть непременно в конце четвертой недели поста в Петербурге; но дорога, говорят, непроходимая. Итак, в половине шестой я верно у Вас4.

Благодарю Вас за присылку 500 рублей5.

В ожидании приятного свидания с Вами, остаюсь с совершенным к Вам почтением Вам душевно преданный

*Жуковский*

**208.**

**М. А. Протасовой**

*<Первые числа (?) апреля 1815 г., Дерпт>*

Милая Маша, нам надобно объясниться. Как прежде от тебя одной я требовал и утешения, и твердости, так и теперь требую твердости в добре. Нам надобно знать и исполнить то, на что мы решились. Дело идет не о том только,

чтобы быть вместе, но и о том, чтобы этого стоить. Следовательно, не по одной наружности исполнять данное слово, а в сердце быть ему верными. Иначе не будет покоя, иначе никакого согласия в чувствах между мною и маменькой быть не может. Сказав ей решительно, что я ей брат, мне дóлжно быть им не на одних словах, не для того единственно, чтобы получить этим именем право быть вместе. Если я ей говорил искренно о моей к тебе привязанности, если об этом и писал, то для того, чтобы не носить маски, — я хотел только свободы и доверенности. Это нас рознило с нею. Теперь, когда всё, и самое чув-

ство, пожертвовано, когда оно переменилось в другое, лучшее и нежнейшее, нас с нею ничто не будет рознить. Но, милый друг, я хочу, чтобы и ты была совершенно со мною согласна, чтобы была в этом мне и примером, и подпорою; хочу знать и слышать твои мысли. Как прежде ты давала мне одним словом и бодрость, и подпору, так и теперь ты же мне дашь и всю нужную мне добродетель. Чего я желал? Быть счастливым *с тобою*! Из этого теперь должно выбросить только одно слово, чтобы всё заменить. Пусть буду счастлив *тобою*! Право, для меня всё равно *твое счастьe* или *наше счастье*. Поставь себе за правило всё ограничить одной собою, поверь, что будешь тогда всё делать и для меня. Моя привязанность к тебе теперь точно без примеси собственного, и от этого она живее и лучше. Уж я это испытал на делe — смотря на тебя, я уже не то думаю, что прежде; если же на минуту и завернется старая мысль, то всегда с своим дурным старым товарищем, грустью; стоит уйти к себе,

чтобы опять себя отыскать таким, каким надобно; а это еще теперь, когда я от маменьки ничего не имею, когда я еще ей не брат, — что ж тогда, когда и она с своей стороны всё для меня сделает. Я уверен, что грустные минуты пропадут и место их заступят ясные, тихие, полные чистою к тебе привязанностью. Вчера за ужином прежнее немножко что-то зацепило меня за сердце — но, воротясь к себе, я начал думать о твоем счастье, как о моей теперешней заботе. Боже мой, как это меня утешило! Как еще много мне осталось! Не лиши же меня этого счастья! Переделай себя совершенно и будь этим мне обязана! Думай беззаботно о себе, всё делай для себя — чего для меня более? Я буду знать, что я участник в этом милом счастье! Как жизнь будет для меня дорога! Между тем я имею собственную цель — работа для пользы и славы! Не легко ли будет работать? Всё пойдет из сердца и всё будет понятно для добрых! Напиши об этом твои мысли — я уверен, что они и возвысят, и утвердят все мои

чувства и намерения.

Я сейчас отдал письмо маменьке1. Не знаю, что будет. В обоих случаях, Persévérаnce![[164]](#footnote-164)2 Меня зовут! Чудо — сердце не очень бьется. Это значит, что я решился твердо…

…Мы говорили — этот разговор можно назвать холодным толкованием в прозе того, что написано с жаром в стихах. Смысл тот же, да чувства нет. Она мне сказала, чтоб я до июля остался в Петербурге3, — потом увидит. Одним словом, той сестры нет для меня, которой я желаю и которая бы сделала мое счастье. Еще она сказала: дай время мне опять сблизиться с Машею; ты нас совсем разлучил. Признаюсь, против этого нет возражения, и если это так, то мне нет оправдания; и я поступаю как эгоист, желая с вами остаться! В самом деле! Чего я хочу? Опять только своего счастья? Надобно совсем забыть об нем! Словами и объяснениями его не сделаешь! Маша, чтобы иметь полное спокойствиe, не дóлжно ли тебе возвратить мневсех писем моих?4 Ты знаешь теперь нашу общую цель. *Твое* счастьe! Быть довольным собою! У тебя есть Фенелон5 и твое

сердце. Довольно! Твердость и спокойствие, а всё прочее Промыслу.

**209.**

**А. И. Тургеневу**

*12 апреля <1815 г. Дерпт>*

Посылаю тебе, мой милый друг, свои стихи. Твое мнение, что, вероятно, останусь здесь на праздник, принимаю за совет и останусь. Думаю, это для меня всё равно, теперь ли быть в Петербурге или после праздника. Между тем, может быть, удастся написать что-то новое. Теперь послал только мои стихи. Попроси Блудова, Батюшкова и Уварова сделать замечания; но только заметьте то единственно, что уже очень дурно, чего нельзя не поправить. Мелочей поправлять не буду, потому что только изгажу поправкою. Эти замечания приготовьте к моему приезду. Между тем похлопочи и о том, как бы продать, и, разумеется, продать выгоднее. Мне хочется выдать в двух отделениях. Одно под титулом

«Баллады» — в нем будут одни *баллады*. *NB*. Балладу «Старушка» в Москве не пропустили; постарайся, чтобы того же не сделалось в Петербурге1. Другое отделение, в II частях, под титулом — но титул выдумайте сами. В первой части лирические стихотворения, послания, песни и романсы; в другой смесь и отрывки в прозе2.

Здесь стихи переписаны точно так, как им быть напечатанным. Формат надобно большой in 12°. Для части баллад у меня готова прекрасная виньетка, нарисованная Тончи3; а будет гравировать здешний гравер Зенф4, славный артист и человек. Переговори с типографщиками и настой на том, чтобы печатать точно в таком порядке, то есть сохранив такое же количество строк на странице, как в манускрипте, и чтобы не было ломаных строк. Но начинать печатать оставьте до меня; только чтобы всё было, если можно, готово к моему приезду. А корректуру хотелось бы держать самому; да еще многие надобно сделать поправки и примечания. Также нехорошо и предисловие к балладам. Прошу между тем велеть всё переписать еще раз, и тотчас пришли сюда на имя Воейкова. Переписывать не нужно с тем расположением, как теперь, а лучше всё в одну книгу. Я буду жить у тебя, и это время, которое проведу с тобою, пленяет мое воображение. Напиши, однако, не нужно ли мне скорее приехать. Поклон и объятие друзьям Блудову, Батюшкову и Уварову. Дрожу, что не найду Батюшкова в Петербурге. Если Окунев5 приехал и был у тебя, поклонись ему. Когда увидишь Алексея Орлова6, поклонись.

Твой *Жуковский*

P. S. Прозаические отрывки вели переписать для печати в таком точно порядке, как здесь. Только чтобы формат был бы тот же, как и стихов. Попроси Батюшкова и Блудова перечитать прозу, и что нужно поправьте сами. Пришли перевод Раупаха7. Здесь было Рамбах8 собрался переводить Послание; теперь я

его остановлю.

12 апреля

Я имею до тебя просьбу; прошу тебя исполнить ее скорее, ибо всё дело в поспешности. Здесь есть профессор Штруве9. Он хочет жениться. Его невеста живет в Альтоне, и он должен туда немедленно ехать. Теперешние же обстоятельства требуют поспешности. Он получил уже отпуск от министра просвещения, но паспортов, хотя уже они и давно обещаны, не получил и, вероятно, долго не получит, если кто-нибудь не вздумает их выхлопотать. Но кому вздумать? Кому дело? Это забыто; а время между тем уходит. Для тебя ничего не

стоит позаботиться о скорой выдаче паспортов; а для него дорого будет стоить, ежели он не получит их вовремя. Представь себе всё это поживее, отложи свою лень и выхлопочи паспорты. Их нужно два:

1й Доктору Фридриху Штруве, экстраординарному профессору Дерптского университета, для проезда из России в Голштинию, в город Альтону, и обратно.

2й Жене доктора Фридриха Штруве и пр., Эмилии Штруве, урожденной Валль, из Альтоны, для переезда из Голштинии в Россию.

Прошу тебя не забыть и тотчас это исполнить. Для тебя безделица, для него большая важность. Я, может быть, скорее буду. Судьба жмет меня в комок, потом опять скомкает. Видно, что только близ одного тебя мне совсем раскомкаться. Боюсь петербургской жизни, боюсь рассеянности, боюсь своей бедности и нерасчетливости. Что, если с своим счастьем еще и потерять и свою свободу, и свои занятия, и сделаться ремесленником, и жить только для того, чтобы не умереть с голоду! Подумай обо всём этом за меня, и подумай хорошенько. Если можно иметь хотя немного независимости, то остаюсь с тобою, твой товарищ на жизнь. Напиши поскорее ответ на это письмо.

Уже не ехать ли мне в Главную квартиру?10 Как ты думаешь?

**210.**

**М. А. Протасовой**

*14 апреля <1815 г. Дерпт>*

14 апреля

Und trennen uns gleich Meer und Land,

Vereinigt uns doch Freundschaftsband, Und fester knüpft nach *kurzer Zeit*

Es einst die Ewigkeit![[165]](#footnote-165)1

Милый друг, поняла ли ты то чувство, которое меня решило к тебе написать: *позволь мне от тебя отказаться и самому найти человека, который бы мог тебя сделать счастливою*!2 Это самое лучшее чувство в жизни моей, и в эту минуту я был счастлив! Маша, в эту минуту я точно тебе доказал, что тебя люблю. Чем я жертвовал? Тем, что было мне всего дороже! Не одною надеждою, но вместе и тем, что ее заменяло, святою привязанностью, от которой готов был отказать<ся> и которую надобно было совсем переменить, которой надобно было дать совсем другой характер! Ты должна знать, что заставило меня на это решиться, — я хотел быть уверенным в твоем счастье, в том, что тобою не пожертвуют, что ты будешь зависеть и от меня! Мне надобно было с тобою расстаться и покинуть тебя под власть человека, который не умеет тебя ни щадить, ни утешать. В эту минуту мысль *пожертвовать собою* (точно *собою*, то есть всем, что наиболее было *я*) представилась мне как вдохновение Божие. С этою мыслью новая жизнь для меня открылась: *моя* семья, *мои* связи семейные и, что всего дороже, ты, в зависимости от меня, мой друг, моя сестра, с полною свободою любить друг друга любовью родных. Как за это не отдать всего с нас лаждением. Но *первое* движение было, право, бескорыстное — следствие его представилось мне *после*. Ах! милая, как в эту ночь я радовался жизнью3. Я видел в ней всё новое, но моим чувством не умели воспользоваться, нашли способ даже его охолодить. Как опыт ни научил меня, что всё, мне кажущееся возможным одному, делается невозможным с ними; но я не послушался и еще написал! Письмо прочтено было холодно4; но жить стали со мною лучше — но в чем же это *лучшее*, которого лучше уже, верно, не будет? Что мне дали за мое счастье, за мои сокровища, которыми я так решительно пожертвовал? Одну наружность! Лицо ласковое — а всё прочее то же. Я переменил самое мнение, решился переменить даже и чувство, решился хотеть, чтобы и ты его переменила. Для этого нужно большое над собою усилие, большое постоянство и постоянная помощь с ее стороны и с твоей — это общее наше дело! А она что делает с своей стороны! Какое усилие берет над собою! Если мне можно обещать и стараться истребить такое чувство в сердце, к которому я привязан, — что весьма трудно, — то почему же она не может истребить недоверчивости, которая мне только мешает исполнить мое обещание! Она требует, чтобы я был постоянным, а сама не может и пяти дней выдержать такого характера, который для нее должен быть легок; требует от меня искренности, чтобы я внутренно желал того, что обещал (и я на это решился), а сама и не думает, что ей нужна такая же искренность, дабы нас обоих с тобою поддержать. Я думал всё сделать для своего и еще бо-

лее для твоего счастья своею жертвою и вижу, что ничего не сделал, а только наложил на себя жестокую неволю. Из того чистого позволенного счастья, на которое теперь лично имею право, выходит одна тяжелая должность. Всё, что прежде меня с тобою соединяло, должно быть разорвано — а что же на его месте! Ничего! В душе ужасная пустота, на которую даже и жаловаться нельзя, потому что здесь и сожаление не позволено. Всё, что прежде наполняло душу, если не исчезло, то сделалось запрещенным, — надобно было его заменить! А как заменить, когда меня с тобою, несмотря на обещание, разлучают подозрением? Я видел, что ты грустила, это меня мучило, а как было помочь? Мысль, что ты воображаешь меня и холодным, и равнодушным, меня терзала — если бы я мог говорить с тобою свободно, как друг, как родной, мы бы, верно, согласились, мы

оба любим доброе, а вместе его любить весело — ты бы меня послушалась, а я, видя твою решимость, мог бы иметь всю нужную мне твердость и никогда бы не боялся слабости! Но как же ждать, чтобы теперь что-нибудь для нас переменилось! Никто не подумает о том, чего я себя лишаю, чего мне должно стоить

себя и тебя переделать! Они только требуют жертвы, а сами не хотят подумать,

что значит эта жертва и сколько нужно с их стороны участия! Теперешнее обращение со мною войдет в привычку; всё будущее останется похожим на настоящее. Мы будем всегда розно, и сверх того наша обязанность будет разлучиться и в сердце, потому что мы дали слово! Не только по-прежнему будем мы — под тем же принуждением, которое уже сделало нас виноватыми в скрытности, но еще и в самой привязанности друг ко другу не найдем никакого утешения, ибо сохранить эту привязанность такою, какова она была прежде, запрещает нам наша должность. Моею любовью к тебе я мог только пожертвовать для твоего

счастья.

Она была моею жизнью; я мог променять ее только на другую жизнь, на любовь к тебе без примеси собственного, на свободную любовь друга, брата, товарища! Дано ли мне это счастье? нет, и никогда оно дано не будет! Если теперь не могли обрадоваться брату, то уже ему никогда обрадоваться не могут! Вообразят, что *всё* для нас сделали! а как им доказать, что они не сделали ничего?

Это можно только чувствовать! Кто же принудит это почувствовать? Нашего положения они не понимают, и понимать не могут! И живучи вместе, мы будем несчастнее, нежели когда-нибудь! Итак, необходимость велит уехать — и я беру

*свое* назад! По крайней мере, розно с тобою мне своего лучшего чувства истреблять нет нужды! Но *с ним* я не могу и не должен *здесь* остаться! Здесь я могу только быть братом, не по одному имени, а с чувствами, с обязанностями, и, если хочешь, с счастьем брата. Розно с тобою я никому, кроме Бога, отчета в своих чувствах не отдаю, а я уверен, что Он не отвергнет того, что у меня в сердце.

Ты не поняла меня, мой милый друг! Это натурально! На твоем месте и я, может быть, также бы тебя не понял! Нам не дали и не дадут говорить друг

с другом откровенно! Если бы мы имели эту свободу, мы согласились бы на то,

что нам теперь дóлжно, и вместе бы решились его исполнять и, верно, были бы счастливы исполнением, хотя оно и дорого бы нам стоило. Но мы бы вместе учились добродетели — это связь другого рода, и самая чистая, и самая счастливая! Самое тяжкое в моем положении было то, что я замечал твою грусть и чувствовал, что ты обвиняла меня тогда, когда я истинно стоил твоего уважения и всей помощи со стороны твоей. В то время, когда ты думала, что я пожертвовал всем au plaisir de je ne sais quoi[[166]](#footnote-166), всем, даже и возможностью показывать к тебе дружбу, когда уходила, чтобы давать мне грустные минуты с маменькою, когда воображала, что я, *всё забыв*, радовался дружбою своею к Воейкову в то время, когда он тебя так нежно утешал, *говоря, что я не хочу тебя любить,*

*а хочу только поскорее выдать замуж* (и ты даже считала нужным в *угождение* мне кинуться первому на шею), в то время, когда была *одна* и даже в самой себе не находила отрады — мне было, право, не легче. Беспрестанное мучительное борение с собою, которого ничто не oблe<г>чaлo и с которым соединялась мысль, что ты должна обвинять меня. Имя брата, которое я один взял на себя и за которое мне ничего не давали, обязывало меня переменить, вырвать из сердца все прежние чувства; при воспоминании о Красовском5 душа хотела вспыхнуть, но я себя удерживал и твердил себе, что такого роду движение не должно быть мне свойственно. Часто, смотря на тебя, был готов забыться, но

останавливался, уходил к себе, и всё опять возвращалось в надлежащий порядок. Часто, однако, и с самим собою не находил утешения. Что было для меня прежде прибежищем — мысль о твоей ко мне любви, надежда на нее, для меня более не существовало, потому что не должно было существовать более! Этой мысли, этой надежды я должен был бояться! И свою любовь к тебе — лучшее свое чувство — я должен был если не уничтожить, то переменить! Я запрещал себе это чувство — потому что назвался братом твоей матери и должен был им быть не по одной только наружности. Вообрази же мое положение!

*С тобою* — я был от тебя далеко, не только тем принуждением, которое нас рознило, но даже своею обязанностью, которая не только мне на тебя запрещала смотреть преж<н>ими глазами, но и в тебе также искать и желать прежнего ко мне чувства, мы сделались совершенно *чужи* друг для друга; *один* — я был лишен всех своих воспоминаний и надежд, которые давали мне прежде бодрость и *думать* о тебе так, как прежде почитал не позволенным, словом, прежней Маши для меня уже не было, той, которая была соединена в душе моей со всяким чувством, а той, которая должна была заступить ее место, я еще не имел и слабо надеялся иметь, видя то принуждение, которым, несмотря на наши жертвы, нас разлучали! Я был в унынии, но, право, ни разу не поколебался в

своем пожертвовании. И чтобы вперед не поколебаться, вот что для себя написал. (Но *для себя*, а ведь *ты* этого не знала — и никому в голову не приходило того, что делалось в моей душе. Им только можно требовать пожертвование; величаться своим великодушием, а понять человека не умеют и не хотят.)

*Апреля 11.* (Надобно тебе знать, что я для собственного утешения, оправдания и, если хочешь, для того, чтобы хотя с бумагою быть искренним, хочу непременно, во все трудные минуты писать свои мысли — это и облегчает, и дает твердость! Пусть делают, что хотят, пусть думают обо мне, как хотят! Моя книга про меня знает — и вот что я написал в своей книге:) «Прежде я имел целью быть счастливым *вместе* с Машею. Это *вместе* было бы *средством к прекрасному*. Прекрасное состояло бы не в одном наслаждении собственным счастьем, но в том, что составляет настоящую жизнь, в исполнении ее обязанностей, в добре на деле, в нравственном своем усовершенствовании. От этого теперь дóлжно отказаться. Совсем другое должно теперь быть *средством к прекрасному*. Оно состоит в пожертвовании самим собою, в совершенном забвении собственного, и всё *для нее*. Для этого решительно отказаться от невозможного (а чтобы отказаться решитель<но>, то и переменить свое к ней чувство на лучшее, бескорыстное, братское), всё употребить для сбережения семейного покоя, твердо покориться судьбе, или, лучше, своей должности, и не слабеть в исполнении трудного. Я назвался братом не для того, чтобы под этим именем иметь непозволенные чувства и желания. Нет! но для того, чтобы она была *мною* счастлива, чтобы она принадлежала мне как дочь моей сестры, чтобы судьба ее зависела и от меня, чтобы я имел в ее матери настоящую сестру, товарища и друга, с которым ее счастье было бы общим нашим делом. Спокойствие насчет ее судьбы и сладкая мысль, что я имею участие в ее счастье, и еще более сладостная об нем забота будут моею наградою. С именем брата должна разрушиться вся прежняя связь между нами, но начаться другая, тесная и самая чистая. Надобно *сказать* себе и приучить себя *думать*, что она не должна любить меня как прежде, но любить как родного, как брата, или, лучше, как отца, и заботиться о своем отдельном счастье, не сливая его, как прежде, с моим, но с твердою уверенностью, что, делая свое счастье, она в то же время делает и мое. Не только дóлжно это сказать самому себе, но и исполнить на деле, *ее самое* приучить к этой мысли, из ее счастья вырвать всё собственное, основанное на одном эгоизме, всё, что было прежде общего (не согласного с нашим обещанием), уничтожить, следовательно, не желать, чтобы и она имела то чувство, которого я иметь не должен, не только не желать, но и ее заставить не иметь его (а как заставить, Маша, когда мы не только не можем говорить друг с другом, но и глядеть друг на друга боимся) — заставить ее ко мне перемениться и утешать себя одним только одобрением сердца, что всё сделано, всё принесено в жертву должности и тому, что всего было дороже, что теперь еще стало дороже. Одним словом, мне дóлжно быть истинным братом ее матери и поступать так, как бы должен был поступать истинный брат! Теперь спрашиваю: в чем счастье Маши? В спокойствии и свободе сердца, в согласии с матерью и со всею семьею, следовательно и со мною в уверенности, что я счастлив! Наконец, если так быть должно, еще и в замужестве по сердцу, то есть чтобы с другим иметь то, чего надеялась со мною! Мое же счастье состоит теперь в том, чтобы Маша это всё имела, чтобы я видел, что она всё это имеет, чтобы я был во всём этом участник! Стремление к этому есть то, что теперь для меня прекрасное в жизни. Что нужды, что трудно, что даже и вопреки себе! Самая трудность, самое страдание есть средство к прекрасному! Та минута, в которую, для этой цели, я решился пожертвовать собою, была восхитительна! Но это чувство восхищения часто пропадает, и я прихожу в уныние! Что нужды! Не дóл<ж>но терять бодрости! Что чувство произвело в одну минуту, то твердость должна исполнять в течение жизни. Где ж было бы достоинство добродетели, когда бы она была и легка, и приятна? Надобно смотреть не на удовольствие, а на достоинство внутреннее! Знать, если не чувствовать. Всякое исполнение отдельной должности есть дорога по утесам, кончи ее — небо над головою и Кашемир перед глазами6. Мое небо — *ее счастье* — итак, унывать не дóлжно. Что прежде наполняло душу, то разрушено, — свои надежды заменить ее надеждами; чего желал для себя, передать ей и из ее будущего сделать свое будущее! А для себя беречь настоящую минуту, которую посвятить деятельности и добру. Мы с нею в этом случае не разделимся; она будет уверена, что ее будущее есть мое, и станет об нем думать как о моем, и между тем будет видеть, что я счастлив настоящим, всё имея в настоящем — свою работу, ее дружбу, одобрение сердца и надежду *для нее одной* такого счастья, какого прежде желал для *нас двоих*. Но это всё равно».

Вот что, милый друг, я думал и, для своего ободрения, записал для себя в то время, когда тебя утешали с насмешкою, говоря, что я не хочу тебя любить и только и брежу тем, как бы тебя поскорее выдать замуж! А ты огорчилась, думала, что ты мне в тягость, и Бог знает, что еще тебе приходило в голову. Но это всё оттого, что ты не могла со мною объясниться. Если бы я мог быть твоим товарищем так, как бы это теперь было дóлжно, — ты бы мне поверила, ты бы со мною во всём согласилась, и мне и тебе было бы легче исполнить общую должность. Мы бы сделали друг друга счастливыми. В этом я уверен; никто не может так успокоить и решить на всё доброе моего сердца, как ты; и никто не может сделать того на душе твоей, что я могу сделать. Мы бы возвратили друг другу спокойствие, когда бы нам дана была воля и надлежащая доверенность. Жить вместе с такою целью, какую я себе предписал, было бы сначала труднее, но после гораздо лучше — мы бы вели друг друга прямо к добродетели путем пожертвования и должности и были бы счастливы взаимным друг к другу уважением. Я исполнял бы à la lettre[[167]](#footnote-167) то, что себе предписал, а ты, согласившись во всём со мною, первая и лучше всех мне бы помогала. И ты бы должна была сказать себе то же, что я: мне надобно смотреть на него другими глазами. Чего он хочет? Моего счастья! *И я хочу его!* В чем полагает он это счастье? В свободе и спокойствии сердца, в согласии с моею матерью? В моей уверенности, что он счастлив? В доверенности к нему, которая не иное что, как мысль (которой ни-

чьи слова переменить не могут), что он мое счастье всему предпочитает, что он стоить хочет моего уважения столько, сколько сам меня уважает, наконец, и в том, чтобы я была счастлива замужем! *я помогу ему найти это счастье*. Но какие же для этого средства? *Чтобы иметь спокойствие и свободу сердца*, ты бы должна была не только сказать себе, но и приучить себя к мысли, что я твой брат, твой родной друг, и непременно смотреть на меня совсем другими глазами, и дать совсем другой характер своей ко мне привязанности (не сделав этого или не стараясь искренно этого делать, нам теперь жить вместе нельзя — мы дали

слово! Но нам иначе нельзя этого будет сделать, как имея полную свободу друг с другом, говоря друг другу всё, что на сердце, а не быть разлученными, как теперь, подозрением, которое только что напоминает о прежнем и лишает силы

себя переменить!). С этим неразлучно и твое согласие *с матерью, а мое с моею сестрою*. Что может лучше согласить, как не с ее стороны полная доверенность? ибо тогда она всё для нас сделает и будет иметь право на нашу благодарность, а с нашей стороны искренняя жертва и старание ее поддержать. Тогда бы и ты, и она взаимно друг другу были всем обязаны, и это стеснило бы нашу дружбу, и мы точно бы друг друга любили, точно бы жили друг для друга. Чтоб быть *уверенною в моем счастье*, тебе только нужно заботиться о своем! ибо мне точно ничего не надобно, кроме его, кроме исполнения своей должности и мысли, что и ты так же ее охотно исполняешь, как я, кроме нужного покоя для своих работ, которые при мысли о твоем счастье полетели бы прямо на крыльях! Когда всё это будет, то есть твое счастье, работа и любовь моей семьи, искренняя, а не по

одной наружности, то уже мне, право, желать ничего не останется. И если ты можешь воображать, что мне еще что-нибудь нужно, то очень ошибешься и только сама всё расстроишь. В этом случае ты должна à la lettre[[168]](#footnote-168) быть со мною согласна, и эта статья самая легкая. Для полной *доверенности к моему сердцу* (доверенности, которая теперь должна быть совсем другого рода) тебе дóлжно только помнить, что я всем пожертвовал для твоего счастья и что эта жертва еще более меня к тебе привязала, следовательно, перемениться к тебе не могу иначе как в лучшее, что эта привязанность, теперь совсем иная, всегда будет главным моим чувством и теперь еще более причиною всего доброго; что слово être à charge à moi[[169]](#footnote-169) есть жестокое, убийственное для тебя и для меня слово; что я не могу не хотеть любить тебя, что бы ни говорили те, которые не знают, что такое любить; что теперь для меня любить тебя — значит быть добродетельным и предпочитать всему на свете святую должность; что желание выдать тебя замуж в моем сердце есть высочайшая степень к тебе привязанности, самой бескорыстной, забвение не о самом себе, но обо всём, что принадлежит к эгоизму; что это слово: *выдать замуж* только на языке нечувствительного человека, который хотел позабавиться над твоим страданием, оскорбительно, а на моем языке значит: твоя семейная жизнь, твои семейные радости, всё прекрасное, для чего ты рождена и что ты должна иметь, и что дать тебе с человеком, тебя достойным, было бы верх моего счастья! Желать тебе такого счастья никто более меня не может; я знаю ему цену и потому-то, что знаю ему цену, желаю, чтобы оно было твоим, — а этого желать тебе можно и совершенно забыв о себе, не будучи ни холодным к тебе, ни равнодушным, и чтобы исполнить такое желание, тебе не дóлжно бросаться *к первому на шею*, а напротив, стараться все те условия выполнить, с которыми *я*, а не другой кто, могу иметь его во глубине сердца. Милый друг, вспомни, для чего я совершенно от тебя отказался? для того, чтобы иметь полную беспечность насчет твоей судьбы, чтобы радоваться мыслью: теперь нечего за нее бояться! по крайней мере, могу быть уверен, что прежняя ее ко мне привязанность будет хранителем ее сердца, что она будет замужем только за тем, кто заменит для нее меня, кто лучше меня даст ей сча-

стье, кому она так же захочет себя поверить, как мне! Это давало моему сердцу полное спокойствие насчет твоей будущей судьбы, и к этому-то счастью желал бы я быть твоим проводником — я бы шел к нему вместе с тобою как к своему. И точно, мне бы ничего желать не осталось, ибо при этом всё, что мне нужно, у меня бы было: труд, семья и одобрение сердца. Одним словом, мы бы шли по дороге добродетели вместе. Она трудна; зато лучше всех прочих. А ты, не понявши меня и поверив толкователям моих чувств, которые не постигают их,

сама хочешь лишить меня плода моего пожертвования! То, для чего именно всё сделано, хочешь уничтожить. Но всему причиною то, что мы не можем говорить друг с другом, — что нас стерегут! Нам не верят! Не дают нам никакого счастья вместе, даже и добродетели вместе.

До сих пор я написал, когда получил твою последнюю записку7. Так точно!

*Для дружбы всё, что в мир есть!* 8 Ничего другого не прошу, как только счастья исполнить это на деле и отдать мое *всё* для моего *друга*, для моей сестры, для той, которой всем хорошим обязан и теперь еще лучшим буду обязан — *добром на опыте*. Но это *добро на опыте* возможно только с прямою доверенностью. Без нее ничему быть невозможно. Если ее не будет, то я осуждаю и тебя, и себя на прямую гибель — у нас всё возьмут и нам никакого утешения не останется. В *ее* доверенности вся подпора. Я хочу лично быть счастлив моею жертвою и видеть, что ты ею счастлива, — будучи розно с тобою, буду не в состоянии с тобою объясниться, будем ли понимать друг друга, и что нас может подкрепить? Разве, отказавшись от тебя, я переменился? Разве можно всё из себя сделать одним словом? Нужно постоянство, нужна твердость! А как их иметь, когда принуждение и подозрение всякий час будут отымать силы! У нас в душе будут одни чистые намерения, а всё вокруг нас будет слу<жи>ть к тому только, чтобы эти намерения ослаблять! Как же за себя ручаться? После такого решительного обещания изменить себя не будет ли ужасным несчастьем, которое отравит всякую минуту жизни! Один дурной шаг — и прости спокойствие! Излишней на себя надежды иметь не дóлжно и в хороших обстоятельствах; а как на

себя надеяться, когда для нас только что обременяют исполнение обязанности! Прежде мы иное себе позволяли, потому что не давали слова переменить свои чувства, а теперь, обещав это, и в самом сердце должны согласоваться с обещанным. По-настоящему в трудных обстоятельства<х> и дóлжно удержаться на прямой дороге — более было бы достоинства! Но я опять скажу: себе не дóлжно слишком верить! Прибавлю к этому еще одно — будучи не в состоянии с тобою говорить, я буду видеть твою грусть, и это только у меня отымет бодрость! Надобно будет не только бороться с собою, но и с чувством твоей горести, видеть, что ты от меня страдаешь, и не иметь возможности тебе помочь! Между тем и самая борьба будет без успеха — несколько времени будешь себя удерживать, стараться переломить, и вдруг одна минута всё снова расстроит! Опять начинай снова и уже с большею слабостью и с меньшею надеждою! Это уже и случилось было со мною! От такого бесполезного усилия потеряешь и

самое к себе уважение, и даже то, что казалось добродетелью, потеряет свою прелесть. Они не думают, как это трудно и как нужна с их стороны помощь. Что

открыло тебе глаза, что привлекло тебя ко мне втайне, что и тебя, и меня заставило, наконец, скрываться? Подозрение и принужденность! Почему же и теперь нельзя того же бояться? Почему она об этом не подумает. Я имел силу сказать себе: перемени всё и всем пожертвуй! имел силу желать этого искренно! имел силу даже несколько времени искренно себя превозмогать — а она не имеет силы сказать себе: буду любить брата как сестра и, совершено вверившись ему, дам ему всё возможное счастье! То, что я теперь делаю, есть дело жертвы и жертва свободная, но весьма трудная — то, что ей дóлжно сделать, совсем не есть жертва, напротив, ей же самой счастье! Разве трудно поверить своей дочери и своему брату и быть между нами без всякого подозрения! Она говорит мне: будь тверд! а сама никакой твердости не имеет в своей доверенности! Два дня хорошо, а десять дурно!

Наше вместе, с тою прекрасною целью, какую я себе предположил, было бы прекрасно, но без доверенности ему быть не можно. Ее к нам не имеют — и нам *расстаться*. Так и быть, если уже ничего иметь не дóлжно. Разлука всё мое мне возвращает. Я всё отдавал, что мне дорого, отдавал искренно, и ты бы то же сделала. Мое письмо у маменьки. Она знает, что могла бы из меня и для меня сделать. Но в этом же письме я говорю, что могу быть братом только вместе с нею,

что розно она не имеет никакого права на мое сердце, ни на те чувства, которые в нем; что я жертвую ими не потому, что считаю их беззаконными, а потому, что искреннее пожертвование считаю необходимым для общего счастья. Итак, я перед нею прав — прав самыми чувствами. Разлука избавит нас от опасности нарушить данное слово. Всё будущее друг для друга и для добра. Теперь ты в своей горнице не будешь одинокою — твой верный товарищ будет с тобою, а мой никогда меня не покинет. Теперь не буду бояться своего чувства; оно попрежнему будет во мне источником всего прекрасного. Я нашел для себя правило, которого теперь не отдам за миллионы: *всё в жизни к великому средство*9. Это правило можно легко применить как к целой жизни, так и к каждому отдельному обстоятельству! Стоит только спросить у себя: к чему великому или прекрасному оно может быть средством. Этому правилу я уже обязан многими добрыми минутами, и с ним нигде и никогда не пропадешь. Нужды терпеть не буду — я один! Вспомни Эверса10, и скажешь себе, что бедности нет на свете. Не воображай меня несчастным — у меня есть твое уважение, твоя дружба, воспоминания, друзья, прекрасная цель и твердость! Я буду верить твоему сердцу; это значит, что ты всё употребишь для своего счастья и никогда им не пожертвуешь из воспоминания о своем брате и благодарности за его к тебе любовь! Этой только верности от тебя требую и на этом только условии *всё* обещаю. Я желал бы, чтобы ты была более с собою, с своими мыслями, с своим Фенелоном11; чтобы ты записывала для себя свои мысли, чувства и опыты, так, как это уже начала было делать. Знаешь ли, как это утешительно, особливо тогда, когда бы желал и не можешь кому-нибудь передать сердце. Пусть этот *кто-нибудь* будет бумага — думать и выражать мысли есть облегчение. Я же смотрю на жизнь

теперь совсем другими глазами — человек не должен быть несчастлив, если только он может быть добрым! Эверс один на свете и беден! На что будущее?

Вся жизнь в настоящей минуте, посвященной добру! За такою доброю минутою следует другая, ей подобная, — следовательно и счастливая: из минут дни, из дней жизнь, а за жизнью вечность и вместе. Так неприметно, от одной доброй минуты переходя к другой, очутимся вместе с прекрасным прошедшим, в котором также были не розно, потому что были равно добры. Прости. Persévérance[[170]](#footnote-170).

**211.**

**М. А. Протасовой**

*15 апреля <1815 г. Дерпт>*

15 апреля

Вчера, в то время, когда ты была у вечерни1, я прошел вниз и нашел маменьку одну с Сашею. Я говорил с нею опять и искренно. Сказал ей, что не говею2 оттого, что она не позволила бы мне ходить в церковь вместе с тобою, и что такого рода осторожность совсем не годится; что я хочу иметь ту же свободу с тобою, как с Сашею; что мне больно теперь бояться и говорить с тобою, и смотреть на тебя, теперь, когда я ей брат; что ей нельзя требовать, чтобы слова были дело, — что я имею искреннее намерение всё переменить, но что переменится всё от постоянства, а не вдруг одним словом, и что для этого нужна с ее стороны помощь; что я всегда замечал, что принужденность только ослабляла меня и что я при ее со мною перемене сам менялся; — окончание разговора было, что тебя *надобно выдать замуж* (это она сказала) — я прибавил: *надобно,*

*чтобы ты была счастлива*.

Послушай, друг! Нет ничего лучше семейственного счастья, и ты должна его иметь. Я одного только боюсь, именно, чтобы не случилось то, от чего я своим пожертвованием тебя хотел избавить. Если тебе сделают насилие и ты выйдешь замуж не только без склонности, но еще и сохранив противное чувство, — и если я еще должен буду этого быть свидетелем — тебе дóлжно освободить сердце для счастливого замужества; отдать себя другому с надеждою,

что будешь с ним счастлива, — одним словом, сделать из себя всё то, чтобы быть готовою для семейного счастья! но никак не жертвовать собою! Эта жертва не только бесполезная, но, можно сказать, и преступная. Для чего может быть необходима она! Чтобы иметь эту готовность *быть счастливою* с другим, ты должна приучить себя смотреть на меня другими глазами, видеть во мне брата, друга, который этого же счастья за тебя желает, но для меня же и из уважения к своей должности ты должна стараться, чтобы замужество было для тебя сча-

стьем драгоценным, а не бедствием, с которым ничего на свете не сравнится.

Особливо для тебя это бедствие будет несносно! Что же я буду, если за всё, что у меня взято, еще надобно будет быть его свидетелем!

Одним словом, опять имею надежду, что сестра моя будет моею сестрою и что мне дано будет право любить мою Машу и жить для ее счастья. Но я желал бы, чтобы и ты посмотрела беспристрастными глазами, основательна ли моя надежда? Не лучше ли я сделаю, когда с вами расстанусь? Живучи вместе, не будем ли мы только нарушать друг другу спокойствие?

**212.**

**М. А. Протасовой**

*16 апреля <1815 г. Дерпт>*

16 апреля

Вчера утро было прекрасное1. У нас у всех было на душе свободно. Мне кажется, что есть начало той доверенности, которой я желаю и которая одна всё нам дать может. Когда я принес цветы, то *объявил*, что один горшок для тебя, — это не сделало дурного впечатления. Когда делал приготовления к обеду — то их не приняли в дурную сторону. Добрый знак. Вчера еще, без вас, но при ней, побранил я Воейкова, за его стихи ко мне в альбом, в которых он хвастает своею дружбою ко мне, которая будто *гладила меня против шерсти*2, и сказал ему довольно резко, что я от него никогда не слыхал жестокой правды и что мне совсем не нужно напоминать, что тот друг, который говорит правду, хотя и неприятную. Это не имело дурного впечатления. Но об этих стихах Воейкова ко мне знает моя книга3. Они служат новым доказательством, что он везде хочет быть в виду, всем казаться. И здесь он хотел дать почувствовать, что теперешняя моя перемена есть плод той жестокой правды, которую он мне сказал, — хороший плод хорошего разговора. Я спросил у него, когда он говорил мне такого рода правду? И наперед угадал его ответ. Он отвечал мне: *а третьего дня*? Именно то, чего я ожидал. Это тот день, в который я написал у него в альбоме. Черта негодная4. Если бы он знал настоящую причину! Но что ему до настоящих при-

чин? Ему хочется только *казаться*! Не *жить*, а только заставить других думать, что он *живет*! Оставим это. Я не могу быть оскорблен и унижен тем, что могут подумать, что я только потому, что Воейков доказал мне, что надобно *испра-*

*виться*, решился на перемену образа чувствовать! Голос и оправдания сердца всего лучше! А ты, моя Маша, мой двадцатилетний Эверс5, знаешь, что у меня в душе — чего же более! Можно жить прекрасно! Стоит только теперь стараться

о нашем счастье и сказать себе, в чем оно состоит.

Докончу сперва историю вчерашнего дня и нынешнего — а там слова два и о будущем.

Вчера после причастия6 ты обняла маменьку, и она заплакала вместе с тобою. Напрасно я взял ее за руку — этим я напомнил ей только о прошедшем. А в эту минуту, если бы она тоже нас понимала, мы бы должны были думать об одном прекрасном будущем и на всю жизнь *друг другу поверить*. Мысль,

что она не поняла меня, стеснила и даже охолодила мне сердце на минуту — но persévérance![[171]](#footnote-171) и всё будет. Ввечеру, когда я возвратился домой и нашел вас всех вместе и тебя такою веселою, не знаю, отчего стало мне грустно, — нет! знаю,

отчего! Я вообразил, что кто-нибудь другой уже на моем месте, а еще сердце не так привыкло к этой мысли! И поутру проснулся с этою же грустью — но утро всегда возвращает хорошие мысли! Ты не огорчайся, если будешь видеть меня в иные минуты и унылым, и мрачным! Можно ли не быть теперь этим минутам! и они будут еще, может быть, долго! Только не бойся их и для них не переменяй того, что должно быть не на минуту, а навсегда. Когда старое возвращается — я грустен! Эта грусть — верный товарищ эгоизма! Хорошее, доброе, бескорыстное, то, что есть настоящая любовь к моей милой сестре, единственно ее достойная, то всегда весело, ясно и чисто! Я знаю, каков я теперь *быть должен, —* понятие об этом во всякую минуту, и хорошую, и дурную, *одинаково*: но я еще не сделался тем, *что дóлжно*; я еще никак не дошел до той высоты, на которой быть *дóлжно,* — ведь я отказываюсь от тебя не из равнодушия, не из холодности! Дать другое свойство моей привязанности к тебе я должен и решился! Но этого не сделаешь в одну минуту! и ты должна мне помогать! По старой привычке я называю *моим* то, что не должно быть *моим*, или что будет моим, но не так, как прежде! Разве я потеряю тебя тогда, когда ты будешь

*счастлива* с другим? и счастлива некоторым образом от меня? Нет! милая, поверь, что мое сердце привыкнет предпочитать это счастье прежнему! Только ты будь моею помощницею! Смотри на это так, как мне дóлжно; не огорчайся моими тяжелыми минутами! Иди вперед, за тобою и мне будет легко; если же и над тобой что-нибудь грустное будет иметь силу, не поддавайся; всякую противную мысль удаляй от себя, а если трудно, жди, чтобы доброе опять возвратилось, и оно, верно, возвратится, так как я уже это испытал на себе. Жди того,

что скажет добрый шептун, который всегда умеет дать бодрость душе. Чтобы грустные минуты не приводили в отчаяние и не мешали бодрости! Это минуты, которые проходят, а доброе не меняется. Когда увидишь меня грустным, думай,

что это ненадолго; когда увидишь веселым, знай, что я доволен собою, что в эти минуты наиболее люблю тебя и что в душе у меня светлые мысли о твоем счастье, что я воображаю себя его причиною, что с этой минуты всё низкое пропадает и всё хорошее берет верх! Милый друг, и в грусти и в радости помню тебя — но в грусти я более эгоист; а в радости — я весь принадлежу тебе. Последнее лучше, и ты должна желать, чтобы последнее сделалось постоянным. Оно дает мне прямое счастье. С *прежним* я не могу ничем заняться. *Последнее*, напротив, оживляет во мне всё; занятие становится и приятнее, и успешнее, а всё хорошее — еще лучше. Прекрасные мысли и чувства теперь имеют еще более цены для меня. Давеча это место в проповеди мне понравилось так, как бы прежде не могло понравиться7*. Пусть время промчится над их гробами — лишь бы не унесло об них воспоминания! Они живы!* Вообразим же, что в прошедшем умерло для нас только то, что не должно жить всегда; но чистое, вечное осталось! Пусть проходит время — оно не умертвит того, что вечно! Оно живо! Мы живем для другого и лучшего! Расставшись во всём том, что не должно быть нашим *вместе*, мы ближе друг к другу в том, что теперь прямо *наше*. Теперь *прекрасное* состоит для нас в побеждении себя. Для тебя *победить* себя — значит всё сделать для своего счастья и совершенно увериться, что в нем и *мое*, следовательно приучить себя думать об нем так, как бы ничего прежде не было. Для меня победить себя — значит совсем не иметь прежн<их> желаний и надежд, всё, что было вдвоем, передать тебе одной — одним словом, жить в будущем за *тебя*. О! в этом будущем много прелестного! Разве трудно желать его и надеяться с такою же живостью за одну тебя, как прежде за нас двоих! Не отыми же у меня этой надежды и будь мне в ней товарищем. *Средство* к этому *прекрасному* есть искреннее пожертвование тем, что ему противно! А чтобы было пожертвование, нужна твердость! нужно, чтобы мы друг с другом были согласны. Я уже сказал, в чем твое счастье, и ты должна в этом себя уверить! Не думай никак, что, желая его, ты нарушишь любовь и ей изменишь! Напротив, теперь изменою будет, если будешь делать не то, что дóлжно! Ты должна иметь прекрасные надежды, ты стоишь того, чтобы они были исполнены, а для меня не дóлжно ли быть счастьем, когда они исполнятся! Что же касается до моего собственного, то и об это<м> ты должна иметь мои же понятия! Ты говорила маменьке, что желала бы видеть меня отцом семейства; милая, я могу прожить без этого8 — мне же надобно *искать самому*, а тебя, напротив, — *искать будут*! Это большая розница! И мое положение совсем другое, чем твое, — я имею занятия, имею круг действия; для тебя же другого нет, как в семействе. Но главное,

чтобы ты была счастлива в семействе. Этого-то счастья хочу, чтобы ты надеялась, этого счастья желал бы тебе дать — сколько еще много мне останется!

Мысль, что ты всё имеешь, твоя дружба, работа полезная и одобрение сердца.

Прошу всё это переписать и так, как переписана прежняя голубая книжка, — то есть страница твоя, страница моя9. Себе не так верю, как тебе. А то, что скажешь мне ты, то будет свято; я буду тогда тверд и всё исполню. С этой минуты я твой друг, твой брат — и в этом persévérance[[172]](#footnote-172).

Вот тебе и тетрадка, в которую переписать.

Назначить *правила* обхождения с каждым особенно, с маменькой, Воейковым, тобою и — с собою.

*NB.* Я никогда не говорил Воейкову, что ты мне сказала о Красовском; он солгал10; он поступил с тобою, как полицеймейстер с колодником; — мое *NB* стерто! Видно, он его видел11.

**213.**

**М. А. Протасовой**

*20 <апреля 1815 г. Дерпт>*

20 <апреля>. Мне не дóлжно оставаться в Дерпте1 — это будет и моею, и Машиною погибелью. Подале от них — в этом слове и свобода, и добродетель. Милая Маша, решившись всем пожертвовать, я думал, что сделаюсь точно твоим братом, — счастливить тебя, быть с тобою искренним, делиться с тобой мыслями и чувствами было бы для меня большим вознаграждением! Я привык бы к этому новому положению, разумеется, не вдруг, а мало-помалу. Я чувствую,

что для меня со временем было бы возможно все свои надежды передать тебе и для себя оставить одну только радостную мысль, что я способствовал к твоему счастью. Делая свое пожертвование, я думал, что поступаю согласно с тобою, что и тебе так же, как и мне, легко будет на него решиться; в этом уверил меня и первый твой ответ на мое письмо, и то, что ты написала на мое письмо к маменьке2. Думая, что ты согласна на всё, что ты желаешь и прежде этого желала, мне легче было забыть о себе совершенно — теперь вижу, что тебе это так же трудно, как и мне! Это удвоивает для меня собственную мою тягость. Если бы <мы> могли жить непринужденно друг с другом — я мог бы надеяться и на себя, и на тебя. Возвратить спокойствие твоему сердцу было бы делом дружбы: мы бы сделали друг друга счастливыми. Мы бы согласили свои мысли и чувства с тою должно-

стью, которую взяли на себя, — словом, мы бы были добродетельны *вместе*. Но порознь это невозможно. Что ни делай над собою, ничто не устоит против подозрения. Меня угощают приятною наружностью — а в сердце, из которого, как из бездны, ничто не выходит наружу, всё старое. Это *старое* невольно обнаруживается в некоторых словах, к которым привязаться нельзя, но которые показывают ясно всё то, что служит им основанием. Хотят от меня братских чувств, а их ко мне не имеют — как же я могу иметь, принужден будучи еще победить такое чувство, которое так долго было им противно, которое мне дорого, которого не считаю и никогда не сочту преступным. Мне говорят, что хотят и считают нужным делать мне напоминание, то есть держать над моею головою розгу, чтобы я как-нибудь не забылся, — самое верное средство заставить меня не забыться, а всё свободно нарушить. Против любви и доверенности я не сделаю шагу.

Унизительное подозрение я сам готов буду растоптать. Между тем Воейков из сообщника сделался шпионом — он за нами присматривает; что услышит

от меня искреннего, то пересказывает, чтобы там показать, что он хранитель семейного спокойствия! Но пересказывает не при мне, а наедине, и это видно только по тому действию, которое имеет оно на обращение со мною. Два дня я брат, а десять дней я враг. Когда Воейкову угодно шутить со мною своим дурацким образом, то сердятся, что я отвечаю ему в его тоне, ему говорят при мне, зачем он подвергает себя моим ответам. Когда же скажу ему просто, чтобы он перестал говорить глупости, которые скучны и неприятны, то меня же обвинят в капризе, потому что всё это пересказано наедине и своим образом. Одним словом, тьма мелочей, которым нет имени, которые для них незаметны, но все вместе или одна за другою действуют сильно и разрушают всякую силу и бодрость. Нечувствительно дойдет до того, что наша решимость пропадет, что мы сами себе изменим — причины будут существовать, но кто их заметит! Вина будет явная, основанная на документах3: слово дано, а по словам Воейкова Е<катерина> А<фанасьевна> всё со своей стороны сделала, что она довела до вины, того не будет видно. Опять нас во всём осудят, опять мне Воейков,

с своим обыкновенным бесстыдством, скажет, что я *обманул,* — что ж буду отвечать! Эти люди так же строги, и так же слепы, и так же нечувствительны, как закон уголовный, который осуждает по документам и не входит в разбор тайных и самых сильных причин. Они же судьи в своем деле — чтобы оправдать, надобно обвинить себя. Для этого не имеют они нужных качеств. При таком унизительном принуждении можно ли отвечать за себя! А если еще принужден будешь сам себя признать виноватым, что останется в утешение! Извне тяжелые обстоятельства; а в самом себе мрачное чувство! Одним словом, погибель всего, что есть теперь наше счастье! Нет, милая Маша, наконец, воспользуемся многократным опытом и будем недоверчивы к обольщению минуты! Скажем себе решительно, что от них ожидать ничего невозможно, и предупредим обвинение собственного сердца. Ты говоришь мне: называй чаще ее сестрою! Милая, ты написала это не подумавши. Ты даешь мне роль Воейкова. Я могу сказать святое слово *сестра* не иначе как с тем только чувством, которое с ним неразлучно. Употреблять это имя, как одно только средство, так, как некогда Воейков употреблял *Религия*4, как средство получить то, что мне нужно, — я не могу, если бы и хотел. Сказать твоей матери *сестра* есть для меня чувствовать, что я имею всё счастье брата, что она мне верит, что она мне вверяет и тебя, что я имею с тобою всё счастье друга и брата.

Есть ли здесь что-нибудь на это похожее? всё напротив! Как же называть ее сестрою? Это было бы святотатство! Если же ей нужны одни слова, то мне ими довольствоваться невозможно. На одной из страниц Делилевых садов, исписанных замечаниями Воейкова5, стоит: *16 марта. Приезд Жуковского в Дерпт;* на другой: *от десятого февраля до двадцатого марта был совершенно счастлив. Воейков*, за этим следуют подписи маменькина: *и я*, Сашина: *и Саша*, и твоя: *и Мария*. Я выставил карандашом свое NB. Эти две надписи служат новым доказательством, что здесь всё одни слова, всё одна наружность. Будь только *вид*, до *дела* нужды нет. Сердце у меня стеснилось, когда я всё это прочитал. Воейков подписал свое имя с искренним чувством. Надобно только понять это истинное счастье, чтобы поверить, что он не лгал, и чтобы ему не позавидовать. Для своих физических нужд он всё имеет; а сердце его нужды не знает — следов<ательно> у него есть всё. На лекциях были генералы6; их же никто не понимает, и все верят, что они хороши; и прочее и прочее. Маменька, увидя подпись, ей поверила, и как же не поверить, когда стоит на бумаге: *совершенно счастлив*. Это трогает душу; Саша, верно, подумала о тебе, верно, в душе у ней было такое

чувство, которое не совсем согласно было с тем, что пишет рука, но как же было не написать, своим же собственным положением она довольна! У ней есть душа прекрасная, которою она всё украшает! Но я уверен, что ей было несколько и грустно. Но ты, Маша, с каким чувством это написала! У тебя всё взято, ты же должна говорить: я счастлива совершенно, и те, от которых зависит твоя судьба, этим довольствуются, этому верят и радуются твоим счастьем, в котором не может и не должно уже быть недостатка, потому что ты написала: *я счастлива*

*совершенно*! Вот семья, составленная из четырех человек, из которых каждому всё известно (или, по крайней мере, должно быть известно), что происходит в душе у другого, и которые играют друг перед другом комедию, один против воли, а другие потому, что иного и делать не умеют, и между тем еще сами себя хотят уверить, что это не комедия, а что-то в самом деле. И таким это будет вечно. Что в таком кругу притворчивом сделает простодушие! Оно вечно потеряет, вечно будет иметь наружность несправедливости. Им будут пользоваться,

чтобы над ним же торжествовать. Все эти записки, разметанные по книгам, которые всякий нечаянно видит и прочитать может, имеют что-то весьма подозрительное. Хочется другим открыть свое чувство и между тем остаться в стороне, чтобы возбудить бóльшую к нему доверенность.

Помнишь ли, что написано было на Геснере7 и к чему я подписал карандашом: *всё* *притворство*! Там стояло: *несчастье и опыт Авдотьи Николаевны будут счастьем и опытом для Саши; после матушки, она ей лучший ментор, нежели я и Маша*. Тогда это меня поразило не потому, чтобы я знал уже всю связь его с Авд<отьей> Ник<олаевной>8, но потому, что я знал его образ мыслей насчет маменьки9. Если бы это написано было для себя одного, то он не поставил бы *после матушки*, о которой он поговаривал не с большим уважением, — итак, это было написано для того, чтобы матушка прочитала, и для того, чтобы и она

согласилась, что А<вдотья> Ник<олаевна> есть обреченный для Саши ментор. Но что же сказать теперь, когда мы знаем, что такое Авд<отья> Никол<аевна>, когда знаем их бывшую связь и когда видели, с каким презрением этот *прежний*

*ангел, этот необходимый ментор* забыт. Что сказать о его сердце, когда он так равнодушен к той, которую обожал до женитьбы. Это не значит, что надобно бы было сохранить связь. Но спрашиваю, в чем состояла эта связь. Кто был ангелом в одно время, тот будет ли чертом в другое. Теперешнее презрение служит ужасным обвинением прежнему обожанию. Но дело не о том. Эти записки не иное что, как обман, и самый тонкий. Обман во всём смысле этого слова, то

есть *притворство с целью, для чего-нибудь*. Тогда это было написано *для того*,

что он имел намерение переселить ее к нам в дом. И сколько мелких обстоятельств, обнаруживающих характер, приходят мне теперь на память. Помнишь ли, как он описывал ту радость, *с какою приняла А<вдотья> Н<иколаевна>* *его известие о помолвке и как все в Рязани*10 *дивились этой радости, которая есть самое сильное доказательство, что слухи ложные*. Можно ли говорить такие вещи свободно? с видом искренности? А когда я сказал ему, что Мерзляков говорил мне о его связи с Ав<дотьей> Ник<олаевной>, что он отвечал? *Мерзляков подлец, и клеветник, и пьяница!*11 То же, что теперь писал в письме к Каченовскому12 и чем радовалась так маменька! Чтобы поддержать свою ложь, он клеветал на своего самого короткого друга, именно в ту минуту, когда называл его *клеветником*. Имеет ли над сердцем его какую-нибудь власть голос совести! В этом ответе для меня две ужасные вещи: решительное, холодное притворство и желание только *казаться*, не заботясь о том, чтоб *быть*, и другое: готовность пожертвовать всем святым для достижения своей цели. Тогда я имел безумство поверить. Но теперь, когда прочитал то же самое в письме к Каченовскому, сердце поворотилось. И на это письмо сделать можно много замечаний. Но оставим грязь и возвратимся к прекрасному. Милая Маша, скажем решительно друг другу, что наше прекрасное в разлуке — нам не дадут быть добродетельными, и мы даром отдадим всё свое лучшее. В слове разлука — и свобода, и добродетель, и всё нам возможное счастье. Что выигрываем мы, живучи вместе, — только то, что делает жестокою разлуку. Неужели значит быть *вместе —* видеть друг друга и не иметь способа сказать друг другу искреннего слова; значит ли быть вместе — страдать, не облегчая друг другу страдания? Значит ли быть вместе — затруднять друг для друга исполнение обязанностей? Значит ли быть вместе — напоминать только друг другу своим присутствием, что мы во всём разлучены и что для нас ничего общего никогда не будет! Милая, не бойся этого слова: разлука! Оно благодетельное теперь для нас слово! Оно мне, по крайней мере, всё *мое* возвращает! Спрячемся в глубину своего сердца, там наше *всё* — спокойствие, верная дружба, свобода чувствовать, желание прекрасного, твердость в достижении к нему, энтузиазм, доверенность друг к другу и к самим себе. *Вместе* мы не воспользуемся никаким средством к прекрасному — у нас оторвут руки, если мы их к нему протянем. *Розно* — мы свободны и жизнь совершенно наша. Надобно только переменить об ней понятия. Я когда-то написал: *счастье не состоит из удовольствий простых, но из удовольствий с воспоминаниями*, и эти удовольствия сравнил я с фонарями, зажженными ночью на улице; между ними есть промежутки, но эти промежутки освещенные, и вся улица *светла*, хотя не вся составлена из света13. Так и счастье жизни. Удовольствие — фонарь, зажженный на дороге жизни, воспоминание —

свет, а счастье — ряд этих прекрасных воспоминаний, которые всю жизнь озаряют. Вот тебе истолкование Дуняшиной печати14. Надежда — пустое слово. Оно прекрасно только для неопытности, которой жизнь неизвестна. Тогда вся прелесть этого слова заключена в его непостижимости. Но что же надежда — беспокойное, иногда сладостное ожидание чего-то в будущем. Такое ожидание более вредно, нежели полезно. Оно уничтожает настоящее. Если оно весело, то делает к нему равнодушным; если печально, то отравляет его. Позабудем о будущем, чтобы жить так, как дóлжно. Милый друг, пользуйся беззаботно настоящею минутою, ибо одна только она есть средство к прекрасному! Зажигай свой фонарь, не заботясь о тех, которые даст Провидение зажечь после; в свое время ты оглянешься, и за тобою будет прекрасная, светлая дорога! Между настоящею минутою и неизвестным пределом жизни поместим не надежду, а Провидение. Переходя от одной хорошей минуты к другой, нечувствительно дойдем до этого предела, за которым верное, прекрасное будущее! Об нем думать можно без волнения — оно не мешает жизни! Но здешнее будущее есть настоящий враг всего прекрасного! Что в нем? Приходит ли оно когда-нибудь таким, каким мы себе его воображаем! На что же ему верить и об нем заботиться! А прошедшее пускай идет с нами рядом! Il ne faut pas s’avancer dans la vie, en détournant la tête, comme nous écrit Annette[[173]](#footnote-173)15. Надобно сделать из прошедшего своего товарища. *Для сердца прошедшее вечно*16, а наше с тобою прошедшее есть самый необходимый друг наш! С ним только будет для нас и настоящее прелестно. Уверяю тебя,

что у меня теперь на душе так ясно, как никогда не бывало. Мне везде будет хорошо: и в Петербурге, и в Сибири, и в тюрьме, только не здесь, где не дадут мне ничего доброго исполнить и где я только разрушу твое спокойствие. Безумство воображать, что человек зависит от места. Петербург полон людьми, которые меня знают, и там есть, верно, Эверсы17; а Тургенев по своему сердцу мой верный товарищ! Нет, друг милый, я буду работать с энтузиазмом — во всякую минуту жизни можно быть *человеком*. Здесь только эти минуты, которые можно употребить на добро, будут посвящены только на то, как бы предостеречь себя от зла! И что же, если и то не удастся!.. Впрочем, если петербургская жизнь не будет мне сносна — есть Долбино и Мишенское! Ты хотела мне закричать вслед: *поезжай в Долбино*! Может быть, и послушаюсь. Где бы я ни был, везде у меня будет хорошее настоящее и свобода им воспользоваться; прошедшего никто у меня не отымет — а будущего не надобно. Одно только условие! Не дай собою пожертвовать! Чтобы твой друг, твой брат не мог никогда упрекнуть тебя, что ты добровольно истребила всё его счастье! Напротив, если будешь счастлива каким бы то ни было образом, то это будет мне же наградою! Нас не разлучит ничто! Быть счастливою для тебя — значит пользоваться тем, чего ты достойна, и быть его достойною. Разве это может разорвать твой союз со мною.

**214.**

**М. А. Протасовой**

*22 апреля <1815 г. Дерпт>*

*22 апреля.* Что значит для меня *стараться выдать тебя замуж*1, как я это обещал, и обещал искренно? Получить полное право располагать наравне с твоею матерью твоею судьбою и дать тебе с другим такое же счастье, какое желал бы дать с собою! Знаешь ли, что эта мысль несколько времени меня радовала! Я думал, что я найду человека, тебя достойного; что я помогу тебе возвратить покой душевный, что ты и этим счастьем будешь обязана мне же. Я мог бы смотреть без ревности и без зависти на человека, которого сам бы для тебя нашел, и уверение, что всё сделано мною для тебя, было бы и подпорою моею, и наградою! Я же был уверен, что ты с своей стороны готова быть со мною согласна и что стоило бы нам быть искренними, откровенными друг с другом,

чтобы всё привести в порядок. Помнишь ли одно выражение твое: mariée ou non mariée, je conserverai toujours le même sentiment[[174]](#footnote-174)2. Признаюсь, сначала, когда я это прочитал, у меня сердце невольно стеснилось; как! ей самой уже кажется *возможным* замужество! Но после это же дало мне бóльшую твердость! Так и должно (подумал я), легче будет всё исполнить. Но теперь кажется мне, что ни-

чего нельзя исполнить! Ибо что для них значит *обещание мое помочь выдать тебя замуж*! Не иное что, как обещание быть немым свидетелем, когда захотят тебя бросить в руки первому, который представится с какими-нибудь выгодами или даже и без выгод. Советовать и противоречить мне будет нельзя!3 Мое противоречие и совет истолкуют иначе и заставят меня молчать, напомнив мне мое обещание! Я буду рабом, и в то же время сам принужден буду смотреть, как бездушный Воейков, без всякого к тебе участия, будет продавать твое счастье! Ведь надежда, данная Красовскому, не есть ли торг?4 Итак, в этом моем обещании, которое имеет для меня такой прекрасный смысл, есть не иное что, как жестокая для меня неволя; то, что я считал средством *предохранить тебя*, не послужит мне ни к чему, и я буду только запутан в цепи. С именем брата я думал получить одинакие права с Воейковым — напротив, и теперь я в зави-

симости от него же. И он же выставляет себя всегда вперед. Он хочет уверить,

что я всё сделал по его советам; во всё вмешивается, но не так, как друг, а как человек, которому хочется играть первое лицо. Если бы у него была душа и искренность, как бы ему теперь легко было всё сделать прекрасным, не хвастать этим, а действуя для общего счастья, из одной дружбы. Напротив, он уверяет маменьку, *что она всё сделала*, что мне остается еще и это заслуживать; что я говорю с ним наедине, пересказывает ей; шпионствует и тому подобное. На его советы ехать к Дуняше я отвечал грубо; признаюсь, мне не хотелось дать ему права сказать, как всегда, что я поступал здесь по его советам! На что давать повод к новым стихам в альбом5. Он мне отвечал: *ты сердишься, когда я го-*

*ворю, сердишься, когда я шучу, сердишься, когда молчу*. Говори, когда нужно, и от сердца, тогда я и сердиться не буду. Одним словом, против этих людей правым быть невозможно. Я спрашиваю, Маша, довольна ли ты нашим положением? и можешь ли ожидать в нем перемены! Лучшего ждать нельзя, а то, что есть, куда годится? Впрочем, может быть, ты смотришь на это другими глазами!

–––

Не желать ничего страстно?6 Этого нельзя себе сказать заблаговременно — надобно испытать жизнь, чтобы наконец это подумать, а, подумав, исполнить! Я ничего не желаю страстно — я имею доверенность к Промыслу, соединенную с терпением. Желать страстно — значит вмешиваться в его правление! *Стоить* — вот дело человека.

Il faut mettre, à la place de l’espérance qui trompe presque toujours, la providence qui ne trompe jamais — alors tout devient conséquent dans la vie! on sait d’avance le

mot de l’énigme! Il n’est autre chose, que: *mériter*[[175]](#footnote-175).

**215.**

**А. П. Киреевской (Елагиной)**

*<Конец апреля* (*не позже 28-го*) *1815 г. Дерпт>*

Вы пишете, милая моя и добрая сестра, или, лучше всего, друг, чтобы я дал Вам совет, которому Вы последуете с точностью, — вот что пугает меня — дать такой совет, которому непременно последуют, — значит дать непременно совет хороший! Как же себе поверить, особливо в таком деле, в котором я худой советник! Милая, как мне в эту минуту жаль, что я не имею всемогущества; дал бы себе опытность, дал бы себе знание дел и явился бы у Вас в Долбине, опекуном Ваньки, Петруши и Маши. Revenons à nos moutons[[176]](#footnote-176). Одна половина Вашего плана мне понравилась: жить своими доходами, не тратить ни копейки более своих доходов, предоставить управление детскими деревнями верному

человеку и чтобы он имел воможность всё привести в порядок, дать ему полномочие и для этого самой уехать — всё это прекрасно; но вопрос, кто этот человек, которому можно дать полномочие? Вишнякову можно ли дать доверенность? Он уже, как Вы сами пишете, показал себя и с дурной стороны!1 Как же оставить его господином Вашего имения! На это не могу сказать ни да ни нет! потому что не смею! и выходит, что я не даю никакого совета! Мне пришла было в голову вот какая идея: привязать Вишнякова к Вашим выгодам его собственными выгодами! Например, сделать с ним условие, что он непременно по окончании опеки, и если опека будет такова, как должно, получит от Вас из Вашего собственного имения 100 душ — эта надежда иметь наконец верное состояние была бы для него поощрением употребить всё внимание на управление деревнями! Но вопрос, стоит ли Вишняков такого пожертвования! Может быть, со всею доброю волею он не в состоянии ничего сделать. Вот другая *мысль*: *найти хорошего управителя* (о чем можно похлопотать и здесь, и в Петербурге) и дать ему для поощрения ту же надежду на 100 душ; он бы занимался делами хозяйственными, а для надзору за ним и для сохранения порядка в делах по

опеке назначьте меня опекуном. Я не думаю, чтобы это была такая тарабарская грамота — нужна только заботливость, добрая воля и точность. Всё это можно иметь, если только захотеть; люди управляют государствами, а мне не управиться с бумагами опекунскими — этому я плохо верю. Но только надобно непременно, чтобы был человек, который бы имел в полной власти хозяйственное распоряжение и его разумел. Тогда всё, что мне останется сделать, будет безделица; в короткое время могу получить весь нужный навык — стоит только захотеть, а я захочу верно. Для безопасности же моей надобно иметь и другого

опекуна, который был бы только свидетелем, не был бы принужден иметь забот, но, по крайней мере, видел бы, как всё делается, и помогал хотя советом — для этого можно взять только как опекуна Василья Николаевича2. Приказчика

здесь найти можно; вчера я видел одного, за которого ручается такой человек, за которого я ручаюсь. Но он требует ужасно дорого. Если ему дать надежду на 100 душ, то это будет лучше всякого жалованья и тогда, разумеется, он должен будет взять втрое меньше. 100 душ можно отдать за сохранение 1000. Он человек умный; не знаю, хороший ли хозяин — но в этом случае надобно верить тому свидетельству, которое дают ему здесь знающие люди; за честность его ру-

чаются. Одним словом, он или кто другой был бы настоящим хозяином и на его руках лежало бы всё главное дело; я был бы опекуном, в первый год довольно худым, во второй лучшим, а в третий прекрасным и наконец совершенным; Василий Николаевич был бы моим дядькою, сторожем, советником и прочее; а Вы бы, милостивая государыня, сперва оставили бы нас в покое, то есть уехали бы из Долбина в Дерпт, дабы развязать нам руки, дать всем всё привести в порядок, жили бы своими доходами, получали бы только нужные на воспитание деньги, занимались бы усердно и без разделения тем только, чем заниматься должны, — воспитанием детей, которым, что ни говори Елена Ивановна3, Вы еще нисколько не занялись, хотя и прочитали M-me Edgeworth4 и пр. и пр. Потом на готовое, на приведенное в порядок, возвратились бы домой, и дело Ваше состояло бы в том,

чтобы не расстроить то, что устроено. Не знаю, может ли быть таким приказчиком, какого мне надобно, Вишняков; об этом потолкуйте с сестрами; знаю, что и я худой опекун quant au présent[[177]](#footnote-177), но я думаю, что с доброю волею и доброю помогою можно сделаться скоро тем, что дóлжно. Ведь я же принужден теперь пойти в службу — почему же служба (какая бы она ни была, а я еще никакой не знаю) легче опекунства? В службе же своя одна выгода — cela ne me tente pas et cela ne me donnera pas toute l’activité nécessaire![[178]](#footnote-178) А здесь — польза *настоящая* милых моих друзей! Поневоле из кожи вон полезешь! Одним словом, если будет хороший приказчик и если будет Василий Николаевич или подобный ему другим опекуном, то я готов! Вас же прошу за меня всё обдумать — я еще не имею полного понятия о всех опекунских обязанностях! Но ведь это не *море выпить*! Нужны только bonne foi, courage et résolution[[179]](#footnote-179). С этими тремя вещами всё на свете делается. Правда, не надобно забывать и того, что против этих трех прекрасных вещей лукавый часто строит свои козни, — но думаю, что когда будет идти дело не о *своих выгодах*, а о настоящих своих, то есть о *выгодах милых людей*, то будешь поневоле и тверже, и осторожнее, и деятельнее — будешь дей-

ствовать с бóльшим хладнокровием; сердце будет служить уму, а не ум сердцу. Вот всё, что я хотел отвечать на Ваш запрос, — лучшего придумать не умею. На остальное Вашего милого письма буду отвечать много, много из Петербурга5.

А Вас прошу отвечать мне на следующие пункты в Петербург, на имя Тургенева, живущего на Фонтанке, в доме князя Александра Николаевича Голицына6, близ дому военного министра. Искать ли для Вас приказчика? Дерзать ли на опекун-

ство — об этом переговорить со всеми, с кем говорить можно.

Но лучше всего, не приехать ли мне в июне или в июле месяце к Вам?7 Всё учредить и устроить, entendu, que nous sommes des têtes bien reglées, bien posées[[180]](#footnote-180). Но еще *NB*! имея на руках опекунство, Вам и думать не дóлжно о поездке в Дерпт.

Полно жертвовать минутам! Это обыкновенная моя с Вами песня. Прошу отвечать мне немедленно. До получения Вашего письма я ничего не решу с собою в Петербурге.

Вот две полные страницы, но я не знаю, есть ли в них здравый смысл, но поверьте, в них есть здоровое сердце, которое готово быть хоть *умом*, лишь бы только на что-нибудь пригодиться на здешнем свете.

Простите до Петербурга. Обнимите наших сестер. Пришлите моего Шиллера8. Поцелуйте обе ручки у милой Марьи Алексеевны9. Напомните обо мне хорошенько Елене Ивановне. Детей целую. Ваньке пришлю свой портрет10, и скоро.

**216.**

**А. П. Киреевской (Елагиной)**

*<Конец апреля 1815 г. Дерпт>*

Вот еще мысль не моя, а тетушкина1 и потому лучшая: Вы прикажете заложить ту карету, в которой четыре колеса, не стоящие и двух; сядете в нее, велите Василью ударить по лошадям; он ударит, лошади не пойдут; вы потерпите часок-другой; потом поплететесь шагом в Белев к Карлу Яковлевичу2, и следует такая сцена.

*Лакей Аполлос*. Дома ли Карл Яковлевич?

*Девка*. Дома! Готовит слабительное для Андрея Николаевича!3 *Авдотья Петровна*. Скажи, что я приехала!

*Карл Яковлевич* (потирая руки). Здравствуйте, милая Авд<отья> Петровна!

*Авд<отья> Петровна* (кланяясь). Я с нуждою к Вам, любезный Карл Яковлевич! И с большою нуждою.

*К<арл> Як<овлевич>*. Разве у Вас в Долбине нет места?

*А<вдотья> Петр<овна>.* Есть! да нечисто. Но я не о том, мой милый Карл Яковлевич! Послушайте! Я опекунша моих детей, а мне еще самой нужна опека. Посему и желаю переменить опекуна! Для этого нужен человек честный — Жуковский не вор, не пьяница, но глуп! Вы умны! Один опекун будет он — то есть для того, чтобы всё писать, везде ездить, везде хлопотать по делам! а другим

опекуном будьте Вы — чтобы ему советовать, над ним надзирать и с ним вместе проверять счеты и их подписывать! и прочее. Хлопоты же хозяйственные будут вверены хорошему приказчику — он будет у вас двух под надзором! Сверх

того, все те выгоды, которые соединены с опекунством, Вы будете иметь, что будет весьма выгодно самим Вам, ибо Ваше состояние ограничено; даже и то,

что Жуковский получил бы как опекун, Вы можете взять себе же. Я знаю его!

Он питается эфиром! и пьет медвяную росу.

**217.**

**М. А. Протасовой**

*28 апреля <1815 г. Дерпт>*

28 апреля

Милая моя волшебница! Прочитав то, что ты мне написала, я стал весел, бодр — горя и следу нет. Между тем мы с тобою расстаемся! Что *будет* вперед, неизвестно! Но нам теперь до *будет* дела нет! Настоящее и прошедшее — вот наше! А оно у нас есть и, право, самое богатое. Мы выдержали много испытаний, если иное и можно бы опорочить, то всё в целом хорошо! Не надобно надежды — на что этот обманщик, который мешает быть добрым? Сама вообрази, может ли быть что-нибудь для нас дурного? Те, которые нам вредят, или, лучше

сказать, вредили, сами несчастнее нас! Им у нас отнять теперь нечего — а что они в своем сердце? Захотим ли быть на их месте? Я говорю: *те* — нет! Это несправедливо! *Тот*!1 Милая, твое письмо помирило меня с маменькою! Я опять

чувствую к ней нежную благодарность — она за тебя заступилась. Мой отъезд свяжет это крепкими узами, и она будет самым усердным твоим защитником — теперь в этом я уверен. Прочитав твое письмо, я сошел вниз и от души пожал ей руку — она несчастна! Несчастнее нас в иные минуты! Поверь, милая, что теперь тебе будет легко быть с нею искреннею! А я, будучи от нее далеко, буду ей дороже; она, может быть, отдаст мне более справедливости, и уже ничто не будет ей мешать меня любить. Мысль, что она тебя защищает, дает мне большое спокойствие; привязывает меня к ней, и в эти два остальные дня, которые пробуду я с вами, мне будет легко ее любить.

За себя уже нечего досадовать — прошедшему забвенье! а в будущем вижу в ней одну твою защитницу! Будь я с вами — она будет меня бояться! Будь я далеко от вас — она будет видеть всё наше пожертвование, отдаст нам справед-

ливость, и если не открыто, то втайне будет одно с тобою ко мне чувствовать — вот еще благодеяние разлуки! Вы будете понимать друг друга! молча будете обо мне говорить!

Переписываю то, что тебе надобно:

Что нам до той пустыни, в которой наш голос раздается?2 Не ей нас слышать! А слышит нас Бог! Милая Маша, скажем решительно друг другу, что наше прекрасное для нас теперь в разлуке — нам не дадут быть добродетельными, и мы даром отдадим всё свое лучшее, свою привязанность друг к другу, которая *здесь* потеряет всю для нас прелесть и все свои отрады. В слове: разлука — и свобода, и добродетель, и все наши утешения. Надобно было всё то испытать, что мы испытали, чтобы живо почувствовать, как это справедливо. Что выигрываем мы, будучи вместе? Самое то, что делает разлуку несносною, *чувство, что мы розно*; расставшись, напротив, мы возвратим себе ободрительное уверение,

что мы вместе *и мыслью, и сердцем, и жизнью*! Розно это чувство, это уверение нам запрещено не будет. Неужели значит быть *вместе* — видеть друг друга и не иметь способа сказать друг другу искреннего слова! Боже мой! тебе и мне бояться говорить друг с другом и кого же бояться — Воейкова! Неужели значит быть *вместе* — страдать, не имея способа облегчить друг другу страдания? Значит ли быть *вместе* — затруднять друг для друга исполнение обязанностей? Значит ли быть *вместе* — напоминать только друг другу своим присутствием, что мы розно? О нет! мы можем быть вместе без этого жестокого напоминания: вместе одним добрым чувством, воспоминанием, добром, желанием хорошего, верою друг в друга! В какое время жизни и где ты будешь не со мною? Здесь только это невозможно! Милая, не бойся этого слова — разлука! Я вижу теперь в ней благодетельного ангела! Она и мне и тебе всё *наше* возвращает! Скроемся в глубину нашего сердца — там наше *всё*! всё спокойствие, верная взаимная любовь, свобода чувствовать, желание прекрасного, твердость в достижении к нему, энтузиазм, доверенность друг к другу и к себе самим — вместе мы не воспользуемся никаким средством к прекрасному — у нас оторвут руки, если мы их к нему протянем. Розно мы свободны, и жизнь совершенно наша. Я когда-то написал: *счастье не состоит из удовольствий простых, следующих просто одно за другим; но из удовольствий с воспоминанием*, и эти удовольствия сравнил я с фонарями, зажженными на улице ночью, — между ими есть пустые промежутки, но эти промежутки освещены, и вся улица светла, хотя не вся составлена из света. Так и счастье жизни. Удовольствие — фонарь, зажженный на дороге жизни, воспоминание — свет, а счастье — ряд этих прекрасных воспоминаний, которые все сливаются в одно общее тихое ясное чувство и которые всю жизнь озаряют. Чем чаще фонари — тем светлее дорога!3 Я сказал *надежда лишнее*! лучше сказать: *надежда пустое, вредное слово*. Это слово имеет прелесть для одной неопытности, для которой эта прелесть заключена в непостижимости этого слова. Что такое надежда? Ожидание чего-то в будущем? всегда неясное? часто беспокойное? Часто и веселое! такое ожидание более вредно, нежели полезно! Оно всегда уничтожает настоящее. Если весело, то делает к настоящему по крайней мере равнодушным; если печально, то его отравляет. Позабудем о будущем, чтобы жить как дóлжно! Милый друг, пользуйся настоящею минутою, ибо она только есть средство, и самое верное, к прекрасному! Зажигай *свой* фонарь, не заботясь нимало об тех, которые удастся зажечь после. В свое время ты оглянешься, и за тобою будет прекрасная светлая дорога — между настоящею минутою и неизвестным пределом жизни поместим не *надежду*, а *Провидение*. Переход<я> от одной хорошей минуты к другой *нечувствительно*, дойдем до этого предела, за которым верное, прекрасное будущее! Об этом будущем можно думать без сомнения — оно не мешает жизни. Но здешнее будущее есть настоящий враг всего *прекрасного*! Что в нем! Приходит ли оно когда-нибудь таким, каким мы его себе воображаем? На что же ему верить и об нем заботиться? а прошедшее пускай идет с нами рядом. Il ne faut pas s’avancer dans la vie en détournant la tête, mais il ne faut pas du tout attacher ses yeux sur un lointain incer-

tain! Tout cela empêche de *voir autour de soi*[[181]](#footnote-181). Надобно иметь в прошедшем верного, доброго товарища настоящему. *Для сердца прошедшее вечно*4 — а наше с тобой прошедшее есть самый необходимый друг наш. Только с ним будет и настоящее для нас прелестно. Уверяю тебя, что у меня теперь на душе так ясно, как никогда не бывало. Все проклятые цепи, мешавшие всему доброму, сброшены; я остался с моею чистою вечною к тебе привязанностью, с доверенностью к жизни, в которой уже ничего дурного быть не может (одна мольба: не укради!), с беззаботностью о будущем и с твердою привязанностью к настоящему, которое не иное что, как желание употребить его на прекрасное. Поверь, что мне всегда будет хорошо — в Петербурге, в Долбине, в тюрьме, — только не здесь, где не <*нрзб*.>

со всеми, где я не в силах буду ничего доброго сделать, где все наружности будут против меня, где мы же будем обвинены при самых прямых намерениях и мыслях, где и к самим себе доверенности иметь невозможно. Тебе же без меня будет здесь спокойнее — и с собою, и с ними: не нужно будет ничего таить! Полная независимость! Маменька сама будет к тебе ближе! Теперь ни тебя, ни меня

обвинять будет не в чем! Разлука подружит меня с нею! Мы будем друг ко другу писать — я к ним, но ты узнаешь свои места; а тебе, верно, будет позволено писать много. Ты пользуйся — пиши о постороннем, но искренно. Петербургской жизни бояться нечего — я буду иметь время, и, что весьма важно, там настоящие мои друзья, с которыми сердцу легко и свободно! Петербург полон людьми, которые имеют обо мне хорошее понятие! Стоит только это поддержать! Я не буду искать многого, следовательно и трудного писания не будет. А Тургенев? Нет! не бойся ничего — я буду работать с энтузиазмом! Во всякую минуту жизни можно быть человеком и радовать<ся> этою мыслью! Только здесь эти *минуты*, в которые можно бы быть добрым, будут употреблены единственно на то, чтобы избежать от зла! C’est indigne! Est-ce là vivre?[[182]](#footnote-182) A что ежели избежать не удастся? Нам не дадут избежать — но они будут в стороне! А виноваты перед собою и перед ними будем мы! Где бы я ни был, у меня будет хорошее настоящее и свобода им воспользоваться! *Хорошее* — не значит счастливое, значит более — доброе! То же и для тебя! Прошедшего у нас никто не отнимет, а будущего не надобно!

Одно только условие: не дай собою пожертвовать! Чтобы твой друг, твой брат не мог тебя упрекнуть, что ты из доброй воли истребила всё его счастье!

Решиться быть опекуном — была минута энтузиазма!5 Но это надобно хорошенько обдумать! Может быть, еще полезнее *не быть* опекуном, чем *быть*.

Видишь ли, мы можем доказать друг другу как геометрическую задачу, что для нас разлуки нет! У нас один шептун! Что думал я в хорошую минуту, то пришло в голову и тебе — одни и те же мысли, одни и те же слова. Прости же, друг! *Настоящее и всё в жизни к прекрасному средство*6. С этими двумя подпорами забудем легко о том промежутке, который отделяет нас от той границы, за которой начнется наша родина, от того будущего, в котором мы будем вместе и неразлучно. Теперь твердость, постоянство, спокойствие души и неизменная верность друг другу! Если бы могла ты вообразить, как у меня теперь на душе ясно! Без страха смотрю в жизнь: в ней tout est conséquent![[183]](#footnote-183) Всё влечет за собой свои естественные следствия. Испытание — приготовление к утешению! Разлука — условие соединения! Одинакая здешняя жизнь — приготовление к одинакой вечности! Ничто не пропало! Всё лучшее наше! Где бы я ни был, везде свет Божий — везде настоящее наше и может быть прекрасно! Можно даже иногда подумать, что и то будущее началось для нас здесь! Разница между той и здешнею жизнью только в том, что здесь могут быть горы и леса между нами, а там нет этого непроницаемого пространства! всё остальное для нас и здесь то же, как и там! Чего же унывать? Жизнь прекрасна! Прости!

**218.**

**М. А. Протасовой**

*2 мая <1815 г.> Нарва*

Нарва. 2 мая

Около меня шум и крик. В ближней комнате поют и орут. На небе пасмурно; да и в голове и в сердце не яснее. Настоящее огорчение всегда тяжелее прошедшего, хотя бы само по себе оно и было менее. Теперь грустно оттого,

что мы розно, оттого, что нельзя уже себя поддерживать надеждою на свидание, которая прежде и тайно и явно во всё вмешивалась. За несколько времени грусть разлуки казалась легче, нежели грусть от того, что мы вместе и розно; причиною этому было то, что разлука была еще вдали, а то тяжкое чувство было в сердце. Как быть с собою? Как приучить себя находить и чувством хорошее или лучшее в том, в чем находит его рассудок. Я знаю, что нам быть розно лучше, нежели вместе, за несколько времени я это даже и чувствовал. Теперь унылость. Надобно быть твердым. Помнить, что *быть вместе* — значит быть невольником во всех чувствах, быть невольником Воейкова; быть униженным; быть лишенным своей любви; не иметь способа сделать ничего доброго; быть по наружности виноватым и быть подверженным опасности

сделаться виноватым в самом деле; что *быть вместе* желать не должно, потому

что их характеры никогда не переменятся; что *надежда и будущее* пустые слова, что я могу пользоваться настоящим; <*нрзб*.> запас доброго; всякую минуту особенно делать доброю — если не поступком, то мыслью; что мне не нужно заботиться о их мнении — у меня есть мнение лучшего человека, то именно, которое мне дороже, что я могу быть прав в собственных глазах; что лучшие люди на моей стороне…1

**219.**

**А. П. Киреевской (Елагиной)**

*<12 мая 1815 г. Петербург>*

Я от Вас уже получил два письма здесь в Петербурге. Одно грустное и досадное, которое доказывает мне, что моя сестра, к которой моя дружба ничем и никем переменена быть не может, совсем не поняла меня, и на которое отвечать буду подробно; другое милое, писанное первого мая и точно майское, потому что оно наполнено весною жизни, говорит о весне вечной и дает на нее надежду — теперь пишу для того только, чтобы сказать, что я получил эти письма; отвечать некогда, потому что меня затаскали, что голова идет кругом,

что я не хочу писать со спехом, хочу сказать всё и обо всём. Буду отвечать и на бесценное, одобрительное письмо *наших* милых друзей1, которые *здесь* еще мне дороже. Теперь я попал в кипящий свет и сам как в кипятке. Тьма новых знакомств и тьма старых; много прекрасного. Напишу обо всем подробно на следующей почте, если, однако, успею. О *главном единственном* не говорю теперь ни слова — знайте только одно, что на свете много для меня прекрасного и без всякой надежды! Вы должны уже теперь иметь мои два последние письма, писанные из Дерпта2. И к ним будет дополнение. Дайте только приняться за порядочную жизнь. Прошу Вас сказать от меня Карлу Яковлевичу, к которому буду сам отвечать, что всё, зависящее от меня и Тургенева, будет сделано непременно, и что для меня было бы великим счастьем сделать что-нибудь полезное для такого почтенного и милого мне человека, как он. Простите. Voilà Mme Drousjinine qui arrivе[[184]](#footnote-184). Анету и Катошу обнимаю, и Азбукина и моих ангелов деток, и Наталью Андреевну5.

*Жуковский*

**220.**

**П. А. Вяземскому**

*20 мая <1815 г. Петербург>\**

20 мая

Из Дерпта я написал к тебе для того только, чтобы ты не подумал, что я умер1. Мне еще там предчувствие говорило, что я писать к тебе не буду долго, — так и сбылось. В Дерпте я прожил до 3 мая, и право, там мне было совсем — не скажу, <не> до тебя, ибо *до тебя* мне везде и всегда, но — не *до писем*. А здесь я совсем разбрелся и телом и умом. Наконец начинаю понемногу сходиться. Вот и я в Петербурге — это значит, приезжай и ты сюда. Здесь есть у Тургенева какое-то письмо от тебя, в котором ты поговариваешь о своем приезде сюда, о службе2; по сию пору не могу этого письма добиться, но содержание его для меня пленительно (c’est le mot[[185]](#footnote-185)); тебе здесь быть нужно — так же как и мне, и всем нам (потому что ты многими здесь искренно любим) нужно, чтобы ты был здесь. Здесь, друг, все твои товарищи и здесь будет для тебя занятие. В Москве для тебя нет ни товарищей, ни занятия; сердце сожмется всегда, когда подумаешь о том круге, в котором исчезает в Москве твой ум и твое прекрасное сердце, — а если вспомнишь, что с этими драгоценностями теряешь ты и другую драгоценность, деньги, на которых основано всё что есть свято, — независимость, то поневоле ужаснешься за тебя и за твоих. Итак, поскорее с плеч долой — пожертвуй хоть третью имения и приезжай сюда, в круг товарищей; вместе если и не будем счастливы все, то будем хотя жить не по-пустому — тебе же можно быть и счастливым. Здесь новый круг, более тебя достойный; можешь начать вести тот образ жизни, какой захочешь. В Москве перемены этой сделать невозможно. И Фурия скуки должна будет здесь если не отстать от тебя, то по крайней мере менее тебя терзать.

О себе нечего еще мне сказать тебе. Я здесь без всякого плана и с совершенным равнодушием к тому, что будет со мною. Здесь много такого для меня,

что могло бы и польстить самолюбию, если бы я на этот счет не был разочарован прежде опытности. Недавно был я представлен государыне и принят милостиво3. Теперь возят меня напоказ, по князьям и графам. При всем этом душа молчит, и в нее вкрадывается что-то похожее на сухость — эпидемия, разлитая в здешнем воздухе. Сказать обыкновенным таинственным языком: главная цель моей жизни пропала! Всё остальное кажется призраком, к которому никак прильнуть невозможно. Лучшие мои минуты здесь с Тургеневым — который (тогда, когда не спит, не пьет, не ест, не бегает из угла в угол) говорит со мною языком брата, которому всякое мое чувство знакомо и понятно, и радует меня; с Блудовым, которого и ты полюбишь более, когда узнаешь короче; с Дашковым — вот и всё! С Дашковым подумываем мы о журнале — что из наших думаний выйдет, узнаешь позднее.

С Дерптом я распростился и, вероятно, в него не возвращусь — этого прошу не ставить на счет непостоянства и ветрености. Hélas![[186]](#footnote-186) Я по сию пору на свете не согрел для себя места; по наружности я могу казаться и непостоянным, и ветреным; а в самом деле я всё желал одного, что же делать, что это одно неудачное.

Здесь я еще ничего не написал — хочу докончить «Певца»4 и выдать. Теперь именно и сделает он свое действие. Многие воображают, что прошедшее уничтожено настоящим.

Прости, милый друг; уведомь, что ты решишь с собою.

Батюшкова я здесь не застал. Он улизнул в деревню. À propos[[187]](#footnote-187). Я виделся с Екатериною Федоровною5. Она спрашивала у меня, получил ли я манускрипты ее мужа от Н<иколая> Михайлов<ича>6. Я получил один манускрипт стихов. Других же никаких манускриптов не имею. Между прочими должны быть какие-то письма к молодому человеку об истории7 — осведомись об них у Н<иколая> М<ихайловича>, которому кланяюсь и к которому писать буду.

У В<еры> Федоровны целую обе руки и Машу двадцать раз.

**221.**

**А. А. Прокоповичу-Антонскому**

*<20 мая 1815 г. Петербург>*

Я дней десять как в Петербурге1, почтеннейший Антон Антонович. Простите, что по отъезде из Москвы2 не писал к Вам ни слова; о дерптских моих похождениях писать было нечего3, а здесь я слишком закружился. Это обыкновенно бывает со всеми, кто приезжает в Петербург. Со мною, однако, это кружение не продолжится: прошу за меня не трепетать. Скоро начну вести порядочную авторскую жизнь. Весьма вероятно, что я здесь останусь; но как останусь, об этом ничего не умею сказать. Если не повезет, то, бросив всё, уеду опять в свою белевскую берлогу и навеки посвящу себя перу. И здесь другого ничего не имею в предмете, кроме пера; но говорят опытные люди: надо подумать о фортуне. Но

если фортуна сама не подумает обо мне, то я не намерен ей жертвовать своим думанием. Одним словом, жду у моря погоды и мало забочусь о том, дождусь ли ее. Здесь мне весело тем, что встретил многих старых своих друзей. Между первыми Тургенев, Блудов, Кавелин и Дашков4. Дней пять тому назад был я представлен ее величеству вдовствующей императрице и великим князьям, и они приняли меня весьма милостиво5. Сделал некоторые новые знакомства.

Теперь о важнейшем. При отъезде моем из Москвы Вы говорили мне о Ваших прожектах на Лицей6. Место, желаемое Вами, не занято. Прикажете ли здесь о нем хлопотать? Дайте мне надлежащее наставление, дабы можно было действовать сообразно с Вашими мыслями. Тургенев обещает употребить все свои старания; а я, со своей стороны, буду действовать частыминапоминаниями. Прошу Вас скорее на это отвечать. Мой адрес на имя Тургенева, против Михайловского замка в доме князя А. Н. Голицына7. Простите, почтеннейший Антон Антонович; любите и помните Вашего

*Жуковского*

**222.**

**А. П. Киреевской (Елагиной)**

*<24 мая 1815 г. Петербург>*

Передо мною три Ваших письма, милая моя сестра, и все они написаны разным слогом, но, по счастью, в них одно и то же сердце и одинаковая дружба. В одном говорит со мной мой друг, который не понял меня, огорчился тем, что худо понял и мне пеняет. Думаю, что Вы теперь сами собою разуверились. Например, в нем есть вопрос: «что могли Вам говорить обо мне, чего бы Вы не знали, и каким образом произвольно можно менять в Ваших глазах и характер

человека, и даже всё, что есть доброго и хорошего в жизни? Дружбу, любовь, твердость, доверенность!». Всё письмо длинное есть не иное что, как следствие этого жестокого вопроса и того горького чувства, которое заставило Вас его мне сделать. Мне надобно было бы на него отвечать тотчас — и вот *настоящая моя вина* перед дружбою! Я дал над собою волю петербургской рассеянности, которая грянула на меня, как бомба, и раздробила всё мое время — так что едва ли я и теперь очнулся. Слушайте ж, милая государыня Авдотья Петровна Киреевская. Не будьте и Вы несправедливы! Я, помнится, писал к Вам, что у меня был разговор об Вас с Е<катериною> Афанасьевною1. Признаюсь, я никогда не люблю об Вас говорить с нею. Она Вас любит, но смотрит на Вас совсем не моими глазами. Для нее всё, что делает отличительное в Вашем характере, как будто не

существует. Ту живость души, которую Вы имеете, она смешивает с экзальтациею и ветреностью. Я никогда их не смешивал, по крайней мере с тех пор с этой

стороны не был к Вам несправедлив, как с Вами объяснился. Могу уверить, что с этой минуты ничье мнение на меня не действовало и ни малейшей перемены во мнении на счет Ваш во мне не производило. Если я ссорился с Вами, то всегда по собственному побуждению; чужое же побуждение вооружало меня только за

Вас. Вы сами подали повод к этому разговору. Вы написали к ним об ссоре нашей за С<ергея> М…<ихайловича> С…<оковни>на2. Тетушка, между прочим, говоря

об Вас, сказала, что *Вы мало заботитесь о детях*3. Это поразило меня, потому что я то же часто думал, живучи в Долбине и в Москве, потому что я это хотел Вам

сказать! и Бог знает, отчего не сказал! Я несколько испугался, подумав, что говорю с другими о таком предмете, о котором должен бы был говорить с Вами; хотел об этом написать особенно и поболее; но не написал потому, что был во всё это время в больших и горьких треволнениях. Но об этом писать много не надобно; стоит только просто заметить это и попросить Вас подумать, справедливо ли такое замечание, и если справедливо, то сделать его несправедливым. Теперь прошу ж мне сказать: имеете ли Вы право писать ко мне такую дичь, какою наполнено первое Ваше письмо, полученное мною в Петербурге, и пишут ли такие письма из-за 1000 верст: *верьте чему хотите, отталкивайте меня, как хотите! Je peux me passer de votre amitié, je sais bien que je la mеrite*[[188]](#footnote-188). Милая, могли ли Вы это написать ко мне? Право, как ни любите Вы меня (в этом я уверен), но у Вас есть какое-то весьма дурное мнение насчет моего характера — Вы, кажется, не предполагаете во мне никакого постоянства в чувствах. Passe pour opinion!\*\* Я думаю, что мое мнение насчет людей довольно шатко, — я их не знаю! Но с Вами, но с немногими друзьями моими связывает меня чувство. И можно ли вообразить, чтобы одно слово Воейкова могло выбить из сердца, не говорю уже дружбу, но самую нежную благодарность за раздел всего, что свято в душе и жизни. Прошу уже один раз навсегда думать, что я привязан к Вам на всю жизнь самыми неразрывными узами, — которые по крайней мере устоят против слов, сходящих с языка, без ведома сердца. Я про себя думаю, что они и все другие опыты выдержать способны. Итак, на прочие сладости, находящиеся в этом письме, я отвечать не имею нужды. Вы, верно, и без моей просьбы раскаялись. Впрочем, в этом письме есть и утешительное. *О, святая связь родства!* 4 Так, милая, мы родные во всей силе этого слова! Что мое, то Ваше, и наоборот! Что же к этому прибавишь. Разве только то, что у нас есть общие, милые сокровища, любовь к нашим детям, для которых я рад бы всё на свете сделать, — а они плачут

обо мне в день радости! Меня же они радуют в день горя.

Чтобы дать Вам некоторое понятие о том, что было со мною в Дерпте, посылаю Вам некоторые документы; несколько страниц из Машиного журнала, писанного для Вас5; она отдала их мне с тем, чтобы переслать к Вам, но я их подзадержал, теперь посылаю, с тем, однако, чтобы возвратить мне опять и без замедления, — они мне *нужны*. При этих страницах есть и некоторые мои к ней письма6. То, что в них Вы найдете, извинит нас перед Вами. Вы увидите, что всё писанное можно бы было говорить вслух, когда бы позволили нам быть свободно добрыми; когда бы нам верили, когда бы маску не предпочитали лицу. Но для этих документов нужно объяснение. В Дерпте был генерал Красовский7 — к счастью, был он до меня, и до меня ушел в поход. Надежды, ему данные, испугали меня, и они-то произвели было во мне такую перемену, какой я и ожидать не мог. Я подумал, что по тех пор, пока будут знать, какое чувство привязывает меня к Маше, мне запрещено будет всякое участие в ее судьбе, что перед моими глазами будут ею располагать и что, наконец, она будет жертвою и жертвою кого же? чтобы получить право на это участие, на это родство с нею, на возможность всё делать для ее счастья, надобно было отказаться не только от надежды, но от самого чувства, которое дает привязанность к такой надежде! Решиться на это нужна была одна минута — но минута восхитительная! Прежде, нежели говорить с Е<катериною> Аф<анась ев ною>, я написал об этом два слова к Маше — она сама

согласилась. И знаете ли, на что я решился, — искренно, не для виду, а перед Богом и с тем, чтобы исполнить? Принять весь характер и все обязанности

Машина отца!8 Истребить не только в себе, но и в ней всякое чувство, не согласное с этим характером! И это для того, чтобы вперед уже Воейков не мог мимо меня располагать ее участью, а чтобы ее счастье и спокойствие были под моею защитою. Сначала тетушка приняла это холодно. Это меня оскорбило. Я увидел, что делать было нечего, и решился было уехать. Но подумав, написал ей всё обстоятельно9. И в письме своем сказал ясно: что только в ее семье могу быть братом и не одним только именем, а на деле, то есть отцом ее детей! И это было бы возможно! Много бы счастья спаслось для меня. Это письмо произвело

свое действие, но на короткое время! Воейков при всей наружности дружбы почувствовал, что я, брат его матери, от него совершенно независим! Не могу решительно сказать — но думаю, что это было для него тяжело. Между тем

старая принужденность осталась. Брата боялись, и брат, чтобы сказать Маше то,

что мог бы он ей говорить вслух перед целым светом, должен был потихоньку с нею переписываться! С Воейковым, по своему обыкновенному глупому простодушию, сделался было он совершенно искренен, а Воейков его слова *пересказывал*10. Одним словом, чтобы избежать всех подробностей, которые со временем Вы узнаете, я взял на себя все тяжкие обязанности пожертвования, которые были бы легки и даже сладки при полной доверенности, а они не дали ничего в замену, кроме одной наружности, и между тем получили право всего требовать и во всем обвинять. При таких обстоятельствах можно ли было за себя ручаться — назвавшись братом, надобно было им быть в сердце, а не по одной наружности! А мог ли я им быть один! особливо тогда, когда надобно еще было много с собою бороться. Это было невозможно без поддержания с их стороны, без помощи Машиной, с которой я был разлучен *по-старому*. Итак, чтобы не потерять к себе уважения, я должен был уехать! Но теперь всё *мое* мне возвращено. Я ничем не пожертвовал. Я сказал Е<катерине> А<фанасьевне>,

что братом ее могу быть только с *нею*, но что розно она никакого права на мои чувства не имеет, и что я жертвовал ей всем не потому, что, наконец, догадался, что желаю непозволенного, а для общего счастья и спокойствия. Вот время, в которое я был крайне несчастлив, но в которое мысль о моих друзьях меня радовала. Перед Вами могу сказать без всякого самохвальства: что я готов был на жизнь добродетельную! Виноват ли я, что меня лишили способов и бодрости исполнить то на деле, что сказало мне сердце в лучшую минуту жизни! Так, точно в лучшую! Хотя в эту минуту я отказывался *от всего* совершенно! Чтобы понять это слово *от всего*, надобно Вам знать, что я хотел не только переменить

свою привязанность к Маше на другую, родственную, бескорыстную, но я был даже готов заботиться о том, чтобы она могла, наконец, *другому поверить свое*

*счастье,* — и в этой заботе было для меня что-то прелестное! несмотря на то,

что в иные минуты и возвращалось в душу уныние! я не давал ему воли — ждал шептуна, и шептун мой возвращался с обыкновенным своим лозунгом: *всё в жизни к великому средство*!11 Что ж делать! И это не удалось! Я уехал, не объяснившись, — и к чему объяснения! Меня считают и несправедливым, и неблагодарным (неблагодарным потому, что я не знаю цены Воейкова дружбы и плачу ему за нее холодностью). Я оставил их в этом мнении — на что его переменять? Маша *знает*, что было у меня в душе!! Они сами всё разрушили. Теперь ни меня, ни Маши переменить не может ничто! Чтобы быть вместе душою без упрека совести, нам дóлжно расстаться.

Если мысль, что мы живем друг для друга, не даст счастья, то даст уважение к жизни и твердость. Без меня она будет спокойнее. Никто теперь не будет в ее глазах мне делать оскорбительных несправедливостей; а теперь и я, и она избавлены от опасности нарушить обещанное: нас бы довели неприметно до этого ужасного нарушения, но обвинены были бы одни мы. Тогда бы и последнее уважение к себе Маши должно бы погибнуть. Одним словом, вот я в Петербурге — с совершенным, беззаботным невниманием к будущему. Не хочу об нем думать. Для меня в жизни есть только прошедшее и одна настоящая минута, которою пользоваться для добра, если можно, — *зажигать свой фонарь, не заботясь о тех, которые удастся зажечь после*12. Так нечувствительно дойдешь до той границы, на которой всё неизвестное исчезнет. Оглянешься назад и увидишь светлую дорогу. Но что же Вам сказать о моей петербургской жизни? Она была бы весьма интересна не для меня! Много обольстительного для самолюбия; но мое самолюбие разочаровано — не скажу опытом, но тою привязанностью, которая ничему другому не дает места. Здесь имеют обо мне, как бы сказать, большое мнение. И по сию пору я таскался

с обыкновенною ленью своею по знатностям и величиям. Тому уж с неделю, как был я представлен императрице и великим князьям13. Об этом я сделаю подробное описание на будущей почте Плещеевым14, от которых возьмите мое письмо. Теперь это описание совсем не лезет в голову. После буду писать Вам

с большими историческими подробностями. Но послушайте, милые друзья, — мне писать часто невозможно. Один раз в две недели — и довольно. В Дерпт я пишу каждую почту15; к Плещеевым писать надобно; к Вяземскому также — вообразите, сколько писем; это займет почти всю неделю, то есть каждое утро в недели — а мне надобно работать много. И переводить, и сочинять, и читать. К этому прибавьте огромный петербургский свет. Словом сказать, временем должно экономить, и по сию пору я еще этого экономического расчета сделать не успел. Вообще скажу, что буду от 8 утра до 9 часов всегда дома. Остаток дня на рассеяние (убийственное и крепко осушающее душу). Теперь хочется кончить начатого «Певца»16; потом сделаю издание Муравьева сочинений17; между тем готов план журнала, который надобно будет выдавать с будущего года18; после Муравьева издание своих сочинений19 — всё это, то есть учредить издание журнала, напечатать свои сочинения, выдать Муравьева, надобно здесь! Потом (ибо я не забыл о том, что писал к Вам об опекунстве20, хотя теперь кажется мне, что берусь за невозможное) думаю перетащиться к Вам — *на родину, в семью*; но об этом решительно скажу в конце нынешнего года, которого остаток *необходимо* надобно провести в Петербурге.

**223.**

**К. Я. Дезе**

*31 мая — 4 июня <1815 г.> Петербург\**

Спешу вкратце известить Вас, мой почтенный Карл Яковлевич, что я пробил маленькую тропку к Вашему делу1. Об нем надобно просить обер-прокурора 4ого департамента Огарева2. Я с ним не знаком, но постараюсь познакомиться. Вчера заставил написать к нему Тургенева и послать копию Вашей просьбы. Он ответил на словах: очень хорошо. Здесь в Петербурге *очень хорошо* значит иногда *очень худо*. Итак, на него полагаться нечего. Нынче писал я к Протасову3, сыну Павла Ивановича4, которому Огарев родня5, чтобы он сам к нему съездил и просил его усердно и выпросил у него позволение мне к нему приехать. Жена его6 бывала мне в Москве знакома. Что сделаю, о том напишу Вам непременно. По крайней мере, прошу Вас верить моему усердию. Ничего бы так не желал, как удовольствия услужить Вам, в благодарность за Вашу ко мне дружбу, которую ценю весьма высоко.

О себе нечего говорить Вам. Как Петербург ни хорош, но свояси7 всё лучше. И здесь я люблю нашу родину, кажется, еще более, нежели когда-либо. Да и с надеждою не расстаюсь опять к Вам возвратиться. Наши дерптские8 здоровы и поживают весело.

Прошу Вас приложенное объявление передать любезному Федору Александровичу9, к которому не пишу для того, чтобы его наказать за его лень. Из этого

объявления он узнает, что общество литераторов издает книгу, по своему содержанию весьма приятную; я участвую в этом издании10. Не вздумает ли ктонибудь из белевских подписаться. А Вас прошу не подписываться — Вы будете иметь экземпляр от меня как от издателя. Это будет для меня гораздо приятнее.

Простите. Не забывайте сердечно преданного Вам

*Жуковского*

Мая 31 СПб

Мой адрес узнаете от Юшковых.

P. S.

Июня 4. Объявлений не посылаю Вам, потому что посылал их к Юшковым. Это письмо опоздало на почту. Скажу Вам, что Протасов был у Огарева, который и ему сказал *очень хорошо*. Надеюсь не давать ему отдыха и скрытно чтонибудь сделать по-нашему.

Простите. Обнимаю Вас.

**224.**

**К. Я. Дезе**

*10 июня <1815 г.> Петербург\**

Позвольте трудить Вас моею просьбою, почтеннейший Карл Яковлевич.

Потрудитесь доставить приложенное письмо и деньги 150 рублей Авдотье Петровне1. Адресую их на Ваше имя потому, что не знаю, где теперь Авдотья

Петровна, в Козельске или Долбине. При этом случае напоминаю о себе старинному доброму другу, которого не перестаю уважать и помнить. Желаю сердечно, чтобы мое письмо застало Вас здоровым и веселым. Прошу Вас не забывать меня и о себе уведомить. Вероятно, что в конце нынешнего года буду иметь удовольствие с Вами увидеться. Поклонитесь от меня всем белевским — в особенности же Свечину2. Скажите мое почтение Анне Антоновне3. Мой адрес Вам известен: на имя Александра Ивановича Тургенева (его прев<осходительству>) в доме князя Алексан<дра> Никол<аевича> Голицына на Фонтанке против Михайловск<ого> замка.

С совершенным почтением честь имею быть

Вашим

покорным слугою

*Жуковский*

С.П.Б.

Июня 10

**225.**

**К. Я. Дезе**

*12 июня <1815 г. Петербург>*

Спешу уведомить Вас, любезнейший Карл Яковлевич, что Ваше дело решено так, как Вам хотелось; петербургский конкурс уничтожен, а белевский

оставлен. Оно решилось еще прежде моего последнего письма, но Огарев1 по беспечности не уведомил об этом Тургенева, а Тургенев не имел времени к нему

съездить. Остается, кажется, сделать, чтобы к Вам эта резолюция была немедленно послана, — я просил об этом Огарева, зятя Новосильцева2, который и для самого решения дела много помог. Он обещал сделать всё, что нужно. Но главное сделано, и я рад сердечно, что удалось. Простите.

Скажите мое почтение Анне Антоновне и Федора Камкина за меня обнимите. Извините, что пишу так мало; право, некогда.

Вам преданный от всего сердца

*Жуковский* 12 июня

**226.**

**А. П. Киреевской (Елагиной)**

*<11 июня 1815 г. Петербург>*

Милые друзья, благодарствуйте за добрые советы, а еще более за то нежное чувство дружбы, которое видно в ваших письмах; слава Богу! Это восклицание весьма тут кстати — как не сказать: слава Богу! думая о друзьях и видя их к себе дружбу. Послушайте, милая долбинская сестра, я и сам было испугался своего предложения1, сделанного Вам в первую минуту, — но испугался только своей неспособности его исполнить. Что, если бы мне удалось только более еще испортить дела Ваши! Но, как говорится, на безрыбье и рак рыба, и я готов быть раком для Вас; что же было бы лучше, как потрудиться для наших милых детенков, — да Вы от меня не уйдете. Дайте мне устроить свое здешнее, и я опять у Вас, опять в своей семье, опять (как пишет друг Анета) в прекрасном родимом краю, окруженный всеми милыми воспоминаниями, среди соловьев, роз, серейнов2 и пр. и пр. Знаете ли, что всякий ясный день, всякий запах березы производит во мне род *Heimweh*[[189]](#footnote-189), так же как и всякая красная кровля, покрытая черепицами, поневоле тащит всё воображение туда, куда и хотеть не дóлжно3. Однако я у них еще раз побываю, на крестинах; это, вероятно, случится в июле4 — но побываю на несколько дней; потом назад в Петербург: что-нибудь для себя состроить. Это чтонибудь — не иное что, как пенсион, который мне хочется для себя выхлопотать. Если же не удастся, то уеду безо всего и буду работать музам и славе, нимало не заботясь о прочем. А с Вами будет не нужно ни о чем и заботиться. Примусь прилежно за «Владимира»5, и он, верно, даст мне гораздо больше состояния, нежели когда-нибудь служба. Надобно всё видеть здесь вблизи, чтобы увериться,

что служить для пользы невозможно. Для выгоды же служат те, которые имеют

особенные, неестественные способности ее находить, — а слава?

Подале от толпы судей, Пока мы не смешались с ней — Свобода друг наш благодатный! Мы независимо, в тиши

Уютного уединенья,

Богаты ясностью души,

Поем для муз, для наслажденья,

Для сердца верного друзей!..6

Это я повторяю себе здесь всякую минуту, хотя и окружен такими людьми, подле которых *душе легко*, но и они, и я окружены Петербургом — особенного рода магнетизм, убивающий все животворные мысли, необходимые для настоящей жизни.

В этом месте письма я остановился, начал курить трубку, между тем развернул «Bibliothèque britannique»7 и вот что в ней прочитал, — как нарочно для того, чтобы дополнить сказанное мною: C’est un traité sur notre inconséquence dans ésperances. «Voulez-vous être riche? pensez-vous que cet objet unique mérite le sacrifice de tous le reste? Eh bien, vous deviendrez riche! Combien d’autres n’y ont pas

réussi à force de peine, de patience, de diligence, d’attention aux plus minutieux articles de dépense ou de profit. Mais il faut abandonner les douceurs du loisir, les plaisirs d’une âme tranquille, d’un ésprit libre et dégagé des soupçons. Si vous conservez votre intégrité, vous aurez une probité grossière, une honnêteté commune… Il faut fermer

votre ésprit et votre coeur aux muses et savoir nourrir votre entendement de grosses vérités, pour anisi dire, de ménage. En un mot vous ne devez plus penser à étendre vos idées, à perfectionner votre goût et raffiner vos sentiments: vous êtes condamné à suivre le sentier battu sans regarder à droite et à gauche. — “Mais je ne puis plus me soumettre à de telles conditions (dites vous)? je me sens l’âme trop élevée”. — Eh bien, renoncez-y? mais ne vous tourmentez pas ensuite de ce que vous n’êtes pas devenu riche. — “Et quelle récompense ai-je donc obtenu de mes travaux?” — Quelle recompense! Une âme élevée, libre des agitations, des craintes, des préjugés du vulgaire, capable de saisir, d’embrasser les ouvrages des hommes et les oeuvres du Créateur; un esprit cultivé, riche, fleuri, plein de ressources, d’amusement et de reflexion; une source inépuisable d’idées neuves, de pensées douces, le sentiment de votre dignité et d’une intelligence supérieure! Juste ciel! qu’avez-vous donc à regretter?»[[190]](#footnote-190).

Всё это несравненно разительнее здесь, в Петербурге, в виду тех людей, которые лучшими благами жизни жертвуют для приобретения этих ничтожных благ, которых сумма называется фортуной! Поверьте, что это мумии, окруженные величественными пирамидами, которых величие не для них существует! кто же захочет в мумии для того только, чтобы иметь честь быть погребенным в пирамиде! Вы пишете мне: *подумай, наконец, о своей выгоде*! Стараться сделать для себя ненужным весь этот причет пустяков и ничтожностей — значит думать об истинной своей выгоде. Прежде причиной моего равнодушия к этому причету было одно чувство, которое наполняло душу и ею исключительно владело; теперь к благодетельному этому чувству, которое сберегу, как пламень Весты, присоединилась и некоторая опытность.

Богатства мне искать нельзя, я его не найду, да и не считаю его нужным, почести — сущая низость, когда стоишь на той сцене, на которой раздается хвала, гул шумный и невнятный8; быть полезным — эта химера кажется только в Белеве чем-то существенным, здесь ее иметь невозможно — может быть, придет такое время, когда она обратится в существенность; теперь стоит только поглядеть на тех людей, которые посвятили себя общеполезной деятельности, чтобы

сказать себе, как эта цель безумна! Будешь биться как рыба об лед, и только что себя разобьешь вдребезги, и, что всего важнее, убьешь в себе прежде смерти то, что составляет твою жизнь, и останешься до гроба скелетом. Итак, друзья, из всего сказанного выше следует, что я здесь постараюсь доставить себе только то, что всего мне нужнее, — независимость, свободу действовать в малом круге, действовать мыслью и душой, не унижая этой деятельности разрушительными

заботами о завтрашнем дне. Моя честь, фортуна и всё — мое перо. Но чтобы это перо было одушевлено, надобно уйти с ним из смертоносного петербургского климата, переселиться на родину — и я бы давно был уже у Вас, когда бы чтонибудь для себя сделал. Оставлю эту надежду в перспективе.

Здесь у меня еще много затей на руках, мешающих мне отсюда убраться. Издание сочинений Муравьева9, издание своих сочинений10, издание стихотворений и прозы11, наконец, приготовление материалов для журнала и учреждение его издания12; при всём этом забота о том, чтобы выхлопотать себе пенсион, который дал бы мне *свободу,* — кончив всё это, являюсь к Вам, работаю, живу с добрыми своими товарищами *настоящим* и *будущим* (а промежуток между на-

стоящим и гробом Провидению, а не надежде), отдыхаю после труда в своей, то есть в Вашей семье! *Истинную славу* иметь буду непременно, потому что *хочу* ее иметь, а фортуна и счастье придут, если захотят — это дело не наше.

Что может в минуту разрушить судьба,

Друзья, то на свете не наше!13

Но я всё болтаю и философствую, а я еще ничего не рассказал Вам о своих приключениях петербургских. Всего рассказывать нет нужды: и неуместно, и было бы некстати, но то, что поважнее. Итак, слушайте: начну с описания моей резиденции. Живу очень просторно с Тургеневым. Половина верхнего этажа большого дома состоит в нашем непосредственном владении; у меня четыре большие комнаты; из одной прекрасный вид на Фонтанку, и на Михайловский замок, и на Летний сад. Тургенев тот же старинный друг и товарищ, который делил со мной молодость. Ни в характере, ни в сердце нет никакой перемены; но служба и соединенная с нею необъятная рассеяность клюют его, как ворон Прометея, и его вся жизнь есть не иное что, какбесконечная борьба с этим вороном, которого отогнать мешают ему его цепи, связывающие ему руки. Номы понимаем друг друга везде и во всякое время. Блудов — также товарищ, прежний знакомец молодости, сбереженный посреди света и еще усовершенствованный. Без надежды найти в семействе своем счастье, он нашел его14, и самое верное, и стоит его, и умеет им наслаждаться — прекрасное и дивное явление посреди Петербурга, счастливая, цветущая *оазис* посреди африканской степи. А я, чтобы попасть в эту *оазис*, отбился от своего каравана! Нет, не отбился! он у меня в виду — а этого и довольно в самой пустыне!

Я назвал Вам двух лучших своих здешних товарищей — третьего, Батюшкова, здесь нет; я его не видал, он запропастился в деревне. Нового не написал

он почти ничего. Есть одна прекрасная повесть «Домосед и Странствователь»15, писанная слогом прелестным, хотя немного длинная. Пришлю, когда будет у меня список.

Виноват, четвертый в этой семье избранных есть Кавелин — редкая чистота души! Он поехал в Вашу сторону и Вам дóлжно его узнать. С ним можете говорить обо мне *всё*, и он, верно, всё поймет в настоящем смысле. Я знаю черты его прекрасные. Дашков — благородный, и умный, и чрезвычайно знающий человек — с ним у меня самая короткая связь, похожая даже на дружбу.

Вот люди, с которыми здесь не пусто, а весело и легко. Впрочем, я не заметил, чтобы мне здесь и с прочими тяжело было. Выключая минут (очень редких) застенчивой принужденности (происходящей точно от желудка), мне ни с кем не скучно. Без всякого усилия над собою приношу в общество самую беззаботную доверчивость и уверен, что мне (которому нечего от людей ожидать

слишком для меня важного, которому они не дадут ничего драгоценного и у которого им совершенно отнять нечего) доверчивость во вред не послужит. Прочие, самые интересные знакомства: *Уваров*, с которым моя связь еще не имеет для меня самого надлежащей определенности; *Крылов*16, тонкий человек под видом простодушного медведя; *Оленин*17, маленький человечек <*две строки зачеркнуты*> у него я бываю часто; жена его любезная и ласковая и довольно умная женщина, дом его есть место собрания авторов, которых он хочет быть диктатором, — в этом доме бывал и Батюшков18, которого место занял теперь

я; здесь бранят Шишкова, и если не бранят Карамзина, то по крайней мере спорят с теми, кто его хвалит19 (NB. Оленин взялся рисовать виньеты для издания моих сочинений: для 1-го тома *Мемнон*, для второго, где баллады: *древний трубадур*, а для третьего — *фантазия*)20. Самые же приятные мои знакомства между знати: князь *Александр Николаевич Салтыков*21, необыкновенного ума и весьма благородного характера человек — у него я был три раза, но ни разу его не застал дома, а познакомился с ним у Уварова и постараюсь поддержать это приятное знакомство; *Софья Петровна Свечина*22, жена Николая Сергеевича Свечина, чрезвычайно милая женщина, лет тридцати пяти, немного похожая на

Карамзину24. У нее я был один раз — и как будто бы век были мы знакомы. Она теперь на даче, куда звала и меня, и я скоро туда отправлюсь. Всё лето проведу на трех дачах; сначала к Блудову, у которого проживу конец июня и половину июля; потом к Екатерине Федоровне Муравьевой, а потом к Уварову. Обедал я один раз у графа Строгонова25 — жена его очень любезна и умна, он же показался мне сух; от спеси, как я подумал, от застенчивости, как говорят другие, —

общее же мнение хороших людей об нем есть то, что он имеет самый благородный характер. Два раза обедал я у канцлера26, который очень хотел меня узнать и очень обласкал. У своего хозяина, князя Александра Николаевича Голицына, которого здесь зовут le petit favori[[191]](#footnote-191), бываю по воскресеньям у обедни — у него прекрасная домовая церковь27.

В заключение опишу самое интересное: мой визит Кутузовой28 и представление государыне. Кутузова, узнавши о моем приезде, требовала, чтобы меня к ней привезли. Я, по обыкновенной своей дикости, давши ей слово быть к ней, не бывал; она было и рассердилась — это заставило меня, скомкав кой-как свою застенчивость, к ней ехать; приезжаю ввечеру, гостей пропасть, кое-как рекомендуюсь, и дело в шляпе. Вдруг подводит она ко мне своего маленького внука Опочинина29 — который, слышав, что я к ним буду, струсил и спрятался (вообразив, что всякий поэт по крайней мере крокодил), но увидя меня в образе

человека, ободрился. Его заставили читать мне «Светлану», он сперва упирался, потом зачитал и наконец уж и унять его было нельзя. Признаюсь, в семье вождя победителей30 мне было приятно себя увидеть. Кутузова (которая отправилась теперь в чужие края) дала мне свой альбом с тем, чтобы я написал в нем первый и те строфы из нового Певца31, в которых говорю о Кутузове! — «Да нельзя ли что-нибудь и экспромтом?» — сказала она и начала с смешной размашкою де-

кламировать мои стихи:

Можно ль в жизни молодой

Сердце мучить ложной тенью32.

Мне было это приятно. А признаюсь, сцена эта стоила немного кисти Гогартовой33. Я написал ей:

Я счастлив был неизъяснимо!

Семью вождя великого я зрел, И то, что я смиренной лирой пел В честь памяти его боготворимой,

Теперь вдове его дерзаю посвятить!

Дерзаю гордое в душе питать желанье:

С воспоминанием о нем соединить

И обо мне воспоминанье!34

Ее дочери очень милы; особенно Анна Михайловна Хитрова35, которая еще тем милее, что мои баллады читает с удивительным, как говорят, совершенством. У них видел и княгиню Голицыну, бывшую Всеволожскую36, на которую смотрел с удовольствием, потому что она, как мне показалось в первую минуту, очень похожа на нашу Марью Алексеевну.

Теперь о свидании с императрицею37. Уваров, на другой день моего приезда, написал к ней, что я в Петербурге, и получил приказ представить меня в следующее воскресенье38. Была пятница; мундира у меня не было; кое-как накопил

от приятелей мундирную пару, и мы с Уваровым отправились в воскресенье во втором часу во дворец. Дожидались довольно долго, потому что были после обедни парадные аудиенции, а меня велено было представить ей в ее кабинете. Из большой залы, в которой мы стояли, двери прямо в этот кабинет. Вдруг они отворились — являются великие князья и проходят мимо нас на свою половину; потом опять возвращаются и идут к императрице, и вслед за этим нас приглашают. Тут Вы воображаете, что я струсил и что сердце у меня крепко заколыхалось, — нимало! Желудок мой был в исправности, следовательно и душа в порядке! Проходим в маленькую горницу; Уваров шел впереди — входим в другую; перед дверьми ширмы — вдруг из-за ширм говорит Уварову жен-

ский голос: Bonjour, monsieur Ouvaroff [[192]](#footnote-192); — это какая-нибудь придворная дама, думаю я, — иду; передо мной императрица. За нею, гораздо поодаль, у дверей великие князья. Разумеется, началось приветствием. Я хотел было сказать: не умею изъяснить Вашему Вел<ичеству> своей благодарности за Ваши милости, — но исполнил это на деле, а не на словах, потому что *не умел ничего сказать*, а отделался поклонами. Сначала было довольно трудно говорить — потому что государыня говорила по-русски, не очень внятно и скоро, и я не всё понимал. Уваров это заметил и сказал два слова по-французски; это заставило ее отвечать по-французски же, и разговор пошел очень живо — о войне, о ее беспокойствах прошедших и о прошедших великих радостях; в этом разговоре было для меня много трогательного — мать говорила о сыне и с чувством; не-

сколько раз навертывались у ней на глазах слезы. Разговор продолжался около часу. Наконец мы откланялись. «Мы еще с Вами увидимся», — сказала она мне очень ласково. Вслед за нами вышли и великие князья. Уваров подошел к Николаю Павловичу39 и просил позволения меня ему представить. И мы пошли на половину великих князей. Вошедши в прихожую залу, Уваров стал говорить

одному камер-лакею, чтобы об нас доложить, но в<еликий> к<нязь> Николай Павлович сам отворил дверь и закричал нам: *пожалуйте сюда поскорее!* И они проговорили со мной с полчаса — дело шло о том удовольствии, какое сделало им позволение императора ехать в армию. Оба красавцы, но Михаил Павл<ович>40, не имея той правильности в чертах, какую имеет его брат, приятнее и живее. Великой княгини41 я не видал — она была нездорова. Теперь государыня в Павловском. Вероятно, что и мне там быть доведется. Я слышал после,

что она очень благосклонно обо мне говорила.

Из всего этого можете Вы заключить, что я до сих пор живу весьма рассеянно, — не бойтесь, однако! Эта именно рассеянность более и более привязывает меня к уединению и занятой жизни! Чувствую тягость ее и пустоту и скоро опять засяду в своем углу с *подругой-тишиной*42. Всё это хорошо мимоходом; но Боже оборони от очарования. Это — питье Цирцеи, обращающее в свиней Улиссовых товарищей! Надеюсь не хлебнуть из опасной чаши. Что же касается до обольстительного внимания, которое оказывают поэту, то в этом

случае надобно, для прохлаждения самолюбия, читать почаще Геллертову басню о зеленом осле43. В большом свете поэт, заморская обезьяна, Ventriloque[[193]](#footnote-193) и тому подобные редкости стоят на одной доске — для каждой из них одинакое, равно продолжительное и равно непостоянное внимание. Мое дело жить и писать

Для муз, для наслажденья,

Для сердца верного друзей!44

Сейчас явился ко мне Ал<ександр> Павл<ович> Протасов с объявлением, что дело о конкурсе решено, что здешний конкурс уничтожен, а белевский оставлен. Это дело было решено еще прежде, нежели я писал первое мое письмо к Вам. Но Огарев по беспечности не уведомил об нем Тургенева45. Я буду про-

сить, чтобы в довершении, если какое только нужно, не было остановки.

Простите. Детей целую. Володьковским друзьям прошу обо мне вспомнить. Азбукину ни слова за то, что он мне ни слова. Наталье Андреевне благодарность за дружеское письмо и уходрание за некоторые мрачности, в нем заключающиеся46. Всем белевским поклон. Где Свечин?

Voyez donc l’influence de l’air de Petersbourgh![[194]](#footnote-194) Перечитывая мое письмо, я замарал то, что написал об Оленине, — это была злая фраза! Надобно быть

осторожнее.

Я не сказал Вам о весьма важном: с тетушкою я расстался как нельзя лучше, и она пишет ко мне очень ласково47. *Теперь* я не могу ее обвинять, а за многое ей благодарен. Маша мне сказывала, что никогда она так много и хорошо не говорила с ней обо мне, как в то время, когда ей надоедал Красовский48, — это неизъ-

янимо! С Воейковым я ни о чем ни слова, хотя он и дает мне чувствовать *мою несправедливость* в своих письмах49, но на это он от меня ответа иметь не будет.

У меня есть *мое* сокровище: Машино мнение! Она всё знает так, как оно есть, — что нужды до тех, которые могут толковать криво и косо и которых *толки* никакого влияния на судьбу мою иметь не могут.

Чтобы не описывать два раза одного и того же, начало моих здешних похождений опишу к Плещеевым, и от них Вы получите это письмо50. Теперь, право, не хочется ни об чем этом говорить. Простите. Это письмо и для Мишен-

ского, и для двух володьковских *моих* друзей. Детенков обнимаю. Ваньке скоро пришлю свой портрет51, который давно заказан в Дерпте, но еще по сю пору мне не доставлен. На всякий случай, чтобы была для меня отделана комната и в ней шкафы для моих книг, простые, но крепкие и недосягаемые для мышей, и в эти шкафы да перенесутся и поставятся книги мои так, чтобы я мог их обрести в порядке при своем приезде. Эту заботу возлагаю на моих трех сестер. Что ни говори судьба, а еще весело подумать, что у меня есть прекрасный уголок на моей родине.

Шиллера, о котором я докладывал милости Вашей, у меня нет, и я его от Вас не получал52. Прошу прислать. Документы, здесь приложенные, возвратить мне неотменно53. Вы очень меня огорчите, если этой просьбы не исполните. До тех пор и портрет к Вам не поедет — а портрет прекрасный.

В наказание за глупое Ваше сожаление, что Вы не написали мне ничего в альбом *на память*, посылаю Вам десять белых листков, которые все должны быть исписаны. Можете уделить из них часть сестрам и Елене Ивановне.

Вместо десяти бумажек, посылаю *одну*, которая да будет меркою, — по этой мерке выкройте, сколько хотите. *Документы* возвратить на следующей же почте.

**227.**

**К. Я. Дезе**

*18 июня <1815 г.> Петербург\**

Я имел удовольствие получить Ваше любезное письмо, почтеннейший друг

Карл Яковлевич, и благодарю Вас от всего сердца за Вашу ко мне дружбу, которой цену знаю и которую сберечь для меня весьма дорого. Благодарю Вас и за исполнение моей просьбы; опять повторяю такую же просьбу: перешлите приложенное письмо к Авдотье Петровне1. Я получил и от нее письмо, в котором она говорила об отъезде своем в Муратово. Если она точно уехала туда, то возьмите на себя труд переслать это письмо к ней туда и без замедления.

О себе не могу ничего сказать нового. Живу в Петербурге, то есть сижу у моря и жду погоды. Не знаю, скоро ли будет погода. Как скоро дождусь, то Вас, как человека, принимающего в добре моем участие, непременно уведомлю.

Пока повторяю старое, то есть то, что я сердечно люблю и почитаю Вас.

С совершенным почтением честь имею быть

Вашим покорнейшим слугою

*Жуковский*

Прошу Вас сказать мое почтение Анне Антоновне и обнять Свечина2 за меня.

18 июня С.П.Б.

**228.**

**М. А. Черкасовой**

*<Середина июня 1815 г. Петербург>\**

Я очень был тронут, когда узнал Ваш почерк, милостивая государыня Марья Алексеевна, и почувствовал живую к Вам благодарность, когда прочитал Ваше письмо. Мне утешительно было подумать (я получил Ваше письмо, уже уехав из Дерпта), что я предупредил Ваши бесценные советы и что некоторым образом поступил так, как Вы бы хотели, по-Вашему (как Вы пишете). Милая Марья Алексеевна, несмотря на тяжелую болезнь, на горькие мысли, которые поневоле должны тесниться в Вашей душе, Вы еще находите в себе столько

чувства, чтобы ими поделиться и со мною, и мне дать отраду! И как не поверить всему тому, что Вы мне говорите, зная, в каком положении всё это сказано! Я, еще не ездя в Петербург, узнал, что могу над собою сделать; я хотел искренно всё это сделать; и теперь уехал сюда точно оттого, что увидел себя в опасности не исполнить ничего, на что было решился точно с радостью и твердостью. Напрасно Вы в заключение своего письма прибавляете что-то похожее на извинение. Ваше письмо для меня бесценно. Видя, какою слабою рукою оно написано, я не могу не чувствовать благодарности и любви к Вам. В болезни и грусти Вы обо мне помнили. Для меня неизъяснимо дорого иметь место в Вашем сердце; а Ваших советов, которые то же, что утешение, я прошу от Вас всегда как самой бесценной милости.

О себе я не скажу Вам ничего; Авд<отья> Петр<овна> покажет Вам писанное к ней письмо1 — в нем найдете то, что со мною случилось. Здешних моих приключений описывать теперь не хочется: я совсем не в историческом расположении. Здесь мне невесело, но я не скажу, чтоб было тяжело. Рассеянность убивает и грусть, и веселье и делает из жизни добрый нуль. Но эта рассеянность только *сначала*. Надобно везде перебывать и везде показаться, чтобы быть потом забытым и в этом забвении найти свободу и какую-нибудь деятельность. О счастье говорить нечего. Да и куда с ним? Слухи об нем бывают только в первые годы жизни. Опыт скажет потом: *не всякому слуху верь*, и признаюсь: так спокойнее. Можно найти в жизни много прекрасного и без счастья2. *Счастье и прекрасное* совсем не синонимы. И беда тому, кто их вздумает называть синонимами. Прошу Вас иногда вспоминать обо мне и давать мне об этом знать; это будет Вам приятно, если Вы себе скажете, что во многие минуты мысль о Вашей дружбе ко мне будет мне ободрением. Дай Бог, чтобы весна возвратила Вам силы и здоровье; услышать об этом будет большою для меня радостью. Простите. Целую Ваши ручки.

Милую Елену Ивановну3, которая в своем приписании мне говорит: *наш друг*! благодарю за это бесценное выражение. Прошу ее иногда обо мне помнить.

*Иногда* (извините! это глупое слово само собою написалось); я уверен, что она не забудет обо мне. Я посылаю Авдотье Петровне несколько листов из моего альбома, прошу ее непременно исписать из них хотя два — эти листки будут мне очень дороги. Попросил бы об этом и Марью Алексеевну, да боюсь, что ей это будет несколько тяжело. Скажите мне что-нибудь о Петре Ивановиче4. Он

обещал ко мне писать, но заленился.

**229.**

**Н. И. Тургеневу**

*<20 июня 1815 г. Петербург>\**

Здравствуй, милый друг Николай Иванович, обнимаю тебя от всего сердца, как старого друга и как нового барона1. Прошу не забывать меня на чужой стороне. Если найдешь время ко мне написать, то очень меня обрадуешь. Я теперь поживаю в Петербурге, где долго ли останусь — не знаю! Прости, любезный друг, будь счастлив. Когда будешь писать к Сергею2, напомни ему обо мне. Любите вашего четвертого брата Жуковского.

**230.**

**П. А. Вяземскому**

*24 июня <1815 г. Петербург>\**

24 июня

Вероятно, что мое письмо тебя не застанет в Москве, — ты теперь в хлопотах хозяйственных и собираешься мыслью в Петербург. Надобно исполнить эту мысль. Кажется, что это будет со всех сторон для тебя полезно. Здесь более людей, которые к твоей душе близки; а я всех ближе. Но твое слово, которое принимаю за хранительный голос Гения моего: *не закоптись в Петербурге*, есть для меня благотворный совет. Я Петербурга совсем не люблю, совсем не хочу в нем оставаться, уеду в начале будущего года из него совсем, чтобы совсем посвятить себя своему «Владимиру»1, отложив попечение о фортуне и счастье. Ни

то ни другое не для меня. Авось поэзия не изменит; но чтобы она не изменила, надобно быть ей верным; надобно, чтобы я был

властен побеждать Все ковы обольщенья,

К прелестной прилеплен мечте; И мог бы, чист душою,

Небесной верен красоте,

Непобедим земною,

Всё предстоящее презреть, И с верою смиренной, Надежды полон, вдаль лететь2

за Музою — утешительницею, хранительницею прямой жизни. Если уеду от-

сюда, то, верно, буду работать с неутомимостью; причины, разрушающие до сих пор мою деятельность, существовать не будут, по крайней мере там не будут, где я буду. Для моего настоящего блага ты должен мне желать уединения. Против здешней рассеянности я бороться не способен. Прибавь еще к этому и мой пустой карман, с которым здесь не проживешь, — надобно будет отложить вдохновение и работать для денег. Тогда прости «Владимир». Мы затеяли было журнал. Но я начинаю раздумывать. Нет! не журналу надобно посвятить несколько оставшихся, уже полуцветущих лет жизни, а чему-нибудь прекрасному, чтобы имя не пропало вместе с пустою жизнью. Два-три года уединенной жизни — и «Владимир» явится.

Прости, брат. Чтобы меня от беды скорее выручить, подумай о последнем моем предложении. Но кажется мне, что оно сделано в таких обстоятельствах, которые едва ли допустят тебя его исполнить.

Твой *Жуковский*

Поклон дружеский Вере Федоровне. Батюшкова здесь нет. Он пишет к Гнедичу3. Всё грустен… Жаль его от всего сердца. Машеньку, моего милого ангела, целую.

**231.**

**К. Я. Дезе**

*9 июля 1815 г. <Петербург>\**

Опять прошу Вас, почтеннейший Карл Яковлевич, взять на себя труд и переслать приложенное письмо к Авдотье Петровне Киреевской. Я не знаю наверное, где она — в Долбине или в Козельске, и для того для большей верности адресую письмо на Ваше имя. Очень обяжете, если доставите его без замедления.

Прошу Вас, уведомьте меня о себе: здоровы ли, и что делается в нашем Белеве. А я всё по-старому в Петербурге. Сижу у моря и жду погоды; однако не забываю старых друзей; а Вас особенно люблю и почитаю.

С совершенным к Вам почтением честь имею быть

Вашим покорнейшим слугою

*Жуковский*

1815 июля 9

**А. А. Прокоповичу-Антонскому**

*18 июля <1815 г. Дерпт>*

Здравствуйте, почтеннейший Антон Антонович. Я давно не получал от Вас писем. Здоровы ли Вы и что делаете? В последнем письме моем к Вам я говорил

о том, что здесь сделано по общему нашему делу относительно Лицея. То есть я говорил с Мартыновым и говорил с Уваровым1. Первый требовал, чтобы я последнего заставил сделать об Вас предложение министру. Уваров говорил министру, и Разумовский2 отвечал, что он сам согласен, что нет в России человека, которому бы можно было лучше Вас поручить Лицей, но что это именно его и останавливает. Вы нужны Пансиону, который без Вас погибнет. Лицей уже устроен, а Пансион должен быть приведен в устройство. Признаюсь, это и меня

самого поразило. Что же будет с Пансионом, если Вы отклоните от него свою руку? И едва ли когда-нибудь Лицей будет для России то, что Пансион Универ-

ситетский? Место более видно — не спорю; но где Вам можно более бы быть полезным: там или здесь? Вне сомнения, в Пансионе. К тому же едва ли и Вам самим не будет беспокойнее. Ожидаю на этот счет Вашего разрешения. Прикажете ли мне продолжать хлопотать с Мартыновым? Ему нужно было, чтобы кто-нибудь прежде него поговорил с министром. Уваров это сделал. Теперь ему

самому говорить будет <удобнее>3. По возвращении моем из Дерпта в Петербург (я опять в Дерпте) опять буду говорить с Мартыновым, если только Вы прикажете. Но прошу Вас об этом предварительно меня уведомить; также и

о том, что нужно для Виктора Антоновича4. Я буду в Дерпте5 в начале октября, тогда же приступлю и к печатанию своих стихов6.

Простите, почтеннейший Антон Антонович; не забывайте и любите попрежнему

Вашего *Жуковского*

18 июля

P. S. Прошу Вас адресовать письма свои: в С.-Петербург на имя его выс<окоблагородия> Романа Гавриловича Соколовича7 в почтамт для дост<ав ления> В. А. Ж.

**А. И. Тургеневу**

*19 июля <1815 г. Дерпт>*

19 июля

Я получил твои два письмеца, милый друг. Коротко, да прекрасно. Мне кажется, что ты *всё* сказал мне (что мог сказать) в этих двух словах: *Ей*1 и *тебе*

скажу одно:

How dear the dream: in darkest hours of ill Could all be changed, to find thou faithful till[[195]](#footnote-195)2.

Зачем же *dream*? Это совсем не dream! Побывав с тобою, я уверился в одном и на всю жизнь, в одном очень для меня драгоценном, в том, что ты сохранил, несмотря ни на что, свой характер и что ты тот человек, о котором мне везде и во всех обстоятельствах можно думать с утешением. Правда, минут, в которые мы были *вместе*, весьма было немного; но в эти минуты я всегда бывал доволен тобою, и более тобою, нежели собою: мне еще надобно вскарабкаться, чтобы до тебя дойти.

Ты велишь мне написать к тебе о тебе и о себе. Ни того, ни другого не могу теперь сделать. Не знаю, какой туман лежит у меня на уме и на сердце. В минуту более ясную поговорю с тобою; теперь точно не могу. Я ничего не помню того, что думал: всё взбуровлено, а чем, право, не знаю. Такие положения, вероятно, бывали и с тобою.

Теперь лучше говорить о пустяках. Я не оставил своего намерения ехать в Псков. Прошу тебя на следующей же почте прислать мне письмо к псковскому архиерею3 и еще письмо в Печеры4, чтобы эти письма могли быть мне вместо паспорта5. Скорое и самое важное: что отвечал тебе Фок о Форе?6 Прошу тебя уведомить меня на следующей же почте. Мне очень будет больно, если Фор не получит своего *позволения ехать в Петербург* к сроку. Плещеев, вероятно, будет туда в начале августа или в половине. Прошу тебя избавить меня от незаслуженного упрека, отложить на время свою лень и написать для дружбы не-

сколько слов к Фоку.

Благодарю за Петерсена7.

Прости, вероятно, до следующей почты. Я пробуду здесь весь август. Теперь всё сижу у себя в горнице. Работаю, но работа механическая. Иная и невозможна. Готовлю сухие материалы8. Но когда оживлю их — Бог знает!

Твой *Жуковский*

**П. А. Вяземскому**

*22 июля <1815 г.> Дерпт\**

Ты удивишься, получив от меня письмо из Дерпта1. Я опять *здесь* месяца на два или на полтора. В Петербург возвращаюсь в начале сентября для печатания своих творений и прочего. Вероятно, что ты к этому времени порадуешь меня верным известием о прибытии своем на брега Невы. Но скажи мне, ленивый друг, за что называешь ты меня холодным? Такого рода изречения не должны бы стекать с твоего пера, из-за 700 верст. Я пишу мало, потому что весьма часто ленюсь писать. А ты много ли пишешь? и что же пишешь? Из двух строк одна посвящена несправедливости и укоризне. Если это слово *холодный* поставлено только для того, чтобы порастянуть строку, то Бог тебя простит! В противном случае стыдно! Не нападай, ради Бога, никогда на мое сердце — оно служит тебе верою и правдою.

Зачем я в Дерпте, спросишь ты? За важным делом — крестить дитя, которое еще не родилось, дитя Воейкова2 и так далее. Что делаю? Очень, очень прилежно тружусь для своего «Владимира» — думаю об одном «Владимире»,

сплю и вижу «Владимира». Но прежде внука будет дед!3 Это загадка! Так и быть! Разгадаю после.

*Ж.*

Скажу еще два словечка, потому что по причине известной вам холодности сказать более некогда. Твои стихи я выручил у Тургенева и поручил переписать их Блудову. Но всё у меня нет многих из тех, кои бы хотелось поместить в Собрание стихотворений4. Назначь сам, и не имеющиеся у меня перепиши.

Прости, брат. Ради Бога, не обижай глупыми сомнениями и еще глупейшими выражениями твоего Жуковского, который любит тебя и будет любить вечно, потому что твоя дружба, твое уважение и дружба и уважение к тебе составляют необходимые припасы для его счастья. Обнимаю тебя. Поклон Вере Федоровне и поцелуй Маше.

22 июля. Дерпт

**235.**

**А. И. Тургеневу**

*<Около 26 июля 1815 г. Дерпт>*

Посылаю книгу Уварова; извини меня перед ним в покраже1. Я думал, что вам она до времени нужна не будет. Прости, писать некогда. У нас теперь всё

идет кругом. Радость. Моя крестница родила мне крестницу2. Любо смотреть на счастье матери.

**236.**

**А. П. Киреевской (Елагиной) и А. П. Юшковой (Зонтаг)**

*<30 июля> — 2 августа <1815 г. Дерпт>*

Отвечаю на ваше последнее письмо, полученное в Петербурге, милые друзья; право, я очень умен, что вздумал просить у вас денег; вы так мило обо мне захлопотали, что сердце обрадовалось из всех сил. Весело быть уверенным, что

от вас всегда и везде будет мне *ответ* на всякий мой *запрос*, какого бы он содержания ни был; весело думать об вашем уголке, как о настоящей родине, где

*всё*: и родство, и дружба, и воспоминание о прошлом, и настоящее утешение. О будущем говорить нечего. Давно у нас, кажется, решено, что о будущем думать не надобно, что надежда — дело излишнее. *Благодарствуйте за деньги*. Гораздо лучше печатать мне мои стихи1 на ваш счет, нежели на счет царей и прочее. Я отложил, однако, заняться изданием до моего возвращения из Дерпта, то есть до возвращения Кавелина в Петербург2. Он это дело знает лучше меня;

он сбережет мои финансы гораздо лучше, нежели я, и вообще будет заботливее. Получив ваши милые письма, я был очень счастлив, и они тронули меня до слез. Я получил их в самый день отъезда моего из Петербурга, и они были мне добрым товарищем на дорогу.

Здесь приняли меня ласково, и ласка *продолжается*. Признаюсь, сам не понимаю своего положения и даже не умею его описать. Я приехал с тем, чтобы

*окрестивши*, опять уехать в Петербург3, из Петербурга на родину. Вспомните,

*что* я обещал, и *что* заставило меня сделать обещание, и *что* я надеялся получить за него. Обещание это помнят; побудительной причины никто, кроме меня и Маши, здесь не знают; а *ласкою* думают всё сделать. Но при этой *ласке* положение то же; одни только формы переменились. Я не могу быть ни доволен, ни счастлив и со всем тем, по-видимому, не имею права ничего более требовать. С самого моего приезда я веду жизнь *занятую*, то есть сижу в своей горнице за работою, а к ним являюсь только на минуту поутру, за обедом да за чаем. Из этого заключают, что всё кончилось, что петербургская жизнь совсем меня переменила, и платят мне ласкою, думая, что мне уже более ничто *не нужно* и что с их стороны *всё* уже сделано. И в самом деле, как объяснить то, что мне нужно? Я знаю и чувствую, что для меня ничего не сделано, но где

слова, чтобы это выразить, и какими документами это доказать, — а вы знаете,

что здесь всё должно быть доказано документами. Я приехал сюда с твердым намерением ничего не требовать, а довольствоваться собственным, из этого заключают, что *я всем доволен*. Но можно ли быть довольным? С Машею мы розно по-старому, по-старому нет между нами ничего общего! Непринужденной, родственной связи между нею и мною нет; а я только для этого мог бы всем пожертвовать! Я сказал, что хочу быть братом и, право, мог бы им быть во всей силе этого слова; чувствую это и теперь так, как чувствовал тогда; но я в то же время сказал, *для чего и на каких условиях* хочу быть им: это *для чего* забыто; а помнят только слово *брат*, которое всё мое у меня отымает, а мне от них не дает ничего, кроме одной формы. Здесь остаться иначе не могу, как исполнив в точности свое обещание; но как же его исполнить! При тех обстоятельствах, каковы теперь, я не могу, да и не хочу исполнять его! Вот одно, что поддерживает мое намерение здесь *не оставаться.* Но причины, для которой *не останусь*,не поймет никто — припишут капризу и даже неблагодарности. Впрочем, до этого дела нет! Мне нужна доверенность одного человека — и я ее имею. Невозможно и требовать, чтобы они могли понять меня. Для этого надобно бы было позабыть о себе и войти в мое положение. Такого усилия над собою тетушка сделать не может. А Воейков — но его я совершенно вычеркнул из всех моих расчетов. *Будучи* товарищем и родным Маши, я мог бы и его любить как Сашина мужа; теперь же он для меня не существует. Но он всё единственный родня Маши, а я здесь только живу, имею общую дружбу — не надобно быть несправедливым; тетушка со мной ласкова очень — но вот и всё тут; всё остальное не принадлежит до меня! Одним словом, я имею весь *вид* родства; между тем обещанное должен исполнять *не для виду*. Жаловаться *не на что*, но

есть ли *чем* быть довольным? Здесь оставаться — быть братом не для формы, а в самом деле, потому что так обещано. Но вопрос: будешь ли им? На это вам самим легко отвечать. *Одному* быть братом нельзя!4 Но буду ли иметь то, что брат иметь должен? Буду иметь одну ласку и только! До прочего же не касайся. Итак, останется сидеть в своей горнице, работать, а с ними не иметь ничего общего, несмотря на ласку, — такое положение тяжело, и едва ли еще не тяжелее прежнего, ибо оно, по-видимому, у меня отымает всякое право чего-нибудь требовать. Здесь всякий день записывают то, что делается; и я пишу в числе прочих. Вот что написала тетушка в одном месте: «Добрый мой, несравненно драгоценный мой Жуковский опять дает мне надежду на прежнюю дружбу; опять вселяется в мое сердце спокойствие и уверенность на ангельские связи на земле»5 и пр. Слово *ангельские связи* написано, но где же эти ангельские связи на деле? Я знаю, что она имеет ко мне дружбу; но действие этой дружбы совершенно ничтожно; и она не дает счастья. *Опять дает надежду!* Как будто я отымал ее! Неужели дружба приходит и уходит, как лихорадка! Чтобы дать кому-нибудь счастье, надобно войти в его положение, а не располагать им *по-*

*своему*! Этого-то здесь и недостает. С моей стороны требуют Бог знает какого усилия, а с своей не хотят сделать ни малейшего, забыв, что одно без другого невозможно. Так! Я дал обещание быть братом — чувство, которое заставило меня его дать, слишком было прекрасно, чтобы от него отказаться! Но пусть же буду им вполне! Половинным счастьем (которое не есть счастье), тем, что есть теперь, я довольствоваться не могу; да и не должен, потому что невольно нарушишь обещанное. Всё нечувствительно сделается по-старому. Из всего, что здесь написано, вы легко можете заметить, что у меня в душе какой-то хаос. Постарайтесь его немного рассеять и бросьте несколько света в этот мрак. Вам легко судить о моем положении и объяснить его для меня. Здесь бывают для меня обольстительные минуты, но я им не верю. Остаться здесь — значит не получить того счастья, которое было бы возможно и в то же время отказаться от собственного чувства, следовательно всё отдать за ничто. Уехать — по крайней мере сберечь для себя что-нибудь драгоценное. Будучи с вами, я буду гораздо менее розно с Машею, нежели здесь, и буду иметь право на все свои чувства. Меня с вами всё соединяет и ничто не рознит. Простите до будущей почты. Теперь ничего вам порядочно сказать не умею. Величайший беспорядок в голове и всё в разброде.

1 августа

Вчера получил я письмо от Уварова из Петербурга6. Я прилагаю его здесь.

Оно заставит меня ехать отсюда скорее, нежели я располагался, хотя не знаю сам, зачем. Потерять выгоды не надобно; если дадут мне то, чего мне единственно хочется, *независимость* (а моя *независимость* в том, чтобы иметь только самое *нужное, но верно*), то я соберусь, вероятно, весною к вам. У меня в голове прожект: съездить нынешним летом в Киев и оттуда, если можно будет, в Крым7. Этот вояж нужен будет для моей поэмы. Подумайте и вы, друзья, об этом. Что, если бы мы вместе в Киев? А в Дерпт? Нет, я чувствую сам и ясно, что в Дерпте быть не дóлжно! Того не будет, чего мне хочется! А так жить, как жил прежде, как живешь теперь, нельзя! Убьешь Машу, тетушку и себя. Не надобно и от тетушки требовать многого, не надобно и к ней быть несправедливым — нельзя же переселить в нее образа своих мыслей! Следовательно, нельзя и надеяться,

чтобы принуждение когда-нибудь миновалось! А при нем никак ни за что ручаться не дóлжно. Живучи здесь, надо исполнить обещанное свято, иначе разрушишь и свое, и их спокойствие! а как исполнить, когда никто не поддержит. Но

чтобы решиться одинаково со мною чувствовать, надобно войти в мое положение — это ей невозможно! Невозможность этого давно доказана опытом! Итак, покориться судьбе своей, да быть, если можно, твердым, не унывать, довольствоваться тем, что *есть*; вы, друзья, мне в этом будете добрые помощники. Лишь бы только выхлопотать себе независимость — я бы перелетел к вам, на родину, к родным. Там наш кружок будет очень мал, но мы будем жить если не с сча-

стьем, то с дружбою, и станем вместе тянуть свой крест. Мне кажется, что у вас пооживет для меня многое, что в короткое время петербургской жизни моей успело завянуть. Но, признаюсь, мне страшны эти grands projets[[196]](#footnote-196), о которых Уваров пишет; не готовят ли мне неволи? Тогда плохо придет моей Музе! Я уверен,

что ни в Петербурге, ни в Дерпте от нее ничего доброго не родится. Увидим.

Благодарю Вас, милая Eudoxie, за Ваше намерение прислать мне еще две тысячи8; но боюсь, что это обременительно, что Вы, не спросясь с благоразумием, даете такие деньги, которые Вам *нужны*; не забудьте о долге, о Ваших постройках; одним словом, печатанье моих стихов пойдет порядочно, а покой мой придет в беспорядок. До тех пор будет камень на сердце, пока не получите Вы этих денег назад; если бы они только были Ваши — тогда бы ни слова; но они принадлежат не Вам одним. Едва ли я не светренничал, что затеял этот подушный сбор с моих друзей. Я знаю, что Вы мне на это отвечать будете, но со всем тем я остаюсь на стороне Ивана Никифоровича, который, верно, хмурится.

Милая Анета, Ваше письмо и грустно и мило. О! я очень чувствую, как должно быть пусто вокруг Вас. Мысль об этой запустелости сжимает душу. Мы *поделимся* ею. Простите, друзья. В голове и душе у меня та же неясность. Из Петербурга напишу более. По крайней мере, теперь *верно* одно: *мне оставаться здесь не дóлжно*. Всё прочее на произвол судьбы! Детей целую. Вас за письмо двадцать раз.

Отвечайте в Петербург. Азбукиных друзей обнимаю. Были ли вы 3 августа в Черни?9 Напишите. От Негра нет ответа на три письма; милый бесценный Нeгр! Люблю его более, нежели когда-нибудь.

2 августа

Я опять раскрываю письмо свое, чтобы написать опровержение на первую его страницу. Ее писало пристрастие. Теперь пишет благоразумие или, лучше сказать, списывает, потому что это еще написано вчера ввечеру после маленькой ссоры с самим собою, которая кончилась миром. А написано это у меня в белой книге, которая в иные минуты бывает мне добрым товарищем, и написано в ней вот что: «Здесь я не имею того, чего желаю! но вопрос, могу ли

его иметь? Может ли Е<катерина> А<фанасьевна> быть для меня точно такою, какою я бы желал! Нет! Это *невозможно* и невозможно *не от нее*, но от обстоятельств наших, которые должны нас рознить. Как же *обвинять* за невозможное? Было бы несправедливо! А несправедливое обвинение только прибавит

одно лишнее и бесполезное горе к тем горестям, которые она имела и *имеет*. Гораздо лучше, и благороднее, и справедливее *жалеть* о тех обстоятельствах, которые и ее, и меня лишают способа дать друг другу какое-нибудь счастье, и не силиться *победить непобедимого*. Ласки ее точно ко мне искренние, но более не может она дать ничего, и виноваты в том обстоятельства. Мы смотрим на вещи разными глазами, мы не согласны в образе чувств наших — без этого *согласия* быть вместе нельзя; будем только мучить друг друга; но стараться произвести это согласие также *нельзя*! на это усилие она неспособна. Итак, *расстаться* и не

обвинять ее несправедливо. Она так же достойна сожаления, как и я!»10. Видите, сколько перемен в три дня. Но теперь, кажется, хаос в порядке.

У бесценной Марьи Алексеевны целую ручки; каково ее здоровье? Поклонитесь самым дружеским образом Елене Ивановне. Здорова ли Наталья Андре-

евна? Что от нее нет никакой весточки?11

Бедный Федор Александрович!12 Жаль его от всего сердца! Еще одним прекрасным, благородным человеком менее в нашем кругу!

Пошлите письмо Уварова к Плещееву и скажите ему, чтобы он отвечал мне на мои три письма. Я, однако, не *дуюсь*. Буду писать к нему из Петрограда. Ав<дотья> П<етровна>! Кавелин должен непременно Вам нравиться13: он прекрасный человек, — когда увидимся, расскажу Вам один его поступок, которого довольно, чтобы судить об нем безошибочно. А мне он был большим утешением в первые минуты петербургской жизни, за которые я заплатил ему искреннею дружбою. Я с ним говорил *обо всём* и нельзя было скрываться потому, что эта доверенность была уже сделана Воейковым в дни его *пламенной ко мне дружбы*.

**237.**

**А. И. Тургеневу**

*<1—2 августа 1815 г. Дерпт>*

Обнимаю тебя, милый друг, и благодарю за письмо1. Что ты говоришь мне о жертве и о моем солнце?2 Разве я поехал сюда с тем, чтобы греться подле моего ясного солнца? Нет, брат, оно яснее для меня, когда я от него далее. Тогда оно одно только для меня видно, и ничто противное не темнит его милой ясности. Здесь я не должен глядеть на него свободными глазами; здесь душа, мысли и чувства сжаты. Уехать отсюда не будет для меня жертвою. Напротив, здесь остаться было бы жертвою, жертвою всего, что мне дорого, лучших своих

чувств. Не говорю уже о надеждах; их нет, да они и не нужны! Жаль, что ты не со мною; мы бы многим, многим поделились, и никто лучше тебя не умел бы взять принадлежащей части. Знаешь ли, за что я тебе благодарен в последнее время? За мысль, что ты мне истинный друг! Право, она животворна. Во все те минуты, которые мы проводили *вместе, как дóлжно*, я чувствовал, что у меня что-то приятное теснило грудь: так было мне усладительно находить в тебе прежнюю высокую душу, *прежнюю*, несмотря на ту тяжелую корку, которая наросла на нее и которая ее скрывает от других, может быть, и более опытных, нежели мои, взглядов. Во мне более ребячества и, может быть, мелкости, нежели в тебе; но мы понимаем друг друга сердцем, и эта связь вечная. Я внутреннему чувству верю. Оно не определяется словами, но оно ясно. Во все хорошие наши минуты, в минуты откровенности, я чувствовал, что мы товарищи, и это чувство меня возвышало.

Что же ты ничего не пишешь мне о себе? Ты говоришь в своем письме только о моем, а о своем ни слова. И я уверен, что это от *лени*. Как некстати, но как натурально! Надобно быть мною, чтобы это понять, и тобою, чтобы так лениться. Говорить много не надобно: *для меня счастье на стороне должности*; а против того, что может нарушить это счастье, твердость и деятельность. Прости, милый друг; в конце августа я у вас3. Обними Блудова и Дашкова. К Блудову я написал письмецо на прошедшей почте. Его не приняли. Посылаю теперь. И книгу по-

сылаю. Побрани Жихарева4 за то, что он не держит слова и не написал ко мне.

Твой *Жуковский* В письме к Уварову мой ответ на ваши письма. Agissez en mon sens[[197]](#footnote-197).

**238.**

**А. И. Тургеневу**

*4 августа <1815 г. Дерпт>*

4 августа

Я получил от Анны Петровны Юшковой1 письмо, в котором большие тебе благодарности за такое *скорое, деятельное и внимательное* исполнение ее просьбы. Если бы ты сам получил эти благодарности, то, вероятно, поверил бы,

что их стоишь. В самом деле, как ты хлопотал! Почти так же, как и о докторе Форе, который так восхищен тем, что еще по сию пору ничего не получил от

Вязмитинова2, что даже и не благодарит. В ответе своем Юшковой я тебя, однако, описал in naturalibus[[198]](#footnote-198) и посылаю тебе твой портрет для того, чтобы ты мне сам сделал на него критические замечания. Письмо мое гласит так:

«Оставьте ваши scrupules[[199]](#footnote-199) насчет Тургенева и не заботьтесь ни о формах благодарности, ни о самой благодарности. Вот человек, который одарен прямо высокою душою. Знаете ли, что мешает ему быть одним из первых людей? *Толстота*, которая заставляет его часто спать, вместо того чтобы действовать, и непроизвольная, но убийственная и для него почти непобедимая рассеянность, в которую бросили обстоятельства по службе. Прекрасная душа исчезает посреди этого вихря, и я даже не вижу способа помочь этому. Есть один способ; но, боюсь, если он его не воскресит, то убьет. Во время моего пребывания в Петербурге я провел с ним настоящим образом *несколько часов*, — но в эти часы я прямо был *ему рад*! Та же простая, превышающая всё, что вокруг нее, душа, какая была и во *время оно*. Он не имеет уважения к людям, потому что их знает и принужден возиться с ними в одном и том же навозе. Они почитают этот навоз приличною им отчизною, он же просто грязью. В нем две противности (от которых по большой части ему бывает плохо с самим собою); совершенное равнодушие к окружающему его, происходящее от того, что всё окружающее его *не стоит*, и невольная, но сильная (не душевная, а механическая) привязанность к этому ничтожному, произведение обстоятельств и врожденной беспечности. Он отдал себя, или, лучше сказать, кем-то отдан на волю потока, и несется в нем с грузом высоких чувств и мыслей, которые в нем радуют менее самого его, нежели его *друзей* в те *минуты*, в которые удается им достичь до его чувств и мыслей. В эти минуты я всегда бывал с ним счастлив и поздравлял себя с именем его друга, потому что это есть великое достоинство. Особенная черта его: *независимость* в образе мыслей и чувств ни от кого и ни от чего, и какая-то гордая *беспечность* в открытии их перед другими, так что никакая осторожность, никакой, как говорят немцы, Menschenfurcht[[200]](#footnote-200), его остановить не могут. *Я знаю его совершенно*. Но весьма немногим можно знать его; мелочному, или не близкому к нему, или только здравомыслящему человеку весьма легко иметь об нем самое обыкновенное или невыгодное мнение. Но он посреди невыгодных этих мнений и толков разгуливает свободно и беспечно и готов спать на острие тех ножей, которыми думают его изрезать. Он часто меня удивляет. Подумаешь, что он или дремлет, или не слушает, а вдруг скажет что-нибудь такое, что заключает в себе глубокую и справедливую мысль, точное вдохновение, но плод обдуманности и опыта. Мне всегда забавно видеть некоторых человеков, которые, не имея и не будучи способны иметь обо нем настоящее понятие, гуляют на его счет и, будучи безопасны под щитом его к ним невнимательности, судят его решительно,

а его *молчание* считают за признание, коего можно было бы справедливее принять за *презрение*, когда бы не было оно произведением самой простой беспечности насчет всего мелочного. Самолюбивому и мелочному человеку трудно его любить, потому что он слишком небрежет о формах и не щадит никакого самолюбия, менее от malignité[[201]](#footnote-201), чем от беспечности. Много людей могут быть им недовольны, потому что множество на него требований, а он по беспечно-

сти заботится только о том, что почитает важным, мелочное же забывает. Зато в важном случае никто так просто и бескорыстно не пожертвует *собою*, как он».

Видишь ли, что мне иногда бывает досуг говорить о тебе и что я так же о тебе иногда рассуждаю, как о плане своего «Владимира». Прочти это Софье Петровне3 и сообщи мне ее мысли. Весьма будет мне весело, если мое о тебе понятие пройдет через ее сердце и в нем очистится. Теперь ты, верно, уже получил мое письмо. Вот дополнение к тому, что я писал к Уварову. Чтобы сделать для меня то, что мне надобно, вы должны иметь настоящее об нем понятие, то есть

о том, что мне надобно. Боюсь я этих grands projets[[202]](#footnote-202)4. Могут составить себе за меня какой-нибудь план моей жизни, да и убьют *всё*. Ты можешь обо мне переговорить и с Нелединским. Он в состоянии всё понять и всё объяснить государыне просто. Переговори с Уваровым и с ним и объясните всё между собою. Тебе, кажется, не нужно иметь от меня комментария на то, что мне надобно. Независимость, да и только! Способ писать, не заботясь о завтрашнем дне. Что, где и когда писать — мне на волю. Я не буду жильцом петербургским; но каждый год буду в Петербурге непременно. Вот главная мысль; остальное можешь придумать сам. Еще скажу одно. Мне бы хотелось в половине будущего года сделать путешествие в Киев и Крым5. Это нужно для «Владимира». Первые полгода я употребил бы на приготовление; а последние — на путешествие. Но еще уговор,

чтобы не давать чувствовать, что я пишу «Владимира», ищу покровительства для «Владимира»: если писать сделается для меня обязанностью непременною,

то сказываю наперед, что написано ничего не будет. Отвечай на это письмо скорее. Когда мне надобно приехать?

Да если и на будущей почте ты ничего не напишешь мне о Форе, то я надуюсь не на шутку. Не посади меня в цепь мелочных людей, недовольных тобою за беспечность. Я не хочу принадлежать к этому классу. Прости. Обними за меня твоего несравненного Сергея и Николая6. На свете много прекрасного и без счастья7. Давеча поутру я нечаянно развернул Бутервека8 и прочитал написанное на одной странице карандашом: Le bonheur consiste dans la vertu qui aime et dans la science qui éclaire[[203]](#footnote-203). Это стало мне теперь понятнее. Душа добродетельная наслаждается, то есть любит с чистотою и бескорыстием; душа просвещенная судит себя и всё, что ее окружает; истина дает прочность наслаждению; великие мысли совершенствуют великие чувства, удерживают их на полете! Произведение всего этого есть счастье. Помнишь ли, чтó говорит Миллер: Lesen ist nichts; lesen und denken etwas; lesen, denken und fühlen die Vollkommenheit[[204]](#footnote-204)9. На место lesen поставь leben\*\*\*\* и прощай.

*Жуковский*

**239.**

**А. И. Тургеневу**

*<14 августа 1815 г. Дерпт>*

Вот письмо, полученное мною из Белева от милой женщины, которую ты должен любить как сестру, потому что она точно мне сестра1, и которой просьбу

ты должен исполнить. Не одну ее просьбу, но и вместе мою. Федор Александрович Камкин2, бывший белевский почтмейстер, был мне искренний приятель. Монастырев3, его помощник, очень хороший человек, также мне коротко знакомый. Камкин его любил, и всё, что сделано ему добра, было сделано им. Для меня было бы весело довершить это добро, и точно сочту за знак твоей дружбы,

если ты в этом случае мне поможешь. Прошу тебя, похлопочи и забудь свою беспечность. Верно, Козодавлев4 захочет исполнить такую бездельную твою просьбу. А мне будет истинною радостью, если честному человеку дадим хорошее место. Брат, прошу тебя. Скоро обойму тебя. Много, много через неделю.

Поклонись Уварову и Блудову.

Письмо твое5 пришло ко мне в хорошую минуту, в такую, в которую я был к тебе ближе, потому что писал тогда стихи доброму человеку6, стихи не для печатания, но для облегчения сердца и для друзей. Прочту, когда приеду.

Приложенное письмо тотчас доставь Жихареву.

**240.**

**М. А. Протасовой**

*<Около (не ранее) 14 августа 1815 г. Дерпт>*

Мне давно бы пора привыкнуть думать и верить, что Провидение всегда в тяжкие минуты посылает утешение. Но *здесь* невозможно сохранить нужный для этого порядок в душе. Столько грустных чувств на нее нападает, что она не в состоянии с ними сладить, не в состоянии от них отделаться; а пока они *тут*, по тех пор ничто хорошее, следовательно справедливое, нейдет в душу. Надобно чему-нибудь постороннему, прекрасному случиться, чтобы ею овладеть, оттащить насильно от дурного и всё показать с лучшей стороны. Это со мною и случилось. Эверс подоспел мне на помощь1 и если не совсем утешил, то по крайней мере заставил глядеть другими глазами на горе. Послушай, милый друг, как бы ни дурно жить, но добрая жизнь, взятая в целом, есть и счастливая. Это надобно сказать, подводя итог, а не тогда, когда душа взбуровлена и нельзя сделать счету. Здесь я часто бываю *бессчетным*2; в Петербурге совсем другое, но едва ли не хуже — сухая, мертвая жизнь! Будучи там и чувствуя тамошнее дурное, я часто жалел о здешнем дурном; здесь, по крайней мере, оттого, что принужден с собою бороться, поневоле добираешься до чего-то прекрасного, что на несколько времени бросает большой свет на душу; там нет ничего — полное, мертвое ничтожество. Но и здесь убийство! Сердце более нежели когда-нибудь разрывается. Можно привыкнуть даже к ненависти. Уехать на родину3 — там буду совершенно жить для тебя; старого милого прежнего и настоящего никто у меня не отнимет. А будущее всё поручаю тебе. Но мысль, что я буду свободен, буду располагать своим временем, буду иметь подле себя друзей, с которыми всё *мое* разделить можно, эта мысль для меня мучительна! У тебя этого ничего не будет, а я этим пользуйся! Эта мысль всё должна отравить. И еще воображать, что ты должна успокаиваться только тем, чтобы ничего *не ожидать от них*. Это несносно! Против этого надобно вооружиться твердою мыслью: *сделать лучшее употребление из судьбы своей*. Думай обо мне — в этом для тебя

*всё*! Мое *всё* я обещаю исполнить! Я слишком много позволяю над собою иметь влияния печальному — в минуту грусти я всё забываю и на всё рад опрометью броситься. Мне надобно более верить твоей твердости — ты имеешь в душе своей гораздо более силы, нежели я! У меня тени нет твоего терпения! Но как же терпеть, смотря на несправедливости и холодное невнимание к тому, что должно разорвать сердце (я говорю не о Воейкове); нет! здесь жить, всё видеть и молчать — не достанет жизни. Одно место твоего письма несносно — как могла ты стать на колени и просить прощения Бог знает в чем и перед кем же? Это унижение нестерпимо — ради Бога, в таких случаях вспоминай обо мне и не давай над собою воли!

Милый друг, у нас нет счастья — но мы имеем много! То сердце, которого ты требуешь, принадлежит тебе, навсегда, одной тебе и ни в чем другом не найдет замены той жизни, которую находит в своей привязанности к тебе! Разве этого мало! Разве не утешает тебя мысль, что я для тебя буду *стараться жить*; для тебя становиться лучшим, тебе буду посвящать каждую хорошую мысль, каждый хороший труд — где бы ни был, всюду с тобою! Разве не утешит тебя мысль,

что ты будешь причиною всего хорошего в моей жизни, хранителем ее чистоты! Заглядывай всегда в окно, когда нужно будет тебе утешения; ты увидишь домик

Эверсов4 — в этом уголку прекрасное, угодное Богу творение! Посмотри, как он спокойно смотрит на прошедшую жизнь свою, как *всё* ему друг; это плод

чистоты душевной! Брат его и *твой питомец*5 будет об вас думать всегда вместе, об вас, чтобы быть всегда вашим, чтобы быть к вам *ближе*; он будет час от часу более окружать себя хорошими мыслями и, может быть, делами! От дурного вы же будете ему защитою! Теперь каждый прекрасный вечер будет напоминать мне о двух моих товарищах и будет мне уроком, и ободрением, и утешением!

Когда поеду к нашим, примусь писать *ответы* на многие важные для жизни *вопросы*. Это всё будет для тебя. Это будет моя философия, основанная на одних *моих* опытах, а все мои опыты в одном — в моей к тебе любви! Больше ничего я не испытал на свете! Всё или от нее происходило, или к ней относилось! Там, т. е. на родине, много для меня драгоценного — там наши общие воспоминания! Знаю, что будет грустно и тяжело, но там только и жить можно. И эти воспоминания будут *записаны для тебя*. Ты же непременно имей положенную работу — переводы нашего Дрезеке6, делай свои выписки и записки, будь более с собою; у тебя нет особого места — уступи необходимости; *когда* найдешь время, *где* успеешь, подле Катиной колыбели7, рано поутру, где ни попало, пиши, читай, думай. *По доброй мысли на каждый день* — довольно хотя того. Почему знать — может быть, Провидение требует только терпения и покорности*. Лучшее употребление из судьбы своей!*

**241.**

**А. И. Тургеневу**

*<Середина августа (до 21-го) 1815 г. Дерпт>*

Прилагаю при сем письмо Петерсона1 и прошу тебя о том же, о чем просит и он, то есть покровительства Гуну2. Если можно, то не откажи ему в его просьбе; здесь все его разумеют, как хорошего и почтенного человека. А я тебе напомню, что брат его бывал у твоего отца во время болезни и старался усердно

ему помочь3.

Я поеду отсюда 21 или 22-го4. Это еще не будет поздно. Нечего о себе сказать доброго.

Во всём, во всём печальный слышу голос, Что ничего мне жизнь не обещает5.

Я на будущее смотрю без желания и ожидания. Из дурного лучшее для меня уединенная и занятая жизнь, следственно не петербургская и не дерпт-

ская. Но какая бы ни была, всё будет полумертвая. Прощай, брат.

**242.**

**А. Ф. Воейкову**

*19—22 августа 1815 г. <Дерпт>*

19 августа 1815

В журнале вашем1 ты написал обо мне между прочим, что я был с тобою милостив и разговорчив и что ты это замечаешь для приятного воспоминания. Почитав это, я решился написать к тебе как можно яснее. Сначала я этого не хотел делать. Теперь нахожу это нужным, первое, чтобы ты знал образ *моих* мыслей, второе, может быть, и для того, чтобы быть для тебя полезным. Хотя последнего и очень мало надеюсь.

Я очень пониманию намерение, с каким эти строки написаны обо мне в журнале. Надобно было *представить* меня человеком своенравным, угрюмым, капризным, который дуется Бог знает за что и своим нелюдимым характером разрушает спокойствие семейное. Признаюсь в своем пороке: я не могу себя никак принуждать, и моя наружность всегда отвечает внутреннему расположению. Молчать я мог потому, что так было дóлжно. Но большего усилия над собою сделать я был не в состоянии; моя холодность к тебе происходила от моего образа мыслей на твой счет и от твоих поступков. Чтобы дать понятие об этом образе мыслей, надобно наперед заглянуть на старое.

Прилагаю здесь три письма2, мною писанные к тебе в прежнее время, в разные эпохи нашего несчастного *вместе*3. Я перечитал их с чувством ужаса — всё

сбылось, что думал тогда. Эти письма дадут тебе понятие о тогдашнем образе мыслей моих. Теперь буду говорить только о том, что было с нами после моего последнего возвращения в Муратово4, и еще кое о чем упомяну прежнем.

Помнишь ли наш самый первый разговор об Авдотье Николаевне Воейковой?5 Ты сказал мне тогда, что хочешь на ней жениться, что этою женитьбою хочешь спасти ее от ее несчастных обстоятельств, что для общей вашей без-

опасности желаешь найти место и для того избрал профессорство или в Дерпте, или в Казани — вслед за этим я написал письмо к Тургеневу и он начал хлопотать о профессорстве6. По глупейшему простодушию я счел, что одно побуждение самой нежной дружбы к Авд<отье> Никол<аевне> тебя заставляло желать этого супружества7. После ты заметил, что тебя *ищут,* — мысли переменились8. Первая связь забыта. Ты поехал в Петербург, с другими надеждами, но всё для своего профессорства, и там уверил Кавелина и Сиверса9 (от которых это я слышал сам), что профессорство и самая женитьба нужны тебе единственно для меня, что мои выгоды этого требуют. Нынче в Петербурге читаю письмо Саши к Кавелину, в котором стоит10: «Воейков признался, что связь была разорвана и что и в самом деле так было, потому что он желал места в Дерпте для

того только, чтоб быть от нее далеко»11. И это написано в каком письме? в том, которое должно было служить вместо *исповеди* перед оскорбленным, благородным сердцем Кавелина; Кавелин требовал от тебя раскаяния, а ты, чтобы себя оправдать, *солгал* в ту минуту, в которую всем бы сердцем должен быть тронут и обрадован возможностью простым признанием перед *второю твоею совестью* (как ты говоришь сам о Кавелине) обратиться к добру и всё мерзкое прошедшее загладить прямым благородным желанием добра. Вот была для тебя минута *перерождения —* вместо того чтобы решиться *быть* прямо добрым, ты с

совершенным равнодушием к добру решился только *казаться правым*, и перед кем же? перед честным, чистым другом, который подавал тебе руку помощи. В такую святую минуту ты решился быть низким обманщиком и не постыдился заставить ангела жену твою написать то, чего бы не должна была *она* писать. И что же еще? вместо того чтобы иметь какое-нибудь сожаление к той женщине, которая была тобою развращена, ты всё сваливаешь на нее; Саша пишет: «Выходя замуж за Воейкова, я ничего не знала о связи его с этою ужасною женщиною, которая ничего не имеет святого и которая завела его удивительным притворством, фальшивою искренностью и романическою страстью. Добрый, умный и простодушный мой Воейков считал себя любимым выше всего и что всем для него жертвовали».

Это пишет чистое перо Саши, пишет от имени своего мужа, который стоит перед своим другом, требующим от него искренности, прямодушия!12 Ты так же поступил и со мною! Помнишь ли, когда в Муратове (в то время, когда ты еще только начал надеяться войти в семью Е<катерины> Афан<асьевны>, я сказал *тебе* о том, что слышал от Мерзлякова о твоей связи — что ты мне ответил? *Мерзляков клеветник и пьяница!* И я имел несчастье поверить — да для меня казалось естественнее Мерзлякову *ошибиться* и сказать вздор, нежели тебе с таким спокойствием говорить *наедине* тому человеку, которого ты называл другом, *такую бесстыдную* ложь!

*Всё* это я пишу не для того единственно, чтобы сказать тебе что-нибудь жестокое, — в этом нет ни удовольствия, ни пользы; мое письмо имеет совсем другую цель. Оно должно оправдать мою к тебе холодность, показать ее причины, а вместе с причинами и то, что тебе для собственного твоего счастья и для спокойствия твоей семьи можно и дóлжно поправить. Поверь, что во всё это ничто собственное мое не входит; мы теперь навсегда розно; но, по несчастью, всё, что мне дорого, зависит единственно от тебя — если у тебя есть сердце, то мой голос до него дойдет, если ж нет, то я исполнил то, что считал должным.

Помнишь и наше первое расставание в Муратове?13 Сначала я был в отчаянии — тогда не было для меня еще ничто известно об Авд<отье> Ник<олаевне> Воей<ковой>, но я уже начинал *подозревать* истину. И из этого предсказывал себе несчастную судьбу Саши и Маши. Но я подумал, что прошедшее еще можно загладить, и решился поговорить с тобою искренно. Я помню мой разговор с тобою в моем флигеле — я всем сердцем тебе вверился и, напоминая тебе о нашей молодости, требовал, чтобы ты исполнил то, что было положено между нами *тогда*, то есть быть добрыми товарищами в жизни; помню и то, что писал к тебе после моего отъезда в Чернь14; ответ Саши на это письмо у меня перед глазами15. Требование мое не в том состояло, чтобы ты исполнил невозможное, — это было бы безумно! Но в том, чтобы ты был утешителем Маши, —

спрашиваю, исполнил ли ты эту просьбу? Не притворяйся передо мною и не думай обмануть меня словами — я видел твое обхождение с нею!16 В нем нет никакого благородства! Тебе приятнее каждую минуту давать ей чувствовать,

что ты всемогущий в доме, что ты владеешь и сердцем ее матери, что твоя воля ей закон, нежели быть ей таким товарищем, как дóлжно! Последнее труднее! для этого надобно иметь чувство, входить с нежностью в грустное состояние души — ты выбрал лучше удовольствие притеснять и мучить! В самом деле удовольствие! Особливо когда перед тобою молчат! Но чтобы иметь такое удовольствие, надобно иметь особенную черствость в душе! В этом случае, конечно, достойнее сожаления ты, нежели она! Страдания могут кончиться! Никто на свете не сделает ничего вопреки Провидению, но причинять страдания и иметь в душе нужную для того способность — вот несчастье совершенное! Посмотреть *издалека* на судьбу твою — как ей не позавидуешь! Семья, какой другой не найдешь в свете, все лучшие радости жизни под рукою — что бы тут могло быть? настоящее счастье, взаимная доверенность, взаимное уважение, всё! но чтобыпользоваться всем этим, недостает только человека! Ты посреди этого добра слеп и нем душою! И я не говорю об одной Маше — я говорю о *всех вообще*, но для Екатер<ины> Афанась<евны> нет и не может быть такой тягости — кроме иных минут, ты показываешь ей все *наружности* любви, а я знаю, как она легко может довольствоваться наружностью! Кому ей *надобно* верить,

она тому верит! Только бери на себя труд *казаться*, и *будешь всем*, чем только желаешь, в глазах ее. Но, спрашиваю, верно ли такое счастье? Что это за согла-

сие семейное, которое всё основано на притворстве? И как бы легко было ему быть *истинным*, когда бы только те, которые составляют семью, решились не *казаться*, а *быть* прямо тем, что дóлжно!

Ты хочешь дать им чувствовать, что я холоден с тобою от каприза и своенравия! Нет, я холоден с тобою, или, яснее, я разорвал всю с тобою дружбу, за твое притворство, за твою нечувствительность, за твое грубое с ними всеми и в особенности с Машею обхождение. *Притворство —* вот его доказательства!17 Не говорю уже о первом твоем обмане! Но спрашиваю, кто жарче тебя принял мою сторону? Не ты ли обо всём разблаговестил в Петербурге? Не ты ли втрое сильнее моего держался моего мнения? Я здесь напомню только о твоих стихах, которые навсегда останутся документом твоего тогдашнего (*нужного для твоих выгод*) образа мыслей!18 Потом не я ли своими ушами слышал, как ты всё, что сам утверждал некогда с таким жаром, опровергал еще с большею ревностью, называл святотатством, противным религии и нравственности?19 Что могло побудить тебя к тому и другому? Надобно было выбрать одно: или быть

согласным или несогласным со мною и крепко выбранного держаться. А ты мыслил *со мною одинаково* только тогда, когда считал меня *нужным,* — хоть, право, не знаю, на что я мог быть тебе нужен! Всё, что было тебе надобно, сделалось без меня, и пособие мое только всё бы для тебя испортило. И ты *перестал*

соглашаться со мною, как скоро увидел, что я тебе ни на что *не надобен*. Поверь,

что мне никогда бы в голову не пришло обвинять тебя за неудачу, — ибо успех не в твоей воле! но за такую переменчивость по нужде и месту можно ли не обвинять! Притворство в дружбе, или, лучше сказать, вид дружбы (потому что самой дружбы никогда не бывало), и есть уже натуральное всего этого следствие. В Москве твердишь мне о том, что непременно надобно просить императрицу20, а Екатер<ине> Афанась<евне> твердишь противное; то вступишься за меня, то опять скажешь ей, что мне слишком много дают надежды; одним

словом, играешь ею и мною; здесь, в Дерпте, напомню только о двух случаях: увидев однажды у Маши мои экстракты, которые она должна была переписывать, я, не говоря ей ни слова, унес свои тетради, и после об этом сказал тебе же; ты побежал *к ним* и сделал страшную историю: я прихожу к вам — мне ни

слова, большая со мною *ласка* от тебя и большая *холодность* от Е<катерины> Афан<асьевны>. К счастью, приходит Маша и требует от меня *при тебе* назад моих тетрадей — это доказало мне, что уже *всё сказано* было Екатер<ине> Афан<асьевне>, но сказано (как и многое) *не при мне*21*.* Где же прямодушие?

И как жить вместе, когда *в одном углу* друг о друге будем говорить противное тому, что скажем *в другом*? Тебе же всегда говорить легко — тебя спрашивают, тебе верят; я буду только чувствовать следствие разговоров, а что сказано, того знать не буду. Другая черта: я обещал Е<катерине> А<фанасьевне> переменить

совершенно свое чувство к Маше, обещал искренно — верь этому или не верь, в этом нет большой нужды! Но знаешь ли настоящую причину этого обещания? Я думал получить за него полную доверенность, полное право быть Машиным братом22, ибо видел, что ей нужна подпора, и *подпора от тебя*, ибо видел, что ты не только не имеешь к ней надлежащей привязанности, но в случае нужды способен ею пожертвовать!23 Я надеялся получить эту доверенность, и тогда, имевши в нашей семье одинакие права с тобою, я был бы от тебя независим и именно тогда могли бы мы быть с тобою дружны! Да, дружны, потому что тогда уже я мог бы любить в тебе Сашина мужа и моего родню и иметь полную свободу в семье и искреннюю дружбу сестры, считал бы обязанностью говорить тебе всё прямо и тем беречь общее счастье! На несколько минут вообразил, что такая связь между мною и Е<катериной> А<фанасьевной> возможна, и как гора упала с сердца. Всё, что на нем было против тебя, тотчас пропало из памяти. Я помню наш разговор с тобою24: ты говорил мне вещи жестокие, но у меня тогда было на душе легко, и я принял это за искренность и был тебе благодарен. То, что я тебе написал тогда в альбом, было искренним выражением моих мыслей. Я выдрал эту страничку из твоего альбома, там она не на месте; но здесь она кстати. Вот что было там написано:

*Хороший плод хорошего разговора.* «Счастлив тот, кому удается пройти по земле, не споткнувшись, или кто, споткнувшись, воздержался от падения! Но еще не совсем несчастлив тот, кто, упавши, сохранил силу подняться и спешил ею воспользоваться; кто *вовремя* может себе сказать: нет ничего лучше исполнения должности; кому осталось если не столько жизни (ибо как польститься на жизнь), то по крайней мере столько надежды на жизнь, чтобы это исполнить на деле. Исполним же это на деле и, если можно, вместе. Что бы ни сулили страсти, но годами своих наслаждений не дадут они того, что дает одна минута доб родетели. Какая бы ни была наша судьба — она зависит от Провидения! Но то, что от нас зависит, есть: быть ее *достойными*, когда она счастлива, и быть *лучше* ее, когда она несчастна. *Всё в жизни к великому средство*»25.

Эти мысли были точно плод нашего разговора, но они пришли *не в первый раз* мне в голову. Дело уже было решено. Я уже прежде написал письмо к Е<катерине> А<фанасьевне>, в котором обещал быть ее братом26. Я думал, что это было дело возможное, и мне легко было от всего сердца помириться с тобою. Я готов был на *товарищество* с тобою, и то, что ты мне говорил, очень тяжелое, но *отчасти* справедливое, хотя было оно сказано с обыкновенною твоею грубостью и всё увеличено, тронуло меня, потому что я видел тут что-то искреннее и считал это задатком того, что я сам в свою очередь хотел для тебя делать. Ты говорил мне, что я *обманул* Е<атерину> Афан<асьевну>; что мне дóлжно *заслужить* прежде ее доверенность; что некоторые мои поступки были *дурны и неприличны*; что я сам у себя отнял право на доверенность. И я со всем этим согласился. Теперь много бы дал я здесь тебе объяснений на всё это, но на что сие!

Это меня поразило тем более, что я был искренно готов всем пожертвовать, и уверяю тебя, что тогда было совершенно забыто, что *ты* своими дурными поступками заставил меня решиться на такое пожертвование, на которое я и не считал себя способным, — одним словом, я видел перед собою новую жизнь, семейный покой, общее согласие, общую взаимную доверенность, прекрасное *вместе*, посвященное добру и счастью! Дурацкое заблуждение! Через несколько дней, читая твои стихи в мой альбом, я изорвал их, но оставил для

себя список. Вот они:

У Гениев, как у царей,

Премножество льстецов под именем друзей,

Но я уверен в том по чести, Что человек с умом

Найдет различие меж другом и льстецом:

Льстец гладит по шерсти, друг гладит против шерсти!

Это было прочтено с торжеством, в общем собрании27. Но такого ли ответа можно было мне ожидать! Эти стихи должны были заставить думать, что всё мною сделано по твоему совету, и ты этим вздумал хвастать! *Ты* подавал мне

спасительные советы?! Но когда же? Не тогда ли, когда в Петербурге всех уверял,

что Дерпт и женитьба тебе нужны только для меня28, не тогда ли, когда вместе со мною просил И<вана> Влад<имировича> написать письмо к Е<катерине> Аф<анасьевне>, над которым после смеялся?29 Не тогда ли, как вместе с Плещеевым созидал план насчет императрицы и потом в Москве перед отъездом в Дерпт советовал мне этот план исполнить, говоря между тем всё противное Е<катерине> Афан<асьевне>? Наконец, не тогда ли, как мне советовал увезти Машу?30 и пр. и пр.

Чтобы узнать твое намерение, я спросил у тебя при Е<катерине> Афан<асьевне>: «Когда же случалось, чтобы ты гладил меня *против шерсти*?» И я угадал твой ответ прежде. Ты именно указал на *последний наш разговор*! Но кто же и тут заставил тебя говорить, как не я! И не *правда*, сказанная тобою, мне понравилась (она пришла поздно, потому что всё было прежде мною самим себе сказано), — но *откровенность*, с какою была она, по-видимому, сказана! вот что меня тронуло! Но ты постарался всё разрушить! Ты вздумал похвастать

свои прямодушием и себя *выставить*! Ты почувствовал, что мое искреннее пожертвование (которым я хотел получить полное право отца Машина, которое должно было сделать и меня ее подпорою) давало мне равенство с тобою и полную от тебя независимость, что ты переставал быть для меня *подателем*

*всех благ и надежд*, а для Е<катерины> Афан<асьевны> *спасителем от всех бед*31, и поспешил уверить ее, что и в этом случае была она тебе же всем обязана. Нет! На лучшую минуту жизни моей ты не имел того влияния, какое хотел показать им! Если я решился переменить все свои чувства к Маше, то это не по тво-

ему совету, а только потому, что видел, каков ты с нею и как ей нужен человек, которому бы ее счастье было *свято*! Но ты напрасно беспокоился. Те условия, на коих мне возможно было бы исполнить свое обещание, и без того уничтожились! Это было одно заблуждение! Доверенности не дано, и дано не будет! А без нее, на что бы я ни решился, всё пустое! Не достанет ни терпения, ни сил! И без тебя я ничего бы не был в состоянии исполнить! Но благодаря твоему пособию, твоей скрытности и притворству, всё вдвое невозможнее. Я скоро увидел, что мое обещание брошено на ветер, что оно произвело только на два дня какую-то перемену, а на сердце и не подействовало; что я, всё обещавши, буду *один* только связан моим обещанием; что в положение мое никто не войдет и никто войти не способен; что вы, имея *всё свое*, и не воображаете, чтобы кому-нибудь был *в чем* недостаток! Это решило меня уехать32, всё оставя на волю Божию, — против этой воли никто ничего не сделает! Я поехал от вас из Дерпта с твердым намерением возвратиться только *для крестин* и потом уехать навсегда33. И это теперь исполняю. Чтобы с вами жить, надобно *сдержать* данное слово — но это совершенная невозможность! Никакая твердость не устоит в этой бездне притворства и принуждения! От меня хотят *ангельских связей*,

*искренней дружбы*, а для этого сами не делают шагу. Ты прежде вместо друга был просто *сообщником*; такую роль весьма легко переменить на роль *шпиона*, так и сделалось; я должен жить по-старому в самом тяжелом отдалении от Маши; видеть твои грубые поступки с нею и молчать! Молчать, потому что говорить нет пользы, — ты никогда ни в чем не признавался и имеешь прекрасную спо-

собность от всего смело отпереться.

Ты показываешь мне наружную ласку — это легко! *Твое* от меня не зависит; при этом же я с своею холодностью должен натурально казаться и капризным, и угрюмым, и несправедливым, потому что на *ласку* отвечаю *суровостью*. Я знаю настоящую цену этой ласки. В их глазах она *всё*, она тебя оправдывает. Для вас нужна только наружность. Кто молчит, тот спокоен и счастлив. Кто подпишет

свое имя (волею или неволею) на той книге, где ты написал: *мы счастливы совершенно*34, тому чего желать остается. Разрывай у Маши сердце и грубостью, и нечувствительностью — потом напиши ей в альбом стихи о своей дружбе! всё заглажено! А если еще после этого раз пять скажешь свое: *Маша*! — то ты еще и милость сделаешь! Я радовался твоею нежною благодарностью к Екатер<ине> Аф<анасьевне> за то удовольствие, которое она тебе сделала, отправив Машу к Мантейфел<ям> против ее воли!35 Как ты был счастлив! как торжествовал! как нежно целовал ее руки! Торжество небесное! И такого рода сцены возобновляются по нескольку раз в месяц. А мне между тем ласка! Скажи же, с каким чувством подаешь мне руку? Где участие дружбы? Где раздел огорчению? Где прямодушие? Где помощь сносить тяжелую судьбу? Где желание облегчить ее? Пропади же твоя убийственная логика! Ты был способен целовать руки матери за то, что она тебе в угождение огорчила дочь! и кого же — Машу, у которой и без новых огорчений довольно грусти, которая молчит, терпит со спокойствием ангела и всё прощает! Этой черты одной довольно, чтобы истребить всякую к тебе дружбу! И мне у вас оставаться? Мне быть свидетелем, как человек, попавший в рай, делает из него ад; мне быть свидетелем страдания тех людей, которым бы всё свое отдал, — и от кого же страдания? От того, кто получил от них без всякой заслуги чистейшие блага! Бедный, несчастный человек, в твоей воле наслаждаться этими благами, а ты их топчешь ногами! Ты можешь быть искренним другом Маши, а ты предпочитаешь этому дьявольское удовольствие рвать ее сердце! Ты мог бы приносить этому прекрасному сердцу отраду, ты был *обязан это сделать*, потому что некогда назывался моим другом, и вместо того что делаешь! Нет! Я не должен у вас оставаться! Я всё бы обещанное исполнил — но теперь не могу и *не хочу* ничем быть обязан! За этот ад, который вокруг меня, который вы (беспрестанно обманывая друг друга на словах и на бумаге) называете раем, я должен принести на жертву свою привязанность к Маше! Что ж мне останется! Вы всё могли поправить — я был готов на всё! Но этой минуты уже не возвратить! Совершенная уверенность, что ничто невозможно, истребила во мне всякое желание что-нибудь требовать! Мы теперь расстаемся навсегда! Моего у меня никто теперь не отымет и никто на него права иметь не может!

Я столько раз был в отчаянии посреди вас, посреди этого спокойствия, с каким вы сносите чужое горе; но теперь нахожу, что это отчаяние есть безумство — кто может что-нибудь против Провидения! На что вмешиваться в его порядок! Я с совершенным спокойствием поручаю ему судьбу Маши! Моей связи с нею разорвать нельзя — она будет состоять в хорошей жизни, которая вся будет посвящена ей! на здешнюю жизнь иметь влияние вы можете; рвите ее, как хотите, — всё будете вы поболее несчастны! Но *дурной жизни* из нее вам сделать не удастся. Екатерина Афанасьевна разрушила такое счастье, какое было бы *приятно* Богу, и ничем, кроме мертвых слов, которым никогда не соответствовало чувство, не наградила за то, что отняла36. Радуйтесь своим богоугодным делом, и теперь остается разрушить еще и всё остальное, то есть пожертвовать Машею! А это, может быть, благодаря тебе сделается необходимо. Может быть, ты своими поступками доведешь до какого-нибудь отчаянного намерения и мать, и дочь! Я готов клясться, что и Е<катерина> А<фанасьевна> видит, с каким жестоким бесчувствием ты обращаешься с Машею. Но она во всём тебе дает волю: тебе стоит только начать с твоим низким лицемерством к ней ласкаться, и она готова у тебя же просить прощения в твоих грубостях. Ты так неблагодарен к ней, как и вообразить трудно, — за всё то счастье, которым она тебя осыпала, ты только притворными ласками ей платишь. Я ее не могу никак понять: как могла она радоваться твоим предательством на счет человека, которого ты другом величал с таким бесстыдством. А теперь? На каждом шагу обнаруживается или обман, или низость. Сурианино продано, и половина его идет на уплату твоих долгов37. Сходно ли это с тем, что ты мне рассказывал? Не ты ли уверял, что на тебе не осталось ни копейки долгу? И не стыдно ли тебе пользоваться Машиным добром? Половина этих денег принадлежит ей — свои деньги плати из своего имения; а их имение должно быть для тебя свято! Но, может быть, у тебя так же *есть* имение, как и *не было* долгов!38 Стыдись! Они *могут* тебе жертвовать всем своим — но тебе, если в тебе есть какое-нибудь чувство, не дóлжно принимать такой жертвы! Ты должен быть хранителем, а не разрушителем их спокойствия! Они не понимают, как важно иметь независимость; но ты это должен понимать за них! Ты должен это беречь как святыню!

Всё это говорю тебе для того, чтобы уверился ты наконец, что я холоден к тебе не из каприза, не от врожденной угрюмости; нет, я разорвал с тобою всякую связь за то, что ты со мною поступил как предатель, за то, что ты лицемер и обманщик, за то, что ты, вместо того чтобы быть счастливым, имея на то все способы, только всё делаешь для разрушения счастья, и чьего же счастья? таких людей, которым всем обязан! Опять повторяю, что я здесь никакой своей выгоды не имею, — мои с тобою расчеты кончились! Но мне рвет душу видеть, кому досталось всё то блаженство, каким я бы так легко насладился. От них ты не услышишь такой жестокой правды. Екатерина Афанасьевна всё находит прекрасным; я уверен, что и ответ Кавелину, образец лицемерства39, кажется ей восхитительным. Посреди их ты даже и нужным не найдешь себя поправить — и дурное и хорошее равно удастся. Стоит только *казаться*, а ты это искусство имеешь. Говори *я добр* — тебе будут верить. Тверди о религии, будут

считать тебя святым, хотя бы всё в поступках твоих противоречило религии. Итак, от них не жди побуждения быть лучшим. Но я говорю тебе правду и, может быть, еще вовремя; может быть, еще осталось в душе твоей сколько-нибудь привязанности к хорошему — не уничтожай этого остатка! Если теперь не воспользуешься возможностью быть человеком, то ты погиб навсегда и всех с собою погубишь. Все способы быть счастливым в твоих руках, не отталкивай их с слепотою, достойною сожаления. Перестань обманывать самого себя на свой счет и решись *быть* всем тем, чем ты с таким усилием хочешь только *казаться*. Ты беспрестанно твердишь о своей *вспыльчивости* — ты себя обманываешь; ты не только вспыльчив, но ты *скрытен* и *притворен*. Но скажи мне, нужно ли тебе притворяться? Если можно, *поверь мне* и брось эту маску! Будь искренен в твоей привязанности к ним — Екатерина Афан<асьевна> имеет на нее право! Перестань думать, что ты всего достоин, а лучше прекрасною жизнью загладь прошедшее! Это в твоей власти! Тяжело *тому* быть добрым, который должен бороться с судьбою и всего лишен! а ты всё лучшее в жизни имеешь! Вообрази, как ужасно быть собственным своим убийцею, а ты умерщвляешь и себя, и тех, кто теперь скован с тобою, умерщвляешь не для одной здешней жизни — скажи мне, с чем придешь к той жизни, которой ты должен верить, хотя из поступков твоих это и не видно! Неужели, нося целый век маску и будучи мучителем добрых, которых судьбы от тебя зависят, ты можешь надеяться на какое-нибудь

счастье здесь и там? Все истинные твои выгоды требуют, чтобы ты переменился и очистил свое сердце! Без этого, как ни обманывай других, ни ты, ни твоя семья не будете иметь счастья! Как вы ни притворяетесь друг перед другом, всё в глубине души будет яд! И ты, причина несчастья, будешь всех несчастнее!

Ты называешься другом Кавелина — так, он тебе друг, и он стоит этого имени. Но тебе еще *надобно* этого сделаться достойным! Теперь на это название ты не имеешь права — я говорю здесь твоей совести! Что тебе выгоды, если другие по твоим словам будут воображать, что ты и он друзья! Сердце будет тебе говорить, что этого нет, — а это главное! Чтобы быть другом Кавелина, тебе надобно быть добрым, делать счастье твоей семье, иметь в этом случае не письменные на полях книг документы или записки в журнале (где нет ни строки справедливой), а свидетельство совести — получи же это свидетельство! Я утверждаю,

что тебе еще это можно и что время не пропало. Мне же нельзя быть твоим другом — всё мое от тебя зависит, а ты поминутно разрываешь мне сердце. Но не потеряй и того человека, который тебе остался. Он с благородным сердцем тебе подает руку — будь этого достоин. Самая твоя *поэзия* требует, чтобы ты не одними рифмами, но и душою своею занимался! Не жди доброго стиха без доброго сердца — будь благороден, прямодушен и чист, тогда и за хорошие стихи ручаюсь! Или решись, чтобы и стихи твои носили на себе такое проклятие, какое будешь носить всю твою жизнь, если твое сердце останется таким всегда, каково оно теперь.

Ты можешь сердиться за письмо мое, как хочешь; можешь продолжать жить, как живешь; можешь отравлять жизнь всех, кто тебя окружает, — итог под этим всем будет *твое несчастье*. Торжествовать ты можешь, но на минуту — Провидение есть, и я ему верю с тех пор гораздо более, как видел страдание и бессилие Маши перед тобою! Горе тебе, если ты способен радоваться таким могуществом! Бедный, погибший человек, если ты радуешься возможностью быть мучителем доброго! Ты окружен добрыми! Тебе стоит только решиться быть их товарищем! А ты добровольно гонишь себя из этого круга! Ради Бога, одумайся! На это один способ: *искреннее желание быть добрым*. Сбрось все маски! Помни Кавелина! Я бы тебе напомнил и о прошлом времени, в которое был ты товарищем Тургенева и других, из которых все почти остались на прямой дороге, — не покидай же из доброй воли этих товарищей! Тебе это будет непростительным, потому что ни один из них не имеет такой прекрасной судьбы, как ты. Но что же твоя судьба, когда не будешь уметь ею насладиться.

22 августа

На это письмо ты можешь отвечать грубостями — этим ты ничего не докажешь! Мне твои грубости не будут оскорбительны — всё будешь несчастлив *истинно* ты и твоя семья! докажи опытом, что я несправедлив: то есть *их счастьем*, тогда твое оправдание будет в лучшем месте, *у тебя в душе*. Если слово друг было на языке твоем не пустое слово, то тебе должно быть нужно возвра-

тить потерянного друга — на это один способ! Если ж ты к этому равнодушен — то продолжай жить по-старому и наживай несчастье.

**243.**

**К. Я. Дезе**

*31 августа <1815 г.> Петербург\**

Я наконец в Петербурге, любезнейший и почтеннейший Карл Яковлевич1. Спешу написать Вам несколько строк. Я видел Вашего поверенного и получил от него письмо. Он обещал ко мне побывать и принести подробную записку о деле. Тогда увидим, что делать. Нас предупредили: уже место отдано. Еще за неделю до моего письма к Тургеневу было это сделано. Но министр (как обыкновенно) обещает дать ему первую открывшуюся ваканцию2. Итак, надобно желать, чтобы кто-нибудь из уездных <*2 нрзб.*> поскорее получил Царствие Небесное. Простите, любезный, Карл Яковлевич; будьте здоровы.

Скажите мое почтение Анне Антоновне.

Вам душевно преданный

*Жуковский*

31 августа С.П. Бург.

**244.**

**А. П. Киреевской (Елагиной) и А. П. Юшковой (Зонтаг)**

*<16 сентября 1815 г. Петербург>*

Я не писал к вам с третьего августа1 — довольно времени! да и вы, милые сестры или маточки, помалчивали. Виноват! нет! я недавно получил прекрасное письмецо от Анеты!2 получил кошелек — бесценный подарок прекраснейшего человека! еще на полях Анетина письма получил какой-то долбинский логогриф3, которого по сию пору разобрать не умел!.. Сам Эдип этого не отгадает! Верно, это мне мщение от Вас, милая Eudoxie, за то, что мои оба последние письма не к Вам адресованы, а к Анете. Чтобы заставить Вас проговориться, пишу это письмо к *Вам*, хотя в нем и отвечаю на Анетино. А Като ко мне и не приписывает! а Букварь4 и не откликнется! Что они? Разве могут на меня сердиться? Разве могут вообразить, что мои письма, к одной из вас писанные, в то же время и не к ним? Пожурите и заставьте мне сказать хоть словечко! От Плещеева не имел ответа на 5 писем, из которых четыре большие!5

Что с ним сделалось? Уведомьте меня об них! Мне это начинает быть и грустно, и больно, и досадно! Прошу Вас тотчас по получении этого письма послать к нему от моего имени и попросить его и Анну Ивановну с поклоном написать ко мне хоть две строчки. Черная, милая рожа! Кто его растолкует! а здесь я об нем вспоминаю с особенным чувством! мне бы хотелось показать и Тургеневу, и Блудову, которые прямо меня любят, этого арлекина, который им не уступает в дружбе ко мне! А он молчит и сжался, как паук в своей паутине! И нет мне от него никакого ответа!

Мне надобно сказать Вам о себе много! Я отправился сюда из Дерпта 24-го августа! fermement resolu de ne plus y reparаître![[205]](#footnote-205) Там быть невозможно — как ни тяжело розно, как ни порывается к ним душа, как ни украшает отдаление всё то, что так печально вблизи, но быть там нельзя! В этом я теперь уверен! Самое бедственное, самое низкое существование, убийственное для Маши и для меня! Быть рабом и, что еще хуже, сносить молча рабство Маши — такая жизнь хуже смерти! Но вот что диво! на половине дороги от Дерпта мой шептун шепнул мне, что всё еще может перемениться, и я принялся писать к Екатерине Афанасьевне письмо, воображая, что меня зовут назад, что на всё соглашаются, что мы все становились дружны, что между нами, с уничтожением всех препятствий, поселяется искренность, согласие, покой, — одним словом, воображение загуляло и только на последней станции остановилось! Я перечитал свое письмо, нашел в нем всё то же, что говорено было и писано двадцать раз, и всё, что казалось так возможным за минуту, вдруг сделалось невозможностью! И я решил спрятать это письмо за нумером в архив разрушенных химер и въехал в Петербург с самым грустным, холодным насто-

ящим и с самым пустым будущим в своем чемодане. Но теперь опять что-то загомозилось для меня в будущем — что-то похожее на надежду! вот в чем дело! Я приезжаю к Павлу Ивановичу6. Он по одному письму Екатерины Афанасьевны стал меня допрашивать обо мне и Маше; я в этот раз ничего ему не сказал ясно, но лицо мое и несколько слез сказали за меня яснее. Между тем Алекс<андр> Павл<ович> всё сказал своей матери, которая — подивитесь! — говорит, что она не находит ничего непозволенного, что между нами нет родства! Важная победа! Хотя Павел Иванович и не согласен еще с нею, но

он, верно, согласится! Я уже два раза с ним говорил — один раз с нею одной, другой раз с нею и с ним вместе. Марья Николаевна почти обещала писать, между тем, узнавши от них решительное их мнение и если согласятся написать к Ек<атерине> Аф<анасьевне>, я напишу и к Елене Ивановне7, чтобы она с своей стороны написала. Это единственное нам остается средство; если оно не поможет, то поджать руки и ждать с терпением The great teacher[[206]](#footnote-206)8. Из этих об-

стоятельств Вы можете заключить, в каком я волнующем положении! Не делаю никаких планов и не имею никакого занятия. Между тем рассеяние, в котором нет ничего привлекательного. Вот уже я две недели с лишком в Петербурге, а еще не принимался ни за что. И не знаю, когда примусь. К новой моей надежде я совсем не привязываюсь; я смотрю на нее как на волка в овечьей коже и не подхожу к ней близко. Если ничто не сбудется, то выползу к Вам, на Ваш берег, к друзьям и к уединению. Здесь во всяком случае мне дóлжно пробыть по крайней мере до конца февраля, чтобы кончить издание своих стихов и еще кое-какие работы, а скоро ли примусь за них, не знаю! Здесь не Долбино! Да и перспективы прежней уже нет! Думаю, что голова и душа не прежде как у Вас придет в некоторый порядок, — у Вас только буду иметь свободу оглядеться после моего пожару, выбрать место, где бы поставить то, что от него уцелело, и вместе с тем держать наготове заливную трубу. Здесь беспрестанно кидает меня из одной противности в другую; из мертвого холода в убийственный огонь; из равнодушия в досаду. Я имел здесь и приятные минуты! и где же? Там, где никак не воображал иметь их! В дворце царицы! Дня через два по приезде моем сюда Нелединский9 уведомил меня, что надобно с ним вместе ехать в Павловск. Я отправился туда один 4-го числа поутру и пробыл там 3 дня, обедал и ужинал у царицы и возвратился с сердечною к ней привязанностью, с самым приятным воспоминанием ласки необыкновенной. Все эти три дня не было ни одной минуты для меня неловкой; простота ее в обхождении так велика, что я нисколько не думал, где я и с кем я; одним словом, было весело, потому что сердце было довольно. В первый день было чтение моих баллад в ее кабинете в приватном ее обществе, состоявшем из великих княгинь, двух или трех дам, Нелединского, Вилламова10 и меня. Читал Нелединский; сперва «Эолову арфу», потом «Людмилу», потом опять «Эолову арфу», которая особенно понравилась, потом «Варвика», потом «Ивика»11.

На следующем чтении, которое происходило уже в большем кругу, читал я сам «Певца», потом Нелединский «Старушку» и «Светлану» и наконец «По-

слание к царю»12.

Эти минуты были для меня приятны — здесь вмешивается беспокойное самолюбие автора. Но то, что было для меня *особенно приятно*, есть чувство благодарности за самое трогательное внимание, за добродушную ласку, которая некоторым образом уничтожила расстояние между мною и государынею. Эта благодарность навсегда останется в душе моей. Очень весело принесть ее из того круга, в который других заманивает суетное честолюбие, не дающее никаких чистых наслаждений. У меня его нет. Добрый сторож бережет от него душу! И тем лучше! Можно без всякого беспокойства предаваться простому,

чистому чувству! Я не был ослеплен ни на минуту, но зато часто был тронут!У меня был и проводник прелестный! Нелединский — редкое явление в нынешнем свете! Он взял меня на руки как самый нежный родной и ни на минуту не забыл обо мне — ни на минуту его внимание не покидало меня. Где бы я ни был, он всюду следовал за мною глазами; всё сам за меня придумывал, предупреждал меня во всём и входил со мною в самые мелкие подробности. Еще

одно важное обстоятельство! В первый день моего пребывания в Павловске — пошедши представляться государыне, мы должны были несколько времени дожидаться ее, потому что она писала письмо к государю. Мы уселись с Нелединским в зале и не знаю, как дошел разговор до того, что он у меня спро-

сил о моих обстоятельствах, то есть о родстве, какое у меня с Ек<атериною> Аф<анасьевною>. Я сказал, в чем оно состоит. Он принялся чертить кружки и линейки, и по рисунку вышло, что между мною и Машею родства *нет*. Но тем это и кончилось. Я не рассказывал ничего, да и не нужно. Дело состоит в том,

чтобы *тетушка сама* согласилась; не будет этого, не будет семейного покоя! а как же без него искать чего-нибудь! И государыня знает обо мне — но я к этому способу не прибегну! Никакой другой власти не дóлжно требовать, кроме власти убеждения! Если сердце тетушки молчит, то чем его говорить заставить! Голос родных будет действительнее, но и на него плоха надежда. Сердце ее молчит крепко! Что ей *надобно*, то ей и мило, хотя бы оно было и отвратительно — я этому видел примеры! Для меня и, надобно признаться, для Маши она глаз не имеет! Иначе как бы смотреть с таким равнодушием на наши потери, как бы не употребить всего усилия, чтобы хотя не страдать за них, — всё в ее власти, всё ей легко! и несмотря на это, всё у нас взято! mais trêve aux lamentations![[207]](#footnote-207) Мне пора кончить. Но надобно еще писать к Вяземскому, от ко-

торого получил милое письмо и прекрасные стихи13.

В заключение скажу Вам, Анета, что деньги, о которых я Вам писал и которые Вы должны были взять у NN, тетушка еще на год у себя оставляет. Итак, не берите их.

Знаете ли, что мне приходит в голову? Купить у Вас десятины три земли и построить на них домики и жить доходом с денег <*нрзб.*>. Кажется, это бы можно! Что мне нужно! Свобода, работа и маленький достаток. Право, я не почитаю этого химерою. Клок земли подле Мишенского или подле Долбина14; но клок *собственный*. Чтобы было довольно для сада и огорода! На содержание

себя деньги, которых немного нужно и которые легко бы было выработывать, — и при всём этом забвение о будущем и жить для настоящего. Если раз залезу в этот угол, то уже из него будет трудно меня вытащить.

Прощайте, милые друзья, нынче худо пишется! Шептун мой что-то осовел. Чтобы дополнить вам письмо, переписываю мои стихи к старику Эверсу15, писанные дня за два до отъезда из Дерпта. Надобно вам знать, что Эверс, осьмидесятилетний старик, есть человек единственный в своем роде — он живет для добра и со всем этим простота младенца. Он профессор. На празднике студен-

тов, на который был приглашен и я, он вздумал со мной пить *братство*. Это меня тронуло до глубины души; и было очень *кстати*.

Мой добрый шептун принял образ добродетельного старика и утешил меня в этом виде! Правда, ненадолго — но и та минута была не пропавшая. Я от всей души поцеловал *братскую* руку.

Вступая в круг счастливцев молодых etc. etc16.

Это так случилось. На другой день после студентского праздника отправился я ввечеру с Воейковым и еще с двумя в коляске за город. Солнце заходило

самым прекрасным образом, и я вспомнил об Эверсе и об завещании Эверса17. Я часто любовался этим стариком, который всякий вечер ходил на гору смотреть на захождение солнца. Заходящее солнце в присутствии старца, которого жизнь была святая, есть что-то величественное, есть самое лучшее зрелище на свете. Эти стихи должны быть дерптского (?)18 моего «Теона и Эсхина». В обоих много для меня добра.

Это письмо пошлите к Плещеевым; к ним мне нынче писать некогда. Надобно же, чтобы и они когда-нибудь ко мне написали.

**245.**

**П. А. Вяземскому**

*19 сентября 1815 г. <Петербург>*

19 сентября 1815

Я получил твое милое письмо, любезный друг, и прекрасные стихи — новый род стихотворения, то есть *живописный*, не кажется для тебя новым1. Прекрасно! Действие этих стихов точно такое же, как действие прекрасной природы, как действие спокойного взгляда на великолепное ее зрелище.

В душе после них остается что-то живое и вместе тихое! Ты требуешь моего благословения! Благословляю обеими руками! Если ты не поэт, то кому же сметь называться поэтом! Пиши более для собственного счастья — ибо *поэзия есть добродетель*2, следовательно счастье! Наслаждение, какое чувствует прекрасная душа, производя прекрасное в поэзии, можно только сравнить с чувством доброго дела; и то и другое нас возвышает, нас дружит с собою и делает дружнее со всем, что вокруг нас! Пиши более для чести и славы своего времени — я хотел было прибавить: но это дело постороннее! — рука остановилась — нет! Это не постороннее дело! Эта цель прекрасная! Не суетное честолюбие, но что-то высокое, достойное только благородного сердца.

Надежда сердцем жить в веках!

Что счастием для нас в минутной жизни было,

То будет счастием для сродных нам сердец

И долго после нас!3

Твои стихи я читал и один, и с Ареопагом4 — в первые два чтения они менее мне и нам понравились, нежели после; мы перечитали их с Блудовым и Тургеневым еще раз — прекрасно! Они полны свежести! Природа в них дышит! Посылаю мои замечания, написанные в прозаических стихах! От некоторых отказываюсь! *Сень благоухать* может!5 *Преступившему* светилу позволяется не трудить себя новым восхождением на небо!6 По другим замечаниям, кажется, надобно необходимо поправить! Одно может показаться тебе несправедливым, но оно точно справедливо! *Дремать* в *златых* *мечтах*7 никак нельзя! Златые мечты прекрасно, когда говоришь просто о мечтах и хочешь им дать отдельный образ; но как скоро говоришь о мечтах в отношении к тому, кто их имеет, то *златые* совсем не годится! Не оправдывай себя моим примером; я сказал в «Кассандре»: *в сновидениях златых*8 — это такая же точно ошибка, какая у тебя! она оставлена в моей пиесе за неуменьем поправить; а поправить было бы весьма нужно.

Жду твоего «Вечера»# с нетерпением! (#То есть *Утра*9. Не забавно ли, что я, читавши и критиковавши твою пиесу, забыл, что в ней описывается вечер, а не утро. Это, может быть, служит доказательством, что ты, занявшись описанием природы, несколько выпустил из глаз твой главный предмет, то есть *вечер.*) Верно, будет у тебя и луна — посмотрим, какую луну ты нам представишь из твоего магазина, а мой уже немного истощился, и этого жаль, потому что мне

скоро понадобится еще луна, а для чего, увидишь сам10.

Я давно к тебе не писал; это оттого, что я во всё это время не согрел порядочно места; всё таскался — из Дерпта в Петербург, из Петербурга в Дерпт, из Дерпта в Петербург11.

Теперь, кажется, я пригвоздил себя на несколько месяцев к одному месту. Пробуду здесь всю зиму и не прежде будущей весны подымусь восвояси. В начале весны проездом через Москву заеду в Остафьево и, вероятно, вместе проведем месяц в деревне, подле нашего Ливия12, может быть, и два. Потом переселюсь опять на свою родину, чтобы совершенно посвятить себя своей Музе и только изредка делать набеги на Петербург, — таков мой план на эту минуту;

что скажет об нем Провидение, не знаю и мало забочусь узнать.

Грядущее — беспечно *небесам*!

Прекрасному ж — текущее мгновенье!13

Здешняя моя жизнь идет и так и сяк — порядку нет, следовательно и большой деятельности, то есть никакой деятельности нет. Я ничего не написал. Этому есть много причин. Может быть, самая меньшая рассеянность, к которой я нимало не привязан и от которой легко отвязаться. Как ни мал мой челнок, как ни тих, по-видимому, тот залив, в который его загнала судьба, — но и в этом заливе есть волнение; оно до сих пор беспрестанное, и челнок мой всё колыхался. Погоди, друг! Скоро, может быть, брошу якорь! В приятном или неприятном месте, но всё якорь. В ожидании этого времени таскаюсь и ко двору царскому. По приезде моем из Дерпта я был в Павловске и прожил там три дня, в которые обедал и ужинал у государыни14. Эти три дня были для меня неожиданно приятные: я воображал неловкость — нашел удовольствие, именно по-

тому, что сердце, а не самолюбие было тронуто. Ласка государыни неизъяснимо приятная. Чего же более для человека, далекого от честолюбия? Моим представителем был Нелединский. Я жил в его комнатах и три дня познакомили меня с ним, как три года. Не знаю, можно ли быть добродушнее Нелединского. Он был самым нежным, заботливым моим родным. Не забыл обо мне ни на минуту; и всё это с такою простотою, с такою непринужденностью! Он привязал к

себе мое сердце. Я не люблю читать кому ни попало стихов своих, а ему читать их весело. Он судит сердцем, которое у него в шестьдесят лет так же молодо, как в двадцать. От того, что трогает, он плачет как дитя.

В один из моих павловских вечеров было чтение между прочим моего послания15 — прежде я сам читал «Певца»! и уж читал! — послание же читал Нелединский, и по этому чтению я уверился, что оно *хорошо* при всех своих недостатках! Оно на всех равно сильно действовало — доказательство, что то

чувство, с каким оно было писано в лучшие минуты жизни, выражено в нем во всей простоте и живости. Нелединский читает просто, но с чувством: всему хорошему умеет он дать своим чтением всё выражение. Читали и многие баллады, между прочим и ужасную «Старушку», но более всех понравилась «Эолова арфа». Ее читали два раза сряду.

Я сделал еще приятное знакомство с нашим молодым чудотворцем Пушкиным16. Я был у него на минуту в Царском Селе. Милое, живое творение! Он мне обрадовался и крепко прижал руку мою к сердцу17. Это надежда нашей словесности; боюсь только, чтобы он, вообразив себя зрелым, не помешал себе созреть. Нам всем надобно соединиться, чтобы помочь вырасти этому будущему гиганту, который всех нас перерастет. Ему надобно непременно учиться и учиться не так, как мы учились! Боюсь я за него этого убийственного Лицея — там учат дурно! Ученье, худо предлагаемое, теряет прелесть для молодой, пылкой души, которой приятнее творить, нежели трудиться и собирать материалы для солидного здания! Он истощит себя — я бы желал переселить его года на три, на четыре в Гёттинген или в какой-нибудь другой немецкий университет! Даже Дерпт лучше Царского Села. Он написал ко мне послание, которое отдал мне из рук в руки, — прекрасное!18 Это лучшее его произведение! Но и во всех других виден талант необыкновенный! Его душе нужна пища! Он теперь бродит около чужих идей и картин, но когда запасется собственными — увидишь,

что из него выйдет! Послание доставлю тебе после.

В заключении моего письма скажу тебе о начале твоего; оно разгорячило мне сердце, которое, правду сказать, часто бывает облито каким-то умертвляющим холодом. Брат, твоя дружба есть для меня великая драгоценность, и во многие минуты мысль об ней для меня ободрительна. Помнишь ли, когда мы обедали вместе у к<нязя> Гагарина19, ты сказал Толстому20, показывая на меня: il a un belle âme![[208]](#footnote-208) Я вспоминаю об этой минуте всегда с необыкновенною

сладостью; и то чувство, которое произвело во мне это слово, доказывает мне, что я тебя люблю; такого рода мнение дорого только в любезном и уважаемом человеке. Есть люди, от которых похвала даже противна. Но в этом слове не похвала, а одобрение друга, и потому-то оно меня и тронуло. Блажен человек, имеющий друзей, которых похвала может возвышать его душу. Такого рода похвала есть цель жизни — это голос собственного сердца; это приговор совести нашей, произнесенный вслух тем человеком, который заступает ее место. Удовольствия самолюбия не имеют в себе ничего трогательного; можно сказать,

что они сушат сердце. Но радоваться самим себе в присутствии друзей — вот настоящая радость.

Поклон Вере Федоровне. Третьего дня были ее именины — поздравляю. Машеньку целую. Напомни обо мне почтенному Николаю Михайловичу и Екатерине Андреевне — душевно люблю их везде и всегда. Тургенев, и Жихарев, и Блудов тебе кланяются. Жив ли Пушкин?21 Обними его за меня! Поклон Кокошкину22, Мерзлякову и прочей братии. Где Толстой? Помнит ли обо мне?

За неимением доброго, посылаю *кое-что*. Стихи, написанные в Павловске, Нелединскому в день его рождения и читанные за завтраком у княжны Щербатовой23:

Друзья, стакан к стакану! Парнаса Капитану Я, рядовой поэт,

Желаю многих лет! Бессмертье уж имеет

За песни он давно,

И в свой черед оно За жизнию поспеет! Но чтоб на свете он

Жил долго нам на радость!

Ему Анакреон

Души веселой младость С струнами завещал!

Хоть Крон и насчитал Ему с тремя годами

Уж полных шестьдесят,

Но все под сединами

Глаза его блестят, И в сердце молодое

Хлад жизни не проник! Младой с ним молод вдвое, Старик с ним не старик! Для бога Аполлона

Стократ Анакреона

Милей быть должен он!

И чем Анакреон

Известен? Лишь стихами!

Он сладко ел и пил

И звонкими струнами

Сквозь хмель и сон хвалил

Вино, Киприду, радость И быстротечну младость!

Но так ли добр он был, Как наш поэт бесценный?

Не верю я! Плененный

Той милой простотой,

Той нежностью родного,

С какой певца младого,

Меня сравнил с собой, Забыв и сан и лета,

Он был товарищ мой

При скользком входе света, За доброго поэта

Я душу рад отдать!

Теперь же хоть сказать В задаток: *многи лета*!24

**246.**

**К. Моргенштерну**

*22 сентября <1815 г.> Петербург*

Monsieur d’Ouvarow m’a remis de Votre part Votre petite brochure1. Recevez, Monsieur, mes sincères remerciments. J’ai beaucoup perdu de n’avoir pu Vous entendre Vous même; au moins Votre livre pourra me servir de guide pour classer mes propres connaissances esthétiques qui (par parenthèse) sont très peu de chose.

Le livre que Vous avez eu la complaisance de me prêter a été confié à Monsieur Petersen2 pour Vous être remis — je n’ai pas eu le temps de le faire moi-même; j’ecris à Monsieur Petersen3 là-dessus et il Vous remettra le livre.

Portez Vous bien, respectable ami, et quelquefois souvenez Vous de celui qui s’honore du titre de Votre devoué serviteur Joukoffsky. Le 22 Septembre. S. P. bourg.

***Перевод:***

Г. Уваров передал мне от Вас Вашу брошюру1. Примите, милостивый государь, мою искреннюю благодарность. Я много потерял, не будучи в состоянии слышать Вас лично; Ваша книга послужит мне во всяком случае руководством для упорядочения моих собственных эстетических знаний, которые, говоря в скобках, очень невелики.

Книга, которую Вы любезно одолжили мне, была вручена г. Петерсену для передачи Вам: сам я не имел времени этого сделать. Теперь я пишу г. Петерсену3, и он Вам

ее передаст.

Будьте здоровы, уважаемый друг, и вспоминайте иногда о том, который имеет честь быть Вашим преданным слугой.

*Жуковский* 22 сентября. С. Пбург

**247.**

**А. А. Прокоповичу-Антонскому**

*15 октября 1815 г. Петербург*

Я к Вам с просьбою. Наконец приступаю к печатанию сочинений моих1. Вот

Вам и программа: не можете ли подать помощь в рассуждении подписки? Куда адресовать деньги, это найдете в самой программе — надобно только, чтобы непременно доставлены были *адресы* подписчиков2. Также прошу Вас приказать напечатать эту программу в московских газетах, и поскорее, и не один раз. Издержки за это возьмите на себя; мы можем счесться после.

О себе скажу Вам, что я до сих пор всё ездил из Дерпта сюда, отсюда в Дерпт3. Теперь остаюсь на месте и принимаюсь за работу. Был раз в Павловске и раз в Гатчине по приказанию государыни, которая очень милостиво обошлась

со мною4. Что же касается до дальних планов моих, то — хмурьтесь или нет, а в конце будущей зимы я отсюда уеду и переселюсь на свою родину. Успею ли чтонибудь для себя состряпать или нет, это во власти судьбы; но уеду, это верно. Мне всего дороже уединение и свобода. Сюда можно приезжать на три зимних месяца, а вечно здесь жить нимало не забавно. Простите, почтенный Антон Антонович, прошу Вас помнить своего питомца, который всегда с одинаким чувством благодарности о Вас думает и которому всегда дорого называться Вашим

*Жуковским*

15 октября 1815. С. Пбург

**248.**

**П. А. Вяземскому**

*19 октября <1815 г. Петербург>\**

19 октября

Твое утро я получил1; но признаюсь, ты нарушил русскую пословицу, и твой вечер2 мудренее утра. Он мне вообще гораздо более нравится; а возражения твои на замечания наши совсем мне не нравятся3. Ты не упрям, а говоришь как упрямый. С *парением* я почти согласен4. Суда, являясь на самом горизонте, где вода обширной реки сливается с небом, могут показаться воображению парящими; но прочие Ареопагиты5 восстают против парения, и твое дело решить, кто прав, кто виноват.

На небе пламенном последняя степень6.

Тут нет точности. Сказать степень *на небе* — значит представить такую степень, после которой есть еще какой-то клочок неба, который остается пройти солнцу; надобно сказать непременно: последняя степень неба; и нельзя ли этот стих так поправить:

Темнеющих небес последняя степень —

и картина, кажется, будет лучше. *Река сравнялась в берегах* мой стих7, и для того не дóлжно его заимствовать, чтобы из этого выражения не сделалось loci commune[[209]](#footnote-209). А *скатерть синих вод* хорошо, да не здесь — здесь это выражение

слишком recherché[[210]](#footnote-210)8.

На *прозреть* я никак не соглашаюсь9 — *столбы на них* гораздо хуже, нежели *мачты их*10, и твое оправдание никуда не годится. Паруса можно назвать крыльями, потому что это говорит воображению, и ты повышаешь паруса чином, производя их в крылья; но мачта, сделанная столбом, есть капитан, разжалованный в прапорщики. Тут гораздо лучше назвать вещь по имени, нежели дать ей такое имя, которое ее безобразит. К тому же ты сравниваешь мачты с бродящими лесами — и поэтому уж нужно сохранить им их природное имя. *Младые* мечты едва ли не хуже *златых*11. *Волнам передавать* можно, несмотря на твои возражения, ничего не доказывающие12. *Бурь боец*!13 Власть твоя! это нехорошо! а твое оправдание и еще хуже. *Воевать землю* говорилось! Это правда! Но что значит: *воин земли*?14 — и почему не хочешь ты усыновить слова *презритель*?15 Оно хорошо, и Ареопаг ему дает право гражданства. Здесь же оно кажется приличнее. *Победитель* или *противник,* будь всё, означает какое-то действие. А *презритель* есть спокойствие, *беспечность силы* — это приличнее гению воды, который дает бушевать бурям сколько угодно и стоит спокойно,

опершись на брег, ему покорный. *Журчащего* можно, несмотря на *ропот*16.

Эти стихи переписанные отданы Нелединскому, и он хотел прочитать их императрице17. Твои стихи, бывшие у Тургенева, теперь хранятся у меня. Велю переписать и доставлю тебе. А тебя прошу не отдавать ни одной из пиес своих ни в какой журнал, и вот для чего. Я с Дашковым затеял было выдавать журнал, но это дело слишком суматошное — и мы положили в начале каждого года выдавать по одной книжке18, в которой были бы одни сочинения (а переводы

самые отборные); надобно стараться, чтобы издание было образцовое; выбор пиес самый строгий — само по себе разумеется, что твои стихи принадлежат нам; вели переписать всё ненапечатанное и доставь мне — очень много обяжешь! У тебя есть порядочный запас. У Дашкова есть много хороших отрывков в прозе; а у меня пропасть стихов в воображении. Мы принимаемся за этот подвиг не на шутку. Первую книжку надобно приготовить к марту 1816, а следующие должны выходить в начале каждого года. Прошу же тебя быть нашим. О том же пишу и к Батюшкову. Жаль очень, что его «Странствователя и домоседа» поглотил «Амфион»19; но, вероятно, у него есть уже что-нибудь новое в запасе. Нет ли у тебя чего-нибудь и в прозе — одним словом, доставь мне всё ненапечатанное и поскорее.

Ты, верно, уже знаешь о моем потоплении в Липецких водах20 — эта фарса взбунтовала Блудова и Дашкова. Блудов грянул ужасным «Видением Шаховского в ограде Беседы»21, а Дашков «Письмом к Аристофану»22. Но самое веселое то, что у нас завелось общество, которого и ты член. Это общество называется *Арзамасским Обществом безвестных людей.* Статуты его сочиняются, и ты получишь об них донесение. Главная обязанность членов есть непримиримая ненависть к Беседе. И так как оно родилось от нападения на баллады, то каждый член принимает на себя какое-нибудь имя из баллады. Уваров — *Старушка*; Дашков — *Чу!*; Блудов — *Кассандра*; я — *Светлана*; Жихарев — *Громобой*; Тургенев — *Эолова арфа*. Не хочешь ли быть *Асмодеем*. Каждый вступающий член говорит (по примеру французских академиков) похвальную речь своему покойному предшественнику; но так как у нас недостаток в покойниках, то мы и положили брать напрокат покойников из Беседы и Академии. Приезжай, чтобы заступить свое место в нашем клубе.

Посылаю тебе несколько программ на издание моих сочинений, которое уже восприяло свое начало. Набирай подписчиков — но прошу сохранить надлежащую точность. Доставь вместе с деньгами и имена и адресы тех, которые подпишутся. Это необходимо нужно для верной пересылки экземпляров. Деньги и адресы можешь переслать или на мое имя, или на имя Кашкина23, означенное в программе. Прошу тебя об этом позаботиться.

Возвращаю тебе твое утро с некоторыми замечаниями. В большие подробности входить некогда.

Твой *Жуковский*

Не забудь же велеть переписать пиесы свои и присылай их скорее.

Посылаю тебе новую свою пиесу, недавно написанную24. Это прогулка в Павловске. Ход ее может тебе показаться не слишком жив; это оттого, что он есть ход обыкновенной прогулки, — надобно было описать предметы не только с натуры, но и в том порядке, в каком они один за другим представлялись; иначе не было бы сходства в списке. В Павловске нет такого места, с которого всё бы можно было обнять одним взглядом.

Поправив утро, присылай для книжки нашей; вечер уже для нее задержан.

И всё скорей присылай.

Посылаю тебе портрет Николая Михайловича, весьма непохожий. Нельзя ли его велеть кому-нибудь поправить или нельзя ли велеть написать (рисовать) другой в такую же меру. Похлопочи об этом. Уткин25 начал было гравировать, но его остановили. Работа была бы прекрасная, а сходства никакого26. Прошу тебя поспешить это исполнить, чтобы не задержать нашего издания.

**249.**

**А. П. Киреевской (Елагиной)**

*<Начало ноября (не ранее 3-го) 1815 г. Петербург>*

Вы несносны, милостивая государыня Авдотья Петровна, с своими полусловами. Одна пишет Бог знает что, а другая на это Бог знает что пишет такие объяснения, которые только что всё затемняют1. Писать мне, право, некогда. Спешу к живописцу, который принялся писать с меня огромный портрет2 in folio[[211]](#footnote-211) для бессмертия и для Уварова. Если не дорого будет стоить список, то у вас, друзья, он будет. А там хоть и на тот свет. Чтобы это письмо не было слишком пусто, посылаю Вам новые стихи мои, единственные с последнего моего

счастливого времени в Долбине. Когда-то опять воротится мне мое Долбино и

Мишенское? По крайней мере, Вы свое делайте — готовьте для меня мое место. Мне кажется, что перенесясь к Вам, я уеду от всех бед. Простите до следующей почты. Опишу Вам, как я выброшен из Дерпта3 и как здесь в Петербурге меня бранят в комедиях и за меня бранятся в журналах4 и как при всём этом я только и думаю о своей родине и о своих друзьях.

Un petit préambule à mes vers[[212]](#footnote-212) 5. «Славянка» — река в Павловске. *Монумент Павла*6: урна, перед которою лежит в слезах женщина. На барельефе: государь, сидящий с опущенною головою и опирающийся на щит; перед ним государыня и вся императорская семья; в облаках Александра Павловна и Ольга Павловна. Монумент Александры Павловны7: Молодая женщина с звездою на голове готовится лететь на небо, гений жизни на коленях перед нею, хочет ее удержать и не может. Еще есть в Павловске так называемая семейная роща8, где каждое дерево посажено в день рождения одного из великих князей и княгинь, начиная с нынешнего государя. В этой роще урна судьбы.

Простите. Детей целую. И всех вас, и Азбукиных, и Наталью Андреевну.

Пошлите список с стихов Плещеевым.

**250.**

**П. А. Вяземскому**

*<Начало ноября 1815 г. Петербург>\**

Благодарю тебя, любезный друг, за хлопоты о моей подписке. Когда ты возьмешься за дело, то оно обыкновенно бежит бегом. Ты славный слуга своих друзей. Напрасно ты пеняешь нам за нашу неточность. Билеты у нас есть, но раздавать их иногородним совсем не нужно. Иногородний, подписываясь на книгу, присылает свой адрес, по которому ему и доставляется его экземпляр, как скоро отпечатается. Ты знаешь, что на билетах назначаются тома; они зачеркиваются по мере выдачи отпечатываемых томов; с иногородними этого делать нельзя; получив экземпляр и не зачеркнув на билете томов, он может с ним явиться туда, где выдается книга, и получить экземпляр другой. К тебе посылается 100 билетов, для московских жителей; напечатай в газетах, что подписка принимается у тебя, и печатай об этом чаще, выставляя место, куда должны являться подписчики. По отпечатании книги экземпляры будут доставлены тебе и подписавшиеся должны уже адресоваться к тебе с своими билетами. Ты же пришли нам полный реестр имен их, дабы у нас в книге было отмечено, сколько и кому именно доставлять экземпляров на твое имя.

Прошу тебя только наблюдать точнейшую точность в записывании имен, дабы не забыть кому-нибудь отдать экземпляра и дабы не навлечь укоризны на подписку. Напрасно ты так жестоко гневаешься на in 4°. Это in 4° только для того, чтобы не было ломаных строк. Но издание, печатанное in 4°, будет иметь форму большого in 8°, и будет издание прекрасное, едва ли не лучшее, какое у нас есть. Виньеты будут хорошо выгравированы. Одну гравирует Уткин1. Бумага очень хорошая; литеры красивые, и для литер нужно было in 4°, ибо они довольно крупны. Посылаю тебе форму формата. Ширяеву2 можно дать 50 экземпляров, но уступить не более 2 рублей, и чтобы при получении билета заплатил чистые деньги. По окончании подписки можно будет, смотря по обстоятельствам, быть снисходительнее, а теперь надобно дать волю подписке. Может быть, с книгопродавцами и дела иметь будет не нужно. Могут экземпляры *все* выйти по подписке. На что же тешить книгопродавцев, которые ужасные прижимщики. Первая книга должна выйти в конце ноября, но думаю, что теперь задержится; в Медицинскую типографию вошли какие-то казенные приказы для печатания, и работники заняты ими. Билеты на «Образцовые стихотворения»3 посылаю. Подписавшимся можно получать по этим билетам в Москве в Московской медицинской конторе, так, как написано на билетах. О выдаче томов будет извещение в московских газетах. Возврати мне поскорее посланный тебе портрет Карамзина4. Тончи5 не дождешься. Можно будет поправить по тому портрету, который выгравирован при сочинениях, хотя и он не забавен.

Твои эпиграммы на Шутовского прекрасные6.

Обними за меня Пушкина7. Скажи ему, что он напрасно упрекает арзамасцев в забвении своих друзей. Я виноват, что забыл в своем письме поставить

его имя; но он единогласно всеми выбран был при первом собрании Арзамаса; и ему приготовлено было имя *Пустынника,* но если ему хочется *Вот,* то мы и на то согласны. Письмо его будет мною, яко секретарем, представлено и прочтено Арзамасу в следующем заседании. Высылай его к нам. Мы примем его с распростертыми объятиями.

Доставив нам список подписавшихся, не забудь назначить, кому именно и под каким № билет выдан, и на билетах пиши: *деньги получены.*

Я писал о Бушуеве к Дружинину8 и просил его переговорить с тобою. Повидайся с ним.

**251.**

**А. П. Киреевской (Елагиной) и А. П. Юшковой (Зонтаг)**

*<10—13 ноября 1815 г. Петербург>*

Вы пеняете мне за мое молчание, милые мои друзья-сестры, но слава Богу, ваши пени не трогают дружбы, и я за это благодарю вас. Надеюсь, что никогда до этой святыни пени не дотронутся. Вы спрашиваете, милая Анета1, о чем Вам писать ко мне: «всё одно и то же!». Вы хотите, чтобы я перечитал Ваши прежние письма, из которых узнаю то, что делается с Вами теперь. Hélas![[213]](#footnote-213) неужели нам никогда на том месте не будет хорошо, на котором мы находимся! неужели вечно нам бежать за этим недостижимым *там*, которое никогда *здесь* не будет. Из Ваших писем, Анета, заключаю, что Вы не совсем довольны своим *здесь*,

что Ваше *одно и то же* Вам надоедает. А я со своей стороны желал бы сказать

Вам: прочтите мои *прежние* письма, чтобы узнать, что со мною делается *теперь*. Мое теперь хуже прежнего, здешняя жизнь тяжела, и я не знаю, когда отсюда вырвусь. Ваше *одно и то же* кажется мне прекрасным положением; работать без всякого рассеяния, в кругу *своих*, отделясь от прошедшего и будущего, — вот чего мне хочется. Вы пишете, чтобы я Вам о себе более рассказывал, и что у меня много интересного для этих рассказов, что всё, окружающее меня, интересно. Напротив. Или *всё*, меня окружающее, ничтожно, или я сам ничто, потому что у меня ни к чему не лежит сердце, и рука не подымается взяться за перо, чтобы описывать то, что мне как чужое. И воображение побледнело — так пишет ко мне и Батюшков2. Поэзия отворотилась. Не знаю, когда она опять на меня взглянет. Думаю, что она бродит теперь или около Васьковской горы, или у Гремячего3, или в какой-нибудь долбинской роще, несмотря на снег и холод! Когда-то я начну ее там отыскивать! А здесь она откликается редко, да и то

осип лым голосом.

О Дерпте Вам не хочу писать ни слова. Лучше говорить, нежели писать! но когда же удастся говорить? Авось!.. всё еще авось! Если рассказывать, то хоть забавное. Здесь есть автор князь Шаховской. Известно, что авторы не охотники до авторов. И он поэтому не охотник до меня. Вздумал он написать комедию и в этой комедии смеяться надо мной4. Друзья за меня вступились. Дашков напечатал жестокое письмо к новому Аристофану5; Блудов написал презабавную сатиру6, а Вяземскому сделался п<онос> эпиграммами7. Теперь страшная война на Парнасе. Около меня дерутся за меня, а я молчу, да лучше было бы, когда бы и все молчали8. Город разделился на две партии, и французские волнения забыты при шуме парнасской бури. Все эти глупости еще более привязывают к поэзии, святой поэзии, которая независима от близоруких судей и довольствуется сама собой. Беспрестанно уверяюсь, что я написал божественные истины в моем послании к Вяземскому и Пушкину9. Нет ничего презрительнее той славы, которой все обыкновенно ищут! *Обвитый розами скелет*10 — выражение, разительно справедливое. Беда писателю, если вздумает иметь эту бесславную славу, эти низкие почести, если у него душа доступна для оскорблений глупцов и невежд. Я благодарен этому глупому случаю — он более познакомил меня с самим собой. Я теперь знаю, что люблю поэ зию для нее самой, не для почестей, и что комары парнасские меня не укусят никогда слишком больно. Но я теперь люблю поэзию как милого человека в отсутствии, об котором беспрестанно думаешь, к которому беспрестанно хочется и которого всё нет как нет.

Я здесь живу очень уединенно; никого, кроме своих немногих, не вижу — и несмотря на это, всё время проскакивает между пальцев. И этой немногой рассеянности для меня слишком много. Прибавьте к ней какую-то неспособность заниматься, которая меня давит и от которой не могу отделаться. Жестокая сухость залезла в мою душу.

О рощи! о друзья, когда увижу вас!11

Но что же, если не удастся сгородить себе какого-нибудь состояния? Если надобно будет решиться здесь оставаться и служить для того, чтобы чем-нибудь жить, — тогда прощай, поэзия и всё! Авось! Неотвязное слово! Как оно теперь для меня мало значит, а всё не расстанешься с ним!

Послушайте, милая Авдотья, поговорим о другом авось, о котором я здесь часто думаю! Ведь для наших ребятишек нужен учитель. Пора думать об их порядочном воспитании. Дело не об том, чтобы их сделать скороспелками, выучить

тому и другому, что они со временем забудут, а об том, чтобы их сделать людьми. У меня есть на примете два человека. Один очень знающий — но молод, и я не знаю, согласится ли ехать в деревню; я не говорил с ним и не могу еще делать ему предложения, ибо не имею на то согласия Вашего; он же ищет службы; и теперь

его здесь нет — он в Дерпте. Другой здесь и хочет ехать в деревню; но вот беда: он не берется учить по-латински; он берется только образовать для учения университетского и вообще берет на себя одно нравственное воспитание12.

Это и всего важнее, ибо науки придут сами и скоро — надобно только дать ум, охоту к занятию и характер. Остальное будет легко. Но латынь, латынь не-

обходима! и ей надобно учиться заранее. Дерптский мой знакомец и латинист, и грек, и очень учен, и добрый малый — но не знаю, захочет ли запропаститься в деревню. Я желал бы, чтобы он, например, лет шесть занялся приготовительным учением детей; потом непременно они должны быть отданы в университет и, если можно, в немецкий; потом года два путешествия; потом и служба — и служба чем позже, тем лучше, — чтобы были людьми. Я нынче крепко было

обрадовался. Вдруг является к нам Тоблер13, который воспитывал и Тургеневых. Он отходит от Токаревых, и я вообразил было, что он ищет места; но увы — он уезжает в Швейцарию.

Итак, милая Авдотья, прочитав то, что я здесь навараксал, вооружитесь гусиным пером и напишите мне, искать ли здесь учителя, сколько ему давать (NB дорого, да мило). Весьма было бы хорошо, когда бы я к Вам приехал самдруг. Но для этого нужно, чтобы у Вас на всякий случай были готовы комнаты в Вашем господском доме, чтобы всё (Ваша и моя библиотеки) было в порядке. Неужели и по сию пору нет порядка, нет шкафов, нет помела, нет добродетели и Лизы?14 Эка шпанска муха!

Шутки в сторону, прошу написать об этом поболее и пообстоятельнее. Перестаньте писать узоры.

Скажите мне поболее и о нашей милой Марье Алексеевне: Вы мало мне об ней пишете. Отдали ли Вы ей мое письмо? Поцелуйте за меня у нее ручки. Милой Елене Ивановне кланяюсь дружески. Я уверен, что она помнит и любит меня, как всегда. Что наш добрый Pierrot? Что наше пузо Като? Она ко мне писать разучилась; le grimacier ordinaire[[214]](#footnote-214) совсем свел ее с ума15. Скажите этому кривляке, что я видел здесь Муравьева, который обещал у меня побывать. Брата его, Александра, я еще не видал; он у меня был, не застал меня дома, и я позабыл его адрес16. Обнимаю их обоих и с маленькой неправильной дробью17.

Милая Наталья Андреевна, откликнитесь. Иван Никифорович, Елизавета

Васильевна, преосвященный архиерей! желаю вам здравия. Простите, милые друзья! Елена Ивановна дня три как приехала. Где Марья Николаевна?18

**252.**

**П. А. Вяземскому**

*23 ноября <1815 г. Петербург>\**

23 ноября

Жду от тебя с нетерпением письма, мой милый друг. Что-то оно скажет мне о наших милых Карамзиных. Сердце рвется за них. Катерина Андреевна опять должна родить1; новые, тяжелые страдания матери, но к чему же они ведут? К потере еще более жестокой, нежели все эти страдания! Скажи поскорее, что другие дети? И скоро ли им можно будет переехать в Москву? Ужасно подумать об их положении. Воображая их в горести, как-то еще более к ним чувствуешь привязанности. Карамзин, страдающий отец, есть для меня что-то священное; прошу тебя уведомить об них поскорее.

О себе скажу, что я здоров и занимаюсь совершенно пустяками. Важное ничто не лезет в голову и на то есть причины. Зато протоколы Арзамаса, которые перо пишет, не спрашиваясь с головою, весьма богаты всякого рода галиматьею. Я недаром обожатель твоего гения. Арзамасское общество умножено двумя новоприбывшими. Северин с нами2; вчера я с ним просидел целый вечер у Блудова, и, чтобы прелесть этой минуты свидания была совершенна, нужно бы было твое присутствие, да еще нашего Пипиньки3 — зато мы об вас и вспомнили с горем пополам.

Другой арзамасец Полетика4, которого я еще не знаю и не видал. Северин немного вырос, но всё по-старому малютка. Не переменился нимало; глядя на него, видишь старое время, видишь Москву, домик Дмитриева5, твою горницу

с камином и много кое-чего с горем пополам лезет в душу. À propos[[215]](#footnote-215) о душе —

черт знает, что делается с моею душою; она растрепалась как ветошка; всё как будто из нее выдохлось. Весною с Севериным, с Дашковым буду в Москву и освежусь в Остафьеве. Петербургский климат, несмотря на радости арзамасские, нездоров для меня: огонь Весты бледнеет.

Прости. Тургенев посылает тебе новые мои стихи; прошу на них не коситься; написаны по заказу; на заданный размер. Предмет был прекрасный; но я из него ничего не сделал: от воинов можно бы было много сказать Русскому Царю! Но всё, сказанное в моих стихах, есть пышное locus communis[[216]](#footnote-216). Этот хор был пет на празднике Семеновского полку, приготовленном к приезду государя, — но государь не приехал. Праздник был прекрасный. И мне весело было писать стихи мои, несмотря на то, что они дурны6.

Получил ли ты билеты? Дай знать о подписчиках! То есть пришли их реестр. Экземпляры будут все гуртом доставлены тебе, а ты уже раздавай кому следует. С книгопродавцами ведайся сам как хочешь; а мы будем знать одного тебя. Уступки делай, какие за благо рассудишь, — я на всё наперед согласен и очень тебе благодарен за дружеские твои хлопоты. Обнимаю тебя.

**253.**

**М. А. Протасовой**

*27—28 ноября <1815 г. Петербург>*

Ты хочешь говорить со мной как с *отцом*1. Если это имя не пустое слово, написанное без всякого особенного смысла, то оно значит, что мое мнение для тебя так же важно, как мнение отца. Милый друг, *ты* мне поверишь, когда скажу тебе,

что могу без всякого эгоизма думать о твоем счастье и желать его. Итак, я буду говорить как отец, которому всё то известно, что делается в сердце у дочери, который на этот счет не хочет обманывать ни себя, ни других, который желает счастья своей дочери для нее, который, думая об ее счастье, не разумеет под ним одного собственного спокойствия. Послушай, мой милый друг, если бы твое письмо написано было хотя полгодом позже, я бы подумал, что время что-нибудь

сделало над твоим сердцем и что привязанность к Мойеру, произведенная свычкою, помогла времени; я бы поверил тебе и подумал бы, что ты действуешь по собственному, свободному побуждению; я бы поверил твоему счастью. Но давно ли мы расстались? Нет трех недель, как мое последнее письмо было написано к маменьке!2 Ты знаешь то, что я чувствовал к тебе, а я знаю, что ты ко мне чувствовала, — могла ли, скажи мне, произойти в тебе та перемена, которая необходимо нужна для того, чтобы ты имела право перед собою решиться на такой важный шаг? Мойеру уже было один раз отказано!3 Он, вероятно, не делал новых предложений! С чего же пришла тебе *самой* мысль за него идти? Тебе, которая говорила, что для тебя никакого другого счастья не надобно, кроме свободы, неразлучности с маменькой и спокойствия в семье твоей? Нет, милый друг, не ты сама на это решилась! Тебя решили, с одной стороны, требования и упреки, с другой — грубости и жестокое притеснение. Не давши времени твоей душе прийти в себя,

от тебя требуют последнего пожертвования на целую жизнь, называя это пожертвование твоим же счастьем и даже не принимая его за пожертвование! Ты имеешь ко мне точно такую же правду, какую ты написала к Павлу Ивановичу4; основываясь на письме твоем, скажут, что ты всего сама желала, что сделали тебе угодное; а до того, что у тебя в сердце, нет дела — это видит один Бог, а не люди!

Одним словом, ты бросаешься в руки Мойеру потому, что тебе другого нечего делать! Тебя тащат туда насильно, и еще ты же должна говорить, что ты счастлива! а я вслед за тобою, как твой отец, должен повторить то же! Нет, как твой

отец я не могу на это *теперь* согласиться. Если бы я был твой отец не на словах, а на деле, если бы это имя не было мне дано как самое оскорбительное доказательство совершенного бессилия сделать что-нибудь для твоего счастья, я бы поступил иначе; зная твое состояние, я бы прежде всего старался дать тебе время успокоить свое сердце, я бы не стал как самовластный деспот располагать всею

судьбою твоей жизни; не пожертвовал ею *своему* спокойствию, *своей* прихоти; зная в своей совести, что я сам причиною всего, что с тобой было, я не вздумал бы к твоему несчастью, мною самим сделанному, прибавить другого, совершенно неизгладимого; я бы заменил для тебя то, что у тебя отнял, произвольно или принужденно, до того нет дела; подле меня нашла бы ты все вознаграждения за потерянное; я не дал бы в семье своей делать тебе жестоких неприятностей, принуждающих тебя всё забыть, на всё решиться, чтобы после во всём раскаиваться: одним словом, я был бы твой отец, утешитель, товарищ! не думал бы об одном себе! Ты была бы свободна, спокойна; время всё бы исправило! Тогда без принуждения, без всякого упрека совести, ты выбрала бы для себя счастье верное, то

есть хорошее променяла бы на лучшее и не была бы жертвою моей прихоти, моего эгоизма; и я был бы счастлив, потому что был бы тогда уверен в твоем счастье! Так бы я поступил, если бы был твой отец или твоя мать. Но теперь кто уверит меня, что ты поступаешь свободно? То, что ты написала к Павлу Ивановичу, может быть удовлетворительно для Павла Ивановича, но не для меня. Я знаю настоящее расположение твоего сердца, и маменька знает его (знает перед своею совестью и перед Богом — что бы ни думали люди) — как же могу поверить, чтобы с таким расположением писанное тобою было язык твой, *свободный*, *непринужденный*? Нет! Это язык маменьки! Ей нужно спокойствие, спокойствие насчет всего твоего будущего? Но как же осмелится она за него пору-

читься, будучи не уверена в настоящем? Ты можешь дать волю всё с собой сделать, ты можешь не роптать и покориться — но более не можешь ничего! Боже мой! религия запретила ей согласиться на наше счастье; а та же религия не может ей запретить принудить тебя к нарушению всего святого: таинства и клятвы? После этого могу ли подумать, что религия, а не одно желание исполнить волю свою управляет ее поступками? Почему же здесь молчит религия, здесь, где дело идет о таком поступке, с которым ни сердце, ни желание твои не могут быть согласны? Я знаю язык ее: *исполнение должности всего святее*! Но это для нее равно, как и для тебя. Твоя должность быть согласною с ее волею. А ее должность не жертвовать тобою своей власти. И она равно должна думать о твоем счастье, как и ты о ее. Пусть люди будут воображать, что ты следовала собственному желанию; но она этого знать не будет, она, от которой твоя судьба зависит; но Бог не будет этого знать — а Он судит не по наружности, а по намерениям. Я знаю, как она об этом думает; я помню, что сказала она мне перед отъездом нашим из Муратова

(и это слово вечно меня приводит в трепет). *Жалею, что Маша не выдана за Апухтина*5. Когда же это было сказано? После того, как она уже обо *всём* знала, и после того, как она совершенно узнала, какое было бы для тебя счастье с Апухтиным. Какое же понятие имеет она о супружестве? За что же ей не хотеть, чтобы и ты имела то, чем она сама была так счастлива! Неужели и здесь можно принять за правило ее обыкновенную мысль: *счастья на земле найти нельзя*! Найти нельзя — это и я знаю; но отымать его не дóлжно; но дóлжно по крайней мере искать его для тех, кто от нас зависит! Нет, Маша, никак не могу поверить письму твоему! Оно слишком противоречит всему, что я знаю и в чем был до сих пор так уверен. Je crois vraiment, пишешь ты, que je trouverai le bonheur et le repos avec Moyer, je l’estime beaucoup, il a une âme digne et un caractère noble et j’attends tout du temps[[217]](#footnote-217). Милый друг, прошу тебя нисколько не думать, чтобы я в эту минуту помнил о себе; ты *одна* знаешь, как я искренно готов забыть всё собственное для твоего счастья. Но скажи мне, ты прежде вый дешь за Мойера, а потом уже оставишь всё доделывать времени. Не должна ли ты, из уважения к самой себе, поступить напротив! Не святая ли это с твоей стороны обязанность? И твои слова не служат ли доказательством, что тебе не дают этого нужного времени, что тебе дóлжно спешить, оставя будущее на произвол судьбы? Я сам люблю Мойера,

я видел его во все минуты прекрасным человеком! Но давно ли вы его знаете?6 Если бы и не было необходимой обязанности медлить, всё надлежало бы дать себе время узнать его более? А здесь сколько для тебя самой личных причин не спешить! Спросись с собою, имеешь ли право так скоро решиться? Правда, на это надобно иметь свободу, а ты, может быть, ее не имеешь! Но скажи мне, что заставляет вас так спешить теперь, когда ничто уже не противится маменькиной власти? Мойер с вами; всякий день бываете вы вместе! Всякий день может более и более тебя с ним знакомить! Не ужели еще года нельзя пробыть тебе в той семье, в которой ты прожила двадцать лет! В год можешь узнать всю будущую жизнь

свою! Год может всё заставить забыть; произведет свычку, привязанность и даст полное право располагать собою! Пожертвование сделать легко, но надобно,

чтобы оно было нужно! Спрашиваю, нужно ли оно теперь! Дело идет не о страсти — ты ее никогда не имела и не дай Бог иметь. Что маменька ни говорила и ни писала обо мне, но и я никогда не имел ее; но зато имел нечто лучшее: уверенность в своем счастье, привязанность совершенную, привычку думать об одном и всё к одному относить. Милый друг, это не страсть. И ты теперь в таких обстоятельствах, что всё это со временем можешь получить, и получить прежде, нежели решить свою судьбу навсегда. Будучи вместе неразлучно, привыкнете друг к другу, и тогда переход из одного состояния в другое будет легок и не страшен.

Редко удается узнать того человека, с которым надобно будет делить судьбу свою!

Тебе это возможно! Узнай его! привяжись к нему сердцем, а не по необходимости! Поручись себе и мне за свое счастье — тогда я буду рад тому, на что теперь смотрю только со страхом и в чем теперь вижу одно ненужное пожертвование, опасное и даже непозволенное. К тому же, дав себе время, будете в состоянии обдумать все обстоятельства посторонние, имеющие и, кроме личного характера, величайшее влияние на судьбу всей жизни. Мойер немец; все его связи в Дерпте; он должен жить трудами рук своих; и не знаю, может ли иметь недвижимое имение7. Все эти обстоятельства не худо обдумать наперед! Если он не захочет оставить своего края, то легко ли тебе будет со всеми разлучиться! То счастье, которое найдешь с ним, заменит ли тебе всё то, от чего надобно будет отказаться! Одним словом, дав себе время, ко всему наперед можешь приготовиться и привыкнуть. Итак, если для тебя имя отца, данное мне, имеет какой-нибудь смысл, то прошу тебя дать себе год еще свободы; не говори ни слова Мойеру, но пускай он имеет твою дружбу. Это будет прекраснейшим приготовлением к верному счастью! И ничто не брошено будет на произвол случая. Мне же дашь совершенное спокойствие. Пусть время сделает всё *прежде*, а не *после.* Мне ничего, кроме твоего счастья, не надобно: собственного ничего к нему не примешано; но оно разве не моя уже собственность; а эту собственность ты обещала мне беречь свято! Неужели и ее у меня отнимут? Неужели ко всем прочим радостям, которыми так богата моя жизнь, еще надобно прибавить и неизъяснимое счастье думать, что,

опасаясь меня и моих происков, поспешили пожертвовать тобою и отдать первому, который тебе встретился, чтобы только от меня избавить! Мойер — прекрасный человек, сколько я его знаю! Но тебе надобно с ним счастья. Прежде узнай наверное, что его получишь, а там уже располагай собою. Неужели нельзя тебе иметь году отсрочки? Неужели я такая презренная тварь, что уже мне никакого утешения сделать не можно, что уже меня можно раздавить, не думая даже,

что я могу почувствовать боль? Уверенность в твоем счастье мне нужна более всего; я сам знаю, что тебе надобен человек, который бы тебя спокоил и умел бы ценить тебя! Ты могла бы теперь иметь много счастья дома, но я знаю, что ты его иметь не будешь! Надобно его искать в стороне; но надобно *найти* его! За что же такая поспешность располагать твоею участью? Вся твоя жизнь была пожертвование, и теперь должно бросить на жертву всё остальное. Но то же можно сделать и без пожертвования; наверное, без всякого риску. Только помедлите. Скажи мне, какое новое несчастье сделалось, что ты захотела бежать? В твоей семье все, на-

чиная с маменьки, знают, что тебе нельзя этого желать; это желание само собою не могло прийти к тебе в сердце; тебя принуждают и гонят из семьи своей; никогда не поверю, чтобы ты решилась сама и произвольно, — с чего тебе решиться? Ты мне говорила тысячу раз, что тебе нужно одно спокойствие и любовь твоей матери, что всякая перемена только испортит, — теперь отчего же другой язык? Marie, vous m’avez dit un jour *devant Dieu*, que vous ne vous marierez jamais autrement que d’après votre choix et jamais par la seule obéissance. *Devant Dieu*[[218]](#footnote-218), помнишь ли это? Здесь я напоминаю об этом слове не для того, чтобы тебя отвратить от Мойер а, нет! я сам его люблю, уважаю и почитаю способным дать тебе счастье. Но я прошу одного: не по принуждению, свободно, не из необходимости, не для того только, чтобы бежать из семьи своей и где-нибудь найти приют. Вот мысль, которая убивает меня. Неужели не могут позволить тебя самой позаботиться о счастье своем? Неужели надобно самую жизнь отдать на жертву их власти? Кажется, до сих пор ты не жила, не думала для одной себя — всё для маменьки! всё было ей жертвой! Какое же награждение? Как бы им легко было за всё заплатить тебе, дав тебе волю быть спокойною между ими! Что тебе надобно, много ли? чего еще ты от них требуешь? Кажется, всё для них? Что же для тебя? Сердце разрывается, когда подумаю об этой жестокости, об этом холодном самовластии, которое величают материнскою любовью8. Но скажи, Маша, разве ты не обязана подумать и обо мне? Разве для тебя не нужно избавить меня от такой мысли, которая отравит всю мою жизнь, от мысли, что тебя *принудили выйти замуж,*

*опасаясь меня*! Я уже не прошу об этом маменьку; она только умеет называть меня братом, но она не упустила ни одного случая разорвать мне сердце! Захочет ли она и здесь меня удостоить внимания! Что ей до меня, когда она не щадит

своих детей! Уже она знает по опыту, как поспешность гибельна9, — но что опыт,

что сожаление, когда дело идет о том, чтобы исполнить свою волю! Я прошу этого сожаления от тебя; я не требую, чтобы ты отказалась от Мойера; но требую только, чтобы ты употребила один год на свободное размышление, на свычку с ним, на то, чтобы старое успело быть забыто и заменено новою привязанностью! Не говори с ним ничего, не обязывай себя ничем; но имей его в виду; он всё будет в вашей семье! Здесь самое гибельное — поспешность! Но на что ж вам спешить? Вместо того чтобы испортить что-нибудь, время всё может привести только в лучший порядок. Он будет вместе с вами, а меня можете ли вы бояться? Мое всё кончено, и ни в каком случае нам быть вместе невозможно10. Милый друг, я не противлюсь твоему намерению, прошу только сделать что-нибудь и для моего спокойствия; и то, чего прошу, весьма легко исполнить и совершенно согласно с твоею же пользою. Но, может быть, именно потому, что я прошу, оно и не будет исполнено! Я в одном из последних писем просил ее *согласиться со мною только в одном — дать тебе полную свободу*!11 И вслед за этим она начинает требовать, чтобы ты шла за Мойера; теперь прошу той же *свободы* и *отсрочки* — и уверен, что самое сильнейшее желание ее теперь будет поспешить! Она решилась отнять у меня всё до последнего! даже внутреннее спокойствие, а с ним, может быть, и всякую привязанность к жизни! И ей удастся!

Не бойся моей встречи с Воейковым и успокой на этот счет Сашу12 — если мы увидимся, то никаких объяснений между нами не будет! Они не нужны! Что ты называешь: с ним помириться? Желать ему добра и всякое, какое в моей власти, сделать — это само по себе разумеется! Любить его и простить ему твои

огорчения — это невозможно.

28 ноября

Одно место твоего письма изумило меня. Воейков, которого я сейчас видел, подтвердил мое изумление: «en vous mariant, en vous sacrifiant comme vous le faites, vous croyez donner à votre mère deux amis»[[219]](#footnote-219). Ты хочешь дать мне свое место в семье твоей матери. Нет, Маша! я просил тебя тысячу раз: не думай обо мне, заботясь о своем счастье! Будь счастлива для себя, тогда и всё мое желание исполнится. Мне занять твое место! Прошу на этот счет не обманываться! Заставив написать Павла Ивановича письмо, я хотел воспользоваться последним способом — он не удался, и для меня всё теперь навсегда решено! Я совершенно отказался от невозможного. И твоей матери нечего меня бояться! Если она думает, что я жду смерти ее, чтобы возобновить всё, — этот страх напрасен! Для

ее успокоения ты можешь дать ей какую хочешь клятву, а я не захочу никогда взять руки твоей на гробе твоей матери. Она сделала из меня какое-то чудовище, которого боится, и этот страх даже ее самое приводит к преступлению. Если замужеством своим ты надеешься дать мне семейное счастье и возвратить меня в свою семью — эта надежда совершенно пустая. Я был бы истинным другом, истинным братом твоей матери и еще остался бы ей благодарен (и эта благодарность не кончилась бы и по смерти ее), когда бы видел, что она, разделив и твое, и мое горе, облегчила бы его всем, что от нее зависит, — думая единственно, как бы утешить тебя и тебе дать совершенное спокойствие. Твое счастье было бы величайшим ее благодеянием и мне. Мы были бы розно (ибо вместе быть нельзя), но это розно не разорвало бы дружбы; у нас было бы одно — твое счастье! И как легко его сделать — быть просто матерью, другом и утешителем, а не притеснителем, который всегда готов жертвовать своему эгоизму. Пожертвовав собою, не думай из меня сделать ей друга — этим не заманишь меня в ее семью! Скорей соглашусь двадцать раз разбить голову, нежели искать места в этой семье! Какими глазами буду смотреть на нее! Какое чувство буду иметь к ней в своем сердце! Я не постигаю, как могла прийти тебе в голову такая мысль и за кого ты меня считаешь! Но скажи мне, чего она боится? За что хочет убить тебя? Неужели надеется найти в аптеках лекарство от твоих болезней, которые сама производит?

Одним словом, чтобы всё кончить, я могу только согласиться на *твое счастье* — в этом пожертвовании я не вижу его; я не вижу его для тебя в замужестве, по крайней мере теперь его для тебя в замужестве быть не может. Разве забыла она своих двух сестер и своего брата?13 Разве забыла, что ты в начале этого месяца была при смерти! А что смерть пред тою жизнью, которую она тебе готовит! Она могла бы тебя осчастливить, а она тебя гонит от себя! Я не могу согласиться на замужество твое, *теперь* не могу! И если…

**254.**

**П. А. Вяземскому**

*<Около 25 ноября 1815 г. Петербург>\**

За что ты брюзжишь, князь Петр Андреевич! Всё бранишься за неписание, за неподвижность, а, кажется, я к тебе пишу, да еще и черт знает как тебя люблю. Если не удается писать много, то это оттого, что часто не пишется и руки как будто отсохли. Но из этого не следует, чтоб отсохло и сердце. Да ты этого и думать не можешь.

Счастливец, ты читаешь предисловие Карамзина1, возвышаешься мыслями и душою подле лучшего из людей — лучшего во всех отношениях. Сказать Карамзин — значит сказать свет прекрасен! ибо в нем есть Карамзины, ибо в этом

свете можно любить Карамзина и желать быть ему подобным. Какое письмо написал он к Тургеневу о своей тяжелой потере2: такое письмо есть лучший панегирик Провидению. А ты, мое сердце, в своем письме, полученном нами в то же время, лепечешь: не понимаю Провидения. Спроси у Карамзина, он тебе растолкует, что такое Провидение. В иные минуты можно бы было и мне этот вопрос сделать, и я бы умел на него отвечать. Но только в *иные минуты*. Всего более надобно стараться, чтобы эти иные минуты слились наконец в жизнь, и в этом-то вся и цель жизни.

Извини, брат, мою философию; она сама собою сбежала с пера. Я хотел не философствовать, а поговорить тебе о своем издании. Вот в чем дело: если ты набрал сколько-нибудь подписчиков и собрал деньги, то присылай деньги и реестр подписавшихся; деньги надобны для печатания, а имена пренумерантов — для доставления тебе нужного числа экземпляров. Но так как ты получил 100 билетов, то думаю, что тебе и 100 экземпляров прислать подобает. В рассуждении же подписки поговори с Каченовским — у него в руках типография университетская и все газетные публикации — устройте это между собою.

Книгопродавцам же уступать надобно погодить до закрытия подписки. Может быть, и без них дело обойдется. Им же можно будет продать с уступкою те экземпляры, которые останутся от подписки.

Присылай письмо Липецкого жителя и критику3. Твои прекрасные эпиграммы4 не напечатаны для того, что *наша война* кончена трактатом, который

объявлен в «Сыне Отечества» в статье под именем «Мнение постороннего»5. Критики же и письмо напечатать можно будет: это уже война литературная.

Чтобы только в них не было ничего обо мне.

Наш Арзамас усилен тремя новыми членами: Северин = *Резвый кот*; Полетика = *Очарованный челнок*; Воейков = *Печурка*6.

Обними за меня Пушкина7. Прилагаю формат издания.

**255.**

**А. А. Прокоповичу-Антонскому**

*<Конец ноября 1815 г. Петербург>*

Наконец я получил от Вас письмецо, почтеннейший Антон Антонович. Благодарю за Вашу бесценную дружбу и за такие ее выражения. Вы ждете от меня послания1. Дайте мне уехать в свою сторону — оттуда буду писать послания с вольным духом. Здесь как-то Муза моя оледенела. Давно нет от нее никакого слуха. Молчит весьма упрямо. Посылаю Вам единственный плод ее,

стихи, сделанные по заказу, хоть петые на празднике Семеновского полку и написанные по просьбе офицеров2. Писать было приятно; но написанное худо, потому что не было времени. Чем богат, тем и рад.

Печатание моих стихов продолжается, и кажется, что издание будет хорошее3. Для Вас экземпляр заветный. Мне чрезвычайно весело будет его Вам доставить. Простите, почтеннейший Антон Антонович, не забывайте меня. В на-

чале будущего года надеюсь Вас увидеть.

**256.**

**П. А. Вяземскому**

*<Ноябрь 1815 г. (?) Петербург>\**

На сих днях мой первый том поспеет — как быть мне с теми экземплярами, которые принадлежат *твоим* подписчикам? Прислать ли все к тебе или рас-

сылать прямо на имена подписчиков. Ведешь ли ты всему записку? Я бы желал, чтобы ты прислал мне реестр подписчиков такой формы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| номер билета | имя подписчика | адрес (к тебе или прямо куда следует) |
|  |  |  |
|  |  |  |

Всего более нужно, чтобы никто не мог пожаловаться на неполучение экземпляра. У себя ты должен непременно отмечать всякий выданный экземпляр против имени того подписчика, кому он выдан; чтобы после не сбиться. Также и на билетах надобно отмечать; то есть зачеркнуть выданный том.

**257.**

**А. П. Киреевской (Елагиной)**

*<10—11 (?) декабря 1815 г. Петербург>*[[220]](#footnote-220)

***Письмо твое меня столько же удивило, сколько огорчило, я не узнаю в нем ни сердца твоего, ни чувств.***

Вот и она обвиняет меня! Итак, она узнала бы и сердце мое, и чувства, когда бы я без *роптания* согласился на то, чтобы она собою пожертвовала! Как бы я написал к Е<катерине> А<фанасьевне> ласковое письмо, когда бы не сказал ей ничего искренно насчет ее поступков1.

***Хочу отвечать тебе, хоть наперед знаю, что это ни к чему не послужит. Жаль, что ты сам не приехал и не увидел сам тогда всего*.**

Как приехать и зачем!2 Что увидеть! Приехать затем, чтобы сказать *да*! приехать затем, чтобы говорили тебе с разными улыбками *брат*, а в душе считали тебя за предателя; чтобы унижали тебя подозрениями. Сам *увидел*! что можно увидеть? Где искренность? Разве несколько лет опыта всему этому не противоречат? И теперь, потребовав позволения приехать и положив условием, чтобы мне дана была свобода говорить с Машею, я уверен, что от меня потребуют

согласия безусловного и что мое малейшее противоречие названо будет *клеветою или ругательством*!3 Для Е<катерины> А<фанасьевны> всякая правда есть ругательство. Она ни от кого не слышит ее в семье своей — там с первого слова покорность; и она не думает, чтобы ей можно было ошибаться.

***Маменька не хочет перед тобою оправдываться!***

Оно и легче! стоит сказать: клеветник и ругатель! и всё оправдание! Но ей и нельзя оправдаться! Пускай отвечает она мне фразою на фразу — ей отвечать будет нечего!

***Она не ожидала и не могла вообразить таких несправедливых обвинений о т т е б я!***

От меня именно она и могла ожидать их! Маша! Маша! Но что ж она другое говорить здесь может! Она решилась собою пожертвовать! Но хочет показать,

что не жертвует ничем! Это принимают за чистые деньги! Но я могу ли этому поверить! И мне еще надобно молчать!

***Если бы ты и не видал прежде моего образа жизни и не мог судить о настоящем по прошедшему, то, зная ее любовь ко мне, мог бы быть уверен, что она не станет требовать моего несчастья.***

Я видел этот образ жизни и знаю, что причиною, главною и почти единственною, того, что она вела *такой образ жизни*, *—* одна Е<катерина> А<фанасьевна>4. Я сужу о настоящем именно по прошедшему. Я знаю ее любовь; но знаю, что эта любовь, которая заставляет ее сидеть в слезах над по-

стелью больной Маши, не препятствует ей расстроивать ее здоровье, лишать ее во всём свободы, давать над нею власть Воейкову, даже огорчать ее в угодность Воейкову. Эта любовь не мешает ей соглашаться на ее пожертвование,

его требовать или, что всё равно, своими жалобами и слезами доводить ее до того, что она принуждена решиться на то, чему противится ее сердце, и собою пожертвовать.

***Je vous dirai encore que le sentiment qui l’a porté à me permettre de vous ecrire, est tout ce qu’il y a de plus noble et de plus tendre. Les circonstances m’ont forcé à me decider de lui parler sur ce sujet d’une manière positive, je voyais la noce necessité pour elle et pour nous deux d’avoir un ami, un protecteur, et une fois que j’ávais parlée positivement, elle a voulu que je vous en parle à vous le premier***[[221]](#footnote-221)***.***

Что ж в этом, что мне сначала *первому.* Вопрос: *для чего* сказано? Для того ли, чтоб узнать мое мнение и с ним согласиться, если оно будет основательно? Или только для того, чтобы я согласился безусловно и с покорностью, в противном же случае назвать меня клеветником и ругателем? Вышло на поверку,

что для последнего! Что ж в том чувстве, которое заставило со мною первым объясниться! Les circonstances m’ont forcé[[222]](#footnote-222). Маша сама обвиняет свою мать здесь так же, как и я. Какие могут быть обстоятельства, чтобы заставить ее против желания решиться на замужество и оставить семью свою! Кто в этой семье властитель? Ее мать! От кого зависит ее спокойствие, ее утешение, ее счастье? От матери! И она почитает необходимым иметь себе покровителя! И мать на это соглашается, зная настоящее расположение сердца своей дочери! Мне дела нет до того, что мне сказано первому! Дело в том, *что* сказано и *чего* от меня требуют!

***Ni elle, ni moi, nous n’avons pensé à accéllérer la chose, mais malgré cela, pensant toujours à vous, elle m’a dit de vous demander conseil à vous le premier aprés elle, de vous le dire, avant que d’en parler à Woej<cov> et cette délicatesse de sentimens mérite toute votre reconnaissance***[[223]](#footnote-223)***.***

Я еще должен быть благодарен! за то, что мне сказали прежде Воейкова! La delicatesse[[224]](#footnote-224) не в том состоит, чтобы сохранить наружность и этою наружностью обольстить! а в том, чтобы требовать возможного. Итак, из благодарности за эту мнимую деликатность я должен был согласиться на всё без прекословия; и найти всё прекрасным потому, что мне сказано прежде Воейкова. Я уверен, что Маша решилась сама; но то, что ее заставило решиться, есть их дело, и всё выйдет на поверку, что она решилась по принуждению. Письмо исполнено противоречиями.

***Vous m’accusez de m’oublier pour les autres. Je vous assure, que dans cette circonstance je n’ai pensé qu’à moi. Je n’ai pas de passion pour Moyer certainement; mais l’éstime, la confiance, l’amitié que j’ai pour lui, pour son caractère suffiraient pour nous rendre heureux. J’ai désire beaucoup plus que Maman que cette chose ait lieu; je sais que M<oyer> á toutes les qualités que je désirerais de voir dans une personne de qui nous dépendrons tous***[[225]](#footnote-225). ***Он так благороден, что не только не позволит себе малейшей подлости, но даже малейшей лжи, хотя бы она принесла ему самые большие выгоды. В последнюю болезнь мою он доказал мне,***

***что умеет забывать о себе, когда дело идет о пользе другого; бескорыстность его и малое честолюбие мне также известны. Род жизни, который он ведет, беспрестанные занятия, польза, которую он делает, всё это обещает мне лучшее будущее. Я воображала найти спокойствие, перестать быть в тягость одним, перестать быть вечною причиною слез других, и всё это без того, чтобы отказаться от них навечно. Не разлучаясь с ними, видеть их счастливыми; быть даже, может быть, иногда причиною их удовольствия.***

Всё, что здесь сказано в похвалу Мойера, — совершенно справедливо. Но вспомнив прошедшее, *так недавно прошедшее*, можно ли вообразить, чтобы теперь Маша могла иметь с ним то счастье, какое должна иметь и может! Чтобы это счастье было верно, не нужно ли помедлить?5 не нужно ли ей самой успокоиться от прежнего! *Если бы она не была в тягость одним, если бы не была при-*

*чиною слез других*, то она, без сомнения, теперь еще не подумала бы об Мойере.

Итак, она решается не свободно; а в таком случае как поручиться за счастье? И не дóлжно ли обвинять тех, которые принуждают ее к такому поспешному поступку? Скажите, можно ли совершенно забыть прошедшее? Можно ли поверить, что она вдруг могла забыть его? можно ли вообразить, что сердце ее вдруг и совершенно успокоилось! Итак, не дóлжно ли было необходимо ее поберечь с этой стороны? Дать ей полную свободу! Предохранить ее самое от всякой гибельной поспешности! Я только того и просил, и просил для того, чтобы она с тем же прекрасным, благородным Мойером могла быть счастлива совершенно! Эту бесполезную поспешность я назвал притеснением — а меня назвали ругателем! Я верю, что Маша любит и уважает Мойера, но также не могу думать, чтобы она *теперь* могла быть совершенно спокойна в душе своей! Я хо-

тел только, чтобы она имела и то, и другое: и эту привязанность к нему, и это необходимое спокойствие! Всё дало бы ей время, а я только и просил времени! Я роптал на поспешность! Всё это только оскорбило.

***Я вступила бы в совершенно новый круг, для меня чуждый, пишешь ты; нет! я бы имела такой круг, какого бы сама пожелала! Мойер не зависит от родных своих; он привязан к маменьке так, как дóлжно. Летом еще, говоря со мною, он обещал не разлучать нас. Но я сама никогда бы не согласилась жить в одном доме — это одно из невозможных идеальных блаженств. Признаюсь тебе искренно, что я сама бы не пожелала слишком скоро возвратиться в Россию. Я жду много от времени, но совсем не в том смысле, в каком ты принял. Ты говоришь, Ж<уковский>, что я должна обдумать свое намерение, чтоб не сделать еще несчастного человека. Voilà une expression qu’on ne m’a répété que trop souvent, mais qui n’est pas de vous. Votre bon coeur ne vous permettera jamais de la dire***[[226]](#footnote-226)\* — ***но так и быть! Когда моя добрая маменька***

***не хочет оправдываться на счет другого, то как могу я, которая столько имею упрекать себя, говорить что-нибудь в свое оправдание.***

Мойер немец, и его все связи для Маши чуждые! Его она знает, но круг его ей неизвестен, что ни говори он или она, всё ей дóлжно войти в *его* круг, а не *ему* в *ее*; этому и быть иначе невозможно. И требовать от него такого пожертвования нельзя. Его занятия, его привычки — всё привязывает его к тому месту, где он по сию пору жил. Но это не главное: будь привязанность — всякий круг хорош! с милым человеком везде отечество! Я желал только одного, чтобы эта привязанность сделалась! Верить ей теперь мог ли? я еще не потерял ни памяти, ни чувства! или всё прошедшее надобно считать за обман и призрак! Я принял

слово Маши: *всего жду от времени* в том смысле, в каком всё заставляло его принять! Если дóлжно теперь его принимать в том смысле, в каком она хочет, чтоб я его принял, — тем лучше! Но надобно, чтобы я мог поверить, что это так! Если она ждет и надеется от времени всего только для меня; если ей нечего ждать для себя — то нет никакого и препятствия. Но сами судите, могло ли это прийти мне в голову? А предполагая противное, как было возможно, чтобы я согласился? и не мог ли я сказать им: *не сделайте еще несчастного человека*? Что же несчастнее, как супружество против воли, с тайным чувством к другому, с необходимостью скрываться! Чтобы всего этого *не было*, не нужно ли было дать время? я только того и требовал. Маша *не поняла* меня. Она вообразила, что я обвиняю ее; что я предполагаю, что она способна сделать *еще одного несчастного*! Нет! я только думал, что *несчастье было бы естественным следствием поспешности*,и обвинял только тех, которые без внимания к ней и ко мне требовали такой поспешности!

***Ты говоришь еще, что спешить не дóлжно.***

Говорю, и буду говорить даже тогда, когда всё уверит меня, что *Маша сама* этого хочет. Ничто не заставит меня забыть прошедшего. А чтобы это прошедшее не могло быть для нее гибельно, надобно хотя немного дать ей успокоиться.

И ничто не может принуждать их к такому спеху!

***По несчастью, я слишком знаю, что нельзя довольно узнать того, кому хочешь поверить счастье милых людей; но опять повторяю тебе, что ни маменька, ни я не думали не только спешить, но даже и таких близких сроков, как вы с Воейковым назначаете, не полагали. Теперь же скажу тебе, что я не могу на это согласиться, — всё зависит от обстоятельств. Легко может статься, что мы гораздо долее отложим это, но может быть и прежде — одним словом, я н е м о г у и н е х о ч у обещать ничего, и на это имею важные причины, о д н а я. К тебе писала я так скоро от излишней деликатности, а Воейкову говорила для того, чтоб дать ему думать, что я не совсем без пристанища*.**

Правда! Узнать не всегда можно того, с кем делить надобно жизнь; но им это можно. Мойер у них каждый день. Всякий день более и более сближал бы их и производил бы ту короткость, которая могла бы быть порукою за счастье. Вот великая выгода той отсрочки, какой я требовал! Они не полагали коротких сроков! А Воейков сказывал мне6, что уже начала было Е<катерина> А<фанасьевна> думать об приготовлении всего и что всё бы кончилось в несколько месяцев. Кому верить! Но и сама Маша опровергает себя, говоря, что теперь ничего не может и не хочет обещать! Не может! что ж ей препятствует! *Не хочет*! а я просил ее сделать это для того только, чтобы дать мне спокойствия насчет ее же счастья, ее же судьбы! На что же у меня спрашивать совета! На что мне всё *сказывать первому* и еще требовать за это благодарности! Что значу я здесь! *Воейкову сказано для того, чтобы он видел, что она не совсем без пристанища!* И это письмо читала Е<катерина> Афан<асьевна>. Как! у ней нет пристанища, тогда как подле нее ее мать, которой всё в семействе ее покорно! Чтобы найти пристанище, она должна кинуться в руки постороннему! Боже мой! И это должно служить доказательством, что она на всё соглашается произвольно, что Е<катерина> А<фанасьевна> действует, как дóлжно матери! Тут нет и следов материнского сердца!

***Я уверена была наперед, что Воейков не согласится на это, и не согласится не для того, чтобы боялся моего несчастья, которого бояться не может потому, что он имел случай видеть Мойера и сравнивать себя с ним, мое будущее с настоящим,*** ***а для того, что могут родные и знакомые заключить дурно об нем. В последнем письме своем обещает он мне с п о к о й н у ю ж и з н ь, говорит, что я хочу отказаться от семейства, отчизны, броситься в круг новый, неприличный, всё для того, чтобы бежать от его бешенства. Я на это отвечать не буду — он говорит неискренно! Что прибыли в ответе? Он знает, что вспыльчивость его никого так мало не мучила, как меня, никто не извинял ее с таким добродушием, как я. Но нашему горю пособить нечем; я знаю, что теперь мне осталось одно: расстаться с Сашей***7***. За себя одну я перенесла бы разлуку эту, но я уверена, что она будет более несчастна. У нее останется всё старое и отымется последнее утешение, которое через меня имела.***

Из всего этого видно всё только то, что бешенство Воейкова принуждает ее к замужеству. *Нашему горю пособить нечем!* О! многим, многим бы можно было пособить ему! Всё во власти ее матери! Что посмеет сделать Воейков, если она подле матери иметь *пристанище будет*! Я сам видел, что этого пристанища она не имела! Но кто же виноват, как не сама Екат<ерина> Афан<асьевна>? И чтобы этому горю пособить, которому ей так легко пособить, она принуждает или, что всё равно, соглашается, чтобы Маша шла принужденно замуж, будучи уверена сама, что ей еще нельзя свободно на это решиться! Кто же здесь истинный притеснитель? От Воейкова ждать деликатности нельзя — он созрел в дурной жизни! Ему свойственно быть грубым! Он менее здесь виноват с своей грубостью, которая сделалась ему натуральною, нежели она с своею жестокою мягкостью! Имей она твердость и не мучь Машу своими жалобами, что б тогда

сделал Воейков! Она отдала сама ее ему на жертву и потом, чтобы спасти ее, хочет, чтобы она снова собою пожертвовала! *Осталось одно: расстаться с Са-*

*шей!* Этого я не могу понять; тем более не понимаю, что Маша сама же после говорит: *я готова терпеть всё, если не разлучать меня с Сашей.*

***Я не понимаю, Жуковский, как можешь ты менять так свой образ видеть предметы? Ты, который видел сам прежнюю мою жизнь и который советовал мне выйти замуж. Вспомни, что ты говорил мне за три дни до своего отъезда***8**.** ***В первом письме своем я не упомянула об этом, боясь обидеть Воейкова; но теперь вижу, что деликатностью и добродушием тронуть его невозможно.***

Я помню, что я говорил, но помню слова ее: jamais je ne me marierai par attachement! cela ne pourra être que par sacrifice![[227]](#footnote-227) и мне теперь на это согласиться! Против грубостей Воейкова есть способы! Всё во власти ее матери! Почему она их не употребляет, это знает один Бог, которому она отвечать будет! Против несчастного же, принужденного замужства способов нет — чем поправить, если пожертвование, сделанное в одну прекрасную минуту, вдруг после покажется тяжелым и на всю жизнь? Жить ей, а не им! Их дело заботиться о ее будущем! Надобно сделать так, чтобы раскаяние было *невозможно*! а они спешат! Что же их может извинить?

***К чему, однако, может послужить всё это?***

Это она пишет ко мне! И она думает, что я противоречу для своих видов!

***Скажу теперь одно и прошу принимать так, как я говорю: меня никто не принуждает идти за Мойера***, никто *словами*, но все *делом* ***я желаю этого сама; сама первая это предложила!***

Верю! как не решиться на *всё*, когда нет ниоткуда помощи! Но как могли согласиться на это? Как могли до этого довести? Разве их извинит, что нельзя *доказать,* что они *принуждают*! Их принуждения в их поступках! Машино *произвольное* согласие есть только следствие притеснительных поступков.

***Я теперь уверена, что благородный характер его и прекрасное сердце дадут мне такое счастье, какого я не заслуживаю. Знаю, что меня ожидает и что я выносить буду до тех пор, пока всё это кончится, но если меня не разлучать с Сашей, я готова всё терпеть и не буду считать себя слишком несчастливою. Она меня знает совершенно, уважает меня и, несмотря на то, что я причиною ее несчастий, имеет в дружбе моей все свои утешения*.**

Этого я никак постигнуть не умею. Надобно быть с ними, всё видеть и слышать самому, чтобы сколько-нибудь объяснить для себя эту загадку.

***Мойеру надежды я никогда не давала и давать не буду. Что Воейков ни говори, — я не кокетка. Два года ни в чем не переменят меня, и ты ошибаешься очень, думая, что я его обманываю и сделаю еще несчастного человека*.**

Это оправдание передо мною жестоко больно для меня. Где я говорил, что она обманывает Мойера? Где говорил я, что она кокетка! Надобно только, чтобы она не была несчастна!

***Он будет знать, что я могу дать ему; и те чувства, которые я к тебе имею, так невинны, что я могу объявить их перед целым светом!***

Вот до чего дошло! Маша уверяет и находит нужным уверять меня, что ее чувства *невинны*! Разве об этом теперь идет дело? Надобно только, чтобы эти чувства, которых невинными никто лучше меня не знает, не были причиною для нее несчастья! Надобно, чтобы они не помешали сердцу ее спокойно и совершенно отдаться другому! Мог ли я этого не бояться, помня прошедшее?

***Я уверена, что имела бы всегда ту доверенность, и те доказательства нежной дружбы, которые теперь мне запрещены и которых я не имею пр а в а т е п е р ь тебе показывать, были бы мне тогда позволены! Одним словом, ты говорил мне, что желаешь только моего счастья, — теперь случай доказать мне это на деле! Я буду совершенно счастлива, если буду зависеть от человека, которого уважаю и которому хотя немного дорога.***

Боже мой! и Екат<ерина> Афан<асьевна> это читала!

***Я не заслужила ничем ужасной и непонятной мне нелюбви Воейкова. Бог знает, что никто не любит его так, как я, и не делал столько для приобретения его дружбы. Но мне ничто не удалось совершенно. Я опять скажу тебе,***

***что иду замуж не для того, чтоб бежать от него*.**

Как это согласить! Во всём письме видно, что она принуждена решиться на всё притеснениями! И потом опять говорит, что на всё решается добровольно. Нет! надобно всё от нее самой слышать! Всё *принудило* ее решиться! Но в том, на что она решилась, она видит свое счастье! Бог посылает ей человека, которому она может ввериться! Если точно сердце ее с этим согласно, то можно ли минуту поколебаться! Как не пожертвовать всем, чтобы дать ей те радости, каким бы то ни было способом, которые *сам* хотел ей дать? Мне надобно только прочитать в сердце ее. Если буду иметь свободу, то мне легко будет видеть, что в этом сердце делается, — тогда желания его будут для меня святым законом! и их исполнить будет счастьем!

***Я иду за Мойера точно для того, что люблю его, уважаю, надеюсь иметь тихую, спокойную, независимую жизнь, что не только сама перестану страдать, но и все окружающие меня будут счастливы*.**

Боже мой! Если точно таковы ее надежды! Сердце бьется при мысли, что они будут исполнены! Тихая, спокойная, независимая жизнь! О, какая была бы радость всё это ей дать! Надобно только увериться, что это возможно! А уверит меня только то, когда она *искренна*! Надобно избавить ее от этих страданий, которыми Бог знает для чего обременяют ее! Все сделаются счастливы, потому что она не будет страдать от них! Но для чего же в этом их счастье? Для чего она от них страдает? Безжалостные люди!

***Ты опять скажешь, что это есть собою жертвовать — j’ai bien pensé à tout се que j’ai à faire, à tout ce qui m’attend, à tout ce que je sens***[[228]](#footnote-228)***. Жуков<ский>,***

***поставь себя на мое место, и ты надо мною сжалишься! Если ты искренно говорил, что желаешь знать только меня счастливу, то не лишай меня единственно того, что меня может успокоить и возвратить, может быть, жизнь*.**

О милая Маша! потому-то, что я поставил себя на *твое* место, и испугало меня твое требование! Потому-то, что я подумал *о том, что тебя ожидает,*

*о том, что ты чувствуешь*, — и просил я, как последней милости, чтобы тебе дали время, чтобы дали тебе успокоиться, чтобы не мучили тебя в семье своей и всю твою участь оставили на твой свободный выбор; но видно, что положение твое ужасно, когда ты то, что бы в другое время сочла своим несчастьем, по-

читаешь теперь своим спасением и, говоря, чтобы на это согласился, просишь, чтобы я над тобою сжалился! Мне сжалиться, когда дело идет об том, чтобы дать ей счастье! Какое это слово!

***У меня уже почти нет сил страдать за всех беспрестанно и видеть себя, одну себя всему причиною. Вспомни свадьбу Сашину! не я ли ее сделала? Все комедии, которые тогда играл Воейков, я принимала за чистые деньги и теперь <за> всякую слезу Сашину должна упрекать себе*.**

Безжалостные, нечувствительные притеснители! Маша считает себя *всех огорчений причиною*!9 Боже мой! это разве только оттого, что она живет на свете! Какие другие огорчения! Что может она им делать? *Она сделала свадьбу Саши! Каждая слеза Саши от нее! она принимала комедии Воейкова за чистые деньги!* Ради Бога, скажите, как изъяснить это? Неужели это несправедливое обвинение самой себя может успокоить Е<катерину> А<фанасьевну>? Не она ли знала об Воейкове более всех нас? Не ее ли просили не спешить? Не ей ли сама Маша за несколько дней до свадьбы сказала то, что Саша говорила о Воейкове? Не она ли имела от Авд<отьи> Никол<аевны> Арбен<евой> об нем письмо?10 Каким образом Маша могла сделать эту свадьбу? Чей голос и совет мог быть уважен Е<катериной> Аф<анасьевной>? И Маша себя обвиняет! И Е<катерина> А<фанасьевна> читала это письмо и на это соглашается? Как же не видеть счастья в том, чтобы ее от них избавить! Лучше бы только худого не променять на худшее!

***Вообрази, какое счастье может еще быть для меня: я буду зависеть от милого, добродетельного человека, от того, кто доставит спокойствие всем нам. Я буду иметь его доверенность; посвятив всю жизнь мою ему, я буду иметь на нее право; бедная Саша моя перестанет иметь огорчения, перестанет страдать за меня и найдет во мне счастливого друга; мы будем жить в разных домах, но в одном городе. Воейков будет показывать мне уважение, как скоро потеряет право и возможность меня мучить!***

Право и возможность! А кто дал их этому низкому человеку?

***Теперь для того, чтобы избавить Сашу от огорчения и спасти, может быть, жизнь ее ребенку, я переношу всё с терпением; а мое снисхождение заставляет еще более его забываться*.**

Нет! ей дóлжно от них спастися! Я надеюсь, что всё это сделало большую перемену в сердце ее! Она может любить и *любить теперь* того человека, от которого ждет семейного покоя, свободы, уважения, доверенности! Всё это такие наслаждения, которых в семье своей она никогда не имела! Надежда иметь их должна произвести и привязанность!

***Я уверена, что Мойер согласился бы ехать в Муратово, оставить службу, родных и делать всё, что мне угодно*.**

Нет! этому быть невозможно! Ему нельзя этим всем пожертвовать! И им всем быть *вместе* нельзя! будут те же огорчения и раздоры, какие и теперь! К невозможности этого она должна быть наперед готова.

***Теперь, когда он не имеет никакой надежды, он так деликатен и так добр, что Воейков не может не понимать его благородства. Я бы желала показать тебе обхождение их обоих. Я уверена, что он позволил бы мне любить тебя как брата, так, как я теперь люблю тебя*.**

Милый ангел! И тут она думает обо мне! Ей нельзя не любить меня — и чем более она будет счастлива, тем более должна меня помнить! Лишь бы не так, как прежде! Лишь бы это *теперь* не было *прежним*! И дай Бог, чтобы я ошибался во всём! Но сами подумайте, мог ли я не ошибаться?

***Воейков требует, чтоб я дала ему клятву не выходить замуж никогда, если он не будет мне делать огорчений, но что при первой грубости он освобождает меня от нее. Я знаю, что старое будет по-старому, с тою разницею,***

***что он никогда не признается ни в одном огорчении, которое нам сделает, и будет обвинять нас беспрестанно; будет подсматривать, подслушивать, толковать всё по-своему. Жуковский, ты один можешь всё кончить! Не заставь меня раскаиваться, что я много на тебя надеялась. Вот чего бы я желала: напиши к Воейкову письмо ласковое и без всяких упреков, в котором уверь его, что его слава, репутация и имя в свете не могут терпеть от моего поведения, что никто обвинять его в моем замужестве не будет и что ты желаешь только моего счастья*.**

Писать к Воейкову я не буду11. Теперь письмо ничего не подействует. Пускай оно бы и убедило его. Но Мойер уже, вероятно, предуведомлен. Надобно приехать, самому всё видеть и поступить так, как велит Маша. Мойеру дóлжно сказать всё как есть12. Они13 этого знать не будут. Но он будет действовать с нужною осторожностью, без всякой поспешности, а время ему поможет. Воейков между тем будет иметь это в виду и сделается смирнее. Вероятно, что он сказал обо всём Петерсену14, — этот поступок прекрасный! Теперь всё в руках Мойера, и он, если решится, всё сделает с надлежащею осторожностью, так, что никому никакого насилия не будет сделано: они перестанут спешить и притеснять, а Маша будет иметь всю свободу! Провидение вселило эту мысль Воейкову! Он надеялся всё разрушить! напротив, этим только всё приведено будет в порядок, ибо всё будет теперь зависеть от человека благородного.

***Воейков хочет казаться уверенным, что мною жертвуют, но он слишком знает, что я думаю. Если тебе возможно из дружбы ко мне*,** так ли бы должна была писать ко мне Маша!

***то я буду тебе обязана спокойствием и счастьем. Прежде отъезда своего в Петербург Воейков говорил совершенно противное тому, что говорит теперь. Прежде он готов был согласиться знать меня счастливою и желал отложить только для того, чтобы загладить прошедшее. Теперь он боится только того, что об нем будут думать. Ему сказали, что он будет изверг, если эта свадьба сделается, и он говорит, что через его тело пойду в церковь. Два раза уже он хотел ехать к Мойеру, чтобы зарезать. Но оставим все эти комедии. Я уверена, что <будь> Мойер генерал, <будь> Мойер богат — и Воейков употребил бы всё, чтоб сделать эту свадьбу; il me persécuterait tout autant pour que je me marie, qu’il me tourmente maintenant pour ne pas le faire. Vous lui avez dit, que sa femme est une égoïste, depuis qu’il est revenu, il ne fait que le lui répéter — elle, qui est ange de patience et de vertu! Dieu! et c’est à cause de moi que tout ce que j’aime le plus souffre autant***[[229]](#footnote-229)**.**

***Но мне пора кончить; прошу тебя исполнить мою просьбу — от тебя зависит, чтобы <я> имела спокойствие в настоящем и чтобы я смотрела без страха на будущее. Прелестная душа Мойера порука за счастье. Если ты мне его желаешь, то письмо к Воейкову, такое, какого я прошу от тебя, без упреков, без угроз, а только уверения и доказательства в том, что он может желать мне счастья, не жертвуя своею репутацией, сделает то, что мы перестанем страдать. Ради Бога, не заставь меня раскаиваться в том,***

***что я тебя люблю как брата и надеюсь получить от тебя счастье*15*.***

**258.**

**Е. А. Протасовой**

*11 декабря 1815 г. Петербург*

11 декабря. 1815. СПб.

Хотя я и предсказывал себе Ваш ответ1, но всё тронул он меня, как нечто неожиданное: *надобно иметь сердце самое дурное и неблагод<арное*>, *чтобы его написать, глаза мои открылись, вижу всю твою дружбу; клеветы и ругательства, его наполняющие, раздирают мою душу.* Все эти выражения, которые я сам обещал себе найти в нем, были, однако, для меня новостью: всё слышать их ужасно от Вас, как ни будь к ним готов. Особенно в таких обстоятельствах, каковы теперь, когда надобно смотреть на одно внутреннее побуждение, а не наружность и слова. Итак, Вы видите только Вашего недруга, ругателя и клеветника в том человеке, в Вашем брате, который с Вами не соглашается, который

сказал Вам искренно свое мнение, противное Вашему. Я не стану опровергать этих жестоких слов. Дело не в одном оправдании. Тому, что было, не быть уже нельзя. Наше дело его поправить, а не заменить прошедшее дурное дурным настоящим и, может быть, еще худшим будущим. Для этого каждому нужно признаться перед собою в том зле, которое им сделано, воспользоваться своим

опытом и остальную половину жизни не сделать похожею на первую. Без этого признания ничто исправлено быть не может. Почитая себя правым, всё будешь действовать, как прежде, и следствием этого будет продолжение тех же несчастий. Начну с себя: привязавшись к одному и видя в одном свое счастье, я искал его вопреки Вам; надежда, что Ваше мнение будет со временем согласно с моим, завела меня далеко. Я не оправдываю себя в этом. Если бы всё это я мог предвидеть в начале, этого бы не было. Но время и обстоятельства довели неприметно до такой крайности, на которой я встретился с общим несчастьем. Я не виноват был ни в каком злом намерении, но виноват в неосторожности. Эта неосторожность, причина многих непроизвольных дурных поступков, расстроила душу Маши, мою, и всё привела в беспорядок. Внутреннее побуждение, известное Богу, было чисто; действия его были пагубны. К счастью, ничто не погибло навеки, всё еще может быть поправлено. Надобно было всё уступить необходимости — это и сделано. Мы расстались. С моей стороны всё кончено. Оставалось дать времени привести в порядок душевное расстройство, и, после всех этих волнений, сперва надлежало дождаться этого порядка, потом уже приступить к чему-нибудь новому! Вот все мои вины и оправдания. Теперь

об Вас. Вы должны признаться перед собою, что много участвовали в произведении, особенно в усилении моей привязанности к Маше, и ее ко мне — вот Ваша вина. Вы должны были отказать нам в нашем счастье — вот Ваше несчастье. Теперь что же мы должны делать, если мы друг друга любим, если жалеем друг о друге! Каждый с своей стороны должен поправить то, что сам испортил, и дать друг другу замену. Это нас оправдает друг перед другом, утешит в настоящем, успокоит насчет будущего и, наконец, даст хорошее будущее. С моей стороны надобно от всего отказаться — я отказался; надобно с Вами расстаться — я расстался, и не забудьте, что до сих пор я только для Вас жил, всё к Вам относя, и всё счастье только в Вашей семье видел — необходимость заставила смотреть на это иначе. Но я расстался с Вами, с тем чтобы эта разлука всё поправила, а себе поставил на должность всею своею жизнью способствовать к тому, чтобы Вы, будучи спокойны в семье своей, могли быть спокойны на мой счет. Но вспомните, что мы расстались недавно2, что время не могло еще прийти на помощь к тому, что велит должность; что всё это не могло быть исполнено вдруг. За это исполнение я мог ручаться и себе, и Вам, но только в таком случае, когда всё бы пошло тем порядком, как дóлжно, и это уже зависело

от Вас. С Вашей стороны что оставалось делать? дать тем, которые от Вас же несчастны, успокоиться; возвратить Маше расстроенную обстоятельствами, Вами и мною тишину души; мне то же самое: на это есть все способы; кончив это первое дело, приступить к новому, могущему дать ей же счастье, не насильствуя ни ее, ни себя3, и доверяясь Промыслу, а не предупреждая его виновными страхами, которые всё губят, а не исправляют. Вот что предписывали Вам Ваши обязанности к ней и ко мне, Ваша религия, благоразумие и весь Ваш несчастный опыт. Одним словом, сперва надобно было поправить прошедшее, потом уже начать думать о будущем. Чтобы Маша могла быть счастлива замужем, надобно, чтобы она могла открыть всё свое сердце мужу в ту минуту, в которую войдет в церковь. Спрашивается, скажете ли Мойеру теперь или после о том,

что было? Если теперь — он не должен играть ни собою, ни ею; если после — как поручиться за действие? Итак, прежде доведите Машу до того, чтобы могла сказать прежде своему мужу всё, и чтобы он не имел причины быть беспокойным насчет этой доверенности. Но в такое состояние приводит время, и свобода, и спокойствие, а не покорность. Привесть в это состояние Вам ее легко — Вы мать, имеете в ней полную доверенность, а более всего дайте ей полную свободу. Поверьте, что это вернейший способ. Я тысячу раз говорил о себе: доверенность и непринуждение вылечили бы сердце; принуждение его только раздражило. Вы не хотели и не могли этого сделать. Теперь это можно. Дело идет не обо мне, и опасаться нечего. Итак, дайте ее сердцу прийти в спокойствие; не пугайте ее насчет неизбежного будущего. Поверьте, что Вам в то время, когда Провидение решит ее счастье, можно будет устроить его без всякого страха, и Вы не будете ни в чем себя обвинять. Теперь же не остается Вам никакого оправдания ни перед собою, ни передо мною. Вот всё, что я писал. Где же *не дружба*, где *клеветы* и *ругательства*? Неужели я потому не друг, что с Вами не согласился? В чем *клевета* и *неблагодарность*? Неужели в том, что я Вас обвинял в многом насчет прошедшего? Я не упрекал, я только хотел, чтобы Вы, взглянув беспристрастно на это прошедшее, узнали, кто и что чему причиною, и всё поправили. Взгляд на него ужели только тому, кто ничего поправить уже не в силах. Избавьте себя

от этого взгляда. В этом отношении письмо мое не должно было Вас оскорбить. Моего же тут только то, чтобы сохранить для себя какое-нибудь спокойствие. Один только тон моего письма для Вас показался ругательством. Вы всё заменили, употребив это слово. Я не оправдываю своих выражений. Но вспомните, в каких обстоятельствах и после какой жизни написано письмо мое. Подумайте,

что после всех тяжелых огорчений, после всех усилий жить с Вами и для Вас, что после всех надежд я теперь остался один и сберег для себя одну только надежду на Машино спокойствие. Подумайте, что письмо мое писано после трех месяцев разлуки, что я еще недавно просил у Вас, как единственной мне награды,

чтобы Маша была свободна насчет выбора счастья, — что же вышло? Не дав ни минуты отдыха, Вы требуете, чтобы я согласился на ее замужество. Судите сами

себя — того ли надобно ожидать от дружбы и сожаления? Ваше требование — доказательство полного ко мне презрения. Как же мог я остаться к этому равнодушен. И, несмотря на то, что же в письме моем? На всё нежная мать должна согласиться; вот его смысл: исправьте сперва прошедшее, возвратите сперва покой Маше, — а на это способы — свобода и доверенность; дайте ей полную

свободу выбора, ибо жить ей, а не Вам; не ослепляйте Мойера неверною надеждой; употребите в пользу мой опыт; избавьте Машу от мысли о неизбежности, которая всё настоящее умертвит; словом, оставьте всё на произвол Провидения и будьте матерью! От этих условий не отстаю. Примите их. Прибавлю слово о себе: мысль о Машином счастье необходима. Без нее, без соединения с нею спокойствия духа, не могу ничего делать. Имея его — буду иметь всё возможное. В противном случае всё должно пропасть и пропадет непременно.

**259.**

**А. П. Киреевской (Елагиной) и А. П. Юшковой (Зонтаг)**

*<17 декабря 1815 г. Петербург>*

Странная вещь, отчего пишу я к вам редко — сам не умею изъяснить себе этого феномена! Не оттого ли, что есть на свете *почтовые дни*, в которые надобно писать непременно! В не почтовые дни не пишется оттого, что они не почтовые, а в почтовые иногда нельзя, иногда и не пишется! Целая кипа передо мною писем, и каких писем! Милых, дающих много утешения и заставляющих смотреть на будущее с веселым предчувствием! Как бы желал я, чтобы могло *само* писаться, завертываться в пакет, печататься и уходить в почтамт всё то, что думаешь и чувствуешь в ту минуту, когда получаешь такие письма! Но то-то и беда, что прочитаешь и отложишь ответ до почтового дня, а там, лишь только к столу, вдруг три или четыре надоедалы в двери — что с этим делать! О Петербург, проклятый Петербург, с своими мелкими, убийственными рассеяниями! Здесь, право, нельзя иметь души! Здешняя жизнь давит меня и душит! рад всё бросить и убежать к вам, чтобы приняться за доброе настоящее, которого здесь у меня нет и быть не может! Если бы себя разбирать и вспоминать всё то, что здесь со мною было, то я уверен, что я не найду ни одного чув-

ства, ни одной мысли, которые бы оставили какой-нибудь след в моем сердце. Нет никакого занятия! Сухое настоящее лишает способности чего-нибудь надеяться в будущем! А неприятное, не оживленное никакой привязанностью рассеяние самым тяжелым образом отвлекает от всякого воспоминания — оно не лечит, а только дает прием усыпительного опиума, производящего тяжелый сон, нарушаемый неясными и неприятными сновидениями. Если бы не издание моих стихов, которое требует моего присутствия, я всё бы покинул и полетел бы к вам за жизнью.

Обвитый розами скелет!1

Это можно сказать не об одной славе, но и о жизни, то есть о том, что называют жизнью в обыкновенном смысле, об этом беспрестанном движении,

об этих разговорах без интереса, об этих свиданиях без радости и разлуках без сожаления, об этом хаосе света — скелет! Скелет! И посмотреть на него вблизи убийственно даже для самого уединения! бóльшая часть мечтаний должна погибнуть! То, что делает иногда прелесть уединения, эта *даль*, населенная прекрасными творениями, исчезает — но тем лучше! всё сблизишь вкруг себя,

окружишь себя одним только своим, независимым ни от чего, и если останешься с *малым*, то по крайней мере с *верным*.

Так, друзья, это теперь если не мое *положение*, то по крайней мере моя философия, моя надежда. Здесь у меня нет *настоящего*, но возвратясь к вам, я буду иметь его. Настоящая минута — вот жизнь. Я говорю здесь не так, как Гораций, который велит ловить летящий миг и посвящать его наслаждению, потому что жизнь скоротечна и за собою ничего не оставит2. Нет! всякую настоящую минуту (если можно) прекрасному: делу, мысли, чувству. Но чтобы беспокойное

стремление к будущему, беспокойная надежда на будущее не тащила из этого тесного круга! Пусть будет нам товарищем только такое будущее, которое верно, то есть *нездешнее*, мыслить об нем как о добром друге, с которым увидишься непременно, но когда и где, неизвестно.

Всё это хорошие мысли — но только они для меня точно перелетные птицы, которые и гнезда согреть не успевают. Жду лучшего климата; тогда, надеюсь, они не улетят. Я теперь странствую в пустыне, в надежде на обетованную землю — но пламенный столп3 редко светит, и манна с неба не падает. Во мне беспрестанный отлив и прилив хорошего, с тою только разницей, что отлив продолжается долго, а прилив на минуту. Я замечаю в себе ужасную охладелость. Одно только ободряет меня: я приписываю ее не внутренней порче души, а всему наружному, что окружает меня; соединяясь со всем тем, что было прежде, это морозное, окружающее меня настоящее, приводит меня в совершенную бесчувственность; не будь его, надеюсь, что многое из старого возвратится, — я говорю *многое*; всего не хочу. В некоторые минуты, однако, дух Божий налетает на меня и как будто почувствуешь себя ближе к вершине горы, но только что отворишь рот, чтобы закричать: вот Кашемир!4 — и всё опять становится темно по-старому. По крайней мере, я редко позволяю себе грешить мыслями! Если чувство молчит, то по крайней мере мысль, холодным языком своим, повторяет по складам то, что иногда прекрасное чувство представляет в блестящей, очарованной картине. Иначе оно и быть не должно. И прекрасные чувства, как фонари. И между ними должны быть *промежутки*. Пускай же эти промежутки наполняет рассудок. Вот вам, между прочим, один яркий фонарь5. Карамзин потерял дочь6, и вот что пишет он к Тургеневу, очень

скоро после этого несчастья. Здесь говорит твердый ум, но ум доброго отца, оплакивающего дочь. «*Жить* есть не писать историю, не писать трагедию или комедию, а как можно лучше мыслить, чувствовать, действовать, любить добро, возвышаться душою к его источнику; всё другое, любезный мой приятель, есть шелуха, не исключая и моих восьми или девяти томов. Чем долее живем, *тем более объясняется для нас цель жизни и совершенство ее*: страсти должны не счастливить, а разрабатывать душу. Сухой, холодный, но умный Юм в минуту невольного живого чувства написал: douce paix de l’âme résignée aux ordres de la Providence![[230]](#footnote-230) Мало разницы между *мелочными* и так называе-

мыми важными *занятиями*: одно внутреннее побуждение и чувство важно. Делайте что и как можете: только любите добро; а что есть добро, спрашивайтесь у совести»7.

Эти строки возвышают душу и дают ей бóльшую твердость и ясность. Карамзин в минуту горести и самой тяжелой, в минуту сокрушения о дочери, говорит, что он понимает жизнь. Великий учитель несчастье! Не страсти, а несчастья разрабатывают душу! Внутреннее побуждение и чувство — вот тайна жизни! тайна, известная только двум: действующей душе и свидетелю ее, Богу! Вот общество, в котором жить дóлжно! здесь нет ни разлуки, ни измены, и как мало нужно постороннего, чтобы прибавить к услаждениям такого общества! Но как же трудно быть в нем беспрестанно! Уединение, милый круг, постоянный труд — вот самые верные хранители этого общества! Я согласен: быть в нем посреди рассеяний света, сохранить свежую душу в этой убийственной атмосфере — увеличит наше достоинство! но на свой счет себя не дóлжно обманывать! У кого есть силы, тот давай себе волю и пробивайся сквозь трудные препятствия: трудности только прибавят к силе! Кто же не имеет сил, кто знает на опыте, что не имеет, тот убегай такой борьбы, в которой можешь остаться побежденным и потерять последнее! К той же цели, но *другой* дорогой! Я знаю,

что мне рассеянная жизнь — убийство; чтобы не потерять всего, надобно мне уединение и труд (уединение, не одиночество), там уже ничто не вырвет из *святого общества*! Удастся ли иметь это, не знаю! Но вот всё, что мне надобно.

И это *всё* там у вас! Молите Бога, чтобы я поскорее к вам вырвался.

Между тем вы прельщаете меня прекрасными описаниями ваших *обетованных* *земель.*

Милая Катошка с своим пузом! Напрасно она думает, что я редко помню об ней! Правда, она говорит: *после мужа моего я никого столько не люблю и не почитаю, как его*8, то есть меня. Это на ее лаконическом языке, совсем не знакомом с риторическими фигурами, стоит целой диссертации о дружбе, и я верю

ей с благодарностью! Подавайте мне на руки ее милого ребенка! Встретим вместе это новое творение на Божьем свете и поживем вместе, рука в руку — тихое, ясное, *незатейливое настоящее,* украшенное не мечтами, а добрыми мыслями и, если можно, добрыми делами (notez[[231]](#footnote-231), что всякое хорошее сочинение, в котором есть возвышающая сердце мысль, я причисляю к добрым делам, — иначе

что мне делать в вашем кругу?) будет наше! Погодите, друзья, приеду к вам, и мы непременно устроим как можно лучше жизнь свою!

В ответ Вам, милая Авдотья, на Ваш запрос о том, как получить дворянство9, скажу следующее: Азбукин, как владимирский кавалер10, есть уже дворянин, ему нужно только представить в герольдию11 свой рескрипт на крест и получить диплом и герб. Я об этом справлялся, а не отвечал так долго на этот пункт потому только, что сам не получал ответа. Прилагаю форму той просьбы, которую дóлжно подать в герольдию. При этой просьбе надобно будет приложить 150 р. на учрежденные издержки. Сверх того, диплом, парча, которой

он украшается, печать и еще какой-то серебряный ковчег будут стоить около 800 рублей. Прикажите этому господину лентяю расчесться и, если имеет деньги в готовности, присылать их сюда по просьбе. Всё тотчас будет сделано. Выдумайте сами герб, если хотите, он будет нарисован по Вашей мысли и утвержден. Думаю, что при просьбе дóлжно представить, если нет рескрипта12, аттестат и послужной список в оригинале: у себя же оставить на всякий случай копию, засвидетельствованную присутственным местом. Если хотите за это приняться, то не откладывайте, чтобы всё сделать, пока я в Петербурге. Впро-

чем, всё можно будет поручить Кавелину, он аккуратнее меня.

Вам, милая Анета, доложу, что я получил деньги за подписку и благодарю

Вас за милые обо мне хлопоты13. Нельзя мне похвастать, чтобы подписка была хороша; если и все 600 экземпляров разойдутся, то мне за всеми расходами едва ли останется 5000 рублей.

Между тем я здесь живу и вперед трачу неполученные деньги. Но об этом заботиться нечего. Только бы переселиться к Вам — начну работать и откладывать. Расходы же мои будут незатейливые. Несколько лет уединенной, порядочной, занятой жизни приведут всё в устройство. Теперь, кажется, нельзя думать,

чтобы в образе жизни моей могла произойти какая-нибудь перемена. Работа и святое одно и то же — это кажется легко, из этих границ ни шагу. Экземпляры, думаю, лучше всего доставить на Ваше имя. Не знаю, однако, примет ли по-

чтамт, увидим.

Об Сергееве14 я справлялся, мне сказали, что никак невозможно ему перешагнуть через чин. Если бы я имел возможность, разумеется, что я постарался бы это сделать, но этой возможности у меня нет. Если не Вы, то по крайней мере в Белеве думают, что я здесь что-нибудь значу! Мой круг знакомства весьма

ограниченный; а с могущими людьми я совсем не имею связей.

Вы пишете о деле Карла Яковлевича15; то, чего он желал, исполнено: конкурс переведен в Белев. Теперь уже совсем другое дело. Надобно, чтобы пенька, принадлежавшая умершему, выдана была поверенным от конкурса. Я посылал за тем человеком, который здесь ходит по их делам: он сказывал, что вся остановка только оттого, что еще не получена от опекунов малолетних просьба о выдаче задерживаемой пеньки; как скоро получится просьба и что по этой просьбе сделано будет, он обещал меня уведомить. А présent, revenons á vous, mon cher et très cher mouton, Eudoxie[[232]](#footnote-232).

Я пожурил Вас немного насчет Ваших писем в Дерпт, и Вы признались в вине своей и дали обет воздерживать себя от таких писем! Этот обет надобно исполнить непременно! надобно помнить расстояние16. Не давайте над собою воли минутам и не воображайте, что можно переменять характеры письмами. Маше Вы верите, а от других можно ли надеяться искренности! Не давайте даже воли своей живости — Вы знаете, что всё живое там причтено к романам! Между тем нельзя опять с Вами не побраниться! Сперва надобно Вам рассказать, что здесь в Петербурге был Воейков17 по собственным делам своим, а еще более потому, что он хотел объясниться с Кавелиным и со мною. По многим

отношениям этот приезд благодетелен. Я обо многом говорил с ним искренно, и *он во многом признался, во многом себя обвинил*: он поехал отсюда, давши святое обещание переменить свой образ обхождения и стоить своею жизнью друзей своих! Чтобы он мог это исполнить, надобно непременно всё старое забыть и иметь к нему доверенность насчет будущего! Эта доверенность даст силы для хорошего; и ему *всё* тем легче будет исполнить, что меня с ними никогда не будет вместе: это было до сих пор главной причиной всех подозрений и раздоров. Итак, требую от Вас такого же забвения прошедшему и такой же доверенности насчет будущего: эта помощь необходима Воейкову! чтобы заслужить уважение, ему надобно на него надеяться. Противное только будет раздражать и всё портить. А побраниться с Вами, или, лучше, объясниться, хочу о следующем: Воейков сказывал мне, что Вы предлагали им 3000 за того человека18, которого они отпустили или от себя прогнали19.

**260.**

**М. А. Протасовой**

*25 декабря <1815 г. Петербург>*

25 декабря

Милая Маша, в ответ на твое письмо я мог бы сказать одно: перечитай мои три письма к маменьке (не знаю, отдал ли ей Воейков последнее, с ним из Петербурга посланное)1. В этих письмах, несмотря на многие выражения, вырванные огорчением, ты найдешь мои *чувства* и *сердце*. На что привязываться к словам? Надобно видеть побуждение. А мое побуждение и в этих письмах ясно — одно твое счастье; и я желаю его без всяких собственных видов — ты в этом должна быть уверена.

Ты пишешь: *если бы ты и не видал прежде моего образа жизни и не мог судить о настоящем по прежнему, то, зная ее любовь ко мне, мог бы быть уверен,*

*что она не станет требовать моего несчастья.* Я помню *прежний образ твоей жизни*; знаю, что поправить его зависело и зависит единственно от маменьки2. В этом образе жизни главное несчастье состояло в том, что Воейков слишком властен был над тобою, что он мог свободно делать тебе всякого рода огорчения, что ты всё должна была терпеть и что никогда почти не было слова, сказанного в твою защиту. Такой образ жизни ужасен. Но почему ж Воейков имеет такую власть? Зачем может он иметь ее? Разве маменька, которой всё покорно в семье, не имеет способов его останавливать! Разве твое спокойствие не в ее руках! Разве не может она твердым и ясным языком предписывать Воейкову его должность! Главное мучение этого состояния было то, что ты должна была чувствовать, как ты слаба, как ты оставлена теми, кто твои истинные защитники и от кого ты имела право ожидать защиты. Я сам это видел и сам часто обвинял маменьку. Если она это знает, если она теперь видит поступки Воейкова (а это верно, по крайней мере теперь, ибо она читала письмо твое), то почему же этого не поправить. Воейков сам никогда не будет знать своей должности: деликатности и благородства от него ждать нельзя — но напоминать ему об этой должности можно; быть с ним твердою и искреннею можно; это будет его обуздывать — и вот что может сделать маменька. Знай ты, что она во всём и всегда твое прибежище, — что тогда тебе до Воейкова! Что его грубости, когда при этих грубостях будешь чувствовать, что сердце матери твоей с твоей стороны! В прежнем твоем положении было еще самое тяжелое то, что мы были *вместе*. Ты не могла равнодушно видеть меня в том ужасном одиночестве *посреди твоей семьи*, в каком я был всегда. Та же зависимость от Воейкова, какую ты

чувствовала, была и *моею* участью; тебя огорчало невнимание ко мне; огорчало то предпочтение, которое маменька во всём давала счастливому Воейкову передо мною, у которого *не было ничего*; это и самые грубости его с тобою делало для тебя более несносными; ты знала настоящий образ моих чувств и видела,

что мне не отдавали никакой справедливости, — всё это усиливало грусть твою в таком жестоком положении! Надобно было молчать и терпеть! Теперь, милый друг, с моим отсутствием всё бы должно перемениться — с моим отсутствием половина твоих огорчений сама собою исчезнет! Надлежало тебя избавить от *другой половины* — кто мог это сделать лучше маменьки. И неужели на это одно средство — замужество, разлука с твоею семьею? В ее сердце настоящие средства, легкие и не сопряженные ни с каким пожертвованием! Скажи ж мне, зная всё это, могу ли не обвинять ее? Именно судя *о настоящем по прошедшему*, твое замужество с Мойером *теперь* должно было показаться мне несчастьем! Требовать такого замужества *теперь*, и *теперь* на него соглашаться — значило бы в глазах моих соглашаться на твое несчастье! Вспомни, давно ли мы расстались?3 Могло ли мне показаться естественным, чтобы в такое короткое время тебе *самой*, без всякого принуждения, могла прийти такая мысль? Не должен ли я был подумать, что ты собою жертвуешь необходимости? Не должен ли я был ужаснуться такого ненужного, ужасного пожертвования на целую жизнь? И мог ли я не обвинять маменьки, будучи уверен (и тогда, и теперь), что от нее совершенно зависит тебя избавить от такой необходимости, зная, что ее обязанность не соглашаться на такое пожертвование, зная, что спокойствие твое в твоей семье, и все возможные утешения, и твоя независимость от Воейкова совершенно в ее власти? Что же иное мог я подумать, как только то, что она требует этого пожертвования? При этом не должен ли я был подумать и о себе? Я просил у нее одной милости: спокойствия на твой счет! И это единственное возможное благо у меня отымают? Не должно ли было это показаться совершенным ко мне презрением, а вспомнив всю прошедшую мою жизнь в вашей семье, где я должен был говорить себе, что я ничего для нее не значу, не мог ли я увидеть и в этом случае того же невнимания ко мне, того же забвения о моей участи. Удивительно ли, что мои выражения были резки и выражали оскорбление сердца, которому нельзя было не быть разорванным. На всё это получил я два слова: *клеветник* и *ругатель*!4

*Les circonstances m’ont forcés a me decider de lui parler sur ce sujet d’une manière positive; je voyais la necessité pour elle et pour nous deux d’avoir un ami, un protecteur*[[233]](#footnote-233)*.* Какие могут быть эти обстоятельства?5 Всё то, что было прежде, таково, что оно должно и может быть поправлено, не прибегая к средству отчаянному! Что же могло случиться нового? Я думал, напротив, что обстоятельства стали для всех и *легче*, и *лучше* потому, что мы уже были не *вместе*. Ты всегда говорила мне, что грубости Воейкова тяжелы тебе только потому, что я от него завишу; они могли быть еще более тяжелы тебе и оттого, что всегда маменька была на стороне его, — теперь ни я от него не завишу, ни маменька не может быть на стороне его, ибо она теперь на его счет с тобою искренна (что заключаю из твоего же письма) — какие же другие обстоятельства? Предполагая, что мне известно настоящее расположение твоего сердца, мог ли я не подумать, что твое согласие на замужество противно твоему сердцу! Мог ли я еще не подумать и того, что твоего замужества требуют, дабы *избавить тебя от меня*? Такая мысль не должна ли была ужаснуть меня? Скажи ж, что мне останется в жизни, и можно ли иметь какую-нибудь к ней привязанность, когда потеряю мысль о твоем спокойствии? А здесь не должен ли я непременно ее потерять? Для чего же ты ни слова не говоришь мне об этих обстоятельствах? Можешь ли ты меня *бояться*? — *un protecteur pour elle et pour toi*[[234]](#footnote-234). Я здесь напомню о письме моем к маменьке, написанном в лучшую минуту жизни, в такую, когда всё вдруг упало с сердца, когда счастье быть твоим и ее покровителем представилось мне столь же ясным, как день, и всё заменило! Чего я тогда требовал? быть твоим *защитником*

*от Воейкова*! Ты это знала, а она могла это легко понять! Что если бы она тогда же дала волю сердцу, отбросила от него все подозрения, сравняла меня с этим низким, неблагодарным человеком и дала бы мне, не на словах, а на деле, в своей

семье одинакие с ним права — скольких бы огорчений не было! и как бы теперь были мы с нею согласны во всём, что до тебя, нашего общего с нею блага, касается!6 Нет! она заперла для меня свое сердце, и я остался в прежнем горестном положении — в таком положении ничего сдержать невозможно. Я требовал свободы с тобою — она боялась, что я по *слабости*, а может быть, и *с намерением* — употреблю эту свободу во зло! Она забыла, что ее настоящая, а не наружная доверенность будет моею твердостью! Призываю тебя самое в свидетели: был ли я тогда искренен! хотел ли исполнить, что обещал? Но мог ли? Ты сама знаешь, что между тобою и мною осталось то же принуждение, которое всё для меня сделало невозможным! В своем последнем письме я сказал ей: *без*

*ее подозрений мы ужились бы с Воейковым*7. Это не ругательство и не клевета. Вот как это понимать дóлжно, и ты сама будь моим судьею: я видел обращение с тобою Воейкова, видел, что я только тогда могу быть твоим покровителем, когда буду братом твоей матери, когда всё, что нас с нею рознило, исчезнет! Но чтобы это могло быть, нужно было, чтобы она с своей стороны перестала со мною таиться на его счет, чтобы она не унижала меня, показывая мне во всём и всякую минуту явное к нему предпочтение и давая чувствовать, что я, хотя и брат, но всё же перед ним ничего не значу. Если бы она мне говорила на его

счет откровенно, это осталось бы между нами тайною, и мы бы во всём поступали согласно. К тому же надобно было, чтобы она и тебя вверила мне, как брату! Право, тогда я этого совершенно стоил, и ты знаешь это более всех! Но всё вышло напротив. Воейков, твой притеснитель, был твой товарищ; а я, готовый всем тебе пожертвовать, был тебе чужой; ему в награду за все эти притеснения — материнская любовь, а мне, за мои тяжелые горести, — одно холодное подозрение! Какое сердце это выдержит! и я, и ты равно были несчастны. Скажи сама, могли ли мы когда-нибудь оставаться вместе спокойно и не боясь возбудить подозрения? не от маменьки ли зависело сделать, чтобы мы этого подозрения не боялись? А это не раздражало ли сердца? И мог ли я быть в ладу

с Воейковым? Я видел в нем только твоего притеснителя, а себя видел его невольником! И всё оттого, что маменька меня боялась и совершенно мне не верила! Напомню здесь два *маленьких* случая (из тысячи, которых всех помнить не можно). Ты принуждена была, в угождение Воейкову, уехать к Мантейф<елям>; ты поехала туда с грустью, маменька осталась с грустью, один Воейков был

счастлив и торжествовал8. Я и это всё видел! я видел, как весело ему было сесть в коляску с тобою, чтобы тебя *проводить*! Что у меня было в сердце в эту минуту, о том говорить нечего. Я стоял на крыльце с маменькою, которая должна была чувствовать, что я это понимаю, и как нарочно удвоила в эту минуту ко мне холодность! Воейков возвратился и увел жену гулять. Я нарочно остался с нею один, желая попробовать, не выйдет ли чего-нибудь ко мне из ее сердца! смотрел ей в глаза, ждал, что она со мною поделится, мы сидели полчаса — ни слова! Она заговорила о газетах! Хотя я и был приучен к таким случаям, но я не могу описать, как и тут у меня сердце сжалось, как я почувствовал в эту минуту,

сколько она далека от меня! Я увидел, что ничто, до тебя касающееся, не будет никогда между нами общим; что она не хочет этим со мною делиться, что я в отношении к тебе так же чужд в сердце ее, как и в жизни, что ей не нужно ни мне показать участие, ни от меня принять его в таких огорчениях, которые для нас обоих одни и те же! Она смотрела за ними вслед, думала только об одном Воейкове, а я в эту минуту, со всею моею грустью, был забыт, так же забыт, как и во все другие. Еще случай: помнишь ли, когда мы ездили причащать Катюшку?9 Для тебя изготовили коляску, для меня — дрожки. Это мне показалось досадно!

Неужели и в такую минуту не позволят быть вместе, подумал я, и решился сесть с тобою, только для того, чтобы еще раз испытать, не обманываюсь ли я, думая, что меня во всяком случае подозревают. Что же? мы возвратились — и маменька была целый день холодна с тобою. Такие мелочи встречались ежеминутно — а из этих мелочей составлена была жизнь! Что же было доброго в такой жизни? Но такое обхождение со мною было ли удобно, чтобы утвердить мою связь с Воейковым? И клеветник ли я, говоря, что ее подозрения всё разрушили, даже и этому согласию помешали! Имея полную дружбу ее, я мог бы во всяком случае говорить ему прямо, и, видя на опыте, а не на одних словах, что я твой родной, твой брат и ее брат10, я был бы и ему родной и поступал бы как родной! Но чувствуя ежеминутно, как я был перед ним унижен, я мог только ненавидеть в нем твоего притеснителя, перед которым еще должен был молчать. Нет! Маша, я сам знаю, что тебе необходимо иметь покровителя! Если Воейков не *переменится*, если он всегда *властен* будет тебя утеснять, если при этих *утеснениях* ничто не будет тебе *подпорою*, как оставаться тебе в семье своей, как не искать покровителя! Во всяком случае — и тогда, когда я у маменьки просил согласия на наше счастье, и тогда, когда требовал у нее имени и *прав* ее брата, — это было единственною моею целью. И теперь это моя прекрасная мечта: видеть тебя спокойною в *своей* семье, уважаемою, как ты того стоишь, имеющею все семейные радости, счастливою любовью благородного человека. Всё это ты должна иметь, и потому-то я так испугался, получив письмо твое, так *скоро* после нашей разлуки написанное!11 Мог ли я вообразить, чтобы тебе было естественно *так скоро* этого пожелать, так *скоро* увериться, что в этом твое счастье! Мог ли я не вообразить, что тебя принуждают, — требования ли маменьки и обстоятельства — всё равно! всё принуждение! А как скоро принуждение, то какое счастье! Скажи ж, мог ли я и могу ли теперь не противоречить! Ты писала в первом письме: *et j’attend tout de temps*[[235]](#footnote-235)12; теперь пишешь: *я жду много от времени, но совсем не в том смысле, в каком ты принял*13. Маша,

скажи мне искренно, угадал ли я то, что под этими словами ты разумеешь? Ты ждешь всего от времени не *для себя*, а *для меня*? Ради Бога, будь на этот счет искренна. Для чего ты унижаешь меня пустыми страхами? Я могу оправдать тебя в собственных глазах твоих! Прежде могла ты иметь ту же привязанность ко мне, какую я имел к тебе! Но твое положение было совершенно противное моему! Ты была всегда в противоречии с твоею настоящею обязанностью; ты слышала беспрестанно, что такая привязанность не позволена! Это могло переменить не только твой образ мыслей, но и самое твое чувство! Но ты видела, что мое чувство было одинаково и не переменялось! Может быть, ты боялась показать мне собственную твою перемену! Ты щадила меня и хотела избавить меня от нового несчастья! Милая, ты ошибалась! Могла ли ты в этом случае бояться меня! Разве тысячу раз опыт тебе не доказывал, что одного твоего слова довольно, чтобы переменить всю мою душу? Сколько раз, в самых несчастных для меня обстоятельствах, одно твое слово давало мне твердость, готовность на всё, и даже в самом несчастье представляло что-то прекрасное! А теперь, когда дело идет о судьбе твоей жизни, разве я не буду согласен с тобою во всём, что будет нужно для твоего спокойствия и счастья? Если моя привязанность к тебе казалась тебе *заблуждением*, если для тебя же самой этого *заблуждения* не было, для чего не говорила ты мне ясно и решительно. Вот еще несчастье, которого причиною было то принуждение, в каком я и ты жили в одном доме. Никто бы так убедительно, как ты, не мог мне доказать моей обязанности и так совершенно переменить моего сердца! Такое *открытие* не прибавило бы к моему несчастью, оно только бы указало мне мою должность! Может быть, в первые минуты сердце бы взволновалось, но оно бы скоро, скоро с тобою согласилось! Я в этом уверен! уверен по тому чувству, какое нахожу *теперь* в себе! Будь же на этот счет искренна и не оставляй ничего на догадку! Теперь спокойствие твоей души всего для меня дороже, и увериться, что оно ничем не расстроено, было бы для меня счастьем! Это бы успокоило меня насчет твоего будущего. Неужели ты могла думать, что я *для себя* захочу сохранить в тебе такое чувство, которое делало бы твое несчастье! Неужели ты думала, что я захочу его в тебе *произвесть и питать,* — нет! я только думал, что оно в тебе *было*! Оно и было, но прежде; оно переменилось; а ты только боялась дать мне почувствовать эту перемену! Одним словом, ты сомневалась во мне! Но простая правда, сказанная *твоим* языком, была бы правилом моих поступков! Никому, кроме самой тебя, в этом случае я не мог верить! и никто бы так скоро, так легко и совершенно не переменил меня, как ты же, — но это несчастное принуждение нас делало не только чуждыми друг другу, но даже мешало знать и то, что в нас самих происходило. От скольких бы несчастий избавила нас свобода и полная доверенность! Вот письменное доказательство этого. Написавши мое письмо к маменьке в Дерпте14, я записал для самого себя, в своей белой книге, следующее (чтобы это повторить как урок, и я бы этот урок скоро выучил наизусть).

«12-го апреля. Прежде я имел целью быть счастливым *вместе* с Машею. *Всё* *в жизни* *к прекрасному средство*! и это *вместе* было бы для меня средством к прекрасному*,* которое состояло бы не в одном наслаждении собственною жизнью, но в исполнении с лучшим товарищем всех обязанностей, в добре, в пользе другим. От этого дóлжно отказаться. Совсем другое должно быть теперь для меня *средством к прекрасному*. Оно состоит в пожертвовании самим собою, в совершенном забвении собственного, и всё для нее. Для этого решительно

*отказаться от невозможного*, всё употребить для сбережения семейного покоя, твердо покориться своей судьбе и не слабеть в исполнении трудного. Я назвался братом не для того, чтобы иметь одно это имя и под этим именем иметь непозволенные желания и чувства! Нет! для того, чтобы она была мною счастлива,

чтобы она принадлежала мне, как дочь моей сестры, чтобы ее судьба и от меня зависела! Спокойствие насчет ее судьбы будет моею наградою. С именем брата должна разрушиться всякая связь между нами; надобно сказать себе и приучить себя думать, что она не должна любить меня *как прежде*, но любить как родного и заботиться о собственном, отдельном счастье, не сливая его с моим; не только надобно это *сказать себе*, но и исполнить на деле, *ее* *самое* приучить к этой мысли, из *ее* счастья вырвать всё собственное, довольствоваться одним *ее* счастьем; всё, что было прежде *общего,* уничтожить, не желать, чтобы она имела со мною одинакое чувство, заставить ее к себе *перемениться* и утешать себя *одним* только одобрением сердца, что всё сделано, всё принесено на жертву тому,

что всего ему дороже. Одним словом, мне дóлжно быть истинным братом ее матери и поступать так, как бы должен поступать ее брат. В чем счастье Маши? В спокойствии и свободе сердца, в согласии с матерью, в мнении, что и я счастлив, наконец, и в том, чтобы иметь с *другим* всё то, что она имела бы со мною! Мое счастье теперь должно состоять в том, чтобы всё это ей дать! В стремлении к этому есть то, что для меня осталось *прекрасного* в жизни! Нет нужды, что вопреки себе — самое страдание есть *средство к прекрасному*! Та минута, в которую я решился всем пожертвовать для этой прекрасной цели, была восхитительна. Но это чувство восхищения часто пропадает, и я прихожу в уныние! Нет нужды! Не дóлжно терять бодрости! Пусть нет ни энтузиазма, ни удовольствия: что чувство *родит в одну минуту*, то твердость должна исполнять *в течение жизни*. Где ж было достоинство добродетели, когда бы она была и легка и приятна. Надобно смотреть не на удовольствие, а на достоинство внутреннее. Всякое исполнение должности отдельной есть дорога по утесам; кончи ее — небо над головою! Мое *небо ее счастье*! Persévérance![[236]](#footnote-236) Итак, унывать не дóлжно! *Мои* надежды брошены — заменить их *ее* надеждами; всё, чего желаю себе, передать

ей, а самому жить настоящею минутою, настоящим добром и проч.»15.

Это написал я про себя; так думал я про себя, в своей маленькой горнице, на чердаке, и это были минуты твердости — но сходя вниз, я как будто переходил в новый свет, всё нападало на меня, чтобы убить во мне эту твердость; наконец, эта дорога по утесам для *одного* меня, без всякого пособия, показалась

слишком трудною; вот что стоит в той же книге, написанное 22 апреля.

«Мне не дóлжно оставаться в Дерпте — это будет моею и Машиною погибелью. Подале от них — в этом слове и свобода, и добродетель! Делая свое пожертвование, я думал, что сделаюсь точно братом Маши; быть с нею искренним, свободно делиться с нею чувством и мыслью было для меня вознаграждением за всё. Я ко всему бы привык, разумеется, не вдруг; но чувствую, что это было бы для меня возможно. Теперь же вижу, что невозможно ничто. Уехав

отсюда, я по крайней мере сохраню право на чувства свои, которых здесь иметь мне не дóлжно. Что значит для них мое обещание: *помочь выдать Машу замуж* — не иное что, как обещание быть немым этого свидетелем. Я обещал это *искренно*: это значило для меня получить полное право располагать ее судьбою с ее согласия и наравне с ее матерью. Право дать ей с *другим* то же счастье, какого бы я желал ей с *собою*! Эта мысль меня радовала! Но всё напротив! Я тут буду только рабом своего обещания! Мои советы и противоречия будут перетолкованы! С именем брата я думал получить одинакие права с Воейковым — напротив: я теперь только в большей от него зависимости! При таком унизительном принуждении и рабстве можно ли отвечать за себя! Если не сдержишь

слова — тебя же обвинят, хотя сами всему будут причиною! и проч.»16.

Это писано было почти за год — не то же ли, что говорю теперь? Я здесь это выписываю для маменьки! Пускай она видит, что я не имел никаких дурных намерений и что в поступках моих нет противоречия! Ничего не было бы для меня выше, как исполнить данное слово, исполнить его *для общего сча-*

*стья*; но у меня отняли силы. В моем положении я не мог сладить *сам с собою*; наконец потерял и желание бороться, ибо не видел никакого успеха; я приезжал в последний раз только на крестины17, но совсем не с прежним расположением, и не имел в мыслях оставаться! Помоги мне маменька, поверь она мне, как дóлжно, — всё бы было исполнено! Но она не поняла меня, и не захотела понять и вообразила, что человек меняется *в одну минуту*! Это неестественно — для этого нужна твердость! а в моем положении твердость зависела много от ее помощи! Но из всего этого ты видишь, что *за меня* тебе не дóлжно надеяться *всего от времени*! Для меня довольно одного твоего счастья!18 Мое же положение не то, какое твое! Мне не дóлжно никому отдавать *ни руки*, *ни сердца*. Следовательно, если что и останется в сердце, оно не разрушит ни моего, ни чужого счастья. Для тебя же напротив. Если в сердце твоем сохранилось старое чувство, то как отваживаться с таким чувством отдавать руку другому. Предполагая, что это чувство в тебе таково же теперь, какое могло быть прежде, поставив самого себя на твое место, не должен ли я был испугаться предложения вашего? и единственно за тебя, а не за себя? Я не думал говорить тебе,

что ты обманываешь Мойера19, а я только говорил, что *теперь* ты не можешь всего сказать ему, что *теперь* не можешь быть с ним счастлива, следовательно и он с тобою! Я испугался поспешности, просил отсрочки, как необходимого для твоего и (прибавлю) для моего спокойствия; требовал, чтобы вы друг к другу привыкли, — словом, не противоречил твоему замужству, а только желал, чтобы всё было устроено для счастья верного, не по необходимости, но всё обдумав с надлежащим хладнокровием.

Ты пишешь: *ни маменька, ни я не думали не только спешить, но даже и таких близких сроков, как вы с Воейковым назначаете, не полагали*20*. Теперь же скажу тебе, что я не могу и на это согласиться, — всё зависит от обстоятельств; легко может статься, что мы гораздо больше отложим это, но может быть и прежде — одним словом, я не могу и не хочу обещать ничего и имею на это важные причины. Одна я.* Замечу мимоходом: выражение: *вы с Воейковым* — мне больно разорвало сердце. Неужели и ты ставишь меня на одну с ним доску. Какие бы он ни имел намерения, но мое намерение *в требовании срока* всё имеет основанием твое только счастье и мое собственное на этот счет спокойствие. Этого снисхождения я имел право требовать от тебя и от маменьки. Неужели моя жизнь ни в какой расчет ее не входит. Я не знаю настоящих намерений Воейкова, и кто узнает его сердце. Мое намерение, *явное и скрытное,* то, чтобы всё сделано было без всякой гибельной поспешности. Дело идет о судьбе целой жизни. Au risque d’ennuier par cent mille répétitions de la même chose[[237]](#footnote-237), повторю здесь всё то, что сказано было мною в трех письмах к маменьке: я не противлюсь замужству — противлюсь одной поспешности; мои условия: дать время тебе успокоиться; оставить тебе полную свободу так, чтобы ты не считала этого замужства неизбежным, чтобы всё могла переменить, по твоему произволу, а для этого не говорить ни слова Мойеру, узнать его короче, с ним более свыкнуться; между тем обдумать все посторонние обстоятельства, столь важные в жизни! Я говорил: если тебя из твоей семьи выгонят одни неприятности от Воейкова, то я считаю гораздо безопаснее избавить тебя от этих неприятностей (что всё во власти маменьки), нежели спешить таким замужством, на которое не может быть, как я полагал, еще согласно твое сердце! Этого требует твое счастье, счастье твоего мужа, обязанность твоей матери, религия, ты сама и (прибавлю опять) сожаление ко мне. *Не*

*давай надежды* не значило на моем языке: *не кокетствуй с Мойером*21 (Маша, можешь ли в этом хотеть передо мною оправдываться!). Это значило: оставь

себе полную свободу, не обязывай ни себя, ни его ничем — с такою свободою легко будет узнать *в год* того человека, с которым дóлжно *делить целую жизнь*. Скажи ж мне, милый друг, где тут противоречие? Что другое сказал бы тебе твой отец? Неужели можешь подумать, что я всё это говорил для того только, чтобы выиграть время для себя? Неужели у меня с Воейковым какиенибудь тайные условия? Подумать, что тебя *принуждают*, я мог, потому что для меня казалось неестественным, чтобы ты *сама* так скоро могла решиться. И с этою мыслью написал первое письмо к маменьке. После вот что говорил мне Воейков: маменька непременно *требует* от тебя этого замужства; ты внутренно его не желаешь (как мог и я этого не думать!), а показываешь, что его желаешь, дабы пожертвовать собою для общего счастья (не знаю, как общее счастье может быть основано на твоем пожертвовании) и между прочим для того, чтобы я мог опять жить в вашей семье22 (как эта мысль могла прийти тебе в голову, право, не постигаю!). В доказательство того, что ты не хочешь этого в

сердце своем, он приводил два примера: первое, он просил маменьку дать отсрочку — она не соглашалась; однажды он сидел с нею один; ты вошла к ним и спросила: *не просит ли он у вас сроку?* *дайте ему год, два, три, как* можно *более!* (Это не доказывает ли, что ты сама боишься того, чего от тебя требуют.) В другой раз он сказал тебе о твоем замужстве (выражение не может быть выдумано, оно точно пахнет Воейковым), ты вся переменилась в лице так, что он испугался. Он уверял меня, что у маменьки положено было всё решить тотчас и кончить в несколько месяцев; что она начала было уже думать о приготовлении приданого; что он насилу, и то спорами и угрозами с нею расстаться, вымолил у нее отсрочки на год, и много тому подобного. Всё это слишком похоже на правду. И что ж, если всё это правда? А могу ли слишком в этом сомневаться? Чтобы не найти этого по крайней мере правдоподобным, надобно,

чтобы я потерял и память, и чувство! Всё прошедшее не слишком ли всё это подтверждает? И как всё это согласить с тем, что ты пишешь: *ни я, ни маменька не полагали таких коротких сроков*, и потом: *теперь не могу ничего обещать*! Если вы сами согласны со мною в отсрочке (следовательно, и во всех других условиях), то в чем же мое противоречие. Если же *ничего не хотите обещать*, то на что же требуете моего мнения! *Ничего не хочу обещать* значит, что у вас решено всё кончить теперь, а мне же велите сказать мое мнение, положив наперед с ним не соглашаться. Что ж значит здесь мое мнение! Ты говоришь: *я имею на это важные причины* и *я одна*. Признаюсь, я теперь этих причин не понимаю, и мне надобно знать их, чтобы с ними теперь согласиться! Но, думая

о прошедшем, ставя себя на твое место, зная или думая знать настоящий образ твоих чувств, наконец, слыша, что говорит Воейков, не должен ли я был ужаснуться поспешности и не имел ли я права подумать, что ты поступаешь не из доброй воли — и что же я сделал? Просил (для верности твоего счастья, для собственного спокойствия на остаток жизни), чтобы тебе дали время и тебя не принуждали, чтобы всё устроили с надлежащею осторожностью, с надлежащим к нам обоим снисхождением, — и в ответ на всё это я получил: *клеветник* и *ругатель*! Итак, мне на всё надобно было согласиться безусловно!

Ты пишешь: *Воейков в письме своем обещает мне спокойную жизнь; говорит, что я иду замуж, чтобы бежать от него, — он говорит неискренно! Никого*

*так мало его вспыльчивость не мучила, как меня! Но нашему горю пособить нечем! Я знаю, что мне теперь осталось одно: расстаться с Сашей. Не понимаю, Ж<уковский>, как можешь ты так менять образ видеть предметы. Не ты ли советовал мне выйти замуж. Я иду замуж не для того, чтобы бежать от кого, а точно для того, что люблю Мойера. Я не могу страдать за всех и видеть себя всему причиною. Вспомни свадьбу Сашину. Не я ли ее сделала?* Всё это приводит меня в совершенное недоумение; и я никак не имею средства из него выйти23. Под этим таится что-то такое, чего я себе никак вообразить не умею! *Нашему горю помочь нечем! осталось одно: расстаться с Сашею!* Скажи мне, что это значит! И в то же время ты же говоришь, что *идешь замуж по привязанности к Мойеру, а не для того только, чтобы бежать от Воейкова*! Как согласить такие противоречия! Милый друг, я советовал тебе выйти замуж — это правда! Но этот совет мой вырван из меня был минутою огорчения!24 Для меня было несносно видеть твою беззащитность перед Воейковым! Но почему же ты должна быть перед ним беззащитна? Разве способы защищать тебя не все во власти маменьки? Разве она всегда не может быть твоим прибежищем и не властна переменить образа обхождения Воейкова? Вспомни и то, что ты сама говорила мне: вспыльчивость Воейкова тебе тягостна потому только, что тут *я*;

что тебе несносно видеть, в каком я перед ним унижении; что это одно делало его тебе несносным; что розно со мною ты не будешь и замечать его грубостей; что он не может лично иметь никакого на тебя влияния; что от него ты не хочешь *ждать ничего*; что тебе только нужно спокойствие и свобода, и что ты их будешь иметь, как скоро не будет с вами меня! но что замужство тебе всего

страшнее! Теперь меня с вами нет; главная причина самых чувствительных неудовольствий для тебя не существует! Что же *новое* могло принудить тебя к такому решительному поступку? И не должна ли ты мне этого объяснить? Теперь я полагаю тебя в совершенной независимости от Воейкова, да и он сам не видит ли теперь ясно, что ему дóлжно переменить свои поступки, что одним только этим он сохранит свою репутацию, своих друзей, свой покой семейный — словом, всё!25 Не дóлжно ли поддержать в нем этого намерения? Неужели нет способа всего поправить, не прибегая к отчаянному средству? — я в совершенном недоумении! Ты называешь себя, *одну* *себя*, *причиною всех огорчений*! Почему же это? Ты причина всего, потому что Воейков грубиян и не имеет никакой деликатности! Как это понять! *Вспомни Сашину свадьбу! не я ли ее сделала!* Маша, надобно вообразить, что я сумасшедший, чтобы мне это сказать! Ты сделала свадьбу Саши! И мне еще велишь это вспомнить!26 Если это твои огорчения, то подобных вымышленных огорчений ты иметь можешь тысячу! Стоит только уверить себя во всём невероятном! Нет! Сашину свадьбу сделала не ты! Если ты *надеялась* тогда на Воейкова, то свадьбу Сашину не для этих *надежд* сделала!27 Ты на это не имела влияния, и никто не имел! Я помню ответ мой маменьке, когда она спросила: соглашаться ли на требование Воейкова! Я сказал: *согласитесь, но оставьте себе способ отказать ему! Живши с ним несколько времени на короткой ноге, в одном доме, лучше его узнаете!*28И не позже как на *другой* день начали писать рекомендательные письма к родным. Это всё решило. Вспомни, что маменька имела от Авдотьи Николаевны такое письмо об нем, в котором всё то подтверждалось, что нам известно было только по слухам29. И это письмо имела она до свадьбы. Вспомни еще один случай. Не ты ли сказала маменьке за несколько дней до свадьбы то, что говорила Саша о Воейкове, я это помню потому, что <…>30.

*Воейков требует, чтобы я дала ему клятву не выходить замуж никогда, если он не будет делать мне огорчений. Теперь он боится только того, что об нем будут думать? Ему сказали, что он будет изверг, если эта свадьба сделается. Vous avez dit à W*<*oejcov*> *que sa femme est une égoïste — depuis qu’il est revenu, il ne fait que le lui répéter*[[238]](#footnote-238)31. Из всего этого заключаю, что по приезде Воейкова из Петербурга был у вас опять разговор об этой свадьбе, что вы опять хотели ее *решить тотчас*, что он опять начал спорить, взбесился и по обыкновению своему наговорил много лишнего и сумасбродного. Приезд его в Петербург показался мне благодеянием. Я думал, что своим письмом к нему насчет его поступков я только его раздражил32 и что это отплатится вам, и укорял себя в этом письме. Я думал, что и письмо Кавелина произведет такое же действие33 и что никакой пользы от сказанной правды не будет. Вы, кажется мне, все приняли эти письма в дурную сторону. Вы приняли их *за упреки в том, что не сделалось по-моему*, и *за требование, чтобы Воейков всё переделал в мою пользу*. Нет! в этом случае главною нашею целью было то, чтобы Воейкову открыть глаза на собственный его счет, испугать его разрывом со всеми его друзьями и этим страхом принудить одуматься. Того, что писал к нему Кавелин, никогда не услышит он в семье своей — ты молчишь и страдаешь; Саша также; маменька никогда ничего не скажет или всем довольна! Такая метода с Воейковым никуда не годится — надобно, чтобы он слышал правду и чтобы он в то же время видел,

что на него надеются. Вот с которой стороны приезд его в Петербург может быть для него весьма полезен. Он уже видел, что его поведение рассорило было его со всеми друзьями. Он приехал сюда и слышал от нас самые резкие правды! И поверь, Маша (ты можешь и должна мне поверить), в тех упреках, которые я делал ему, не было ничего, что бы относилось ко мне! Я обвинял его только за всех вас и требовал от него только вашего счастья, единственно это полагал условием общей дружбы и уважения к нему! Он признался во многом дурном (до некоторых признаний я сам не хотел коснуться). Вот что он сказал мне и Кавелину, обливаясь слезами: *Маша сказала мне однажды: я наказана справедливо! я ожидала всего от тебя, а не от Бога!*34 Итак, он знает, что все твои страдания

от него! И я ему отвечал на это, что этой одной фразы довольно, чтобы быть правилом всех его поступков; помнив это, он может переделать собственный характер! Он сказал еще: многое дурное сделано им потому только, что всё *ему спускают и всё сносят с лишним снисхождением*!Это и правда! Он ни от кого не слышит сильной правды! У вас всегдашнее правило всё скрывать! Не только скрывать, но всё для других и для себя представлять в каком-то лучшем виде: свидетель этому ваш журнал! Как же может прийти Воейкову в голову себя исправить! Маменька или с ним поссорится, или совершенно простит его! и то и другое равно вредно! в минуту ссоры никакая правда не подействует: бешен-

ство не способно ни понять ее, ни слышать! в спокойную минуту одни только ласки — а тут-то бы и говорить правду, ясным и убедительным языком! Тогда бы она была и понятна, и действительна! По крайней мере, так говорена ему она была здесь, мною и Кавелиным, — и он слушал всё без вспыльчивости, во всём признался и всё обещал поправить. Но прошу вас не ошибаться насчет этого

слова *всё поправить*. На нашем языке оно значило: дать вам всем спокойствие, беречь вас, переменить характер — одним словом, не нарушать вашего счастья, а быть вместе с вами столько счастливым, сколько можно и дóлжно. Обо *мне* тут и слова не было. Я говорил ему насчет его неделикатности и советовал ему учиться ей у тебя, Маша; советовал быть с тобою искренним; просил, чтобы для

совершенной безопасности не было между вами ничего скрытного, чтобы и ко мне не писал ничего такого, чего бы не мог сказать всем, что теперь скрывать нечего, что вы должны и можете быть друг с другом совершенно откровенны,

что в этом вся тайна вашего семейного счастья! На всё это он согласился! Я сказал ему еще, что во всё это собственное мое ничто не входит, что я решительно навсегда с вами расстался и что прошу всего этого для себя в том только смысле,

что без этого мне ни спокойствия, ни привязанности к жизни иметь невозможно! Я просил его сказать тебе особенно, что тебе не дóлжно думать меня возвратить в семью свою, жертвуя собою (как он мне сказывал и как ты сама писала); что ты *обязана* дать мне спокойствие на твой счет; что мысль о твоем несчастье отравит всю мою жизнь, отымет у меня всякую бодрость и всякое желание что-нибудь сделать; я просил его сказать маменьке, что это единственное, что она может для меня сделать, и что я этого прошу от ее сожаления, — и средства на это самые легкие, и всё *во власти ее одной*: доверенность!

Ни я, ни Кавелин не говорили ему, что *он будет изверг, если эта свадьба сделается*! Он точно будет изверг, если ты принуждена будешь выйти замуж только для того, чтобы избавить себя от его притеснений! Я просил его, чтобы он препятствовал *принуждению* и с своей стороны не доводил до такой жестокой крайности грубыми своими поступками; я сказал, что *теперь* считаю замужство твое несчастьем, ибо оно точно вынужденное обстоятельствами (хотя я и не знаю этих обстоятельств), что *теперь* на него согласиться не могу, но что и в мысль мне не придет ему препятствовать, если мои условия, сделанные для твоего же спокойствия, будут исполнены, если *буду сам уверен*, что это замужство сделает твое счастье. (Маша, чтобы *поверить этому теперь*, надобно потерять в себе и память, и чувство.) Я говорил ему насчет Мойера, что люблю его сам и уважаю его характер, что ты, вышед за него без принуждения, можешь быть счастлива и что я соглашусь на твое замужство с ним, как скоро этого принуждения не будет, как скоро всё сделано будет временем и как скоро он

с своей стороны своими поступками ничего не будет портить! Так, повторяю, он точно изверг, если ты выйдешь замуж для того только, чтобы спастись от него! Он может быть твоим братом, твоим другом, а он меняет это блаженство на власть тебя приводить в отчаяние! Как за это всем его не презирать, не ненавидеть — и поверь, что он будет ненавидим на словах и на деле! Он твердит Саше, что она эгоист и в этом ссылается на меня! Правда, я назвал ее эгоистом, но по его же словам! Он живо описал мне, как она и маменька нападают на тебя,

чтобы привести к такому поступку, который еще не согласен с твоим сердцем!35 Как не назовешь их после этого эгоистами? Как желать для себя пожертвования и еще какого пожертвования? Целой жизни! Особливо Саше как можно этого требовать! Она знает, что ты чувствовала, — как же так решительно располагать за тебя твоею судьбою! Где участие и сожаление!

Воейкова пребывание здесь весьма было много меня успокоило насчет вашего семейного согласия. Он признался во всём — перед друзьями, он помирился здесь с собою, он поехал отсюда с тем, чтобы начать совсем другой образ жизни.

Такому человеку, как он, необходимо знать, что на него надеются, дабы иметь силу что-нибудь исполнить; по одной *любви к добру* он ничего не сделает. Я знаю по собственному опыту, как нужно пособие и как человек слаб *один с собою*. Во-

ейков увидел здесь необходимость всё поправить, он дал слово это сделать. Но на одно слово и особенно на *его слово* полагаться нельзя — нужны подпоры. Он должен найти их в вас, в вашей к нему доверенности, в вашей на него надежде. Без этих подпор он погиб. Он поехал отсюда, ободренный тою надеждою, какую ему показали его друзья, — но нельзя же его почитать совсем преобразованным! — надобно, чтобы это чувство не угасло в нем; надобно пробудить и воспитать в нем чувство добра, убитое навыком к развратной жизни. Вдруг такая перемена не делается. В нем есть доброе — я заметил его в некоторые минуты! Но он привык в одно время и к свободе поступков, и к скрытности (потому что эти поступки были дурны). Чтобы отучить его от этого притворства, надобно быть с ним откровенным, не оскорбляя его самолюбия и показывая на него надежду. Он от меня слышал самые жестокие вещи — и признавался. Ему нужна доверенность к самому себе. Это падший человек, которого надобно поднять,

а не лишать силы подняться. Почему, Маша, не можешь ты сказать ему самому всего того, что говоришь *мне об нем*, почему маменька не может всего этого

сказать ему — это было бы повторением всего, что было ему сказано мною. Разумеется, дóлжно употребить язык простой, не укоризны, а правду, сказанную

от сердца. Устоит ли он против такого языка. И говоря это часто, без всякой скрытности, ты и маменька, не приучите ли вы его и к правде, и к должности! А вы что делаете? Скрываетесь и приводите его в затруднительное положение!

Поверьте, что в таком положении владеть собою трудно! Если горе в самом себе скрывать тяжело, то вину еще тяжеле! Кто облегчает мое признание, тот не только мне дает отраду, но вместе и помогает исправиться. А вы беспрестанно друг от друга таитесь! Если он имеет мысль, что он причиною твоих несчастий,

то воспользуйтесь этою мыслью; если она останется у него в душе, то больше еще раздражит ее, и это может иметь дурное влияние на судьбу Саши! В этом случае всё зависит от маменьки! Воейков точно в ее власти, и она много может переменить его! Он поехал отсюда в самом прекрасном расположении — довольный если не собою, то по крайней мере надеждою на себя и надеждою, что будущее всё в его власти и может сделаться лучшим. Обрадованный этим расположением, я вообразил, что он и вас обрадует, что вы им воспользуетесь. Мне казалось *всё в порядке*; я вообразил, что при таком порядке тебе возможно будет без всякой поспешности устроить судьбу свою и решиться на замужство не по необходимости, а свободно — это успокоило меня насчет твоего будущего. Собственного моего тут ничего не было. Я даже и от писем ваших был готов отказаться — лишь бы только знать, что мои условия приняты и что всё пойдет естественным своим ходом.

Что же я должен заключить из письма твоего? На что решиться? Чего ты от меня требуешь? Чему я должен верить и что думать? Ты говоришь: *напиши к В<оейкову> письмо ласковое и без всяких упреков*36*; уверь его, что его слава, репутация и имя в свете не могут терпеть от моего поведения и что ты только желаешь моего счастья*. Я из этого ничего ясно не понимаю. Воейков читал мое последнее письмо, писанное с ним к маменьке37, и мог из него видеть, что я не противлюсь твоему замужству, а прошу только не быть поспешными; он знает мое мнение о Мойере, знает, что я почитаю его, что соглашусь на всё, как скоро всё будет сделано не по принуждению! Я не могу сказать ему, что друзья не будут его почитать извергом, когда ты от него *принуждена* будешь выйти замуж, — этому нельзя ему поверить! И мне нельзя этого сказать. Я просил тебя всё устроить так, чтобы я мог верить твоему счастью (все мои условия стоят ясно во всех моих письмах). Что ж в этой просьбе невозможного? И что невозможного в моих условиях? Если ты точно идешь замуж *не по принуждению*, то отчего нельзя условий моих исполнить! Они легкие, и все для твоего же счастья! Неужели в этих условиях видно какое-нибудь тайное намерение! Если другие могут видеть его, то можешь ли ты, зная меня совершенно? Одним словом, я в совершенном недоумении! Куда ни обратись, всё нет никакого спасения. Я не могу решиться сказать тебе: *выдь замуж*! Этому противоречит мое собственное убеждение, ибо никак не могу думать, чтобы это замужство было для тебя *теперь* счастьем, ибо вижу, что тебя решает на это какая-то непонятная для меня необходимость. Я решить тебя на это не могу! Не могу так смело расположить твоею судьбою на всю жизнь! Пока не уверюсь, что в этом твое счастье, по тех пор не могу дать своего согласия, и ты не можешь в этом случае его от меня требовать. Но я так же не имею духу сказать тебе: *останься в своей семье*; вижу, что ты в ней несчастна, хотя уверен, что ты легко могла быть в ней и счастлива, и спокойна! Это могли бы сделать, и сделать это было бы общим счастьем — почему не могут и не хотят — это знает один Бог! Он тебя защитит так же, как и судить будет тех, которые только губят, имея всю возможность делать счастье! Если бы выбирать, я бы выбрал для тебя *остаться в семье своей*, но я не могу переменить сердца и души. Могу сделать одно: сказать тебе, что ты *совер-*

*шенно свободна сделать всё для самой себя, что найдешь теперь лучшим*. Знаю,

что это не даст мне спокойствия и, может быть, будет причиною совершенного несчастья и твоего, и моего, и такого несчастья, которого уже поправить не-

чем, — но что же я могу сделать?

Чтобы выйти из этого несносного недоумения, одно средство: с тобою увидеться, узнать настоящий образ твоих мыслей от тебя самой. Но возможно ли это? Ты пишешь, что я дурно сделал, что не приехал сам!38 Маша, разве ты забыла всю прежнюю жизнь мою в вашем доме! Разве ты забыла, что в последний месяц я всё знал о Мойере39 от Воейкова и ничего не слыхал об нем от маменьки! Ты говоришь, что мне дóлжно быть благодарным ей за то чувство, которое заставило ее мне обо всём сказать первому!40 Почему же этого чувства не было тогда! Ты видела мое обхождение с Мойером! Я, право, более почувствовал к нему дружбы с той минуты, когда всё узнал, и ни с кем не было у меня такого

чувства при прощании, как с ним! Я любил его за ту привязанность, благородную и нежную, какую он имел к тебе! Маменька и на этот счет была так же со мною неискренна, как и во всём. Что же я за брат! Это имя мне никаких прав не дало над ее сердцем! Поверь, милый друг, что в *эту минуту* я мог бы быть ее истинным братом! Что может быть для меня выше того, как быть учредителем вместе с тобою твоего счастья, как заступить место твоего отца! Заочно нельзя ничего решить и ни на что решиться! Но как приехать? Я столько раз был на этот счет обманут, столько раз был отброшен с холодностью, что теперь, в такую важную минуту жизни, на это отважиться не посмею. Приехать для того, чтобы меня боялись; говорили мне *брат*, а в сердце почитали бы меня *тем человеком,*

*который описан в письме к Павлу Ивановичу*!41 этого не стерпишь ни с каким терпением! Что же будет пользы в моем приезде! Я не поеду затем, чтобы непременно сказать *да*; но затем, чтобы узнать *твои* мысли, узнать, что делается в *твоем сердце*! И я чувствую, что мой приезд так же был нужен для меня, как и для тебя! Но чтобы мой приезд мог быть на что-нибудь нам полезен, надобно,

чтобы я мог быть с тобою совершенно свободен, всякую минуту, мог бы говорить без свидетелей, — одним словом, мог бы свободно *всё устроить вместе с тобою*! Как меня ласково ни прими маменька, всё в минуту почувствую, какое истинное расположение в ее сердце, — это от меня скрыться не может! Тотчас почувствую, чего от меня требуют: *одного ли безусловного согласия или истинно братского пособия.* Быть ей братом, помощником в том, чтобы дать тебе покой и счастье, — на это я способен всегда, и ты в этом не сомневаешься! Если тебе нужно, чтобы я приехал, то надобно, чтобы маменька решилась поступать со мною как сестра и чтобы ты решилась сказать мне *всё* как оно есть, — поверь, что скрыть правды невозможно! Надобно, чтобы она решилась мне вверить тебя без всякого опасения, решилась перестать думать, что я имею намерения тайные, решилась бы уважать и мое мнение, а не требовать от меня одного покорного

согласия, решилась бы наконец и мое собственное согласие на счет поставить, — при таком расположении нам легко будет во всём согласиться! Я сказал бы всё, как думаю, мы определили бы всё вместе для лучшего — я бы требовал только

одного, чтобы ничто не было решено при мне, чтобы это осталось между нами тайною! Не знаю, могу ли еще *видеть*; но *желать* и быть счастливым возможностью твоего счастья — это верно! На что вам и требовать, чтобы я *видел*; довольно того, если буду знать; что всё к лучшему! Мысли об этом и внутреннего убеждения для меня довольно! Итак, Маша, если тебе хочется, чтобы я приехал, напиши — я тотчас буду, но ты знаешь условия! Чтобы я мог говорить с тобою, и с одной тобою, без всякого принуждения! И чтобы ты сказала мне настоящую правду! Милый друг, ее скрыть ты можешь — но ее следствия будут несчастны! а ты сама знаешь, что эти следствия *непременно* для нас *обоих* будут несчастны.

**261.**

**А. П. Киреевской (Елагиной)**

*<30 декабря 1815 г. Петербург>*

Начну письмо свое хорошим: *поздравляю Вас с новым годом*! Может быть, как и надеюсь, Вы встретите его весело и будете в этот день помнить обо мне и желать мне счастья! Я сказал бы, *чего мне пожелать*; но Вы с этим не согласитесь; а другого ничего желать не осталось! Пожелать самого спокойного, веселого, решительного, безопасного — чего же? Назовите сами! Мой новый год не несет мне *ничего* и хорошо, когда бы только ничего, но он несет с собою такое будущее, которое мне противно, — я рад бы ему сказать: остановись и пройди мимо меня! Но это понапрасну! Чтобы дать Вам настоящее понятие об этом новом годе, посылаю Вам целую кипу писем — они объяснят Вам всё, что со мною делается. Я получил (1 №) 26 ноября, и вслед за этим письмом приехал Воейков. Я отвечал на это письмо сперва Маше — прилагаю здесь этот ответ (№ 2)1; потом подумал, что всё, говоренное насчет Е<катерины> А<фанасьевны>, дóлжно сказать ей самой, и написал вместо одного письма два — одно Маше, в котором всё то сказал, что ей от меня прилично слышать, не упоминая о Е<катерине> Аф<анасьевне>, и в письме к Е<катерине> А<фанасьевне> повторил то же, что было в первом моем

ответе Маше2, и еще много прибавил; в промежутке получил от Е<катерины> А<фанасьевны> еще письмо (№ 3), на которое также отвечал3 и повторил почти то же самое, что сказано было в первом ответе, — на эти два письма получил от нее коротенький ответ (№ 4). Вы увидите, каков тон ее, из самого письма. И на это я отвечал ей и ответ свой списал для себя (№ 5)4. Наконец, получил письмо от Маши, которое для Вас списываю (№ 6). Это последнее письмо привело меня в ужасное положение, в ужасную нерешимость. Я отвечал на него; ответ свой переписываю для Вас (№ 7)5. Между тем получил письмо из Дерпта от одного

общего нашего приятеля Петерсона (№ 9)6, и в этом письме стоит: «Mir hättest du dein Innerstes aufschließen können. Heilig wäre mir dein Geheimnis gewesen und

mir die Kentniss dessеlben für dich, für еuch nützlich. Ich wirke und handle auch jetzt. Sie soll Ruhe haben. Moyer geht nach Revel. Alles soll sich geben[[239]](#footnote-239)7. В это же время получил и еще письмо (от Воейкова)8, в котором он, поздравляя меня с новым годом, восхищается тем спокойствием, которое установилось после многих бурь и волнений, уверяет, что все теперь счастливы и что всё зависит от его поведения! Объяснений на всё это писать нечего — всё увидите из самых приложенных писем. Ради Бога, судите меня беспристрастно! Сказал ли я в своем ответе Е<катерине> А<фанасьевне> что-нибудь такое, в чем заметен эгоизм и несправедливость. После всего, что было, зная настоящее расположение Маши, мог ли я не подумать, что ее *принуждают*! а подумав это, мог ли выражаться иначе? И чего я требовал? Того, что согласно с общим спокойствием, чего должно бы было *требовать сердце матери*! Машино последнее письмо привело меня в совершенное недоумение — оно писано ею: в нем чувствительно, что ее состояние ей в тягость, что для нее необходимо выйти из этого состояния! Что могло у них случиться, не знаю; но видно, что, с одной стороны, употребляют тяжелые убеждения *слез и жалоб*, а с другой — притесняют ее с *грубостью и бесчелове-*

*чием*! Это письмо, вместо того чтобы оправдать Е<катерину> Афан<асьевну>, есть самое ужасное и разительное ее обвинение! Маша требует от меня *спокойствия, спасения жизни*, и в чем же это состоит? в том, чтобы уйти из семьи своей и найти себе покровителя! Но от кого же она в семье своей зависит, как не от матери? и Е<катерина> А<фанасьевна> читала ее письмо! и заблуждение ее так велико, что она это письмо считает своим оправданием! Я не послал им своего ответа (№ 7)! Я решился увидеться с Машей и требовать, чтобы мне она позволила к себе приехать с тем, чтобы я мог говорить с нею одною: перепискою нельзя объяснить ничего; она должна сама со мною объясниться! Если из слов

ее увижу то, что мне наиболее хочется, что ее сердце может быть согласно с тем,

чего от нее требуют эти притеснители, то как не согласиться на то, чтобы она от них избавилась и с благородным, достойным ее человеком нашла спокойствие,

свободу, уважение, жизнь семейную! Всё это дать ей было бы счастьем. Первое чувство мое при прочтении письма от Петерсона был *страх*. Я не замужеству ее противился, а противился поспешности. Если Мойер узнает обо всём, то он, как благородный человек, сочтет за должность всё кончить и удалиться — и Маша останется во власти Воейкова без всякой защиты, принужденная беспрестанно слушать укоризны и жалобы. Всё могло бы идти у них прекрасно — но кто их переменит? Избавить ее от этого ада есть должность! Если сердце ее этому не противится, если в самом деле правда то, что она в последнем письме пишет насчет своей привязанности к Мойеру, то как не помочь ей всё устроить так, как ей нужно. Я написал было ответ к Петерсону (№ 10)9. Но раздумал его посылать. То же самое можно сказать ему при свидании; наперед надобно узнать, *что* ему сказано, *кто* сказал, *что* он сделал, и более всего надобно узнать, *что* чувствует сама Маша. Если мне дадут говорить с нею свободно, то я легко открою настоящее ее расположение и поступлю так, как ей надобно. Если же этой свободы не дадут, то мне ничего не останется делать; по крайне мере, это будет новым доказательством, что она писала ко мне и на всё решилась *по принуждению*. Ничего так не желаю, как найти в ней то чувство ко мне, какого теперь желать надобно и которого я никак еще предполагать не мог! Но я судил по себе и по прошедшему! Обстоятельства ее могли и должны были переменить ее! Если это так, то счастье семейное для нее возможно, и главное сделано будет: то есть она избавлена будет от поспешности. Мойер, предупрежденный для своего и ее счастья, станет медлить и поступит как благородный человек. Время всё согласит и устроит! Она будет иметь свою семью, будет иметь тихое, свободное счастье, достойное прекрасного ее сердца! Настоящее ее положение ужасно. Если выйти из него посредством замужества с Мойером не будет для нее новым несчастьем, и еще бóльшим, то как на это не решиться.

Пишу обо всём этом к Вам для того, чтобы всё объяснить для самого себя и иметь Вас свидетелями *своих* поступков. Судите меня — поступаю ли здесь для каких-нибудь собственных выгод? Мне от них не надобно ничего. И от самой Маши требую только одного: *ее счастья*, не примешивая к нему ничего собственного. Чтобы всё объяснить более, *повторяю, здесь всё в порядке, для Вас и для себя*. Судя по всему прошедшему, я считаю, что возможное счастливое положение для Маши состояло в том, чтобы (по крайней мере, теперь) остаться спокойною, свободною и утешенною в семье своей. Это могли и должны были ей дать. Средства на это самые легкие; в исполнении этого не только общая должность, но и общее их счастье. Е<катерина> Аф<анасьевна> — властитель в своем семействе; всё от нее зависит, и сам Воейков, несмотря на его грубости. (Как может Воейков делать при ней несчастье Маши! Этого я не могу понять! И если это возможно — то кого обвинять!) Об этом спокойствии Маши я просил ее! Но

скажите, нужно ли об этом просить мать! По первому письму Маши я должен был и не мог не ужаснуться того предложения, которое мне делали. Помня прошедшее, я не мог поверить, чтобы замужество и с самым достойным человеком, каков Мойер, было для нее счастьем *теперь*, но я не противился ее замужеству, а просил только, чтобы они отложили! Не согласно ли такое условие с ее же счастьем? То, что говорил мне Воейков, еще более убедило меня, что ее *принуждают*; что еще более заставило меня настоять в моих требованиях. Но другое письмо Маши привело меня в недоумение: из него, если ей верить, вижу, что она желает сама этого замужества; но это же письмо убеждает меня и в том, что она решается на него по какому-то непонятному для меня принуждению! Как тут на что-нибудь решиться заочно? Мне невозможно желать, чтобы она *шла* *замуж,* — я не могу представить себе, чтобы она теперь согласна была с этим в сердце, но как же возможно желать, чтобы она *осталась в своей семье*, — какая ее судьба? Притеснения от Воейкова, и никакой от них защиты! Она требует от меня письма к Воейкову, но, как решиться написать такое письмо? Между тем к чему оно и послужит *теперь*? Моейр уже предупрежден — кем и как уведомлен обо всём Петерсен, я не знаю; но, вероятно, он уже всё сказал Мойеру! Итак, Мойер, вероятно, удалится! Но можно ли желать удалить его? Неужели Маше оставаться в семье своей? Она нашла было человека, которому может поверить свою судьбу, и этот человек ее оставит! Если я и напишу к Воейкову, то всё уж это будет поздно! Он перестанет противиться; но Мойер сам уже ничего искать не

станет! (Воейков во всём не соблюдает умеренности; я просил его, чтобы Машу не принуждали, чтобы он своими поступками не доводил их до такой крайно-

сти; а он требует, чтобы она *никогда* не выходила замуж.) Итак, чтобы всё это поправить, надобно самому быть там, надобно видеть настоящее расположение Машина сердца. Надобно, чтобы мне дали свободу с нею говорить! Из этого свободного разговора я узнаю, что решило ее так скоро, точно ли она надеется на свое счастье, точно ли она спокойна в сердце своем, точно ли ее не принуждают и точно ли для нее необходимо выйти из того положения, в каком она теперь! Если замечу, что она действует не произвольно, то мне не останется ничего делать! Мойер уже предупрежден, и *не мною*, и всё само собою устроится; а Воейков

(если только Е<катерина> А<фанасьевна> сама этого захочет) будет лучше: все средства в ее руках. Если же, напротив, Маша уверит меня, что счастье ее точно в этом замужестве, то это *должно быть непременно*; Мойер, предупрежденный, не оставит надежды, но сам, для собственного и ее счастья, будет медлить, даст времени всё привести в порядок, и всё устроится так, как дóлжно, без всякого гибельного насилия; Воейков же, зная, что это *должно случиться*, будет в узде! Маша не будет ничем обязана; ее спокойствие и будущее будут сбережены, а для меня останется по крайней мере уверенность, что ею не пожертвовали. Таковы мои намерения, милые друзья! Я открываю их вам для того, чтобы вы, зная всё, могли мне отдать справедливость. Бог видит, что я желаю здесь только добра! Желания мои чисты и бескорыстны! За искренность их я отвечаю — неужели всё это не должно иметь успеха? В ободрение себе здесь могу сказать только одно: *желай твердо и искренно доброго! остальное предоставь Провидению.* И остальное не зависит от меня! Пускай Провидение всё устроит так, как ему угодно… Я жду от них ответа! Если велят приехать, то поеду! поеду с этим твердым и искренним желанием доброго! Благослови Бог исполнение.

Я предвижу, что прием от Е<катерины> А<фанасьевны> будет мне холоден. Но что делать? Лишь бы я имел свободу говорить с Машею! Я еду не для себя и не для того, чтобы с ними остаться, чтобы возвратить себе дружбу, чтобы от них что-нибудь получить. Я еду для того, чтобы успокоить разорванное сердце Маши. Дружбы же от Е<катерины> А<фанасьевны> я и желать не могу потому, что не могу теперь на нее отвечать. Пускай всё это кончится и к счастью — всё для нее нет оправдания! Машино письмо в моих руках! Оно есть ужасное обвинение матери! Как могла Маша быть доведена до такого состояния, чтобы почитать необходимостью расстаться со своею семьею? За ее счастье буду я благодарен ее мужу — а не ее матери!

Святое условие: не показывать этих писем никому совершенно и возвратить мне всё немедленно. Оставьте у себя один список с Машина письма. Про-

чие все <пришлите> ко мне и скорее. Ради Бога, исполните всё это в точности.

Маша зовет Вас в Дерпт, милая Авд<отья> Петр<овна>10. Что я могу к этому прибавить! Сердце будет на месте, когда буду знать Вас с нею.

Оставьте у себя и мой ответ Петерсену — я хочу, чтобы это всё было у Вас в руках. Впрочем, можете и *всё* у себя оставить, только не говорить никому, ни о чем. Когда будете в Дерпте, то чтобы и Маша ничего не видала. В письмах своих в Дерпт не упоминайте ни о чем. Это тайна, которую я Вам вверяю. Сохранение ее будет знак истинной дружбы.

Прошу читать по номерам. Сперва это письмо, а там и прочие по порядку.

Этого требует историческая точность.

# 1816

**262.**

**П. А. Вяземскому**

*<10 января 1816 г. Петербург>\**

Поздравляю тебя, мой любезный друг, с твоею радостью! Будь счастлив твоим сыном1 и, глядя на него, мирись с Провидением. Я не отвечал тебе на твое письмо, при котором доставил ты мне свой липецкий пряник2, — право, было не до того, и теперь еще менее могу быть критиком. Письмо забавное и мысль

счастливая. Только не знаю, можно ли будет напечатать. Отвезу его нынче к Уварову. А сам послезавтра еду на несколько дней в Дерпт3; верно, возвращусь

сюда к твоему приезду. На твою предику4 отвечать мне не хочется — на душе самая черная ночь, и мне не до философии.

Экземпляры первого тома все отпечатаны. Я пришлю их тебе в листах; ты вели их переплести в папку; за переплет заплати из *подписной суммы*. Формат тебе известен; на всякий случай пришлю образец. Но как же поступишь ты с своими подписчиками, если уедешь из Москвы? Я думаю надписать на билетах, чтобы адресовались в Университетскую типографию. Я об этом предуведомлю Каченовского, или лучше об этом условимся при свидании. Напиши, что

об этом думаешь? Прости, брат. Не сердись на краткость письма. И перо, и рука, и душа у меня теперь никуда не годятся.

**263.**

**П. А. Вяземскому**

*<11 января 1816 г. Петербург>*

Посылаю тебе список твоих стихов, находившихся у Тургенева. Я не сделал ни замечаний, ни поправок. Оставляю всё это до моего прибытия в Москву и жительства в Остафьеве. Или в конце зимы, или в начале весны я (и, вероятно, Северин, Дашков и Тургенев) будем в Москве. Задержи Батюшкова или присылай его сюда1. Здесь вместе с ним доконали бы мы «Сочинения» Муравьева, которые уже у меня все выбраны, переписаны; осталось еще некоторые пере-

смотреть, потом и за печать приниматься2. На всё это Батюшков мог бы быть мне весьма полезен. Когда увидишь его, спроси, получил ли он мое письмо? Я написал к нему большое, которое взялась доставить Е. Ф. Муравьева.

Жду не дождусь возможности отсюда вырваться. Не воображай меня слишком рассеянным. Здесь мой круг знакомств очень мал; но причин особенных бездействия весьма много. С отъездом отсюда начнется для меня по крайней мере деятельная жизнь. Всё, что делало для меня мою прежнюю, уединенную жизнь страшною, к несчастью, миновалось. Другого нечего делать, как приниматься за дело. Теперь уединение и работа для меня синонимы. Здесь еще душа колыхается от бури, почти прошедшей. Надобно к вам убраться в затишье. Хотелось бы здесь схватить маленький кусок, то есть беспечность, и укромную свободу, чтобы избавиться от несчастья. Кажется, для меня могли бы чтонибудь сделать, когда Шихматов получает пенсии 2000, а слон 300003. Но что делать? Кому дело до поэта?

Нелединский велел у тебя просить извинения в том, что он еще тебе не отвечал; он читал императрице твой «Вечер»4, который она велела для себя спи-

сать одной из красавиц придворных. Он требует, чтобы ты ему прислал стихов своих. Он поручил мне манускрипт своих сочинений и переводов, из которого я сделаю выбор для печати5.

Прости.

**264.**

**Н. И. Гнедичу**

*<11 января 1816 г. Петербург>*

Возвращаю билет с надписью, а за табак благодарю любезного Гекзаметра. Я еду завтра часу в двенадцатом1. Как бы нам увидеться? Нынче часов в 7-мь буду у Е<катерины> Федоровны2. Не зайдешь ли к ней? Посылаю тебе «Ольгу» Катенина3. Потрудись ее возвратить ему и поблагодари за доставление. Эта пиеса, при многих ее недостатках, доказывает мне, что он со временем будет писать хорошо. Если он будет иметь менее доверенности к себе и решится писать не для одних минутных похвал, то он будет автором хорошим. Он точно имеет дарование. Возвращаю письмо Батюшкова4. Приложенные книги и записку прошу тебя отослать к Гречу. Обнимаю тебя.

*Жуковский*

**265.**

**А. А. Прокоповичу-Антонскому**

*<Начало января (до 12-го) 1816 г. Петербург>*

Не думайте, почтеннейший Антон Антонович, чтобы я на Вас жаловался; я уверен в Вашем добром ко мне расположении и не прежде перестану быть в нем уверенным, как тогда, когда Вы сами захотите меня разуверить. И теперь, пользуясь им, прошу Вас не отказать в покровительстве моим экземплярам, по-

сланным на имя к<нязя> П. А. Вяземского. Он хочет их отдать на комиссию Ширяеву1, который берет за *комиссию* 15 процентов. Прошу и Вас взять на себя труд, на случай отъезда Вяземского из Москвы, позаботиться о расчете с книгопродавцем. Я желал бы, чтобы Вы переговорили об этом с Вяземским. Очень хлопотливо печатать книги на свой счет: надобно быть самому книгопродавцем, чтобы их сбыть с рук; а продавать книгопродавцам убыточно: они всё хотят имет даром. Если можете, помогите как-нибудь расходу моих экземпляров. Их послано всего на всё 270 к Вяземскому. Кажется, для Москвы немного. Надобно только, чтобы публикация об них была почаще в газетах. Об этом прошу Вас позаботиться. Извините, что так беспорядочно пишу. Я спешу, ибо в хлопотах. Еду в Дерпт. Прошу Вас покорнейше отвечать мне.

**266.**

**П. А. Вяземскому**

*12 января <1816 г. Петербург>*

Ты ворчишь, ваше сиятельство, и ворчишь понапрасну! Я пишу к тебе довольно часто; так же часто, как ты ко мне, и так же люблю тебя, как ты меня. Ты гневаешься на меня за то, что в петербургских газетах стоит объявление о выдаче моей первой части1, — и я за это гневаюсь, только не на тебя и не на себя, а на Плавильщикова2, который, получив несколько билетов и услышав

от кого-то, что первая часть отпечатана, вздумал предупредить подписчиков и обманул их, а нас всех рассердил. Лучшего в твоем коротеньком письме есть то,

что у Карамзина родился сын3. Слава Богу! Итак, надобно ждать скоро нашего Историо Графа в Петербург4. Один ли он приедет или со всею семьею? Еще прекрасно в твоей записке и то, что Батюшков в Москве5. Обними за меня этого милого Ахилла, убийцу моего «Певца»6 и, несмотря на это, милого, бесценного друга. И он гневается на меня за неписание — но вольно ему было забиться в Каменец. Туда ни одно письмо не доходило к нему. И сапоги, посланные Гнедичем, к нему не дошли. Я написал к нему огромное письмо, которое поручил Е<катерине> Федоровне переслать, — оно послано и пропало7.

Я как будто предузнал, что тебе неприятно будет получить экземпляры непереплетенные и решил переплести их.

Я еще не уехал, а нынче еду в ночь8. Верно, возвращусь до твоего приезда. И хорошо, когда бы мы отправились отсюда вместе. И прожили бы несколько блаженных дней весны в Остафьеве. Это было бы для меня образчиком той новой жизни, которая начнется или по крайней мере должна начаться для меня с нынешнего года, — жизни занятой и единственно занятию посвященной. Все прежние мои годы были убиты, и, к несчастью, *не могло быть иначе*.

Арзамасцы говорят, что твоего письма в здешних журналах печатать не надобно, потому что *здесь* уже было объявлено в «Сыне Отечества» о мире, — не надобно самим нарушать его!9

12 генваря

150 экземпляров будут тебе присланы. Поклон Вере Федоровне и поцелуй детям и дружеское объятие Батюшкову. Не состряпал ли он чего-нибудь в Каменце?

Вот ему задача! Я начал было писать пародию из «Старушки» на Шутовского10 — ему, царю пародий, совершить этот подвиг. Моя начинается так:

Макар11 сквозь сон в каморке прокричал:

Шутихин слышит и бледнеет!

Ужасну весть Макар ему сказал.

Шутихин в трепете потеет!

И вопит скорбно: Где мой дед седой12, Ему соврать мне слово дайте!

Пора в театр!13 в исходе час шестой: Скорей, скорей! не отставайте! И к толстяку приходит дед седой — Его услышал покаянье!

И Пролог он приносит под полой

Острожского изданья!14

Но лишь к одру подносит Пролог он, Вся туша страшно застенала!

Как шум райка ея протяжной стон, Как будто ложа засвистала!

«Ах, удали свой Пролог, дед седой!

Уже не в пользу мне читанье!» —

Был страшен вид его главы пустой, И в пузе слышалось бурчанье!

«Вся жизнь моя в грехах погребена!

Я полоумной сочинитель!

Твоя ж душа от смысла спасена!

Ты будь от смысла мне спаситель!».

План этой пародии: вместо *погребенья* — *представление* пиесы, и распоряжение, чтобы она не упала. Где у меня стоит *и в перву ночь, на третью ночь*, в пародии должно быть *вот первой акт, вот пятой акт*. — *И он предстал, и слух*

*об нем пропал навечно* должны быть сохранены.

Поздравь Карамзиных с соименным мне героем15, а Батюшкову скажи, что наконец он может петь песни, мы гвардейские солдаты, но теперь другие хлопоты: надобно выручить его прошение об отставке и предать его забвению16. Обнимаю всех вас и приглашаю в П<етер>бург, хотя сам собираюсь на ваши развалины.

*Ж.*

**267.**

**Е. А. и М. А. Протасовым, А. Ф. и А. А. Воейковым**

*<Начало февраля 1816 г. Петербург>*

Теперь спешу уведомить вас, милые, бесценные друзья, о том только, что я доехал, или, лучше сказать, дополз до Петербурга благополучно. Писать много оттого нельзя, что я еще весь в разгоне, езжу туда и сюда. На следующей почте буду писать более на просторе. Меня здесь ожидала радость: Карамзин и Вяземский здесь1. Увидеть их было весело и веселее более оттого, что и на душе

стало веселее.

Вот что случилось со мною дорогою. Я простудился было и вообразил, что занемогу не на шутку. Если бы это сделалось со мною *на дороге в Дерпт*, то, может быть, я еще этому бы и обрадовался. А теперь, напротив, это мне стало

страшно. У меня руки развязаны делать *всё, что от меня зависит*, для Машина счастья. Маша, смотри же, не обмани меня! Чтобы нам непременно вме-

сте состряпать твое счастье! Тогда и всё прекрасно! Прошу вас помнить, что вы должны иметь самую неограниченную, спокойную ко мне доверенность, — тогда всё пойдет порядком. Саша, милый дружок, поверь, что мы сладим с дурным прошедшим, и *в будущем* будет у нас покой и согласие. Всё это сделается,

если только понимать будем друг друга как надобно.

Простите. Если наша Дуняша приехала2, то прошу всех вас поочередно обнять ее за меня. Если бы я не прикован был к Петербургу своим изданием3, то полетел бы к вам немедленно. Во всяком случае, она должна меня дождаться.

Воейков, прошу смотреть на наше вместе как на обетованную землю. Надобно непременно дойти до нее, а не заблудиться и пропасть в пустыне.

Прошу вас писать ко мне более и подробнее. Особенно Машу. Теперь некогда мне самому писать.

Мойера и Петерсона4 обнимаю.

**268.**

**И. И. Дмитриеву**

*18 февраля 1816 г. <Петербург>*

Милостивый государь Иван Иванович. Я имел удовольствие получить Ваше приятное письмо и Вашу книгу1. От всего сердца благодарю Ваше превосходительство за бесценный подарок. Отсутствие мое в Дерпте2 причиною тому,

что отвечаю несколько поздно. Не почитаю за нужное уверять Ваше превосходительство в том, как высоко ценю всякий знак Вашей ко мне дружбы. Вам известно, как я привязан к Вам и каким почтением исполнен к Вашему характеру.

О себе имею честь донести Вашему превосходительству, что я здесь почти без дела. Занимаюсь изданием книги своей3; итак — почти ничем. Второй, и последний, том выйдет недели через две с половиною и тотчас будет доставлен Вашему превосходительству. Кончив это дело, поеду в Дерпт; а весною, может быть, загляну в Москву и буду иметь удовольствие посетить Вас в новом Вашем доме4. Из этого можете заключить, что еще моя странническая, или странная, жизнь не окончилась.

У нас здесь праздник за праздником. Для меня же лучший из праздников: присутствие здесь нашего почтенного Николая Михайловича5. Здесь все жаждут его узнать, и видеть его в этом кругу так же приятно, как и быть с ним, в его семье: он обращает в чистое наслаждение сердца то, что для большей части есть только беспокойное удовольствие самолюбия. Что же касается до меня, то мне весело необыкновенно об нем говорить и думать. Я благодарен ему за счастье особенного рода: за счастье знать и (что еще более) чувствовать настоящую ему цену. Это более нежели что-нибудь дружит меня с самим собою. И можно сказать, что у меня в душе есть особенно хорошее свойство, которое называется *Карамзиным*: тут соединено всё, что есть во мне доброго и лучшего. Недавно провел я у него самый приятный вечер. Он читал нам описание взятия Казани. Какое совершенство! И какая эпоха для русского появление этой Истории!6 Какое сокровище для языка, для поэзии, не говорю уже о той деятельности, которая должна будет родиться в умах. Эту Историю можно назвать *воскресителем*

*прошедших веков бытия нашего народа.* По сию пору они были для нас только мертвыми мумиями, и все истории русского народа, доселе известные, можно назвать только гробами, в которых мы видели лежащими эти безобразные мумии. Теперь все оживятся, подымутся и получат величественный, привлекательный образ. Счастливы дарования, теперь созревающие! Они начнут свое поприще, вооруженные с ног до головы.

После Карамзина не следовало бы говорить о самом себе — но для чего же? Я желаю быть ему подобным в стремлении к хорошему. Во мне живо желание произвести что-нибудь такое, что бы осталось памятником доброй жизни. По сию пору ни деятельность, ни обстоятельства не соответствовали желанию; но оно не умирало, а только иногда засыпало. Если обстоятельства не сделались

*счастливее*, то по крайней мере *лучше*, по крайней мере в отношении к нравственному лучше; вероятно, что буду более в ладу с самим собою, — это главное для поэзии. О фортуне же попечется Провидение.

Я должен кончить в такую минуту, когда перо было разговорилось. Простите, Ваше превосходительство. Иметь всегда ту привязанность к Вам, какую имел я и прежде в сердце своем, есть для меня счастье. Прошу Вас не переменять ко мне никогда бесценной Вашей дружбы. С совершенным почтением

честь имею быть Вашего превосходительства покорнейшим слугою.

*Жуковский*

18 февраля 1816

**269.**

**А. П. Юшковой (Зонтаг) и Е. П. Азбукиной**

*<Первая половина февраля (до 19-го) 1816 г. Петербург>*

От вас нет писем — не грех ли? Вы должны знать, что у меня по вас в сердце кошки — и молчите. Благодаря Авдотье Ивановне Нарышкиной, которая писала к Марье Ивановне, и благодаря Марье Ивановне, которая писала к Елене Ивановне1, я знаю, что Авдотья Петровна в Москве, была больна и скоро едет домой, — слава Богу! но для чего же Авдотья Петровна так упрямо молчит2 и думает, что мне всё равно, что знать об ней, что не знать. Авось завтра хотя что-нибудь получу из Дерпта — а если не получу, — беда! Но Бог милостив! Он сохранит нас и нашего доброго друга, который совсем к нам немилостив, ибо из любви к нам забывает себя и еще думает, что это любовь, а я это называю ненависть! Напишите же ко мне поскорее, ради Бога! Вы называете меня ленивым, а сами ленитесь в такую минуту, в которую бы надобно писать в четыре руки. Мне не более двух строк надобно; но эти две строки будут благодеянием, лекарством от самой жестокой болезни — страха и неизвестности.

Еще раз повторяю: никому ни слова о содержании моих последних писем. Я и Елене Ивановне ни о чем не говорил. Сделать всё *известным* — значит всё *решить*; а надобно, чтобы всё было решено временем3. Я получил по последней почте от них4 письма: Саша всё больна, но у них довольно тихо. Я получил письмо и от Мойера. Не правда ли, мое положение одно из самых необыкновенных. Он говорит со мною о Маше; говорит Marie gibt mir täglich mehr Beweise ihres Wohlwollens und Zutrauens;[[240]](#footnote-240) эта одна черта показывает хорошее сердце — она и ему, и мне делает честь. Что бы ни было, а я этому радуюсь и буду радоваться, несмотря на те минуты, в которые некоторые уродцы, о которых я писал на прошедшей почте5, будут выходить на сцену. Друзья, много прекрасного в душе человеческой, и жизнь наша дана нам только для того, чтобы выкопать из нее это прекрасное и дать ему силу, бытие, совершенство. Gott befohlen![[241]](#footnote-241) Обнимаю вас! У меня было бы ясно на сердце, когда бы от вас имел хотя бы одну утешительную строчку! Откликнитесь, безмолвные немки, то есть немые.

**270.**

**А. П. Киреевской (Елагиной)**

*<Около 19 февраля 1816 г. Петербург>*

Милая сестра, друг, бес, ангел; что Вы с нами делаете? Сейчас я получил два письма: одно от Анеты, а другое из Дерпта1, в котором и Ваше описание этого ужасного путешествия2. Провалиться под лед в 50 верстах от своего дома, про-

студиться жестоким образом, жить два дня в избе, потом ехать еще 200 верст, чтобы остановиться один только день и пускаться на 1000 верст с болезнью, с опасностью потерять милую, бесценную жизнь, забыть из несравненной дружбы всё: и дружбу, и детей — таким ангелом-бесом можете быть только Вы! Как меня взволновали эти письма! Не знаю, радоваться ли, что есть такой несравненный человек, каковы Вы! Не знаю, можно ли позволять себе требовать Вашей дружбы, — это в иную минуту значит требовать и Вашего, и собственного несчастья. Получив эти письма, в первом движении я собрался было ехать в Москву; но перечитав их, остановился. Эти же странные письма и успокаивают. У меня здесь есть дела, которые и так были замедлены и приведены в беспорядок моим отъездом в Дерпт — отъезд в Москву всё бы расстроил. Маша же пишет ко мне, что она обо *всём* подробно уведомляет Вас3. Итак, Вам теперь всё должно быть известно. Из всех же приложенных писем Вы увидите, что мое присутствие в Дерпте необходимо. Я уехал оттуда скрепя сердце, и крепко досадую на необходимость, которая меня тащила оттуда. Надобно туда ехать как можно скорее, чтобы опять не перепортилось то, что кое-как поправлено. Поездка в Москву задержала бы меня там, вероятно, до весны; потом надобно бы было опять ехать в Петербург доканчивать начатое — когда же бы я поспел в Дерпт! Анета же пишет в письме своем, что ждет Вашего возвращения через неделю4 — Бог сохранил нас! Ради Бога, напишите поскорее! Письма Вашего буду ждать как благодати!

Посылаю Вам все письма, написанные к Вам в разное время! Они дадут

Вам полное понятие о том, что случилось, и послужат дополнением к письму

Маши. В моих письмах многое переменить бы надобно; я слишком жестоко обвинял Е<катерину> А<фанасьевну>5. По крайней мере, теперь не она, а их ужасное положение всему причиною. Слава Богу! что теперь из этого хаоса выходит свет. По-настоящему, мне бы надобно было тотчас ехать, получив первое письмо Маши6, — но я сам был обманут и не мог не обмануться! Я думал, что мое посещение будет не только бесполезно, но и вредно, что мне не дадут говорить с Машею свободно, что я буду принужден только безусловно согласиться или уехать, не согласясь ни на что и только прибавив своим присутствием к общему их страданию. Вышло напротив. Не знаю, совершенно ли уверена во мне тетушка, но, по крайней мере из моего обхождения с Машей, я имею право так думать: я имел с нею полную свободу и каждый день проводили мы по часу вместе, одни, с глазу на глаз. Что, если бы не было давно этого подозрения, которое так рознило меня с нею? Давно бы всё было в порядке! Ни от кого не может

она слышать того, что от меня, и никто не может так меня успокаивать, как она!

Всё так случилось, как я располагал перед своим отъездом и как писал в моем первом к Вам письме от 30 декабря, здесь же приложенном. Из разговоров с Машею я увидел, что она *не обманывает* меня, что она действует теперь не по принуждению, а из уверенности, что всё будет лучше, что она *надеется* этого лучшего! И не одни ее слова, но и собственные замечания убедили меня в этом! С Мойером говорил я откровенно, и он не только понял, но и угадал и предупредил мои мысли. Мы теперь с ним верные товарищи — цель наша прекрасная! Общее счастье! и это счастье называется Машею. Маша будет действовать свободно, всё отдано на ее волю; она знает, что я не теряю ничего, если она только найдет свое счастье, и она дала слово его найти, ничему собою не жертвовать, — это сделать она обязана, и в этом случае меня не обманет.

Приехав к ним, я нашел их совершенно несчастными! Воейков был точно как бешеный. По сю пору не могу его изъяснить. Маша думает, что причиною его поступков была ненависть к ней; я этого не могу понять! Думаю, что все прежние обстоятельства раздразнили его. Об этом говорить долго, да и не нужно! Прежде своего приезда в Москву, во время болезни Машиной7, чтобы ее мучить, он давал надежду Мойеру; но как скоро она *на это* решилась, он начал всему противоречить; узнав, что она ко мне написала, он поскакал в Петербург и обманул меня и Кавелина рассказами об ужасных притеснениях8, которые ей делали, и я не мог не поверить этим рассказам — всё старое подтверждало их; возвратясь в Дерпт, он начал мучить их своими бешеными противоречиями, давая чувствовать, что так действует для меня (а я просил его только об одном — избавить Машу от притеснений и сделать так, чтобы она могла на всё свободно решиться). Пугал их беспрестанно — то самоубийством, то дуэлью с Мойером, то пьянством — каждый день были ужасные истории. Мой приезд всему положил конец; они увидели, что мои намерения были совершенно противны тому, что он говорил обо мне, да и письма мои, сколь ни

огорчительны были для Е<катерины> А<фанасьевны>, в том же могли уверить. Я был только маскою для Воейкова; он боялся не моего несчастья, а только того, чтобы в семье своей не потерять той неограниченной власти, какую имел благодаря слабости Е<катерины> А<фанасьевны>. Во мне он увидел человека, который имел уже власть и возможность их защитить. Это его усмирило. Были и при мне попытки пугать их разлукою, дуэлью, пьянством и прочее — всё это не помогло, и его арсенал теперь совсем истрачен. Спокойствие восстановилось, но чтобы оно было постоянно, надобно быть мне с ними, по крайней мере несколько времени: меня он боится, мне верит, сколько может кому-нибудь верить; в моих руках его репутация, его связи с прочими его друзьями — всё это дает мне большую над ним силу. Но этого мало, надобно непременно восстановить спокойствие так, чтобы оно не разрушилось. И поверьте, что я теперь не дам бушевать ему.

Друзья, какое иногда божественное чувство подымает душу! и как весело его разделить! Что перед этим прекрасным чувством все эти маленькие безобразные уродцы, которые называются *желаниями для себя* и которые иногда выскакивают как пузыри и лопаются! Как прекрасно сказал недавно Карамзин (который теперь здесь), и он только выразил ясными словами то, что я чувствовал ясно: *нам дóлжно думать не о совершенстве действий, а о совершенстве одной воли! Действия от нас не зависят, но воля есть человек*!9 Это *совершенная* правда! Я здесь уверен в своей *воле* и, к счастью, уже уверен на опыте. Я хочу, хочу перед Богом святого добра! Что нужды, что в иные минуты сам себя изменяешь и бываешь не похож на самого себя, — этим минутам я не верю; я знаю,

что они минуты, что они должны скоро пройти! Карамзин, говоря о вере, сказал: мы не можем себе доказать бессмертия и существа Бога! но доказательства и не нужны! Здесь разум не действует!10 Кто *почувствовал* Бога и бессмертие, тот никогда не перестанет *верить*. То же можно сказать и о добре! Пожелав в *сердце* добра, никогда не потеряешь этого желания, что бы потом ни случилось, какие бы мысли ни забрели в голову — сторож хорошего есть воспоминание о хорошем. Я хочу добра, и не только хочу, теперь могу его сделать — руки развязаны! И какое же добро! С одной стороны, *устроить* счастье Маши: я теперь знаю, что она не может и не должна оставаться в том положении, в каком она теперь! Что за жизнь, которую она ведет! Нет свободы ни чувствовать, ни мыслить, ни действовать! Даже нет *своего* *угла*! во всём тяжелая, убийственная неволя! Как не пожелать для нее такого состояния, в котором она будет иметь всё нужное для

ее сердца! Надобно только, чтобы прошедшее было ей другом, а не врагом, — и это мы сделаем. С другой стороны, *возвратить* Саше если не счастье, то по крайней мере спокойствие. Ее положение ужасное — она *знает* своего мужа. Но, к счастью, характер ее таков, что несколько времени спокойствия, ничем не нарушенного, может привести в забвение прошедшее. Всему этому теперь положено начало. Прежде, нежели всё решится, Маша узнает Мойера, привыкнет к нему, и всё, что *было*, не пропадет для нее, а только сольется с тем, что есть, в одно ясное, спокойное чувство. С Воейковым же я буду в ладу — теперь это возможно, я от него не завишу и ему уже ничем меня оскорбить невозможно, ибо судьба Маши не в его, а в моих руках, и теперь я, она и Мойер составляем тесный триумвират, которого цель есть общее счастье. Теперь зависит от меня сделать Воейкова если не добрым, то лучшим — надобно для этого забыть, что он человек, а обходиться с ним как с вещью, из которой можно и дóлжно сделать полезное употребление. Быть с ним в ладу мне не трудно — а это будет ему полезно, и в особенности полезно для бедной моей Саши, которая глядит на меня как на помощника и хранителя. Ему надобно оставить *доверенность к самому*

*себе*; это зависит от того внимания, которое будешь ему показывать, — в этом случае прошу и вас всех со мной согласиться; сделанное зло им уже сделано — теперь он не может ничего к нему прибавить! и из этого зла выходит добро — Машино счастье, которое уж не от него зависит и которое без него устроится! здесь он в стороне! Но надобно думать о Саше11. Итак, прошу Вас с ним обходиться с величайшею осторожностью; чтобы обхождение с ним не могло его раздражить, ибо всё это отдастся в сердце Саши. По-настоящему, его положение самое тяжелое; он должен быть в разрыве с собою; а при таком характере, каков его, это портит только душу! Надобно, сколько возможно, облегчить для него такое состояние.

Что же касается до меня самого, то нельзя же *вдруг* всё переделать. Но Вы за меня не бойтесь. Я вообще счастлив; последние три недели, проведенные мною в Дерпте, была самая богатая прекрасным чувством эпоха в жизни моей. Если я буду иметь с Машею ту свободу, какую имел в эти три недели, то всё придет в порядок и к лучшему. А эту свободу я иметь буду. Е<катерина> А<фанасьевна>

слишком должна теперь быть уверена, что это для меня необходимо, и видела уже пользу от этого. Хотя она и не совсем входит в мои чувства и не понимает меня — но что до этого! Ведь не это моя цель! В этом случае я не имею в виду награды. Верьте, прошу Вас, что я счастлив! И не бойтесь за меня никаких тяжелых минут! Тяжелые минуты были и будут — но главное чувство пропасть не может! а в этом всё! Вот что я за собою заметил: всякий раз, когда я бывал с Мойером один, мне было грустно, но не о себе, а о Маше! всё приходила в голову мысль, что будучи с ним, она не будет иметь всего и может жалеть

о прошедшем! И всё, что меня убеждало в противном, меня радовало! Теперь я более уверен и более на этот счет спокоен; а время всё сделает, и мы поможем времени. Кажись бы, хорошо, ан нет! во мне есть другой человек, которому бывает больно, когда он заметит привязанность Маши к Мойеру. Этот человек (сколько я заметил) бурлит более ввечеру, и думаю, что он живет в желудке!! Но он связан крепкими кандалами и осужден умереть с голоду — и он умрет непременно! И если жив еще Курилка, то оттого, что он слишком крепкого сложения! И знаете ли, что будет его убийцею? — что-то воздушное, бестелесное, живущее в нижеследующих каракульках:

Всё в жизни к великому средство!

И горесть, и радость — всё к цели одной!

Хвала жизнедавцу Зевесу!12

Можно ли изменить прекрасной цели? Можно ли не остаться верным доб рому, высокому чувству? Прекрасное можно назвать жизнью, которая всё *жизнь*! несмотря на болезни, которые нарушают ее порядок. А поэзия — славный громовой отвод! Теперь мне будет легче беседовать с моею музою! Даже и всё, что есть печального в моей судьбе, теперь не убийственно и близко своею породою к бессмертной музе! Поэзия, идущая рядом с жизнью, товарищ не-

сравненный.

Вот мое расположение: кончив издание своих стихов, которого на беду никому постороннему поручить не могу, тотчас отправляюсь в Дерпт. Из приложенных документов (№ 12) — отрывок Машина журнала13, отданный ею мне в день моего отъезда из Дерпта, и при нем письмо Воейкова (№ 13), писанное в то же время, № 14 и 15 — письма, полученные мною в Петербурге14, Вы увидите, как это необходимо. Вы между тем уведомьте о том, что Вы хотите сделать, когда соберетесь к нам и когда дóлжно мне приехать за Вами? Гораздо было бы лучше, когда бы я Вас и *проводил* из Дерпта, — я тогда мог бы подолее с Вами остаться. При свидании будем говорить о том, что для меня есть *одно из главных дел жизни*, — о воспитании наших детей. Я ждал и жду плана15 и, право, недаром сказал, что в этот план входит много моего будущего. Чтобы придумать что-нибудь основательное, надобно иметь этот план в руках — а Вы всё

его не присылаете! Да Вы же еще боитесь мне *надоесть христианством*!16 Итак, прошу написать, когда Вы и как расположитесь к нам ехать! Теперь излишняя поспешность не нужна! Непременно надобно дождаться хорошей и безопасной дороги; при этом же письме прислать обещанный план и всё прислать как можно скорее; а будущей почты буду ждать с величайшим нетерпением! Надеюсь, что она принесет мне от Вас добрую весть! Неужели Вы поленитесь?

Это письмо для всех вас трех, милые друзья. Теперь с Вами, милая Анета, поговорим о *делах*. Вы очень хорошо сделали, что отдали деньги мои секундмайорше Киреевской. Но прошу Вас с нее процентов не брать. Вам должно быть известно, что я ей должен 1 000 рублей, данных ею мне на напечатание моих стихотворных околичностей17; и еще 1 000, данных ею Марье Николаевне Свечиной, которая дала на сию сумму вексель мне18, ибо получила деньги от меня; еще же 200 уплаченных ею за меня Ивану Никифоровичу и еще 450, заимствованных мною у ней в Москве, всего 2 650. Этот долг пускай будет уплачен из процентов. Марьи же Николаевны вексель я передам ей при свидании.

Прошу Вас, милая, быть моим душеприказчиком и заботиться о моих деньгах, как вздумаете, — на это я прямой поэт! И Ваша попечительность мне весьма благодетельна. Теперь я знаю, что у меня есть что-то *верное*. И Вы хорошо сделаете, когда до времени и вексель оставите у себя. Лучше мы всё распорядим, когда увидимся. Получили Вы свои экземпляры?19 Их послали к Вам во время моего отсутствия и для того они не надписаны.

Милая Катя и муж ее, что наша Авдотья?20 и за что нет от вас ко мне ни строчки? Получили ли вы бумагу, мною к вам посланную, и *образец просьбы* о получении грамоты и герба? При большем письме моем?21 Шепните вашему кривляке, чтобы он написал мне об этом строчки две. Крестницу свою благо-

словляю и целую. Наталье Андреевне братское лобзание.

Прошу Вас показать все эти письма Плещеевым и шепнуть другу Негру, что я *белой книги не страшуся*. Но покажите их сами, а не посылайте. Не надобно, чтобы это было кому-нибудь, кроме Вас и их, известно. Ради Бога, не говорите ни с кем22, и от них прошу того же.

Простите, друзья, отвечайте скорее.

Ивана Никифоровича и Архиерея обнимаю. Елизавете Васильевне мое почтение23.

Все документы *сберечь* и возвратить мне при свидании. Да нельзя ли мне прислать письма, которые обо всём этом пишет Маша?24

**271.**

**К. Н. Батюшкову**

*<Начало апреля 1816 г. Петербург>*

Посылаю тебе назад Тибулла1; это на память обо мне. Сочинения М<ихаила> Н<икитича> печатать надобно начать. Я говорил в типографии. Корректуру буду присылать в деревню. Князь Вяземский взял у меня оригинал. От него обо всём узнаешь.

**272.**

**А. П. Киреевской (Елагиной)**

*<12 апреля 1816 г. Дерпт>*

Я давно не писал к вам, друзья. Это служит вам доказательством, что я не пишу к вам не оттого, что о вас не думаю, а просто от лени. В теперешних обстоятельствах можно ли не беспрестанно думать о вас. Но и вы ленитесь не хуже меня? Уже давно не имею от вас ни словечка. Послушайте, милый друг Дуняша; что за вопрос: *неужели Вы так меня любите*?1 На этот вопрос я отвечаю вопросом же: *можно ли в этом сомневаться*? И какую же минуту выбрали Вы для сомнения. Ту именно, в которую всё соединило мою душу с Вашею. И это Вам должно быть известно, понятно даже и тогда, когда бы у меня руки отсохли, когда бы я совсем перестал писать к Вам.

Ваша правда: мое положение необыкновенно!2 Но я себя совсем не понимаю; мне до сих пор, с самого моего сюда приезда, нехорошо с самим собою! Почему нехорошо? Это нимало для меня не ясно! Знаю только то, что я ни разу не колебался в том, на что решился. Итак, мое *нехорошо* происходит не от противоречия тайного чувства с поступками! Они согласны! Это *нехорошо* составлено из разных мелочей, из *комарей жизни*, которые не дают наслаждаться прекрасным днем ее. Мое главное решено — но это еще ничто. Во всём, что меня окружает, столько нерешительного, столько противоречия, что мысли,

чувства — всё идет кругом, и это самое тяжелое состояние. Сквозь этот туман проглядывает веселая надежда на Ваш скорый приезд. У нас с Машей один припев: скоро приедет Дуняша3.

С самого моего приезда сюда всё идет довольно тихо; историй нет, по крайней мере нет продолжительных. Но и согласия не бывало. Я почитаю для них необходимым жить *розно*4. Но как это сделать? Жить вместе было бы весьма легко, но с другими характерами и с другим прошедшим. Надобно бы было признать себя виноватыми, воспользоваться своим опытом и, узнавши причину дурного, истребить ее, чтобы нажить себе какое-нибудь счастье: этого никогда не будет! Тетушка и теперь видит себя одну несчастною и *всех* причиною несчастья. Ошибки ее для нее не существуют. Следовательно, и будущее не может перемениться. Получивши Ваше несравненное письмо, которое мне *возвы-*

*сило* душу и было самою лучшею для меня наградою за всё, она сказала Маше: *как это письмо пристыдит Ж<уковского>*! Но это не удивило меня, даже не огорчило. К счастью, теперь я не зависим ни от кого в поступках своих; можно свободно хотеть *высокого* *добра* и даже для него действовать. А лучшая награда — собственное одобрение и одобрение тех, которые *понимают*. Моя цель (и Ваша) — сделать возможное, чтоб Маша была счастлива и чтобы она вышла из того убийственного положения, в каком она теперь. Приезжайте. Будем об этом хлопотать вместе. При Вас, думаю, и мое *нехорошо* поправится. Я говорю Маше, что она должна видеть в нас двух отца и мать, из любви к нам устроить как можно лучше судьбу свою, *быть счастливою и стоить счастья*. При-

ехавши, Вы увидите, что надобно делать. Сказать этого теперь никак не умею. С Мойером мы совершенно согласны в образе мыслей и чувств; между нами нет ни малейшей принужденности, ни малейшего недоразумения; мы говорим свободно об нашем общем деле, о счастье Маши — такой черты довольно,

чтобы дать понятие и о его характере. Но между тем всё идет не так, как бы хотели и он, и я; он каждый день бывает вместе с Машею, но эти частые свидания их не сближают, ибо всегда принужденность. Тетушка довольна тем, что есть, и так же теперь готова ручаться за Машино счастье, как прежде за счастье Саши. Но ни я, ни Мойер этим не довольны. Нужно, чтобы уверенность для нас была совершенная, основанная на взаимной свычке, на знании друг друга. Этого еще теперь нет — но это сделать необходимо нужно. Приезжайте. Вместе всё устроим. Но это *приезжайте* пугает меня. Вы опять наделаете каких-нибудь восхитительных дурачеств. Я бы шепнул Азбукину: проводи ее! Но Бог знает, будет ли это ему возможно. Вы поедете с детьми и будете осторожнее — это успокаивает насчет дурачеств.

Милая Анета, милая Катя, добрые, бесценные друзья, я к вам не пишу особенно. И это не нужно. Но давно нет от вас ни строчки — это нехорошо. Целую вас обеих в уста и в очи. Когда-то мы будем *вместе*! Кажется, что в этом слове

*всё* заключается.

Азбукина обнимаю. Прошу его поклониться от меня дружески сестре Наталье. О его деле оставил я в Петербурге хлопотать Жихареву.

**273.**

**А. И. Тургеневу**

*12 апреля <1816 г.> Дерпт*

Дерпт. Апреля 12

Податель этого письма есть доктор Лебрен, учившийся в здешнем университете1. Он едет в Петербург искать себе места и просил меня дать к тебе рекомендательное письмо. Ты очень обяжешь меня (хотя не очень надеюсь, чтобы твоя беспечность дозволила тебе меня обязать), если постараешься помочь ему в приискании какой-нибудь должности. Он учился очень хорошо и имеет много способностей, с большими сведениями. Я думаю, что он хочет служить по части финансов. Будучи знаком с Гурьевым2, ты можешь его смело рекомендовать, как человека весьма способного, министру. Прошу тебя сделать для него,

что можешь.

Что у вас делается? Отчего не имею от тебя ни строчки? Имеешь ли известие о Карамзине? Я еще ни за что не принимался по той причине, что еще нет у меня горницы, — скоро поспеет, тогда и за работу.

Прости. Обними Блудова. Будут и вам письма, и прекрасные письма, но не теперь.

*Ж.*

P. S. Воейков собрался ехать в Киев и в Крым. Он просит рекомендательных писем к архиепископам Киевскому, Черниговскому и Псковскому. Пришли их. Это путешествие, вероятно, мечта, но если оно сбудется, то эти письма могут быть ему полезны. Ты должен их написать для его жены, которая с ним едет, и для меня. Не откажи в этом.

**274.**

**Г. Р. Державину**

*17 апреля <1816 г. Дерпт>*

17 апреля

М<илостивый> г<осударь> Г<аврила> Р<оманович>. Спешу исполнить обещание, данное мною В<аше>му в<ысоко>пр<евосходительст>ву; посылаю немецкий перевод Вашей оды «Вельможа». Переводчик есть студент дерптского университета г. Борг1. Он хорошо знает русский язык. Вероятно, что он переведет и еще многие из стихотворений В<аше>го в<ысоко>пр<евос ходительства>. Но верно то, что их оригинальный характер не может быть выражен ни в каком переводе. Свидетелем этого прилагаемый здесь опыт. Перевод верен, но далек

от оригинала.

Пользуюсь сим случаем, чтобы принесть В<аше>му в<ысоко>пр<евосходительству> сердечную благодарность за несколько счастливых часов, проведенных в беседе с Вами. Видеть великого поэта Екатерины в России было для меня счастьем. Смею надеяться, что В<аше> в<ысоко>пр<евосходительство> иногда удостоите своего воспоминания человека, привязанного к Вам искренно, хотя и весьма недолго имевшего счастье пользоваться Вашим знакомством2.

Примите уверение в совершенном высокопочтении, с коим честь имею быть В<аше>го в<ысоко>пр<евосходительства> покорнейшим слугою.

*Жуковский*

**275.**

**П. А. Вяземскому**

*26 апреля <1816 г.> Дерпт*

26 апреля. Дерпт

Что сделалось с тобою? Ты не пишешь ко мне и не отвечаешь на письмо мое. Придется мне написать к Демиду1 такое же послание, какое получил от тебя Лаврушка2. Я здесь живу как будто совершенно от всех вас отчужденный. Если и доходят до меня слухи, то единственно горестные: недавно уведомили меня, что наш почтенный Староста *Вот я вас* осрамил себя и Арзамас дурными стихами и что он за это в экстраординарном заседании отставлен от должности Старосты и переименован *Вотрушкою*3 и отдан на съедение Эоловой Арфы4. Кстати об Арзамасе: переписаны ли речи и протоколы? Прошу прислать мне оригиналы.

Что ты пишешь? Что пишет Батюшков? Уведомь. Я еще всё только хочу писать.

Что Николай Михайлович? Сбирается ли в Петербург и когда полагает быть там?5 Посылаю ему перевод Геца *его исторического отрывка о мятеже при Ал<ексее> Мих<айловиче>*6. По этому опыту может он судить о его слоге и (если не сделал никакого распоряжения в рассуждении перевода на немецкий язык своей Истории7) может решить, способен ли Гец взять на себя этот труд. Прошу тебя сказать ему мое почтение и Екатерине Андреевне. Отдай поскорее ему этот перевод и уведомь меня.

По слогу моего письма можешь судить, что я пишу *нехотя*. Напиши ко мне, чтобы пробудить мою охоту. Но если пишу к тебе мало, то люблю тебя много.

Обними Батюшкова. Тебе кланяется к<нязь> Григ<орий> Гагарин8. Он уехал в чужие края. Я виделся с ним в проезд его через Дерпт.

Твой *Жуковский*

**276.**

**Ф. Гизе**

*1 мая <1816 г.> Дерпт*

Ваше высокоблагородие г<осподи>н декан философского факультета и господа члены. Глубокоуважаемые господа!

С благодарностью и радостью принимаю я присланный мне почетный диплом доктора философии1. Я усматриваю в этом почетном свидетельстве не

столько награду, сколько поощрение, и это должно возложить на меня святую обязанность: всё больше стремиться быть полезным и всё увереннее следовать своей цели. Высокий знак Вашего внимания, мои достопочтенные господа, разрешите мне принять поэтому как знак Вашего дружественного мнения. Искреннее внимание и уважение воодушевляют меня.

Ваш покорнейший *Жуковский*

Дерпт, 1 мая

**277.**

**А. П. Киреевской (Елагиной)**

*<Конец мая (до 23-го) 1816 г. Дерпт>*

На мои два письма нет от Вас ответа, милая сестра; одно адресовано было на Ваше имя, другое на имя Анеты1. Или письма пропадают! Это истинное не-

счастье для такого лентяя, как я. Между тем Вы на меня как будто сердитесь, и в Ваших письмах к Маше2 такие есть выражения на мой счет, которые наводят на душу туман. Неужели я могу потерять сколько-нибудь в Вашем сердце.

Правда, этого мне и можно бояться. Вы слишком высоко обо мне думаете и судите обо мне не по мне, а по собственному своему идеалу, на мой счет составленному, украшенному Вашим сердцем, единственным, которым только издалека можно пленяться! Но возвыситься до него трудно; а потерять в нем страшно. Я говорю не шутя: Ваше *слишком* хорошее мнение обо мне часто пугает меня; я желал бы, чтобы оно было не так высоко и чтобы, несмотря на это, то чувство, которое есть следствием этого мнения, то бесценное чувство дружбы сохранилось неизменным. Но погодите; при Вас, и с Вашими письмами в руках, мы поговорим обо мне, и эти письма послужат для меня масштабом того, что я есть, — казаться *лучшим* тяжело, особливо в глазах тех, кому желаешь быть дорог со *всеми своими недостатками*.

Между тем есть и некоторые злодейские выражения в этих письмах, за которые надобно побраниться. Всё это до свидания. Но за одно выражение обнимаю Вас: в последней записке стоит Христос с *тобою*!3 так дóлжно говорить Вам мне! Мы никогда не были ближе друг к другу, как теперь, — даром что редко пишется! Обнимите ж за меня таким же образом и Анету, и Катошку, и мою маленькую Дуняшу4, и наших трех друзей5, об которых часто, часто думаю. Для Вани и Пет руши у меня есть в виду человек — одаренный необыкновенным гением, живым сердцем и большой ученостью, не сухою, школьною, но

одушевленным чувством; я с ним знаком коротко, но боюсь решиться6. Знаю,

что он был бы Вам приличен; но боюсь его живости — не помешала бы она порядку в воспитании; боюсь, что он может *наскучить* таким делом, которое должно непременно продолжиться несколько лет, по одному плану; боюсь, но в то же время уверен, что это занятие было бы спасительно для него самого; он не имеет никакой определенной деятельности и между тем теряется в желании действовать с пользою, и это неудовлетворенное желание только расстроивает душу его и заставляет его ссориться с жизнью. Я постараюсь узнать его образ мыслей насчет воспитания. Если же он может решиться взять на себя это дело, то ни в чьем нельзя ему быть счастливее, как в Вашем, ибо Вы будете в

состоянии понять и ему содействовать! А цель: *образование таких милых сердец, какими Бог наградил Ваших детей*, — должна быть удовлетворительна для души высокой. И для этого нужно Ваше присутствие. Здесь я не говорю об этом никому; с ним говорить также не буду; всё еще одна только вероятность. А Вы и не думаете присылать мне своего плана; по крайней мере привезите его7. Он послужит нам ариадниною нитью.

Теперь слова два о том, что здесь делается. Со времени моего приезда бури миновались. Воейков и Саша едут; он в Крым, она только до Киева8: не пугайтесь, я думаю, что это путешествие принесет пользу, и сама Саша желает его: оно их сблизит, и всё *старое* будет более забыто. Это необходимо, а здесь невозможно. Временная разлука будет пластырем.

Я уверен, что будущее может быть *лучше*; нужно только не отчаиваться. Слава Богу, что Воейков имеет ко мне доверенность; он выслушивает от меня *всё* и в некотором меня слушается. Чтобы он сделался *лучше*, надобно, чтобы он почувствовал истинную цену жены своей: я надеюсь, что это возможно, и он *знает сам*, что это для него необходимо, что в этом его счастье; не надобно его покидать, не надобно терять с ним бодрости; — насчет Маши я беспокоюсь менее. Мойеру можно верить совершенно. Прекрасный характер. Меня беспокоит только тот круг, в который она войдет, — надобно, чтобы она была сколько можно менее зависима от родни его; чтобы вся ее зависимость была *от него*

*единственно*; тогда можно поручиться за тихую, ясную жизнь: она будет иметь с ним всё, что дóлжно для ее сердца. О себе не говорю ни слова: я часто бываю недоволен собою. Это разберем при свидании.

Азбукина обнимаю и браню за подражание, слишком рабское, моей лени.

Бумаги его я оставил в Петербурге у верного человека, к которому писал о том, чтобы хлопотать о грамоте9. Вот что он пишет мне в ответ: «выхлопотать грамоту можно, но это продолжится год, а может быть, и два, ибо государю редко подносят грамоты к подписанию, да и подносимые остаются по году и более в кабинете». Что с этим делать? Хлопотать ли или нет? Жихарев, которому я поручил это дело, едет на несколько времени из Петербурга. Я хочу взять у него бумаги назад и возвратить их ему, когда он сам возвратится. В противном случае могут затеряться. Впрочем, спрошу сперва, не может ли у себя оставить копии за скрепою, а оригинал возвратить. Простите, друзья. Экземпляр высылаю.

À propos[[242]](#footnote-242). Вчера получил я от императрицы Е<лизаветы> Алекс<еевны> перстень10, который, comme de raison[[243]](#footnote-243), подарил Маше.

**278.**

**С. П. Жихареву и А. И. Тургеневу**

*<Около 23—24 мая 1816 г. Дерпт>*

Милый друг Жихарев, обнимаю тебя за твои дружеские хлопоты1. Вот тебе ответ на твой запрос: нельзя ли для верности оставить в Герольдии одни *копии за скрепою* с тех бумаг, которые ты получил от меня, а оригиналы мне возвратить? Я думаю, что эти копии могут такими же служить документами, как и оригиналы. Если же это ты сделать можешь, то одолжишь меня чувствительно. Я очень боюсь, чтобы эти бумаги как-нибудь не затерялись в твоем отсутствии. Если же копии не захотят, то возврати бумаги мне; я их тебе опять доставлю по прибытии твоем в Петербург, и тогда похлопочи с обыкновенным твоим усердием.

Благодарю тебя за дружеское твое *снисхождение* к моим карманным причудам. Оно весьма, весьма для меня благоприятно и весьма *вовремя*.

Надолго ли ты едешь из Петербурга и куда? Но куда бы ты ни поехал и где бы ни сидел, люби меня по-старому, по-арзамасски, как я сам тебя люблю. Не сердись, однако, на мою лень писать письма; в этом случае я достиг совершенства. Прости.

Твой *Жуковский*

Тургенев! Я получил перстень и письмо от Лонгинова2.

Я не пою *дорога твоя любовь*! ибо не знаю, на какой голос это петь надобно3.

У тебя есть Лаврушка, у меня Максим4. Кому же из нас нужно более терпения? У тебя болит желудок, и у меня также.

Ты пухнешь, а я худею.

Ты имеешь много дела и ничего не делаешь и только радуешься этим, потому что имеешь предлог не исполнять того, что тебе поручают, то есть: не думать о некоторых французских пленных лекарях, которые просятся домой5, не писать писем к архиереям, не присылать моих печатных стихов6 и прочее и прочее.

Радость моя, напиши к Евгению7; напиши к Киевскому архиерею8. Твои письма могут быть полезны *жене* Воейкова; *он* поедет в Крым, а *она* останется в Киеве и, может быть, ей нужным будет в чем-нибудь архипастырское пособие. Но *напиши тотчас* по получении письма моего и посылай прямо в Псков и Киев, ибо Воейков едет через четыре дня из Дерпта, и здесь твои письма его уже не застанут. Обнимаю тебя до первой охоты писать. Обнимаю Блудова и Кавелина. К ним буду писать на одной из следующих почт. Я скоро поеду осматривать некоторые места Лифляндии. По возвращении буду писать более.

К Лонгинову буду писать после почты.

**279.**

**Н. М. Лонгинову**

*<24 мая 1816 г. Дерпт>\**

Прошу Вас покорнейше быть изъявителем моей всеподданнической благодарности перед лицом Его Императорского Величества1 за милостивое обо мне воспоминовение.

Если поэзия может быть возвышена какою-нибудь наградою, то внимание

Ее Величества есть, без сомнения, награда высочайшая. Кто из русских не гордится именем Ее подданного. И для кого мысль об Ней не соединяется с восхитительною мыслью о добродетели самой чистой? Привлечь внимание несравненной монархини есть честь завидная, стоить его есть счастье. Не имея права на таковое счастье, горжусь оказанною мне честью.

Примите заверение в моем совершенном почтении, с которым честь имею быть

*Ж.*

**280.**

**А. И. Тургеневу**

*<Начало июня 1816 г.>*

Посылаю тебе экземпляр Берговых «Писем»1. При нем письмо к князю2 и также экземпляр. Князь, как тебе известно, требовал, чтобы Берг доставил ему свою книгу прежде публикации. Прошу тебя быть в этом случае ходатаем Берга. Я читал его письма. В них не только нет ничего, могущего возмутить правоверных, но, напротив, много такого, что может подкрепить веру. Последние письма (13—17) заключают в себе мысли, возвышающие душу. Я уверен, что и над тобою произведут они то же действие, какое произвели надо мною. Прошу обратить на них особенное внимание князя и вообще прошу быть защитником Берга. Я ручаюсь тебе, что он совершенно удален от всякого шарлатанства. Для него важно весьма *выдать* эту книжку: первое, потому что она напечатана в пользу бедного семейства, второе, и потому, что теперь, если ее запретят, может это навлечь на него какое-нибудь незаслуженное подозрение в мнении общем. Не поленись прочитать сам эти 120 страниц. Увидишь, что в них нет ничего противного общему порядку. За верность же *всех* описанных

обстоятельств я отвечаю тебе; некоторые очевидные свидетели мне знакомы, и всё то утверждают своим свидетельством, о чем говорит автор. Одним словом, не откажи мне употребить всё *возможное* тебе старание в пользу человека, достойного всякого почтения и мне особенно любезного. Это сочту знаком дружбы и позволяю за это совершенно забыть о стихах моих. Я желал бы, чтобы ты, *прежде* нежели отдашь письмо Берга князю, прочитал его книжку и сказал князю об ней свое мнение. Я уверен, что твое мнение не может не быть в пользу Берга; оно, вероятно, будет иметь влияние и на князя. Отвечай, прошу тебя, на это поскорей и постарайся, чтобы Берг *поскорее* мог получить разрешение.

*Ж.*

Благодарю за рекомендательные письма. Воейков уже уехал, и в Псков письмо *опоздало*. Но я и это прощу, если только не поленишься хорошенько похлопотать о Берге. Эпитафию пришлю тотчас по получении *ответа* и рисунок3.

**281.**

**А. И. Тургеневу**

*<Середина июня 1816 г. Дерпт>*

Ты прислал ко мне два письма из Петербурга — я получил их1; но при них нет от тебя ни строчки. В некоторых вещах ты имеешь удивительное постоян-

ство; особенно в общей нам добродетели — в лени. Неужели не мог ты сказать мне о себе ни слова? По крайней мере хотя бы уведомить меня о судьбе моих

стихов2.

Я о себе теперь не буду тебе рассказывать ничего. Надобно входить в подробности, а мне надобно написать еще несколько писем. Скажу только одно: будь на *мой* счет совершенно спокоен. Я теперь точно таков, каким мне быть

*дóлжно*, и это не стоит мне никакого усилия. *Решительность* — всемогущий чародей; она может переменить душу. Но об этом буду писать к тебе много, и это *нужно* (то есть писать к тебе), дабы самому для себя объяснить всё как можно лучше. Мне здесь хлопот будет довольно. Но могу только поручиться за одну добрую волю свою, и буду, помня слова моего евангелиста, то есть Карамзина, думать только о том, чтобы ее совершенствовать3, оставляя всё прочее на волю Провидения, ибо всё прочее принадлежит ему так же неограниченно, как наша воля, способная совершенствоваться, принадлежит нам. Во всяком искусстве, во всякой науке (сказал, не помню, кто) надобно иметь два или три главных фундаментальных правила, таких, которые бы можно было применять ко всем или почти ко всем случаям. Жизнь — искусство. И вот два правила, которые

едва ли не ко всему пригодятся: *совершенствуй волю — всё в жизни к прекрасному средство*4. Первое есть цель всей жизни; последнее может служить масштабом для всякого случая жизни. Нет такого положения, счастливое ли оно или несчастное, которое не могло быть средством к прекрасному.

Но полно философствовать. Голова болит, и я чувствую, что слог этого письма пахнет Глинкою5. Предлагаю тебе нечто, могущее служить средством к прекрасному: *выхлопотать свободу Фору и уведомить меня о том, что ты сделал по письму Берга*6*. Если ж ничего не сделал, то сделать*. *Прекрасное* для тебя в этом случае: победа над ленью и рассеянностью, услуга добрым людям и мне одолжение.

Обними за меня Блудова, и Кавелина, и Уварова. Приложенное письмо отдай Жихареву7.

**282.**

**А. И. Тургеневу**

*<Конец июня 1816 г. Дерпт>*

Ты пишешь ко мне очень коротко и спешишь без памяти дописать.

Так точно и я буду писать к тебе.

Мало того, что Фору обещана свобода, надобно дать ее. Тебе стоит черкнуть два раза пером или заставить Боголюбова1 черкнуть, чтобы выхлопотать для человека то, от чего, может быть, зависит его судьба. Черкни же.

Ты ленивец, обвиняешь ленивца Сиверса2; между тем экземпляры бедного Берга лежат и гниют. Крикни на Сиверса. Это еще легче, нежели написать записку. Пришли стихи и скажи слова два о празднике3.

Обними Блудова и вели ему написать ко мне.

Чтобы разделаться со скукою, вспомни наш последний разговор и исполни то, что мы думали вместе. Я здесь оживаю, но надолго ли? Увидим.

Деятельность = жизни Я = твой теперь = навсегда.

1. *NB*. Все мои письма для тебя, Блудова и Кавелина и наоборот.
2. *NB*. Объятие Уварову, Северину, Жихареву.

**283.**

**П. А. Вяземскому**

*29 июня <1816 г.> Дерпт\**

Дерпт. 29 июня

Милый друг, твое несравненное письмо от 24 апреля получил я в половине июня. Черт знает что сделалось с почтою; все письма пропадают. Ты напрасно делаешь, что посылаешь мои письма через Петербург. Адресуй прямо на мое имя в Дерпт. Я буду получать верно. Известие твое о смерти прелестной Александрины1 тронуло мое сердце, а то чувство, с каким ты говоришь об ней, заставило меня еще более полюбить тебя. Потеря ее как будто и для меня потеря. Я помню, когда мы вместе с тобою остановились у ее дверей. Она велела тебе сказать мне, чтоб первая баллада, которая будет мною написана, была посвящена ей: я исполнюэто завещание. Прекрасное — предмет поэзии; а что же прекраснее души, которая выше всякого страдания здешней глупой жизни.

Я еду в Ревель2. Оттуда буду писать к тебе, друг милый, добрый и благородный. Эти три наименования даю тебе от полноты сердца, совершенно к тебе привязанного. Я писал к тебе мало оттого, что во всё это время странствовал и теперь еще буду целые два месяца странствовать: сперва в Ревель, оттуда поеду по некоторым лифляндским провинциям, осматривать здешние древности, которых здесь довольно.

Получил ли ты все экземпляры? У тебя должно быть 150. Если от первой части есть в остатке 8 экземпляров, то прошу тебя немедленно отправить их в Петербург и адресовать на имя е<го> б<лагородия> Василья Тимофеевича Кашкина3# (# В доме главной аптеки, близ Мраморного дворца, в Большой Миллионной). Он сделал глупую ошибку: десять экземпляров, на которые подписался граф Румянцев4, отдал другим подписчикам и у него теперь нет ни одного экземпляра, итак, прошу тебя доставить ему поскорее 8 экз<емпляров>;

остальные два посылаю я. Если все экземпляры второй части получены тобою, то и из них пошли 8 экз<емпляров>. Если же не все, то я напишу к нему, чтобы это число у себя оставил. Хорошо бы ты сделал, когда бы похлопотал об исполнении моей давнишней просьбы. Что отвечал тебе Каченовский?5 Ни от него, ни от тебя нет мне никакого ответа. Адресуй и письма, и деньги (если будут) прямо в Дерпт на мое имя. Прости. Батюшкова обнимаю.

*Жуковский*

Если у тебя уже нет ни одного экземпляра, то прошу тебя немедленно уведомить об этом Кашкина, дабы он тебе все экземпляры сполна мог доставить. Черт побери подписку! Никогда впредь не возьму ничего выдавать по подписке.

**284.**

**Г. Р. Державину**

*<29 июня 1816 г. Дерпт>*

М<илостивый> г<осударь> Г<аврила> Р<оманович>. Я имел честь получить письмо В<ашего>го в<ысоко>пр<евосходительства> и приложенный при нем экземпляр Ваших сочинений1. Отвечаю несколько поздно по той причине,

что меня не было до сих пор в Дерпте: и письмо и экземпляр доставлены туда в мое отсутствие. Приношу мою сердечную благодарность за драгоценный Ваш подарок. Ваши стихотворения — школа для поэта. Но, читая их, только скорее научишься узнать собственную слабость свою. Искусство бессильно; оно никогда не поспеет за гением. Вам назначено быть неподражаемым.

Примите уверение в том почтении, которое питаю к Вам в глубине сердца. Честь имею быть В<аше>го в<ысоко>пр<евосходительства> покорнейшим слугою.

*Василий Жуковский*

**285.**

**А. П. Киреевской (Елагиной)**

*<4 июля 1816 г. Дерпт>*

Я сейчас возвратился из путешествия в некоторые Лифляндские стороны1 и получил Ваши письма, милая сестра. На них короткий ответ:

Обнимаю Вас от всего сердца за то, что Вы к нам *не едете.* Я боялся до смерти, что эта поездка будет Вам дорого стоить; что Вы себя расстроите и тогда какое было бы горькое чувство знать себя этому причиною. *Не ехать* есть тяжелое для Вас пожертвование и как не чувствовать к Вам благодарности за это пожертвование.

На счет наш будьте покойны, всё идет очень хорошо. Я теперь *уверен*, что Маша будет иметь *возможное* счастье. То, что я писал к Вам прежде, было справедливо, но только тогда, когда я писал. Теперь всё уладилось2. Писать о таких обстоятельствах никогда не дóлжно. Вечно напишешь не то, что есть, ибо нельзя написать *всего* совершенно. Не имейте на счет наш ни малейшего страха. Я желал бы, чтобы Вы побыли здесь только *для того, чтобы успокоиться* совершенно. Поверьте *мне* и будьте спокойны.

Об человеке, которого я имел в виду3, думать нечего: он имеет величайшие способности, великий ум и знания, необыкновенную душу; но *вверить* ему воспитание нельзя, ибо я не могу поручиться за его постоянство и терпение. Если их не будет, то все его качества, сами по себе прекрасные, не будут нисколько полезны детям и еще могут быть им вредны. У меня есть еще человек в виду, менее блестящий, но, может быть, более надежный. Знаю его по одним хорошим рекомендациям; но постараюсь узнать его лично. Тогда и решусь на

что-нибудь.

У меня в голове бродит великий замысел, но об этом *поговорим*.

Когда *поговорим*? — Я буду к Вам после возвращения Саши в Дерпт!4 Дождаться ее необходимо. Без меня будет здесь опять каша. Устроив всё, отправлюсь к Вам. И тогда *поговорим*.

Прошу быть осторожнее в Ваших ко мне письмах. Их без меня распечатывают. И едва последнее письмо Ваше не попалось в руки. Тогда была бы порядочная история.

Мы нынче едем в Ревель, где пробудем полный месяц и будем плавать в морской воде, укрепляющей душу и тело. С берегов Балтийского моря будет к Вам от меня первая весть.

Анета, Катя, Вася, целую вас. Дочка моя крестная, милая моя незнакомка, благословляю ее! Ванюша, Петушок и Машинька, милые мои друзья, всех вас крепко прижимаю к сердцу и люблю. Осенью или зимою я с вами. Милая Наталья Андреевна, здравствуйте5.

Анета милая, благодарю Вас за Ваши *материнские* хлопоты обо мне6. Хорошо мне жить у Вас за душою. Буду об этом писать из Ревеля. Получили ли Вы вторую часть? И нравится ли Вам мое издание?

Скажите, ради Бога, отчего ни одна из вас так давно ни слова о нашей Марье Алексеевне? Когда увидите ее, напомните ей обо мне, как о человеке, который всей душою любит ее. Напомните обо мне и Елене Ивановне7.

**286.**

**А. И. Тургеневу**

*<4 июля 1816 г. Дерпт>*

Милый друг, два слова, ибо писать более некогда: я укладываюсь, еду со *своими*1 через два или три часа в Ревель; писать надобно еще много писем, и все будут самые краткие. Ты должен одолжить меня весьма много. Напиши вторичное письмо к киевскому архиерею, в котором попроси его оказать в *случае нужды* помощь Александре Андреевне Воейковой. Прошу тебя не полениться и тотчас написать это письмо. Она теперь в Киеве2; осталась там одна; могут случиться такие обстоятельства, в которых ей нужна будет помощь; может случиться недостаток в деньгах и пр. и пр. Письмо свое адресуй следующим образом: *его высокоблагородию Ясону Савичу Бажанову*3*, господину почтмейстеру в Киеве, для передачи Александре Андреевне Воейковой*. Можешь написать к ней самой два слова; в этот пакет вложи письмо к архиерею, дабы вместе с твоим письмом могла она к нему явиться. Это на случай; может быть, и не будет нужды твоим письмом воспользоваться. Если же оно пригодится, то для тебя же лучше: ты окажешь тогда помощь лучшему в свете творению.

Обо мне не беспокойся. Мои обстоятельства хороши, ибо всё идет как *дóлжно*.

Когда увидишь Николая Михайловича, пожми хорошенько его милую руку, и Екатерине Андреевне4 скажи мое сердечное почтение. Через Дерпт проехал граф Сергей Петр<ович> Румянцев5. Он был у меня, потом я просидел у него целый вечер с Моргенштерном и Парротом6. Мы много говорили о нашем Николае М<ихайловиче>, которому он кланяется. И Полетика7 был у меня; я благословил его в путь. Жаль мне очень, что не увижу Софьи Петровны8. Я буду на дороге в Ревель в то время, когда она проедет через Дерпт. Так же точно пропу-

стил я и княгиню Гагарину9; меня не было в городе. Июль и август весь проведу в странствии. Июль — в Ревеле; август — в Венденской округе, в которой буду бродить по развалившимся замкам, из которых некоторые весьма живо напоминают кротости блаженного царя Ивана Васильевича10.

Обними Блудова, Уварова и Кавелина, Жихарева-кавалера11 и Северина.

Что ж Жихарев не скажет мне ни слова о бумагах Азбукина?12

Уткин13 просил тебя похлопотать за него у князя Голицына. Сделай это, прошу тебя. Приложенное письмо к нему перешли поскорее. Нужное. Я не знаю, где он теперь: в доме ли Катерины Федоровны14 или в Академии. Похлопочи об пересылке.

**287.**

**А. А. Воейковой**

*5 июля <1816 г.> Ревель*

5 июня. Ревель

Вот мы в Ревеле1, милая моя Саша. Как мы все разъехались! Года два тому назад можно ли было нам вообразить, живучи в Муратове в одной кучке, что мы так разбредемся, что между тобою и нами будет почти целая Россия. Между тем как ты сидишь на берегу Днепра — весела ли, здорова ли, Бог знает! но Он у тебя добрый сторож!

Мы весело сидим на берегу Балтийского моря. Оно у нас под окнами; мы еще не видали его во всей красоте, ибо небо пасмурно, осенний дождик портит лето, но всё оно, как новое, величественное явление, имеет большую прелесть. Перед нами целый ряд военных кораблей, правда, неоснащенных, и некоторые из них уже инвалиды, но всё вид прекрасный. За этим фрунтом морских великанов поднимается на крутизне Ревель; над кучею домов старинная крепость

с башнями — на горизонте синеют острова и мелькают корабли, уходящие и приходящие, — с другой стороны крутой берег, каменный и голый, и к нему примыкает прекрасный Екатерининталь, с прекрасными каштановыми деревьями, кленами, дубами и дворец Петра Великого2. На дворе у нас также садик, прекрасный, тенистый. А в домике нашем одушевленная радость-Катюшка, которая так же, как и все мы, купается в морской воде. Всё это очень хорошо — но где же ты? и когда мы увидимся? Я воображаю тебя за рисованием, в маленьком домике, с грустью, но без скуки. Пускай же сидит подле тебя *Надежда*, не надежда-фантазия; но сестра смиренная, тихая, источник великого, причина веры и добродетели, нам бодрость, и мужество, и силу дающая. Она не будет говорить *чего* и *когда* ждать тебе, но будет твердить, что *верно* желанное будет, и что доброе никогда погибнуть не может, и что всё в жизни к прекрасному средство3. И с кем ей говорить, как не с тобою! Одно условие: не терять бодрости. Прости, дружок; обнимаю тебя от всего сердца. Мне много надобно поговорить с тобою и *о себе*! Но дай собрать мысли. Где теперь твой муж, есть ли от него вести?4

**288.**

**А. И. Тургеневу**

*17 августа <1816 г.> Дерпт*

17 августа. Дерпт

Я опять в Дерпте и спешу тебе отвечать. Я получил твое письмо в Ревеле. Не вини меня, милый друг, что отвечал тебе не тотчас; ты знаешь, что обыкновенно делается с моими и твоими письмами и как они пишутся. Даже и изве-

стие о кончине нашего общего благодетеля1 не победило меня. Ну, брат,

Час от часу пустеет свет, Пустей дорога перед нами2.

И ты просишь от меня стихов в честь его памяти!3 Я напишу их, но так же точно, как писал о твоем и моем отце4, в такую минуту, в которую душа будет более достойна прошедшего, живее, выше. Теперь стихи, то есть *хорошее*, из нее не льется. Дай воскреснуть. Но не относи этого состояния к известным тебе обстоятельствам. Они в порядке. Я тебя не обманываю: *здесь* всё идет как дóлжно, и я не могу ни в чем себя упрекать. Суди обо мне по себе. Со мною, кажется, делается точь-в-точь то же, что с тобою. Когда же мы опять выпрыгнем из этой грязи?

Прости, друг бесценный. Когда воротится ко мне вдохновение, и писать буду к тебе более. Обнимаю тебя.

Твой верный

*Жуковский*

Обними Уварова и Кавелина. Уведомь об них.

К Блудову я не писал еще ни разу. Что ж мне делать с этою ленью, которая и меня, и его мучит, меня сушит, а его пучит?

Здоров ли он? Не сердится ли на меня? Уверен ли, что я могу любить его молча?

Где Жихарев? Возвратился ли из Москвы? Попроси его написать ко мне.

Правда ли, что ты д<ействительный> статский советник?5 Если правда, то купи мне и поскорее пришли «Ундину»6. Весьма, весьма одолжишь. Она мне очень нужна.

**289.**

**А. И. Тургеневу**

*24 августа <1816 г.> Дерпт*

Милый друг, я к тебе с просьбою. Брат Воейкова1 живет в Петербурге по делу, которого счастливое окончание должно дать им обоим 1000 душ или более. Дело по всем рассказам справедливое; и ты, как пишет петербургский Воейков к дерптскому, можешь иметь на ход его большое влияние. Но Воейков жалуется на твою холодность. Если ты холоден к его персоне, то я молчу и повторяю стих Карамзина:

Увы! насильно милым Не будешь никому2.

Если же ты холоден к его делу, то постарайся разгорячиться и вступись в него, то есть когда оно справедливое, постарайся, чтобы оно скорее было кончено. Воейкова состояние расстроено; 500 душ будут весьма кстати. Чтобы придать тебе жару, прибавлю: его жена и дочь — мои крестницы. Подав им помощь,

ты поможешь *моей* семье. Обнимаю тебя.

*Твой Жуковский*

Опять повторяю просьбу об «Ундине». Она продается и отдельно, и с другими повестями, напечатанными в четырех книжках под титулом «Die Jahreszeiten»3. Купи для меня все, если найдешь. Очень, очень буду обязан. Чтобы раз-

задорить тебя, скажу, что эта книжка нужна моей Музе.

24 августа. Дерпт

Я забыл тебе написать, что уже месяца три, как я получил от Дерптского университета докторский диплом (почетный)4.

**290.**

**А. И. Тургеневу**

*<Первая половина сентября (до 16-го) 1816 г. Дерпт>*

Милый друг, ты не отвечаешь мне на мои письма. Я просил тебя уведомить меня о ходе дела Воейкова1; ты ни слова. Отложи свою лень и напиши об нем поподробнее. Не упусти случая похлопотать за мою крестницу; дело, сколько я знаю, правое. От тебя отчасти зависит, чтобы оно решено было скорее. Помоги ему.

Я здесь совсем огерманился. Не знаю ничего, что делается на сцене русской словесности. Вяземский писал ко мне, что за меня была ссора в журналах2.

Я об ней и понятия не имею. Ты завладел моим «Сыном Отечества», и Лаврушка читает его с гордою беспечностью и подтирает им твою, а не мою *жопу*. Я здесь только радуюсь «Харьковским Демокритом»3.

Начинаю понемногу писать. Что пишу, о том ни слова. Пора перестать мне обо всём наперед рассказывать. Но ты не получишь ничего по тех пор, пока я не получу от тебя «Ундины» и ответа на запрос мой по делу Воейкова.

Возвратился ли Жихарев? Поклонись ему и попроси его, чтобы написал ко мне; да чтобы не забыл возвратить мне бумаги Азбукина.

К Блудову не иначе буду писать, как со стихами; просто не смею, потому что слишком верно плачу ему за его молчанье своим молчанием. Обнимаю его с стесненным сердцем. Мне очень больно, что я к нему не пишу. Но что же делать, надобно покориться судьбе своей; а моя судьба — лень.

Обнимаю Уварова. Что ж вы замолкли о Фесслере?4 À propos[[244]](#footnote-244), правда ли, что у вас затевается опять Азиатская академия?5 Если так, то у меня есть наготове один страстный любитель Востока6, которого рекомендую Уварову.

Прости.

Твой *Жуковский*

**291.**

**А. П. Киреевской (Елагиной)** *15 сентября 1816 г.*

Что Вы примолкли? Уж не сердиты ли на меня, друзья! Милая Авдотья, я сделал большую глупость, написавши к Вам о том, что случилось с письмом Вашим1: верно, Вы огорчились; а это не стоит того, чтобы огорчаться. Вот Вам способ забыть мою глупость. Имею честь донести Вам, что у меня есть на примете учитель, весьма знающий и весьма хороший человек2. Его рекомендовали верные люди. Он может учить: древним языкам (латинскому и греческому, и я желаю, чтобы дети этим обоим языкам учились), немецкому, французскому (только грамматически, а не говорить), истории, географии, математике. Он немец, следовательно будет учить основательно. Он тихий, скромный и застенчивый человек, следовательно будет *любить* учебную комнату и приучит детей любить ее, т. е. приучит их *трудиться*. Остальное, то есть привычку к *добру*, даст им несравненная их мать, а он ей в этом поможет. Я еще не знаю, чего он потребует в год; когда узнаю, донесу Вам; а когда всё сладится, привезу его с собою в Долбино. А в Долбине сделаем план вместе, напишем, подпишем, велим засвидетельствовать попу, и положим в церкви на престоле. Вот Вам и еще спо-

соб забыть мою глупость: посылаю Вам письмо, полученное мною из Сибири.

Спросите *Азбукина* о сочинителе этого письма; он знает его обстоятельства. Вам же, мои милые сестры, посылается оно для того только, чтобы вы с своей стороны подали также помощь М<ещёвскому>3 Одна из вас должна быть секретарем прочих, должна написать к М<ещёвскому> две строчки по адресу, в его письме назначенному; может она не подписывать имени, а приложить при двух строках небольшую сумму денег, общими силами собранную и damit Gott befohlen[[245]](#footnote-245). На адресе лучше не выставлять имени М<ещёвского>, а вложить его пакет в другой, который послать Корсунскому4. Виват поэзия! она спасает и ссыльных! Не худо бы и Плещеевых заманить на складку; но прежде дóлжно спросить у Негра, за что он не отвечает мне на четыре письма моих?5

Простите, целую вас всех.

*Ж.*

**292.**

**А. И. Тургеневу**

*<Первая половина сентября 1816 г. Дерпт>*

Посылаю тебе требуемое тобою письмо; не знаю, годится ли. Но скажи мне, нужно ли писать мне это письмо? Ты хочешь представить государю книгу мою через министра просвещения1: всего бы приличнее ему самому и обратить на нее внимание государя. А мне как подносить ему такую книгу, которая с год как напечатана, и напечатана по подписке, и роздана же от меня самого многим? Министр может и имеет право представить ее, как новое произведение литературы, сказать об ней свое мнение и проч. А мне с какой стати писать об ней? И как ни будь написано мое письмо, всё оно будет как будто просьба. Впрочем, могу я ошибиться. Вот письмо: делай с ним что хочешь. Вели переписать и подпиши мое имя.

В начале декабря я буду в Петербурге. Приеду на 1½ месяца; потом отправлюсь в Дерпт, и из Дерпта в Белев2. Прошу у тебя позволения привезти с собою одного из здешних моих знакомых, Вейрауха3. Он не стеснит тебя: он будет жить в моей горнице; а ты можешь быть ему полезен. Это человек с необыкновенными дарованиями, поэт в обширном значении сего слова; следовательно

с многими странностями, к которым наперед прошу тебя быть снисходительным. Уведомь меня, могу ли его привезти с собою?

**293.**

**Императору Александру I**

*<Первая половина сентября 1816 г. Дерпт>*

Всемилостивейший Государь!

Осмеливаюсь повергнуть к священным стопам В<ашего> И<мператорского> В<еличества> слабые труды свои. Не льщу себя надеждою, что они обратят на себя внимание Ваше, всемилостивейший Государь; но смею думать, что

чувства, изображенные в некоторых стихах моих, посвященных славе отечества, дают мне право желать сего внимания.

Смею думать, всемилостивейший Госуд<арь>, что писатель, уважающий свое звание, есть так же полезный слуга своего отечества, как и воин, его защищающий, как и судья, блюститель закона. Одобрение Государя освящает труды его; быть достойным сей награды есть добродетель писателя; стремиться к сей прекрасной цели есть обязанность. В священном одобрении Государя заключено

одобрение отечества: оно дает право на уважение современников и потомства.

Всем<илостивейший> Госуд<арь>! Одно из стихотворений своих дерзнул я украсить Вашим именем. Если удостоите обратить на него внимание, то поверите, что оно произведено искренним, свободным чувством, а не ласкатель-

ством. Стихи:

Всё сладкое для сердца, честь, свобода,

Великость, слава, мир, отечество, алтарь, Всё, всё слилось в одно святое слово: Царь!3

сказаны не поэтом, а восхищенным подданным Царю добродетельному, от лица

всего народа.

Вашего Импер<аторского> Вел<ичества> верноподанный

*Василий Жуковский*

**294.**

**П. А. Вяземскому**

*<Сентябрь 1816 г.> Дерпт\**

Я получил твою диссертацию о том литературном урыльнике, в который должны испражняться и стихами и прозою наши искуснейшие парнасские за-

сери и ссаки1. Ты так хорошо расписал этот урыльник, что я готов назвать его вазою и чем хочешь. Но что ни говори, журнальные хлопоты меня ужасают. И поверь, что не лень причиною этого испуга. Будучи в Петербурге, я слишком неосторожно и ветрено решался на издания: хороший журнал, такой, какой ты предполагаешь, есть предприятие геркулесовское. Надобно угодить *нашей* публике, следовательно и петербургским строгим ценителям, фрондерам и уездным невеждам, но, угождая, не быть их рабом; давать им разнообразную пищу,

соваться во все углы как угорелая кошка, но не быть угорелым, иначе попадешь в толпу смешных или презренных. Для того чтобы такая работа была успешною, надобно иметь множество таких сведений, каких я не имею и уже иметь не могу. Мне остается сделать *хорошо* то, на что я *способен*, а браться за дело, превышающее силы, обманывая себя прекрасною мечтою обширного влияния, было бы безрассудно. Я согласен, что некоторая принужденная работа была бы мне полезна, — я более бы работал; но это еще не довольно достаточная причина для того, чтобы быть журналистом. В теперешнее же время журналистом быть

труднее, нежели прежде; как наши *вообще* ни глупы, но всё уже требования сделались обширнее. Ты берешь за образец «Меркурий»2; но «Меркурий» журнал критический — у нас всё еще такой журнал существовать не может! Выйдут в год полторы книги — что за пища для критики?

Если бы ты и Батюшков согласились мне усердно *помогать* и всё, *что напишете, исключительно берегли для меня*, то каждый год выдавал бы я по книжке, в которой были бы все оригинальные пиесы в прозе и стихах, на выбор. К нам бы пристал и Дашков и всё что есть лучшего между русскими писателями — за превосходство такого издания можно бы отвечать! И эта работа не помешала бы другим, которые у меня идут медленно, но идут, и шли бы постоянно, и если влияние будет не столь обширное, как влияние журнала, то всё оно *будет*! По крайней мере, можешь быть уверенным, что то, что будешь делать, таково, каким оно быть должно! А взявшись выдавать журнал, я наперед буду уверен, что журнал будет посредственный! Может быть, я имею талант для поэмы, но сведений, нужных для издания журнала, точно не имею и начинать копить их, напечатав публикацию, поздно. На что ж бросаться за верным неуспехом, прельстясь титулом журналиста, тогда как с другим менее затейливым титулом можешь иметь верный успех. Если у тебя лежат на сердце моя слава и мой карман, то решись быть *моим*, подговори и Батюшкова: берегите всё для меня! Я буду копить свое — и каждый год будет у нас выходить прекрасная книжка, которую будут читать с жадностью *все*, ибо в ней будет хорошая пища для *всех*! Прошу отвечать на это. А я подумаю о плане, и ты об нем подумай.

Любезный Вот я вас!3 Я начинаю думать, что наши арзамасцы хорошо сделали, что пожурили твои дорожные стихи! Это удар огнивом по кремню; они высекли из тебя прекрасную искру. И имею честь тебя уведомить, что эта искра так понравилась одному из здешних немцев, что он перевел ее на немецкий диалект!4 Он же перевел и твою сатиру «Вечер»5. И тот и другой перевод очень верны, и я тебе их доставлю, как скоро получу список. А тебе, наш достойный Староста, позволяется быть сердитым на Арзамас только в прекрасных стихах — в прозе ж и в сердце будь ему верен. Обнимаю тебя душевно.

Вяземский, уведомь, когда располагаешься ты ехать в Петербург. Я бы давно там был, но доканчиваю «12 спящих дев». Еще работы на неделю. Не докончив, ехать не хочу6.

**295.**

**А. И. Тургеневу**

*2 октября 1816 г. Дерпт*

2 октября 1816 г. Дерпт

Благодарю за «Ундину», милый друг, и опять повторяю мою просьбу о деле

Воейкова1. Твой ответ для меня совсем неудовлетворителен. *Неуверенность* в справедливости дела не может быть для тебя решительною причиною от него отказаться. Если ты сомневаешься только в этой справедливости, то еще не можешь знать ничего наверное. Сперва узнай, потом действуй, как тебе велит твоя

совесть, но прежде никакого не имеешь права мне отказать на мою просьбу. Дело теперь опять в ходу: как оно опять пошло в ход, до этого мне и тебе нет нужды. Оно должно быть решено в пользу правого. И я требую только от тебя того, чтобы ты помог ему решиться по правде. Если оно решится в пользу Воейковых, то спокойствие целой семьи будет утверждено; это для меня самое важное, следовательно и для тебя. Подумай об этом и будь деятелен. Ты нужен здесь именно потому, что справедливость твоя надежна и не поколеблется ни в каком случае. Я требую от тебя не покровительства Воейкову (Ивану). Думай

об нем как хочешь; это не касается до его дела, в коем не он один участник; дело его должно решиться так или иначе; но чтобы оно было решено *надлежащим* образом, в пользу правого, для этого нужно твое пособие, и ты не имеешь права отказаться от этого пособия под предлогом *неуверенности*. Воейков послал к Кавелину записку об этом деле; прочитай ее, потом рассмотри самое дело, а поступай как должно, только не откажись. Прости. Скоро увидимся. Теперь пишу стихи, то есть «Искупление»2. Скажи об этом Блудову: эта баллада будет посвящена ему. Когда кончится, тогда и он получит от меня письмо. Обними арзамазцев. Скажи мой сердечный поклон Н<иколаю> Мих<айловичу> и Екатер<ине> Андреевне3.

Я был недавно у пастора Берга4 в гостях. Чудеса. Эта Ульрих, о которой он писал5, предсказала еще в конце 1815, что в начале нынешнего года откроется в ней чахотка, — так и случилось; чахотка началась, кашель ужасный продолжался несколько месяцев. Ее опять магнетизировали, и в магнетическом сне она *предсказала*: что в такой-то день она, с опасностью потерять жизнь, выплюнет часть легкого; что после заснет 7-минуточным сном, в продолжение коего рана в легком закроется, и что по окончании она совершенно выздоровеет. Всё сбылось; сон начался и кончился в назначенное время; кашель миновался; чахотки нет. Я слышал всю эту историю от графа Дунтена6, в доме которого она заснула и проснулась. Всему этому множество свидетелей, и никакого обмана быть не может. Толкуй как хочешь.

**296.**

**А. И. Тургеневу**

*21 октября <1816 г. Дерпт>*

21 октября

Если *хочешь*, чтоб я кончил «Певца»1, то пришли его мне; у меня нет списка; пришли скорее. Я писал к тебе и Вяземскому в Москву о причинах, которые мешали мне кончить эту пиесу, по моему мнению слабую. Но теперь, когда го-

сударь *должен узнать об ней*, вижу, что кончить ее надобно. Не надеюсь, однако, на большой успех. Вспомни, что она писана была *в одно время с Посланием*2, в уединении… Того, что уже написано, я бы теперь написать не мог; но слава Богу, что оно уже написано с искренним бескорыстным чувством, без всякой другой побудительной причины, кроме удовольствия писать. Что осталось, то

одно *общее*. Мне было бы тяжело думать, что такая пиеса написана для какихнибудь личных видов, и сохрани Бог мою чистую, посвященную благородным друзьям моим лиру от всякой заразы корысти! Присылай — я кончу!

Я не удивляюсь, что ты недоволен письмом моим3. Может быть, что в нем много неприличного. Но зачем же ты не объяснился? Надеюсь, что ты ничего не нашел неприличного в том чувстве, с каким оно написано. В этом случае заслужить твое неодобрение было бы для меня тяжело, и я бы удивился, когда бы заслужил его. Милый друг! Тот свет, который я сам для себя составил, в котором заключены *все* мои судьи, очень немноголюден. С ошибками против слога,

смысла, приличия и тому подобного мне весьма легко показаться в этом маленьком свете; но со стороны нравственности хочу быть в нем чист со всех сторон. Ты, Карамзин, Вяземский, Блудов (и несколько милых женщин): вот мои судьи, против которых нет апелляции. Без мысли о вашем одобрении не может быть счастья. Мне весело думать, что *ты* обо мне хлопочешь. Очень было бы хорошо, когда бы то, что ты затеял, и о чем я не имею понятия, совсем обошлось без письма моего. Неужели дóлжно непременно *просить* внимания? Довольно того, чтоб его стоить! Внимание государя есть святое дело. Иметь на него право могу и я, если буду русским поэтом в благородном смысле сего имени. А я буду! Поэзия час от часу становится для меня чем-то возвышенным… Не надобно думать, что она только забава воображения! Этим она может быть только для петербургского света. Но она должна иметь влияние на душу всего народа, и она будет иметь это благотворное влияние, если поэт обратит свой дар к этой цели. Поэзия принадлежит к народному воспитанию. И дай Бог в течение жизни сделать хоть шаг к этой прекрасной цели. Иметь ее позволено, а стремиться к ней — значит заслуживать ободрение государя. Это стремление всегда будет в душе моей. Работать с такою целью есть счастье; а друзья будут знать, что я имею эту цель, — вот награда! Прости! Жаль мне очень, что ты не позволишь мне привезти Вейрауха. Скажи, будет ли место и мне? Я всё забывал спросить у тебя: что ты сделал для Ковалькова4, того молодого человека, о котором писал Иван Володимирович к князю? И сделал ли что-нибудь?

Брат! Это завещание нашего доброго благодетеля надо исполнить во всей силе его. Напиши к Ковалькову. Он должен быть в Орле; об нем можно узнать от Губарева, к которому адресуй письмо: *Орловской губернии в городе Кромах*.

Прости! Обнимаю тебя! Обними Блудова, Уварова и Жихарева. Я пишу усердно «Искупление»; написано более половины. Пиеса будет так же велика, как и «12 спящих дев»5, и, кажется, хорошо. Между тем написал, т. е. перевел с немецкого, пиесу под титулом «Овсяный кисель»6; не думай, чтоб этот кисель был для «Арзамаса»; нет, но надеюсь, что он покажется вкусным для арзамасцев, хоть и не разведен на бессмыслице. Это перевод из Гебеля, вероятно, тебе неизвестного поэта, ибо он писал на швабском диалекте и для поселян. Но я ничего лучше не знаю! Поэзия во всём совершенстве простоты и непорочности. Переведу еще многое. Совершенно новый и нам еще неизвестный род.

À propos[[246]](#footnote-246): нельзя ли попросить Алексея Николаевича Оленина сделать виньету для «Певца»?7 Вот мысль: Всевидящее око в небесах; лучи его ударили на землю, и тучи разлетелись, и полшара в сиянии; в удаляющихся тучах гаснут молнии.

Бываешь ли ты у Брея?8 Я желал бы, чтобы ты познакомился с его семьею.

За что ты в неудовольствии на Петерсена?9 Он не должен быть помещен в число Вальтера и Вебера10. Его докторство законное, так как и Тидебеля11. И тот, и другой были экзаменованы как дóлжно. Они хорошо учились и знают свое дело. Будет очень больно, если их не отличат от прочих. Это пятно будет незаслуженное. Осуждая виноватых, щадить университет! Он и без того упадает, и упадает, потому что правительство отняло от него свою руку12. Неужели всему дóлжно у нас, не созрев, разрушаться? Неужели России дóлжно быть грудою развалин, покрытых лаврами, которые засохнут? Ковалькова зовут Александр Иванович.

Оленина попроси о виньете от себя, а не от меня.

**297.**

**П. А. Вяземскому**

*23 октября <1816 г. Дерпт>\**

Две тысячи получил и благодарю тебя — весьма, весьма вовремя собрался ты законопатить мой износившийся карман. В дырки его начинали сыпаться

чужие деньги. Теперь я порасквитался с своими долгами, и у меня на поездку в Петербург осталась тысяча. Разочтемся: присланные тобою деньги суть уплата за Каченовского — не так ли? Ты получил от меня 150 экземпляров, за кои уже и выдал мне тысячу. Из этих 150 десять возвращены в Петербург; сколько роздано даром, я не помню; но на всякий случай думаю, что могу еще ожидать от тебя 1500 рублей. По-настоящему, их бы мне не надобно было от тебя ожидать: я должен тебе более этой суммы. Но у меня совсем не будет денег в Петербурге. Следовательно, ты должен на мне подождать и постараться в половине или в конце декабря прислать мне эту сумму на берега Невы, на коих, в противность прежнему расположению моему, я буду в начале декабря месяца1. Если ничто не переменит планов моих, то в половине января я отправлюсь оттуда в Белев или через Дерпт, или прямо. Разумеется, что поеду через Москву: при свидании расположим свое будущее.

Тургенев тянет тебя в хомут просвещения2. На это не скажу ни да ни нет.

Что для тебя выгоднее, то и сделай. Я требую одного: пиши! То есть не урывками, не так, как описывает Батюшков, за час до балу и с час после балу. Если ты не решишься быть *русским писателем* во всем достоинстве этого имени, то и мне можно будет плюнуть на лиру. Ты имеешь возможность дать сиятельству своему прямое сияние. Плана журнала я не одобряю3. Это один из самых тяжелых хомутов, какие только бывали на плечах скотских и человеческих. Тысяча забот и неприятностей: работа на срок, хлопоты о подписке, рассылка экземпляров, необходимость заниматься пустяками для того только, чтобы угодить *всем* вкусам и дать разнообразие эфемерным книжкам, которые прочтут да и к жопе; а самое худшее есть рабство, глупая зависимость от публики, которая каждую субботу или в начале каждого месяца будет около тебя толпиться, судить тебя, а ты стой перед нею с своею книжкой, как заклейменный у столба. У меня есть планы кроме журнала, и я постараюсь их исполнить.

Прошу не сердиться на мои похвалы. Ты знаешь, что я не спускаю твоим ошибкам. Хваля тебя, я говорю *вообще* о твоем стихотворном характере, и тебе нельзя мне не верить, да ты и веришь, даром что скромничаешь.

Тургенев пишет ко мне, что Арзамас открылся4 — Арзамас, Арзамас, если забуду тебя, да будет забвенна десница моя! О, Арзамас со временем будет делом важным. Надобно его устроить. Но скажи мне, у кого обретаются журналы и речи, отданные мною Карамзину? Целы ли они? Если потеряны, то это безбожно и непростительно! Уведомь об этом важном пункте.

Прости. Обнимаю тебя. Прилагаю письмо от Воейкова и его стихи5. Я коечто написал6. Тургенев требует «Певца», и причины его так убедительны, что я нехотя согласился доканчивать, несмотря на те причины, о коих тебе писал7. Но совсем не надеюсь кончить удачно. Между тем и *искупление* 12 спящих дев почти совершилось8; желаю очень, чтобы оно было угодно твоей стихотворче-

ской мудрости. Прости.

Твой *Жуковский*

23 октября

Стихов твоих у меня нет!

**298.**

**А. П. Киреевской (Елагиной)**

*23 октября <1816 г. Дерпт>*

Милая сестра, Вы сердитесь на меня понапрасну! И точно, я имею *право* упрекать Вас за те выражения, которые Вы на счет мой употребляете. Вы забываете, что вините меня в недостатке лучших чувств, в недостатке привязанности к Вам, тогда, как мы розно, тогда, как я никого не могу так много любить и уважать, как Вас. Не стыдно ли? Да у Вас же два письма моих, на которые не было мне ответа. В одном послано было к Вам письмо Мещёвского1, с просьбою возвратить

его мне как можно скорее. В другом послано условие Цедергрена2, учителя, которого я для детей Ваших здесь выкопал. Ответ на оба письма и самый скорый мне нужен, а Вы молчите, да еще и бранитесь, как ни один пьяный фабришный не бранится3: уши не вянут, да сердце слышит и морщится. Голубушка, отвечайте поскорее на эти письма и будьте поумнее. Вам ли не верить моей дружбе? Неужели между мною и Вами может быть расстояние, вымеренное саженями: оставьте это для статистики и для болховского землемера. Но, может быть, и то и другое письмо потеряно на почте! Следовательно, и Анета не получила письма моего!4 Следовательно, все вы на меня дуетесь, как мешки эоловы!5 Господи, помоги мне грешному. На всякий случай, вот содержание этих обоих писем.

В первом просил я от вас помощи Мещёвскому (об нем и его имени узнаете от

Азбукина). Он несчастлив, сослан за дело в Оренбург, но благодаря Богу не унывает, а спасается в объятиях святой Поэзии от отчаяния — надобно помочь ему, и помощь вся состоит в том, чтобы послать ему несколько денег, запечатав пакет

его в другой пакет, адресованный в Оренбург на имя его высокобл<агородия> Александра Васильевича Корсунского6. Писать к нему и подписывать имени не нужно, чтобы не оцарапать больной души. Во втором письме вместе со мною говорит и почтенный Педагогус Цедергрен7, молодой человек, добрый, ученый, весьма неловкий, но имеющий большие рекомендации. Он требует 2000 в год, несколько недель ваканции ежегодно для отдыха, денег на проезд из Дерпта в Долбино, обещается учить: по-гречески, латински, немецки, французски, математике, истории, географии и натуральной истории. Довольно для начала! Его не считать воспитателем, а только наставником! Он, по доброму, солидному характеру, не испортит, а сохранит своих питомцев! Но мать сама должна быть их воспитателем и, слава Богу, что та мать, о которой здесь идет дело, такая, какой не надобно лучше, даром что в письмах зла и несправедлива.

Царь Небесный, посади твоего херувима в это письмо, чтобы оно не пропало на почте! Ты знаешь, Господи, что мне весьма, весьма нужно получить на него ответ и вот почему, Господи! Я еду в начале декабря месяца в Петербург! — Как в Петербург! Ты хотел ехать в Белев! — Господи, ведь мы, люди, думаем, а Ты располагаешь! Я не отдумал ехать в Белев, но мне дóлжно побывать в Петербурге и там пробыть месяца полтора. Твой добрый Тургенев и твой прекрасный Кавелин ко мне пишут и зовут меня за важным делом!8 Но всего важнее то,

что тебе угодно, Господи! Итак, прикажи херувиму твоему донести письмо мое в целости и прикажи ему похлопотать, чтобы на это письмо мне поскорее отвечали: это нужно мне, Господи, потому особенно, что я прежде отъезда из Дерпта условился бы с господином Цедергреном, назначил бы ему срок, к которому

он должен будет приехать в Петербург, и вместе с ним поехал бы в Долбино. Но чтобы *с ним* поехать, Господи, надобно знать, соглашаются ли принять его в Долбине.

Еще, Господи, прикажи твоему херувиму поклониться Анне Петровне, то есть милой Анете (Вы еще не знаете, что за имя Анета!), Катерине Петровне, то есть Катоше, и ее великанчику Васе, и ее крошке Дуняше. Также, чтобы этот херувим не забыл поцеловать свою сестрицу Машу, да братцев Ваню и Петушка. Да чтобы он залетел в Володьково и там нашел двух родных своих и им бы шепнул обо мне два слова9. Благослови же меня, Господи, благослови и их, а я и твой, и их всем сердцем

*Жуковский* Октября 2310

**299.**

**А. И. Тургеневу**

*31 октября <1816 г. Дерпт>*

31 октября

*И я не погибну с вами!*1 Брат, что за слово? С нами! Обвиняй не себя, а свое положение в том чувстве, которое побуждает тебя это писать и думать. Не смешивай самого себя с своим убийственным, рабским положением. Ты вечно останешься прежним, тем, чем ты был в святое время нашей ранней молодости.

Для меня и для *своих* родных друзей ты всегда был и будешь ободрением к лучшему, *меркою* благородства. Несмотря на наше холодное петербургское вместе, я в это время только усилил в душе своей чувство уважения к тебе, и благородство души всегда тесно соединено для меня с твоим воспоминанием. Оно имеет для меня лицо твое. Не ссорься с собою; или, если хочешь ссориться, то ссорься ненадолго, чтобы эти ссоры не отнимали у тебя душевной бодрости. Не суди

о себе по черным или, что еще хуже, по холодным минутам душевного небытия. Это осенние дни: они проходят! Настоящее существо души твоей — *чистота*. Я говорю по опыту: я часто ссорюсь с самим собою; но слава Богу, и мои осенние дни проходят. И надежда на это *непостоянство* их ободрительна. Карамзин тебя любит2 — мудрено ли? Но любовь его есть счастье. И для меня она так же нужна, как счастье. Скажи ему при первом случае (когда будешь с ним обо мне говорить, обняв его за меня как друга и верного товарища во всём прекрасном), что я, сколько мог, сдержал свое обещание, что мне будет можно

спокойно показаться на его глаза и пожать от всей души ему руку. Время, которое мы провели розно с последнего нашего расставания, не оставило на мне пятна. Я бывал недоволен собою, но поступки и побудительные их причины были чисты. Теперь всё устроилось. Дай Бог *чистого* будущего! Кажется, что

оно теперь для меня вернее. Писать как можно лучше, с доброю целью, а жить как пишешь3 — вот и всё!

Я рад несказанно тому неудовольствию, которое наш Арзамасский патриарх4 имел с типографиею: оно разлучило его с нею и передало его Историю в верные руки. Кавелин добрый для него работник.

То, что ты пишешь о князе и Ковалькове, тронуло меня до глубины сердца, и я готов любить этого князя, который так помнит завещание умирающего5. Письмо Ив<ана> Влад<имировича> к князю было как будто предчувствием. Такая нежная заботливость о чужом человеке, такая верность просьбе умирающего для меня чрезвычайно трогательны. Даю тебе слово, что всякое воскресенье буду у обедни у князя6. Более для него я сделать не могу!

Обними за меня Николая. Враг хамов должен быть арзамасцем. Тащи его в Арзамас7.

Поблагодари Жихарева за переписку «Певца» и доставь ему приложенное письмо. Постараюсь «Певца» кончить и конец сделать получше. Не знаю, удастся ли. Переводы из Гебеля8 пришлю; но с тем, чтобы не давать печатать. Я не намерен ничего печатать. Третий том должен состоять из *новых* пиес9. Но из этого выключается «Певец II»10 и продолжение «12 спящих дев»11, которое весьма уже близко к концу и которое должно быть напечатано вместе с первою балладою особо, в виде сказки.

Я очень рад буду, если дело обойдется без письма моего12. На что оно?

Нaдобно получить одобрение государя, а не выпросить. Это одобрение может быть прекрасным идеалом для поэта. Ничем этого идеала помрачать не дóлжно.

Слово о Петерсене: я не знаю, что называешь ты s’encanailler[[247]](#footnote-247). Ему нужно было докторство. Он экзаменовался *как дóлжно* и получил диплом. Как дóлжно, уверяю тебя, ибо я это очень хорошо знаю. Если некоторые формы были упущены, то это не его вина; по крайней мере, он не требовал этого упущения. Другой товарищ его по докторству, Тидебель, человек известный по своим знаниям, благородного характера и всеми вообще уважаемый, так же точно был экзаменован, и так же точно при его произведении в доктора, без его требования, упущены некоторые формы, упущены, потому что были в других случаях упуска-

емы. Беда их в том, что они произведены вместе с Вальтером и Вебером13. Это обратило и на них внимание, для них оскорбительное. Я слышал, что в совете университетском положено уничтожить и их дипломы наравне с Вальтеровым, за несоблюдение формы. Вообще справедливо, но для них жестокая и несносная несправедливость. За что же стоять им на одной доске с Вальтером? Если виноват юридический факультет, то за что им страдать невинным образом? Такой приговор непременно произведет ложное мнение, что *и их дипломы купленные*. Сносно ли это? Мне больно за Петерсена и Тидебеля. Это поношение незаслуженное! Спрашиваю у тебя, будет ли противно справедливости, если вместо того, чтобы уничтожить дипломы, министр определит им только дополнить то, чего недостает в форме, а не уничтожить дипломы по представлению совета? Прошу тебя об этом подумать. Прошу также поверить, что я всё это пишу без ведома Петерсена и Тидебеля (один в Риге, другой в Ревеле); ты можешь сам понять, что в такое дело вмешиваться неприлично и что никто не будет знать о том, что я теперь пишу к тебе. Но если можно спасти честных людей

от тяжкого, незаслуженного поношения, не нарушая справедливости, то ты это сделать должен. Обвиняй профессоров (виноватых), называй их как хочешь, но чтобы эта анафема не падала на всех без изъятия и на весь университет. Здесь есть прекрасные люди. И из верных для меня, даже по убеждению сердца, Паррот14 с твердым умом, с благородным чувством. Назову другого, Эверса, не старика Эверса, это святой15, — а молодого, историка, оцарапанного обветшалыми когтями Шлёцера16. Это честный и прямодушный человек, уважающий свое знание. О Мойере говорить нечего17. Еще есть и другие. А сам университет должен быть для нас святым: за что разрушить его? Отвечай, прошу тебя, на это и возьми к сердцу честь двух честных людей.

Прости; обнимаю тебя братски. Обними Блудова и будь почаще у Брея18.

*Жуковский*

**300.**

**С. П. Жихареву**

*31 октября <1816 г. Дерпт>*

Любезнейший друг, не стыдно ли тебе не отвечать мне на письмо мое?

Я просил тебя уведомить меня, что сделал ты и что нужно сделать по просьбе Азбукина о доставлении ему дворянской грамоты и герба. Ты на это ни слова.

Еще более: я просил возвратить бумаги Азбукина, и всё их не получаю. Стыдись, Громобой! Где бывшая твоя аккуратность? Уж и впрямь, не отдал ли ты дьяволу душу? Присылай, ради Бога, бумаги. Я до смерти об них беспокоюсь. Чужие и важные! Это будет большое для меня огорчение, если как-нибудь они затеряются. Прошу тебя избавить меня от этого беспокойства.

Да напиши же, что у вас делается? Ждете ли вы меня, и постарайся узнать, к которому числу которого месяца можно надеяться, что я буду в Петербурге. Обнимаю тебя от всего сердца и люблю по-старому.

Твой навсегда *Жуковский*

**301.**

**А. И. Тургеневу**

*6 ноября <1816 г. Дерпт>*

Посылаю тебе «Певца»1, милый друг, и благодарю за то, что ты принудил меня его кончить. Сам бы я этого не вздумал. У меня была в душе большая против него антипатия; но он не заслужил сего проклятия. Он достойный брат своего тезки. Я многое выбросил, от этого всё сделалось сильнее. В первом «Певце» более драматического; в последнем более единства, и одна высокая мысль в нем царствует2. Но оставим этот разбор критикусам. Я послал к Кавелину несколько денег на напечатание. Их не будет достаточно. Чего недостанет, додай, если можешь, из своего кармана; если твой пуст, загляни к Блудову или к Жихареву. После сочтемся. Но печатание и все заботы о распродаже «Певца» предоставь Кавелину. Этого дела не будешь уметь сделать с надлежащею точностью, а и если и сделаешь, то не иначе, как по образу и по подобию прежнего «Певца», что весьма пахнет пустотою кармана. О печатании, корректуре и прочем пишу к Кавелину. Прилагаю здесь другой экземпляр для графа Румянцева3: я обещал ему доставлять стихи свои; особенно ж «Певца» должен он иметь первый. Я этим ему обязан; он помнит меня и сам приписывает мне в письме своем к Эверсу; а я ему не отвечал, но душевно благодарен ему за его любезное внимание. Думаю, что получить «Певца» будет ему приятно. Не надобно ли прислать и к Нелединскому для государыни? Ведь она и первому «Певцу» была восприемницею! Но в этом твоя святая воля. Если прикажешь, то я напишу к Нелединскому.

Титулом я недоволен4; подумай об нем с Блудовым и посоветуйся с Николаем

Михайловичем5. Теперь просьба, и ты должен ее исполнить хотя для певца. Исполнить легко, если захочешь, и много одолжишь меня, потому что дело идет

о человеке, мне очень любезном и который всячески старается мне услуживать. Это Асмус6, учитель в здешней уездной школе и содержатель школы по методе

Песталоция. Он оставляет училище и хочет единственно посвятить себя школе своей, в которой порядок удивительный. Ему *следует* за выслуженные годы

чин губернского секретаря. Постарайся, чтоб он его получил, и уведомь меня, возьмешься ли и можно ли это исполнить? Кажется, можно, ибо законные года службы прошли. Милый друг, утешь, позаботься об этом. А я за это пришлю тебе переводец, и весьма удачный переводец из Гебеля под великолепным титулом «Овсяный кисель»! Обнимаю тебя от всего сердца. До свидания: в начале декабря увидимся. Обнимаю Николая Михайловича и Блудова.

Твой *Жуковский* К Кавелину пишу, но деньги пришлю на следующей почте: нынче не примут. 6 ноября

**302.**

**А. П. Киреевской (Елагиной)**

*7 ноября <1816 г. Дерпт>*

7-го ноября

Что ж это значит, милостивая государыня Авдотья Петровна Киреевская.

Вы взяли Вагнера потому, что не надеялись, чтобы я теперь мог Вами заняться? Прошу мне истолковать это мистическое слово *теперь*. Какой фигуры должно быть то время, в которое не могу я Вами заняться? И по какому праву могли Вы это вздумать. Но дело сделано! Вагнер у Вас. Вы описываете его прекрасно; но признаюсь, боюсь верить и не верится. Стечение обстоятельств, по Вашему же описанию, было таково, что первый попавшийся Вам на глаза должен был показаться Вам несравненным! В этих обстоятельствах пугает меня то, что Вагнер приехал к Вам торговать завод и, вместо того чтобы его купить, сделался у Вас учителем! Перемена слишком быстрая! Но я могу ошибиться и весьма вероятно, что ошибаюсь! Но кто Вам его рекомендовал? От кого узнали Вы о его сведениях, о его хорошем знании математики, латыни; о его дружбе по смерть с

Тизенгаузеном?1 Всё это меня стращает! И тем более жаль мне Цедергрена, что половину того, чему он брался учить детей, должны взять теперь на себя Вы сами! Милая, учить детей истории, географии, натуральной истории! Шутка ли? Вы думаете, что всему этому можно научить из чтения!2 Да! если бы они были девочки, то им было бы не нужно обстоятельное знание этих наук — Вы бы могли учить их для того, чтобы от этого была польза их сердцу! Но для мужчины, в нынешнем веке, в котором от других отставать не дóлжно, в этих науках нужно знание фундаментальное — я сам Вам в этом пример! Мне часто приходится плохо от недостатка в этом фундаментальном знании! И я бы не желал,

чтобы с детьми Вашими бывало то же, что со мною. История и прочие науки слишком нужны для той жизни, какую ведут люди теперь, чтобы заниматься поверхностно. И Вы не можете быть в этом случае хорошим для детей учителем. Это не значит, однако ж, чтобы я требовал изгнания Вагнера. Если случай, заведший его к Вам в дом, поступил благоразумно, то благодарение случаю! Но что же мы сделаем с историею и прочим? Нельзя ли, например, если Вагнер от них отказывается, поручить их Цедергрену? Два учителя в доме — это пахнет междоусобием! Но почему ж междоусобие? Два добрых человека легко могут ужиться в одном доме! Дети будут принадлежать каждому только в часы учения, но их характер и всё, что *они собственно*, будет принадлежать матери! Я бы разделил вот как: немецкий язык, латынь и математика — Вагнеру; греческий, история с товарищи — Цедергрену; французский и русский язык и сами дети — матери. Но это один мой план. Цедергрену я уже сказал о нашествии Вагнера, и он должен теперь заботиться о своей личности как для него велит собственная выгода. Признаюсь, однако, не желал бы его упустить — его репутация прекрасная! Все в один голос отдают ему справедливость в хорошем смысле как заботливому и знающему учителю и как доброму человеку. Сверх того, может быть трудно и для Вашего кошелька стечение учителей. Я не знаю, что платите Вы Вагнеру, а Цедергрену менее того, что он просил, дать невозможно. Подумайте об этом хорошенько сами. Если это можно как-нибудь уладить, то дети были бы обеспечены со всех сторон насчет ученья. Вы бы тогда могли надолго, на всю раннюю молодость оставить их дома; они бы прекрасно приготовились для университетского ученья; а университет, не повредя бы их нравственности, приготовил бы их для деятельной жизни. Таким образом, соединились бы для них выгоды домашнего воспитания с воспитанием публичным. Подумайте о моем предложении; но подумайте не одна, а с Анетою и даже с Вагнером, у которого спросите, может ли учение быть успешным у двух учителей, занятых каждый своею отдельною частью? И если кошельку будет нетрудно, то решитесь. Не пугайтесь этого слова — кошелек: он святое дело для матери семейства.

Выберите только из двух важнейшее.

На начало Вашего милого письма скажу старую мысль: un coeur sensible est un méchant cadeau de la bonté divine[[248]](#footnote-248). Ваше милое сердце жестокий для Вас мучитель! Сколько сделало и делает оно Вам напрасных страданий! За себя и за других! Как бы желал я подлить в него благословенного покоя — точно подлить! ибо самим Вам сделать этого невозможно! Радость и горе жизни падают на нас прямо с неба в ту первую минуту, в которую кладет оно свою печать на душу, печать, с которою, так или инак, будем тащиться до того порога, за который перешагнув, вдруг очутишься в тишине, ясности, неизменяемости и проч. Эта благословенная, хотя и тяжелая печать глубже вдвинута в сердце Ваше, нежели в какое другое. Но ради Бога, если можно, будьте со всех сторон покойны! Те, которые Вам нужны, Ваши на всю жизнь! только не перекладывайте в них своей души, а будьте довольны их душою!

С получения этого письма стряхните с себя всю шелуху старых огорчений и начните жить, как будто их не бывало, с доброю, спокойною верою в полную к Вам привязанность: зажигайте около себя и в сердцах своих детей фонари свои; а наши будут гореть там и здесь и отвечать Вам своим светом! Можно и дóлжно начать жить вместе, как Вы говорите, без прошедшего!3 Но как же понять это прошедшее? Что дурного, достойного забвения, в Вашем прошедшем? Прошедшим здесь называю только одни огорчения Ваши! Забудьте их и верьте тихому счастью, которое у Вас может быть в руках, потому что Вы можете строить тихо и смирно счастье детей, и можете и должны верить дружбе своих друзей. Вас должна успокоивать мысль, что всем огорчениям причиною не дружба или не недостаток дружбы, а тысяча верст с теми безобразными привидениями, которые на каждой версте сидят толпою.

О Ваших планах для меня, о прекрасной немке, о нашем будущем и проч. поговорим при свидании4. Но об американце теперь?5 Вы забавны с своими известиями! Показываете нам китайские тени, а не сказываете, что они значат. Анета молчит! Из Вашего письма видно, что у вас что-то строится. Нельзя ли пояснее написать и прислать порядочный план постройки. Милая Анета, что ж это значит! Ваше первое письмо было похоже на шутку! Оно было не иное что, как критическая статья в журнале о картинной выставке в академии. Но теперь начинаю думать, что это не шутка. Счастье жизни милой Анеты, достойной всякого счастья! Перестаньте шутить, друзья, и напишите поподробнее. Я у вас буду зимою непременно. В Петербург тащит меня важное дело; но из

Петербурга к вам! Непременно! Из этого слова, однако, первый слог *не* может оторвать только одно обстоятельство: Машина свадьба! Еще не назначен срок! но от его назначения зависят и мои поступки. Боже мой! что такое человек? *Машина свадьба*!6 я говорю об этом так спокойно! И во мне два спорщика: один гладит меня по головке за это спокойствие; а другой ворчит и хмурится! А я отвечаю: как вам угодно, но оно так! Друзья! на свете только и хорошего, что фонари; дай Бог, чтобы только на всякую минуту был огонь *наготове*. Всё прочее — шелуха. Анета, душа моя, напишите ко мне. Катоша и Вася, вы не пишете и, верно, дуетесь на мою лень! Но прошу вас всякий раз, как скоро вздумаете на меня подуться, взглянуть на вашу Дуньку и вспомнить, что я ее крестный отец и что вы счастливы. Вы требуете от меня бумаг; они поручены *верному человеку* в Петербурге для ходатайства по оным; но это ходатайство зависело от вас — я писал к вам, что вам было нужно сделать! Вы не отвечали. Я писал уже в Петербург, чтобы мне бумаги возвратили и чтобы уведомили, что сделано по ним и что сделать нужно; будучи в Петербурге, сам поработаю; а бумаги привезу с собою. Об них не беспокойтесь7.

Дуняша, благодарю за картинки. Они обрадуют прекрасного человека! Но, признаюсь, смотреть на них и разбирать их было грустно! Сперва не понимал я отчего! Теперь знаю: они как будто судьба наших желаний и всего, всего! Они

собраны были в нашем тихом уголку, для нас; одного из собирателей нет на свете; другие все рассыпались! И на них пала наша участь! Можно ли б было вообразить за два года перед этим, что они достанутся человеку, который для нас совершенно чужой, а из Долбина перелетят в Дерпт, и все те воспоминания, которые к большей части из них приклеены, исчезнут — для того, кому они до-

станутся8.

Благодарствуйте за Мещёвского!9 Поэзия — святое дело! святое во всём смысле этого слова! Блажен, кто может быть вполне поэтом! вполне, а не слишком! Если слишком, то поэзия враг всякого *вместе* с людьми. Моя стоит на золотой середине, и слава Богу! Я опять пишу и пишу! так же, как в Долбине. «Певец» кончен, «Искупление» оканчивается!10 всё это Вам будет прислано.

Простите, милые друзья! ждите меня. Дети, целую вас. Наталья Андреевна, здравствуйте, голубушка! Иван Никифорович, попросите за меня благословения у вашего Архиерея и поклонитесь Елизавете Васильевне!11 Всё, что на милой родине, здравствуй! Я было начал давно стихи *к родине* в подражание Шатобри-

ану12; вот одно начало: «*Ты*» есть, так сказать, Дуняша, и вот что ей говорится:

Там небеса и воды ясны!

Там песни птичек сладкогласны!

О родина! все дни твои прекрасны! Где б ни был я, но всё с тобой

Душой!

*Ты* помнишь ли, как под горою, Осеребряемый росою,

Светился луч вечернею порою И тишина слетала в лес С небес?

*Ты* помнишь ли наш пруд спокойной, И тень от ив в час полдня знойной,

И над водой от стада гул нестройной,

И в лоне вод, как сквозь стекло,

Село?

Там на заре пичужка пела!

Даль озарялась и светлела! Туда, туда душа моя летела! Казалось сердцу и очам — Всё *там*!

И прочее. Кончить ли?..13 Но Воейков не любит моего *там*. Да уже и слишком много его в моих стихах! А как без него обойтись? Кстати о *там*! Вот еще песнь, написанная мною *по просьбе* и на данный голос14. Об ней будет объяснение.

Легкий, легкий ветерок!

Что так сладко, тихо веешь? Что играешь, что светлеешь, Очарованный поток?

Чем опять душа полна?

Что опять в ней пробудилось? Что с тобой к ней возвратилось, Перелетная весна!

Я смотрю на небеса:

Облака, летя, сияют И, сияя, улетают За далекие леса!

Иль опять от вышины

Весть знакомая несется? Или снова раздается

Милый голос старины? Или там, куда летит

Птичка — странник поднебесный, Всё еще сей неизвестный Край желанного сокрыт? Кто ж к неведомым брегам Путь неведомый укажет? Ах! найдется ль, кто мне скажет, Очарованное *там*?

**303.**

**А. И. Тургеневу**

*<Первая половина (после 6-го) ноября 1816 г. Дерпт>*

Спешу тебе отвечать два слова. *Вдохновенный светильник*1 не нравится моему почтенному учителю2. Привыкши к слепой ему покорности, я рад бы переменить это выражение, но, право, не умею. По крайней мере, теперь ничего не могу придумать. Печатайте. Пусть Кавелин пришлет мне корректуру (чего прошу умиленно). В корректуре авось поправлю. Присылайте только скорее. Непременно надобно выставить, что эта пиеса писана в конце 18143. Будет ли виньета? Ты так мало пишешь, что хоть брось.

Какой жизни Лерберга требует от меня граф Николай Петрович?4 Я от него не получал ничего подобного. Не говорит ли он о переводе ее? Я не переводил. Я говорил с Парротом, что *готов перевести* жизнь Лерберга, если *это будет нужно*. Паррот спрашивал у Круга5, нужно ли. И не получил никакого ответа.

Так это и кончилось! Объяснись с графом и уведомь. Прости. Писать некогда.

Твой *Жуковский* Обними Николая и всех товарищей.

**304.**

**А. П. Юшковой (Зонтаг)**

*<Конец ноября (около или после 21-го) 1816 г. Дерпт>*

(1816)

Милая Анета1, я хорошо сделал, что помедлил отвечать на Ваше прелестное письмо: я бы, верно, сказал Вам много пустого2 об Америке в своем ответе, о Ниагаре, о Гуронах, о квакерах Пенсильванских и о том большом змее, который заедает быков и тигров и который, кажется, не водится в Америке. Всё это было бы медь звенящая и кимвал бряцаяй3. Из Вашего последнего письма к тетушке4 догадываюсь, что скромная Москва с мутной сестрицею Неглинною перебила у Ниагары!5 Дай Бог здоровья доброй6 Москве! Пошли, Господи, ей каменный мост вместо Москворецкого, пошли, Господи, ей и на другую сторону такую же прекрасную набережную, какая на одной стороне! Да отражает она долго, долго в светлых струях своих кремлевские башни, увенчанные славою! Да долго, долго катаются по ней в салазках отважные Россы в котах и прелестные Росси-

янки в кокошниках! и прочее и прочее! Оставя шутки, скажу Вам, милый друг, одно: описание Ваше той безымянной семьи, которая хочет быть счастливою, заманивая Вас в свой небольшой круг, мне очень по сердцу.

Отец и два сына, согласные, образованные7 — явление в этом кругу милой, образованной женщины, с прекрасным сердцем, с твердым характером и

с ясным умом есть явление благодати. Вам будут благодарны за новую жизнь в доме, которую Вы с собой туда принесете8. Если и ум Ваш и сердце не против этого союза, то обстоятельства кажутся мне благоприятны; посмотрите на них поближе, с надлежащею осторожностью и благослови Вас Бог! Но Вам дóлжно быть счастливою! Ваши требования от судьбы самые скромные; то, чего Вам хочется, так легко бы могло быть исполнено, и оно же есть самое лучшее: добр ая, деятельная, семейная жизнь. Заочно Вам дать решительного совета не могу; но, кажется, можно не бояться, что Вы сделаете дурной выбор, ибо Вас *не принуждает* ничто; Вы можете смотреть беспристрастно и поверить всё добрым своим умом. И собственная моя выгода заставляет меня радоваться тому предпочтению, которое Вы даете Москве: мы верно все опять соберемся в одну кучку. Счастье бывает только вместе. Я не думаю, чтобы какая-нибудь belle allemande[[249]](#footnote-249)9 привинтила меня к Лифляндии. Я всё поглядываю на свою родину, как на землю

обетованную. Не надобно, чтоб она пустела.

Обнимаю Вас, и Дуняшу, и Като10, и детей. Писал бы к Вам более, но всё что-то расстроен и перо не движется. У нас всё идет благополучно.

À propos![[250]](#footnote-250) Я давно придумал для вас всех работу, которая может быть для меня со временем полезна. Не можете ли вы собрать для меня русские сказки и русские предания? это значит: заставлять себе рассказывать деревенских ваших рассказчиков и записывать их росказни. Не смейтесь. Это — национальная поэзия, которая у нас пропадает, потому что никто не обращает на нее внимания. В сказках заключаются народные мнения; суеверные предания дают понятие о нравах их, и степени просвещения11, и о старине. Я бы желал, чтобы Вы, Анета, Дуняша и Като завели каждая по две белых книги, в одну записывать сказки (и, сколько возможно, теми словами, какими они будут рассказаны), а в другую всякую всячину, суеверия, предания и тому подобное.

Работа не трудная и не скучная. Писать не нужно с старанием, записывать просто содержание. Всё это привести со временем мое дело. Как Вы думаете?

Я пописываю понемногу: есть сказка о черте гекзаметрами12. «12 спящих дев» доканчиваю! «Певец на Кремле» кончен и печатается. Всё Вы получите. Бог

с вами, друзья!

Ее высокородию

Анне Петровне Юшковой в Белев

**305.**

**А. И. Тургеневу** *<Конец ноября 1816 г. Дерпт>*

Ты не пишешь ко мне, и я не пишу к тебе.

Приложенное письмо1 отдай Жихареву; оно нужно. Громобой2 не отвечает ко мне на первое мое письмо, через тебя посланное3. Отдал ли ты его? Отдай хоть это, и поскорее.

Что же Асмус?4 Забыл?

Что корректура «Певца»? Будет ли прислана?

**306.**

**А. И. Тургеневу**

*<Первая половина декабря (до 12-го) 1816 г. Дерпт>*

Любезный Александр Иванович! Вы хвастаете своим Арзамасом! Хвастайте, хвастайте, голубчики! Правда, вы запаслись *Рейном*1, пожива славная! Но, милые друзья, надобно помнить и о том, что ближе к Арзамасу: Мещёвский2 в Сибири, а вы, друзья, очень весело поживаете в Петербурге! Если вы не собрались еще о нем вспомнить от рассеянности, то это срам и ребячество! Если ж от холодности к его судьбе, то это… что это? Я не знаю как назвать это!

На что ж нам толковать о добре, о общей пользе, о хороших, возвышающих душу стихах? На что смеяться над Шаховскими3 и Rivarol?4 Ни на то, ни на другое не имеем мы права, если способны быть столь беспечными, когда дело идет о судьбе, может быть, о жизни, а может быть (что еще важнее), о нравственном спасении человека, который нам себя вверяет! Признаться, мне больно быть хлопотуном за Мещёвского, бессильным его орудием. Своих способов нет, а вы не помогаете! Если бы у меня была сила в руках, я бы вам не поклонился! Посылаю письмо Вяземского, чтоб пристыдить вас и поддать вам, если можно, жару. Он не беспечен, когда *надобно* действовать. Прилагаю и копию с письма к нему от Герценберга5 о Мещёвском.

«*Об Асмусе не забуду!*»6. Покорно благодарю. Я давно это слышу! Я знаю, что у вас в Петербурге случилось нечто для меня весьма интересное7, а ты ни слова!

**307.**

**М. Н. Свечиной**

*12 декабря <1816 г.> Дерпт\**

Дерпт 12 декабря

Я сейчас еду в Петербург, где пробуду не более трех недель. Ваше письмо, милая Марья Николаевна, получил я только вчера. Вы адресовали его в Петербург, и от этого оно ко мне опоздало. А Вы, может быть, подумали, что я ленюсь Вам отвечать. Теперь отвечаю Вам наскоро о важнейшем: я не могу ничего наверное сказать Вам о Лицее. Не знаю точно, каково там ученье и каков присмотр. Сколько известно мне по слухам, то более блеску, нежели дела. Будучи в Петербурге, расспрошу. Если Вы туда приедете или Авдотья Николаевна, то

Тургенев будет предуведомлен, и он поможет Вам, если Вы решитесь отдать детей в Лицей или в пенсион1. En attendant[[251]](#footnote-251) вот мое мнение: в Дерпте есть школа, в которой образование по методе Песталоция и прекрасно2. И учителя, и ученье там, каких лучше желать не можно. Я бы советовал перевезти детей Авд<отьи> Николаевны в Дерпт. Есть важная причина: Маша будет жить в Дерпте. Можно ли найти более надежного человека, кому бы поручить их присмотр. Если их лета уже не позволяют им войти в эту школу, то могут учиться в гимназии и приготовиться для университетского учения. А жить будут у Маши.

Я через три недели возвращусь в Дерпт. Отвечайте мне на это письмо туда. Тогда поговорим обо всём обстоятельнее. В конце мая и тетушка, и Маша будут в Москве и в Белеве. Кажется, что тогда при свидании обо всём можете Вы переговорить в подробности. Между тем расспрошу о Лицее и, возвратясь из Петербурга, напишу к Вам. Скажите, пожалуйста, Авдотье Николаевне, что между нами ничего дурного не осталось3, что *старое* по-старому совершенно; простите, милая. Поклонитесь ей от меня *по-дружески*. Детей целую заочно. Милой Анне Николаевне4 кланяюсь; до свидания.

Ваш *Жуковский*

**308.**

**М. Я. фон Фоку**

*<1815—1816 г. Дерпт>\**

Милостивый Государь мой Максим Яковлевич!

Покорно прошу Вас взять на себя труд и позаботиться о скором доставлении паспорта Рамбаху, сыну дерптского профессора, и теперешнего ректора Рамбаха1, для проезда из России в Гамбург и из Гамбурга обратно в Россию; уже месяца три, как об этом паспорте было прошено; но эта просьба забыта. Вы чрезвычайно меня обяжете, если поспешите ее исполнить; открывающийся случай для переезда Рамбахова делает сию поспешность необходимою. Паспорт дóлжно отправить прямо в Ригу. Прошу Вас покорнейше не оставить меня без

уведомления в том, что сделано будет по моей просьбе. Имею честь быть, милостивый государь мой, Вашим

покорным слугою.

# 1817

**309.**

**Н. И. Гнедичу**

*<Конец декабря 1816 — начало января (до 12-го) 1817 г. Петербург>*

Нельзя ли нам вместе побывать завтра у Алексея Николаевича1 ввечеру. Я не буду тебя дожидаться; но хорошо бы быть там вместе. Прошу тебя переписать для меня отрывка два из Гомера для помещения в Смеси образцовых

сочинений2. Прикажи человеку моему показать дом Греча.

Твой *Жуковский*

**310.**

**А. П. Киреевской (Елагиной)**

*2 января <1817 г. Петербург>*

2 генваря

Милая сестра, Вы говорите мне Аминь на все мои мысли, а я готов сказать Аминь на все Ваши, не заикнувшись и от всего сердца.

Теперь спешу сказать Вам одно только слово: порадуйтесь за меня. У меня есть то, что всего лучше на свете, — независимость. Добрый царь дал мне пенсион (4 000 р.)1. Этого довольно для свободы и беспечности.

Когда я к Вам буду? Теперь я в Петербурге? Через три дни еду обратно в

Дерпт?2 А к Вам? И слово данное, и сильное желание меня к Вам тащут! Но важная причина говорит мне: останься до окончания зимы в Дерпте! и в то же время эта же сильная причина заставляет меня бояться остаться! На что решиться! Не могу сказать: *подумаю*! До сих пор думанье худо мне помогало! Авось Бог решит за меня.

А Вы и Анета не отвечаете мне на мои два письма. Анета ни слова о московском имяреке3, а Вы ни слова об Вагнере4. Получили ли Вы мои письма и где Вы сами? В Москве ли? в Белеве ли? Отправляю письмо на всякий случай в Москву5. Простите до Дерпта. Оттуда напишу более.

*Ж.*

Вот вам экземпляр «Певца». Один и есть — Вам, Анете и Азбукиным пришлю, когда будет.

**311.**

**А. И. Тургеневу**

*<Середина января 1817 г. Дерпт>*

Податель этого письма есть Фелициан Фелицианович Заремба1, которого усердно тебе рекомендую. Он едет в Петербург на службу, если найдешь способ, помоги ему протесниться к кабинету Фортуны. Он прекрасно учился в Дерпте. Я был свидетелем его докторской диспутации, и могу уверить тебя, что он

стоит своего докторства. Диссертация его писана худым русским языком; но этому причиною то, что он учился в Дерпте и в немецком языке имеет более навыка, нежели в русском. Он сначала написал свою диссертацию по-немецки, потом перевел ее сам2. Но она может быть свидетелем его основательных знаний. Я уверен, что он будет человек дельный и полезный по службе. Он знаком

с Карамзиным, которому прошу тебя его представить.

Посылаю поправленную Лербергову биографию3. Я не мог сделать из нее ничего порядочного. Граф Румянцев этого и не требовал; я поправил одни важнейшие ошибки. Какова она ни есть, ее прочтут, и напрасно ты против нее во оружаешься. Оригинал прекрасен! Автор с чувством выразил характер великого человека и трогает сердце своим изобретением. Нельзя не полюбить автора: он знакомит читателя с прекрасною, твердою, чистою душою! Доказатель-

ство, что у него есть подобное в душе.

Кстати об этом авторе. Недавно я имел случай с ним разговориться о его обстоятельствах и обстоятельствах здешнего университета. Знаешь ли, брат, что может быть через полгода, если ничто не будет сделано для университета, Паррот, лучший его профессор, должен будет (дабы избегнуть от долгов) продать свой домишко и искать учительского места, то есть после ревностных трудов и в такую эпоху жизни, в которую бы спокойно надобно было наслаждаться плодом этих трудов, он принужден будет начать сначала: для куска хлеба подчинить себя воле партикулярного человека, и за всё, что им сделано для университета, остаться с бедностью, с разрушенными надеждами и прочими тому подобными конфектами. Это сжимает мне сердце и, признаюсь, заставляет коситься на мой пенсион: я обеспечен на всю жизнь, в молодости, без семьи! И что ж я сделал? Наслаждался, писав стихи! Вот отец семейства, которого жизнь была обременена трудами, которого деятельность никак нельзя сравнить с моею. Что ж ему награда? Та же бедность, с какою он начал! И бедность при старости, следовательно безнадежная! Одним словом, как бы хотите, а профессорам сумы не давайте. Поберегите честь государя. Европа заговорит языком, для него неприятным, и будет — права.

Прости! Приложенное письмо отдай Кавелину; а пакет Румянцеву отошли поскорее.

«Арзамас» обнимаю. Смотрите, хлопотать о Мещёвском.

*Ж.*

**312.**

**Д. В. Дашкову**

*<Середина (до 19-го) января 1817 г. Дерпт>*

Здравствуй, Чурка!1 Если ты дуешься на меня за мое неотвечание на два письма твои2, то перестань; раздует тебя горой, и Шаховской подумает, что ты опился Липецких вод3: а это будет неприятно для «Арзамаса». Я не отвечал тебе на первое письмо от лени; а на другое оттого, что оно доплыло в Дерпт весьма поздно и что я уже не надеялся застать тебя в Рязани, и, собираясь в Петербург, думал увидеться с тобою там, — не тут-то было! Черт нас развел! Надобно признаться, что этот черт любезен в одних только моих балладах и в одной следующей фразе: черт побери «Беседу» и Шутовского! Наконец скажи же мне, Чурочка, где ты? В Петербурге ли и что делаешь? Если еще ничего не делаешь, то примемся вместе за дело! Вот мое предложение: имею благое намерение, по поводу данного мне от природы великого таланта, выдавать ежегодно по две малые книжки и хочу, чтобы ты был мой соиздатель. Одна из сих малых книжек должна состоять из одних русских сочинений в стихах и прозе (переводы в стихах позволяются); другая должна быть не иное что, как собрание переводов из

образцовых *немецких* писателей, также в стихах и прозе. Каждая должна иметь форму немецких альманахов, выходить в начале года, иметь не более 10 листов в 12 долю малого формата, след<овательно>, 240 страниц, быть украшенною: первая, то есть русская, 6 картинками и иметь красивую обвертку; а последняя, при такой же красивой обвертке, иметь один только гравированный титул

с портретом одного из немецких поэтов или прозаистов. Чтобы всё это могло быть вовремя исполнено, надлежит приготовляться заранее, итак: **I-я, Русская книжка**4**:**

1-е) Я бы назвал ее «Аониды»; она бы была продолжением «Аонид» Карамзина5 с тою отменою, что в нее входила бы и проза. Или не хочешь ли остаться при нашей покойной «Мнемозине»?6

2-е) *Картинки.* Это надобно приготовить заранее. Полагаю 6. Рисовальщиком может быть Монферран7. Сюжеты: три вида Петербурга или Павловска и три картинки из баллад моих, напр<имер>, из «Адельстана», «Эоловой арфы» и «Ахилла». Титул может быть и без виньеты, а просто гравированный. На обвертку что-нибудь приличное титулу.

3-е) *Содержание*. Ты: *Обозрение литературы 1817 г.* (статья постоянная и тебе принадлежащая)8, *Разговор*, который ты уже давно начал9; кончил ли, не знаю. Что еще соблаговолишь написать, не ведаю; но воля твоя да будет. Я: Сказка в прозе, которой сюжет уже готов10. Два отрывка в прозе11, также готовы (в голове). Первая половина «Ундины» в стихах12.

С меня довольно.

4-е) *Сотрудники*:

*Вяземский* и *Батюшков*: стихи и проза13.

*Воейков*: Послание к жене и друзьям14, но весьма исправленное.

*Пушкин* (Александр): он обещал мне доставить свои рукописи15. Твое дело послать к нему за ними и их ко мне переслать. Не замедли.

*Блудов*: О итальянской литературе16, отрывки из записок17 (вырви эту статью из его лап и пришли ко мне. От него не добьешься. Эти отрывки прекрасные, а он кобенится и жмется).

*Северин*: Воспоминания о Франции, Англии и Италии18 (заставь его написать эту статью. Он мне обещал и, верно, сдержит слово).

*Пушкин*: *Вот я вас опять*19.

*Никита Муравьев*: у него будут, верно, готовы отрывки исторические20. Несколько басен *Крылова*21. Верно, что-нибудь еще получу и от *Мещёвского*22.

NB. Если к тому времени не напечатается новое издание сочинений *Муравьева,* то там есть много нового для поживы. Всё — и содержание и картинки (выгравированные совсем) — должно быть готово к началу августа. На Вяземского, Батюшкова, Северина и Ал<ександра> Пушкина понадеяться можно: у последнего много готово, а те приготовят верно.

*Мы* будем работать. Один Блудов опасен; а его статьи капитальные. Стой за ним с розгою и бей его не на живот, а на смерть. Говорят, что Дмитриев что-то написал, — смотри, голубчик, эта святыня должна быть наша24. Его новые статьи могут быть вместо чудотворного образа, который заманит молельщиков в нашу часовню.

Обдумай всё это, и если решишься, то задавай рисовать и потом гравировать картинки — от них может быть главное замедление.

5-е) *Печатать*. Это знает Кавелин25. Деньги могут быть употреблены мои. По выручке их, остальное пополам.

**II-я, Немецкая книжка**26:

За нею хлопот немного: материалы готовы, садиться и переводить.

*Материалы вообще*. *Проза*.

*Гёте*: Römischer Carneval. Märchen[[252]](#footnote-252). Отрывки: Reisen nach Italien. Werther’s Briefe über Schweiz. Aus meinem Leben[[253]](#footnote-253). *У меня* он полный27.

*Гердер*: Paramyphien. Über Volkssagen. Über Legenden. Über Wissen und Nichtwissen der Zukunft. Blicke in die Zukunft. Über das Schicksal[[254]](#footnote-254). Из Адрастеи. NB.

У меня есть его все сочинения28.

*Шиллер*29: Über Völkerwanderung. Из Geschichte des Abfalls der Niederlande[[255]](#footnote-255).

*Тик*30: Из Фантазуса. Elfen. Der Pokal. Liebeszauber. Der blonde Ecbert\*\*\*.

Из Штернбальда.

*Лам<отт> Фуке*31: Из Erzählungen[[256]](#footnote-256) (Многое множество прекрасного). *J. Paul*32: J. Pauls Geist[[257]](#footnote-257). Одни отрывки. Целого невозможно.

*Wandsbecker* Boten-Schriften (Claudius)[[258]](#footnote-258)33. *Lichtenbergs Schriften*34.

*Jacobi’s Schriften*35.

*Hebel*36: Schatzkästelin. Анекдоты. Weltsystem[[259]](#footnote-259) для поселян.

*Novalis*37: Der Poet. Erzählung[[260]](#footnote-260) (прекрасно). *Шлегель*: отрывки из драматургии38.

*Тюммель*: Reisen in Frankreich[[261]](#footnote-261)39.

*Гарве*, *Энгель*, *Г. Миллер*, *Шуберт*, *Фихте*, *Гумбольдт*40.

*Вагнер*: St. Hubertus-Jagd[[262]](#footnote-262)41. Сказки.

Для поэзии — выбор мое дело.

Содержание первой книжки:

*Поэзия и моя часть прозы.*

Demetrius der Falsche[[263]](#footnote-263) (отрывок начатой Шиллеровой трагедии) перевести теми же стихами, как и в оригинале, ямбами без рифм42. Наши критикусы зарычат, но пусть рычат.

Der Garfunkel <и> Der Habermus[[264]](#footnote-264) из Гебеля переведены43. Die Vergänglichkeit[[265]](#footnote-265) из Гебеля44.

Der Wanderer[[266]](#footnote-266) из Гёте45.

Неожиданное свидание и несколько анекдотов из Гебеля, в прозе46. Сказку из Ламот-Фуке47.

*Твоя часть*.

Парамифии48.

Свифтово рассуждение о помеле49. Из Якоби о Шиллеровых трагедиях (из Шле гелевой драматургии, можешь взять эту книгу у Греча)50.

Märchen[[267]](#footnote-267) из Гёте51.

История немецкой литературы (сокращенный перевод из ConversationsLexicon[[268]](#footnote-268)52. Можно только одну половину, окончание в других книжках).

NB. Прилагать краткие известия о тех авторах, из которых будем брать статьи. Это мое дело.

К первой книжке на гравированном титуле портрет Шиллера. Это я здесь могу заказать Зенфу53.

Но какой титул? Не назвать ли *Тевтона*?54

Отвечай на это письмо скорее. Если согласишься, то принимайся за работу. Я пришлю тебе Якоби, ты переведешь назначенную статью, может быть, и еще чтонибудь выберешь; как скоро кончишь, возврати; я доставлю тебе Гёте (Märchen) и Conversations-Lexicon. Свою же часть постараюсь кончить к концу *марта*. Потом примусь за составление русской книжки. Между тем заставлю гравировать Шиллеров портрет. Книжка должна состоять из 10 листов (240 стр<аниц>), не более. Со временем может быть прекрасное собрание. Для второй книжки хо-

чется перевесть Hermann und Dorothea[[269]](#footnote-269)55. Тогда вся уже проза на твоих руках. Можно будет: две сказки из Фуке и Тика, *О судьбе* из Гердера56, мелкие отрывки из Поля57. Из Шлегеля о Шекспире58 и пр. и пр. Прости. Отвечай же.

**313.**

**Д. Н. Блудову**

*<Середина января 1817 г. Дерпт>\**

Мой милый Блудов! Вызываю тебя на доброе дело: это значит, что я надеюсь, что ты отложишь всякую лень, во-первых, будешь тотчас мне отвечать на мое письмо, а во-вторых, всё по возможности исполнишь, о чем теперь пишу к тебе.

Я послал к Кавелину рукопись «Натальи», поэмы Мещёвского1, о котором ты уже от меня знаешь. В ней много пищи для жадной твоей критики; но дело не о критике, а о помощи и нравственной, и материальной бедному несчастливцу, который имеет дарование и может быть со временем и поэтом, и человеком, если только несчастье не убьет его, а просто поучит. Чтобы оно не было убийцею, а учителем — это забота «Арзамаса».

«Наталья» посвящена Карамзину: хорошее знаменование для судьбы автора. Гений добра пусть защитит и его самого, как и его творение, весьма несовершенное, но при всех погрешностях показывающее дарование.

Я предписал, как законодатель, должность Пустыннику2. Вот что предписываю Кассандре3: для напечатания «Натальи» нужны деньги, и вот сколько: в ней всего на всё будет 31/2 листа, если печатать в 12 долю, мелким шрифтом и по 30 строк на странице; печатать же не более 600 экземпляров, итак:

Бумага 31/2 × 600 = 2100 листов, 41/2 стопы по 25 = 112

Набор 31/2 × 30 = 105

Переплет 300 × 50 = 150

367

Кладу еще 100 на непредвиденное 100

467

Эти деньги надобно собрать с арзамасцев, с некоторых (Вяземский, я, два

Тургеневы, Уваров, ты) не надобно делать сбор в полном «Арзамасе», дабы никого не принуждать; а тем, кого ты выберешь кроме назначенных (ибо эти не должны отказаться), сказать келейно, взять с них деньги и передать Кавелину — его *вклад* будет состоять в *заботе о напечатании*. За Вяземского и за меня заплати ты: я бы послал сию же минуту, но у меня нет гроша (думаю, что и Северин не откажет, и Дашков — но об этом переговори с ними сам). На первый случай довольно 360, итак, по 60 рублей, а если пристанут Дашков и Северин, по 50 с брата. Твое дело

собрать деньги, передать их Кавелину; что же сделать после, о том я писал к нему4 и от него ты узнаешь. Прошу тебя не полениться и принять это дело к сердцу.

Мальте-Брюна5 мне не покупай. Нынешний год не будет у меня на него денег. Над «12 спящих дев» работаю! Скоро пришлю, а вы между тем печатайте.

Не забудь же, брат, что я на тебя надеюсь: ты обещал статью о Италианской литературе для моей книжки. К началу августа она должна быть непременно готова. Также и отрывки из твоих записок6. Пришли мне эту пословицу: не губи недруга, Бог приберет друга7. Так ли?

Я оставил тебе адрес вдовы Русиновой8, а у себя не оставил его. Пришли, не забудь.

Мое почтение Анне Андреевне, поцелуй Антонину9, а балладе еще и благословение.

*Ж.* Отвечай скорее. Отданы ль экземпляры «Певца»?10

**314.**

**А. И. Тургеневу**

*<Середина января 1817 г. Дерпт>*

Здравствуй, милый друг! Обнимаю тебя от всего сердца! Я послал по этой почте к Кавелину рукопись, полученную мною от Мещёвского: поэма «Наталья боярская дочь»1; а к Карамзину письмо его, в котором он посвящает ему свою поэму. Мещёвский должен быть приемышем «Арзамаса». Я писал к Кавелину и к Блудову о том, что я располагаю сделать с его поэмою; к Карамзину послал его письмо ко мне, в коем он требует помощи. Переговори с ними об этом деле и придумай, что можешь придумать. Между тем я наложил и на тебя, и на Николая подать2, нужную для напечатания «Натальи»; ты сдери ее и с Уварова. Будь деятелен: дело идет о сотворении поэта и спасении человека. Да воскреснет «Арзамас»!

Я принялся за работу и шутить не хочу. Радуйся, друг: ты мне сделал добро, и на всю жизнь. Я чувствую новую необходимость деятельности, и это побуждение святое: благодарность к государю, который дал мне лучшее благо, — независимость, и имеет на меня надежду! Этой надежды обмануть не надобно. Я теперь в службе и должен служить по совести. И какое для меня наслаждение думать, что мое лучшее — *твое*! Не довольно того, что мы смолоду товарищи на одной дороге, но еще надобно было одному сделаться хранителем другого, а другому на всю жизнь получить драгоценное чувство благодарности к своему брату! Мы с тобою теперь неразлучно имеем одно счастье. Я принялся за работу, и часы мои идут порядочно. Вокруг меня всё устроено. Свадьба кончена, и душа совсем утихла3. Думаю только об одной работе. Благослови Бог!

Присылай мне мою картинку4. План для баллады5 готов и, кажется, хорош.

Но об этом ни слова. Надобно сперва кончить «Вадима».

Бываешь ли ты у Брея? Что там делается, и нет ли чего мне сказать?

Пришли форму верющего письма для получения пенсиона. Я дам его Кавелину. Говорят, что нельзя иначе получать, как по третям. А я хотел было в конце года.

Узнай, что стоит перстень?6 № 1137.

Взяты ли деньги у Румянцева?7 Первая выручка за «Певца» М<аксиму> Ивановичу!8 Прошу к нему переслать и мне доставить его письмо, дабы я мог дать отчет Румянцеву.

Обнимаю Николая и сержусь на него! Он не хочет дать мне покоя и не справился еще по сию пору о бумагах Азбукина! Нельзя ли как-нибудь его усовестить? У меня кошки на сердце! Да нельзя ли ему прислать мне адрес черта Жихарева?

Приложенное письмо перешли поскорее к Уткину, в Академию художеств.

Твой *Жуковский*

**315.**

**М. Н. Свечиной**

*26 января <1817 г.> Дерпт\**

Милая Марья Николаевна, я не забыл Вашей комиссии. Будучи в Петербурге, я справлялся о Лицее. В пенсион Лицея поместить всегда можно. А Тургенев готов помогать Вам, как скоро занадобится помощь. Его адрес на Фонтанке в доме к<нязя> Александра Николаевича Голицына против Михайловского замка. Но мой совет: погодить немного. Лицей не место для наших милых арбенят. Там худое ученье и худой присмотр: порча нравов и безотчетная трата времени. Погодите до мая месяца. В это время тетушка Е<катерина> А<фанасьевна> будет в Белеве и с нею Маша. Можете переговорить с Машею об этом важном деле. В Дерпте есть прекрасные заведения учебные: чего бы лучше детям, как жить там под надзором Маши. Между тем (если это не сладится) устроится в Петербурге новый пенсион, которого директором будет мой короткий приятель Кавелин. Тогда можно будет лучше пристроить детей. Скажите об этом Авдотье Николаевне, которую на всякий случай обнимаю по-старому. И Вас, милая, так же. Дай Бог нам увидеться; а когда, всё еще не знаю. Но в ожидании, всё живо помню о Вашей бесценной дружбе и в душе своей никогда не потеряю старого, верного, доброго чувства, которое меня к Вам привязывает. Простите. Не забывайте

*Жуковского*

Анне Николаевне1 милый, дружеский поклон.

26 генваря. Дерпт.

P. S. À propos![[270]](#footnote-270) Вы читаете газеты? Из них, верно, Вы узнали уже о том, что я стал богат! Порадуйтесь со мною!

**316.**

**П. А. Вяземскому**

*27 января <1817 г.> Дерпт\**

Дерпт. 27 Генваря

Не гневайся на меня, душа моя душенька! Я прав: *теперь* о журнале думать нам нечего: начнем и не кончим! В этом я уверен. Будем довольствоваться перепалкою в ожидании возможности стрелять картечью и ядрами со всех батарей. Это время придет. Пока станем помогать друг другу в малом. Я намерен выдавать в начале каждого года по две книжки: в одной будут одни русские сочинения в стихах и прозе (разумеется, что *переводы в стихах* принадлежат к сочинениям), в другой будут переводы образцовых пиес с немецкого. Плана делать нечего. *Разно образие* — вот план. Я желал бы, чтобы ты поступил с французскою литературою, а Батюшков с италианскою так же, как я хочу поступить с немецкою. Таким образом, в начале каждого года являлось бы несколько весьма свежих и ароматных цветков, которые приучили бы русские носы к тонкому обонянию. О собрании своей немецкой книжки я не забочусь — материалов бездна; но для русской нужно мне деятельное пособие, твое, Батюшкова и других арзамасцев. Соиздателем моим будет для обеих книжек Дашков, если не откажется. Они должны выйти в начале будущего года; следовательно всё надобно приготовить к началу августа нынешнего года1. Доставь мне всё твое поскорее; да припаси что-нибудь в прозе. Также крикни на Батюшкова: без его роз и ясминов не будет лучшего в моем букете. Требую от него прозы и стихов, и к началу августа, не позже. Сказывали мне в Петербурге, что наш патриарх поэзии опять принялся за перо: правда ли это? Я говорю о новых баснях Дмитриева!2 Какая бы для меня блестящая добыча! От *женатого* Дениса Давыдова3

ожидать нечего — но если он что-нибудь тиснет, лови и не выпускай из рук и бросай в мою котомку. Ты должен быть в Москве моим таможенным приставом и никакого стихотворного товара, разумеется, хорошего, не впускать в границы других журналов. Всё конфискуй и отсылай в мой магазин. Я желал бы, чтобы ты состряпал что-нибудь в прозе; но требую разрешения на поправку: иногда ты жестоко грешишь против грамматики, и часто, так же как и я, заговариваешься. Умеренность — знак совершенства!

Не гневайся на меня за то, что не посылаю ничего в ваше общество!4 Нет ничего, так и послать нечего. Есть два перевода с немецкого5; но они, я уверен, будут весьма дурно приняты господами важными профессорами, которые

от старых аристотелевых правил ни на шаг, которым всего важнее *единство*, которые всё имеют, кроме — души; сверх того, эти две пиесы нужны мне для моей немецкой книжки. К тебе я ничего не послал по весьма важной причине: надобно переписывать самому, а я ужасно ленив переписывать. К тому же «Вадим», или продолжение «12 спящих д<ев>» (которое NB весьма понравилось Арзамасу и Карамзину6), еще недоконченное творение, а вышеозначенных двух переводов не послал, также опасаясь, что они и перед тобою не найдут пардона; новый, совершенно еще небывалый на Парнасе нашем род, для меня прекрасный, одобренный Карамзиным, но проклятый Блудовым (которому я, однако, в этом случае не верю — да и никому бы не поверил). Итак, терпение. «Певца»7 ты уже, я думаю, получил! Доволен ли? Но я не доволен тобою! За то восхищение, с каким ты говоришь о моем меценате. Неужели мог ты думать, что я искал,

чтобы мой «Певец» был напечатан на счет Румянцева8, и что я доволен тем, что это сделалось! Нет! Это сделалось без ведома моего и желания. Но, к счастью, всё поправилось: Румянцев издатель моего «Певца», но он знает, что деньгами его *я* не воспользуюсь! И то, что мне было бы весьма тяжело, теперь для меня легко и заставило любить Румянцева, который, надобно признаться, показывает мне особенную и весьма мне драгоценную ласку.

Главное дело сделано. Я имею свободу, и свободу прелестную: умеренную, обеспечивающую меня насчет завтрашнего дня и возбуждающую к деятельности. Все обстоятельства полученной мною пенсии прекрасные9. Кроме того,

что теперь я могу смотреть беззаботно и весело на *будущее*, и самое *воспоминание* об этом случае самое чистое. Я всем обязан дружбе, мне не нужно было не только искать, но даже и говорить, всё родилось в голове, или, лучше сказать, в сердце Тургенева, и всё сделалось без моего ведома. Он заботился об этом, как об одном из главнейших дел жизни. Мне позволено назвать это счастьем: ему досталось на часть дать мне лучшее благо жизни — независимость, а мне, имея это благо, думать с самым усладительным нам чувством, что лучшим добром обязан я своему товарищу и брату. И тот человек, который был главною пружиной, князь Голицын10, действовал от сердца, и ему весело быть благодарным. Не говорю уже о прекрасной для меня мысли: одобрении государя! Ведь это голос отечества, и с этой стороны мой пенсион, награда государя, будет неизменным возбудителем моей деятельности: я теперь не дам себе заснуть! Приобретение славы теперь для меня обязанность.

Обнимаю тебя, добрый друг и благородный товарищ во всем добром, за то, что ты пишешь о Мещёвском11. Надобно спасти человека и дать России поэта. В нем точно есть большое дарование, хотя «Наталья» его вся унизана ошибками. Вот тебе отчет в том, что я хочу сделать с «Натальею»12. Я послал ее к Кавелину; он ее перепишет, покажет Карамзину и будет потом заботиться о напечатании; издержки печатания падают на Арзамас: по моему расчету, если напечатать не более 600 экземпляров, нужно будет не более 500 рублей. Достанется на брата, если обложить этим оброком только *избранных*, не более 60 рублей; за тебя и за себя велел я внести деньги Блудову. Из напечатанных 600 экземпляров члены Арзамаса должны взять на себя распродажу 300 экземпляров по 5 рублей каждый; из этих 300 один ты можешь раздать 100, будучи знаком со всею вселенною Москвы белокаменной. Остальные же 300 можно продать рубля по два в лавку, чтоб получить деньги *вдруг*. Всю сию сумму дóлжно доставить *мне* для пересылки Мещёвскому. Итог может составить в течение года по крайней мере 2000 рублей. Важное пособие ему на 1818-й год. До тех же пор кое-как может он протянуть тем, что послано теперь. Между тем, получив от него подробную исповедь о том, что с ним было и что для него можно сделать, мы можем совокупно похлопотать о облегчении его судьбы. Работу же я ему задал: я послал ему книг, велел переводить Клейстову «Весну»13, с которою он в состоянии сладить, задал сюжет для поэмы, небольшой и не превышающей его дарований и теперешнего навыка; и наконец, дав ему благой совет понабить руку около переводов из Шиллера, Гердера и Бюргера, пригласил к переводу Виландова «Оберона», за которого через год будет он в состоянии приняться с успехом! Одобряешь ли мои планы? О содействии просить тебя нечего — прошу только о сообщении своих мыслей, дабы нам действовать *согласно*. Сборщиком арзамасской подати для «Натальи» назначен Блудов. Эта моська не поленится сходить в свой карман, когда надобно будет дать, и дать много, просящему.

Прости. Писать более некогда. Еще надобно написать 5 писем.

*Ж.*

Пошли тотчас к Батюшкову требование стихов и прозы. Крайний срок к августу. Не засади меня с ним впросак.

**317.**

**И. И. Мартынову**

*27 января 1817 г. Дерпт*

Милостивый государь Иван Иванович!

Я не имел способу с Вами увидеться при отъезде моем из Петербурга; мне хотелось еще раз напомнить Вам о моей покорнейшей просьбе касательно г-на Асмуса1 — если не мог этого сделать лично, то хотя бы письменно. Вы обещали обратить на нее внимание, и надеюсь, что, по особенной ко мне приязни, этого обещания не забыли. Смею просить Вас потрудиться меня уведомить

о судьбе асмусова дела: прошу это за особенный знак Вашего мне доброжелательства и когда отправлюсь на Олимп, то помяну Вас в небесном царствии Феба; а здесь на земле самою точною и простою прозою уверяю Вас в совершенном моем расположении, с коим честь имею быть

Вашего превосходительства покорнейшим слугою

*В. Жуковский*

1817 Января 27.

Дерпт

**318.**

**А. П. Зонтаг**

*4 февраля <1817 г. Дерпт>*

4 февраля

Милая Анета, что же это за Корсар?1 Вы пишете, что он всё у Вас похитил, — и мне это так кажется! Он даже отнял у Вас и перо. Вы не уведомляете нас о следствиях его высадки на берег Мишенского! Брошен ли якорь? Пропел ли он свое Te Deum[[271]](#footnote-271), и пели ли у Вас многия лета?!2 О тысяча верст! как бы хотелось Вас увидеть! Вы спросите: что ж мешает? Боже мой! ведь всем желаниям сердца угодить нельзя. Ваше милое, дружеское приглашение тащит меня к Вам весьма сильно; необходимость *своими* глазами увидеть Вас счастливою, увериться в этом не по одним слухам, также меня зовет к Вам — мне очень,

очень грустно оттого, что я принужден на Ваше милое слово: «je demande à votre amitié de venir me voir!»[[272]](#footnote-272), сказать: «не могу!» И странное дело! Теперь, когда надобно решительно отказаться от счастья вас всех увидеть, мои важные причины теряют для меня свою силу! Как бы то ни было, вот они: первая, и менее других важная, есть та, что у меня нет денег на путешествие, которое взад и вперед должно стоить по крайней мере 500 рублей, — нет денег и есть долги, которые хочется нынешний год заплатить все, чтобы с следующего начать жить независимо. Но, повторяю, эта причина меня бы ни минуты не остановила, если бы она была единственная.

Другая: мне надобно *работать*. Пенсион, который дал мне государь3, который я считаю наградою за *добрую надежду*, налагает на меня обязанность трудиться, дорожить временем и поскорее успокоить совесть свою4, написав чтонибудь важное. Слава достойная есть для меня теперь то же, что благодарность.

Чтобы работать порядком, надобно сидеть на месте; а чтобы написать чтонибудь важное, надобно собрать для этого материалы. У меня сделан план: он требует множество материалов исторических;5 того, откуда я их почерпнуть должен, с собою я взять не могу, — а время между тем летит! Что, если оно улетит и умчит с собою возможность что-нибудь сделать! Я столько потерял времени, что теперь каждая минута кажется важной тратою!6 Вся моя прошедшая жизнь есть не иное что, как жертва мечтам; жалкая жертва! и боюсь, не потерял ли я уже возможность пользоваться настоящим. Мне нельзя перетащить к Вам с собою всех моих книг; а бóльшая часть их будут мне нужны, если не для чтения, то для справок. Сверх того, я беру здесь лекцию, именно для моего плана весьма важную; она продолжится от февраля до конца мая и должна облегчить мне большой труд. Одним словом, в нынешнем и будущем году я должен написать что-нибудь важное — без этого душа не будет на месте! Я не должен обмануть надежды царской! NB. Вы, верно, не получили моего письма о моем пенсионе; воображая, что Вы в Москве, я адресовал свой пакет на имя почтамтского экзекутора Афанасьева, который должен был передать его Офросимовым для доставления Дуняше; в этом пакете был и экземпляр «Певца», поднесенный его высокоблагородию Ваничке7. Получен ли он? Мой пенсион есть для меня происшествие счастливое, без всякой примеси неприятного. Я ни о чем не заботился и не хлопотал, всё сделала попечительная дружба Тургенева. Он без моего почти ведома заставил поднести кн<язя> Голицына, нынешнего мини-

стра просвещения, государю экземпляр моих сочинений. Правда, надобно было написать посвятительное письмо государю8 — но вот всё, что сделано с моей стороны. К<нязь> Голицын хотел мне сделать добро, и его сердце сильно в этом участвовало. Он хотел дать мне не мелочную награду9, а независимость. Дать перстень с шифром была мысль самого государя. Всё это меня радует. Мысль,

что будущее обеспечено, успокоивает душу. Теперь постоянный труд для меня обязанность.

Дóлжно ли Вам говорить о третьей причине? Эта третья причина меня пугает, и для Вас она будет неожиданна. Эта третья причина называется Анетою. Не воображайте меня в цепях — нет! Я стою перед затворенным домом; мне говорят: «Войди! Это приют счастья!» — говорят; а самя не знаю ничего, — но

скажите, дóлжно ли отойти от этих дверей, не заглянув в них? Что, если в самом деле за ними счастье? Вот в чем дело: здесь есть Анета, которой, *как говорят*,

я по сердцу! все хвалят ее характер, она необыкновенно умна; сердце прекрасное — но вот беда: она принадлежит к одному из первых домов в Лифляндии! жила вечно в самом большом свете!10 Препятствие важное! Я не захочу остаться в ее круге, будет ли она довольна моим? Я не променяю своей родины на Лифляндию! Надобно знать, будет ли с нее довольно того маленького, спокойного, неблестящего света, в который она должна будет за мной последовать? однообразная жизнь русского поэта будет ли удовлетворительна для нее, привыкшей жить в шуме разнообразных светских веселостей? Всё это надобно знать, а чтобы знать, надобно иметь с нею некоторую короткость. Здесь я не позволю себе действовать по первому побуждению11; не хочу, не буду иметь любви! Но хочу иметь верную привязанность, основанную на знании характера, на согласии образа мыслей о счастье. Если оно будет, это необходимое согласие образа мыслей, то можно понадеяться на счастье. Но до сих пор не было способа иметь короткости. Прошедшим летом ее не было в Дерпте, а теперь она в Петербурге. Там я ее видел, но был в их доме редко: в этом доме прилив всей петербургской знати! Что тут увидишь? В марте месяце возвратятся они из Петербурга в Дерпт: это *единственное время*, в которое буду иметь способ что-нибудь *узнать*. Будем вместе каждый день — спрашиваю Вас, должен ли я оттолкнуть этот случай?

Уехав теперь, я решительно откажусь от того, что, может быть, даст мне счастье, и откажусь как слепой добровольный, не дав себе даже взглянуть на то, что

само шло ко мне навстречу. Со всем тем этот март меня пугает: сердце молчит; в нем совершенно нет никакого ясного, решительного желания! Единственная связь между мною и ею — это та привязанность, которую я в ней к себе предполагаю. И эта связь может быть сильной — теперь, однако, нет ничего! и я нахожу в себе одно только беспокойное ожидание! чувство более неприятное, нежели приятное! Я даже думаю, что обрадуюсь, когда увижу, что меня обманули,

что этой привязанности ее ко мне нет и не бывало.

Вот вам моя исповедь, милые сестры, Анета и Дуняша! Прошу никому, совершенно никому (разумеется, кроме Катоши) не говорить об этом, не пишите и в Дерпт. *Мне* одному скажите свои мысли. Прошу вас решить: важны ли при-

чины, для которых я здесь остаюсь.

Между тем поговорим о делах: прошу Вас, милая Анета, устроить, как найдете лучше, мои денежные обстоятельства. Уведомьте меня о сроках, в которые написаны различные векселя моих многочисленных должников. У нас с Вами положено, чтобы Вы не платили мне процентов, а уплачивали ими мои долги, начиная с себя12, и возьмите ту 1 000, которую я Вам должен. (Одна ли тысяча? не более ли?), но это Вы знаете сами лучше. С прочими моими долгами надеюсь расплатиться сам, вероятно, в течение нынешнего года! Если расчеты меня не обманут13, то у меня еще и деньги за уплатою останутся, и эти деньги употреблю на напечатание своих писаний.

Надобно сказать Вам прости! Благослови Вас Бог, милая сестра, добрый товарищ молодости! Несносно тяжело с Вами не видаться! Но как быть! Обнимаю милого брата, а Вам поручаю сказать ему за меня всё, что внушит Вам собственное Ваше сердце, которое должно верить моей дружбе. Прошу Вас написать о себе поболее.

Милая Дуняша, что же Вы так молчите? Вы умеете говорить мне, что я от

Вас огородился забором, а сами строите каменную стену. Ни слова ни о себе, ни об Анете, ни о Вагнере14.

На мое к Вам письмо нет ответа! К Маше тоже Вы неясно говорите о каких-то печальных для Вас случаях и ничего не объясняете. Что пользы так царапать душу? Теперь мне много писать к Вам некогда; боюсь, что теперешнее письмо мое огорчит Вас: оно отнимет у Вас надежду на скорое свидание! Но послушайте, милая, наше *вместе* играет большую роль во всех моих планах. Это прошу знать один раз навсегда. Спокойное, деятельное, беззаботное *вместе* — оно будет непременно! Простите, милая; перецелуйте детей. Получил ли Ваничка «Певца»? — о моем теперешнем письме никому ни слова.

Азбукиных и дочку мою обнимаю. Скажите Василью, чтобы он не обижал меня, думая, что я понеглижировал15 его делом и забыл о его бумагах: но что же мне делать? Я поручил хлопоты в Петербурге одному моему знакомцу — Жихареву; он ездил в Польшу, а теперь в деревне. Будет в Петербурге через месяц и до его приезда бумаг возвратить нельзя16.

Право, в этом случае с моей стороны ветрености нет: всё было бы сделано, если бы делать самому! Через других же ничто никогда не делается!

**319.**

**И. Ф. Николеву**

*18 февраля 1817 г. Дерпт*

Милостивый государь Иван Федорович!

Мой короткий приятель Дмитрий Александрович Кавелин вручит Вам это письмо. Извините, что отвечаю Вам поздно. Ваше письмо, писанное 24 января, пролежало в Петербурге до 14 февраля, и я получил его третьего дня, то есть февраля 16-го. Итак, я не виноват. Письмо Ваше было для меня и приятно, и печально. Радуюсь, что имею случай познакомиться с своим родственником. Но это письмо есть первое известие, какое имею в течение 10 лет о почтенном Андрее Григорьевиче1, и, к несчастью, известие о его смерти. Он был для меня человек весьма любезный и был добрым другом моей покойной матери. Я радуюсь случаю быть полезным его сыну и готов от всего сердца воспользоваться этим случаем. Вы хотите записать малютку в Кадетский корпус. Признаюсь Вам, мне бы весьма этого не хотелось. Я знаю, каково содержание в кад<етском> корпусе и каково там ученье. Из него выйдет офицер, умеющий только командовать фрунтом; а мне бы хотелось, чтобы из него вышел человек, способный во всех положениях жизни быть

счастливым; этому в Кадетском корпусе не научат. Вот мое предложение: привезите его ко мне в Дерпт; я отдам его на руки к такому человеку, на которого положиться можно. Издержки за ученье и содержание беру на себя. Когда выучится, тогда будет иметь способ жить и доставать себе всё нужное пропитание. Тогда же будем иметь время подумать и о доставлении ему нужных способов для жизни. Теперь главное — воспитание. Здесь он его получит лучше, нежели где-нибудь. Уверяю Вас, что он оставлен не будет. Итак, прошу Вас его мне поверить. Что же касается до Вашей просьбы о доставлении Вам места управляющего экономиею, то, к сожалению, в этом случае, помочь Вам не могу. Здесь в Лифляндии такого места не скоро сыщешь. Поговорите с Дмитрием Александровичем Кавелиным; будучи в Петербурге, он удобнее найдет случай помочь Вам. Я об этом его просил. Если Вы решитесь привезти сюда в Дерпт своего малютку2, то на первый случай постарайтесь, чтобы у него всё необходимое было, то есть нужное белье и платье. После уже об этом Вам заботиться будет не нужно. Здесь он будет отдан в хорошие руки, и Вы можете остаться на его счет спокойны. Прошу Вас отвечать мне без замедления. Адресуйте Ваше письмо прямо на мое имя в Дерпт. Уведомьте, прошу Вас, где находится жена покойного Андрея Григорьевича3. Здорова ли она? В каком положении? Когда будете к ней писать, скажите ей мое усердное почтение. Еще раз рекомендую себя в Вашу дружбу и честь имею быть с совершенным почтением, милостивый государь, Вашим покорным слугою

*Василий Жуковский* 1817. Февраля 18. Дерпт

**320.**

**Д. Н. Блудову**

*18 февраля <1817 г. Дерпт>*

18 февраля

Я на тебя сердит, Блудник! Право сердит! Что ты лентяй, что тебе и здоровому писать так же трудно, как и больному, что ты рад болезни, потому что она оправдывает твою леность; всё это я знаю и готов даже уважать причину твоего молчания, ибо она мне родная! Ибо она есть лень, святая, божественная лень, единственный из древних гениев, оставшийся нам от богов языческих! Но продержать 20 дней вверенное тебе нужное письмо1, письмо, на которое мне надобно было отвечать без отсрочки, писанное бедным человеком, которому каждый лишний день, по-пустому проведенный в Петербурге, есть большая <растрата?> — признаюсь! Это непростительно! И я попеняю тебе от всего сердца! Я не могу понять, как мог ты быть так беспечен! Тебе стоило только выставить мой адрес на пакете, и я бы уже двадцать раз успел отвечать на это письмо! А ты и не подумал! Можно ли так пренебрегать чужие препоручения! Я уверен, что ни одно из писем, мною тебе оставленных, не послано! Что экземпляры «Певца»2 у тебя валяются под столом и что всё, о чем я писал в моем последнем письме, будет забыто! По крайней мере, так имею право думать!

Исправь же свой поступок и уведомь меня обстоятельно, что вы сделали или хотите сделать для Мещёвского?3 Неужели об этом надобно просить двадцать раз! И еще писать?

Об Николеве я писал к Кавелину4, который также совсем изменился с той минуты, как вкусил от «Арзамаса». Пожури Дашкова и Северина за то, что они молчат, бестии5.

Видно, я сердит на тебя, что решился писать к тебе, только для того, чтобы побраниться с тобою. Более не прибавлю ни слова — не стоишь!

*Светлана*

**321.**

**И. И. Мартынову**

*18 февраля 1817 г. Дерпт*

Милостивый государь Иван Иванович!

Благодарю Вас за дружеское ваше письмецо и за доброе Ваше обещание не позабыть о моем Асмусе. Еще раз рекомендую его Вам как человека, достойного Вашего покровительства, смею быть уверенным, что Вы по благосклонности

Вашей ко мне в этом покровительстве ему не откажете. Тем более что он, выслужив законные лета со всевозможным усердием, имеет полное право на ту награду, в которой отказано ему Бог знает почему.

По приказанию Вашему я говорил о Вашем предложении Воейкову. Он будет Вам отвечать сам, если до сих пор не отвечал, то этому причиною болезнь, которая и теперь продолжается.

Уверяю Вас в совершенном моем почтении, честь имею быть

Вашего превосходительства покорнейшим слугою

*В. Жуковский*

1817 Февраля 18.

Дерпт

**322.**

**А. И. Тургеневу**

*<Около 18 февраля 1817 г. Дерпт>*

Бога ты не боишься, Александр Иванович; выходив мне пенсии 4 000 рублей, ты прибавил себе на 8 000 лени и думаешь, что мне уже ничто не нужно, что я богат и без твоих писем. Для чего не имею я ответа ни на одно, писанное мною из Дерпта? Для чего не обращено никакого внимания на Мещёвского? Для чего не сказано мне ни слова о моем родне1, который просил у тебя помощи и о котором я узнал только потому, что Блудов, продержавший его письмо у себя 20 дней, черт знает для чего, вдруг опомнился и прислал это письмо ко мне? Отчего не получаю адреса Жихарева? Отчего ты меня бросил, так бросил, как старые штаны, которых и Лаврушка носить не хочет? Признаюсь, с вами всякое терпение придет в отчаяние. Даже и Карамзина вы испортили, и он не отвечает на письмо мое!

Отвечай мне скорее на три старые письма и на *все* (NB для этого нужно перечитать эти письма и вспомнить, что я на свете). А в наказание вот тебе новые вопросы, на которые также прошу обратить благосклонное внимание.

1е. Граф Мантейфель2 имеет двух сыновей, которых хочет поместить в пансионе, учреждающемся при Лицее. Он, зная мою связь с тобою, просил меня

через тебя *захватить два места заранее* в этом пансионе. Если бы он знал, как ты исполняешь мои просьбы, то, верно бы, не стал меня об этом просить. И, к несчастью, я не мог ему отказать; мне больно говорить тем, которые надеются на мой кредит при твоем превосходительстве, что этот кредит кимвал звяцаяй, что ты пропустишь просьбу мимо ушей и не исполнишь ее, потому что или забудешь, или не дочитаешь моего письма. Сделай чудо, не засни над этим письмом и похлопочи о Мантейфеле, то есть постарайся, чтобы его два сына были в свое время непременно приняты в пансионе Лицея.

2е. Сделано ли или принято ли какое-нибудь намерение сделать что-нибудь для Мещёвского по тому плану, который я доставил господину Кавелину, такому же ленивому дьяволу, как ты?

3е. Николев, мой родня3, к тебе адресовался с своею просьбою поместить брата его сестры4 в кадетский корпус. Мне этого не хочется, а что мне хочется,

об том узнаешь от Кавелина. Но что ты сделал? И титул родня Жуковского растолкал ли твою лень?

4е. Как пишется адрес Жихарева? И где существует его самоличность?

5е. От Мартынова получил я письмо, в коем он уведомляет, что Асмусово производство не состоялось и что об нем будет представлено в Сенат. Возьмешь ли на себя вспомнить при случае о Асмусе?

Отвечать скорее. Впрочем, я не очень этого надеюсь. Где тебе обо мне подумать? Когда же спать? Когда же есть? Когда же опять спать и опять есть? Плясать на похоронах, свадьбах, родинах, крестинах, завтраках, полдниках, ужинах и прочее?5 О Господи!

**323.**

**А. А. Прокоповичу-Антонскому**

*24 февраля 1817 г. Дерпт*

Мне не нужно к Вам писать о том важном добре, которое сделал мне государь1. Теперь обязан я ему самым лучшим благом в жизни — независимостью. Дай Бог оправдать такое внимание русского царя и не обмануть его надежды. Надеюсь, что Вы, как один из самых ревностных участников во всём, что касается до меня, порадовались этому случаю. Я теперь в Дерпте2 и живу здесь не без занятия. Весьма надеюсь с Вами увидеться нынешним годом в Москве. Желаю найти Вас весьма веселым, здоровым и тем же в душе своей ко мне, каким Вы всегда были. Во мне же найдете ту же привязанность и благодарность к Вам, какую всегда я живо чувствовал и какой никогда чувствовать не пере-

стану. Я еще не доставил к Вам экземпляра «Певца»3. Причиною тому было то,

что я по сию пору не получил из Петербурга от Кавелина ни одного. Посылаю один для Вас, другой для Собрания4 и еще несколько, которые прошу Вас раздать по адресам.

Обрадуйте меня строчкою. Побраните — так и быть, но уведомьте о себе и о том, что вокруг Вас делается. Мне нечего описывать Вам моих окружностей: Дерпт Вам неизвестен, и никто в нем не может быть для Вас интересным. Вы в Москве; всё, что подле Вас, мне знакомо и более или менее близко5.

1817. Февраля 24. Дерпт

**324.**

**А. И. Тургеневу**

*24 февраля <1817 г. Дерпт>*

24 февраля

Наконец решился ты написать1, ленивец; и то писал на полете: ни на что не отвечаешь, об чем я к тебе писал. Беда с вами!

Теперь, верно, уже ты виделся с Мантейфелем и знаешь, чего ему надобно.

Прошу тебя ему помочь.

За Эверса обнимаю тебя от всего сердца. Как бы хотелось обнять за Паррота, за Воейкова и за весь университет, между прочим, и за Асмуса. À propos[[273]](#footnote-273)

о Воейкове. Получил ли ты от Кавелина список его «Георгик»2 и решился ли что-нибудь сделать по моей просьбе? Ты не для одного меня должен похлопотать о Воейкове. Мои причины тебе известны: ты с ними согласен, итак, об них ни слова. Но Воейков, как русский поэт, достоин всякого одобрения. Он имеет истинное дарование и с этим дарованием соединяет трудолюбие постоянное. До сих пор его перевод «Садов»3 есть, без всякого сравнения, лучшая поэма на русском языке. Перевод Виргилиевых «Георгик», при всех недостатках, которые можно в нем заметить и которые он со всем усердием старается из него выгнать, есть также важное произведение русской поэзии; он хочет *посвятить*

*себя* Виргилию. Он стоит поощрения уже и за один этот план.

Но этот план отчасти исполнен4. Кто ж откажет ему в праве на внимание государя? Я советую Воейкову представить куратору5 список своего перевода, с тем чтобы он доставил оный министру для поднесения императору. Одобряешь ли это? Или не лучше ли тебе передать и ту, и другую поэму князю?6 Отвечай на это поскорее.

Вы собираетесь сделать сбор для напечатания Мещёвского поэмы: хорошо!

Но скоро ли вы соберетесь? Послать эти деньги Мещёвскому и поэму продать — это скорее и менее хлопот. Правда! Но зато менее и денег. Я бы думал: напечатать 600 экземпляров на счет «Арзамаса», 300 распродать самим по 5 рублей экземпляр, остальные 300 продать рубля по два гуртом в лавку: вышло бы 2 000 рублей с лишним. Впрочем, сделайте, как сами рассудите, только сделайте, и поскорее. В Сибири терпение тяжелее, чем в Москве и в Петербурге.

Не забудь же об Асмусе. Попов7 скорее сделает для тебя, чем Мартынов. Асмус был учителем в уездной дерптской школе. Он взял отставку, но урочное время выслужил. Ему следует чин губернского секретаря; не получить его при

отставке обидно; а таких людей, каков Асмус, надобно не обижать, а золотить. У него теперь воспитывается в собственной школе около 50 мальчиков: все они, верно, выйдут из нее с прекрасно образованным сердцем. Следовательно, Асмус может быть и титулярным советником.

Ты очень одолжишь меня, если постараешься мне отыскать и прислать поскорее «Weltgeschichte» von Karl von Rotteck8. Одолжи, друг!

Обнимаю тебя и коллежского советника Николая Ивановича Тургенева.

Пришли мне и «Русскую статистику» Вихмана9.

**325.**

**А. И. Тургеневу**

*<Конец февраля — начало марта 1817 г. Дерпт>*

Прошу тебя немедленно передать приложенное письмо Николеву#1; поискать мне «Weltgeschichte» von Karl Rotteck; не забыть о Асмусе; вспомнить о Мещёвском; еще передать два приложенные письма к Блудову и Уткину; не полениться написать ко мне две или три строчки; обнять за меня Н. М. Карамзина и любить меня по-старому, попросив о том же господина коллежского

советника Николая Ивановича Тургенева, которому кланяюсь, пребывая к вам благосклонно

*Василий* #Это письмо я посылаю через Кавелина; он знает адрес Николева.

**326.**

**А. И. Тургеневу**

*<Конец февраля — начало марта 1817 г. Дерпт>*

Любезный друг! Когда-то сподобился ты поспешить, и то некстати! Просьба к великому князю1 послана. Скажи ты мне, чудотворец, кто ж позволял тебе это делать, не спросясь со мною? Если бы Блудов не вспомнил о письме Николева и наконец не вздумал бы его послать, давши ему 20 дней жить в Петербурге, вы бы всё кончили без меня и сделали бы еще кадета, то есть куклу бездушную, и мне бы только осталось браниться и злиться! Переделай это, как хочешь, и вместо того, чтобы расславлять мой арзамасский поступок и носиться с ним как с новою Шатобриановою брошюрою2 из дому в дом, исполни как можно точнее то, что мне надобно. Я не согласен записывать мальчика в петербургскую гимназию. Я здесь поручу его верным людям и буду совершенно спокоен насчет его учения, нравственности и содержания. Прошу не беречь тех денег, которые я расположил пожертвовать. Я не хочу, чтобы это было состряпано *кое-как*. Я уверен, что здесь оно будет сделано лучше, нежели в Петербурге. Итак, присылайте скорее малютку сюда и не думайте со мною торговаться! А ты перестань мною хвастать. Что ты за разносчик? Довольно с тебя и стихов! Таскай их в кармане куда хочешь; а меня не трогай.

Напрасно расхвастался ты и точностью ответа на мои запросы. Я ждал от тебя не *обещания* позаботиться о Мещёвском, а *исполнения*, и самого скорого.

Я послал к тебе с Зарембою манускрипт для Румянцева. Отдан ли он? Кто знает? Ты и не думаешь откликнуться? Я просил тебя прислать мне кое-какие книги; где они? Одним словом, хорош ты гусь!

Отвечай немного, но на *всё*. Обнимаю тебя.

*Ж.*

Посмотрим, что ты сделаешь для Асмуса! А теперь еще более желал бы я ему услужить. У него на руках будет мой сынок3.

**327.**

**И. И. Дмитриеву**

*1 марта 1817 г. Дерпт*

Милостивый государь Иван Иванович! Я имел честь получить письмо Вашего превосходительства1. Приношу сердечную благодарность за Ваше дружеское, драгоценное воспоминание. Как бы хотелось перепрыгнуть к Вам на берега Патриарших Ваших прудов и заглянуть в Ваше новое уединение; может быть, летом и буду иметь это счастье2. Посмотреть на Вас — значило бы возбудить воспоминание о хорошем прошлом и разогреться для хорошего в будущем. В ожидании этого времени мысль об Вас, как о человеке, принадлежащем к немногочисленному совету тех людей, пред коими хотелось бы со всех сторон быть чистым и правым, будет подстрекать меня к доброму труду. Не скажу, чтоб я много сделал; у меня большая неровность в работе! Часто какая-то нравственная сухотка нападает на меня и мучит целые месяцы. Зато готовлюсь! Чтоб хорошо обработать предмет, взятый из нашей истории3, надобно покороче познакомиться с этою историею в ее источниках: это я и делаю. Без подмосток нельзя построить здания. Дай Бог только не остаться с одними подмостками.

М<илостивый> г<осударь> И<ван> И<ванович>, возобновляя уверение в моей душевной к Вам привязанности, честь имею быть с совершенным почтением Вашего превосходительства покорнейшим слугою

*Василий Жуковский*

1817, марта 1-го. Дерпт

**328.**

**А. И. Тургеневу**

*<Конец марта* (*до 25-го*) *1817 г. Дерпт>*

Посылаю тебе чудака, поэта, бродягу, ребенка, старика1. Не осердись на меня за то, что обременяю тебя ненужными тебе знакомствами. Податель этого письма не будет тебе в тягость; он бродит по свету и описывает в стихах свои похождения; у него никогда нет гроша: весь его гардероб (два сюртука, два жилета и, вероятно, двое штанов, с большою трубкою в кармане) всегда на нем: все его сочинения у него за пазухою; те, которые не могут уложиться, сожигаются. Он идет в Петербург для того, чтобы сказать себе: «Я был в Петербурге!». Но денег у него нет, и он об этом не заботится. Он хочет в нынешнем году выдать по *подписке* свои песни; подписная цена 1 рубль серебром2. Постарайся собрать ему несколько подписчиков, чтоб было что есть в Петербурге. Важная цель его путешествия в Петербург есть: видеть праздник Светлого Воскресения и описать его в стихах. Верно, и для тебя строфа будет. Вообще, в его стихах много хорошего, хотя и много беспорядочного. Сам же он необыкновенное явление в свете. В нем есть что-то младенческое. До сих пор еще не начинал

он думать о завтрашнем дне. В 15 лет исходил он около 20 000 верст пешком. В Петербурге пробудет две недели; оттуда в Ревель; из Ревеля в Бремен; где он остановится, я не знаю. Но если в Петербурге случится ему в чем-нибудь нужда, помоги ему.

Твой *Жуковский*

**329.**

**А. И. Тургеневу**

*<Март 1817 г. Дерпт>*

Любезный друг! Вот и сам граф Мантейфель в Петербурге. Я уже два раза писал к тебе о его желании поместить сыновей в лицейский пансион1. Пишу в третий раз и прошу оказать ему в этом случае нужную помощь. Главное дело в том, чтобы ему захватить место заранее в этом пансионе. Он боится опоздать. Правда, прием начинается не прежде, как в июне месяце, но к этому времени могут уже все кандидаты быть сполна: итак, прошу тебя сделать, чтобы и его

сыновья были непременно записаны. Этим одолжишь целое семейство и меня тут же.

Уведомь, получил ли ты от Зарембы пакет и жизнь Лерберга и отдал ли графу Румянцеву?2 Я прошу тебя поскорее купить для меня книгу: Rhüs,

«Handbuch der Geschichte des Mittelalters»2. Она мне нужна; Эверс3 по ней читает историю средних веков, а я слушаю эту лекцию у Эверса, за которого слава тебе! Нельзя ли, чтобы была слава и за Паррота и слава за весь университет?

*Tout à vous Joukovsky*[[274]](#footnote-274)

**330.**

**А. И. Тургеневу**

*<Конец марта 1817 г. Дерпт>*

За Воейкова благодарю сердечно1. Ливен2 уже сказал ему, что получил от тебя книги. Не оставь же этого дела недоконченным. Когда возвратится Ливен в Петербург, заставь его подать книги министру3, а сам работай и помни: нам надобен не подарок, а крест. Если крест дан Гнедичу за *недоконченную* «Илиаду»4,

то как не иметь его Воейкову за *доконченные* «Сады» и «Георгики*»*? Ты можешь хлопотать со всем усердием, ничего, кроме справедливого, от тебя не требуется.

Не забудь о Асмусе!

Вы читали в «Арзамасе» мое письмо!5 Поздравляю вас! Да что же вы сделали? Как не взбеситься, подумав, что десять человек, добрых, имеющих чувство и дружных между собою, не могут найти свободной минуты, чтобы подумать о судьбе несчастного человека, ожидающего от них помощи и, может быть, спасения? Не стыдно ли вам, что я принужден писать к вам десять писем

об одном и том же деле, которое вам бы и без просьбы надобно было сделать, и писать по-пустому.

Прости. О себе ничего не пишу. *Старое* всё миновалось, а новое никуда не годится! С тех пор как мы расстались, я не оживал. Душа как будто деревянная! Что из меня будет, не знаю! А часто, часто хотелось бы и совсем не быть. Поэзия молчит. Для нее еще нет у меня души. Прежняя вся истрепалась, а новой я еще не нажил. Мыкаюсь, как кегля.

**331.**

**П. А. Вяземскому**

*<Март (?) 1817 г. Дерпт>\**

Милый друг, ты пишешь ко мне мало и редко. На что же перенимать у меня?

И ты же еще уверяешь, что я не отвечаю тебе на десять твоих писем! На поверку выходит, что <ты> не отвечаешь мне ни на одно! Я послал к тебе экземпляр «Певца»1 — ты не написал, получил ли его! Я послал к тебе отчет в том, что я сделал или по крайней мере что расположил сделать для Мещёвского2 — и на это нет ответа. Я просил тебя сберечь для меня все свои стихотворности, завладеть для меня всеми стихотворностями Батюшкова — и на это ни слова! Кто ж виноват?

Обнимаю тебя за Мещёвского! Ты — истинный арзамасец! Другие наши братья — петербургские бздуны. Я писал к ним не один раз, а десять раз, во всяком письме пишу одно и то же — никто ничего не делает! Что я мог, то сделал! Послал к Кавелину «Наталью», чтобы, переписав, передал Карамзину, потом на счет «Арзамаса» напечатал 600 экземпляров — из этих 600 экземпляров 300 должны бы арзамасцы распродать по 5 рублей (охотников легко бы можно было найти), а остальные 300 продать бы гуртом в книжную лавку хотя по 2 рубля. Вышло бы 2100 рублей. На первый случай довольно бы было для Мещёв-

ского. Но «Арзамас» рассудил собрать сумму для Мещёвского и послать оную под видом полученной от книгопродавца платы за «Наталью», которую продать книгопродавцу и взятые за нее деньги приложить к собранным, — и это бы хорошо! Разумеется, что Мещёвскому досталось бы менее, зато скорее! Но и тут мои арзамасцы мямлют! В одно бы собрание вся сумма могла бы продаться! Они и не думают! К Карамзину я писал3 — он считает неприличным писать к неизвестному ему человеку о неизвестном же человеке. Теперь, как скоро ты

отправишь к нему письмо Герценберга4, он, вероятно, и напишет; а ты, вероятно, уже и отправил. Я же с своей стороны что сделать мог, то сделал. Послал к Мещёвскому книг (немецких поэтов), в ожидании свободы он постихотворствует. Твое дело довершить начатое — дело прекрасное! Прекрасное потому, что даст жить убитому и спасет погибающий талант; еще особенно прекрасное для меня потому, что заставляет любить тебя больше и больше! Жар к добру есть поэзия! воспоминания о прекрасном есть гений хранитель вдохновения! Ступай в Петербург и разбуди спящих! А я напишу к этим уродам большую Бурю. Прости. Обнимаю тебя. Письмо это посылаю через Булгакова5, чтобы к тебе вернее доставил, — а ты обними его за меня в награду за доставление.

*Ж.*

Поблагодари свою милую жену за Прасковью!6 Скачи на тройке к счастью!

**332.**

**А. И. Тургеневу**

*25 апреля <1817 г. Дерпт>*

Письмо Свечиной1 обмануло тебя, мой милый друг, и ты без причины обо мне трепещешь. Я не писал к Свечиной более полугода; она видела мое прежнее состояние и судит о теперешнем по-старому, ошибается и тебя заставляет

ошибаться. Я был бы неизвинительный безумец, когда бы позволил себе быть бесплодною жертвою. От этого сумасшествия я избавлен, и избавлен почти без всякого со стороны своей усилия. Трудно было решиться. Но минута, в которую я решился, сделала из меня другого человека; и, к несчастью, эта перемена сделалась слишком скоро. Я хлебнул из Леты и чувствую, что вода ее усыпительна. Душа смягчилась. К счастью, на ней не осталось пятна; зато была она, как бумага, на которой ничто не написано. Это-то ничто — моя теперешняя болезнь,

столь же опасная, как первая, и почти похожая на смерть. Поверь мне — я перед тобою и перед Карамзиным не способен быть скрытным. То, что я говорил тебе и ему, справедливо совершенно. Если я во всё время нашей разлуки не написал ничего, то не изъясняй этого *прежним*: с этим прежним я сладил. Мое теперешнее положение есть усталость человека, который долго боролся с сильным противником, но, боровшись, имел некоторую деятельность; борьба кончилась, но вместе с нею и деятельность. К этой деятельности душа моя привыкла: эта деятельность была до сих пор всему источником. Но не бойся! Я не упаду! По крайней мере, я надеюсь воскреснуть2. Свечина пишет, что она не может читать

стихов моих: они слишком сильно раскрывают перед нею ее душу и в ней пробуждают то, до чего бы не надобно было прикасаться. И я не могу читать стихов

своих — но причина совсем другая: они кажутся мне гробовыми памятниками самого меня! Они говорят мне о той жизни, которой для меня нет! Я смотрю на них, как потерявший веру смотрит на церковь, в которой когда-то он с теп лою, утешительною верою молился. Это пройдет! Не бойся за меня Дерпта! Я смотрю на счастье, которое не мне принадлежит, *спокойно*; в те минуты, в которые более способен я живо чувствовать, оно только радует меня, и никакое другое

чувство не смешано с этою радостью. Но вообще нахожу в себе равнодушие, для меня тяжелое, и это равнодушие — *во мне самом*; внешних причин искать не надобно! Оно похоже на сон, который производит иногда прекрасная музыка. Музыка моя молчит, и я сплю! Из этого-то сна дóлжно непременно вый ти, и кажется, что теперь представляется мне для этого средство, и вот какое. Третьего дня проезжал здесь Глинка3. Он сделал мне от себя следующее предложение. Для принцессы Шарлотты4 нужен будет учитель русского языка. Место это предлагают ему с 3000 жалованья от государя и 2000 от великого князя,

с квартирою во дворце вел<икого> князя и другими выгодами. Занятие: один час каждый день. Остальное время свободное. Глинка по своим обстоятельствам должен от этого места отказаться. Он желает знать, могу ли я принять на себя эту должность, и требует моего скорого ответа, чтобы меня на свое место представить. Я не сказал ему ни да ни нет. Без твоего совета и совета Николая Михайловича5 не решусь ни на что. Место это кажется мне *выгодным* по многим причинам. 1е. Обязанность моя соединена будет с совершенною независимостью — это главное! Мне будет возможно посвятить половину своего времени другим работам. Работа же *по должности* будет в связи с моими прочими занятиями и вместо того, чтобы им препятствовать, может им способствовать. 2е. Определяемое содержание (если оно таково, как мне сказал Глинка) даст мне средство жить беззаботно в Петербурге, иметь порядочный, определенный, не рассеянный образ жизни и располагать своим временем как хочу. 3е. Самая должность, которую возьму на себя, имеет в *себе* много привлекательного: это не работа наемника, а занятие благородное. Иметь в таком занятии (и в любимом занятии) товарищем образованную женщину должно быть наслаждением, а не неволею. Сверх того, и потому уже эта должность для меня выгодна, что она *должность*; в некотором отношении мне нужно подчинить себя обязанности. Слишком неограниченная свобода вредит мне, я это чувствую. Надобно только, чтобы обязанность не была для меня рабством и не привязывала меня к чему-нибудь, мне несвойственному. В настоящем случае, кажется, этого быть не может. Напротив, здесь много пищи для энтузиазма, для авторского таланта. Наконец, принявши это предложение (если NB оно будет мне сделано), я войду в прекрасный круг, в котором могу быть без рассеяния; могу пользоваться приятностями лучшего общества, не будучи ими увлечен; буду ко всем вам близок,

что необходимо для того, чтобы я более работал; буду иметь под рукою все пособия, нужные для работ моих; могу более образоваться. Вот выгоды. Теперь посмотрим на изнанку. Первое (отвечай мне на это искренно), думаешь ли, что я к такой должности способен? Довольно ли иметь стихотворный талант и быть хорошим писателем, чтобы учить, как дóлжно, языку своему? Я знаю язык свой более по рутине, но на экзамене едва ли выдержу пробу. Искусство учить не требует ли особенного навыка, особенного дарования? Что, если я возьмусь за такое дело, которого не исполню, как дóлжно, то есть, чтобы *я сам мог быть до-*

*волен*? В этом случае мне будет мало *порядочного* исполнения; надобно угодить самому себе совершенно. Если же не угожу самому себе, то это не будет ли для меня убийственно? И я тогда не потеряю ли самый талант свой? Необходимость работать — прекрасное дело; но необходимость быть всякий день способным

*хорошо* работать — не будет ли она для меня слишком тягостною, для меня, который избалован свободою и привык работать только тогда, когда вдохновение этого требует? Еще одно: я хотел было употребить года два на путеше-

ствия, хотел было дать себе года два настоящей молодости, свободной, живой, окруженной прекрасными, для меня новыми впечатлениями. Этот вояж был бы факелом-воспламенителем моего дарования. От этого надобно будет отказаться. Но этим можно будет пожертвовать, если только бы увериться, что я

свое дело исполню, как надобно. Предоставляю тебе и Николаю Михайловичу быть моими судьями. Решите за меня и действуйте. Если вы решите, что мне отказываться не дóлжно, то позаботитесь и о моих выгодах. Твое дело всё устроить к лучшему. Особенно хлопотать о жалованье и квартире. Без совершенной беззаботности о своем содержании мне нельзя в Петербурге ничего доброго сделать. Старайся, чтобы я получил точно то жалованье, о котором говорил мне Глинка. Одним словом, эта забота твоя, а не моя. Если вы решите *соглашаться*, то дай за меня слово Глинке; он объявит об этом вдовств<ующей> государыне6; но знай наперед, что мне прежде конца августа в Петербург приехать невозможно: я отправляюсь в Белев, где мне быть *необходимо* и где пробуду всё лето7. Эту отсрочку ты должен для меня выхлопотать непременно. Здесь останусь до тех пор, пока получу от тебя ответ. Еще было бы лучше, когда бы можно было отсрочить до января; я мог бы *приготовиться. Начать тотчас* я не могу и не умею. Жду от тебя ответа. Какой он ни будет, я совершенно спокоен. Мне *лучшего* не надобно. Но отвечай немедленно, ибо я должен ехать и откладывать

своей поездки не могу. Прошу тебя быть поспешным.

Асмус? Мещёвский?

25 апреля

**333.**

**А. И. Тургеневу**

*<Конец апреля (после 25-го) 1817 г. Дерпт>*

Прошу тебя по моему письму ничего не делать, то есть не говорить с Глинкою и не давать за меня слово. Я буду сам в Петербурге через неделю. Лучше узнать обо всём самому; заочно этого дела нельзя делать. До приезда моего не говори ни с кем, даже и с Карамзиным; а думай один про себя. Приложенное письмо отдай Глинке1. До свидания.

Твой *Жуковский*

Ты можешь повидаться с Глинкою. Не говори ему от меня ничего; можешь расспросить о том, чего от меня требовать станут. Письмо же отдай немедленно. Я не знаю, где живет Глинка: его отыскивай во дворце.

**334.**

**К. Моргенштерну**

*<Апрель 1817 г. Дерпт>*

Joukovsky vous prie de venir dîner chez lui. Nous aurons Ewers, Engelhardt et Parrot. Je vous attends à l’heure et demi et je n’accepte pas de refus.

***Перевод:***

Жуковский просит Вас пожаловать к нему на обед. У нас будут Эверс, Энгельгардт и Паррот. Я жду Вас к половине второго и отказа не принимаю.

**335.**

**А. П. Киреевской (Елагиной)**

*<1 мая 1817 г. Дерпт>*

Милая сестра, благодарю Вас от всего сердца за имя брата, сказанное в такую минуту, когда это имя должно было быть Вам утешением. Милый друг, я завтра отсюда еду и буду у Вас в конце мая, ждите меня1. Сердце за Вас страдает, о брате Азбукине не могу думать. Мне кажется, что единственное слово, которое можно сметь сказать ему и Вам теперь, есть то же, каким Вы начинаете свое письмо: Христос воскрес! Что к этому прибавить? Это ее голос, а нам только отвечать: воистину! С надеждой, с твердостью, с терпением и конечно, конечно, с любовью! Разве конец? Право, нет! Подле милого мертвого «Христос воскрес» есть слово жизни, твердости, награды, надежды. Право! Это — дело Провидения! Отымая у нас милого человека, оно соединило с минутой потери воспоминание о лучшем, что мы имеем в жизни. Милый друг, мы скоро увидимся — дай Бог, чтобы свидание наше было Вам утешением. Теперь простите! Мы были бы вместе скорее, но я должен ехать через Петербург, где пробуду по крайней мере неделю — а для чего, об этом поговорим при свидании2.

**336.**

**А. Е. Измайлову**

*22 июня 1817 г. Петербург*

М<илостивый> г<осударь> Александр Ефимович! Принимая с сердечною признательностью лестный дар Вашего Общества: титул члена, а с ним и приятное право называться сотрудником Вашим и Ваших почтенных товарищей, покорнейше прошу Вас, милостивый государь, быть изъяснителем сей признательности перед почтенными любителями словесности, украшающими ее

своими трудами и воспламеняющими других к труду своим одобрением. Честь имею… и проч.

*Василий Жуковский*

Июня 22, 1817. С.-Петербург

**337.**

**М. А. Мойер**

*<Июнь—июль 1817 г. Петербург>*

Посылаю к тебе деньги, милая Маша; уведомь о получении. Письма ваши получил1. Бедная Дуняша! Ангел Дуняша! Как бы к ней полетел! Но, может быть, это еще и удастся — еще не прикован, и очень может статься, что и не буду прикован!2 Тогда к ней поеду!3 Прости, милая! Писать некогда! Обними мужа и поцелуй ручки у нашей маменьки.

Твой *Ж*.

**338.**

**А. П. Елагиной**

*<Середина июля 1817 г. Петербург>*

Благословляю Вас от всего сердца, милая сестра! Ich hörte, aber erstaunte nicht, und kann nichts erwiedern[[275]](#footnote-275). Милая, я ждал этой вести. Назад тому два дня получил я письмо от Карла Яковлевича1, в котором он уведомляет меня в двух словах о Вашей свадьбе. И первое мое движение, по какому-то верному пред-

чувствию, была радость. Мне говорит какой-то голос и говорит так, что не могу ему не поверить: она будет счастлива! И с тех пор, как знаю об этом, я совершенно спокоен на счет Ваш. До сих пор Вы были жертвою всего, и страдания всякого рода от Вас не отставали — теперь должна настать другая эпоха, вознаграждения и тихого наслаждения жизнью в семье своей. Этого наслаждения Вам было иметь невозможно без товарища-защитника. И Бог его привел к Вам такого, какого Вам надобно, с душою, могущею Вам знать цену. И в какую минуту! Милая! Не правда ли, что это некоторым образом благодеяние Катоши!2 Надобно было ей умирать и страдать, чтобы прекрасное сердце перед Вами обнаружилось. Милая, эта бесценная, успокаивающая мысль о Вашем счастье точно добрый гений. Теперь уж не буду воображать Вас окруженную тяжелыми заботами, одинокою посреди тысячи убийственных, хотя мелких неприятностей — у детей ваших твердая подпора; у Вас счастье — и это счастье Бог сбережет! оно куплено дорого! а кто больше Вас достоин счастья? Нет на свете души возвышеннее, лучше Вашей — это мой символ веры. А тот, кто будет уметь Вас счастливить, будет уже всё иметь на свете. Что за вопрос Вы мне делаете:

Si j’approuve votre conduite![[276]](#footnote-276) 8 месяцев, проведенных вместе и в каких обстоятельствах, — это жизнь! Слышать от Вас о том человеке, с которым Вы навсегда соединены: je l’aime autant qu’on peut aimer![[277]](#footnote-277) Это восхитительно! в этом представляется мне что-то необыкновенно прекрасное. Теперь знаю то место на земле, где земная жизнь может назваться жизнью: когда говорите о счастье Вы, тогда я представляю себе всё прекрасное, соединенное с этим словом! И это счастье верно. Продолжение его оставим тому Провидению, которое привело это счастье к Вам над гробом сестры Вашей как будто для того, чтобы сказать Вам самым понятным языком, что оно всё хранит и за всё награждает.

Простите, милая! Обнимите за меня Вашего мужа! Вы так заспешили, что и не назвали его в письме своем, и я бы должен был играть несколько времени роль Эдипа, если бы не получил заранее письма от Карла Яковлевича! Я уверен,

что Ваш муж меня уже любит, — какое счастье будет увидеться с вами! Но как же больно не быть у Вас в эту минуту! Oui, je dirai, mais je dirai avec la plus tendre reconnaissance votre lettre a été trop longue pour un jour comme celui-là[[278]](#footnote-278). Писать ко мне и писать так много, и в какую минуту! Знаете ли, что Вы никогда так сильно не показывали мне дружбы Вашей! Милая, добрая и (слава Богу!) счастливая сестра моя! я обнимаю Вас от всего сердца! Мне неизъяснимо весело вообразить Ваню, и Петрушу, и Машу теперь подле Вас, веселых и счастливых Вашим счастьем! И теперь все вы вместе! Но растолкуйте мне, по какому случаю ни Маши, ни тетушки нет с Вами в день Вашей свадьбы!3 Я жду от Вас длинного письма4 — от них же ничего не дождешься! Ни Саша, ни Маша, ни тетушка с самого отъезда не написали ко мне ни строки! Что у них делается? Нет ли опять каких-нибудь споров? Напишите, милая, и особенно напишите о Плещееве!5 Вообразите досадное мое положение — сколько святых причин к Вам приехать!

И я должен оставаться здесь! Глупое благоразумие велит мне быть неподвижным! Что же делать! О Плещееве не знаю ничего, и это меня мучит! Знаю, что

он собирается в Петербург, — и только! но когда и каков он?.. напишите об нем поподробнее! Одна из самых тяжелых жертв, принесенная мною обстоятельствам, есть то, что я к нему не поехал. Я знаю, что мое присутствие было бы для него благодеянием, и должен был себе в этом отказать! Между тем мое ничто

еще не решилось6 — и, может быть, всё по-пустому! Как бы то ни было, но мы увидимся скоро. По крайней мере, не позднее сентября! Если мне нельзя будет ехать тотчас, то уж не прежде отсюда поеду, как дождавшись здесь Плещеева.

Увидеть его для меня точно необходимо!

Простите, милая! Пишу к Вам беспорядочно, оттого что спешу. Ваше письмо захватило меня на самом отъезде в Петергоф. И слава Богу, что оно захватило меня, — радость двумя днями ранее. Обнимаю Вас, и мужа Вашего, и детей.

**339.**

**П. А. Вяземскому**

*11 августа <1817 г. Петербург>\**

Душа моя, душенька, посылаю тебе несколько экземпляров «Вадима» — один для тебя и еще несколько для раздачи1. Исполни это последнее и будь милостив к моему честному рыцарю. Новые стихи твои: послание к Давыдову, «Цветы» и «Волнение» (а почему волнение, Бог знает?) прелестны. «Усладом» я недоволен. Овечки очень милы2. Все они уже вписаны господином Николаем Нагибиным3 в книгу. Ты пишешь слишком мало. Я начинаю бояться, не забываешь ли меня. Ленью (моим извинением) тебе извиняться не можно: ты любишь писать, а я нет. Чтоб ты любил меня более, нежели я тебя, потому только,

что более любишь писать письма, — это вздор. Я желаю так быть спокоен насчет твоей ко мне дружбы, как насчет моей к тебе; но твоя начинающаяся краткость в письмах мне становится страшною; не откажись от меня, не вздумай

считаться со мною письмами: у меня нет души для почты; для тебя же писать ничего не стоит. В этом великая между нами разница.

«Арзамас» всё еще возится с одними планами. В будущем, который соберется у Орлова4, подпишется устав арзамасский; и будет рассуждаемо о издании наших трудов и пр. и пр. Результаты сих рассуждений будут к тебе доставлены, но только в таком случае, когда ты перестанешь думать о Варшаве5: эта Варшава меня сердит! Что для тебя за служба! Быть в таком месте, где на всё русское косятся и где русскому нельзя не хмуриться! Что за страсть?

Об издании твоих сочинений я думаю; но, признаюсь, не могу решиться за него приняться. Если я буду определен к своему месту, то, вероятно, в сентябре поеду в Москву: что же сделается с изданием? Надобно подождать, чтобы это всё для меня решилось! Реши формат. Хорошо бы выбрать формат моих «Спящих дев» — можно бы тогда выдать в двух маленьких томиках; если же выберешь 8°, то взять за образец издание Батюшкова Сочинений6 и тогда нельзя более одного тома. Прозу в конце. Некоторые пиесы надобно уничтожить. В том числе «Письмо с Липецких вод»: на что существовать этой шутке; она могла быть интересна *в свое время*, теперь этот интерес исчез. Что касается до расположения пиес, то я желал бы всё перемешать. Кажется, что эта *смесь* приличнее. Я еще не расчел, сколько может стоить издание. Вероятно, тысяч до трех, если печатать 1 200 экз<емпляров>; может быть, и более; сверх того, если печатать у Плюшара или Греча7, то деньги надобно будет иметь все в готовности. Подумай об этом заранее. На мою казну не надейся: она вся *dans les espèces imaginaires*[[279]](#footnote-279). Прости. Поклонись Старосте8. Приложенное письмо доставь Дмитриеву9. А «Карбункул» отдай в собрание ваших или наших любителей словесности, если заблагорассудят принять его10. Я слышал от Воейкова, что Мерзляков крепко вооружа-

ется против злоупотребления гекзаметров11, называя злоупотреблением то, что ими пишут простые и шуточные вещи, и позабыв, что Гомер воспел гекзаметрами войну мышей и лягушек. Напомни ему о греческих лягушках, авось для них простит русско-немецкого черта.

11 августа

**340.**

**А. И. и Н. И. Тургеневым**

*<18 сентября 1817 г. Петербург>*

Варвик и Арфа!1 «Арзамас» у Врана. Адрес Врана: в Галерной № 207, дом купца Риттера2. Час сбора — исход девятого. Быть непременно, ибо «Арзамас» прощальный, и Светлане больно будет, если в этом прощальном «Арзамасе» хотя одной милой ей рожи существовать не будет. Уведомите, будете ли. Еще ж можете оба приехать к Блудову3; он знает, где живет Плещеев; от него поедут и Салтыков4, и Кот, и Ахилл, и Журавль.

Для этого надобно его уведомить, ждать ли вас или нет.

**341.**

**И. И. Дмитриеву**

*20 сентября <1817 г.> Петербург*

Милостивый государь Иван Иванович!

Приношу искреннюю благодарность Вашему превосходительству за дружеское письмо Ваше. Скоро надеюсь изъяснить ее на словах: к двенадцатому

октября1 буду в Москве и живейшее удовольствие обещаю себе от свидания с Вами, в новом (для меня новом) доме Вашем, где, надеюсь, возобновится для меня прелесть тех счастливых вечеров, которые во время оно с таким наслаждением проводил я в Вашей беседе. Смею сказать, что в Москве Вы теперь один из *ближайших родных* моих, и с радостною мыслью об удовольствии скоро Вас увидеть соединяется и надежда, что найду в Вас прежнее ко мне благоволение: заслуживаю его по тому глубокому почтению, которое люблю питать к Вам в сердце.

Благодарю Вас за участие, принимаемое Вами в судьбе моей: должность, мне теперь порученная, есть счастливая должность, счастливая не по тем выгодам, которые могут быть соединены с нею, но по той необыкновенно приятной деятельности, которой она меня подчиняет. Для поэта это главное. Имею перед собою цель прекрасную, к которой буду идти без всяких беспокойных посторонних видов; могу быть беспечен насчет всего, кроме моего долга, а этот долг привлекательный. Еще одно особенное счастье: я всем обязан ревностной дружбе Карамзина. Чтобы доставить мне это место, надобно было Карамзину

сказать вслух, что он любит меня и уважает2. Радость наполняет сердце всякий раз, когда об этом подумаю.

Простите, милостивый государь Иван Иванович. Пишу это слово с некоторым удовольствием, ибо само собой приклеивается к нему другое: *ненадолго.*

Мысль об Вас всегда водит за собою свиту любезных воспоминаний; свидание с Вами столпит еще большее их множество.

Уверяя Вас в душевном, неизменном почтении, честь имею быть с совершенною преданностью

Вашего превосходительства покорнейшим слугою

*Жуковский*

20 сентября

С.П.бург

**342.**

**П. А. Вяземскому**

*<Конец сентября 1817 г. Петербург>\**

Я буду в Москве около *десятого октября*!1 Неужели мы не увидимся?2 Постарайся пробыть в сей древней столице русского царства до сего времени; дож дись меня и, если можно, подари мне недельки две любезного *вместе*. Посылаю тебе *Кисель*3. Более писать некогда. Ты знаешь и без меня, что я уже определен к моему месту4.

Твой *Жуковский*

**343.**

**А. И. и Н. И. Тургеневым, Д. Н. Блудову, К. Н. Батюшкову**

*<Около 9 октября 1817 г. Москва>*

Здравствуйте из Москвы, друзья Тургеневы, Блудов и Батюшков! Я доехал здорово — я, Максим1 и коляска. Разбойники меня не тронули. О путешествии моем будет подробное донесение в «Арзамас», а вам на первый случай вот что:

*Тургеневу*: Я был у Екатерины Семеновны2. Она теперь здорова, но была нездорова. Скучает и грустит. Для нее и для твоего покоя, друг милый, желал бы я, чтобы она была в Петербурге. Кажется, что и ей этого хочется. Подумай об этом. Князя3 я не видал, хотя и был у него. Нынче обедаю у матушки и буду у нее

сколько можно чаще.

*Блудову*: С Севериным я не видался. Не застал его дома, следовательно ничего не могу сказать тебе о том предмете, о котором ты знать желаешь. Прошу тебя не полениться и прислать мои деньги. Адресуй их прямо на имя Булгакова4, с тем, чтобы передать мне, живущему в Университетском Благородном Пансионе у известного профессора Антонского. Глупо я сделал, что послушался твоей осторожности. Теперь сижу без денег; а ты когда пришлешь их ко мне, Бог ведает.

*Батюшкову*: Тот же ответ о Северине, какой и Блудову. На следующей поч те буду писать к вам обоим.

*Николаю Тургеневу*: Дружеское объятие и сердечное уважение.

*Всем вам*: Я живу в Москве, как на гробе. Душа рвется от воспоминаний о прошедшем. Ничего, что было некогда моим, здесь нет. Я опять в пансионе, там, где жил мальчиком5; а сколько перемен с того времени. Квартиры еще не имею, но скоро иметь буду. Когда примусь за работу, будет легче. Теперь всё

еще вокруг меня беспорядок, и сам скитаюсь как осиротелый. На всякой улице вспомнишь кого-нибудь из моих, и как ни вспоминай, ни одного не допомнишь к себе. Жестокое чувство! От него один отвод — работа.

Простите, друзья! Я этого не ожидал: в Москве мне жаль Петербурга.

Ваш *Ж*.

**344.**

**Н. М. Лонгинову**

*<12 октября 1817 г. Москва>\**

Виноват! Виноват! Я хотел быть у Вас поутру, но не успел никак. Оттого и теперь вышли затруднения, но я думал, что государыне1 можно представиться в кабинете ее, так, как я и был однажды ей представлен2. Простите мне мое незнание придворных обычаев — это наука трудная, ей и при большой охоте не скоро выучишься; а мне еще сперва надобно и самой охоте учиться. На всякий случай, если позволите, приеду к Вам часу в одиннадцатом в начале. Если нельзя будет представляться государыне, то хотя буду иметь удовольствие видеть ее почтенного секретаря, которого уважаю от всего сердца! Честь имею быть

Вашим

покорнейшим слугою

*Жуковский*

**345.**

**А. А. Воейковой**

*17 октября <1817 г.> Москва*

Москва. Октября 17

Милый, бесценный друг Саша, здравствуй из Москвы1. Я здесь; *не был* в Дерпте и не могу быть у тебя (по крайней мере, *теперь* быть не могу). Что ты, мой ангел? Скажи, ради Бога, о себе слово. Сердце к тебе порывается2. Я в Москве как на кладбище3. Сколько милых теней вокруг меня бродит. И живые *мои —* те же тени. Где вы, мои друзья? И между моими, ты, мой искренний, милый друг, где ты? Не знаю, как описать тебе мое теперешнее чувство. Я живу опять в пенсионе (моя казенная квартира еще не готова)4, опять попал в свою колыбель — а все те, которые меня в этой колыбели баюкали, все пропали. Прошлое ожило, или, лучше сказать, прошлое-мертвец воет подле меня и приводит

сердце в унылость. Ехав в Москву, я и не подумал, что в ней не найду ничего, что ее прежде делало прелестною; я был уверен, что найду здесь Авдотью Николаевну5, — узнаю, что и ее нет. Нет ни одного лица, которое бы говорило о нашей общей прежней жизни. Не могу изъяснить, как в иные минуты грустно. И знаешь ли, что более, нежели о других, думаю о тебе, моя милая душа. Как бы хотелось побыть с тобою. Но как этого надеяться. Тебя сюда ожидать нечего. А мне оторваться невозможно. Разве удастся весною, во время родин моей великой княгини6. Ах! если бы ты и Дуняша7 здесь были — я бы назвал это счастьем, но и ее нельзя надеяться перекликать сюда. И не хочу; она, я думаю, часто с тобою, она теперь тебе необходима. По крайней мере, друг бесценный, напиши ко мне. Скажи, каково тебе на старом, опустевшем месте. По крайней мере, для тебе нет одиночества: подле тебя зреет надежда-Маша8. Для сердца твоего есть жизнь; и твое милое сердце способно довольствоваться этою жизнью. Но Боже мой! мне Букильон9 сказывал, что ты часто нездорова, что твой бок часто болит. Друг милый, сохрани тебя Боже. Неужели ты позволяешь себе какую-нибудь небрежность? Твое счастье, твоя добродетель, твои должности все в одном прекрасном

слове: Маша! Итак, береги себя. Жду от тебя письма — не поленись, мой дружок, меня об себе уведомить. Твое письмо мне будет подарком бесценным.

Твой муж должен будет скоро к тебе приехать. Так он пишет к Антонскому10. Вели ему тотчас по приезде ко мне написать. Я не писал к нему давно. Зная мою лень, он не должен на меня сердиться; но буду писать к нему, когда получу его письмо11. Теперь мы друг к другу ближе — но это совсем не утешение. Бог знает, что бы я дал за то, чтобы были подле меня вы, моя милая семья; а ты особенно, друг мой; думая о тебе, всегда чувствую что-то необыкновенно нежное в сердце, и судьба твоя для меня нечто священное. Сашка моя, ты стоишь счастья! Ах! если бы еще можно было говорить: *печаль по слуху только знай*12, и думать, что это еще исполнится. Но Бог милостив! а в жизни всё к великому средство!13 особенно в твоей, которая чиста еще как день. Вера и твердость — конец всему добро.

Где Азбукин? Я доставлю к нему его бумаги14. Помнит ли он меня? Любит ли? и знает ли, что я его люблю по-старому? что желаю ему если не счастья, то всех возможных утешений и что рад бы много дать собственного для доставления их ему. Бумаги его ему будут присланы. Жду их из Петербурга. Я не взял их с собою; а велел их ко мне прислать по почте с моими деньгами: петербургская дорога стала небезопасна, и я, боясь быть ограбленным, поверил то, что подороже, почте.

Наконец, Сашка, я учитель!15 Место мое во всех отношениях приятное. Единственное мне приличное. Моя ученица мила, добродушна, и сердце у меня *лежит* к моему делу. Мне весело иметь теперь цель моим занятиям, цель небесную. Я было ее потерял и разлюбил работу. Теперь хоть это поправилось, или поправляется. В Петербурге я уже дал ей несколько уроков; шло хорошо. Надеюсь, что пойдет лучше. Жаль только, что она часто бывает нездорова. Милое, небесное создание: простота, добродушие и прелестное ребячество. В<еликий> князь16 очень добр в обхождении. Он привязывает к себе своею ласкою. Мне то и надобно. Хочу *любить* свою должность, а не об выгодах заботиться. Выгоды будут, если Бог велит, но лбом до них добиваться — не хочу; трудно, скучно и для меня бесполезно, ибо не имею и не буду иметь нужного для того искусства.

Где Марья Николаевна?17 Обними ее за меня. Я был здесь в пустом ее доме, зная, что ее здесь нет, но думая: что, если она приехала. Мне было как будто весело проехать несколько улиц с *бывалою надеждою* повидаться с родным человеком! Не тут-то было! Дом пуст, и в нем заикается один мой крестник!18

Прости, друг! Всякий день за меня целуй Машку или Наташу, говори ей, что это от меня. Прости еще раз! Целую тебя мысленно! А когда же наяву?

Мой адрес: в Москве; его высокор<одию> Ант<ону> Ант<оновичу> Прокоповичу-Антонскому, на Тверской, в благородн<ом> универ<ситетском> пен-

сионе, для передачи В. А. Ж.

Это письмо послал через Петра Николаева, <*нрзб.*> Плещеева; он доставит его к тебе или в Орел, или в Муратово. Но напиши, как лучше тебе писать. Куда посылаешь ты за письмами. Смотри, напиши непременно.

**346.**

**Н. М. Лонгинову**

*<20 октября 1817 г. Москва>\**

Я был у Вас, милостивый государь Николай Михайлович, но не имел удовольствия застать Вас дома. Желаю быть представленным завтра ее император-

скому величеству для принесения ей моего поздравления1. Прошу Вас сказать мне, могу ли через Вас иметь это счастье и в котором часу должен завтра к Вам явиться, дабы ей быть представленным. Прошу Вас уведомить меня об этом коротенькою записочкою, если можно, нынче или завтра поутру ранее. Живу в Чудове монастыре2, в той же связи, где жил прежде принц Прусский3. С совершенным почтением честь имею быть

Вашим

покорнейшим слугою

*Жуковский* Суббота

**347.**

**Великому князю Николаю Павловичу**

*<Между 11 и 21 октября 1817 г. Москва>*

Я имел честь представлять Вашему Императорскому Высочеству о своем жалованьи, предоставляя его совершенно на произвол Вашего Высочества, в полном уверении, что Вы примете на себя милостивую заботу в рассуждении обеспечения меня насчет необходимого; почитаю также необходимым к прежней просьбе моей прибавить другую, которой не успел, или, лучше сказать, не умел, представить Вашему Высочеству при личном моем с Вами разговоре. Я теперь в отставке. Осмеливаюсь просить, чтобы Ваше Высочество разрешили, должен ли я считаться в действительной службе или нет. Если Вашему Высо-

честву покажется это излишним, то соблаговолите сказать мне Ваше мнение: оставить на этот счет всякую заботу не будет <ли> для меня пожертвованием? Если же, напротив, Ваше Высочество найдете справедливым, чтобы служба моя имела тот же ход, какой она имеет для всякого, отправляющего какую-нибудь должность, то смею надеяться, что Вы доведете это до сведения Государя Императора. И в таком случае почитаю за нужное объяснить следующее: я вступил в Московское ополчение 1812 года из отставных титулярных советников поручиком; в том же году получил от Светлейшего князя1 за отличие чин штабскапитана; потом награжден орденом Св. Анны 2-го класса2. С чином штабскапитана я и отставлен. Имея почетный диплом на звание доктора философии3, полагаю, что я вправе считаться в осьмом4 классе. Наконец, прошу, чтобы Ваше Высочество позволили мне объяснить всё это лично Ее Императорскому Величеству5. Будучи ею определен в настоящую мою должность6, считаю обязанностью узнать и ее волю относительно ко мне; но должен наперед иметь на это

соизволение Вашего Высочества.

В заключение прошу Ваше Высочество простить мне мою докучливость. Я не мог избежать неприятности говорить Вам о самом себе; но этот первый раз есть и последний. Имея необходимое, буду иметь всё. Заботиться о выгодах не мое дело; к тому же нет выгоды, которую можно было бы сравнить с тем счастьем, какое дает мне исполнение моей драгоценной должности, а этим счастьем я обязан Вам, и поверьте, что главною моею целью будет заслужить не награды от Вас, но уважение. Это узнаете Вы на опыте.

**348.**

**А. И. Тургеневу**

*<Около 22 октября 1817 г. Москва.>*

Здравствуй, милый друг, и здравствуйте, арзамазцы! Пишу к тебе по просьбе Антона Антоновича1. Он желает иметь портрет князя Голицына2, который и согласился на его желание. Остается иметь портрет. Это дело поручает он тебе и просит тебя не замедлить доставить ему список. Списать с портрета, находящегося у Елизаветы Михайловны Кологривовой3. Величина портрета: вышиною в аршин, а шириною в 13 вершков; срок, к которому списать, 1е декабря;

срок, к которому доставить: 10 декабря. Я поручил об этом хлопотать Кавелину, ибо ты забудешь; ты с своей стороны только помоги.

Я переселился на свою квартиру; живу теперь в келье какого-то монаха Чудовского; на окнах моих крепкие решетки, но горницы убраны не по-монашески; тишина стихотворная царствует в моей обители, и уж Музы стучатся в двери; я еще не мог принять их за беспорядком, но завтра они ко мне пожалуют. О чем буду с ними беседовать, то скоро узнают современники и передадут потомкам.

Целую «Арзамас».

Вчера, то есть третьего дня, обедал я у матушки. Она не выезжает; несколько простудилась. Может быть, нынче буду у нее.

Хлопочи, пожалуйста, о портрете.

**349.**

**А. И. Тургеневу**

*26 октября <1817 г. Москва>*

26 октября

Я исполнил твое приказание, милостивый государь мой, друг Александр Иванович. Третьего дня ввечеру, то есть 25-го, в среду, возвращаясь домой, нахожу у себя твой пакет. Ехать к матушке тотчас было поздно; я и не поехал. А был у нее вчера поутру1. Она уже получила твое письмо, в котором пишешь, чтобы от себя она поговорила с Новосильцевым2. Но и она, и я рассудили, что ей лучше всего прежде увидеться с князем, прежде нежели насылать на него Новосильцева. Князю могло бы показаться, что она на него жалуется или ищет к нему сторонней дороги. И мы положили писать к князю, звать его к матушке; на что была причина законная, ибо матушка с некоторого времени в самом деле нездорова — простудилась и не встает с постели. Берусь за перо, сажусь писать письмо к князю с тем, чтобы его отвезти самому, — входит человек и говорит: князь приехал. Ничто не могло быть более кстати. Но разговора их я не слыхал; знаю только, что он начался горькими слезами. Матушка просила меня их оставить. Но вот что слышал я от нее, бывши у нее после обеда. Она князю не *пеняла* за то, что ты не отпущен, но говорила о своей болезни и просила, чтобы хотя на две недели был отпущен с нею видеться. Князь на это отвечал ей, что *неотпуск* твой есть точно доказательство того, что он к тебе более, нежели к кому-нибудь, имеет доверенность и что ты в его отсутствии необходим в Петербурге. Она сказала ему, что просит его извинить ее, если она ошибается, но

что она судит как *мать*; будучи от всех далеко и заключая обо всём по одной наружности, от тебя же не имея ни о чем, до тебя касающемся, известий и будучи даже уверена, что для тебя будет неприятно, когда узнаешь, что она говорила с князем, она начинает бояться, не переменился ли к тебе князь; твой неприезд, твое статс-секретарство, которое так медлительно, слухи о многих твоих недоброхотах — всё это вместе заставляет ее думать, что князь к тебе не таков, каков был прежде; но что это было бы несправедливо, что ты не только добрый ему подчиненный, на благородство которого он может и должен по-

лагаться, но что ты его любишь и уважаешь. Всё это было сказано без упреков и кончилось очень хорошо. Князь просидел у нее около трех часов. Он привез

ей проповедь Августина на закладку храма3 и сам ей прочитал ее уже по окон-

чании разговора. О тебе же сказал, что постарается непременно тебе доставить случай нынешнею зимою видеться с матушкою. Что же касается до медленного статс-секретарства, то не его вина. Он дважды говорил государю, и государь, будучи весьма высокого о тебе мнения, всё отказывал по причине твоей молодости. Видишь ли, каково нам быть молодым. Одним словом, они расстались как нельзя лучше, и я уверен, что этот разговор имел такое действие, какого тебе желать надобно. В конце его приехал Мудров4, и князь много с ним говорил

о матушкиной болезни; у нее слабость в нервах и сильная ипохондрия. Теперь о Новосильцове. Матушка хочет к нему послать. Признаюсь, не знаю, нужно ли ей теперь говорить с ним. По крайней мере, я советовал говорить ей так: рассказать ему свой *разговор с князем*, дабы он, увидясь с князем, мог и ему сказать,

что слышал от матушки об этом разговоре, о котором может сказать ему и свое мнение, а не говорил бы прямо от себя или прямо от матушки. Если *прямо от себя*, то князь мог бы подумать, что он так действует, будучи настроен тобою; если же *от имени матушки*, то князю может показаться неприятно, что она, не удовольствовавшись его обещанием, употребляет другого, чтобы побуждать его. Новосильцев, говоря *от себя* о слышанном от матушки, будет действовать как посторонний. Так это мне кажется лучше; думаю, что и ты меня одобришь.

Я был уже у князя два раза и не видал его. Нынче к нему поеду опять: есть до него *своя* нужда: хочу просить пропуска в Патриаршую библиотеку, но думаю,

что дойдет дело и до тебя. Что услышу, то напишу к тебе. Прости до свидания.

*Ж.*

Обними Николая Михайловича5 и «Арзамас».

**350.**

**Н. М. Карамзину**

*8 ноября <1817 г.> Москва*

8 ноября. Москва

Завтра, почтеннейший друг Николай Михайлович, еду с нашим бедным князем в Остафьево: отвозим туда гроб его сына. Митеньки нет на свете1. 18 октября перевезли его было из Остафьева с легкою болезнью, которая никого не пугала; он долго был *только нездоров*; но третьего ноября вдруг сделался опасен, жар и беспамятство; доктора уверяют, что вода бросилась к нему в голову; пятого числа после обеда сделалось было ему лучше; на другой день надежда усилилась; мы почитали его уже спасенным — но ввечеру всё кончилось! Что Вам сказать об отце и матери? К несчастью, Вам слишком знакомо теперешнее их положение. Эта горестная потеря подтверждает наши всегдашние мысли о жизни. Кто скажет: *счастье цель ее*, тот ничего не скажет, а только смутит настоящее понятие о жизни. *Действие нравственное, сколько можно чистое*,вот цель! Бог дает нам одни материалы — наш долг употреблять их добрым образом к лучшему! Что бы ни было этот материал: горе или радость, это знает тот, кто выдает его! А нам только принимать и обрабатывать! Всё в жизни *к прекрасному* средство!2 Но *прекрасное* и *счастье* — не одно и то же! Этот печальный день (6 ноября) был для меня памятным уроком жизни. Утро началось для меня прекрасно: накануне был я у Вяземского, видел всех успокоенных насчет больного; и в этот день поутру видел то же — вечер провел у И<вана> Ивановича3 очень весело и поехал домой, не считая и нужным заезжать к Вяземскому. Подъезжаю к Кремлю: ночь прекрасная! Весь Кремль сияет! Зрелище тихое и величественное. Подъезжаю к крыльцу своему, хочу выходить из саней; скачет Вяземского человек и зовет к нему. Милый младенец умирал, и я застал немного минут его жизни. Когда я возвращался домой опять, в три часа ночи, совсем уже не тот, как за несколько часов, то всё уже было темно, луна зашла, и что прежде светило, то было покрыто туманом, но *звезды на чистом небе сделались ярче*!4 Это был урок без слов, и нельзя было его сильно не почувствовать. Меня он поразил, и я не могу не сообщить Вам этого впечатления.

И Вяземский, и жена его здоровы. Они много плакали, и это их облегчило.

Тотчас по кончине Митеньки они переехали к Рябининым5, у которых ночевали, а вчера переселились к Кологривовым6; тут пробудут с неделю, по тех пор, пока не отопят нового, нанятого им дома (дом к<нязя> Д. И. Лобанова на Малой Дмитровке).

Тяжело мне, почтеннейший Николай Михайлович, на Ваше дружеское и *веселое* письмо отвечать таким печальным; но делать нечего.

Простите. О своем положении говорить Вам не стану; оно прекрасное, но дóлжно говорить об нем в веселом или по крайней мере в спокойном распо-

ложении духа. Прошедшее не туманит нисколько моего настоящего; я люблю

свою должность — это большое счастье. Цель моя — быть *в ладу* *с самим собою*; постараюсь, до нее достигнув, от нее не удаляться. Вы уже меня благословили на всё доброе: постараюсь не изменить благословению бесценного друга. У Екатерины Андреевны целую ручки.

Государыня получила письмо Ваше — это я от нее самой слышал — и *радуется им*, как сама говорит.

**351.**

**А. И. Тургеневу**

*8 ноября <1817 г. Москва>*

8 ноября

Я не успел написать к тебе в прошедший понедельник. Вот в чем дело. Я был в этот день у Новосильцева, и застал его, и говорил с ним о тебе. Он уже виделся с матушкою; я, кажется, и писал к тебе об этом1; и хотел говорить с князем, но не говорил: ибо, получив твое письмо, думал, что от меня что-нибудь особенное о деле твоем узнает. Я не мог ничего особенного сказать ему. Содержание его разговора со мною в двух словах: *тебе дóлжно быть статс-секретарем*2. Я с своей стороны *дал ему совет*, сказав наперед, что его нечего учить что делать; и вот в чем состоит этот совет: если будет говорить с князем, то не от имени матушки, дабы не показалось князю, что она поручила говорить ему, а от себя, сказав только князю, что

он слышал от матушки о ее с ним разговоре и с своей стороны считает, по дружбе к тебе, нужным сказать искренно на твой счет свое мнение. Таким образом, разговор *матушки* с князем, известный Новосильцеву, будет только поводом его разговора с князем, но действовать будет *от себя, по собственному внушению*. Напрасно ты хлопочешь. Я не думаю, чтобы было не нужно Новосильцеву говорить за тебя. Князь не может и не должен подумать, чтобы ты интриговал; а мнение Новосильцева mettra du poids dans la balance[[280]](#footnote-280) и произведет решительный перевес.

Новосильцев твой прекрасный, любезен и благороден.

О себе не пишу к тебе. Мое всё хорошо, и я радуюсь своею участью, ибо на душе легко, и мне весело находить в этой душе одни только теплые, бескорыстные желания и намерения, достойные тебя, Карамзина и «Арзамаса»3. Каков-то буду вперед — Бог знает лучше! Но это слово *каков* — мое главное и драгоценнейшее.

От Карамзина узнаешь подробности о бедном Вяземском. Он потерял сына и жестоко грустит4. Двадцать пять лет — а уже несчастный отец.

Прости, друг — целуй брата. С матушкою твоею у меня лады. В субботу обедал у нее с Дмитриевым. Присылай портрет к сроку5. Это будет и мне одолжение. Хочется услужить Антонскому. Максима Ивановича6 я не успел еще видеть, но буду у него. Не забудь сделать за меня рапорт графу Н. П. Румянцеву. Это дело принадлежит ему.

**352.**

**А. И. Тургеневу**

*<9 ноября 1817 г. Москва>*

Здравствуй, милый! Пишу к тебе по повелению твоей матушки, у которой я был вчера и которая вот что от тебя требует: непременно, *ежели хочешь ее утешить*, съезди сам к Петру Ивановичу Юшкову1. Он продает деревню, со-

стоящую из 300 душ с 5000 десятин (Елецкого уезда вотчина Чернавская); его поверенный здесь объявил цену этой деревни 400 000; матушка этому не верит, находя цену слишком дорогою; она желает знать от самого Юшкова цену последнюю, дабы приступить к торгу или совсем от него отступиться. Вот об чем тебе и дóлжно переговорить с Юшковым. И матушка этого требует, просит и умоляет, и ждет от тебя скорого исполнения ее просьбы, требования, умоления и ожидания. И прошу поскорее исполнить их, хотя для меня, ибо я буду бранен за твою леность.

Новосильцов2 был у матушки: она говорила с ним *от себя* о тебе и о свидании своем с князем; и Новосильцов будет говорить с князем3, с своей стороны, и что из этого состряпается, узнаю в субботу, ибо в этот день буду у матушки

обедать: вероятно, что она уже какой-нибудь ответ от Новосильцова получит. С князем я всё не видался, а был у него три раза; в субботу еще раз побываю.

Прости, друг. Мне пока хорошо: мое занятие мне дорого, и я им счастлив. Обними братию и брата.

Твой *Жуковский* Сейчас получил твое письмо, завтра сам поеду к Новосильцову.

**353.**

**А. А. Воейковой**

*27 ноября <1817 г. Москва>*

27 ноября

*Душа* моя Саша, я не ответил на прелестное письмо твое!1 Если уж это не доказательство, что лень непобедима, то разве один Бог лучшее выдумает. Благодарствуй, бесценный друг. Я читал его со слезами и целовал тебя заочно. Как тебя люблю и как всегда при всём *хорошем* вспоминаю о твоей милой рожице, о твоей милой душе, о твоем дружеском истинном голосе — этого нечего и сказывать! Сердце сердцу весть подает. А между моим и твоим нечего заводить почты! станций нет — дорога прямая и самая короткая!

Дружок мой бесценный! надобно думать, что я много, много люблю тебя потому, что у меня всегда повернется что-то в сердце, как скоро назову тебя этим именем. Мне очень жаль, что через сени от меня живет немец доктор, а не ты с Катькою2. Я желал бы ходить с своею трубкой взад и вперед не *один* по своей горнице, а по *твоей*. И сколько бы доброго мы придумали с тобою вслух. Иногда

сыплется много мыслей; а отсыпать некуда. Твоя же душа такая для них кладовая, в которой они не только не залежатся, но еще сделаются лучше и чище. Так, милая, ни с кем так мои мысли не делаются лучше, как с тобою. Они обыкновенно

обращались в чувство, когда бывали сказаны или поверены тебе. Смотри же, береги мне моего друга, моего милого, верного, самого сходного со мною товарища; будь здорова! От грустного заслоняйся Катькою и Сашкою. Что ни говори, милая! Есть величественного много в горе — если только душа вся скажется как дóлжно. Знаешь ли, кто понимает Бога? Или несчастный с чистою душою в минуту твердости! Или счастливый в минуту прекрасного чувства, счастливый не обстоятельствами, но тем, что их творит и украшает, — душою! Бог на этих двух пределах; спокойная середина равно от него удаляет. Там только делаются самые решительные для души откровения. Бог открывается нам во всяком добром чувстве; тогда мы видим его лицом к лицу; и нам доказательства его бытия не нужны. Я не молюсь никогда: этого нельзя обратить в привычку. Но в иной раз, когда прекрасная мысль или высокое, бескорыстное чувство настигает душу, и глаза, и голова, и руки, и всё существо невольно подымаются к небу! И всё это

стало с некоторого времени живее — доказательство, что в моем теперешнем

положении много прекрасного; но как говорит Шиллер:

ein erhabner Sinn

Legt das Große in das Leben, Und er sucht es nicht darin3.

Прости, милая душа. Скажи мужу, что я не отвечал на последнее письмо его, и он знает, почему; и ответ был сделан, но не послан ему4. Записку Жихареву отдал5. Детишек ангелов целую.

1. Из трудностей рождаются чудеса (*франц*.). [↑](#footnote-ref-1)
2. Надеяться — значит наслаждаться (*франц*.). [↑](#footnote-ref-2)
3. В *неопределенности*, и эта неопределенность есть уже наслаждение (*франц*.).  \*\*\*\* Движущая сила (*нем*.). [↑](#footnote-ref-3)
4. Выше черни (*франц*.). [↑](#footnote-ref-4)
5. Безграничным пространством, в котором существуют и сосредоточиваются все ограниченные пространства (*франц*.). [↑](#footnote-ref-5)
6. Что касается настоящего (*франц*.). [↑](#footnote-ref-6)
7. Возделывая свою голову и свой сад (*франц*.). [↑](#footnote-ref-7)
8. Это чего-нибудь да стоит (*франц*.). [↑](#footnote-ref-8)
9. Более подробно (*франц*.). [↑](#footnote-ref-9)
10. Здравствуй, друг! (*франц*.). [↑](#footnote-ref-10)
11. Кстати о Николае (*франц*.). [↑](#footnote-ref-11)
12. Прощай! (*франц*.) [↑](#footnote-ref-12)
13. Душа — огонь, который угасает, если не разгорается (*франц*.). [↑](#footnote-ref-13)
14. Да здравствует разум! (*франц*.). [↑](#footnote-ref-14)
15. Это редкость! (*франц*.). [↑](#footnote-ref-15)
16. Умный понимает с полуслова (*франц*). [↑](#footnote-ref-16)
17. Да здравствует моральная философия! Да здравствует ее влияние даже на самую запущенную кухню! Я хотел бы, однако, чтобы философия нашего друга Киреевского была бы немножко более материальной, дабы он мог заделать отверстия в своем долбин- [↑](#footnote-ref-17)
18. Кому удалось великое благо быть другом друга, кто нашел себе милую жену (*нем*.). [↑](#footnote-ref-18)
19. Поготово (*простонар*.) — еще больше. [↑](#footnote-ref-19)
20. Общим делом (*франц*.). [↑](#footnote-ref-20)
21. Кстати (*франц*.). [↑](#footnote-ref-21)
22. Мой дорогой друг (*франц*.). [↑](#footnote-ref-22)
23. И ты должен быть моим прибежищем (*франц*.). [↑](#footnote-ref-23)
24. Да, нужно держаться чего-либо; жить без привязанностей, порвав все те, которые были так дороги, — это то же, что жить в могиле (*франц*.). [↑](#footnote-ref-24)
25. Беда уже случилась, мой дорогой друг! (*франц*.). [↑](#footnote-ref-25)
26. Прощай (*франц*.). [↑](#footnote-ref-26)
27. Посылаю Вам остаток моего долга, и у меня нет свободной минуты, чтобы сказать Вам еще что-либо. Я могу только искренне поблагодарить Вас за последнее письмо и сказать, что Вы сможете оказать мне большую помощь, если Вы всё та же, то есть такая же, какою были прежде, в те времена, когда пели: «Ибо гордость навеки тебя отлучает». Мы могли бы

    еще быть счастливы, не я, но мы, и это зависит от нас, и мы непременно должны сделать, чтобы так было. Прощайте. Мы скоро увидимся. Я только тороплюсь отправить деньги, чтобы не заставлять томиться нашего несчастного переводчика. Тем не менее не забывайте меня, и благословит Вас Господь; что до меня, я провожу время в разъездах, которые сами по себе одиноки и скучны, но они имеют для меня некую восхитительную сторону. Прощайте (*франц*.). [↑](#footnote-ref-27)
28. Прощайте, прощайте (*франц*.). [↑](#footnote-ref-28)
29. И скажи мне, Александр, что означают эти слова (*франц*.). [↑](#footnote-ref-29)
30. Не правда ли, неразумно показывать свои чувства, не имея намерения их питать и не имея возможности это делать? Зачем говорить о чем-то, к чему нет ни желания, ни сил возвращаться; и зачем подвергать себя опасности будить чувства, которые были живы, но теперь угасли и могут лишь причинить боль? Я не знаю, что было у тебя на уме, когда ты писал эти стихи. В данных обстоятельствах, хорошо зная людей, с которыми ты общаешься, ты не должен действовать, не имея цели. И эти чужеядные выражения, некогда приятные, теперь бесполезные, тебе более не подходят. Молчание обо всем, что прошло! Говорить об этом только, чтобы не молчать, слишком присуще высшему свету, который не придает большого значения тому, о чем говорит. Прощай, дорогой друг, и объяснись по этому пункту.

    Покажется ли мое письмо тебе смешным? Не думаю (*франц*.). [↑](#footnote-ref-30)
31. Непосвященный (*франц*.). [↑](#footnote-ref-31)
32. Кстати (*франц*.). [↑](#footnote-ref-32)
33. Прощайте, дорогой и очень дорогой друг (*франц*.). [↑](#footnote-ref-33)
34. Только чтобы утешиться (как Вы говорите) после неуспеха двух попыток (*франц*). [↑](#footnote-ref-34)
35. И давайте будем вместе стараться стать добрыми друзьями, но <будем> дружны такой дружбой, которая могла бы иметь благодетельное влияние на всю жизнь. Прошу Вас, ответьте в немногих словах. Преданный Вам *Жуковский* (*франц*.). [↑](#footnote-ref-35)
36. Возможно, я покажусь Вам смешным с моими романтическими идеями, скажите мне об этом прямо. Я уже запечатал свое письмо, но перечитав еще раз Ваше, я снова распечатываю его для того, чтобы добавить несколько слов. Как же Вы попросили меня писать Вам, получив мой ответ, показавшийся Вам неуспехом Вашей просьбы? Это непостижимо. В Вашем характере слишком много нетерпения — малейший пустяк Вас огорчает. Вы хотите в дружбе вести себя так, как в игре в бильярд? во всяком случае, промах — это всегда род поражения. Но здесь промахнулись Вы; вправе ли Вы сожалеть о *неуспехе*, который существует только в Вашем безрассудном воображении? В моем последнем письме я не написал Вам ничего такого, чего не желал бы получить в ответ от Вас. Вы называете отказом мое искреннее обещание постараться сделаться Вашим другом? и это поистине несправедливо (*франц*.). [↑](#footnote-ref-36)
37. Однажды наметившаяся (*франц*.). [↑](#footnote-ref-37)
38. Прощайте (*франц*.). [↑](#footnote-ref-38)
39. Работать над тем, чтобы стать друзьями (*франц*.). [↑](#footnote-ref-39)
40. До свидания (*франц*.). [↑](#footnote-ref-40)
41. Прелестная компания (*франц*.). [↑](#footnote-ref-41)
42. Да будет стыдно тому, кто об этом дурно подумает (*франц*.). [↑](#footnote-ref-42)
43. Букв.: «рагу из разных сортов мяса»; кроме того, имеет значения «смесь, всякая всячина» и «смесь из цветов и благовонных трав для создания аромата в доме» (*франц*.). [↑](#footnote-ref-43)
44. Четверостишие (*франц*.). [↑](#footnote-ref-44)
45. Лучшие произведения (*франц*.). [↑](#footnote-ref-45)
46. Увы, бедный Жак! Я слишком сильно чувствую свою бедность! (*франц*.).  \*\* Кстати (*франц*.). [↑](#footnote-ref-46)
47. Счастливого пути (*франц*.). [↑](#footnote-ref-47)
48. Мой дорогой и несчастный друг (*франц*.). [↑](#footnote-ref-48)
49. Да, мой друг, из твоей сестры она сделалась твоим ангелом-хранителем. Эта мысль нисколько не химерическая — это истина. И в то же время это утешение — она не может не быть истиной, поскольку Бог существует. Эта истина для меня — неотразимая очевидность, душевные связи не могут быть отменены смертью, и вечная жизнь существует! Чем был бы Бог, если бы Он создавал существа столь прелестные, как она, только для нескольких мгновений быстротечной жизни, только для того, чтобы они вкусили смерь, не вкусив жизни! Может ли Божество действовать без цели! (*франц*.). [↑](#footnote-ref-49)
50. Воодушевленная, в этот момент она сама не ведала, что сказанные ею слова прозвучали мистически — я живу надеждой на воссоединение, и в то же время я нахожусь в мире, лишенный всего. Я добавил бы к этому: сохрани эту надежду, Бог да убережет тебя от ее потери, но не говори, что ты всего лишен — у тебя есть друзья (*франц*.). [↑](#footnote-ref-50)
51. Его жена истинно великодушна, ее состояние было так ужасно, как только можно вообразить, но она перенесла всё, твердо уповая на Бога. Прощай, мой милый друг! Думай всегда, что эти слова связывают тебя с живыми так же прочно, как и с той, кто существует для тебя только по ту сторону этой жизни. Думай, что среди живых есть один, кто всегда будет тебя любить, — это я (*франц*.). [↑](#footnote-ref-51)
52. Как дела, дорогой друг? (*франц*.). [↑](#footnote-ref-52)
53. До свидания, мой дорогой друг (*франц*.). [↑](#footnote-ref-53)
54. До свидания, мой дорогой (*франц*.). [↑](#footnote-ref-54)
55. Этот человек — мой близкий друг (*англ*.). [↑](#footnote-ref-55)
56. На немецкий манер (*франц*.). [↑](#footnote-ref-56)
57. Романтическая героическая поэма (*нем*.). [↑](#footnote-ref-57)
58. Как бы то ни было, сохранил ли он свою крайнюю плоть? (*франц*.). [↑](#footnote-ref-58)
59. Прощай! (*лат*.). [↑](#footnote-ref-59)
60. Постоянство и твердость могут быть вами достигнуты лишь тогда, когда всё ваше время будет распределено столь же регулярно, как в монастыре (*лат*. и *нем*.). [↑](#footnote-ref-60)
61. Междометие (от франц. piler в повелительном наклонении со значением «вперед», «взять»): команда охотничьей собаке броситься на дичь. [↑](#footnote-ref-61)
62. Дай мне всё, что можешь, и позволь мечтать об остальном! (*англ*.). [↑](#footnote-ref-62)
63. Высшее счастье есть независимость, и она состоит не в том, чтобы жить своими доходами, но в том, чтобы быть вполне независимым от людских заблуждений, а также, в случае надобности, побеждать самого себя (*нем*.). [↑](#footnote-ref-63)
64. Как и следует ожидать (*франц*.). [↑](#footnote-ref-64)
65. Постоянство и твердость могут быть вами достигнуты лишь тогда, когда всё ваше время будет распределено столь же регулярно, как в монастыре (*лат*. и *нем*.). [↑](#footnote-ref-65)
66. Между нами говоря (*франц*.). [↑](#footnote-ref-66)
67. В духе Шлёцера-сына (*франц*.). [↑](#footnote-ref-67)
68. До света требуй книгу и лампу; если ты не обратишь свой ум к достойным занятиям и делам, будешь без сна мучиться любовью или завистью (*лат*.). [↑](#footnote-ref-68)
69. Довольно (*итал*.). [↑](#footnote-ref-69)
70. Лучшее средство противостоять надвигающимся неприятностям — это направить ум с еще более твердою решимостью к совершению великих дел и предначертаний, ибо я достаточно себя знаю, чтобы понимать, что лишь твердое намерение и упование собственною жизнью содействовать общему благу более всего может меня подкрепить и успокоить; поэтому в моих собственных глазах знания мои становятся столь благородными и важными, что долг и жажда славы делают меня совершенно непреоборимым (*нем*.). [↑](#footnote-ref-70)
71. Предмет был прекрасный (*франц*.). [↑](#footnote-ref-71)
72. Государственное право (*нем*.). [↑](#footnote-ref-72)
73. И если справедливо, что мы наконец достигли до той эпохи (уже известной в истории просвещения), эпохи, в которую человеческий ум, ступивший на крайнюю степень изобилия творческого и не могущий удовлетворить собственному своему стремлению, обраща-

    ется на самого себя, дабы приобресть новые силы, исчислив свои сокровища: то неоспоримо, что возрождению наук восточных встретились самые счастливые обстоятельства. Это живое стремление… (*франц*.). [↑](#footnote-ref-73)
74. Это живое стремление, эта творческая сила… не могут быть признаны отличительным качеством нашего времени (*франц*.). [↑](#footnote-ref-74)
75. Белье, друг мой, начните с начала! (*франц*.). [↑](#footnote-ref-75)
76. В роде Сенеки (*франц*.). [↑](#footnote-ref-76)
77. Кстати (*франц*.). [↑](#footnote-ref-77)
78. За неимением лучшего (*франц*.). [↑](#footnote-ref-78)
79. На манер Аретино (*франц*.). [↑](#footnote-ref-79)
80. Кстати (*франц*.). [↑](#footnote-ref-80)
81. От франц. cabale — «клика, шайка». [↑](#footnote-ref-81)
82. Прощайте (*лат*.). [↑](#footnote-ref-82)
83. Этот бокал — доброму духу (*нем*.). [↑](#footnote-ref-83)
84. Вот весь мой талант! Я не знаю, достаточно ли его для этого. Кстати (*франц*.). [↑](#footnote-ref-84)
85. Кстати (*франц*.). [↑](#footnote-ref-85)
86. Буквально (*франц*.). [↑](#footnote-ref-86)
87. Шедевры (*франц*.). [↑](#footnote-ref-87)
88. Еще раз прощайте, Музы! и да здравствуют победа или смерть! (*франц*.). [↑](#footnote-ref-88)
89. Свойство терминов (*франц*.). [↑](#footnote-ref-89)
90. Действуйте по обстоятельствам (*франц.*). [↑](#footnote-ref-90)
91. Время предпринимать серьезные меры предосторожности (*франц.*). [↑](#footnote-ref-91)
92. Чувствительность (*франц.*). [↑](#footnote-ref-92)
93. Режим (*франц.*). [↑](#footnote-ref-93)
94. Увы! (*франц.*). [↑](#footnote-ref-94)
95. Я имел глупость сказать об этом отъезде. Я сделал плохо — согласно моей привычке я порчу то, во что вмешиваюсь. Постарайтесь поправить эту неприятность (*франц*.). [↑](#footnote-ref-95)
96. Умоляя вас быть счастливою, насколько это возможно, я защищаю свое собственное дело (*франц.*). [↑](#footnote-ref-96)
97. Наши мечты и т. д. (*франц*.). [↑](#footnote-ref-97)
98. Кстати (*франц*.). [↑](#footnote-ref-98)
99. В действительности (*лат*.). [↑](#footnote-ref-99)
100. Пока, в ожидании (*франц*.). [↑](#footnote-ref-100)
101. Франсуа, адъютант-майор 4 линейного полка (*франц*.). [↑](#footnote-ref-101)
102. Похвальное слово Моро (*франц*.). [↑](#footnote-ref-102)
103. От франц. marge — «край, поле (книги, тетради)». [↑](#footnote-ref-103)
104. Кстати (*франц*.). [↑](#footnote-ref-104)
105. Как и следовало ожидать (*франц*.). [↑](#footnote-ref-105)
106. В твои счастливые дни вспомни обо мне! (*итал*.). [↑](#footnote-ref-106)
107. Своеволие, вольность (*франц*.). [↑](#footnote-ref-107)
108. Эффект (*франц*.). [↑](#footnote-ref-108)
109. Полухарактер (*франц*.). [↑](#footnote-ref-109)
110. На уровне предмета (*франц*.). [↑](#footnote-ref-110)
111. Доказательства в руках (*франц*.). [↑](#footnote-ref-111)
112. Букв.: «Или Цезарь, или ничто» (*лат*.). Эквиваленты: «Все или ничего», «Или пан, или пропал». [↑](#footnote-ref-112)
113. Это путешествие сделало столько добра моему сердцу (*франц.*). [↑](#footnote-ref-113)
114. Чистосердечие (*франц.*). [↑](#footnote-ref-114)
115. Украшение (*лат*.). [↑](#footnote-ref-115)
116. Краткое повторение, резюме (*франц.*). [↑](#footnote-ref-116)
117. Богат он или беден, он так великодушен (*франц.*). [↑](#footnote-ref-117)
118. Посередине письма (*франц.*). [↑](#footnote-ref-118)
119. Полухарактер (*франц*.). [↑](#footnote-ref-119)
120. У нее очень решительный характер, и он прекрасен (*франц*.). [↑](#footnote-ref-120)
121. Не спешите, наблюдайте, смотрите и особенно выигрывайте время, тогда в горниле очистится настоящая любовь. Характер, поведение, свойства души — все однажды придет великим днем. Я не могу Вам сказать об этом заранее. Ваша дорогая Александра, это дорогое существо, которая сейчас всё видит Вашими глазами, следует только Вашим советам, любит Вашим сердцем, выйдя замуж, не может быть ни наполовину счастливой, ни страдать наполовину. Остерегайтесь похоронить в одной могиле несчастную женщину, отчаявшуюся мать и нежную, чувствительную сестру, *истинного друга и такого достойного быть им,*

     *единственного, который у Вас есть, который Вам пожертвует своей жизнью и который по устремлению своего доброго сердца, к несчастью*, участвует в событии, опечалившем большинство тех, кто Вас действительно любит. Они думают, как и я, из ложной деликатности не решаются сказать Вам правду (*франц.*). [↑](#footnote-ref-121)
122. Но это прекрасное — только прекрасный идеал (*франц.*). [↑](#footnote-ref-122)
123. Анафема отчаянию! Нет ничего более низкого и преступного, чем отчаяние (*франц*.). [↑](#footnote-ref-123)
124. Да здравствуют добрые сердца! (*франц*.). [↑](#footnote-ref-124)
125. Да здравствует! (*франц*.). [↑](#footnote-ref-125)
126. На мой взгляд, он слишком быстро смирился (*франц*.). [↑](#footnote-ref-126)
127. Отдельные листки (*франц*.). [↑](#footnote-ref-127)
128. Не заставляй меня // Никогда больше слышать из любимых уст то, // Что ненавидит моя душа! Не обвиняй // Ни себя, ни Того, который посылает нам страдание // Лишь как испытание, а не как наказание; // Он только испытывает тех, кого отечески любит! // <…> Мне говорит это мое сердце, я верю и чувствую то, во что верю. // Рука, ведущая нас сквозь этот мрак, // Не отдаст нас в добычу отчаянью. // И даже если надежда потеряет почву, // Мы будем крепко держаться за якорь веры: // *Одно единственное мгновение может всё преобразить.* // Пусть будет худшее! Пусть совсем нас покинет // Чудотворная рука, доселе хранившая нас; // Пусть год идет за годом, не принося облегчения, // Я не раскаиваюсь в том,

     что я сделал! // И если бы у меня был свободный выбор, // Я радостно сопровождал бы тебя и в нужде! // Мне ничего не стоит от всего отказаться, // Чем я обладал; мое сердце и твоя любовь // Заменят мне всё; и как бы глубоко ни низвергла меня удача, // Если только ты мне

     останешься, я не позавидую никому, // Кто считает себя счастливым в золоте и пурпуре; // Лишь то, чем *ты страдаешь, —* для меня истинное страдание! // Мрачный взгляд, упрек, вырывающиеся у тебя, // Тысячекратно утяжеляют мое страдание. // Не говори о том, что я дал тебе, // Что я для тебя сделал! Я делал то, что требовало мое сердце. // И делал для тебя; десятикратная смерть // Не горше жизни без тебя. // То, что будет нашей судьбой, поможет мне // Вынести твоя любовь, а тебе — моя; // Как бы тяжело ни было, как бы невыносимо — // Вот моя рука; я понесу бремя судьбы с радостью (*нем*.). [↑](#footnote-ref-128)
129. Извини за эту глупость. Я не должен был ее сюда записывать (*франц*.). [↑](#footnote-ref-129)
130. Постоянство, твердость (*франц.*). [↑](#footnote-ref-130)
131. Постоянство, твердость (*франц.*). [↑](#footnote-ref-131)
132. Что об этом скажут? (*франц.*). [↑](#footnote-ref-132)
133. Вы хотите быть трусом, бунтовщиком, дорогая Евдокия? (*франц.*). [↑](#footnote-ref-133)
134. Что об этом скажут? (*франц.*). [↑](#footnote-ref-134)
135. Совершенная любовь изгоняет страх (*франц*.). [↑](#footnote-ref-135)
136. Тесное общение, личная переписка (*франц*.). [↑](#footnote-ref-136)
137. И кажется, что уже вижу царство Кашемира (*франц*.). [↑](#footnote-ref-137)
138. Твоя жизнь должна быть деятельной (*франц*.). [↑](#footnote-ref-138)
139. Да! взойдем на гору! (*франц*.). [↑](#footnote-ref-139)
140. Смирение и мужество! Если ты хочешь моего примера, ты будешь его иметь (*франц*.). [↑](#footnote-ref-140)
141. Постоянство, твердость (*франц.*). [↑](#footnote-ref-141)
142. Перед Богом (*франц.*). [↑](#footnote-ref-142)
143. Единый миг всё может изменить (*нем.*). [↑](#footnote-ref-143)
144. Кстати (*франц*.). [↑](#footnote-ref-144)
145. Кстати (*франц*.). [↑](#footnote-ref-145)
146. Кстати (*франц*.).  \*\* Кстати (*франц*.). [↑](#footnote-ref-146)
147. Боже, храни короля (*англ*.). [↑](#footnote-ref-147)
148. В лист (*лат*.). [↑](#footnote-ref-148)
149. Подвиг (*франц*.). [↑](#footnote-ref-149)
150. Увы! (*франц*.). [↑](#footnote-ref-150)
151. Кстати (*франц*.). [↑](#footnote-ref-151)
152. «Талаба-разрушитель» (*англ*.). [↑](#footnote-ref-152)
153. «Артур, или Северная магия» (*англ*.). [↑](#footnote-ref-153)
154. Кстати (*франц*.). [↑](#footnote-ref-154)
155. Подвиг (*франц*.). [↑](#footnote-ref-155)
156. Проявление слабости (*франц*.) — каламбурное обыгрывание идиомы «tour de force» (букв.: «проявление силы»). [↑](#footnote-ref-156)
157. Иначе не назовешь (*франц*.). [↑](#footnote-ref-157)
158. Так называемым (*франц*.). [↑](#footnote-ref-158)
159. Вот мое вероисповедание (*франц*.). [↑](#footnote-ref-159)
160. На основании опыта (*лат*.). [↑](#footnote-ref-160)
161. Заранее, независимо от опыта (*лат*.). [↑](#footnote-ref-161)
162. Кстати (*франц*.). [↑](#footnote-ref-162)
163. Постоянство, твердость! (*франц*.). [↑](#footnote-ref-163)
164. Постоянство, твердость (*франц*.). [↑](#footnote-ref-164)
165. И пусть нас разделяют море и суша, // Нас соединяют узы дружбы, // И вскоре еще крепче // Соединит нас вечность (*нем*.). [↑](#footnote-ref-165)
166. Неизвестно во имя чего (*франц*.). [↑](#footnote-ref-166)
167. Буквально (*франц*.). [↑](#footnote-ref-167)
168. Полностью (*франц*.). [↑](#footnote-ref-168)
169. Быть в тягость мне (*франц*.). [↑](#footnote-ref-169)
170. Постоянство, твердость (*франц*.). [↑](#footnote-ref-170)
171. Постоянство, твердость (*франц*.). [↑](#footnote-ref-171)
172. Постоянство, твердость (*франц*.). [↑](#footnote-ref-172)
173. Не нужно идти по жизни отвернувшись, как нам пишет Аннета (*франц*.). [↑](#footnote-ref-173)
174. Замужем или не замужем, я всегда сохраню то же чувство (*франц*.). [↑](#footnote-ref-174)
175. Вместо надежды, которая обманывает почти всегда, нужно положиться на Провидение, которое не обманывает никогда, — и всё станет последовательно в жизни! разгадка известна заранее! Это не что иное, как: *жить достойно* (*франц*.). [↑](#footnote-ref-175)
176. Вернемся к нашим баранам (*франц*.). [↑](#footnote-ref-176)
177. Что касается настоящего (*франц*.). [↑](#footnote-ref-177)
178. Это меня не прельщает и не даст мне необходимой деятельности (*франц*.). [↑](#footnote-ref-178)
179. Добросовестность, смелость и решимость (*франц*.). [↑](#footnote-ref-179)
180. Ясно, что мы люди благоразумные и положительные (*франц*.). [↑](#footnote-ref-180)
181. Не нужно идти по жизни отвернувшись, но тем более не нужно устремлять взгляд в неверную даль! Всё это мешает смотреть вокруг себя (*франц*.). [↑](#footnote-ref-181)
182. Это возмутительно! Разве это жизнь? (*франц*.). [↑](#footnote-ref-182)
183. Всё последовательно (*франц*.). [↑](#footnote-ref-183)
184. Приезжает мадам Дружинина (*франц.*). [↑](#footnote-ref-184)
185. Иначе не скажешь (*франц*.). [↑](#footnote-ref-185)
186. Увы! (*франц*.). [↑](#footnote-ref-186)
187. Кстати (*франц*.). [↑](#footnote-ref-187)
188. Я могу обойтись без Вашей дружбы, я хорошо знаю, что ее заслуживаю (*франц.*).  \*\* Сойдет за мнение! (*франц.*). [↑](#footnote-ref-188)
189. Тоска по родине (ностальгия) (*нем*.). [↑](#footnote-ref-189)
190. Это рассуждение о непоследовательности наших надежд. «Вы хотите быть богатым? Вы полагаете, что ради этого единственного предмета стоит пожертвовать всем остальным? Хорошо, вы станете богатым! Скольким другим людям этого не удалось достичь ценою мук, терпения, усердия, внимания к самым незначительным статьям расхода и прихода. Однако нужно отказаться от наслаждений досуга, от удовольствий, даруемых душевным миром и свободным разумом, не ведающим подозрений. Если даже вы сохраните свою чистоту, ваша порядочность будет поверхностной, а честность — заурядной… Нужно закрыть ваш духовный мир и ваше сердце от муз и научиться питать ваш рассудок грубыми истинами, хозяйственными, так сказать. Одним словом, вы больше не должны думать о том, как распространить ваши мысли, как усовершенствовать свой вкус и сделать чувства более утонченными: вы осуждены следовать избитыми путями, не глядя ни направо, ни налево. — “Однако (говорите вы) я не могу принять такие условия; у меня слишком возвышенная душа”. — Хорошо, откажитесь от этого — но тогда не терзайтесь тем, что вы не стали богатым. — “А какую же награду получу я за свой труд?” — Какую награду! А возвышенная душа, свободная от треволнений, страхов, вульгарных предрассудков, способная воспринимать и заключать в себя деяния людей и Создателя? а просвещенный ум, богатый, цветущий, исполненный возможностей, склонный к веселью и размышлению; неиссякаемый источник новых идей, сладостных мыслей, а ваше чувство достоинства и возвышенный разум? Праведное небо! О чем же вы еще сожалеете?» (*франц*.). [↑](#footnote-ref-190)
191. Маленький любимец (*франц.*). [↑](#footnote-ref-191)
192. Здравствуйте, мсье Уваров (*франц.*). [↑](#footnote-ref-192)
193. Чревовещатель (*франц.*). [↑](#footnote-ref-193)
194. Видите вы влияние петербургского воздуха! (*франц.*). [↑](#footnote-ref-194)
195. Как дорога мечта: в самые мрачные часы злосчастья // Всё могло бы измениться, если б я знал, что ты мне верна по-прежнему (*англ*.). [↑](#footnote-ref-195)
196. Великие планы (*франц*.). [↑](#footnote-ref-196)
197. Действуйте в моем духе (*франц.*). [↑](#footnote-ref-197)
198. В натуре (*лат*.). [↑](#footnote-ref-198)
199. Сомнения (*франц*.). [↑](#footnote-ref-199)
200. Человекобоязнь (*нем*.). [↑](#footnote-ref-200)
201. Злорадство (*франц*.). [↑](#footnote-ref-201)
202. Великие планы (*франц*.) [↑](#footnote-ref-202)
203. Счастье — это добродетель, которая любит и знание, которое просвещает (*франц*.). [↑](#footnote-ref-203)
204. Чтение — ничто, чтение и размышление — нечто, чтение, размышление и чувствование — совершенство (*нем*.)  \*\*\*\* Жить (*нем*.). [↑](#footnote-ref-204)
205. Твердо решив больше туда не возвращаться (*франц.*). [↑](#footnote-ref-205)
206. Великого учителя (*англ*.). [↑](#footnote-ref-206)
207. Но довольно жаловаться (*франц.*). [↑](#footnote-ref-207)
208. У него прекрасная душа (*франц*.). [↑](#footnote-ref-208)
209. Общее место (*лат*.). [↑](#footnote-ref-209)
210. Изысканно (*франц*.). [↑](#footnote-ref-210)
211. В лист (*лат*.). [↑](#footnote-ref-211)
212. Небольшое предисловие к моим стихам (*франц.*). [↑](#footnote-ref-212)
213. Увы! (*франц.*). [↑](#footnote-ref-213)
214. Вечный кривляка (*франц.*). [↑](#footnote-ref-214)
215. Кстати (*франц*.). [↑](#footnote-ref-215)
216. Общее место (*лат*.). [↑](#footnote-ref-216)
217. Я действительно уверена <…> что с Мойером найду счастье и покой; я очень его уважаю; душа у него возвышенная, характер благородный, и я всего ожидаю от времени (*франц.*). [↑](#footnote-ref-217)
218. Мари, ты однажды сказала мне как *перед Богом*, что ты никогда не выйдешь замуж иначе как по своему выбору и никогда — только из-за послушания. *Перед Богом* (*франц*.). [↑](#footnote-ref-218)
219. Выходя замуж и жертвуя собой, как ты это делаешь, ты надеешься дать своей матери двух друзей (*франц*.). [↑](#footnote-ref-219)
220. <Копия письма М. А. Протасовой от 6 декабря 1815 г. со вставками Жуковского, обращенными к А. П. Елагиной; текст письма М. А. Протасовой к Жуковскому выделен

     полу жирным курсивом.> [↑](#footnote-ref-220)
221. Скажу тебе также, что чувство, которое побудило ее <мать> дозволить писать тебе, — чувство самое благородное и нежное. Обстоятельства заставили меня говорить с ней об этом деле положительно, я видела необходимость для нее и обеих нас в друге и покровителе, и однажды, когда я говорила положительно, она пожелала, чтобы я тебе первому это сообщила (*франц.*). [↑](#footnote-ref-221)
222. Обстоятельства заставили меня (*франц*.). [↑](#footnote-ref-222)
223. Ни она, ни я не думали ускорять ход дела, но тем не менее, всегда думая о тебе, она пожелала, чтобы я у тебя первого после нее спросила совета, чтобы я тебе сообщила всё раньше, нежели Воей<кову>, и эта деликатность чувства заслуживает признания (*франц.*). [↑](#footnote-ref-223)
224. Деликатность (*франц*.). [↑](#footnote-ref-224)
225. Ты обвиняешь меня в том, что я забываю себя для других. Уверяю тебя, что в этом случае я думала лишь о себе. Я не испытываю страстной любви к Мойеру, но уважение, доверие, дружба, которые я имею к нему, к его характеру, достаточны, чтобы сделать нас счастливыми. Я гораздо больше матери желала, чтобы дело это устроилось; я знаю, что М<ойер> обладает всеми качествами, которые я желала бы видеть в человеке, от которого мы все будем зависеть (*франц.*). [↑](#footnote-ref-225)
226. Вот выражение, которое мне повторяли слишком часто, но которое не может быть твоим. Твое доброе сердце тебе никогда бы не позволило употребить его (*франц*.). [↑](#footnote-ref-226)
227. Никогда не выйду замуж по привязанности! это не может быть иначе как жертвою! (*франц*.). [↑](#footnote-ref-227)
228. Я обстоятельно передумала обо всём, что мне надо сделать, обо всём, что меня ожидает, обо всём, что чувствую (*франц*.). [↑](#footnote-ref-228)
229. Он так же преследовал бы меня, чтобы я вышла замуж, как теперь меня мучает, чтобы этого не сделалось. Ты ему сказал, что жена его эгоистка, и с самого своего возвращения он только это ей и твердит — ей, которая ангел терпения и добродетели! Боже! и это изза меня страдают те, которых я люблю больше всего (*франц*.). [↑](#footnote-ref-229)
230. Мирный покой души, смирившейся с велениями Провидения! (*франц*.). [↑](#footnote-ref-230)
231. Заметьте (*франц.*). [↑](#footnote-ref-231)
232. А теперь вернемся к Вам, мой дорогой и очень дорогой баран, Евдокия (*франц.*). [↑](#footnote-ref-232)
233. Обстоятельства вынудили меня говорить с ней об этом положительно; я видела необходимость для нее и для обеих нас в друге и покровителе (*франц*.). [↑](#footnote-ref-233)
234. Покровителя для нее и для тебя (*франц*.). [↑](#footnote-ref-234)
235. Я всего ожидаю от времени (*франц*.). [↑](#footnote-ref-235)
236. Постоянство (*франц*.). [↑](#footnote-ref-236)
237. Рискуя наскучить, повторяя одно и то же сто тысяч раз (*франц*.). [↑](#footnote-ref-237)
238. Ты сказал В<оейкову>, что его жена эгоистка — с тех пор, как он вернулся, он только и делает, что повторяет это (*франц*.). [↑](#footnote-ref-238)
239. Мне мог бы ты открыть душу свою. Тайна твоя была бы мне свята, для меня же знание ее — полезным для тебя, для вас <обоих>. Я действую и теперь <в вашу пользу>. Она должна иметь покой. Мойер едет в Ревель. Всё уладится (*нем.*). [↑](#footnote-ref-239)
240. Маша с каждым днем дает мне всё больше доказательств своего доброго расположения и доверия (*нем*.). [↑](#footnote-ref-240)
241. С Богом! (*нем*.). [↑](#footnote-ref-241)
242. Кстати (*франц*.). [↑](#footnote-ref-242)
243. Как и следовало ожидать (*франц.*). [↑](#footnote-ref-243)
244. Кстати (*франц*.). [↑](#footnote-ref-244)
245. И с Богом (*нем*.). [↑](#footnote-ref-245)
246. Кстати (*франц*.). [↑](#footnote-ref-246)
247. Связаться со всяким сбродом, опуститься (*франц.*). [↑](#footnote-ref-247)
248. Чувствительное сердце — опасный дар божественной доброты (*франц*.). [↑](#footnote-ref-248)
249. Прекрасная немка (*франц.*)*.* [↑](#footnote-ref-249)
250. Кстати (*франц*.). [↑](#footnote-ref-250)
251. Пока (*франц.*). [↑](#footnote-ref-251)
252. Римский карнавал. Сказка (*нем*.). [↑](#footnote-ref-252)
253. Путешествие в Италию. Письма Вертера о Швейцарии. Из моей жизни (*нем*.). [↑](#footnote-ref-253)
254. Парамифии. О народных сказаниях. О легендах. О знании и незнании будущего. Взгляд в будущее. О судьбе (*нем*.). [↑](#footnote-ref-254)
255. О переселении народов. <…> История отпадения Нидерландов (*нем*.).  \*\*\* Эльфы. Кубок. Любовные чары. Белокурый Экберт (*нем*.). [↑](#footnote-ref-255)
256. Рассказы (*нем*.). [↑](#footnote-ref-256)
257. Жан Поль. Дух Жан Поля (*нем*.). [↑](#footnote-ref-257)
258. Произведения из «Вандсбекского вестника» (Клаудиус) (*нем*.). [↑](#footnote-ref-258)
259. Произведения Лихтенберга. Произведения Якоби. Гебель: Шкатулка с драгоценностями <…> мировоззрение (*нем*.). [↑](#footnote-ref-259)
260. Поэт. Повесть (*нем*.). [↑](#footnote-ref-260)
261. Путешествие по Франции (*нем*.). [↑](#footnote-ref-261)
262. Охота св. Губерта (*нем*.). [↑](#footnote-ref-262)
263. Лже-Дмитрий (*нем*.). [↑](#footnote-ref-263)
264. Карбункул <…> Овсяный кисель (*нем*.). [↑](#footnote-ref-264)
265. Тленность (*нем*.). [↑](#footnote-ref-265)
266. Путешественник (*нем*.). [↑](#footnote-ref-266)
267. Сказка (*нем*.). [↑](#footnote-ref-267)
268. Энциклопедический словарь (*нем*.). [↑](#footnote-ref-268)
269. Герман и Доротея (*нем*.). [↑](#footnote-ref-269)
270. Кстати (*франц*.). [↑](#footnote-ref-270)
271. Тебя, Бога <хвалим> (*лат*.). [↑](#footnote-ref-271)
272. Я взываю к Вашей дружбе: приезжайте повидаться со мной! (*франц*.). [↑](#footnote-ref-272)
273. Кстати (*франц*.). [↑](#footnote-ref-273)
274. Искренне твой *Жуковский* (*франц*.). [↑](#footnote-ref-274)
275. Я услышал, но не удивился и ничего не могу возразить (*нем*.). [↑](#footnote-ref-275)
276. Одобряю ли я Ваше поведение? (*франц.*). [↑](#footnote-ref-276)
277. Я люблю его так, как только можно (*франц.*). [↑](#footnote-ref-277)
278. Да, скажу, но скажу с самой нежной признательностью, Ваше письмо было слишком длинным для такого дня, как этот (*франц.*). [↑](#footnote-ref-278)
279. В воображаемых монетах (*франц*.). [↑](#footnote-ref-279)
280. Будет решающим доводом, перевесит чашу весов (*франц*.)*.* [↑](#footnote-ref-280)